



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

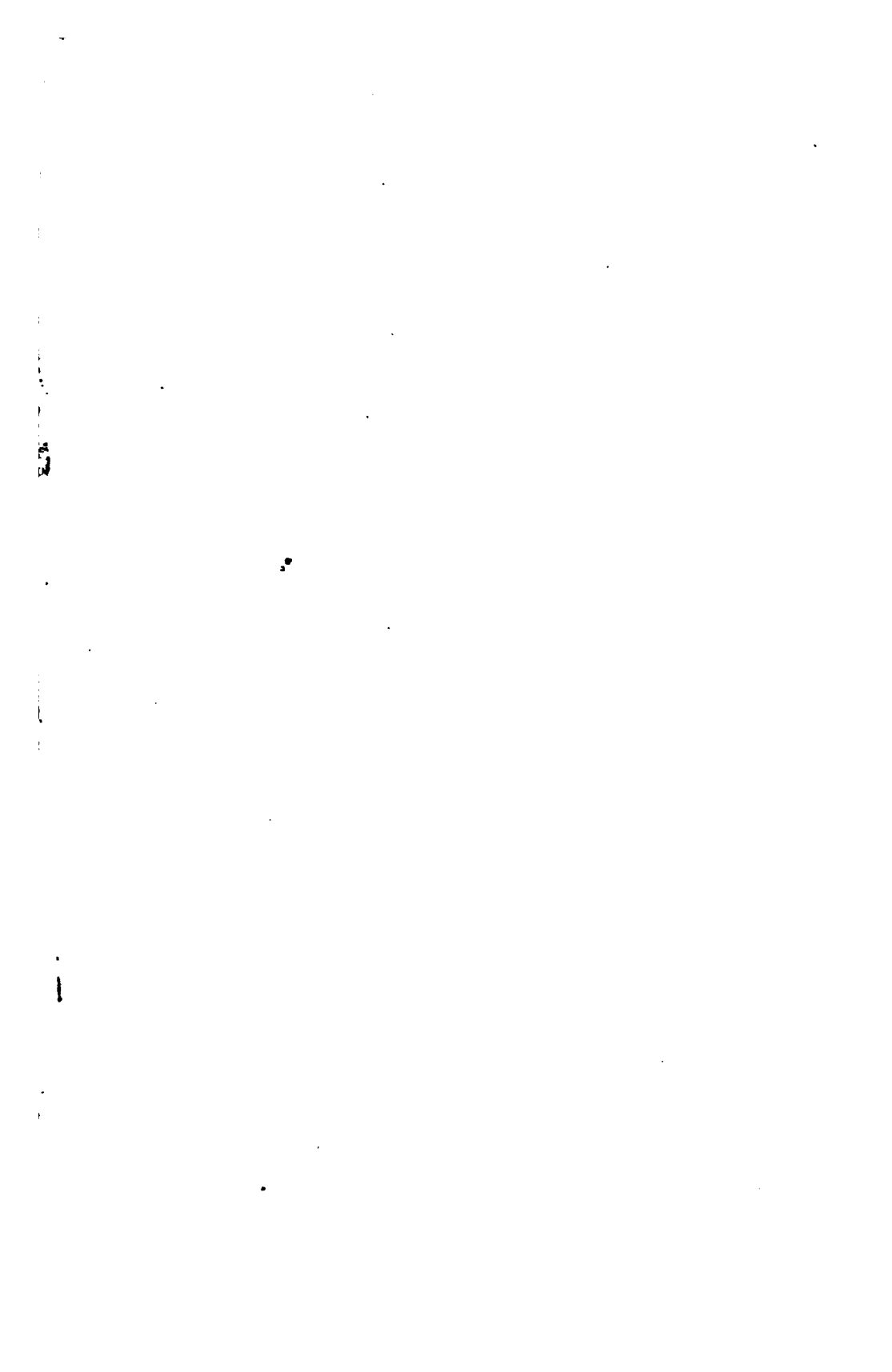
SLAV 4100.31



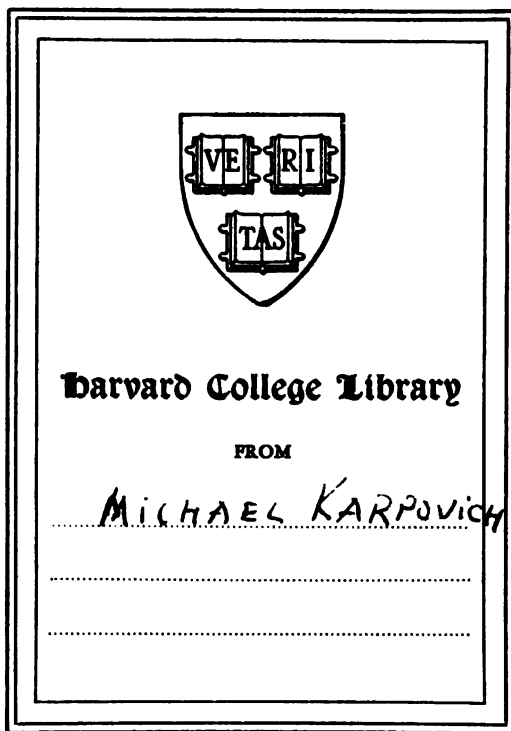
Harvard College Library

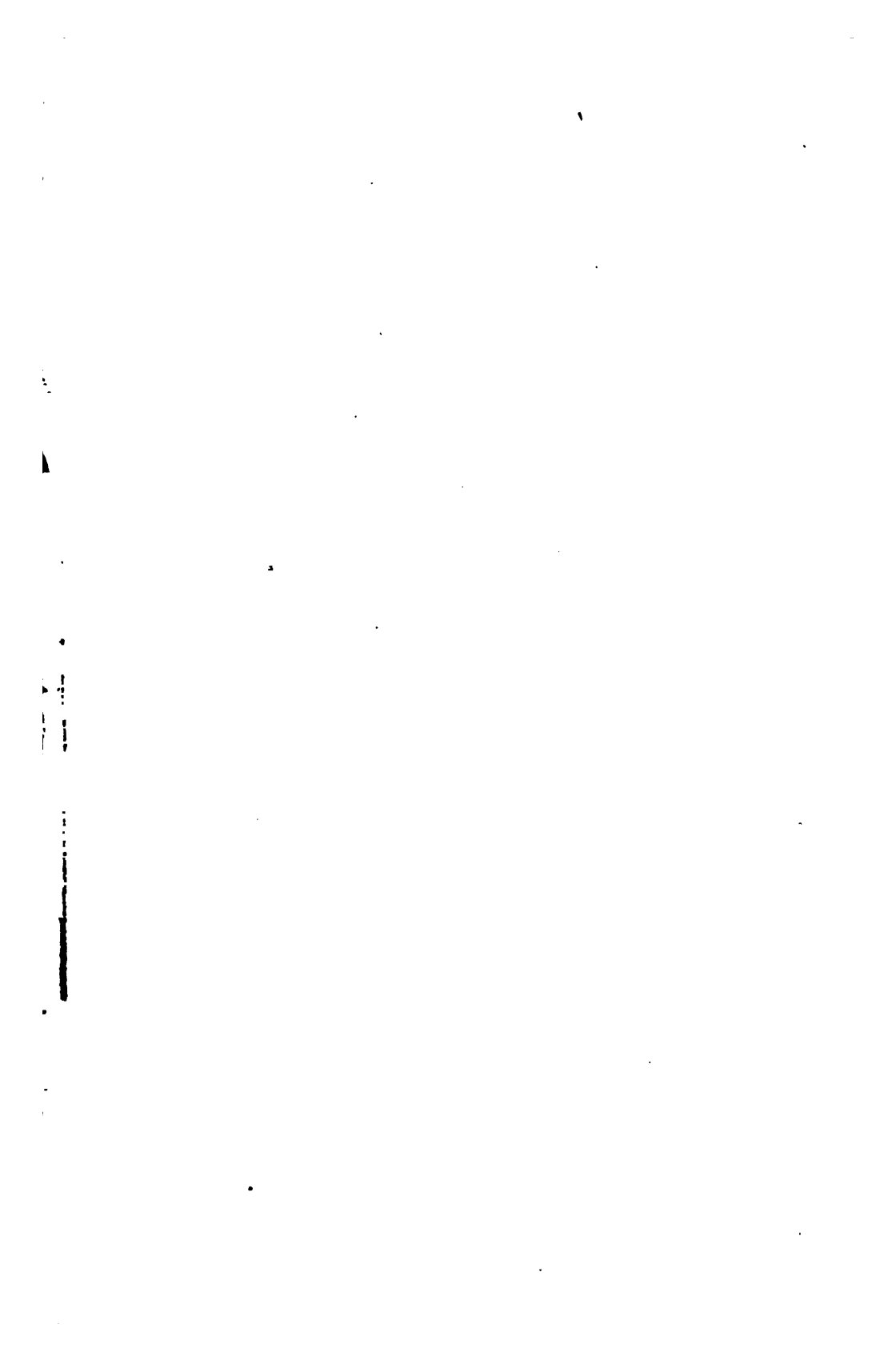
FROM

MICHAEL KARPOVICH



SLAV 4100.31







мисл. 0
2

Доброволь
Александр

ИЗЪ ИСТОРИИ
НАШЕГО
ЛИТЕРАТУРНАГО И ОБЩЕСТВЕННАГО
РАЗВИТІЯ.

МОНОГРАФИИ И КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

А. П. ПЯТКОВСКАГО.

Въ двухъ томахъ.

Томъ I.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФИЯ Р. ГОЛЕНКЕ, по Лигову, № 22.
1876.

Star 4100.31

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF
NICHOLAS K. KROVICH
Jul 7. 1936

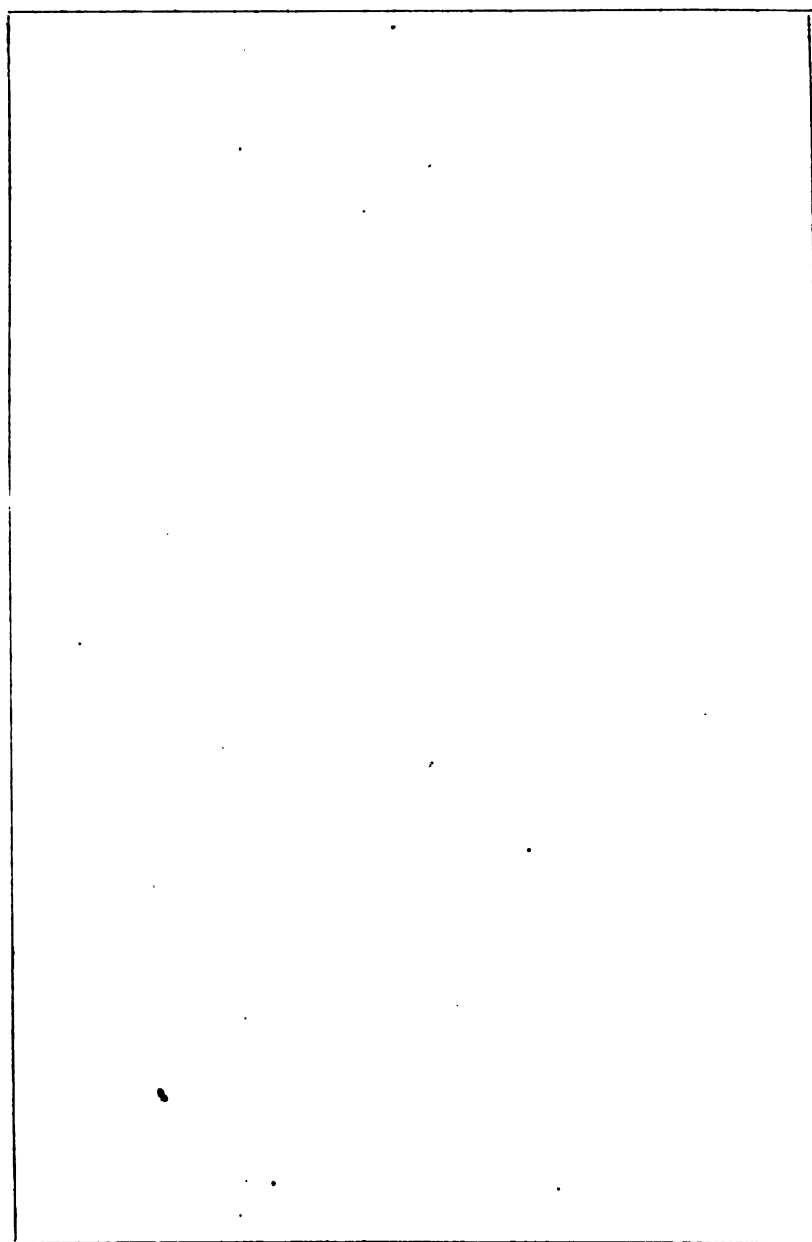
Текстъ набранъ по 11 листъ и отпечатанъ по 8 листъ въ Типографіи
К. Плотинова, по Лиговиѣ, № 23.

56.226
46

ОГЛАВЛЕНИЕ

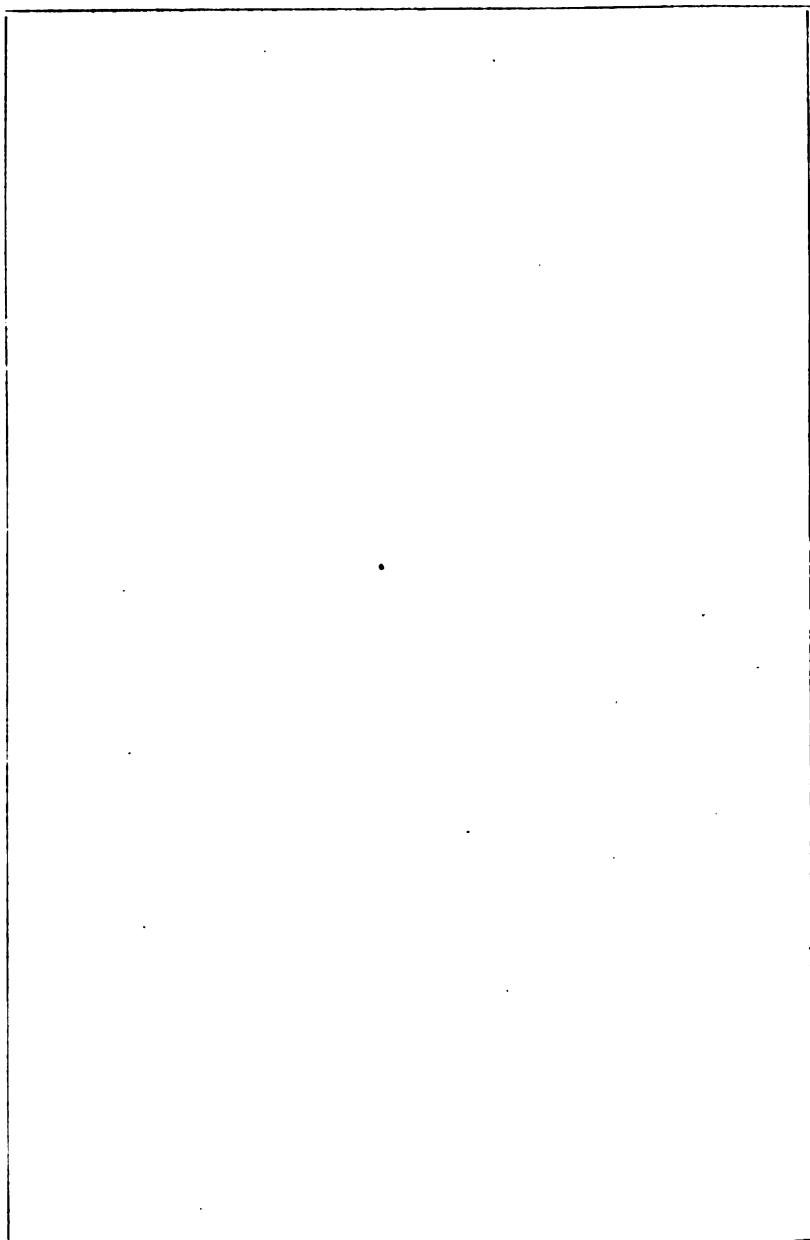
перваго тома.

	СТРАН.
Предисловіе	1.
1. О жизни и сочиненіяхъ Фонъ-Визина. I—II.	3.
2. Осмынадцатый вѣкъ въ русской исторіи. I—IV.	73.
3. Наши классики въ характеристикахъ г. Галахова. I—VII.	143.
4. О новѣйшемъ преподаваніи русской литературы и др. предметовъ. I—II	255.
5. Новая передѣлка карамзинской теоріи. I—II.	282.
6. Опытъ философской разработки русской исторіи. I—IV.	301.
7. Идеа гражданскаго брака въ русскомъ расколѣ. I—II.	339.
8. Цензурный проэктъ Магницкаго. I—IV.	364—407.



Важнѣйшія опечатки, замѣченныя при печатаніи I тома:

страниц.	строка.	напечатано:	слѣд. читать:
7	15 св.	преставленіе	представленіе
9	3 св.	доставили	доставляя
10	4 св. въ прим.	принадлежатъ	принадлежать
24	14 св. въ прим.	въ сочиненіи	въ сочиненіяхъ
34	11 св.	подъ	одъ
37	4 св.	практическая	критическая
46	14 св.	восп таемаго	воспитываемаго
62	8 св.	вынести	вынеси
83	14 св.	Петра бо	Петра
—	12—	гѣе	богѣе
127	3 св.	«выгнать»	«выгнать»
131	10 св.	къ ней	къ Аннѣ
168	1 св.	только что этому	этому, только что
253	9 св.	на	на

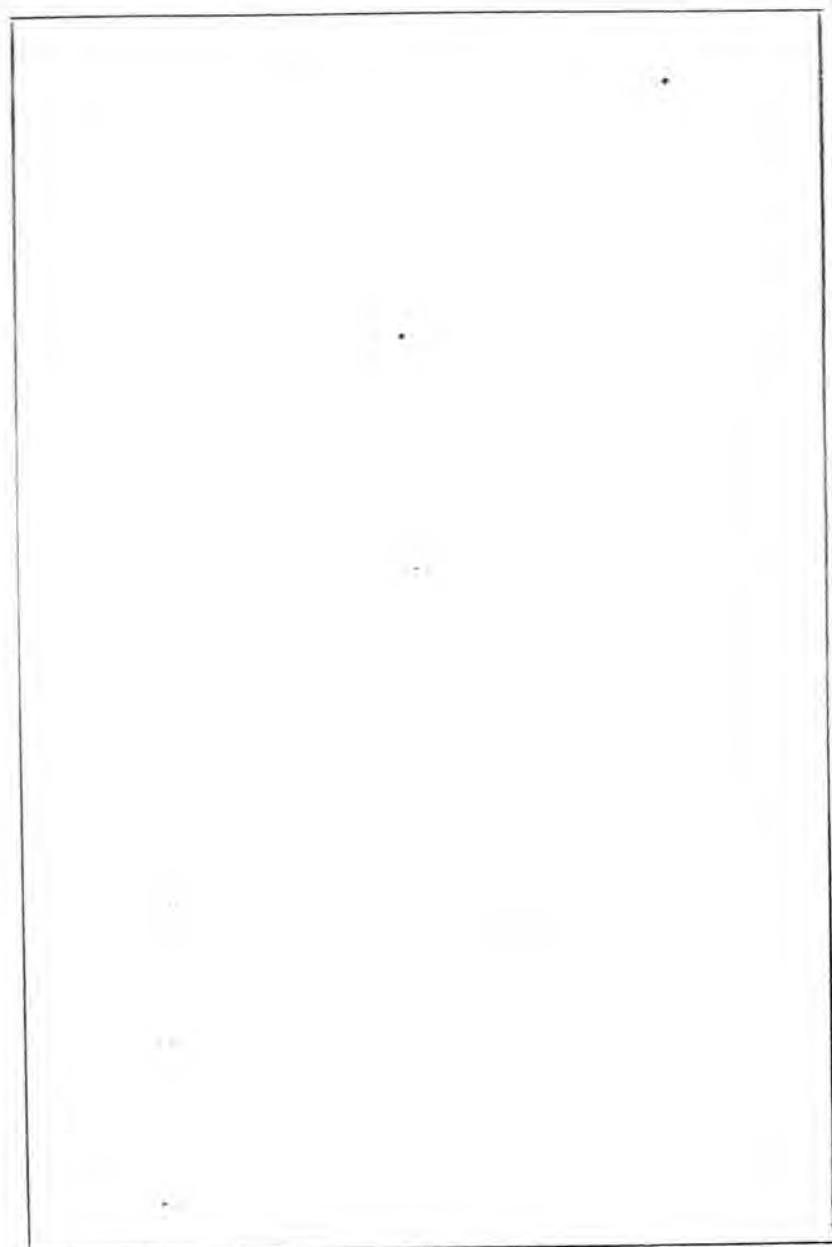


ПРЕДИСЛОВІЕ.

Статьи, собранныя мною въ этомъ изданіи, уже были напечатаны, въ свое время, въ разныхъ журналахъ, и выражаютъ собой результатъ моихъ продолжительныхъ занятій русской исторіей и литературой. Взятыя вмѣстѣ, онѣ, по крайнему моему разумѣнію, представляютъ довольно полный, не лишенный систематичности, очеркъ развитія нашей литературы и общественной жизни въ новый періодъ русской исторіи;—и вотъ причина, почему я рѣшился снова напомнить о нихъ читателямъ, заинтересованнымъ тѣмъ предметомъ, который разрабатывается, болѣе или менѣе подробно, въ предлагаемой на судъ ихъ книгѣ.

Авторъ.

С.-Петербургъ, 5 іюня 1875 г..



О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНІЯХЪ Д. И. ФОНЪ-ВИЗИНА.

I.

Предки Фонъ-Визина. Дѣтскіе годы Дениса Ивановича и поступленіе въ университетскую гимназію. Поѣздка въ Петербургъ для представленія И. И. Шувалову. Первые литературные опыты Ф.-Визина. Поступленіе въ иностранную коллегію и служба при кабинетъ-министрѣ И. П. Елагинѣ. Переводъ «Іосифа» и комедія «Бригадиръ». Успѣхъ Бригадира при дворѣ и въ высшемъ петербургскомъ обществѣ. Фонъ-Визинъ въ придворной сферѣ. Порывы религіознаго скептицизма и раскаяніе. Служба при гр. Н. И. Панинѣ. Поѣздки за границу и письма изъ путешествій. «Недоросль». Болѣзнь Ф.-Визина и безуспѣшное лѣченіе. Ф.-Визинъ и Екатерина II-я. Вопросы Ф.-Визина и отвѣты на нихъ Екатерины II-й. Проектъ сатирическаго журнала: «Другъ честныхъ людей или Стародумъ». Препятствія къ изданію. Переводъ Тацита. Предсмертный вечеръ Фонъ-Визина.

Родъ Фонъ-Визина не коренной русскій, хотя и совершенно обрусѣвшій въ нашей странѣ. Предки его были владѣтелями разныхъ городовъ въ нѣмецкихъ земляхъ, а потомъ—рыцарями братства Меченосцевъ. Только въ царствованіе Ивана Грознаго, во время войны съ Ливоніей, баронъ Петръ Фонъ-Визинъ (или, по старому правописанію, Өанъ-Өусинъ), взятый въ плѣнъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Денисомъ, сдѣлался поневолѣ обитателемъ Руси, сохраняя однакожь свою нѣмецкую религію. Но уже въ царствованіе Алексѣя Михайловича внукъ этого барона принялъ греко-восточное исповѣданіе и названъ въ крещеніи Аѳанасіемъ. Съ тѣхъ поръ потомки плѣннаго барона все болѣе и болѣе утрачивали черты своей нѣмецкой фізіономіи: самую частицу фонъ они стали писать слѣтно

съ своею фамиліей, и это соединеніе удерживается, по ихъ примѣру, многими до настоящаго времени. Отецъ Дениса Ивановича, Иванъ Андреевичъ, служилъ въ ревизіонъ-коллегіи и имѣлъ собственный домъ въ Москвѣ, недалеко отъ университета. Судя по свѣдѣніямъ, сообщеннымъ о немъ въ «Чистосердечномъ признаніи» его сына, это былъ человѣкъ «большаго здраваго разсудка, не имѣвшій случая просвѣтитъ себя ученіемъ». Изъ массы тогдашнихъ чиновниковъ онъ выдѣлялся двумя качествами: независимостью своего характера, не допускавшей его до низкопоклонства и лести, и честностью по службѣ, благодаря которой онъ не прибавилъ ничего къ своему родовому, въ 500 душъ, имѣнію. «Государь мой,—говорилъ онъ обыкновенно просителю, являвшемуся къ нему съ подарками:—сахарная голова не есть резонъ для обвиненія вашего соперника; извольте ее отвести назадъ, а принесите законное доказательство вашего права». Иванъ Андреевичъ былъ женатъ два раза: въ первый разъ онъ женился по великодушію, чтобы имѣніемъ своей жены, 70-лѣтней старухи, выкупить промотавшагося брата, въ другой—по любви. Отъ этого втораго брака родился у него, въ 1744 г., сынъ Денисъ. Дѣтскіе годы Фонъ-Визина въ домѣ его отца не представляютъ ничего оригинальнаго: мальчикъ, какъ и всѣ его однолѣтки того времени, слушалъ сказки деревенскаго мужика, отъ которыхъ морозъ подиралъ у него по кожѣ, и увидалъ очень скоро карты съ красными задками, услаждавшія досугъ взрослыхъ людей; выучившись рано грамотѣ, онъ, во время всенощныхъ и великопостныхъ службъ на дому, читалъ священныя книги, бормоча и съ трудомъ понимая прочитанное. Иногда отецъ Дениса Ивановича, человѣкъ весьма набожный, рассказывалъ

въ кругу своего семейства назидательныя исторіи, въ родѣ повѣсти о приключеніяхъ Іосифа Прекраснаго и извлекалъ слезы чувствительности у своихъ молодыхъ слушателей. Слѣдуя обычаю того времени, отецъ рано записалъ своего Дениса въ семеновскій полкъ (въ 1754 г.): но будущій авторъ «Бригадира» никогда не несъ дѣйствительныхъ тягостей военной службы. Иностранныхъ учителей не было у Дениса Ивановича, потому что эта роскошь приходилась не по средствамъ его отца; съ открытіемъ же гимназіи при московскомъ университетѣ, Иванъ Андреевичъ не замедлилъ помѣстить туда своихъ сыновей: Дениса и Павла, бывшаго впослѣдствіи директоромъ этого самаго университета. Ученіе въ новооткрытой гимназіи шло плохо: учителя рѣдко ходили въ классы, а если и ходили, то проку отъ ихъ ученія было мало. Преподаватель Чернявскій, обучавшій ариметикѣ, пилъ смертную чашу; учитель латинскаго языка, Яремскій, воспитанникъ петербургской академіи наукъ, по нѣсколькимъ мѣсяцевъ не являлся на уроки, и докторъ, котораго посылали въ нему для освидѣтельствованія, находилъ, что онъ или пропалъ изъ дому, или былъ пьянъ съ утра. Не мудрено, что при подобныхъ наставникахъ экзамены въ гимназіи производились такъ, какъ они описаны самимъ Фонъ-Визиномъ въ его мемуарахъ: «Наканунѣ экзамена, говоритъ онъ, дѣлалось приготовленіе: учитель пришелъ въ кафтанѣ, на коемъ было пять пуговицъ, а на камзолѣ четыре. Удивленный сею странностью, спросилъ я учителя о причинѣ. «Пуговицы мои вамъ кажутся смѣшны, говорилъ онъ, но онѣ суть стражи вашей и моей чести, ибо на кафтанѣ значутъ пять склоненій, а на камзолѣ четыре спряженія; итакъ, продолжалъ онъ, ударяя по столу рукою,

извольте слушать всё, что говорить стану. Когда станут спрашивать о какомънибудь имени, какого склонения, тогда примѣчайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смѣло отвѣчайте: второго склонения. Съ спряжениями поступайте, смотря на мои камзольныя пуговицы, и никогда ошибки не сдѣлаете ¹⁾. Вслѣдствіе догадливости учителя, экзаменъ изъ латинскаго языка сошелъ съ рукъ благополучно. Менѣе удаченъ былъ экзаменъ изъ географіи, на которомъ ни одинъ изъ учениковъ не отвѣтилъ точно на вопросъ: куда впадаетъ Волга? Кто говорилъ: въ Черное, кто—въ Бѣлое море; Фонъ-Визинъ поступилъ откровеннѣе и прямо сказалъ: не знаю. Но несмотря на недостатокъ трудолюбивыхъ преподавателей, Фонъ-Визинъ учился, сравнительно съ другими, хорошо и успѣлъ вынести изъ гимназіи кое-какія познанія въ латинскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, а также въ словесныхъ наукахъ. Начальство отличало его, какъ способнѣйшаго ученика, то награждая медалью, то поручая произнести рѣчь на торжественномъ актѣ, на тему «щедрости и прозорливости Ея Императорскаго Величества, всецѣдой музъ основательницы и покровительницы». Въ 1758 г. Иванъ Ивановичъ Мелиссино, тогдашній директоръ университета, задумалъ съѣздить въ Петербургъ для личныхъ объясненій съ кураторомъ—Иваномъ Ивановичемъ Шуваловымъ и взялъ съ собою на показъ десять лучшихъ воспитанниковъ гимназій. Въ этомъ числѣ были: Яковъ Булгаковъ, Денисъ Фонъ-Визинъ и Григорій Потемкинъ. Въ Петербургѣ Фонъ-Визинъ

¹⁾ Этимологию латинскаго языка обучали три преподавателя: Константиновъ, Авиничъ и Фразинъ. Кто изъ нихъ распорядился такъ остроумно—рѣшить нельзя.

поселился у своего дяди и через нѣсколько дней по прїѣздѣ былъ представленъ куратору, который встрѣтилъ юношей весьма ласково, а одного изъ нихъ, именно Фонъ-Визина, подвелъ къ своему знаменитому гостю, Ломоносову. Послѣ обѣда, въ тотъ же день воспитанниковъ повезли во дворецъ, на куртагъ. Интересно впечатлѣніе, произведенное на юношу Фонъ-Визина первымъ прїѣздомъ ко двору, прославленному своимъ блескомъ и пышностью. «Признаюсь искренно, говоритъ онъ, что я удивленъ былъ великолѣпіемъ двора нашей императрицы. Вездѣ сіяющее золото, собраніе людей въ голубыхъ и красныхъ лентахъ, множество дамъ прекрасныхъ, наконецъ огромная музыка—все сіе поразило зрѣніе и слухъ мой, а дворецъ казался мнѣ жилищемъ существа выше смертнаго». Но ничто въ Петербургѣ такъ не поразило Фонъ-Визина, какъ театральныя представленія, которыя ему случилось видѣть въ первый разъ въ жизни. Давали комедію: Генрихъ и Пернила. «Дѣйствія, произведеннаго во мнѣ театромъ—пишетъ Фонъ-Визинъ въ своемъ «Чистосердечномъ признаніи»,—почти описать невозможно: комедію, видѣнную мною, довольно глупую, считалъ я произведеніемъ величайшаго разума, а актеровъ—великими людьми, конхъ знакомство, думалъ я, составило бы мое благополучіе. Я съ ума было сошелъ отъ радости, узнавъ, что сін комедіанты вхожи въ домъ дядюшки моего, у котораго я жилъ». Въ домѣ своего дяди Фонъ-Визинъ познакомился съ Фѣдоромъ Григорьевичемъ Волковымъ и Иваномъ Аѳанасьевичемъ Дмитревскимъ. Въ это же время, посѣщая театръ, онъ сблизился съ сыномъ одного знатнаго господина, который сначала былъ съ нимъ очень любезенъ, но потомъ, узнавъ, что новый его

знакомый не говорить по французски, сталъ поднимать его на смѣхъ. Впрочемъ Фонъ-Визинъ скоро заставилъ его замолчать своими остротами, а чтобъ не подвергаться вперёдъ такому глумленію, рѣшился самъ выучиться французскому языку, что отчасти и исполнилъ въ два года, по возвращеніи въ Москву. 26 апрѣля 1759 г., въ день коронаціи Елизаветы Петровны, Фонъ-Визинъ, вмѣстѣ съ другими воспитанниками, былъ произведенъ въ студенты, при торжественномъ собраніи всѣхъ московскихъ сановниковъ. Съ тѣхъ поръ начался для него собственно университетскій курсъ, по философскому факультету, который, одинъ изъ всѣхъ трехъ (еще были открыты факультеты: медицинскій и юридическій), изобиловалъ преподавателями. Между профессорами Фонъ-Визина былъ извѣстный въ свое время Рейхель, авторъ «Исторіи о Японскомъ государствѣ» и издатель журнала: «Собраніе лучшихъ сочиненій». Рейхель обратилъ вниманіе на своего даровитаго слушателя и помѣстилъ въ своемъ журналѣ четыре его переводныя статьи: 1) О зеркалахъ древнихъ; 2) Торгъ семи музъ, 3) О приращеніи рисовальнаго художества и 4) О дѣйствіи и существѣ стихотворства. По рекомендаціи кого-то изъ своихъ профессоровъ, Фонъ-Визинъ добылъ себѣ заказъ отъ московскаго книгопродавца—перевести басни Гольберга, перевелъ ихъ (1761 г.) и получилъ, вмѣсто гонорарія, отъ издателя на 50 рублей иностранныхъ книгъ. Книги эти, по собственному отзыву Фонъ-Визина, были «соблазнительныя и украшенныя скверными эстампами. Онѣ развратили воображеніе и возмутили душу». Рѣзкій переходъ отъ піетистическихъ воззрѣній патриархальной семьи къ распущенности цинизма имѣлъ вредное вліяніе на организмъ юноши. Около

того же времени Фонъ-Визинъ сталъ развязнѣе на языкѣ: острыя насмѣшки и эпиграммы стали облетать всю Москву, доставляли автору ихъ репутацію «злаго и опаснаго мальчишки». Фонъ-Визинъ самъ упоминаетъ, что въ это время онъ написалъ нѣсколько сатиръ, наполненныхъ «острыми ругательствами»; къ сожалѣнію эти первыя вспышки его сатирическаго ума не дошли до насъ во всей цѣлости, кромѣ басни «Лисица-кознодѣй», которая, вѣроятно, была написана около 1762 г. Вскорѣ послѣ басенъ Гольберга, Фонъ-Визинъ, еще будучи студентомъ, началъ переводить (1762г.)—съ нѣмецкаго перевода, а не съ французскаго оригинала,—нравоучительный романъ аббата Террассона: «Геройская добродѣтель или жизнь Сноа, царя Египетскаго». Окончаніе перевода сдѣлано было имъ уже въ Петербургѣ, въ 1763—68 гг. Нравоучительные романы, во вкусѣ Телемака и Велизарія, были тогда въ большомъ ходу: изъ нихъ почерпала публика и нравственные правила, и политическую мудрость; они замѣняли то, что составляетъ теперь отдѣльную отрасль литературы—публицистику. Новый переводъ Фонъ-Визина былъ похваленъ Рейхелемъ въ его журналѣ; но самъ переводчикъ остался недоволенъ своимъ трудомъ и называлъ его несовсѣмъ удачнымъ. Къ университетской же эпохѣ относятся и два другіе его перевода: «Овидіевыхъ превращеній» и Альзиры Вольтера. Послѣдній переводъ, сдѣланный стихами, произвелъ, по словамъ Фонъ-Визина, много шума въ свое время, вѣроятно, благодаря имени Вольтера; но самъ по себѣ онъ былъ очень плохъ, такъ что переводчикъ не отдалъ его ни на театръ, ни въ печать. Даже незнаніе языка обнаружилось здѣсь въ сильной степени; такъ напр. стихъ Вольтера: *les marbres*

impuissants en sabres façonnés» Фонъ-Визинъ перевелъ: без-
силныя мармори, въ песокъ преобращенныя, при чемъ явно
сбѣшагъ два сходно-звучащія французскія слова: *sabre* (саб-
ля, мечъ) и *sable* (песокъ.) По этому поводу А. С. Хво-
стовъ ¹⁾ въ своей сатирѣ на Фонъ-Визина, между про-
чимъ, говоритъ: «нельзя, чтобъ ты меча съ пескомъ
не распозналъ». Въ 1762 г. Фонъ-Визинъ кончилъ курсъ
въ университетѣ и, вскорѣ по приѣздѣ двора въ Москву,
опредѣлился на службу въ иностранную коллегію перевод-
чикомъ съ латинскаго, французскаго и нѣмецкаго язы-
ковъ ²⁾. Тогдашній канцлеръ, Мих. Цар. Воронцовъ, по-
ручалъ Фонъ-Визину переводъ важнѣйшихъ бумагъ, а когда
пришлось отправить къ герцогинѣ шверинской пожалован-
ный ей орденъ Св. Екатерины, то для этой поѣздки былъ
избранъ также молодой переводчикъ, который и заслужилъ
благосклонность самой герцогини и нашего министра при

¹⁾ Александръ Семеновичъ Хвостовъ (1753—1820) написалъ нѣсколько
шутливыхъ стихотвореній, оставшихся въ рукописи, и Оду къ безмер-
тію, напеч. въ «Собесѣдникѣ любителей Россійск. Слова». Ему же принад-
лежитъ: переводъ комедій Теренція (1777), переводъ статей о Португаліи
изъ всеобщей географіи Бюшинга и оригинальная комедія: «Оборотень».

²⁾ Въ подлинномъ прошеніи, поданномъ Фонъ-Визинномъ въ гос. ко-
ллегію иностранныхъ дѣлъ (въ октябрь 1762 г.) объ опредѣленіи его въ
эту коллегію, онъ писалъ: «Въ 1754 г. написалъ я въ оный (семенов-
скій) полкъ въ солдаты и отпущенъ для обученія наукъ въ имп. москов-
скій университетъ, въ которомъ обучался латинскому, французскому и
нѣмецкому языкамъ и разнымъ наукамъ и за обученіе произведенъ въ
полку по порядку до нынѣшняго моего чина, а въ университетѣ студен-
томъ». Между тѣмъ у кн. Вяземскаго въ «краткой запискѣ о службѣ
Ф. В., извлеченной изъ официальныхъ бумагъ», сказано, что онъ всту-
пилъ въ службу въ 1755 г. Это не вѣрно, потому что 1754 годъ постоянно
означается и въ «Спискахъ находящимся у статскихъ дѣлъ... съ по-
казаніемъ каждаго вступленія въ службу и въ настоящій чинъ».

ей дворѣ. Это была первая заграничная поѣздка Фонъ-Визина; послѣ онъ совершилъ ихъ еще три, въ разные мѣста, то по болѣзни жены, то самъ лѣчася отъ тяжелой болѣзни. 8 октября 1763 г. Фонъ-Визинъ, числясь на службѣ въ иностранной коллегіи, былъ прикомандированъ для нѣкоторыхъ дѣлъ къ кабинетъ-министру Ивану Перфильевичу Елагину и состоялъ при немъ болѣе шести лѣтъ. Служба при Елагинѣ осталась памятна для Фонъ-Визина лишь по однимъ непріятностямъ, перенесеннымъ имъ отъ своего сослуживца, Владиміра Игнатьевича Лукина, извѣстнаго драматическаго писателя того времени. Самъ Елагинъ сначала, повидимому, былъ добръ и ласковъ къ своему подчиненному; но о его служебной карьерѣ заботился весьма мало. Потомъ они и совсѣмъ разсорились. Фонъ-Визинъ въ 1768 г. писалъ къ своимъ родителямъ: «Въ производствѣ моемъ надежды никакой нѣтъ. По крайней мѣрѣ Иванъ Перфильевичъ о томъ, кажется, уже забылъ; напоминаніе же мое было бы излишне. Онъ меня любитъ; да вся его любовь состоитъ въ томъ, кажется, чтобы со мною обѣдать и проводить время. О счастіи же моемъ (т. е. о служебной карьерѣ) не рачить онъ нисколько, да и о своемъ не много помышляетъ»; а въ сентябрѣ того-же года онъ совсѣмъ рѣшился оставить службу у «этого урода», какъ писалъ своему отцу. Что было причиною ссоры Фонъ-Визина съ Лукинымъ: зависть ли Лукина къ дарованіямъ юноши, отбивавшаго у него первенство въ кабинетѣ начальника, насмѣшки ли Фонъ-Визина надъ литературными трудами обидчиваго автора?—рѣшить этотъ вопросъ довольно трудно, тѣмъ болѣе, что мы имѣемъ объ этой ссорѣ только одностороннее свидѣтельство

самого Фонъ-Визина, который могъ быть и несправедливъ къ своему сопернику, если не въ литературѣ, то въ службѣ. Впрочемъ сторону Фонъ-Визина поддерживаютъ въ этомъ случаѣ отзывы лучшихъ сатирическихъ журналовъ екатерининскаго времени, единогласно нападавшихъ на Лукина за его необыкновенную самонадѣянность и литературное самохвальство. Какъ бы то ни было, но Фонъ-Визинъ не щадилъ красокъ для изображенія Лукина въ самомъ дурномъ и ненавистномъ видѣ. «Клянусь вамъ Богомъ—писалъ онъ роднымъ—что невозможно представить себѣ на мысль всѣ тѣ злости, всѣ тѣ бездѣльническія хитрости, которыя употреблялъ Лукинъ къ поврежденію меня въ мысляхъ Ивана Перфильевича и всей его фамиліи! И дѣйствительно онъ сдѣлалъ бы-ло то, что я, несмотря ни на бѣдность свою, ни на то, что долженъ службою искать своего счастья, принужденъ былъ оставить службу». Ко времени службы при Елагинѣ относится знакомство Фонъ-Визина съ однимъ княземъ, молодымъ писателемъ, который ввелъ его въ общество людей невѣрующихъ. Лучшее препровожденіе времени въ этомъ обществѣ состояло въ богохуленіи и кощунствѣ. «Въ первомъ, говоритъ Фонъ-Визинъ, не принималъ я никакого участія и содрогался, слыша ругательства безбожниковъ; а въ кощунствѣ игралъ я и самъ не послѣднюю роль... Въ сіе время сочинилъ я посланіе къ Шумилу, въ коемъ нѣкоторые стихи являютъ тогдашнее мое заблужденіе, такъ что отъ сего сочиненія у многихъ прослылъ я безбожникомъ». Ученіе энциклопедистовъ, распространявшееся тогда по Европѣ, проникло и въ Россію; въ немъ замѣтны были зародыши двухъ философскихъ системъ: деистической и соб-

ственно матеріалистической или атеизма. Вольтеръ, не будучи христіаниномъ въ конфессіональномъ смыслѣ, признавалъ еще въ явленіяхъ жизни и природы высшее, регулирующее начало; другіе энциклопедисты, какъ напр. Гельвецій и Дидро, совсѣмъ отвергали деистическій принципъ. Нашъ русскій, доморощенный атеизмъ ведетъ, какъ извѣстно, свою генеалогію отъ Вольтера. Кое-кто читалъ у насъ Гельвеція и читалъ съ пониманіемъ, но большинство такъ называемыхъ волтеріанцевъ придерживалось въ своемъ безбожіи острыхъ фразъ и кощунственныхъ выходокъ противъ религіи. Это было легкомысленное бреттерство, столько же задорное въ молодости, подъ вліяніемъ горячей крови и застольныхъ бесѣдъ, сколько трусливое въ старости, подъ угрозою смертнаго часа и при нетвердой увѣренности въ отсутствіи адскихъ мукъ. Такое кощунство, отнимая у человѣка поддержку простодушныхъ вѣрованій, не давало ему взамѣнъ ничего прочнаго, на чемъ можно было бы остановиться и успокоиться; разрушая нравственные принципы, созданные преданіемъ, не внушало другихъ, которые могли бы служить имъ противовѣсомъ или замѣною. Фонъ-Визинъ, увлекаясь природною остротою ума, падкаго на шутки и эпиграммы, являлся въ атеистическій кружокъ и вторилъ ему, когда рѣчь заходила о религіозныхъ предметахъ; но вскорѣ, послѣ нѣсколькихъ поѣздокъ въ Москву, гдѣ не было для него поддержки въ скептической бесѣдѣ,—прежняя компанія показалась ему далеко не столь пріятной; въ душѣ воскресли и живѣе заговорили воспоминанія дѣтства, осмѣянные, но ничѣмъ основательно не разрушенные. Подъ вліяніемъ этой внутренней реакціи онъ сталъ искать душеспасительныхъ бесѣдъ, и

Г. Н. Тепловъ предложилъ ему услуги въ «опредѣленіи системы вѣры». По совѣту Теплова, Фонъ-Визинъ перевелъ отрывки изъ книги Самуэля Кларка: «Доказательства бытія Божія и истинны христіанской вѣры» и хотѣлъ приложить ихъ въ концѣ своего «Чистосердечнаго признанія», которое впрочемъ осталось не оконченнымъ.

Въ Петербургѣ же, при Елагинѣ, Фонъ-Визинъ началъ, а въ Москвѣ окончилъ (1766 г.) свою оригинальную комедію «Бригадиръ» и переводъ поэмы Битобе: «Іосифъ». По возвращеніи изъ отпуска Фонъ-Визинъ, кажется, первому Елагину прочелъ своего «Бригадира». Невзвѣстно: понравилась ли пьеса кабинетъ-министру; достоверно только, что не онъ первый выдвинулъ впередъ и пьесу, и автора. Какъ-то случилось Фонъ-Визину прочитать «Бригадира» въ обществѣ А. И. Бибикова и графа Григорія Григорьевича Орлова; чтеніе понравилось имъ, и Орловъ не преминулъ сообщить объ этой пріятной новости самой императрицѣ. Приглашенный въ Петергофъ, молодой авторъ прочелъ, послѣ бала, свою пьесу государынѣ. Сконфузившись сначала, онъ, ободренный похвалами слушательницы, входилъ болѣе и болѣе въ смыслъ чтенія и, когда окончилъ, то удостоился самаго милостиваго привѣтствія. Съ этой минуты и пьеса, и ея молодой авторъ сдѣлались достояніемъ всѣхъ петербургскихъ салоновъ. Великій князь Павелъ Петровичъ, графы Панины, графы Чернышovy, графъ А. С. Строгановъ, гр. А. П. Шуваловъ, графиня М. А. Румянцова, всѣ напереывъ желали видѣть автора и слышать пьесу, заслужившую высочайшее одобреніе. Фонъ-Визинъ не зарывалъ въ землю своего таланта: читая хорошо, онъ увлекалъ всю знать своей

песей, пока не прошла на нее мода. Не знаемъ, какими отзывами почтили автора Чернышова, Шуваловъ и др.; но Н. И. Панинъ, впоследствии начальникъ Фонъ-Визина, произнесъ о пьесѣ весьма дѣльное сужденіе: «я вижу, сказалъ онъ автору, что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо бригадирша ваша всѣмъ родня; никто сказать не можетъ, что такую же Акулину Тимоѣевну не имѣеть—или бабушку, или тетюшку, или какую нибудь свойственницу». Какъ прославленный авторъ Бригадира, Фонъ-Визинъ попалъ на обѣдъ къ одному графу, весьма знатному по чину, считавшемуся умнымъ и просвѣщеннымъ человѣкомъ. «Старый грѣшникъ—писалъ о немъ Фонъ-Визинъ—отвергалъ даже бытіе Вышняго Существа. Я поѣхалъ къ нему съ княземъ (о которомъ мы упоминали выше), надѣясь найти въ немъ, по крайней мѣрѣ, разсуждающаго человѣка; но поведеніе его иное мнѣ показало. Ему вздумалось за обѣдомъ открыть свой образъ мыслей или, лучше сказать, свое безбожіе при слугахъ. Разсужденія его были софистическія и безуміе явное, но со всѣмъ тѣмъ поколебали душу мою».

Вскорѣ Фонъ-Визинъ отправился за духовною помощью къ Г. Н. Теплову. Тепловъ назвалъ Фонъ-Визину еще другаго, подобнаго же атеиста, къ удивленію нашему, оберъ-прокурора св. синода: доказательство, что идеи французской философін, хотя поверхностно, но довольно широко захватили въ свой кругъ наше высшее общество XVIII-го столѣтія. Этотъ оберъ-прокуроръ былъ даже такимъ рьянымъ пропагандистомъ новаго ученія, что, при встрѣчѣ въ гостинномъ дворѣ съ унтеръ-офицеромъ гвардіи, не преминулъ вразумить его сейчасъ же по вопросу о бытіи Божіемъ. На-

сколько осмысленны были въ то время эти атеистическія бравады, мы объяснили выше. Слѣдуетъ замѣтить, что, отказавшись въ теоріи отъ религіознаго вольнодумства, Фонъ-Визинъ никогда не покидалъ своего политическаго либерализма, что видно напр. изъ переведеннаго имъ (въ 1777 г.) «Похвальнаго слова Марку Аврелію». До болѣзни своей, Фонъ-Визинъ и въ религіозномъ благочестіи не заходилъ очень далеко.

Кромѣ графскихъ салоновъ, Фонъ-Визинъ посѣщалъ въ то же время и литературныя гостинныя, какъ напр. г-жи Мятлевой, у которой собирались по вечерамъ многіе литераторы: Херасковъ, Майковъ, Богдановичъ и др. «Пылкость ума его, необузданное, острое выраженіе всегда всѣхъ раздражало и бѣсило, но со всѣмъ тѣмъ всѣ любили его». (Фонъ-Визинъ, соч. кн. Вяземскаго, стр. 244). Какъ находчивъ былъ Фонъ-Визинъ въ разговорѣ и какъ ловко отражалъ онъ насмѣшку, можно заключить изъ слѣдующаго разсказа: А. С. Хвостовъ, въ стихотвореніи своемъ, назвалъ фонъ-Визина кумомъ музъ. «Можетъ быть,—замѣтилъ Денисъ Ивановичъ при чтеніи этой сатиры,—только навѣрно покумился я съ музами не на крестинахъ автора» ¹⁾).

Придворныя балы и маскарады, петербургскія увеселенія и большинство петербургскихъ знакомствъ мало привлекали къ себѣ Фонъ-Визина, не смотря на его общительность и

¹⁾ Кстати приведемъ еще анекдотъ о Фонъ-Визинѣ. Рассказываютъ, будто слушая чтеніе «Росслава» Я. Б. Княжнина, Фонъ-Визинъ спросилъ няконецъ автора: «Когда-же вырастетъ твой герой? Онъ все твердитъ: я—Россъ, я—Россъ! пора-бы ему и перестать расти!» Княжнинъ отвѣчалъ на это: «Мой Росславъ совершенно вырастетъ, когда твоего «Бридира» произведутъ въ генералы».

лихорадочную подвижность ума. Въ натурѣ его всегда таилось какое-то хорошее, симпатическое начало, привлекавшее его только къ людямъ, которые имѣли съ нимъ что нибудь общее, которые могли бы достойно раздѣлять его къ нимъ привязанность. «Одинъ Богъ видитъ, писалъ онъ къ роднымъ изъ Петербурга, какъ мнѣ съ вами хочется увидѣться...» — «Я не лгу, писалъ онъ въ другомъ письмѣ, что здѣсь знакомства еще не сдѣлалъ. Съ кадетскимъ корпусомъ не очень обхожусь, затѣмъ что тамъ большая часть солдаты; а съ академіей—затѣмъ что тамъ большая часть педанты... Да сверхъ того слово знакомство, можетъ быть, вы не такъ понимаете, какъ я. Я хочу, чтобы оно было основаніемъ *ou de l'amitié ou de l'amour*; однако этого желанія по несчастію недостаточно и ниже тѣни къ исполненію онаго не имѣю».

Въ декабрѣ 1769 года Фонъ-Визинъ перешелъ отъ Елагина въ иностранную коллегію, къ графу Н. И. Панину, которому сталъ извѣстенъ, живя въ Петергофѣ. Это мѣсто было самое видное во всей служебной карьерѣ Фонъ-Визина: онъ былъ, по собственнымъ словамъ, «неотлучно при своемъ благодѣтелѣ до послѣдней минуты его жизни († 31 марта 1783 г.) и, сохраняя къ нему непоколебимую преданность, удостоенъ былъ всегда полной его довѣренности». — Не всѣ служившіе у гр. Панина были такъ честны въ отношеніи къ нему ¹⁾; одинъ изъ нихъ «заплатилъ за всѣ благодѣянія (Панина) всею червотою души и, снѣдаемъ будучи самолюбіемъ, алчущимъ возвышенія, вредилъ положенію своего

¹⁾ Кромѣ Фонъ-Визина, занимались при гр. Панинѣ: Петръ Васильевичъ Бакувинъ и Яковъ Яковлевичъ Убри.

благотворителя столько, сколько находилъ то нужнымъ для выгоды своего положенія». Разсказывали прежде и о Фонѣ-Визинѣ, что, ходя къ Потемкину, своему бывшему университетскому товарищу, уже вошедшему въ силу, онъ переразвивалъ виѣшній видъ Панина и вообще старался унижить его въ глазахъ временщика; но это слѣдуетъ отнести къ разряду апокрифическихъ сказаній. Фонѣ-Визинѣ, правда, владѣя большимъ комическимъ талантомъ, любилъ и умѣлъ подтрунить надъ смѣшными сторонами своихъ знакомыхъ, слѣдовательно, онъ могъ позволить себѣ гдѣ нибудь шутку и насчетъ гр. Панина; но сознательнаго желанія унижить гр. Панина, чтобы подслужиться Потемкину—нельзя допустить уже потому, что первая попытка въ подобномъ смыслѣ была бы тотчасъ передана Панину услужливыми наущниками и непременно разсорила бы его съ Фонѣ-Визинѣмъ. Къ тому же извѣстно, что въ характерѣ Фонѣ-Визина совсѣмъ не было двоедушія; онъ никогда не добивался своихъ выгодъ ни посредствомъ личнаго низкопоклонства, ни путемъ своего таланта, и остается чистъ отъ всякаго подобнаго упрека. Не только предъ вельможами, но и предъ самою императрицею онъ держалъ себя независимо и конечно съ бѣльшимъ правомъ, чѣмъ самъ авторъ приводимыхъ стиховъ, могъ сказать о себѣ:

. сердца моего товаровъ
За деньги я не продаю.

Отношенія Панина къ Фонѣ-Визину оставались всегда самыми дружелюбными съ начала и до конца служебнаго поприща Фонѣ-Визина. Что касается до личности самого графа Н. И. Панина, то онъ былъ однимъ изъ образован-

нѣйшихъ людей своего времени и очень даровитымъ государственнымъ человѣкомъ, искусно лавировавшимъ на дипломатическомъ полѣ. «По внутреннимъ дѣламъ — пишетъ о немъ Фонъ-Визинъ — гнушался онъ въ душѣ своей поведеніемъ тѣхъ, кои по своимъ видамъ, невѣжеству и рабству, составляютъ государственный секретъ изъ того, что въ націи благоустроенной должно быть извѣстно всѣмъ и каждому, какъ-то: количество доходовъ, причины налоговъ и проч. Не могъ онъ терпѣть, что по дѣламъ гражданскимъ и уголовнымъ учреждались самовластіемъ частныя комиссіи мимо судебныхъ мѣстъ, установленныхъ защищать невинность и наказывать преступленія». Настаивая на раскрытіи финансоваго положенія страны, ея доходовъ и расходовъ, графъ Панинъ касался самой важной болѣзни екатерининскаго царствованія. Чтобы не говорить голословно, вспомнимъ скандальную исторію банкира Сутерланда, который «былъ со всѣми вельможами въ великой связи, потому что онъ имъ ссужалъ казенныя деньги, которыя принималъ изъ государственнаго казначейства для перевода въ чужіе края по случавшимся тамъ министерскимъ надобностямъ» (Зап. Державина). Одному Потемкину перешло при этомъ 800,000 р., и вся эта сумма впоследствии была принята императрицею на счетъ государственной казны. Вспомнимъ другой случай въ государственномъ заемномъ банкѣ, директоры котораго «вошли между собою въ толь короткую связь, что брали казенныя деньги на покупку брилліантовъ, дабы, продавъ ихъ императрицѣ съ барышемъ, внести въ казну забранныя ими суммы и сверхъ того имѣть себѣ какой либо прибытокъ» (ibid.) Во внѣшнихъ сношеніяхъ графъ

Панинъ продолжалъ традиціонную Петровскую политику — ослабленія (но не разрушенія) Польши, которая и была наконецъ раздѣлена, вопреки его видамъ, между тремя сосѣдними державами, добывалъ Турцію и стремился ограничить морской деспотизмъ Англіи. Во всѣхъ этихъ дипломатическихъ сношеніяхъ принималъ участіе и Фонъ-Визинъ, который, являясь точнымъ исполнителемъ министерскихъ приказаній, вносилъ, въ тоже время, и свои мысли въ секретарскую работу, проходившую между его рукъ. Изъ частной переписки Фонъ-Визина съ нашими дипломатическими министрами того времени видно, что онъ пользовался довѣріемъ графа Н. И. Панина;—къ его помощи часто прибѣгали помянутыя лица: за полученіемъ орденской ленты, какъ Стакельбергъ, за удовлетвореніемъ личной обиды, какъ Марковъ, за скорѣйшей высылкой денегъ, какъ Зиновьевъ (посланникъ въ Мадридѣ), за прибавкой жалованья духовнику посольства, какъ Булгаковъ. Одинъ посылаетъ ему въ подарокъ бархатный кафтанъ, другой—зубочисти; третій хочетъ «прислать вина шампанскаго», если только пожелаетъ Фонъ-Визинъ и т. д. Даже грубый Сальдернъ (нашъ посолъ въ Варшавѣ), честившій Маркова par les épithètes diffamantes de sot et de miserable,—даже онъ любезничалъ съ Фонъ-Визиномъ въ письмахъ и спрашивалъ его мнѣнія о разныхъ политическихъ событіяхъ. — «Прошу, государь мой,—пишетъ Фонъ-Визину Обрѣсковъ,—когда праздное время излучите, посѣтить моихъ дѣтей, дать имъ хорошія наставленія къ ученію и поведенію, да и учителя ихъ побуждать ко всевозможному ихъ обученію». Особенно дружескій тонъ господствуетъ въ перепискѣ Фонъ-Визина съ Я. И. Булгаковымъ; сохранились также отвѣты на

его письма А. И. Бибикова ¹⁾ и, судя по нимъ, авторъ Бригадира былъ весьма близокъ къ первому покровителю своего таланта (см. у князя Вяземскаго, стр. 72—79).

Кстати замѣтить, что въ ссорѣ секретаря русскаго посольства въ Варшавѣ Маркова съ посланникомъ Сальдеромъ Фонъ-Визинъ взялъ сторону обиженнаго, хотя Сальдеръ былъ въ то время еще очень силенъ въ мнѣніи графа Н. И. Панина. Служа при графѣ Н. И. Панинѣ, Фонъ-Визинъ вступилъ въ переписку съ братомъ его, Петромъ Ивановичемъ ²⁾, жившимъ въ отставкѣ, въ Москвѣ, при чемъ сообщалъ своему любознательному корреспонденту копіи съ интересныхъ дипломатическихъ бумагъ, конечно, не безъ вѣдома самого министра иностранныхъ дѣлъ. Эти короткія отношенія продолжались и по смерти графа Н. И. Панина.

¹⁾ Александръ Ильичъ Бибиловъ, генералъ-аншефъ, род. въ Москвѣ въ 1729 г. ум. въ Бугульмѣ въ 1774 г. Служба его началась въ 1746 г.; во время семилѣтней войны онъ былъ полковникомъ и отличился во многихъ сраженіяхъ. Въ 1766 г. костромское дворянство выбрало его депутатомъ въ комиссію для составленія новаго уложенія, а въ слѣдующемъ году императрица назначила его маршаломъ этой комиссіи. Съ іюня 1771 г. Бибиловъ начальствовалъ русскимъ корпусомъ въ Польшѣ, а въ концѣ 1773 г. былъ посланъ противъ Пугачева. Вскорѣ онъ заболѣлъ горячкою и умеръ, не успѣвъ подавить вооруженнаго возстанія.

²⁾ Петръ Ивановичъ Панинъ род. въ 1721 г. ум. въ 1789. Онъ участвовалъ въ семилѣтней войнѣ и былъ главнымъ виновникомъ побѣды надъ Франкфуртомъ на Одерѣ. Въ 1769 г. онъ начальствовалъ второй арміею, назначенной противъ турокъ, а впоследствии окончательно усмирить мятежъ Пугачева, по смерти А. И. Бибилова. Панинъ извѣстенъ былъ прямою и честностію своего характера, за что и не пользовался при дворѣ особенною пріязнью. «Я никогда не была охотница до Петра Панина», говорила Екатерина, назначая его противъ Пугачева. Только государственная необходимость заставила императрицу рѣшиться на эту хѣтру.

Въ 1773 г. состояніе Фонъ-Визина, жившаго до тѣхъ поръ почти однимъ жалованьемъ, неожиданно увеличилось. Графъ Н. И. Панинъ, окончивъ воспитаніе наслѣдника, получилъ между прочимъ въ награду 9000 душъ крестьянъ въ Бѣлоруссіи и изъ этого числа уступилъ (около 4-хъ тысячъ) тремъ своимъ сотрудникамъ. Между ними Фонъ-Визину досталось при дѣлѣжѣ 1180 душъ. Около того же времени Фонъ-Визинъ познакомился со вдовой Хлоповой, рожденной Роговиковой, и въ 1774 г. женился на ней, отчасти для того, чтобы прекратить сплетни, которыя стали распускать на счетъ ихъ взаимнаго расположенія. Въ приданое за женою онъ получилъ по тяжбѣ, имъ самимъ веденной, нѣкоторую сумму денегъ и домъ въ Галерной, цѣною въ 20,000 р. На эти средства Фонъ-Визинъ могъ предпринять три путешествія за границу и вести довольно прихотливую жизнь, которая, при дурномъ хозяйствѣ, скоро разстроила его далеко не огромное состояніе. По смерти Фонъ-Визина, жена его, оставленная всѣми знакомыми, много бѣдствовала, выпрашивая изъ нужды денегъ по мелочамъ. О первой поѣздкѣ или, точнѣе, о командировкѣ Фонъ-Визина за границу мы упоминали въ началѣ статьи; во второй разъ (собственно первое путешествіе) ѣздилъ онъ въ 1777—8 годахъ для поправленія здоровья своей жены и проѣхалъ чрезъ Варшаву, Дрезденъ, Франкфуртъ на Майнѣ, Страсбургъ, Ліонъ и Нимъ до Монпелье — цѣли своей поѣздки. Въ Монпелье пробылъ онъ около двухъ мѣсяцевъ для леченія жены и въ концѣ февраля 1778 г. пріѣхалъ въ Парижъ, справедливо почтавшійся центромъ умственной жизни Европы. Плодомъ этой поѣздки были извѣстныя его письма къ сестрѣ, Фредосѣ

Ивановиѣ (въ замужествѣ Аргамаковой) и къ графу П. И. Панину, — письма, написанныя въ разномъ тонѣ, по исполненія повтореній, такъ какъ они касаются однихъ и тѣхъ же лицъ и событій. За границей Фонъ-Визинъ держалъ себя, какъ знатный человѣкъ, и, пользуясь конечно своимъ officialнымъ положеніемъ при графѣ Н. И. Панинѣ, водилъ знакомство съ мѣстными аристократами и русскими посланниками. Въ Варшавѣ русскій посолъ сдѣлалъ визитъ его жентѣ, а на другой день далъ обѣдъ, на которомъ познакомилъ своихъ гостей съ высшимъ польскимъ обществомъ. «Всякій вечеръ — писалъ Фонъ-Визинъ къ своей сестрѣ — мы званы на ассамблеи. Вчера поутру (17 сент. 1777 г.) посолъ пріѣхалъ къ намъ и сидѣлъ до обѣда, что здѣсь за величайшую отличность почитается. Онъ офрировалъ намъ домъ свой такъ, чтобы мы за нашъ собственный почитали. По пріѣздѣ королевскомъ въ первый куртагъ, посолъ ему меня представилъ. Король (Станиславъ-Августъ), подошедъ ко мнѣ, сказалъ съ видомъ весьма ласковымъ, что онъ знаетъ меня давно по репутаціи и весьма радъ видѣть меня въ своей землѣ. Потомъ спрашивалъ меня о здоровьѣ жены моей и долго ли здѣсь останемся... Посолъ нашъ всякій день звалъ меня обѣдать къ себѣ и возилъ меня съ визитами, которые мнѣ и возвращены; словомъ сказать, мы всякій день выѣзжаемъ, и время летитъ нечувствительно». Въ Парижѣ нашъ посланникъ, Бястинскій, самъ прискакалъ верхомъ къ Фонъ-Визину и обошелся съ нимъ, «какъ съ роднымъ братомъ». Здѣсь же Фонъ-Визинъ былъ свидѣтелемъ триумфа, устроеннаго Вольтеру, и познакомился съ кружкомъ французскихъ писателей, управлявшихъ обще-

ственнымъ мнѣніемъ Европы. Но ни Вольтеръ, ни Дидро ¹⁾, ни Руссо не привлекли къ себѣ его сочувствія, и онъ отзывается о всѣхъ энциклопедистахъ съ неудержимымъ цинизмомъ, доходящимъ даже до бранныхъ выраженій въ родѣ «урода» и «шарлатана»; въ особенности не посчастливилось д'Аламберу ²⁾, у котораго найдена была «премерзкая фигура и преподленькая фizioномія». Источникъ негодованія Фонъ-Визина былъ впрочемъ довольно извинительный: его поразило то обстоятельство, что, по приѣздѣ въ Парижъ брата одного изъ петербургскихъ временщиковъ, д'Алам-

¹⁾ Дени Дидро (1713—1784 г.) можетъ быть названъ главою энциклопедистовъ на томъ основаніи, что онъ, при участіи многихъ сотрудниковъ, издавалъ вмѣстѣ съ д'Аламберомъ «Энциклопедію», или громадный алфавитный сборникъ статей по всѣмъ наукамъ (*Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société des gens de lettres*). Это изданіе продолжалось въ теченіе 20-ти лѣтъ (1751—1772 г.). Вольтеръ (1694—1778 г.) принималъ живѣйшее участіе въ этой «Энциклопедіи»: онъ давалъ совѣты своимъ друзьямъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, присылалъ статьи, предлагалъ перенести изданіе въ Лозанну и готовъ былъ употребить для него половину своего состоянія. Кромѣ Вольтера, въ «Энциклопедіи» участвовали: Бюффонъ, Монтескье, Гельвецій (1715—1771), Гольбахъ (1723—1789) и Кондильякъ (1715—1780). Три послѣдніе мыслителя принадлежатъ къ материалистической школѣ; ихъ философія выражается въ сочиненіи: *Système de la nature* (Гольбаха), *De l'esprit* (Гельвеція), *Traité des sensations* (Кондильяка). Самъ Дидро тоже не былъ деистомъ и, если вѣрить рассказъ, умиралъ, развивая свои отрицательные взгляды.

²⁾ д'Аламберъ, род. въ Парижѣ въ 1717 г., ум. въ 1783 г. Знаменитый математикъ и философъ, редакторъ «Энциклопедіи», для которой онъ написалъ: *Discours préliminaire*. Въ 1758 г. д'Аламберъ оставилъ энциклопедію, и Дидро одинъ продолжалъ вести предпріятіе. Съ 1754 г. д'Аламберъ считался членомъ французской академіи, а въ 1772 году былъ избранъ ея секретаремъ. Между энциклопедистами онъ отличался спокойствіемъ и методичностью въ изложеніи статей, а также безупречнымъ благородствомъ своего личнаго характера.

беръ. Мармонтель и другіе писатели явились «въ передней засвидѣтельствовать свое низжайшее почтеніе» для того, какъ несправедливо полагалъ Фонъ-Визинъ, чтобы получить подарки отъ нашего двора. «Мое душевное почтеніе, говоритъ путешественникъ, совсѣмъ истребилось послѣ такого подлаго поступка». При этомъ строгій критикъ не сообразилъ только, что со стороны д'Аламбера, осмыаннаго любезностями русской императрицы, подобный визитъ къ брату ея приближеннаго былъ, по тогдашнимъ понятіямъ, дѣломъ простой учтивости, и что Мармонтель, котораго сочиненія жгли въ Парижѣ и переводили въ Петербургѣ, тоже могъ питать нелюдимѣрное уваженіе къ Екатеринѣ II-й и пожелать выразить ей это уваженіе черезъ посредство близкаго лица. Таковы же были отношенія къ русскому двору Вольтера и Дидро. Окруженные знаками самаго лестнаго вниманія императрицы, они честно слали на Сѣверъ свои гимны и поощренія. Конечно, имъ доставались при этомъ небольшія выгоды (какъ напр., покупка библіотеки у Дидро, съ предоставленіемъ пожизненнаго пользованія ея владѣльцу); но эти выгоды были такъ ничтожны сравнительно съ другими наградами Екатерины II-й, что трудно рѣшиться обозвать ихъ подлостью, имѣя въ виду то, чего могли бы достигнуть эти люди, еслибы они, въ самомъ дѣлѣ, заботились объ однѣхъ своихъ личныхъ выгодахъ. Д'Аламберъ отказался даже отъ огромнаго жалованья и чести быть при русскомъ дворѣ, чтобы не поступиться нисколько своей независимостью. Къ тому же тонкая лесть и похвалы энциклопедистовъ были не безполезны для того дѣла, о которомъ хлопотали они. Но Фонъ-Визинъ уже мало сочувствовалъ тогда философін французскихъ энцикло-

педистовъ, быть можетъ, и потому, что въ его родимой землѣ расплодилось слишкомъ много Иванушекъ (см. Бригадира), схватившихъ въ Парижѣ одни вершки европейской цивилизаціи. По нѣкоторой близорукости и дурно-направленной страсти къ пересмѣиванью, онъ не оцѣнилъ какъ должно другихъ, полезныхъ сторонъ этой пропаганды, и ея успѣхи, ея нравственныя завоеванія не были дороги для него. Тѣмъ не менѣе, Фонъ-Визинъ признавалъ отчасти заслуги энциклопедистовъ «въ искорененіи предрасудковъ», охотно читалъ ихъ сочиненія и позаимствовался отсюда въ тѣхъ же самыхъ письмахъ изъ путешествія. Подробнѣе объ этомъ мы скажемъ во второй части нашей статьи.

Въ промежутокъ между первымъ и вторымъ путешествіемъ Фонъ-Визинъ написалъ «Недоросля» (1782 г.), который имѣлъ еще болѣе успѣха, чѣмъ «Бригадиръ». Публика, по свидѣтельству современниковъ, «аплодировала эту пьесу (во время представленія) метаніемъ кошельковъ съ деньгами»; высшая знать была тоже ею очень довольна. Потемкину приписываютъ, по этому случаю, извѣстную фразу: «умри, Денисъ, или больше ничего не пиши». И словно повинуваясь этому заклятію, Фонъ-Визинъ, дѣйствительно, не написалъ послѣ «Недоросля» ничего, выходящаго изъ ряду. Драматическіе отрывки* его: «Выборъ гувернера» и др. появились послѣ «Недоросля», но по блѣдности фигуръ кажутся или копіями съ прежнихъ комедій, или первыми черновыми набросками для серьезной работы. Второе путешествіе Фонъ-Визина за границу относится къ 1784—5 годамъ. Въ этотъ разъ онъ ѣздилъ собственно въ Италію, гдѣ пробылъ нѣсколько мѣсяцевъ и успѣлъ видѣть почти всѣ главные го-

рода. Здѣсь же купилъ онъ нѣсколько картинъ для торго-
ваго дома Клостермана въ Петербургѣ, съ которымъ во-
шелъ въ коммерческія дѣла, продолжавшіяся до конца его
жизни. Изъ этого путешествія онъ писалъ письма къ своей
сестрѣ и въ нихъ осуждалъ Италію съ такою же строгостью,
какъ и Францію. Снисхожденіе оказываетъ Фонъ-Визинъ
только къ художественнымъ произведеніямъ этой страны.
Любуясь ея превосходными бюстами и картинами, онъ изъ-
являетъ опасеніе, что самъ скоро «превратится въ бюстъ».
Барскія привычки Фонъ-Визина, привившіяся къ нему во-
лей-неволей на лонѣ крѣпостныхъ отношеній, обнаружились,
какъ въ Парижѣ, такъ и въ Италиі: живя во Франціи, онъ
удивлялся, что солдатъ садится рядомъ съ своимъ начальни-
комъ, чтобъ вмѣстѣ съ нимъ смотрѣть комедію; въ Италиі
онъ страдалъ отъ «превеликихъ грубостей» почтальоновъ,
доводившихъ его до изступленія. «Еслибъ не жена,—гово-
рятъ онъ по поводу этихъ грубостей,—которая на тотъ
часъ меня собою связала, я всеконечно потерялъ бы тер-
пѣніе и кого-нибудь застрѣлилъ бы... Англичане то и дѣло
стрѣляютъ почтальоновъ». Скромная и расчетливая жизнь
итальянцевъ не понравилась туристу, привыкшему къ бле-
ску и пышности екатерининскаго двора. «Здѣсь первая да-
ма, пишетъ онъ изъ Рима, принцесса Санта-Кроче, у кото-
рой весь городъ бываетъ на конверсаціи и у которой во
время свѣздовъ нѣтъ на крыльцѣ ни плешки. Необходимо
надобно, чтобъ гостинный лакей (т. е. слуга гостя) имѣлъ
фонарь и помогалъ своему господину взлѣзать на лѣстницу.
Надобно проходить множество покоевъ, или, лучше сказать,
хлѣбовъ, гдѣ горитъ по лампадочкѣ масла. Гостей ничѣмъ

не потчиваютъ и не только кофе или чаю, ниже воды не подносятъ».

Оставивъ Венецію въ маѣ 1785 г., Фонъ-Визинъ возвратился въ августѣ того же года въ Москву и вскорѣ (29 авг.) пострадалъ отъ паралича, который до конца жизни отнялъ у него свободное употребленіе языка и лѣвой руки и ноги. Кажется, что первое предвѣстіе паралича почувствовалъ Фонъ-Визинъ еще въ Римѣ: по крайней мѣрѣ, въ письмѣ изъ Вѣны (май 1785 г.) онъ жалуется на «слабость нервовъ и онѣмѣніе лѣвой руки и ноги». Уже съ цѣлью лечиться отъ этихъ непріятныхъ послѣдствій болѣзни проѣхалъ онъ, по совѣту вѣнскаго медика, въ Баденъ, гдѣ принималъ сѣрные ванны. Послѣ паралича, поразившаго его въ Москвѣ, Фонъ-Визинъ сильно упалъ тѣломъ и духомъ. Куда дѣвались его прежнія бодрость въ житейскихъ невзгодахъ, насмѣшки надъ людскими глупостями, иронія надъ предрассудками! Строгихъ теоретическихъ убѣжденій никогда у него не было и, даже послѣ обращенія къ Самуэлю Кларку, его неистощимый юморъ заходилъ за предѣлы того, что самъ онъ считалъ удобнымъ и открытымъ для насмѣшки. Такъ напр. въ «Недорослѣ» онъ глумился надъ Кутейкинымъ съ его ветхозавѣтнымъ языкомъ; а въ письмахъ изъ Франціи (къ гр. Панину) говорилъ о двухъ принцахъ королевскаго дома, изъ которыхъ: «одинъ имѣетъ великую претензію на царство небесное и о земныхъ вещахъ мало помышляетъ. Попы увѣрили его, что, не отрекшись-вовсе отъ здраваго ума, нельзя никакъ поправиться Богу, и онъ дѣлаетъ все возможное, чтобъ стать угодникомъ Божиимъ. Другой побѣдилъ силу

вѣры силою вина: мало людей перепить его могутъ». Но со времени болѣзни такіа вольнодумныя пополазновенія, упорно сохранившіяся въ немъ отъ юныхъ лѣтъ, наконецъ стали ему казаться предосудительными, и онъ все строже и строже подавлялъ ихъ въ себѣ. Говорятъ, что, сидя въ московской университетской церкви, онъ обращался къ студентамъ съ такою рѣчью, указывая на свои разбитые члены: «Дѣти, возьмите меня въ примѣръ: я наказанъ за вольнодумство; не оскорбляйте Бога ни словами, ни мыслью!» Преданіе это вполне достоверно: изъ исповѣди Фонъ-Визина и «разсужденій о суетной жизни человѣческой» видно, что мѣра его самоуниженія была дѣйствительно велика. «Лишился я пораженныхъ членовъ—пишетъ онъ въ «разсужденіи»—въ самое то время, когда, возвратясь изъ чужихъ краевъ, упоенъ былъ мечтою о моихъ знаніяхъ, когда безумное на разумъ мой надѣяніе изъ мѣръ выходило, и когда, казалось, представлялся случай къ возвышенію въ суетную знаменитость. Тогда Всевѣдецъ, зная, что таланты мои могутъ быть болѣе вредны, нежели полезны, отнялъ у меня самого способы изъясняться словесно и письменно, и просвѣтилъ меня въ разсужденіи меня самого». Третье путешествіе Фонъ-Визина было предпринято въ 1786 г. съ спеціальной цѣлью поправить здоровье, разстроенное параличомъ. Пробывъ въ Вѣнѣ нѣсколько мѣсяцевъ, ѣздилъ онъ въ Карлсбадъ лѣчиться цѣлебными водами; изъ Карлсбада отправился въ Тренцинъ въ Венгріи, также для пользованія водами, и возвратился въ Петербургъ въ концѣ сентября 1787 г. Лѣченіе шло неудачно, отчасти потому, что Фонъ-Визинъ частехонько выклянчивалъ

себѣ у докторовъ разныя льготы, которыя мѣшали успѣшности леченія. Въ 1789 г., тоже для возстановленія здоровья, Фонъ-Визинъ ѣздилъ въ Ригу, Бальдонъ и Митаву и, судя по его дневнику, испыталъ немало терзаній отъ докторовъ; но все было напрасно: утраченное здоровье такъ навсегда и оставило его. Жена Фонъ-Визина сопутствовала ему во всѣхъ поѣздкахъ за границу и заботливо ухаживала за больнымъ мужемъ, хотя, кажется, имѣла поводы пенять на него въ своей супружеской жизни. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1786 г. она была въ Петербургѣ съ цѣлью хлопотать о заграничной поѣздкѣ, необходимой для ея мужа; между тѣмъ Фонъ-Визину написали въ Москву, что жена его возстановляетъ всѣхъ противъ него своими жалобами и намѣрена даже просить императрицу о разводѣ. Извѣстіе это встревожило Дениса Ивановича. «Вчера узнавъ о семъ, писалъ онъ къ одному пріятелю своему, я почти вовсе сталъ безъ языка». Пріятель извѣстилъ его, что слухи совершенно ложны: Фонъ-Визинъ успокоился. Дѣйствительно, жена его, купивъ дорожную карету, немедленно пріѣхала въ Москву, и тѣмъ же лѣтомъ они отправились въ Вѣну. Грозившій призракъ скандала быстро разсѣялся; вообще брачный вѣнецъ Фонъ-Визина, не смотря на нѣкоторые случайныя неприятности, былъ для него довольно легокъ. Въ Ригу и Бальдонъ жена не сопровождала Фонъ-Визина (вѣроятно по домашнимъ препятствіямъ) и въ его дневникѣ упоминается, какъ близкій человѣкъ, нѣкто Михаилъ Алексѣевичъ—можетъ быть, братъ или родственникъ Василия Алексѣевича Аргамачова, женатаго на сестрѣ Фонъ-Визина. Дѣтей у Дениса Ивановича не было.

По смерти гр. Н. И. Панина Фонъ-Визинъ недолго находился на дѣйствительной службѣ и въ чинѣ статскаго совѣтника вышелъ въ отставку ¹⁾. Онъ могъ бы предаться тѣмъ свободнѣе литературной дѣятельности; но на бѣду болѣзнь поразила его физическія силы и умственные способности. Въ 1788 г. талантъ Фонъ-Визина въ послѣдній разъ вспыхнулъ было новою искрой; въ головѣ его родился планъ сатирическаго журнала подъ названіемъ: «Другъ честныхъ людей или Стародумъ». Но петербургская полиція не разрѣшила этого изданія, и оно остановилось на печатномъ объявленіи, да на нѣсколькихъ заготовленныхъ статьяхъ. Это запрещеніе полиціи показываетъ, что императрица уже вовсе перестала благоволить къ Фонъ-Визину. Мы говорили, что въ немъ не оказалось тѣхъ специфическихъ добродѣтелей придворнаго литератора, которыми владѣлъ съ избыткомъ Державинъ; Фонъ-Визинъ былъ слишкомъ прямъ, слишкомъ угловатъ; мало кланялся и мало унижался. Онъ какъ будто требовалъ, а не выпрашивалъ уваженія къ себѣ и своему таланту. Сверхъ того Фонъ-Визинъ былъ преданъ гр. Н. И. Панину, котораго императрица не любила и тер-

¹⁾ Въ 1780 г. Фонъ-Визинъ былъ уже канцеляріи совѣтникомъ, а въ 1781 г. назначенъ членомъ «Департамента Правленія Почтовыхъ Дѣлъ», учрежденнаго за годъ до того при иностранной коллегіи. Памятникомъ этой службы сохранился черновой собственноручный набросокъ Фонъ-Визина о почтахъ и ихъ лучшемъ устройствѣ, составляющій повидимому начало обширной официальной записки. Черезъ два года почтовое управление получило совсѣмъ иное образованіе и «Департаментъ» былъ уничтоженъ; но имени Фонъ-Визина не находится въ числѣ служащихъ лицъ еще раньше: его уже нѣтъ въ адресъ-календарѣ на 1783 г., такъ что вѣроятно Фонъ-Визинъ оставилъ службу тотчасъ посмерти графа Панина (31 марта 1783 г.).

пѣла при себѣ только по необходимости. «Фонъ-Визинъ, говоритъ Н. А. Добролюбовъ, не умѣлъ вполне понять великой Екатерины и, вслѣдствіе этого, онъ не пользовался расположеніемъ при дворѣ. Это былъ, конечно, одинъ изъ умнѣйшихъ и благороднѣйшихъ представителей истиннаго, здраваго направленія мыслей въ Россіи, особенно въ первое время своей литературной дѣятельности, до болѣзни; но его горячія, безкорыстныя стремленія были слишкомъ непрактичны, слишкомъ мало обѣщали существенной пользы предъ судомъ императрицы, чтобы она могла поощрять ихъ. И она сочла за лучшее не обращать на него вниманія, показавъ ему предварительно, что путь, которымъ онъ идетъ, не приведетъ ни къ чему хорошему.» Открытая размолвка вышла по поводу его смѣлыхъ «Вопросовъ», въ которыхъ онъ мѣтилъ на слишкомъ явные и щекотливые недостатки того времени. Но еще прежде того, Фонъ-Визинъ написалъ, по порученію гр. Н. И. Панина, одно политическое разсужденіе для великаго князя, и въ немъ затронулъ основной принципъ нашего государственнаго устройства. Екатерина, узнавъ объ этомъ, сказала въ кругу своихъ приближенныхъ: «плохо мнѣ приходится жить! ужъ и г. Фонъ-Визинъ хочетъ учить меня царствовать». Въ 1788 г. Фонъ-Визинъ получилъ отказъ къ изданію журнала. Въ концѣ жизни онъ переводилъ или собирался переводить Тацита и писалъ по этому случаю къ государынѣ (14 февр. 1790 г.), но отвѣтъ былъ неблагопріятный...

1-го декабря 1792 г. Фонъ-Визинъ умеръ въ Петербургѣ. Вотъ какъ описываетъ И. И. Дмитріевъ свою встрѣчу съ авторомъ «Педоросля» наканунѣ его смерти: «Черезъ Дер-

жавина я сошелся съ Денисомъ Ивановичемъ Фонъ-Визинъ. По возвращеніи его изъ бѣлорусскаго его помѣстья, онъ просилъ Гаврила Романовича познакомить его со мною. Я не знавалъ его въ лицо, какъ и онъ меня. Назначенъ былъ день свиданія. Въ шесть часовъ пополудни пріѣхалъ Фонъ-Визинъ. Увидя его въ первый разъ, я вздрогнулъ и почувствовалъ всю бѣдность и нищету человѣческую. Онъ вступилъ въ кабинетъ Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами, выпущенными изъ Шкловскаго кадетскаго корпуса и пріѣхавшими съ нимъ изъ Бѣлоруссіи. Уже онъ не могъ владѣть одною рукою; равно и одна нога одеревенѣла; обѣ поражены были параличомъ; говорилъ съ крайнимъ усиліемъ, и каждое слово произносилъ голосомъ охриплымъ и дикимъ; но большіе глаза его быстро сверкали. Первый, брошенный на меня, взглядъ привелъ меня въ смятеніе. Разговоръ не замѣшкался. Онъ приступилъ ко мнѣ съ вопросами о своихъ сочиненіяхъ: знаю ли я Недоросля? читалъ ли Посланіе къ Шумилову, Лисукондѣйку, переводъ его «Похвальнаго слова Марку Аврелію»? и такъ далѣе; какъ я нахожу ихъ? — Казалось, что онъ такими вопросами хотѣлъ съ перваго раза вывѣдать свойства ума моего и характера. Наконецъ спросилъ меня и о чужомъ сочиненіи: чтò я думаю о «Душенькѣ»? «Она—изъ лучшихъ произведеній нашей поэзіи», отвѣчалъ я. «Прелестна!» подтвердилъ онъ съ выразительною улыбкою. Потомъ Фонъ-Визинъ сказалъ хозяину, что онъ привезъ ему свою комедію: Гофмейстеръ ¹⁾; хозяинъ и

¹⁾ Князь Вяземскій полагаетъ, что эта самая пьеса названа впоследствии: «Выборъ гувернера». Можетъ быть такъ, а можетъ быть и иначе.

хозяйка изъявили желаніе выслушать эту новость. Онъ подалъ знакъ одному изъ своихъ вожатыхъ. Тотъ прочиталъ комедію однимъ духомъ. Въ продолженіе чтенія авторъ глазами, киваніемъ головы, движеніемъ здоровой руки подкрѣплялъ силу тѣхъ выраженій, которыя ему самому нравились. Игривость ума не оставляла его и при болѣзненномъ состояніи тѣла. Несмотря на трудность разсказа, онъ заставлялъ насъ не однажды смѣяться. Во всемъ уѣздѣ, пока онъ жилъ въ деревнѣ, удалось ему найти одного русскаго литератора, городского почтмейстера. Онъ выдавалъ себя за жаркаго почитателя Ломоносова. «Которую же изъ одъ его вы признаете лучшею?» — «Ни одной не случилось читать,» — отвѣтствовалъ почтмейстеръ. За то, продолжалъ Фонъ-Визинъ, доѣхавъ до Москвы, я уже не зналъ, куда дѣваться отъ молодыхъ стихотворцевъ. Отъ утра и до вечера, они вокругъ меня роились и жуужали. Однажды докладываютъ мнѣ: пріѣхалъ трагикъ. Принять его, сказалъ я, и чрезъ минуту входитъ авторъ съ пучкомъ бумагъ. Послѣ первыхъ привѣтствій и оговорокъ, онъ проситъ меня выслушать трагедію его въ новомъ вкусѣ. Нечего дѣлать, прошу его садиться и читать. Онъ предваряетъ меня, что развязка драмы его будетъ самая необыкновенная; у всѣхъ трагедій оканчиваются добровольнымъ или насильственнымъ убійствомъ, а его героиня, или главное лицо, умретъ естественною

И. С. Фовъ-Визинъ, родственникъ покойнаго Д. И., сообщилъ намъ, что бумаги Дениса Ивановича сохранялись долгое время въ селѣ Спаскомъ (Клинскаго уѣзда); но лѣтъ 15 назадъ истреблены пожаромъ. Между этими бумагами И. С. помнитъ 2 дѣйствія комедіи (не «Гофмейстеръ ли») и 6 непечатавшихся писемъ.

смертью. И въ самомъ дѣлѣ, заключилъ Фонъ-Визинъ, героиня его отъ акта до акта чахла, чахла и наконецъ издохла.—Мы разстались съ нимъ въ одиннадцать часовъ вечера, а на утро онъ былъ уже въ гробѣ».

Перейдемъ къ оцѣнкѣ литературной дѣятельности Фонъ-Визина въ связи съ тою интересною эпохой, которой онъ служилъ у насъ однимъ изъ самыхъ яркихъ представителей.

II.

Развитіе европейской литературы въ новѣйшее время. Философія XVIII вѣка и ея вліяніе на русское общество. Екатерина II-я, какъ послѣдовательница французскихъ энциклопедистовъ. Ея сочиненія съ тенденціозной стороны. Общее направленіе русской литературы того времени. Педагогическіе взгляды, нравственныя и политическія убѣжденія Фонъ-Визина, Художественное достоинство его типовъ и значеніе ихъ въ связи съ характеромъ эпохи.

Русская литература находится, со временъ Петра I-го, въ такой тѣсной зависимости отъ общаго хода и развитія литературы европейской, что изучать первую, не составивъ себѣ предварительнаго понятія о послѣдней, если и возможно, то, по крайней мѣрѣ, вполне бесполезно. Только изъ этой связи, соединяющей наше литературное развитіе съ движеніемъ обще-европейской мысли, можемъ мы заимствовать правильный взглядъ на многія самыя крупныя явленія въ исторіи русской словесности. Риторическое направленіе Ломоносова въ его одахъ и раціональное—въ научныхъ изслѣдованіяхъ; господство лже-классцизма въ лирикѣ, эпосѣ и драмѣ; про-

паганда свободомыслія въ лучшихъ произведеніяхъ екатери-
нинскаго вѣка и реакція ему въ разныхъ мѣропріятіяхъ и
мистическихъ ученіяхъ; сентиментализмъ, романтизмъ и пр.
все это находитъ себѣ смыслъ и объясненіе въ томъ вліяніи,
какое оказывало всегда на нашу литературу развитіе мысли
на Западѣ Европы. Такимъ образомъ, не приступая еще къ
спеціальному разсмотрѣнію литературной дѣятельности Фонъ-
Визина, мы должны припомнить состояніе умовъ въ Западной
Европѣ, насколько отразилось оно въ литературныхъ произве-
деніяхъ и философскихъ теоріяхъ того времени.

Духъ пытливости, съ котораго начинается истинная наука,
сталъ развиваться почти одновременно въ Англіи и во Фран-
ціи и коснулся, первымъ дѣломъ, теологическихъ понятій,
завѣщанныхъ стариною; а борьба протестанства съ католи-
цизмомъ въ обѣихъ передовыхъ странахъ Европы много
способствовала его усилению. Для этой борьбы понадобились
научныя свѣдѣнія и разумные доводы; но разъ допустивъ
ихъ, нельзя уже было остановиться на первомъ шагѣ, и
естественное теченіе мыслей увлекало все дальше и дальше
на этомъ заманчивомъ пути. Гюверъ (въ концѣ XIV-го сто-
лѣтія) обращался отъ преданій къ суду разума, хотя и при-
бавлялъ, что разумъ отдѣльныхъ лицъ долженъ иногда пре-
клоняться предъ авторитетами; Чиллингвортъ въ своемъ
знаменитомъ сочиненіи: *Religion of protestants* (1637 г.) не
признавалъ уже никакихъ исключеній, которыя ограничивали
бы права разума. Въ то же время Бэконъ Веруламскій
(1561—1626), въ борьбѣ съ схоластикой, поставилъ высшимъ
научнымъ принципомъ наблюденіе и опытъ естествозна-
нія, за что и названъ былъ отцомъ новѣйшей философіи.

Томасъ Муръ (1480+1535), нарисовалъ въ своей «Утопіи» (1516) идеалъ новаго общественнаго устройства, далеко не похожіи на рутинную практику среднихъ вѣковъ. Словомъ, практическая мысль уже была пробуждена въ XVI-мъ вѣкѣ и росла незамѣтно, но послѣдовательно. Въ царствованіе Карла II-го духъ пытливости сдѣлалъ новыя и болѣе обширныя завоеванія, благодаря тому, что этотъ король не оказывалъ никакого стѣсненія умственнымъ успѣхамъ страны. Послѣ сильныхъ нападеній Томаса Гоббеса на современную ортодоксію, Джонъ Локкъ систематизировалъ вполне ученіе эмпиризма въ своемъ «Опытѣ о познавательной способности человѣка» (1689 г.). Въ высшее англійское общество свободная критика, чуждая традиціонныхъ вліяній, вторглась чрезъ посредство двухъ современниковъ-писателей: Шефтсбери (1671—1713.) и Болингброка (1672—1751 г.) Теологія, нравственность и отчасти политика подчинились вліянію разума, который сдѣлался единственнымъ судьей всѣхъ жизненныхъ явленій. Не отрицая высшей воли, господствующей въ мірѣ, англійскіе денсты обращались къ неизмѣннымъ законамъ природы; въ нравственности они становились на практическую точку зрѣнія, признавая нравственнымъ то, что могло приносить пользу въ человѣческомъ обществѣ; въ политикѣ осмѣивали отжившія понятія. Во Франціи реформація, послѣ Варооломеевской ночи, какъ религіозная догма, занимала второстепенную роль въ народной жизни. Между тѣмъ идея реформы и свободной критики всего существующаго развивалась въ умахъ, начиная съ Раблэ (1483—1553), продолжая Монтанемъ (1533—1593 г.), Шаррономъ и Декартомъ (1596—1650 г.). Первый изъ нихъ осмѣивалъ

съ цинической рѣзкостью безпутство и праздность «аббатовъ, аббатиссъ, монашковъ и папчиковъ», не затрогивая однако самаго принципа ихъ существованія; второй представилъ въ своихъ *Essais* замѣчательный образчикъ не зараженной мистицизмомъ философіи житейскаго знанія; Шарронъ (въ книгѣ: *De la sagesse*) построилъ уже цѣлую систему нравственности безъ теологической примѣси: «Мы должны возвыситься, говорилъ онъ, надъ притязаніями враждебныхъ сектъ и довольствоваться практическою религіей, состоящей въ исполненіи обязанностей жизни.» Правленіе Ришелье—деспота въ политикѣ и прогрессиста въ религіи—было весьма сподручно для развитія конфессіональной терпимости. Декартъ, этотъ (по словамъ Бокля) великій разрушитель старыхъ преданій, въ своей философской системѣ, отправлялся единственно отъ разума, какъ исходнаго пункта всѣхъ человѣческихъ познаній, и съ замѣчательной твердостью высказалъ слѣдующее основное положеніе своей школы: «если мы хотимъ узнать всѣ истины, которыя можемъ знать, то прежде всего должны освободиться отъ предразсудковъ и поставить себѣ цѣлью отвергнуть до новаго испытанія все, что мы приняли прежде. Вотъ почему мы должны выводить наши мнѣнія изъ насъ самихъ. Мы не должны произносить сужденія о предметѣ, котораго не понимаемъ ясно и точно, ибо такое сужденіе, даже и правильное, есть только случайность; оно лишено прочнаго основанія, на которомъ могло бы опираться.»

Дальнѣйшее развитіе свободныхъ идей досталось на долю Франціи, находившейся еще подъ «старымъ правленіемъ» (*ancien régime*) въ то время, когда Англія пользовалась уже сравнительно свободными учрежденіями. Этотъ гнетъ извнѣ

только усиливаль внутрєнній напоръ прогрессивной мысли. Въ XVIII столѣтїи скептическіе умы во Франціи взялись уже за проблему корєнного переустройства общества: къ критикѣ факта присоединились, подѣ вліяніємъ свободы мысли и политическихъ учрежденїй Англіи, практическія стремленія къ преобразованію. Монтескье въ своихъ «Персидскихъ письмахъ» подвергнулъ критикѣ разнообразныя установленія въ Европѣ, особенно во Франціи; онъ же впоследствии (*l'Esprit des lois*), увлекшись англійскою конституціей, отстаивалъ ограниченную монархію, въ противоположность порядку, существовавшему въ его отечествѣ. Одновременно съ нимъ началъ свою литературную дѣятельность Вольтеръ, имя котораго служитъ донинѣ знаменемъ всей «литературы освобожденія» XVIII-го вѣка. Въ своихъ драмахъ, памфлетахъ, ученыхъ разсужденіяхъ, Вольтеръ яснѣе высказалъ и популяризировалъ тѣ скептическія идеи, которыя встрѣчались, въ различныхъ дозахъ, у его французскихъ и англійскихъ предшественниковъ. Никто лучше его не умѣлъ однимъ словомъ, одною язвительною насмѣшкою пошатнуть цѣлый строй господствовавшихъ понятій; никто не стоялъ такъ высоко въ мнѣніи образованной Европы и не имѣлъ на нее такого могучаго и, во многихъ отношеніяхъ, благотѣтельнаго вліянія. Не слишкомъ сильный, какъ философъ и теоретикъ, Вольтеръ бралъ верхъ надъ другими писателями разнообразіємъ и блескомъ своего таланта. — Англійская умѣренность и сдержанность мысли были забыты во Франціи: деизмъ Локка не устоялъ противъ рѣзкой діалектики французскихъ философовъ. Съ 1758 г. (когда появилась книга Гельвеція: *de l'Esprit*), атеистическій образъ мыслей сталъ

быстро распространяться во Франціи. Гельвецій въ своемъ философскомъ изслѣдованіи говоритъ, что разница между человѣкомъ и животнымъ низшей породы есть результатъ различія въ ихъ внѣшней формѣ; строеніе тѣла есть единственная причина превосходства; наши мысли суть продуктъ двухъ способностей: способности получать впечатлѣнія отъ внѣшнихъ предметовъ и способности помнить полученное впечатлѣніе. Наши добродѣтели и пороки суть только результатъ нашихъ страстей, а страсти порождаются нашей физической чувствительностью къ наслажденію или страданію. Физической чувствительности обязаны люди наслажденіемъ или страданіемъ—откуда чувство личнаго интереса (эгоизма) и стремленіе жить въ обществѣ подъ охраною и при взаимной помощи другихъ людей. Когда составилось общество, явилось понятіе объ общемъ интересѣ, безъ котораго общество не могло бы удержаться; а такъ какъ дѣйствія человѣческія бываютъ справедливы и не справедливы лишь настолько, насколько они содѣйствуютъ этому общему интересу, то установилось мѣрило, по которому отличается справедливость отъ несправедливости. Дальше Гельвецій разсматриваетъ происхожденіе изъ того же источника (*de la sensibilité physique*) всѣхъ другихъ чувствъ, управляющихъ дѣйствіями человѣка: такъ онъ говоритъ, что честолюбіе и дружба суть исключительно произведенія физическаго чувства, что люди стремятся къ славѣ или изъ удовольствія, которое они надѣются получить отъ обладанія ею, или какъ къ средству для послѣдовательнаго доставленія себѣ другихъ удовольствій. Эгоизмъ есть величайшій двигатель и производитель всего; даже мать, оплакивающая потерю своего ребенка, побуж-

дается къ этому эгоизмъ: она плачетъ оттого, что лишена удовольствія и видитъ предъ собой пустоту, которую ей трудно наполнить. Атеизмъ открыто защищался д'Аламберомъ, Дидро, Кондильякомъ, Кондорсе, Лаландомъ, Лапласомъ, Мирабо. Въ 1764 году — рассказываетъ Дидро — англійскій писатель Юмъ прибылъ въ Парижъ и въ домѣ барона Гольбаха встрѣтилъ знаменитѣйшихъ французскихъ ученыхъ того времени. Въ бесѣдѣ съ ними Юмъ сталъ представлять доводы противъ возможности существованія атеистовъ въ настоящемъ значеніи этого слова. «Что касается до меня, говорилъ онъ, я никогда не встрѣчалъ атеиста». — «Вы были довольно несчастливы, — возразилъ на это Гольбахъ, — въ настоящее время вы видите ихъ здѣсь за столомъ семнадцать». — Съ политическими вопросами случилось тоже, что и съ религіозными: идеи Монтескье скоро перестали удовлетворять умы. Гельвецій нападалъ уже на мечтательность его системы; но сильнѣе вооружился противъ нея Ж. Ж. Руссо. Точно также прогрессировала во Франціи идея нормальнаго воспитанія, высказанная англійскимъ эмпирикомъ Локкомъ. Отнесясь критически ко всему существующему порядку, Локкъ обратилъ вниманіе на современныя ему школы, откуда выходили полу-невѣжественныя защитники этого порядка; примѣнивъ къ нимъ требованія здраваго смысла, онъ, конечно, остался ими весьма недоволенъ. Воспитаніе въ то время, потерявъ всякое образовательное значеніе, стало равносильнымъ обученію, а обученіе почти ограничивалось усвоеніемъ формъ латинскаго языка и правильнымъ употребленіемъ его въ разговорѣ и письмѣ. Десятки лѣтъ посвящались такому притупляющему занятію.

Въ извѣстномъ разговорѣ Эразма (*Ciceronianus sive de optimo dicendi genere*) Нозопонъ говоритъ, что онъ семь лѣтъ читаетъ исключительно одного Цицерона и выучиваетъ его почти наизусть, потомъ семь лѣтъ употребляетъ на подражаніе Цицерону, для чего всѣ слова изъ произведеній послѣдняго собираетъ въ алфавитномъ порядкѣ въ одинъ лексиконъ, въ другой—также въ алфавитномъ порядкѣ всѣ фразы Цицерона, въ третій—всѣ стопы (*pedes*), которыми онъ начинаетъ и оканчиваетъ періоды и т. д. и т. д. Пренебрегая развитіемъ естественной любознательности дитяти, обращенной совсѣмъ не назадъ, въ древній міръ, а скорѣе на все окружающее его, строгіе дидаскалы прибѣгали къ принужденію и бичу, какъ къ единственному возбуждѣтелю учебнаго рвенія. Противъ этой крайности впервые возсталъ Монтанъ всею силою своего убѣжденія и остроумія. Въ его *Essais* двѣ главы (24 и 25) посвящены нападкамъ на эту дрессировку, неправильно называемую воспитаніемъ. Свобода, чуждая всякаго принужденія, и самостоятельное образованіе дитяти посредствомъ упражненія въ предметахъ, его интересующихъ—вотъ, по мнѣнію Монтаня, два важнѣйшія условія воспитанія; воспитатель долженъ не подавлять свободную дѣятельность своего питомца, а только помогать и руководить ея; отказывая дѣтямъ въ подобной дѣятельности, мы воспитываемъ въ нихъ рабство и трусость. Поэтому Монтанъ возстаетъ противъ всѣхъ сильныхъ принудительныхъ мѣръ, особенно противъ тѣлеснаго наказанія; дѣтскіе проступки своей дочери онъ искоренялъ одними кроткими убѣжденіями. «Я не видалъ иныхъ послѣдствій отъ розогъ—говорить онъ—кромѣ робости и злобнаго упрямства; я же-

лазь бы кроткимъ обращеніемъ возбудить въ своихъ дѣтяхъ живую любовь и непритворное расположеніе къ себѣ». Локкъ, врачъ и практическій воспитатель, принялъ и распространилъ основные взгляды Монтэня, изложивъ ихъ въ отдѣльномъ сочиненіи, въ стройномъ порядкѣ и системѣ (Some thoughts concerning education). «Власть надъ дѣтьми, говоритъ этотъ мыслитель, будетъ тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ болѣе она основана на кротости и довѣріи». Важнѣйшая обязанность воспитанія состоитъ въ томъ, чтобы сообщить душѣ воспитанника истинное направленіе, согласное съ разумомъ и благородствомъ человѣческой природы. Для достиженія такого результата, все воспитаніе раздѣлялось на три части: собственно обученіе, нравственное развитіе и укрѣпленіе физическихъ силъ. На первомъ мѣстѣ стояло нравственное развитіе, которое полагалось въ «умѣнѣй человѣка отказываться отъ собственныхъ желаній, дѣйствовать только соотвѣтственно рѣшенію разума, вопреки собственнымъ наклонностямъ». Средство къ этому — приученіе, своевременное и постепенное упражненіе ребенка. «Кто въ молодости, говоритъ Локкъ, не приучился подчинять своей воли разуму другихъ, тому трудно будетъ впослѣдствіи подчиниться своему собственному». Если дѣти провинятся въ дурныхъ поступкахъ, то Локкъ совѣтуетъ дѣйствовать на нихъ преимущественно стыдомъ и порицаніемъ, такъ какъ «вниманіе и презрѣніе другихъ людей суть могущественнѣйшія между всѣми возбужденіями души». Онъ порицаетъ побои и другіе роды рабскихъ и тѣлесныхъ наказаній, бывшихъ тогда во всеобщемъ употребленіи, но дѣлаетъ впрочемъ одну уступку, дозволяя прибѣгать къ розгѣ въ слу-

чаѣ упорнаго сопротивленія и упрямства. Правила физическаго воспитанія, направленные исключительно къ укрѣпленію тѣла, излагаются Локкомъ съ знаніемъ и подробностью опытнаго врача. Обученіе въ собственномъ смыслѣ поставлено Локкомъ въ самыя тѣсныя границы. «Вы удивляетесь,—пишетъ онъ въ своей книгѣ,—что я говорю о познаніяхъ въ самомъ концѣ, а удивитесь еще болѣе, если я вамъ скажу, что я считаю ихъ самымъ маловажнымъ дѣломъ... Воспитатель долженъ помнить, что его обязанность не состоитъ въ томъ, чтобы учить своего воспитанника всему, что человѣкъ можетъ знать, а скорѣе, чтобы возбудить въ немъ любовь и уваженіе ко всему достойному познанія и сообщить ему надлежащее руководство къ приобрѣтенію познаній и дальнѣйшему образованію себя, если онъ будетъ имѣть къ тому охоту». Мысль Локка, отчасти вѣрная въ томъ отношеніи, что не слѣдуетъ загромождать умъ ребенка массою непереваренныхъ фактовъ, можетъ подвергнуться серьезному возраженію въ томъ смыслѣ, что нельзя «возбудить въ ребенкѣ любовь къ наукѣ», сообщая изъ нея только маловажныя свѣдѣнія, т. е. клочки и верхушки, связанные между собою одною предвзятою идеею. По теоріи Локка, знаніе и нравственное развитіе не имѣютъ одно съ другимъ ничего общаго; тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, сумма познаній человѣка оказываетъ несравненно сильнѣйшее вліяніе на его нравственную сторону, чѣмъ всѣ голословныя, хотя бы и весьма благонамѣренныя сентенціи. Понятія о нравственности расширяются сообразно съ умственнымъ кругозоромъ каждой личности:—слѣдовательно развитіе ума научными свѣдѣніями, и притомъ не

поверхностными, составляет важѣйшій элементъ въ истинно-человѣческомъ воспитаніи. Конечно, мы разумѣемъ здѣсь не сухую номенклатуру фактовъ, лишенныхъ всякаго разумнаго вывода, но именно трезвый взглядъ на природу и человѣка, опирающійся на возможно большее количество научныхъ данныхъ.

Педагогическая теорія Локка, попавъ во Францію, подверглась тутъ радикальному измѣненію. Локкѣ, отстаивая свободу личности въ воспитаніи, считаетъ приученіе и даже изрѣдка страхъ наказанія довольно дѣйствительными воспитательными средствами; онъ не возстаетъ прямо противъ существующихъ преданій и официальной нравственности, и своими уступками примиряетъ съ собой всѣхъ враговъ рѣшительнаго переворота. Руссо, въ своемъ *Эмиль* (1762 г.), отрицаетъ уже всякое постороннее вліяніе на духовную сторону ребенка: то, что Локкѣ называетъ систематическимъ приученіемъ къ житейскому порядку и извѣстному образу мыслей—въ глазахъ женеваго философа является нравственнымъ насилиемъ одного человѣка надъ другимъ. Руссо съ насмѣшкой говоритъ, что при такомъ насиліи воспитанникъ обращается въ «манежную лошадь», что его натуру «выворачиваютъ и гнутъ на всѣ лады». Къ воспитанію Руссо примѣнилъ свой основной взглядъ, что все выходитъ прекраснымъ изъ рувъ природы и обезображивается подъ вліяніемъ «предразсудковъ, авторитета и дурнаго примѣра». Увлекаясь страстнымъ порывомъ къ лучшему, гениальный мечтатель осудилъ всю европейскую цивилизацію за то, что она служила, во многихъ случаяхъ, только лоскомъ для прикрытія прежняго невѣжества и алчныхъ инстинктовъ. Эти

неразборчивыя нападки на всю европейскую цивилизацію, за ея случайныя и временныя направленія, начались еще со временъ Монтэни, который доказывалъ, что занятія науками изнѣживаютъ нравы, ослабляя мужество и бодрость духа, и подтверждалъ свою мысль примѣромъ могущественной въ то время Турецкой имперіи, въ которой цѣнилось только оружіе и презирались науки. Но такую парадоксальную мысль нельзя было доказать логическимъ и холоднымъ образомъ, потому и проповѣдь Монтэни не имѣла послѣдователей; Руссо же своимъ стремительнымъ краснорѣчіемъ увлекъ за собою многія пылкія головы и впечатлительныя сердца. Въ примѣненіи къ педагогикѣ эта мысль сослужила большую услугу, эмансипировавъ до возможныхъ предѣловъ личность воспитываемаго; слабая сторона ея заключалась въ томъ, что она не давала никакого регулятора для практическаго веденія дѣла, ибо нельзя считать опорною точкой—мечтательныя свойства дѣтской природы, изолированной отъ всего окружающаго.

Вліяніе «освободительной литературы» XVIII-го вѣка на всю Европу было громадно. Не только частныя люди и независимые мыслители, но даже могущественныя монархи и ихъ министры увлеклись новыми идеями, обѣщавшими такъ много добра человѣческимъ обществамъ. Фридрихъ II-й, Іосифъ II, Леопольдъ Тосканскій, Помбаль въ Португаліи, Аранда въ Испаніи, старались согласовать свое правленіе съ духомъ новыхъ началъ, проповѣдуемыхъ французскими публицистами. Имя Вольтера окружено было почетомъ необыкновеннымъ: его Ферней сдѣлался литературнымъ дворомъ, къ которому отправляемы были почетныя посланники.

Фернейскій мудрецъ, наслаждаясь блескомъ своего двора, говорилъ съ гордостью возвеличеннаго таланта:

. mon ermitage

Voyait dans son enceinte arriver à grands flots

De cent divers pays les belles, les héros,

Des rimeurs, des savants, des têtes couronnées.

Екатерина II-я, смолоду зачитывавшаяся Вольтеромъ, также принадлежала къ числу поклонницъ его таланта и, вступивъ на престолъ, вошла въ прѣмыя сношенія какъ съ нимъ, такъ и съ другими литературными знаменитостями того времени. Приѣмъ, оказанный ею Дидро, описанъ этимъ послѣднимъ въ письмахъ къ друзьямъ. (*Mémoires correspondances et ouvrages inédits de Diderot*, 1831). «Дверь кабинета государыни—писалъ онъ отъ 15 іюня 1774 г.—отперта для меня ежеднено отъ трехъ часовъ пополудни до пяти, а иногда и до шести. Вхожу. Меня сажаютъ, и я разговариваю такъ же свободно, какъ съ вами. Выходя, я вынужденъ сознаться, что я имѣлъ душу раба въ землѣ такъ называемыхъ свободныхъ людей, и что я позналъ въ себѣ душу свободного человѣка въ землѣ такъ называемыхъ варваровъ. Ахъ, друзья мои, что за государыня, что за необыкновенная женщина! Нельзя заподозрить похвалу мою, ибо я обвелъ щедрость ея самыми тѣсными границами». «Возвращаюсь къ вамъ,—пишетъ онъ въ другомъ письмѣ—обремененный почестями. Если бы я пожелалъ черпать полными пригоршнями въ царской шкатулкѣ, то, вѣроятно, дѣло отъ меня зависѣло; но я предпочелъ заставить молчать петербургскихъ злоязычниковъ и дать вѣру въ меня парижскимъ невѣрующимъ. Всѣ мысли, наполнявшія голову мою при отъѣздѣ изъ Парижа, разсѣялись въ первую ночь

пріѣзда въ Петербургъ. Поведеніе мое отъ того стало честнѣе и возвышеннѣе. Ничего не надѣясь и не опасаясь, я могъ говорить, какъ мнѣ угодно было». Щедрость Екатерины, о которой упоминаетъ Дидро, была имъ дѣйствительно «обведена довольно тѣсными границами» и состояла въ томъ, что императрица подарила ему цвѣтное платье для придворныхъ визитовъ, шубу, подбвтую богатымъ мѣхомъ, перстень съ портретомъ своимъ, и заплатила издержки его поѣздки, совершавшейся далеко «не по барски». Но нѣтъ сомнѣнія, что императрица, не скупившаяся на награды, предлагала ему гораздо болѣе матеріальныхъ выгодъ, которыя Дидро отклонилъ отъ себя честнымъ образомъ, чтобы не возбудить дурныхъ толковъ со стороны «петербургскихъ злоязычниковъ» и своихъ парижскихъ враговъ. Столько же любезна была императрица къ Циммерману и д'Аламберу. Упращивая д'Аламбера принять на себя воспитаніе великаго князя Павла Петровича, Екатерина писала ему: «быть рожденнымъ или призваннымъ на то, чтобы содѣйствовать благу и даже образованію цѣлаго народа и отказаться отъ этого—значить, какъ мнѣ кажется, отказаться отъ возможности дѣлать добро, которое такъ вамъ по сердцу. Философія ваша основана на человеколюбіи; позвольте сказать вамъ, что не соглашаться служить ему, когда служить можно—значить, упускать изъ виду свою цѣль. Я такъ хорошо знаю васъ, какъ человека честнаго, что не могу приписать вашъ отказъ тщеславію; я знаю, что единственная его причина—любовь къ спокойствію, нужному для ученыхъ занятій и дружбы. Но что же мѣшаетъ? Пріѣзжайте съ вашими друзьями: общаю вамъ всѣ удовольствія

и удобства жизни, какія только отъ меня зависятъ; можетъ быть, вы найдете здѣсь болѣе покоя и свободы, нежели у васъ». Въ письмѣ къ Циммерману (доктору и автору извѣстной въ свое время книги: «Объ уединеніи»), котораго она тоже приглашала въ Россію, императрица высказываетъ прямо свою политическую исповѣдь: «я уважала философію (философію энциклопедистовъ), потому что въ душѣ моей была всегда отрицательная республиканкой. Признаюсь, что такое расположеніе души съ моею неограниченною властью покажется, можетъ быть, чуднымъ противорѣчіемъ; однакожъ въ Россіи никто не скажетъ, чтобы я власть свою въ зло употребляла» ¹⁾. Въ началѣ своего царствованія, прежде чѣмъ французскія идеи стали получать практическое осуществленіе по инициативѣ самого народа, Екатерина II была вѣрна, хотя отчасти, высказываемымъ ею принципамъ: слѣдуя правилу, что въ законодательствѣ страны должны участвовать всѣ тѣ лица, до которыхъ оно касается, императрица созываетъ извѣстную комиссію для составленія уложенія и пишетъ для нея наказъ (1767 г.), въ который вводитъ многое изъ Беккарини и Монтескье ²⁾. Въ Наказѣ говорится о равенствѣ всѣхъ сословій и лицъ передъ закономъ, о безправственности мучительныхъ казней, о пользѣ нормальнаго воспитанія, чуждаго лжи и насилія, и т. п. «Мы думаемъ—говорила Екатерина II—и за славу себѣ вмѣняемъ сказать, что мы сотворены для на-

¹⁾ См. Сочин. императрицы Екатерины II, т. 3, стр. 465 (СПб 1850).

²⁾ Такъ напр. § 207 главы X-ой Наказа переведенъ изъ Беккарини (см. *Des délits et des peines*, édit. 1856, p. 89). Въ главѣ V и XIV-ой многіе пункты переведены изъ книги Монтескье: *Esprit des lois*.

шего народа. Боже сохрани, чтобъ былъ какой народъ больше процвѣтающъ на землѣ». «Эти законы—писала она по тому же поводу къ Вольтеру—проникнуты духомъ терпимости: они не будутъ никого преслѣдовать, убивать или сжигать на кострѣ». Толки объ уничтоженіи крѣпостнаго права слышатся въ засѣданіяхъ созданной правительствомъ комиссіи; вольное экономическое общество (основанное въ 1765 г.) поднимаетъ тотъ же вопросъ и выдаетъ премію (назначенную самою императрицею) за лучшее сочиненіе о свободномъ трудѣ. Въ то же время Бецкій (въ 1764—1767 г.) подаетъ государынѣ свои доклады о воспитаніи юношества въ духѣ современной цивилизаціи и предлагаетъ создать «новую породу» дѣтей, отдѣливъ ее съ молодыхъ лѣтъ отъ зараженнаго предрасудками поколѣнія отцовъ. Въ комедіи: «О время!» (1772 г.) императрица осмѣиваетъ суевѣріе, ханжество и пустоту женскаго образованія; въ сказкѣ о царевичѣ Хлорѣ (1782 г.) предохраняетъ своихъ внуковъ отъ вліянія лстивой и развратной придворной толпы; въ Инструкціи кн. Салтыкову (1784 г.) приказываетъ внушать этимъ внукамъ «благоволеніе къ роду человѣческому, человѣколюбіе, уваженіе ближняго, почтеніе къ человѣчеству, осторожность въ поведеніи, чтобъ не пренебрегать, не презирать никого, но показывать каждому учтивость и приличное уваженіе». Это уваженіе предписывалось распространять даже на «служителей и простолюдиновъ, чтобъ съ ними не говорили повелительно и съ пренебреженіемъ или возвышая голосъ, или со снѣсью, но съ благоволеніемъ, пристойнымъ къ человѣчеству вообще». Какъ въ своихъ политическихъ взглядахъ Екатерина II руководствовалась со-

ченіями Монтескье и Беккаріи, такъ точно ея воспитательная теорія находится въ близкомъ сродствѣ съ идеями Монтэня и Локка. Преимущественно пользовалась она книгою Локка о воспитаніи, заимствуя впрочемъ нѣкоторыя второстепенныя указанія изъ «Эмиля» Руссо. Доклады Бецкаго составлены также подъ вліяніемъ названныхъ писателей. Въ «Инструкціи князю Салтыкову» императрица, согласно мнѣнію Локка, выставляетъ на первый планъ нравственное начало въ воспитаніи, много заботится о физическомъ развитіи воспитываемыхъ и отводитъ очень мало мѣста собственно дидактической части, т. е. обогащенію ума научными познаніями. «Здоровое тѣло и умонаклоненіе къ добру составляютъ все воспитаніе», сказано во введеніи къ инструкціи, «ученіе же или знаніе да будетъ имъ (великимъ князьямъ) единственно отвращеніемъ отъ праздности и способомъ къ спознанію естественныхъ ихъ способностей, и дабы привыкли къ труду и прилежанію». Принужденіе изгонялось императрицею изъ круга воспитательныхъ средствъ. «Отнюдь ихъ высочествъ—пишетъ она въ той же Инструкціи — не принуждать къ ученію, но представлять имъ, что учатся ради себя и для своей пользы.» Словесный выговоръ, презрительное обращеніе, съ цѣлью возбудить стыдъ въ ребенкѣ—вотъ, по ея мнѣнію, достаточныя мѣры для успѣха педагогическаго дѣла. Руководствуясь Локкомъ, она допускаетъ тѣлесное наказаніе (по крайней мѣрѣ дѣлаетъ намекъ на него въ одномъ пунктѣ своей Инструкціи), но и то единственно въ случаѣ лжи, поддерживаемой съ упрямствомъ. Въ сказкѣ о Февеѣ (1782 г.) Екатерина II описываетъ подробно воспитаніе царевича, которое было ве-

дево въ духѣ инструкціи и направляемо къ нравственному совершенствованію питомца. Тотъ же взглядъ на воспитаніе, какъ на средство противодѣйствовать нравственному упадку людей, отражается въ «Быляхъ и небылицахъ». «Всѣ теперешніе пороки,—говорится здѣсь,—ничего не значутъ; они схожи на стекающее полноводіе; вода же, пришедъ въ прежнія границы и берега свои, возымѣетъ теченіе естественнѣе прежняго. Берега суть воспитаніе». Въ своихъ докладахъ Бецкій также жалуется на упадокъ нравственного элемента въ воспитаніи: «опытъ доказалъ, что одинъ только украшенный или просвѣщенный разумъ не производитъ еще добраго, прямого гражданина; напротивъ онъ становится вреднымъ для того, у кого съ юныхъ лѣтъ не вкоренена въ сердцѣ добродѣтель. Отъ небреженія нравственности, отъ ежедневныхъ дурныхъ примѣровъ привыкаетъ онъ къ мотовству, своевольству, безчестному лакомству и непослушанію. При такомъ недостаткѣ нравственного воспитанія напрасно ласкать себя ожиданіемъ истинныхъ успѣховъ въ наукахъ и искусствахъ». Но нравственное воспитаніе, по взгляду Екатерины и ея приближенныхъ, не было цѣлью само въ себѣ, какъ напр. въ знаменитомъ «филантропинѣ» Базедова: гуманитарная сторона его подчинялась государственнымъ соображеніямъ; изъ этой школы должны были выходить не только люди, развитые общечеловѣческими идями, но притомъ дѣятели извѣстнаго закала, пригодные для правительственныхъ цѣлей. Въ этомъ отношеніи педагогическая система Екатерины и Бецкаго приближается къ теоріи французскихъ физіократовъ, которая возникла тогда же изъ педагогическаго настроенія вѣка и

состояла въ томъ, что государство обязано не только управлять народомъ, но и давать ему извѣстную нравственную физіономію. Этотъ взглядъ подробно развитъ французскимъ министромъ Тюрго въ запискѣ его, поданной Людовику XVI (1775 г.). Корень всѣхъ золъ, господствовавшихъ въ современной жизни, Тюрго полагаетъ въ отсутствіи плотнаго государственнаго состава. Чтобы уничтожить духъ разъединенія между различными классами общества, изъ которыхъ каждый преслѣдуетъ свои спеціальныя, узко-понятые интересы, Тюрго совѣтуетъ прибѣгнуть къ новой, централизованной системѣ воспитанія и ею слить во-едино разнообразныя слои общества. Для этой цѣли долженъ быть учрежденъ «совѣтъ народнаго образованія», который дѣйствовалъ бы въ извѣстномъ духѣ, по однимъ опредѣленнымъ правиламъ, завѣдуя всѣми школами въ государствѣ. Подъ его наблюдениемъ должны быть составлены учебныя руководства. Два недостатка усматривалъ Тюрго въ тогдашнемъ образованіи: развитіе спеціальнаго образованія въ ущербъ общему, гражданскому, и отсутствіе нравственнаго элемента. «У насъ—говоритъ онъ—есть методы и учрежденія для образованія геометровъ, физиковъ, живописцевъ—и нѣтъ ничего подобнаго для образованія гражданъ». Генеральный планъ воспитанія, задуманный Екатериною II, сходенъ въ основныхъ чертахъ съ воззрѣніями фізіократовъ, хотя и не составляетъ подражанія имъ: подобно фізіократамъ, она придавала воспитанію государственныя цѣли; подобно имъ, заботилась больше о нравственномъ направленіи и гражданскомъ развитіи въ извѣстномъ смыслѣ, чѣмъ о спеціальной подготовкѣ къ одному опредѣленному занятію. По этому

плану, заведены были у насъ закрытыя учебныя заведенія: воспитательный домъ въ Москвѣ (1763 г.), воспитательное общество благородныхъ дѣвицъ при Смольномъ монастырѣ (1764 г.) и при немъ такое же общество для дѣвицъ мѣщанскаго званія (1765 г.); при сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ учреждено училище для образованія мѣщанскихъ дѣтей (1772 г.). Правительство намѣрено было основать подобныя заведенія во всѣхъ значительнѣйшихъ городахъ Россіи, и лишь за неимѣніемъ матеріальныхъ средствъ къ тому, завело открытыя народныя училища—главныя или четырехклассныя и малыя или двухклассныя. По поводу званія, которое ожидало питомцевъ воспитательнаго дома, Бецкій говорилъ: «извѣстно, что въ государствѣ (русскомъ) два чина только установлено: дворяне и крѣпостные; но какъ по привилегіямъ, жалованнымъ сему учрежденію, воспитанники и потомки ихъ вольными пребудутъ, то они, слѣдовательно, составятъ третій чинъ въ государствѣ». Правительство много хлопотало объ учрежденіи у насъ этого третьяго чина или средняго сословія (*tiers état*), которое должно было наполнить пространство, раздѣлявшее два главные класса русскаго общества и составить современемъ умственную силу, интеллигенцію страны. Къ третьему чину Наказъ относитъ: 1) не дворянъ и не хлѣбопашцевъ, упражняющихся въ художествахъ, наукахъ, мореплаваніи, торговлѣ и ремеслахъ; 2) не дворянъ, вышедшихъ изъ воспитательныхъ домовъ и училищъ духовныхъ и свѣтскихъ; 3) дѣтей приказныхъ. Желаніе установить единообразное преподаваніе въ училищахъ внушило императрицѣ указъ отъ 7 сентября 1782 г., которымъ учреждалась особая коммис-

сія народныхъ училищъ для надзора за всѣми школами въ имперіи. Придавая воспитанію такой государственный характеръ, Екатерина II довершала дѣло Петра Вел., который заимствовалъ изъ Европы матеріальные плоды цивилизаціи и только отчасти заботился о нравственномъ развитіи общества посредствомъ школъ и литературныхъ произведеній. У Петра Великаго нравственныя цѣли стояли на второмъ планѣ: ему нужны были прежде всего моряки, инженеры, артиллеристы, т. е. спеціально подготовленные труженики реформы; Екатерина же поставила на первомъ мѣстѣ гражданское развитіе своихъ подданныхъ—опять-таки въ кругѣ ея собственныхъ политическихъ предначертаній. Слѣдуя этимъ предначертаніямъ, она заимствовала изъ западной литературы не все то, что было въ ней логически-выработаннаго въ теоріи, но только то, что можно было согласовать съ удобствами ея личной власти и съ характеромъ привилегированнаго кружка. Крѣпостное право во всѣхъ его видахъ и развѣтвленіяхъ такъ и осталось нетро-нутымъ; раздѣленіе сословій на привилегированныя и непривилегированныя удержано въ Наказѣ; къ чести, служащей по мнѣнію Монтескье отличительнымъ признакомъ монархій, прибавлена добродѣтель, господствующая въ народныхъ правленіяхъ. Также и въ воспитаніи: мнѣніе Локка о бесплодности сухой морали отвергнуто Екатериною, и въ Инструкціи поставлено правоученіе, какъ особый, самостоятельный предметъ преподаванія. Когда же императрица замѣтила, что свободная мысль, которой открытъ былъ доступъ въ ея имперію, не останавливается предъ виѣшними границами, а пробуетъ заглянуть и за

нихъ,—то она прибѣгла къ репрессивнымъ мѣрамъ. Для примѣра можно указать на осужденіе книги Радищева и трагедіи Княжнина, также на дѣятельность извѣстнаго Шешковского ¹⁾.

Тѣмъ не менѣе, покровительство, оказанное императрицею философскому направленію вѣка, отразилось замѣтнымъ образомъ на всей русской литературѣ XVIII-го вѣка. Въ похвальныхъ рѣчахъ и даже въ церковныхъ проповѣдяхъ (какъ напр. у митрополита Платона) слышатся отголоски западныхъ идей; литературная дѣятельность Новикова, въ лучшемъ ея періодѣ, проникнута либеральнымъ духомъ; въ трагедіяхъ—Николева: «Сорена и Замиръ» (предст. въ 1785 г.) и Княжнина: «Вадимъ Новгородскій» (напеч. въ 1793 г.), наконецъ въ извѣстной книгѣ Радищева: «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» (1790 г.) тѣ же идеи выразились, мѣстами, въ живой и увлекательной формѣ. Княгиня Дашкова сообщаетъ въ своихъ «Запискахъ», что чтеніе энциклопедистовъ составляло съ раннихъ лѣтъ ея любимое занятіе, и что книгу Гельвеція: «De l'esprit» она прочитала два раза съ цѣлью глубже вникнуть въ смыслъ его философіи. И. В. Лопухинъ, въ своихъ мемуарахъ, также не скрываетъ отъ насъ своихъ увлеченій французскими писателями. «Я охотно читывалъ, говоритъ онъ, Вольтеровы насмѣшки, Руссовы опроверженія и т. п. Читая извѣстную книгу *Système de la nature* (Гольбаха), съ восхищеніемъ читалъ я въ концѣ ея извлеченіе

¹⁾ См. статью о Радищевѣ въ Рус. Вѣстн. 1858 г. № 23, и статьи г. Лонгинова: «Матеріалы для исторіи русскаго просвѣщенія и литературы въ концѣ XVIII-го вѣка» въ Рус. Вѣстникѣ 1858 г. №№ 4 и 15, 1859 г. № 15 и 1860 г. № 4.

всей книги подъ именемъ устава натуры (code de la nature). Я перевелъ уставъ этотъ, любовался своимъ переводомъ. Напечатать его нельзя было: я расположился разсѣвать его въ рукописяхъ». Вскорѣ потомъ Лопухинъ раскаялся, сжегъ свои тетрадки и даже написать опроверженіе на книгу Гельвеція, подъ названіемъ: «Разсужденіе о злоупотребленіи разума нѣкоторыми новыми писателями» (напеч. въ 1780 г.). Это чистосердечное признаніе Лопухина сильно напоминаетъ намъ такое же точно признаніе Фонъ-Визина; оба эти факта доказываютъ съ одной стороны, что французскія идеи были весьма распространены въ тогдашнемъ образованномъ обществѣ, а съ другой, что онѣ плохо усваивались и легко вытѣснялись идеями противоположнаго порядка. Державинъ, сначала восхвалявшій Екатерину II за то, что она «даетъ свободу мыслить и разумѣть себя, цѣнить», въ послѣдствіи, въ стихотвореніи: «Колесница», упрекалъ французскихъ королей за «излишнюю доброту» и потворство «просвѣщенью философовъ». Если въ литературныхъ дѣятеляхъ того времени мы находимъ такъ мало послѣдовательности, то понятно, что въ обыденной жизни французское вліяніе порождало въ большомъ числѣ бригадирскихъ сынковъ, Иванушекъ, которые болтали неосмысленныя фразы о бракѣ и отношеніяхъ къ родителямъ, подслушанныя въ кругу лицъ, знакомыхъ съ ходячими воззрѣніями французскихъ мыслителей. Въ словахъ Иванушки объ уваженіи къ родителямъ отражается въ комической формѣ мысль Гельвеція; тотъ же Иванушка говоритъ, что онъ «зналъ fort honnetes gens, которые божбу ни во что становятъ».

Литературная дѣятельность Фонъ-Визина относится вся

къ царствованію Екатерины II-й; его лучшія произведенія появились въ цвѣтущее время этого царствованія и носятъ на себѣ явные слѣды того общаго характера, который отмѣчаетъ собой цѣлый періодъ въ развитіи русской литературы. Педагогическія и политическія воззрѣнія Фонъ-Визина, высказываемыя въ его комедіяхъ, заимствованы имъ или прямо изъ французскихъ источниковъ, или посредственно, изъ сочиненій Екатерины II-й. Представителями этихъ воззрѣній служатъ такъ-называемыя моральныя лица въ его пьесахъ: Стародумъ, Правдинъ и Милонъ—въ «Недорослѣ», Добролюбовъ въ «Бригадирѣ», Нельстеевъ въ «Выборѣ губернера», Здравомыслъ въ «Разговорѣ у княгини Халдиной». Стародумъ — главное лицо между ними: въ журналѣ «Другъ честныхъ людей» отъ его имени высказываются многія весьма важныя политическія мысли, въ «Письмѣ къ Стародуму» Фонъ-Визинъ самъ признается, что личности Стародума обязанъ отчасти «Недоросль» своимъ успѣхомъ на сценѣ и въ печати. Очевидно, что эта роль была чисто-тенденціозной вставкой въ комедію, и Стародумъ высказывалъ мысли, казавшіяся тогда передовыми и современными. Это обстоятельство должно опредѣлить и нашъ взглядъ на личность Стародума. Стародумъ — не брюзга и не ретроградъ, смотрящій съ ужасомъ на умственное движеніе своего вѣка; онъ далеко не похожъ на тѣхъ питомцевъ Петровскаго времени (въ родѣ Неплюева), которые не признавали въ новыхъ людяхъ ничего путнаго. Точно также Стародумъ не напоминаетъ намъ (вопреки мнѣнію г. Галахова) «почтенную личность отца Фонъ-Визина». Дѣло въ томъ, что отецъ Фонъ-Визина, какъ это видно изъ «Чистосердечнаго призна-

ніа» и изъ переписки съ нимъ его сына, не имѣлъ и понятія о новомъ направленіи умовъ въ XVIII вѣкѣ; его бібліотека ограничивалась однѣми книгами назидательнаго содержанія, изъ которыхъ по вечерамъ читалъ онъ отрывки своимъ дѣтямъ. Онъ былъ, правда, честный и нравственный человѣкъ, но этими двумя чертами еще не опредѣляется вполне характеръ Стародума. Не налегая слишкомъ на этимологию слова, мы должны признать, что Стародумъ, хотя и хвалитъ старое время, но заимствовалъ сущность своихъ воззрѣній изъ тѣхъ источниковъ, которыхъ не было прежде въ наличности; ссылаясь на доблести Петровскаго вѣка, онъ говоритъ не какъ сынъ этого вѣка и защитникъ, но какъ полемизаторъ съ цѣлью освѣтить дурныя стороны современнаго общества. Ему надо было прикрыть нападки свои авторитетомъ великаго императора, любившаго грубую простоту и безыскусственность отношеній. Но мысли Стародума о высокомъ значеніи и неприкосновенности человѣческой личности, его горячія филиппики за свободу (въ сценѣ съ Правдинымъ) — все это новыя явленія, которыя не имѣютъ корня въ Петровскомъ времени, но являются результатомъ «освободительной философіи» XVIII вѣка. Короче сказать, Стародумъ—это самъ Фонъ-Визинъ, отчасти раздѣлявшій идеи французскихъ писателей, но ограничивавшій ихъ преимущественно съ религіозно-нравственной стороны. Выражая свою любовь къ племянницѣ, Софьѣ, Стародумъ говоритъ, что онъ «видитъ и почитаетъ въ ней добродѣтель, украшенную разсудкомъ просвѣщеннымъ» (дѣйств. 4, явл. I); разсуждая о вліяніи новыхъ писателей на умы, онъ признаетъ, что они «искореняютъ сильно предразсудки, но

воротятъ съ корня добродѣтель», то есть не даютъ прочныхъ нравственныхъ основъ, которыми такъ дорожить Стародумъ.

Разсмотримъ же педагогическія, нравственныя и политическія убѣжденія Стародума, или, что тоже, самого Фонъ-Визина.

Отъ воспитанія юношества Стародумъ требуетъ, прежде всего, нравственнаго воздѣйствія на природу воспитываемыхъ, чтобы образовать въ нихъ добродѣтельныхъ и честныхъ людей и вѣрныхъ слугъ своему отечеству. «Я желалъ бы—говоритъ онъ—чтобы при всѣхъ наукахъ не забывалась главная цѣль всѣхъ занятій человѣческихъ—благонравіе. Наука въ развращенномъ человѣкѣ есть лютое оружіе дѣлать зло. Просвѣщеніе возвышаетъ одну добродѣтельную душу. Я хотѣлъ бы, напр., чтобы при воспитаніи сына знатнаго господина наставникъ его разогнулъ ему исторію и указалъ въ ней два мѣста: въ одномъ какъ великіе люди способствовали благу своего отечества; въ другомъ, какъ вельможа недостойный, употребившій во зло свою довѣренность и силу, съ высоты пышной своей знатности низвергся въ бездну презрѣнія и поношенія». (Нед., д. V, явл. I). «Воспитаніе,—по мнѣнію Стародума,—должно быть залогомъ государственнаго благосостоянія: ну, что можетъ выйти изъ Митрофанушки?» Оно должно имѣть цѣлью гражданское преуспѣяніе общества, а не подготовку специалистовъ: «богослововъ, живописцевъ, столяровъ» — какъ говоритъ самъ Фонъ-Визинъ въ письмѣ къ Панину (П. И.). Государственному элементу въ воспитаніи и общественной жизни Фонъ-Визинъ придавалъ большое значеніе: сторон-

никъ правительства, замышлявшаго многія важныя реформы, онъ склоненъ былъ расширять кругъ его вліянія и задавать ему задачи, лежащія на самомъ обществѣ при болѣе нормальныхъ отправленіяхъ общественной жизни. Обѣ комедіи Фонъ-Визина оканчиваются вмѣшательствомъ власти: въ одномъ случаѣ (въ «Бригадирѣ») «вышнее правосудіе», къ которому прямо обратился Добролюбовъ, возвращаетъ ему отнятое имущество; въ другомъ (въ «Недорослѣ») Правдинъ чиновникъ изъ намѣстнической канцеляріи, прекращаетъ злоупотребленія помѣщичьей власти и отсылаетъ на службу бездѣльника-дворянина. Въ комедіи: «Выборъ гувернера» мѣстный предводитель дворянства изгоняетъ изъ своего уѣзда самозванца-педагога. Обученію въ тѣсномъ смыслѣ, то есть развитію ума познаніями, Фонъ-Визинъ отводитъ также мало мѣста, какъ и Екатерина II-я въ своей «Инструкціи». «На умы мода, говорятъ Стародумъ (въ «Недорослѣ»), на знанія мода, какъ на пряжки, на пуговицы... Умъ, коли онъ только умъ, самая бездѣлица. Съ пребѣглыми умами видимъ мы худыхъ мужей, худыхъ отцевъ, худыхъ гражданъ». Объ односторонности этого направленія въ педагогикѣ, слишкомъ очевиднаго въ настоящее время, мы сказали уже нѣсколько словъ въ своемъ мѣстѣ. Изъ отношеній Стародума къ Софѣ видно также, какъ много цѣнилъ онъ чувство самоуваженія въ своей воспитанницѣ и какъ мягко и благотворно было его педагогическое вліяніе на нее. О принужденіи и суровыхъ мѣрахъ въ воспитаніи тутъ не можетъ быть и рѣчи. Простирая свое вліяніе и на зрѣлый возрастъ Софьи, Стародумъ объясняетъ ей, что «въ ней самой находится твердое основаніе ея счастья», что

сознаніе своего собственнаго достоинства не должно покидать ее и въ супружествѣ, когда, по общему взгляду того времени, личность жены должна была ступевываться и рабѣловать предъ личностью мужа. Въ ея мужѣ онъ надѣялся увидѣть «искренняго и снисходительнаго друга, а не грубаго и развращеннаго тирана»,—человѣка достойнаго ея сердца, который могъ бы свободно овладѣть ея волей и ея помыслами. «Надобно, мой другъ, говорить онъ, чтобъ мужъ твой повиновался разсудку, а ты мужу, и будете оба совершенно благополучны». Счастіе супружеской жизни не зависитъ, по его мнѣнію, ни отъ знатности, ни отъ богатства; большая часть несчастныхъ браковъ отъ того и происходитъ, что въ нихъ обращается вниманіе только на чины и матеріальныя средства, а не на сердечную склонность жениха и невѣсты. Не устраняя въ бракѣ преобладанія мужа надъ женою, Стародумъ желаетъ, по крайней мѣрѣ, смягчить и облагородить его взаимнымъ уваженіемъ. Эта скромная попытка, конечно, заслуживаетъ вниманія въ такую пору, когда такъ часты были мужья въ родѣ Гвоздилова (Бригад., д. 4, явл. 2), которые «разсерчавъ за что-нибудь, а больше хмѣльные, гвоздили своихъ женъ ни дай, ни вынести за что». Согласно взгляду Стародума, въ комедіи «Бригадиръ» Софья, влюбленная въ Добролюбова, «не устрашается малаго его достатка», находя въ немъ любовь и почтеніе къ себѣ. Отстаивать полную равноправность жены съ мужемъ, Фонъ-Визинъ не рѣшился, боясь войти въ слишкомъ рѣзкое противорѣчіе съ господствовавшими представленіями о бракѣ и нравственности. Нравственныя правила Фонъ-Визина, подвергнувшіяся значительной перемѣнѣ

съ конца шестидесятихъ годовъ, опирались на религіозныя основанія. Сознаніе долга въ человѣкѣ есть, по мнѣнію Стародума, «тотъ священный обѣтъ, которымъ обязаны мы всѣмъ тѣмъ, съ кѣмъ живемъ и отъ кого зависимъ». «Сколько я понимаю,—писалъ Фонъ-Визинъ въ письмѣ къ графу П. И. Панину изъ Ахена, отъ 18-го сентября 1778 г.—вся система нынѣшнихъ философовъ состоитъ въ томъ, чтобъ люди были добродѣтельны независимо отъ религіи; но они, которые ничему не вѣрятъ, доказываютъ ли собою возможность своей системы? Кто изъ мудрыхъ вѣка сего, побѣдивъ всѣ предразсудки, остался честнымъ человекомъ? Кто изъ нихъ, отрицая бытіе Божіе, не сдѣлалъ интереса единымъ божествомъ своимъ и не готовъ жертвовать ему всею моралью... Истинно, нѣтъ никакой нужды входить съ ними въ изъясненія, почему считаютъ они религію недостойною быть основаніемъ моральныхъ человѣческихъ дѣйствій». Фонъ-Визинъ даже совсѣмъ изгналъ личный интересъ изъ своей нравственной системы, замѣнивъ его другимъ стимуломъ. Но нападая на исходную точку нравственной философіи своего времени, Фонъ-Визинъ отдавалъ ей дань въ своемъ приговорѣ о вліяніи клерикальной партіи во Франціи на воспитаніе высшаго общества. «Первыя особы въ государствѣ—пишетъ онъ въ томъ же письмѣ къ графу Панину—не могутъ никогда много разниться отъ безсловесныхъ «и объясняетъ это тѣмъ, что съ раннихъ лѣтъ «вселяются въ нихъ предразсудки, подавляющіе смыслъ младенческой».

Въ своихъ политическихъ взглядахъ Фонъ-Визинъ болѣе сближался съ французскими мыслителями, чѣмъ въ вопро-

сахъ религіи и нравственности. Въ письмахъ изъ Франціи къ графу Панину Фонъ-Визинъ порицаетъ королевское правительство за *lettres de cachet*, за *don gratuit*, вынуждаемый силою, за нерадѣніе о провинціяхъ. Все это вызывало уже рѣзкія нападки передовыхъ французскихъ мыслителей. «Слушай, другъ мой! говоритъ Стародумъ Правдину (Нед., д. V, явл. I): великій государь есть государь премудрый. Его дѣло показать людямъ прямое ихъ благо. Слава премудрости его та, чтобы править людьми, потому что управляться съ истуканами нѣтъ премудрости... Достойный престола государь стремится возвысить души своихъ подданныхъ». Это «возвышеніе душъ» сильно занимало Фонъ-Визина въ теченіе всей его жизни. Главнымъ средствомъ къ тому Фонъ-Визинъ считалъ: распространеніе въ обществѣ, по инициативѣ верховной власти, правильныхъ понятій о политическихъ правахъ и обязанностяхъ, отмѣну нѣкоторыхъ стѣснительныхъ формъ и условій государственной жизни и, наконецъ, свободу мыслить и изъясняться, при которой частные люди, то есть писатели, считали бы за долгъ «возвысить громкій голосъ противъ злоупотребленій и предразсудковъ, вредящихъ отечеству», не боясь «ни одной робкой души, обитающей въ тѣлѣ знатнаго вельможи». Разсуждая о причинахъ, препятствующихъ у насъ развитію ораторскихъ талантовъ, Стародумъ (см. Другъ честн. людей, письмо изъ Москвы, февр. 1788 г.) сожалеетъ, что «мы не имѣемъ тѣхъ народныхъ собраній, кои витія большую дверь къ славѣ отворяють, и гдѣ побѣда краснорѣчія не пустою хвалою, но претурою, архонціями и консульствами вознаграждается. Демосеенъ и Цицеронъ въ той землѣ, гдѣ даръ

краснорѣчія въ однихъ похвальныхъ словахъ ограниченъ, были бы риторы не лучше Максима Тиряннина, а Прокоповичъ, Ломоносовъ и проч. въ Аѳинахъ и Римѣ были бы Демосѣены и Цицероны»... Свобода и «право повиноваться единымъ законамъ» не исключали, по мысли Фонъ-Визина (также какъ и Екатерины II въ «Наказѣ») раздѣленія народа на сословія, съ предпочтеніемъ одного класса другому. Полное равенство состояній казалось Фонъ-Визину праздною мечтою. «Нигдѣ и никогда, — говоритъ Нельстедовъ въ «Выборѣ гувернера», — не бывали и быть не могутъ такіе законы, кои бы частнаго человѣка счастливымъ сдѣлали. Необходимо, чтобы одна часть подданныхъ чѣмъ нибудь жертвовала: слѣдственно, равенство состояній и быть не можетъ. Оно есть вымыселъ ложныхъ философовъ». Дворянскому классу Фонъ-Визинъ отводилъ первое мѣсто въ государствѣ, но требовалъ отъ него особенныхъ заслугъ передъ отечествомъ и добродѣтели, затмѣвающей всѣ достоинства другихъ сословій. «Еслибъ такъ должность исполняли, какъ объ ней твердятъ, — говоритъ Стародумъ, — всякое состояніе людей осталось бы при своемъ любочестіи и было бы совершенно счастливо. Дворянинъ, напримѣръ, считалъ бы за первое безчестіе не дѣлать ничего, когда есть ему столько дѣла: есть люди, которымъ помогать, есть отечество, которому служить. Тогда не было бы такихъ дворянъ, которыхъ благородство, можно сказать, погребено съ ихъ предками».

Своими переводами, изъ которыхъ три «Похвальное слово Марку Аврелію», «Жизнь Сива» и «Торгующее дворянство» особенно характеристичны для оцѣнки литературной дѣятельности Фонъ-Визина, онъ развивалъ и дополнял тѣ же мысли

о лучшемъ политическомъ устройствѣ. Въ первомъ изъ этихъ переводовъ, въ длинной похвальной рѣчи стоическаго философа Аполлонія, Маркъ Аврелій ставится въ образецъ государямъ за его мудрое и кроткое правленіе. По взгляду Марка Аврелія, «человѣкъ рожденъ свободнымъ, но, въ необходимости быть управляемъ, покорился законамъ, но никогда не покорился прихотямъ государскимъ». Въ «Жизни Сива» мемфисскій жрецъ, въ своей надгробной рѣчи царицѣ, превозносилъ ее, какъ мудрую правительницу, которая «добродѣтель свою посвящала благополучію своихъ подданныхъ», издавала премудрыя узаконенія и проч. Умершая царица «знатныхъ особъ честь сохранить старалась, но притомъ не допускала ихъ преступить предѣлы должнаго себѣ повиновенія, народныя тягости облегчала своимъ милосердіемъ. Судьи не были грабители царскаго сокровища, и всякій подданный несъ требуемую отъ него государю дань самопроизвольно, зная, что она даръ не судьямъ, но самому царю». Въ брошюрѣ о «Торгующемъ дворянствѣ» авторъ полемизируетъ съ «храбрымъ дворяниномъ», маркизомъ де-Лассе, который доказывалъ, что дворянству унижительно заниматься торговлею и что если дворяне сдѣлаются хоть на время купцами, то въ нихъ пропадетъ рыцарскій духъ, составляющій гордость и украшеніе Франціи. Въ своемъ отвѣтѣ авторъ говоритъ, что во Франціи гораздо больше дворянъ, чѣмъ сколько нужно ихъ для офицерскихъ мѣстъ въ арміи, слѣдовательно бѣольшая часть ихъ могла бы, безъ ущерба для государства, обратиться къ купеческой дѣятельности и содѣйствовать обогащенію страны. Бѣдный дворянинъ, для котораго нѣтъ мѣста на войнѣ, могъ бы сказать, по мнѣнію автора, своему воспитателю: «ты съ юныхъ

лѣтъ сказывалъ намъ, что счастья своего должны искать мы единою войною. Уже научились мы смѣяться надъ неблаго-родными людьми, поднимать оружіе, обижать сосѣдей, и со-вершенно къ войнѣ приуготованы... Но видимъ, что съ тѣхъ поръ, какъ старшій братъ нашъ туда посланъ, терпимъ мы въ платѣ недостатокъ, и какія трудности имѣли мы къ сни-сканію сего поруческаго мѣста! Можетъ быть, безъ покрови-тельства нашего благодѣтеля мы бы и въ томъ успѣха не имѣли. Уже триста лѣтъ не посѣщаетъ счастье нашъ старый замокъ и ожидать онаго надежды не имѣемъ. Что намъ дѣ-лать шпагою, когда кромѣ голода не имѣемъ мы другихъ непріятелей?» Брошюра эта появилась въ то время, когда во Франціи раздавались голоса противъ феодальныхъ приви-легій и среднее сословіе готовилось выступить на сцену. Толки о среднемъ состояніи или «третьемъ чинѣ» зашли и въ нашу литературу: въ «Наказѣ» Екатерины, въ докладахъ Бецкаго мы видимъ упоминаніе объ немъ. Во время этихъ толковъ Фонъ-Визинъ перевелъ цѣлую книгу (оставшуюся неизданной) «О среднемъ сословіи» и написалъ свое рассу-жденіе о немъ. Онъ, какъ видно, желалъ возвысить и обла-городить средній классъ, присоединивъ къ нему даже многія дворянскія фамиліи, не имѣющія крупной поземельной соб-ственности. Есть основаніе думать, что, сочувствуя взгля-дамъ графа Н. И. Панина, пристрастнаго къ аристократи-ческому принципу, Фонъ-Визинъ не прочь былъ бы видѣть и въ Россіи нѣчто въ родѣ англійской аристократіи *).

*) Въ запискахъ М. А. Фонъ-Визина (стр. 47—48) рассказывается, что Д. И., съ согласія и частью по указаніямъ графа Панина, составилъ проектъ новаго государственнаго устройства, по которому крѣпостное право осуж-

Въ своихъ вопросахъ Екатеринѣ II-й Фонъ-Визинъ также затрогивалъ государственные вопросы: между прочимъ, онъ говорилъ о награжденіи дворянскимъ достоинствомъ особенно отличившихся купцовъ (вопр. 4) и о той пользѣ, какую могла бы принести гласность въ судебныхъ дѣлахъ (вопр. 5). Но эта же переписка доказываетъ намъ, какъ мало было самостоятельности въ его литературныхъ требованіяхъ: стояло только напомнить Фонъ-Визину о «свободоязычій» и «образцовомъ послушаніи», какъ изъ просвѣщеннаго мыслителя и критика общественныхъ явленій онъ становился подсудимымъ, обязаннымъ оправдываться. Новое направленіе, распространявшееся тогда у насъ, до тѣхъ поръ только пользовалось льготами, пока отъ него не отказались въ высшихъ кружкахъ нашего общества.

Что касается до художественнаго достоинства произведеній Фонъ-Визина, до полноты и жизненности типовъ, выведенныхъ имъ въ двухъ комедіяхъ—то объ этомъ такъ много говорилось въ русской литературѣ, что намъ остается только подвести краткій итогъ всему сказанному и прибавить нѣсколько словъ о разработкѣ этихъ типовъ въ другихъ современныхъ произведеніяхъ. О «моральныхъ лицахъ» въ комедіяхъ Фонъ-Визина мы высказали уже наше мнѣніе. Слѣдуетъ прибавить, что вообще такія лица, весьма интересныя для исторіи умственного развитія своего вѣка, составляютъ недостатокъ пьесы со стороны драматическаго движенія. Крас-

далось на постепенное уничтоженіе, предполагались различныя измѣненія въ составѣ сената и проч. Отъ этого проекта сохранилось только одно введеніе. Вѣроятно, это и было то политическое сочиненіе, о которомъ упоминаетъ князь Виземскій въ своемъ замѣчательномъ трудѣ о «Фонъ-Визинѣ».

норѣчиво высказывая свои мысли и чувства, они несо-
всѣмъ уместны въ художественной конструкціи драмы и со-
ставляютъ какъ бы излишній придатокъ, нужный не для
хода дѣйствія, а для того только, чтобы познакомить пу-
блику съ воззрѣніями самого автора. Это не живыя, оду-
шевленные фигуры, а тенденціи автора, облеченныя въ дра-
матическій костюмъ для удобнѣйшаго вліянія на партеръ:
Фонъ-Визину надо было сочинять для нихъ реальный
образъ, а не брать его изъ дѣйствительности. Совсѣмъ дру-
гое дѣло—тѣ полныя комизма личности, которыя живутъ,
мыслятъ по-своему и свободно движутся въ пьесахъ, доставляя
и теперь большое наслажденіе читателю. Тутъ автору не при-
ходилось выдумывать искусственныхъ образовъ: сама жизнь
подсказывала ему и руководила его талантомъ. Личности
эти: Простакова, Митрофанушка, Скотининъ, Еремѣевна и
учителя Митрофанушки—въ «Недорослѣ»; Бригадиръ съ же-
ной и сыномъ Иванушкой, Совѣтникъ и Совѣтница—въ «Бри-
гадирѣ». Не смотря на нѣкоторую шаржировку и наклон-
ность къ каррикатурѣ въ обѣихъ пьесахъ, дѣйствующія
лица, названныя нами, выручаютъ ихъ въ художественномъ
смыслѣ, какъ цѣльныя типы, блистательно замкнувшіе въ себѣ
различныя проявленія тогдашней семейной и общественной
жизни. Воспитаніе Митрофанушки или, лучше сказать, одно
питаніе, по выраженію Сорванцова въ «Разговорѣ у кн. Хал-
диной», исключительныя заботы матери о томъ, чтобы сы-
нокъ ея кушалъ какъ можно больше и учился какъ можно
меньше—все это почерпнуто прямо изъ русскихъ нравовъ
XVIII-го столѣтія и подтверждается десятками указаній въ
сатирическихъ журналахъ, мемуарахъ и комедіяхъ того вре-

мени. Разсужденія Простаковой о бесполезности наукъ, нападки Скотинина на грамоту коренились глубоко въ русскомъ обществѣ, не вдругъ уступая мѣсто новымъ взглядамъ, проповѣдуемымъ самимъ правительствомъ. Въ комедіяхъ Екатерины II мы встрѣчаемъ лицъ, которыя недоумѣваютъ: зачѣмъ это правительство учить грамотѣ «подкидышковъ» воспитательнаго дома; много раньше у Кантемира осмѣяны старички, толкующіе:

Живали мы прежь сего, не зная латини,
Гораздо обильнѣе, чѣмъ живемъ мы нынѣ;
Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали,
Перенявъ чужой языкъ, свой хлѣбъ потеряли.

Уступая необходимости учить чему-нибудь своего сына, Простакова нанимаетъ ему русскихъ учителей, но ей все кажется, что они замучатъ Митрофанушку. Больше удовлетворяетъ ее нѣмецъ Вральманъ, не докучавшій барскому сынку никакою книжною премудростью. И надо сказать, что этотъ Вральманъ поступалъ весьма благоразумно: вздумай онъ принуждать или уговаривать Митрофанушку къ занятіямъ—онъ могъ-бы пострадать такъ, какъ пострадалъ въ одномъ разсказѣ «Всякой Всячины» *) учитель французъ, вздумавшій прибѣгнуть къ энергическимъ мѣрамъ. Бабушка, матушка и нянюшка въ родѣ Еремѣевны чуть было не выпарапали ему глаза. Въ противоположность материнскому баловству Простаковой, встрѣчаемъ мы отеческую строгость Бригадира, который общается изуродовать своего взрослого сына. Подобныя обѣщанія часто сбывались въ тѣ дни, какъ это опять ви-

*) Въ изданіи «Всякой Всячины», еженедѣльнаго сатирическаго листка, принимала участіе сама императрица Екатерина II.

димъ мы изъ сатирическихъ журналовъ. Жестокость Простаковой въ обращеніи съ своими крестьянами («дамъ же я зорю канальямъ людямъ!») нимало не преувеличена Фонъ-Визинѣ. Въ доказательство приведемъ хоть мнѣніе Безразсуда (въ «Трутнѣ») о своихъ крѣпостныхъ: «я господинъ, они мои рабы; они для того сотворены, чтобы, претерпѣвая всякія нужды, день и ночь работать и исполнять мою волю исправнымъ платежемъ оброка; они, памятуя мое и свое состояніе, должны трепетать моего взора».

Но кромѣ лицъ стараго покроя, упорныхъ въ своей преданности старинѣ, мы находимъ у Фонъ-Визина и новаторовъ, которые отбросили дѣдовскія привычки и вкусили кое-чего отъ плодовъ европейской цивилизаціи. Иванушка и Совѣтница въ «Бригадирѣ» сѣтуютъ на свою судьбу за то, что они родились не въ Парижѣ и не имѣютъ возможности говорить на французскомъ діалектѣ. Это другая сторона тогдашней жизни, не уступающая первой въ своемъ комизмѣ. Если Бригадирша такъ первобытно проста и недалёковидна, что не понимаетъ «амурнаго» объясненія Совѣтника и только тогда озлобляется, когда ей растолковываютъ просьбу влюбленнаго,—то Совѣтница, наоборотъ, такъ свѣтски развязна, что норовитъ затѣять интригу подъ носомъ у своего мужа и жалѣетъ лишь о томъ, что всѣ «сосѣди неучи и живутъ обнявшись съ своими женами». Бригадирша ничего не знаетъ, кромѣ хозяйства и скопленія денегъ, Совѣтница—ничего, кромѣ туалета и мотовства; одна воспитана на «Домостроѣ», другая—на модныхъ картинкахъ. Въ наукѣ обѣ онѣ сильны одинаково. Словомъ, Совѣтница—одна изъ тѣхъ щеголихъ, на которыхъ часто нападалъ Новиковъ въ своихъ журна-

лахъ. Въ его «Живописцѣ» мы встрѣчаемъ такое описаніе: «Щеголиха говоритъ: какъ глупы тѣ люди, которые въ наукахъ самыя прекрасныя лѣта губляютъ. Ужестъ какъ смѣшны ученые мужчины, а наши сестры ученые—о! онѣ то совершенныя дуры. Безпримѣрно, какъ онѣ смѣшны! Не для географіи одарила насъ природа красотою лица, не для математики дано намъ острое и проникающее понятіе; не для исторіи награждены мы плѣняющимъ голосомъ, не для физики вложены въ насъ нѣжныя сердца. Для чего же одарены мы сими преимуществами? — чтобъ были обожжаемы. Въ словѣ: «умѣть нравиться» всѣ наши заключаются науки». Личность Совѣтника также вѣрна дѣйствительности. Ханжа и взяточникъ, толкующій указы на сто ладовъ, онъ есть представитель той многоглавой гидры лихонмства, противъ которой вооружалась Екатерина II въ своемъ знаменитомъ манифестѣ отъ 18-го іюля 1762 г. Изъ ея словъ видно, что «самые малые судьи, управители и разные къ досмотрамъ приставленные командиры берутъ съ бѣдныхъ самыхъ людей не токмо за дѣла безвинныя, дѣлая привязки по силѣ будто указовъ, въ самомъ дѣлѣ во зло только ими истолкованныхъ, и разоряя за то ихъ дома и имѣнія, но и за такія, которыя не инако, какъ нашего благоволенія и милости высочайшей достойны» и проч.

Эти краснорѣчивыя строки находятъ себѣ оправданіе во всѣхъ литературныхъ произведеніяхъ екатерининскаго вѣка.

ОСЬМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ ВЪ РУССКОЙ ИСТОРИИ.

(Осьмнадцатый вѣкъ. Историческій сборникъ, издаваемый Петромъ Бартевнымъ. Москва. Три книги. 1868—1869 г.).

I.

Г. Бартевнъ, издатель извѣстнаго «Русскаго Архива», выпускаетъ уже 3-й томъ особаго историческаго сборника, посвященнаго исключительно людямъ и событіямъ «петербургскаго періода» русской исторіи. Сюда входятъ матеріалы, составляющіе, такъ сказать, избытокъ «Русскаго Архива» — преимущественно большія статьи, неудобныя для помѣщенія въ періодическомъ изданіи, которое отличается, какъ извѣстно, нарочито-тощими размѣрами. Этотъ избытокъ г. Бартевнъ старается группировать въ порядкѣ, пригодномъ для изслѣдователя: такимъ образомъ, первый томъ наполненъ почти весь статьями и мелкими свѣдѣніями, касающимися царствованія императрицы Екатерины II-й; во второмъ томѣ собраны, за немногими исключеніями, матеріалы для исторіи Петра II-го, Анны Іоанновны и Елизаветы Петровны; третій томъ, составленный разнообразіемъ первыхъ, предлагаетъ новые любопытные документы изъ временъ Анны Іоанновны, Екатерины II-й и Павла Петровича. Кромѣ того, въ третьемъ томѣ помѣщена отдѣльная, не безынтересная статья объ Екатеринѣ I-й, за-

включающая въ себѣ новый для русской публики рассказъ о сближеніи Петра съ своею второю супругою. Всѣ эти данныя, — за собираніе которыхъ нельзя не выразить благодарности г. Бартеневу, хотя его личное участіе и ограничивается здѣсь одними коротенькими и не всегда умѣстными подстрочными примѣчаніями, — всѣ эти письма, рапорты, реляціи и судебные протоколы, даже напечатанные сырьемъ, безъ всякой прагматической обработки или съ обработкой крайне слабою и, мѣстами, фальшивою, заключаютъ, однако, сами въ себѣ такія любопытныя и важныя черты нашего общественнаго и политическаго быта минувшаго времени, что по нимъ легко становится возсоздать себѣ точную историческую картину той мишурно-блестящей эпохи, которую Лермонтовъ запечатлѣлъ въ нашей памяти своими выразительными стихами:

Была пора, боярская пора!
Тѣснилась знать въ роскошныя покои,
 Былая знать минушаго двора,
Забитыхъ дѣлъ померкшіе герои.
Музыкой тамъ гремѣли вечера,
 Въ Невѣ дробился блескъ высокихъ оконъ,
Напудренный мелькалъ и видся локонъ.
И часто ножка съ краснымъ каблучкомъ
 Условный знакъ давала подъ столомъ,
А старички въ звѣздахъ и брилліантахъ
Судили рѣзко о тогдашнихъ франтахъ...

И франты, и старцы, и гордыя красавицы съ ихъ могущественными повелителями, всѣ «забитыя дѣла» и «померкшіе герои» очерчиваются, мало-по-малу, такими вѣрными и рѣзкими штрихами, что недалеко уже то время, когда въ немъ можно будетъ относиться — съ одной стороны безъ

дирамбической казенщины и неуклюжей марсоманіи историковъ «древляго благочестія», а съ другой—безъ пошленькаго зубоскальства и анекдотическаго пустомельства разныхъ новѣйшихъ историковъ, которые разыскиваютъ съ упорствомъ полицейскихъ сыщиковъ: въ какой церкви вѣнчалась съ Разумовскимъ Елизавета Петровна, во что обошлось ей подвѣчное платье, разыскиваютъ и излагаютъ все это съ достодожною точностью, приправляя свое изложеніе то пряными шуточками, то философскими афоризмами въ родѣ того, что яйца, дескать, курицу не учать. Но за этими мелочами и козявками новѣйшіе историки, совершенно обдѣленные способностью анализировать факты и обобщать идеи, не примѣчаютъ настоящаго слона, т. е. внутреннего смысла развязно повѣствуемыхъ ими событій. Какая изъ двухъ крайностей хуже: устряловскіе ли *cours d'oeil* или пикантные анекдоты въ родѣ Балакирева—выбирать довольно трудно; намъ кажется только, что обѣ онѣ отжили или, по крайней мѣрѣ, отживаютъ свой вѣкъ. Мы, конечно, не имѣемъ цѣлю, въ небольшомъ историческомъ очеркѣ, уловить и охарактеризовать всѣ существеннѣйшіе мотивы нашей исторической трагикомедіи XVIII столѣтія: такой трудъ потребовалъ бы, во всякомъ случаѣ, обширнаго спеціальнаго изслѣдованія, чтобы охватить съ приличною полнотою эпоху, богатую различными пертурбаціями; мы хотимъ только намѣтить слегка тѣ крупныя пункты, на которыхъ, по нашему мнѣнію, должно преимущественно останавливаться вниманіе историковъ-прагматистовъ.

Прежде всего въ нашей задачѣ представляется вопросъ о власти и престолонаслѣдіи. До Петра I характеръ власти

московскаго государя приближался къ патриархальному деспотизму азіатскихъ владыкъ, съ тою же сильною примѣсю теократическаго элемента. Іоаннъ Грозный не даромъ считалъ настоящими, «заправскими» государями только себя, да турецкаго султана, а къ польскому королю, ограниченному волею народа, чувствовалъ полнѣйшее, ничѣмъ нескрываемое, пренебреженіе. Самый титулъ ц а р я, принятый Іоанномъ, чтобы отличить себя, по объему власти, отъ великихъ князей, примѣнялся прежде къ монгольскому хану и выражалъ понятіе безусловнаго, деспотическаго господства. Въ своемъ спорѣ съ княземъ Курбскимъ, признававшимъ за Москвою только тотъ типъ власти, который сложился въ Россіи въ удѣльныя времена, — Іоаннъ съ негодованіемъ отвергаетъ какъ политическое, такъ и нравственное ограниченіе своего произвола, при чемъ ссылается, главнымъ образомъ, на перетолкованные имъ тексты св. писанія и на примѣры византійскихъ монарховъ. «Тѣи всѣ—пишетъ онъ объ иностранныхъ государяхъ въ своемъ нескладномъ и бранчивомъ посланіи—царствіи своими не владѣютъ: како имъ повелятъ работные ихъ, такъ и владѣютъ; а російское самодержавство изначала сами владѣютъ всѣми царствы, а не бояре и вельможи. И того въ своей злобѣ не могъ еси разсудити, нарицаа благочестіемъ, еже подъ властію нарицаемаго попа и вашего злочестія повелѣнія самодержавству быти! А се по твоему разуму нечестіе, еже отъ Бога данной намъ власти своимъ владѣти и не восхотѣхомъ подъ властію быти попа и вашего злодѣянія... Или убо сіе свѣтло: попу и прегордымъ, лукавымъ рабомъ владѣти, царю же токмо предѣданіемъ и царствія честію почтенну быти, властію же ни-

тѣмъ же лучше быти раба?» Въ этихъ словахъ явно отразился совѣтъ, данный царю Вассіаномъ: «Аще хочеша самодержцемъ быти, не держи себѣ совѣтника ни единого мудрѣйшаго себя: понеже самъ еси всѣхъ лучше; тако будеша тверды на царствѣ, и все имѣти будеша въ рукахъ своихъ! Аще же будеша имѣти мудрѣйшихъ близу себя, по нуждѣ будеша послушенъ имъ». Петръ Великій, принявъ власть при другихъ обстоятельствахъ и намѣреваясь воспользоваться ею для иныхъ цѣлей, пересталъ удовлетворяться и тѣмъ теоретическимъ фундаментомъ, который подвели подъ нее иконописные московскіе государи. Сбросивъ съ себя парчевый архіерейскій нарядъ древнихъ царей, Петръ задумалъ секуляризировать и самую свою власть, поставивъ ее на другія, болѣе современныя начала. Съ этою цѣлью онъ обращался уже къ европейской литературѣ и оттуда почерпалъ необходимые для него доводы и примѣры. Изъ европейскихъ писателей того времени всѣхъ больше пользовался его сочувствіемъ Самуилъ Пуффендорфъ, который, по словамъ Шерра, «впервые сдѣлалъ естественное и международное право предметомъ академическаго изученія». Теорію государственной власти Пуффендорфъ выводилъ изъ естественныхъ законовъ человѣческаго общежитія, давая этой власти почти безграничную юрисдикцію надъ отдѣльною личностью, требовалъ однако, чтобы правители отдавали себѣ отчетъ въ своихъ поступкахъ, направляя ихъ къ возможно большей пользѣ народа, который, въ свою очередь, хотя «съ почтеніемъ», но вправѣ былъ—заявлять свои нужды и возражать противъ несвоевременныхъ государственныхъ мѣръ. Книги Пуффендорфа, «сладостно отъ всѣхъ

чтомъ», переводились на русскій языкъ по распоряженію самого Петра. Въ одной изъ этихъ книгъ, разсуждая о «должностяхъ человѣка и гражданина», Пуффендорфъ касался фундаментальнаго вопроса въ естественномъ правѣ—о происхожденіи закона и о степени обязательности его для общества. «Понеже—говоритъ онъ—дѣйствія человѣческія отъ воли происходятъ, воли же каждаго человѣка не всегда себѣ подобныя, но разныхъ въ разная идутъ, того ради для благочинія и изрядства въ родѣ человѣческомъ потребно было правилу нѣкому быти, которому бы оныя воли согласовались. Инако бы, еще бы въ таковой свободности воли и въ такой приклонности и хотѣніи различности всякъ безъ разсужденія къ извѣстному правилу, еже бы хотѣлъ—творилъ, невозможно было бы не быти великому смѣшенію и безчинію въ родѣ человѣческомъ. Правило оное именуется закономъ, который есть декретъ или установленіе, которымъ начальствующіе подчиненнаго обязываютъ, дабы по оному уставу свои дѣйствія согласовалъ».

«Налагается же обязательство умамъ человѣческимъ—продолжаетъ онъ—собственно отъ начальствующаго, то есть таковаго, который не токмо имѣетъ власть нѣкое бѣдство противляющимся содѣлать, но который имѣетъ праведныя причины, для чего, по мнѣнію своему, воли наша свободности хочетъ употреблять. Таковая бо власть, еще въ которомъ есть, когда еще изволеніе свое объявить, то подобаетъ, дабы умъ человѣческій со страхомъ и почтеніемъ къ тому присталъ: со страхомъ для власти, а съ почтеніемъ разсуждая причины, которыя бы безъ страха подвизать должны къ исполненію

и воспріятію воли его. Кто бы ни единой причины показать не можетъ, для чего мнѣ, и не хотящу, обязательство хочетъ наложить, кромѣ единого насилія, той мене устрашити можетъ, дабы зла вищаго удаляясь, ему повиновался; но когда страхъ минуетъ, тогда все могу паче по моей волѣ, нежели по его дѣлать... причины же, для которыхъ кто праведно требовати можетъ, дабы другій былъ ему подчиненъ, сія суть: аще отъ того сему великія благодѣянія явлены; аще явится, что той благожелаетъ ему и о немъ смотрѣніе вящее имѣетъ, нежели бы онъ о себѣ могъ имѣти. Такожде аще самимъ дѣломъ подъ его правленіемъ долженъ быть, и егда самъ себѣ добровольно подчинилъ и подъ правленіемъ тѣмъ быть восхотѣлъ». Если мы сопоставимъ эти взгляды съ мнѣніями Милля, который, во имя свободы и человѣческихъ правъ, доводитъ до минимума власть государства надъ личностью, — то ихъ філософія, безъ сомнѣнія, покажется теперь довольно ограниченной и незамысловатой; но съ другой стороны ее невозможно и сравнивать съ недопускающей никакихъ возраженій силлогистикой московскаго царя. Такова же разница и въ политической дѣятельности Петра и Іоанна Грознаго, хотя недалъновидные анекдотисты стараются поставить ихъ на одну доску, приравнивая даже безсмысленное и звѣрское убійство сына Іоанномъ къ строго-мотивированной и весьма понятной въ государственномъ смыслѣ карѣ надъ царевичемъ Алексѣемъ. Увлекался или нѣтъ первый русскій императоръ въ своихъ преобразовательныхъ планахъ, всегда ли хороши и дѣйстви тельны были средства, употребленныя имъ для

достиженія своихъ цѣлей? — это подлежитъ суду исторической критики; но неоспоримо то, что онъ имѣлъ болѣе или менѣе «праведныя причины», т.-е. рациональныя основанія для своихъ дѣйствій, что онъ надѣялся ими «явить благодѣянія» своему народу и что, наконецъ, всѣ мыслящіе люди того времени были положительно на его сторонѣ, хотя онъ и не забывалъ—по ученію Пуффендорфа—«нѣкое бѣдство противляющимся содѣлать». Пользуясь на практикѣ безграничною властью, перешедшей къ нему отъ предковъ, во всей ея обширности и нерѣдко со всѣми злоупотребленіями, ей свойственными, Петръ, въ то же время, указывалъ для нея такіе мотивы и оправданія, которые не имѣютъ ничего общаго съ самоуслаждающимся тиранствомъ лже-игумена Александровской слободы. Кромѣ Пуффендорфа, Петръ пользовался краснорѣчіемъ извѣстнаго Оеофана Прокоповича, — и этотъ послѣдній, защищая съ церковной кафедры передъ своими слушателями нововводимыя реформы, не ограничивался одними текстами, но присоединялъ къ нимъ научныя доказательства и соображенія здраваго разума. «Аще же—говоритъ онъ въ одной проповѣди о происхожденіи власти въ государствѣ—когда обрѣтаемъ нѣкое грубое народище безглавное (хотя и не весьма такое, ибо во всякомъ домовствѣ свой правитель есть) такихъ человѣкъ скотомъ обычнѣ уподобляемъ и описуемъ ихъ сею притчею: ни царя, ни закона. Извѣстно убо имамъ, яко власть верховная отъ самаго естества начало и вину приѣмлетъ, а еже отъ естества, то отъ самого Бога, создателя естества». Въ этихъ словахъ Прокоповичъ ссылается уже на естественное право, которое разработывалось въ то время Пуффендорфомъ и насаждалось въ Россіи

рукой самого правительства. Замѣтимъ еще, что Екатерина, въ лучший періодъ своей дѣятельности, справедливо считала себя продолжательницей Петрова дѣла: — какъ онъ искалъ для себя поддержки въ идеяхъ, выработанныхъ передовыми европейскими мыслителями, такъ точно и она (съ тѣми же уклоненіями на практикѣ) вдохновлялась идеями, заимствованными у французскихъ энциклопедистовъ. И тотъ, и другая внесли много хорошаго въ русскую жизнь, и оба нерѣдко измѣняли себѣ отражая въ своей дѣятельности вліяніе обстановки, глубоко испорченной крѣпостнымъ и политическимъ рабствомъ.

Всматриваясь глубже въ характеръ и отправленія государственной власти при Петрѣ I мы найдемъ въ ней сходство — не съ азіатскимъ тиранствомъ Іоанна Грознаго, но съ безсмѣнной желѣзной диктатурой, которая возникаетъ въ исторіи въ моментъ крутаго перелома всѣхъ общественныхъ отношеній, какъ напримѣръ при Кромвелѣ или въ первую французскую революцію. О Петрѣ не безъ основанія говорятъ, что онъ произвелъ революцію — не снизу, а сверху. Своимъ государственнымъ авторитетомъ онъ пользуется только для того, чтобы смѣлѣе и глубже провести занимающую его идею, внѣ которой для него не существуетъ ни правды, ни спасенія; лично для себя ему ничего не нужно, кромѣ простаго кафтана, одноколки и бутылки пива. Онъ работаетъ топоромъ на верфи вовсе не для забавы, чтобы убить праздное время: у него, дѣйствительно, мозоли не сходятъ съ рукъ, и онъ влюбленъ въ морское дѣло, какъ и во всю вообще европейскую культуру, представлявшую такой рѣзкій контрастъ съ нашей отечественной дикостью. Это — настоящій фанатикъ мысли, крѣпко запавшей ему въ голову; фанатикъ пламеннаго желанія —

сдвинуть Россію съ той узкой колеи, въ которую загнало ее невѣжество въ соединеніи съ ничѣмъ невозмутимымъ китайскимъ самодовольствомъ. Идея реформы, смутно бродившая до Петра въ немногихъ умахъ, сдѣлалась при немъ идеей воинствующей: ею опредѣлялъ преобразователь свои отношенія не только къ государству, но и къ своей собственной семьѣ. Все, что прямо противодѣйствовало осуществленію этой идеи; все, что даже окрашивалось подозрительнымъ цвѣтомъ и могло бы послужить вывѣской или подспорьемъ противоположному направленію, получало въ глазахъ фанатическаго ревнителя видъ преступной крамолы или опаснаго зложелательства и, на этомъ основаніи, уничтожалось безъ пощады и замедленія. Не забудемъ, что вопросы, замѣшанные въ этой борьбѣ, были поставлены крайне рѣзко, и страсти напряжены до послѣдней степени; никакой сдѣлки и перемирія не допускали сами враждующія стороны. Стрѣльцы для Петра были такими же представителями *ancien régime*, какими были для французскаго конвента вандейцы и ихъ приверженцы; сотрудники Петра и всѣ вообще люди, усвоившіе себѣ европейскія понятія, казались стрѣльцамъ отщепенцами и новаторами, которыхъ надо было вырвать, какъ плевелы, изъ «святорусской» земли. Возможны ли тутъ были какія нибудь соглашенія и обоюдныя уступки? Покончивъ стрѣлцкое дѣло съ жестокостью, рекомендуемой весьма крѣпкіе нервы и у казнимыхъ, и у казнившихъ, Петръ съ ужасомъ замѣтилъ, что подъ его реформы идутъ подконы съ другой стороны, изъ-подъ защиты семейнаго крова, гдѣ пріютился царевичъ, большой любитель благочестивыхъ старцевъ, вздыхавшихъ о старинѣ,

и непримиримый врагъ всѣхъ заморскихъ нововведеній. Этотъ юноша, еще не убивъ медвѣдя, собирался уже дѣлать его шкуру и мечталъ о томъ, какія рѣки млека и меда потекутъ по Россіи, когда онъ выкурить изъ нея всякій духъ «новшества», т.-е. европейской цивилизаціи. Разгнѣванный Петръ поступилъ на этотъ разъ какъ совершенный диктаторъ, дорожащій единственно успѣхомъ идеи, которую онъ призванъ осуществить. Не задумываясь нисколько, онъ, въ числѣ многихъ разрушенныхъ преданій, пошатнулъ даже ту традицію, въ силу которой ему самому достался престолъ, а именно объявилъ, что онъ самъ выберетъ себѣ наслѣдника, способнаго продолжать его дѣло. Обычай наслѣдственности престола по кровному родству подрѣзывался подъ корень, вопреки мнѣнію большинства, выразившемуся въ цѣлой массѣ подметныхъ или, — какъ ихъ называли тогда, — «воровскихъ» писемъ; на мѣсто ненадежной традиціи, обманувшей Петра въ его собственномъ сынѣ, становилась воля преобразователя, лѣе застрахованная, какъ ему казалось, отъ неудачи или ошибки. И Петръ выбралъ себѣ наслѣдницу — женщину, возведенную имъ изъ ничтожнаго званія на высшую ступень въ государствѣ, бѣдную иностранку, у которой единственной опорой былъ ея царственный мужъ, и для которой, слѣдовательно, не было другой дороги, какъ держаться тѣхъ же людей и тѣхъ же цѣлей, какъ и самъ Петръ. Вѣнчая Екатерину въ 1724 г., Петръ, въ присутствіи главныхъ сановниковъ государства, говорилъ, что заслуги Екатерины передъ Россіей велики, что она раздѣляла съ нимъ его труды, отправляясь даже въ походы, и что, наконецъ, женщина, спасшая государство въ 1711 г. (въ Прутской катастрофѣ), достойна

править этимъ государствомъ. Безъ сомнѣнія, Петръ сильно преувеличивалъ заслуги своего созданія; но достовѣрно однако то, что Екатерина нерѣдко принимала участіе въ дѣловыхъ бесѣдахъ своего мужа, и тогдашніе сановники признавались, что ея совѣты и соображенія разрѣшали подѣлъ часть, удачнымъ образомъ, правительственные вопросы. Самъ Петръ, который могъ бы сказать о себѣ словами Чацкого, что онъ водится съ женщинами не для умныхъ бесѣдъ, выслушивалъ снисходительно замѣчанія Екатерины по государственнымъ дѣламъ, и даже бывалъ доволенъ такимъ вмѣшательствомъ. Но всего важнѣе для него было, конечно, то обстоятельство, что Екатерина, еслибы и хотѣла, не могла измѣнить разѣ заведенныхъ порядковъ и должна была вести ихъ въ прежнемъ духѣ и направленіи. Сильная только своею близостью къ царю и ему всѣмъ обязанная, она руководствовалась вполне и его политической программой. Чѣмъ она была прежде и чѣмъ сдѣдалась по волѣ Петра? Вотъ вкратцѣ исторія ея возвышенія, которую г. Андреевъ рассказываетъ по иностраннымъ мемуарамъ, не особенно рѣдкимъ, но все еще недоступнымъ для большинства нашихъ читателей.

«У Шереметева—разсказываетъ авторъ—Марту (прежнее имя Екатерины) увидалъ Меншиковъ и склонилъ фельдмаршала уступить ему плѣнницу. (Марта, какъ извѣстно, взята была въ плѣнъ въ Маріенбургѣ, ливонскомъ городкѣ, гдѣ она находилась въ услуженіи у пастора Глюка). Вальбоа положительно говоритъ, что Меншиковъ скоро подпалъ подѣ вліяніе ея и что въ обществѣ болѣе молодого и болѣе красиваго, чѣмъ Шереметевъ, любимца Петра Марта уже не несла одной покорности рабы къ ногамъ своего властелина,

а что, напротивъ, немного прошло дней, и уже нельзя было сказать, кто въ домѣ Меншикова дѣйствительный рабъ — всевластный ли любимецъ царя, или жена шведскаго драгуна Іоганна. (Марта, незадолго до того, вышла замужъ за простаго шведскаго солдата, который потомъ совершенно исчезъ изъ виду). Пріѣзжаетъ къ Меншикову Петръ. У Петра, какъ извѣстно, всегда былъ солидный аппетитъ, и потому всюду, куда онъ пріѣзжалъ, его ожидала закуска. О Петрѣ же его докторъ Арескинъ говаривалъ, что онъ одержимъ легиономъ духовъ сластолюбія. Имѣя это въ виду, едва ли нужно распространяться, что Петръ кушалъ у Меншикова и что, кушая, онъ замѣтилъ между подававшими кушанья Марту. Петръ расположился ночевать у Меншикова и послѣ ужина велѣлъ Мартѣ посвѣтить себѣ въ спальнѣ. Это былъ приказъ, противъ котораго не было апелляціи. Что же дѣлаетъ Меншиковъ? Онъ покорно склоняетъ голову въ знакъ согласія.—Петръ при прощаніи всовываетъ золотой дукатъ (два тогдашнихъ рубля, пол-лундора) Мартѣ въ руку. Едва уѣхалъ Петръ, Марта показала Меншикову, что она думаетъ о немъ, и виновный долженъ былъ вынести справедливую кару. Пріѣзжаетъ опять къ Меншикову Петръ, опять кушаетъ. Между прислуживающими нѣтъ однако Марты: вѣрно упреки ея не были забыты. Но и Петръ не забылъ ее. «Гдѣ же Марта?» Это вопросъ — приказаніе, и опять на него нѣтъ апелляціи. Марта явилась. Петръ начинаетъ опять шутки, какъ и въ первый разъ. Но что же это значить? Марта сдержана, задумчива... Смолкаютъ и шутки Петра, и онъ въ задумчивости наклоняется къ своей тарелкѣ. Веселая бесѣда стихла. Что такое съ Петромъ? Что за-

пало въ это сердце, которому до—того чужды были тревоги болѣе слабаго человѣчества? Не онъ ли гордился прежде тѣмъ, что женщина въ глазахъ его игрушка? Неужели задумчивость эстонской дѣвушки отразилась въ задумчивости гордаго монарха? Или тотъ внутренній человѣкъ напомнилъ монарху, что есть что-то, чего не приобрѣтешь всѣми приказами повелителя, не знающаго прекословія, и не купишь всѣми дукатами царства? Петру, въ концѣ ужина, подаютъ рюмку водки на подносѣ. Онъ поднимаетъ глаза: подносить та же, поневолѣ обязанная прислуживать, Марта. Но уже Петръ пришелъ въ себя. «Я увожу ее съ собою», сказалъ онъ Меншикову, вставъ изъ-за ужина и уходя къ себѣ. На этотъ разъ онъ остановился не у Меншикова въ домѣ. Онъ взялъ Марту подъ руку и вышелъ. На слѣдующій день царь видитъ Меншикова, но ни слова ему о Мартѣ. Только на третій день, когда было переговорено о дѣловомъ, Петръ зоветъ уходившаго Меншикова и говоритъ ему, что у Марты нѣтъ ничего изъ платья, и что имъ нужно ее «оснастить» какъ слѣдуетъ. Александру Даниловичу не надобно было дважды повторять словъ Петра. Онъ понялъ, что это значить. Онъ отправляется домой, самъ собираетъ въ два узла всѣ пожитки Марты и посылаетъ узлы съ двумя дѣвушками, бывшими у него въ домѣ, на послугахъ у Марты, къ ней въ домъ, гдѣ остановился Петръ. Ловкій царедворецъ не упустилъ при этомъ благопріятнаго случая. Онъ угадывалъ, что ждетъ Марту въ будущемъ, и спѣшилъ начать принимать свои мѣры. У любимицы Меншикова могло быть два узла пожитковъ и двѣ горничныя для услугъ, но у любимицы Петра отчего не быть и ящичку съ драгоценностями между

имуществомъ? Ящичекъ съ драгоценными кольцами и т. п. на сумму до 5,000 руб. кладется въ одинъ изъ узловъ, и узлы отправлены.—Марта въ комнатахъ Петра. Горничныя, принесшія узлы, не найдя ее въ ея комнатѣ, не смотря на то, раскладываютъ принесенное. Скоро комната принимаетъ другой видъ. Возвращается Марта. Она удивлена, но ей не нужно пояснять, въ чемъ дѣло. Съ находчивостью, заставлявшею предполагать, что она начинала чувствовать себя здѣсь какъ дома, она, обратясь къ Петру, сказала: «Я довольно долго была на вашей половинѣ, теперь пожалуйста на мою». Петръ идетъ за нею. Марта въ волненіи перебираетъ присланныя вещи. А это что? Ящикъ для зубочистки? Нѣтъ! Довольно было открыть ящичекъ, добавленный Меншиковымъ къ имуществу Марты, чтобы бѣдной эстонской дѣвушкѣ, не выдавшей себя никогда обладательницею такого количества золота и дорогихъ камней, придти въ смущеніе. «Это не мое!» съ рѣшимостью говоритъ она. «Если это отъ моего прежняго господина, я возвращаю ему его драгоценности. Это кольцо (она указала при этомъ на недорогое кольцо на рукѣ ея) не меньше напомнитъ мнѣ обо всемъ, что онъ сдѣлалъ для меня. Если же это отъ моего новаго господина—возвращаю ящикъ ему: мнѣ нужно отъ него то, что дороже заключающагося въ этомъ ящикѣ». Петръ улыбается, общается сосчитаться съ Меншиковымъ, а Мартѣ, смущенной и въ слезахъ отъ всего происшедшаго, подали подкрѣпляющую рюмку венгерскаго. Вильбоа, современникъ Петра и человѣкъ приближенный къ нему, передаетъ подробности о жизни Марты со словъ дамы, у которой Марта, посланная въ Москву, долго жила послѣ въ

домѣ. Сцена перваго впечатлѣнія, произведеннаго на Марту рѣшеніемъ Петра оставить ее у себя, была бы неизвѣстна потомству, еслибы свидѣтелемъ ея, кромѣ стоявшихъ тутъ двухъ дѣвушекъ, не былъ гвардейскій капитанъ, котораго Петръ, не ожидавшій сцены, привелъ съ собою. Съ этого времени Марта остается у Петра, но Петръ вида не показываетъ, что она у него. Значить, не мимолетна была тѣнь задумчивости, упавшая на лицо еѣ на памятномъ ужинѣ у Меншикова. Посылая Марту въ Москву съ довѣреннымъ гвардейскимъ офицеромъ, Петръ поручилъ ему заботиться, чтобы все было къ услугамъ ея, чтобы поѣздка ея оставалась въ тайнѣ, и ему ежедневно посылали рапорты о состояніи ея здоровья. Безъ огласки пріѣхала Марта въ Москву. Провожатый привезъ ее къ дамѣ, у которой хотѣлъ помѣстить ее Петръ. Съ этого временій она жила въ одной изъ уединенныхъ мѣстностей Москвы, въ домѣ скромномъ снаружи и щедро снабженномъ внутри. Въ первое время Петръ ѣздилъ къ ней безъ огласки. Только нѣсколько времени спустя... Но нѣсколько времени спустя, маріенбургская плѣнница Марта превратилась уже въ государыню Екатерину Алексѣевну. Есть однако основаніе полагать, что и по рожденіи старшей дочери (Анны) она продолжала называться Катериною Василевскою, живя въ Петербургѣ въ 1708 г.»

Г. Андреевъ, для красоты слога, отчасти идеализируетъ отношенія Петра къ Екатеринѣ (изъ интимныхъ Петровыхъ писемъ мы знаемъ, что онъ смотрѣлъ вовсе не платонически на эту связь); но можно думать однако, что впоследствии она сѣмѣла сдѣлаться необходимою для Петра не однимъ

физическими наслажденіями. Она примѣнилась до мелочей къ характеру своего повелителя, сжилась съ его привычками и взглядами,—и всѣмъ этимъ привязала къ себѣ, въ значительной степени, непостояннаго мужа. Вліяніе ея на Петра было не бесполезно. Съ Петромъ дѣлались иногда припадки, которые, по словамъ Бассевича, происходили отъ яда, будто бы даннаго ему въ дѣтствѣ сестрою его Софьею. Этими припадками, по всей вѣроятности, объясняются многіе его поступки. Наступленіе припадка узнавали по особенному судорожному подергиванію рта. Въ эти минуты Петръ, и безъ того суровый, бывалъ страшнѣе: гнѣвъ его обрушивался на окружающихъ, въ которыхъ онъ начиналъ видѣть враговъ, собирающихся посягнуть на его жизнь. Сильная головная боль въ теченіе трехъ дней была слѣдствіемъ припадка. «Такъ было до сближенія его съ Екатериною», рассказываетъ авторъ статьи. «Послѣ, едва замѣчали у Петра судорожныя движенія рта, какъ давали знать Екатеринѣ. Та приходила, начинала говорить съ нимъ. Звуки голоса ея производили на него какъ бы магическое дѣйствіе. Припадокъ ослабѣвалъ, и Петръ засыпалъ часа на три на ея груди. Все это время она оставалась неподвижною, чтобы не разбудить его. Петръ просыпался свѣжимъ и бодрымъ, и головной боли послѣ какъ бы не бывало». За всѣ эти услуги Петръ щедро вознаградилъ Екатерину: сначала произвелъ ее во фрейлины, потомъ въ царицы, а наконецъ, съ большою помпой, вѣнчалъ ее императрицею. Исторія съ камергеромъ Монсомъ, случившаяся вскорѣ послѣ этого коронованія, чуть было не погубила Екатерину, но она и здѣсь, съ своимъ обычнымъ тактомъ, сумѣла выпутаться изъ нея.

Разсказываютъ, что Петръ стоялъ какъ-то съ Екатериною, послѣ казни Монса, во дворцѣ у окна. «Ты видишь — сказалъ онъ ей — это венеціанское стекло. Оно сдѣлано изъ простыхъ матеріаловъ; но, благодаря искусству, стало украшеніемъ дворца. Я могу возвратить его въ прежнее ничтожество». Съ этими словами онъ разбилъ стекло въ дребезги. Екатерина поняла эту нехитрую аллегорію, за которой могло бы сейчасъ же послѣдовать практическое истолкованіе, — поняла, но не потеряла присутствія духа. — «Вы можете это сдѣлать — отвѣчала она — но достойно ли это васъ, государь? И развѣ оттого, что вы разбили стекло, дворецъ вашъ сдѣлался красивѣе?» Этотъ умный и простой отвѣтъ обезоружилъ Петра. Недолго прожилъ послѣ того Петръ, и умеръ, не назначивъ себѣ преемника. Говорятъ, что передъ смертью онъ былъ уже противъ кандидатуры Еекатерины; но иностранцы, которымъ пришлось бы плохо въ случаѣ поворота въ управленіи, а также русскіе, выбившіеся впередъ своими личными заслугами, вспомнили о коронованіи императрицы и, опираясь на прежнюю волю Петра, провозгласили Екатерину самодержицей всероссійской.

II.

Тутъ-то и началась длинная вереница придворныхъ пертурбацій, тянувшихся вплоть до восшествія на престолъ Александра I. Прочности въ положеніяхъ не было никакой: человѣкъ, заснувшій, *de facto* или по имени, по-

вешателемъ, могъ проснуться въ казематѣ Петропавловской крѣпости или по дорогѣ въ Березовъ; люди, трепетавшіе передъ нимъ наканунѣ и униженно готовые исполнять его малѣйшую прихоть, становились его неумолимыми тюремщиками и сторицей вознаграждали себя за прежнее рабство. Вотъ источникъ нашего «временничества» и фаворитизма, вотъ настоящая причина безцеремоннаго обращенія съ государственной казной и государственными интересами. Всякій, добившійся власти или случайнаго возвышенія при дворѣ, «ловилъ фортуна за чубъ» (по выраженію Разумовскаго) и требовалъ отъ нея, какъ извѣстный мужикъ отъ золотой рыбки, и денегъ, и лентъ, и крѣпостныхъ душъ; а позднѣе — неслыханнаго, чудовищнаго великолѣпія въ житейской обстановкѣ. Après nous le déluge! думалъ одинъ; «сегодня панъ — завтра пропасть!» вторилъ ему про себя другой — и это море случайностей вздувалось еще пуще, грози поглотить разомъ всѣхъ неосторожно-выдвинувшихся сыновъ фортуны. Веселая, разгульная жизнь того времени, которая соблазняетъ донынѣ своимъ наивнымъ пафосомъ любителей старины, походила на оргію у подошвы вулкана или, еще вѣрнѣе, на «пиръ во время чумы». Каждый участникъ безумнаго пиршества, чувствуя всю эфемерность своего счастья, могъ бы смѣло провозгласить, вмѣсто тоста, эту высоко-художественную пѣснь:

Когда могучая зима
Какъ добрый вождь, ведетъ сама
На насъ косматая дружина
Своихъ морозовъ и снѣговъ,
На встрѣчу ей трещать камины —

И веселъ зимній жаръ пировъ.
Царица грозная чума
Теперь идетъ на насъ сама
И льстится жатвою богатой
И къ намъ въ окошко день и ночь
Стучить могильною лопатой...
Что дѣлать намъ и чѣмъ помочь?
Какъ отъ проказницы зимы,
Запремся такъ же отъ чумы!
Зажжемъ огни, нальемъ бокалы,
Утопимъ весело умы—
И заваривъ пиры да балы,
Возславимъ царствіе чумы!

Лучшей характеристики невозможно придумать для того безпечнаго «срыванія цвѣтовъ жизни», которое проходить рѣзкою чертою черезъ весь почти XVIII вѣкъ нашей исторіи. Основаніе московскаго университета, созваніе комиссіи для составленія уложенія и еще два-три утѣшительныхъ факта мало измѣняютъ господствующій характеръ эпохи. Только одни военные успѣхи льстятъ самолюбію страны, и по этой части мы дѣйствительно отличаемся: предѣлы государства раздвигаются съ непомѣрною быстротою, но въ немъ нѣтъ политической жизни, которая могла бы сплотить эту громаду въ одно стройное цѣлое. Различныя окраины государства, превосходя образованіемъ и культурою своею метрополію, занимаютъ даже въ ней привилегированное положеніе, въ ущербъ массамъ номинально господствующаго племени. Культурная сила этого племени еще такъ слаба, что не можетъ переварить и ассимилировать татарскія и финскія орды, сидящія внутри страны; въ центрѣ государства скоплены горючіе матеріалы въ видѣ раскола и крѣпостнаго права, которые могутъ ежеминутно произвести страшный взрывъ — и

дѣйствительно производить его въ дни пугачевщины; народное образованіе стоитъ ниже нуля; въ судахъ лихоимствуютъ, и грабятъ въ администраціи,—такъ что приходится издавать противъ взяточниковъ особые указы. Въмѣсто правильно-организованнаго общественнаго мнѣнія страны, на государственную власть имѣютъ непосредственное вліяніе только лица, близко къ ней стоящія, — а между ними на первомъ планѣ гвардейскіе офицеры, которыхъ англійскій резидентъ Финчъ называлъ русскими янычарами. Вотъ почему служба въ гвардіи такъ долго сохраняла у насъ свое обаяніе, что даже во времена Грибоѣдова можно было сказать про московскихъ дамъ, что онѣ

—Любимцамъ гвардіи, гвардейцамъ, гвардіонцамъ,
Ихъ золоту, шитью дивятся будто солдтамъ.

Временщикъ—это alter ego самой власти; онъ—ея ревностѣйшій блюститель въ спокойное время и отчаянный защитникъ въ случаѣ невзгоды. Временщиковъ можно было мѣнять съ упроченіемъ власти; можно было придавать имъ болѣе или менѣе интимный характеръ (т. е. дѣлать ихъ фаворитами въ тѣсномъ смыслѣ); но обойтись безъ нихъ совсѣмъ—почти не предстояло возможности: — такъ тѣсно сплелось ихъ существованіе съ условіями эпохи, ихъ породившей. Смотри по тому: какая черта господствовала въ характерѣ сильнаго вельможи—подозрительность или безпечное «срываніе цвѣтовъ» жизни, а также и потому, какого рода услуги требовались отъ него,—временщики подраздѣлялись на два различныхъ типа: временщиковъ подозрительныхъ, выискивающихъ и высматривающихъ опасности, и временщиковъ просто роскошествующихъ, т. е. сорящихъ направо

и налѣво легко приобретаемые дары судьбы. Временщики послѣдняго сорта пользуются у насъ наибольшею извѣстностью, благодаря тому, что стоустая молва далеко разносила ихъ имена, и даже поэзія восхваляла ихъ пиршества, на которыхъ—по живописному выраженію одного такого, пінты—цѣлые океаны, «трясяся челами (вѣроятно отъ страха), держали рѣдкихъ рыбъ», а прекрасная Нева, уподобляясь служанкѣ, «носила по гостямъ чужія питья, снѣди». Къ этому типу принадлежали: кромѣ «великолѣпнаго» князя Тавриды, и оба графа Разумовскіе, о которыхъ обширная статья напечатана во II томѣ «Осмынадцатаго вѣка». Мы позаимствуемъ изъ этой статьи нѣкоторые интересныя свѣдѣнія. — Алексѣй Григорьевичъ Розумъ родился въ Черниговской губерніи въ деревнѣ Лемешахъ въ 1700 г. Онъ принадлежалъ къ простой казацкой семьѣ и былъ сначала «пастыремъ стады непорочныхъ»; но его привлекательная наружность и его пріятный голосъ скоро обратили на него вниманіе мѣстнаго духовенства. Причетъ села Чемеры, къ приходу котораго принадлежали Лемеша, взялъ мальчика на свое попеченіе и здѣсь выучился Розумъ грамотѣ и церковному пѣнію. Въ началѣ января 1731 г., въ праздничный день, проѣзжалъ черезъ Чемеры полковникъ Вишневскій, возвращавшійся изъ Венгріи, куда онъ ѣздилъ покупать венгерскія вина для императрицы Анны Іоанновны. (Венгерское вино было тогда въ большомъ употребленіи и замѣняло шампанское при провозглашеніи тостовъ). Полковникъ этотъ зашелъ въ церковь, обратилъ сейчасъ же вниманіе на голосъ и наружность молодого пѣвчаго и уговорилъ мать его отпустить съ нимъ сына въ Петербургъ. Тамъ Розумъ былъ опредѣленъ

графомъ Левенвольдомъ въ придворную пѣвческую капеллу. Однажды Елизаветѣ Петровнѣ (тогда еще цесаревнѣ) случилось быть въ придворной церкви, и она была поражена голосомъ Розума. Представленный ей по окончаніи литургіи, пѣвецъ поразилъ ее еще больше своей наружностью. Высокій, стройный, нѣсколько смуглый, съ выразительными черными глазами и черными же дугообразными бровями, Розумъ былъ настоящій красавецъ. Вскорѣ послѣ того онъ считался уже пѣвчимъ цесаревны и получилъ прозваніе Разумовскаго. Голосъ его однако началъ спадать, и изъ пѣвчаго онъ былъ переименованъ въ придворные бандуристы. Но по мѣрѣ того, какъ падалъ его голосъ, возвышалось и крѣпко его придворное значеніе. Изъ бандуристовъ Разумовскій произведенъ былъ въ управляющіе одного изъ цесаревнинихъ имѣній; мало-по-малу и другія недвижимыя имущества и весь небольшой дворъ принцессы попали подъ его вѣдѣніе, а въ правленіе Анны Леопольдовны мы видимъ уже его камеръ-юнкеромъ при цесаревнѣ. Въ ночь переворота съ 24-го на 25-е ноября 1741 г., въ то время, какъ Елизавета Петровна, въ сопровожденіи Лестока, Воронцова, Шувалова и Шварца, объѣзжала казармы и занимала большой дворецъ, Разумовскій оставался наблюдать за порядкомъ въ домѣ цесаревны на Царицыномъ лугу, куда и перевезла сама Елизавета, въ саняхъ, павшую правительницу вмѣстѣ съ императоромъ Іоанномъ Антоновичемъ и новорожденною его сестрою. Въ день восшествія на престолъ его покровительницы, Разумовскій пожалованъ въ дѣйствительные камергеры и поручики лейбъ-компаніи въ чинѣ генераль-лейтенанта, а затѣмъ посыпались на него чины, ленты и богат-

ства. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ онъ получилъ высшій орденъ Андрея Первозваннаго, чинъ оберъ-егермейстера и пожалованъ множествомъ вотчинъ. Въ концѣ своего царствованія, Елизавета сдѣлала его фельдмаршаломъ, хотя онъ съ роду не служилъ въ военной службѣ и не командовалъ ни однимъ солдатомъ. «Государыня—сказалъ ей при этомъ скромный малороссъ—ты можешь меня назвать фельдмаршаломъ, но никогда не сдѣлаешь изъ меня даже порядочнаго полковника». Богатство Разумовскаго было такъ велико, что съ восшествіемъ на престолъ Петра III, въ день переѣзда государя въ новый зимній дворецъ, онъ поднесъ ему въ подарокъ драгоцѣнную трость, а въ придачу къ ней—ни больше, ни меньше,—какъ миллионъ рублей! (Т. II, стр. 572). Когда Разумовскій, не любившій считать денегъ, садился играть въ банкъ, то этотъ случай былъ настоящимъ праздникомъ для всѣхъ придворныхъ особъ. Порошинъ рассказываетъ, что въ это время—«статсъ-дама Настасья Михайловна Измайлова (рожденная Нарышкина) и другія попросту изъ банка крадывали у него деньги... За дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ, княземъ Иваномъ Васильевичемъ Одоевскимъ, александровскимъ кавалеромъ и президентомъ вотчинной коллегіи (можно представить себѣ, какое безкорыстіе царствовало въ этой коллегіи!), одинъ разъ подмѣтили, что онъ тысячи полторы (значить, и мелочами не брезгалъ) въ шляпѣ перетаскалъ и въ сѣняхъ отдавалъ слугѣ своему». Роскошь и великолѣпіе обстановки Разумовскаго соотвѣтствовали его положенію при дворѣ, прославленномъ своею пышностью. «Дворъ въ это время—повѣствуетъ намъ князь Щербатовъ—подражая или,

лучше сказать, угождая императрицѣ, въ златотканныя одежды облекался; вельможи изыскивали въ одѣяніи все, что есть богатѣе, въ столѣ—все, что есть драгоцѣннѣе, въ питѣе все, что есть рѣже, въ услугѣ—возобновя древнюю многочисленность служителей, приложили къ оной пышность въ одѣяніи ихъ. Экипажи возблистали златомъ, дорогія лошади, не столь для нужды удобныя, какъ единственно для виду, учинились нужны для воженія позлащенныхъ каретъ. Дома стали украшаться позолотою, шелковыми обоями во всѣхъ комнатахъ, дорогими мебелями, зеркалами. Все сіе составляло удовольствіе самымъ хозяевамъ, вкусъ умножался, подражаніе роскошнѣйшимъ народамъ возрастало, и человекъ дѣлался почителемъ (т. е. заслуживалъ почтенія) по мѣрѣ великолѣпности его житія и уборовъ. При дворѣ были безпрестанные банкеты, куртаги, балы, маскарады, комедіи французская и русская, итальянская опера и пр. Всѣ увеселенія дѣлились на разныя категоріи; каждый разъ опредѣлялось, въ какомъ именно быть костюмѣ: въ робахъ, шлафорахъ или самарахъ—для дамъ, въ цвѣтномъ или богатомъ платьѣ—для мужчинъ. Костюмы осыпались брилліантами и украшались чистѣйшимъ золотомъ и серебромъ, такъ какъ употребленіе мишуры и хрусталя для убранства запрещалось придворными правилами. Какъ часто приходилось мѣнять при дворѣ наряды—видно изъ того, что во время пожара въ Москвѣ, въ 1753 г., у императрицы сгорѣло 4,000 платьевъ; а по смерти ея найдено 15,000 платьевъ, одинъ разъ надѣванныхъ или вовсе не ношенныхъ, 2 сундука шелковыхъ чулокъ; лентъ, башмаковъ и туфель нѣсколько тысячъ, болѣе сотни неразрѣзанныхъ французскихъ матерій и

пр. и пр. Сколько провизіи истреблялось ежедневно придворнымъ штатомъ и какая масса перевозочныхъ средствъ нужна была для него — объ этомъ трудно составить себѣ даже приблизительное понятіе. Такъ напр., во время поѣздки императрицы въ Кіевъ, малороссійскіе генеральные старшины заготовили-было 4,000 лошадей; но Разумовскій написалъ, что всѣхъ лошадей понадобится 23,000 (!), и ихъ принуждены были собрать съ обывателей. Каждый старшина обязывался выставить, для продовольствія двора, цѣлый погребъ, куда входили: вина воложскаго 2 ведра, крымскаго 2, телятъ 2, ягнятъ 8, курчатъ 50, поросятъ 8, утокъ 20, яицъ 500, водки двойной 10 ведръ, муки пшеничной четверть и пр. и пр. За то кіевляне были вознаграждены, при въѣздѣ императрицы въ Кіевъ, слѣдующимъ зрѣлищемъ: «Воспитанники духовной академіи ожидали Елизавету Петровну въ видѣ греческихъ боговъ, героевъ и даже мнѳологическихъ животныхъ. Съ помощью машинъ, частію выписанныхъ, частію собственнаго изобрѣтенія, произведены были разныя удивительныя явленія. Такъ, между прочимъ, выѣхалъ за городъ сѣдовласный старикъ въ богатой древней одеждѣ, украшенный короной и жезломъ. Онъ представлялъ князя кіевскаго Владиміра; онъ привѣтствовалъ государыню и, какъ свою наслѣдницу, приглашалъ ее въ городъ и поручалъ ей весь русскій народъ». Эти роскошныя затѣи, житье на широкую ногу и вообще весь блескъ петербургскаго двора,—которому удивлялись даже французы, привыкшіе видѣть все это у себя въ Версали,—конечно, не оправдывались экономическимъ положеніемъ страны. Сѣвозъ этотъ блескъ и красивую внѣшность, нѣтъ-нѣтъ, да и проступить,

бывало, неприглядная русская действительность. «За этимъ вѣшнимъ блескомъ, за этими румянами, фижмами и брилліантами—разсказываетъ авторъ біографіи Разумовскихъ—крылись вполнѣ азіатская неопрятность и неряшество. Во время путешествія государыни, свиту и даже великаго князя и великую княгиню помѣщали кое-какъ въ людскихъ и палаткахъ; иногда въ комнатахъ великой княгини была по колѣно вода, иногда печи въ ея спальнѣ имѣли огромныя щели. Вдобавокъ, при дворѣ бывалъ такой недостатокъ въ мебели (несмотря, стало быть, на то, что на нее тратились огромныя деньги), что зеркала, постели, стулья, столы и комоды перевозились изъ зимняго дворца въ лѣтній, оттуда въ Петергофъ, Царское село и даже въ Москву. При этихъ переѣздахъ все ломалось и билось, и безъ всякой починки становилось въ комнатахъ. Для каждой незначительной поправки требовалось именное приказаніе императрицы, добратся до которой было очень мудрено или же совсѣмъ невозможно. Въ богатыхъ домахъ, вмѣстѣ съ гайдуками, гусарами, скороходами въ великолѣпныхъ ливреяхъ, сновала безпрестанно босоногая челядь въ лохмотьяхъ. Въ спальнѣ Елизаветы Петровны спалъ на тюфячкѣ ея бывшій лакей Чулковъ; близъ спальни великой княгини, въ небольшомъ покоѣ, во время томящаго зноя, жило 17 человѣкъ разной прислуги, которые не имѣли иного выхода, какъ чрезъ комнаты самой Екатерины» (стр. 428). За пышнымъ дворомъ тянулись и всѣ значительнѣйшіе вельможи. Оставляя въ неряшествѣ свою домашнюю жизнь и въ полномъ пренебреженіи судьбу своей «босоногой челяди», они изумляли всѣхъ великолѣпіемъ

своихъ парадныхъ пріемовъ, баловъ, выходовъ и выѣздовъ. Особенной роскошью отличались: великій канцлеръ Бестужевъ и Степанъ Ѳеодоровичъ Апраксинъ—оба пріатели графа Разумовскаго. Первый изъ нихъ имѣлъ винный погребъ «толь великій,—по словамъ кн. Щербатова — что онъ знатный капиталъ составилъ, когда послѣ смерти его былъ проданъ графамъ Орловымъ»; второй всегда возилъ съ собой гардеробъ, состоявшій изъ многихъ сотъ богатыхъ кафтановъ, и въ семилѣтнюю войну доставлялъ себѣ на бивакахъ «всѣ спокойствія, всѣ удовольствія, какія можно было имѣть въ цвѣтущемъ торговлею градѣ». Не отставалъ отъ нихъ и графъ Разумовскій: онъ первый сталъ носить брилліантовыя пуговицы на камзолѣ и задавалъ баснословныя пиршества въ своихъ имѣніяхъ: Перовѣ и Гостилицѣ, и въ своемъ аничковскомъ дворцѣ въ Петербургѣ. Въ Перовѣ часто проводила время Елизавета въ соколиной и псовой охотѣ, а также любясь «играми и хороводами простолюдиновъ». Хозяинъ онъ былъ гостепріимный и радушный; но когда хмѣль попадалъ ему въ голову—чего ни предвидѣть, ни избѣгнуть не было никакой возможности—то онъ становился грозой для друзей и недруговъ; нерѣдко въ такія минуты его сотоварищи по псовой охотѣ, какъ, напримѣръ, Петръ Ивановичъ Шуваловъ, были «отъ него сѣчены батожемъ». Тотъ вѣсъ, которымъ пользовался Разумовскій при дворѣ, дѣлалъ невозможными жалобы на него. Тайный супругъ императрицы Елизаветы, принимавшій иногда ее и ея приближенныхъ въ парчевомъ шлафроктѣ, могъ бы позволять себѣ безнаказанно и большія неистовства, еслибъ его не воздерживало отъ нихъ природное добродушіе. Что касается до самой таинственной свадь-

бы, то авторъ не сообщаетъ о ней ничего новаго и ограничивается только указаніемъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя способствовали этой *maîage de conscience*. По его мнѣнію, Бестужевъ, одиноко поставленный при дворѣ, задумалъ создать себѣ сильную поддержку въ Разумовскомъ, и съ этою цѣлью постарался сдѣлать еще тѣснѣе узъ, соединявшія государыню съ фаворитомъ. Сторону Бестужева охотно взяло духовенство изъ числа послѣдователей «Камня вѣры», надѣясь чрезъ Разумовскаго найти у государыни «по ихъ домогательствамъ и прошеніямъ всевозможныя предстательства и заступленія». Тотъ же пріемъ употребилъ впослѣдствіи Бестужевъ при возвышеніи графа Григорія Орлова и представилъ Екатеринѣ формальное прошеніе, чтобы она избрала себѣ супруга. Между лицами, подписавшимися подъ этимъ актомъ, по свидѣтельству французскаго посланника, барона де-Бретеля, главную роль играло опять-таки духовенство; но на этотъ разъ уловки стараго интригана не удались и только доставили случай Екатеринѣ, подъ предлогомъ дарованія Разумовскому титула высочества, извлечь у него изъ секретной шкатулки какія-то формальныя доказательства его брака (стр. 577—579).

Вслѣдъ за возвышеніемъ Алексѣя Разумовскаго, была приближена къ престолу и вся его родня. Немедленно по вѣствованіи на престолъ Елизаветы отправленъ былъ въ Малороссію офицеръ съ каретами, богатыми уборами и собольими шубами за семействомъ новаго камергера. Въ отвѣтъ на разспросы офицера, по пріѣздѣ въ Лемешы, о томъ, гдѣ живетъ госпожа Разумовская, удивленные малороссіяне, какъ гласитъ преданіе, отвѣчали: «Въ насъ зъ роду не бу-

ло такой панни; а е, коли божаєте, хата Розумихи—вдовы». Несмотря на петербургскій «фаворъ» своего старшаго сына, мать его, Наталья Демьяновна, продолжала слѣть между сосѣдами только Розумихой и, по прежнему, содержала въ Лемешахъ корчму. Захваченная въ расплохъ, старуха не хотѣла вѣрить словамъ офицера и говорила ему: «Пане ясновельможный! Ты хлопецъ добрый, не глазуй съ мене, що я тоби подіяла?» Но хлопецъ передалъ царское повелѣніе, и Наталья Розумиха собралась въ путь-дорогу съ своимъ младшимъ сыномъ, дочерьми, внукомъ и внучками, родными и двоюродными. Въ Петербургъ старуху прежде всего напудрили, наумянили и нарядили въ модное платье, такъ-накъ «непристойные деревенскіе» костюмы запрещались во дворцѣ даже на маскарадахъ. Потомъ повезли ее во дворецъ, предупредивъ, что она должна пасть на колѣна предъ государыней. Едва простая корчемница вступила въ залы дворцовыя, какъ очутилась передъ большимъ зеркаломъ во всю вышину стѣны; не видавъ ничего подобнаго отъ роду, она второпяхъ не разглядѣла своей фигуры и, принявъ себя за императрицу, поспѣшила пасть на колѣни. Всевозможныя почести оказывались Натальѣ Демьяновнѣ, и— по мнѣнію автора статьи—она, въ первый же пріѣздъ свой въ Петербургъ, была пожалована въ статсъ-дамы. Ея младшій сынъ, Кирила Григорьевичъ, и всѣ внуки и внучки (Закревскіе, Стрѣшенцовы, Дараганы) приняты одинъ за другимъ на попеченіе двора и старшаго Разумовскаго. Съ ними обращались ласково и внимательно, почти какъ съ принцами крови, и эта близость ихъ ко двору подала поводъ къ сочиненію баснословной исторіи о принцахъ и прин-

цессахъ Таракановыхъ—исторіи, достаточно воздѣланной нашими анекдотистами. Авторъ біографіи Разумовскихъ, г. А. Васильчиковъ, доказываетъ—и на нашъ взглядъ весьма убѣдительно—что слухъ о князьяхъ Таракановыхъ и ихъ воспитаніи за границею возникъ чисто внѣшнимъ образомъ изъ факта заграничнаго воспитанія племянниковъ графа Алексѣя Разумовскаго, между которыми были и Дараганы. Дѣло началось съ того, что въ камеръ-фурьерскихъ журналахъ, въ которыхъ записывается все, происходящее при дворѣ, перекрестили этихъ Дарагановъ въ Дарагановыхъ, а затѣмъ въ обществѣ стали называть безразлично этимъ именемъ всѣхъ племянниковъ графа Алексѣя Григорьевича, жившихъ при дворѣ. Нѣмцы же, которыхъ было довольно при Елизаветѣ, не смотря на упадокъ нѣмецкой партіи, по свойству своего произношенія, обративъ наши твердыя согласныя въ мягкія, сдѣлали изъ Дарагановыхъ—Таракановыхъ. Что нѣмцы именно такъ выговаривали фамилію малороссійскихъ родичей Разумовскаго, распространяя ее на всѣхъ племянниковъ фоворита, при чемъ, для пущей важности, придавали имъ графскій титулъ—это выводитъ авторъ, безъ всякой натяжки, изъ сопоставленія одного мѣста Шлецеровскихъ мемуаровъ съ частнымъ письмомъ къ Разумовскому отъ его племянниковъ. Въ запискахъ Шлецера, бывшаго наставникомъ дѣтей графа Разумовскаго, встрѣчается слѣдующее извѣстіе: «Разъ обѣдали у насъ 4 сына императрицы Елизаветы, поэтому двоюродные братья нашихъ графовъ, подѣ или съ именемъ графовъ Т—въ (von—Tv), вмѣстѣ съ ихъ наставникомъ, нѣмцемъ, по имени Д—ль (D—I), который выдавалъ себя за пол-

ковни как даже носилъ военный мундиръ. Они только что возвратились изъ Швейцаріи, гдѣ провели 6 лѣтъ и въ это время проучили, т. е. проѣли 36,000 р. Они остались полнѣйшими невѣждами—и не по своей винѣ, а благодаря наставнику» и пр. Сблизивъ это мѣсто съ письмомъ Закревскихъ и Дарагановъ изъ Женевы, г. Васильчиковъ нашелъ, что Т—вы или Таракановы (потому что пропущенныя буквы легко восстанавливаются), суть не кто другіе, какъ именно они, племянники гр. Разумовскаго, а мнимый полковникъ, сопровождавшій ихъ, нѣмецъ Дитцель, ихъ неудачный гувернеръ. Ничего нѣтъ мудренаго, прибавляетъ авторъ, что этотъ же Дитцель, самозванно величавшій себя полковникомъ, пустилъ за границей въ ходъ молву, что онъ состоитъ при дѣтяхъ императрицы Елисаветы, «графахъ von Такановъ», странствующихъ подъ строгимъ инкогнито. Басня, часто повторяемая, получила, наконецъ, право гражданства въ Европѣ, а оттуда вернулась на Русь, гдѣ, какъ на грѣхъ, къ ней пристроились разные «историки», которымъ ужъ такъ Богъ велѣлъ—рыться, до скончанія дней, въ чужихъ родословныхъ... Графъ Кирилъ Разумовскій, родной братъ фаворита, также* побывалъ за границею, и хотя не вернулся оттуда «полнѣйшимъ невѣждою», какъ его племянники, но тоже не вынесъ особенно солидныхъ познаній. Тѣмъ не менѣе, два года заграничной жизни прославили его чуть не ученымъ человекомъ, и онъ, 22-хъ лѣтъ отроду, былъ назначенъ президентомъ академіи наукъ. Императрица сама выбрала ему богатую невѣсту—Екатерину Ивановну Нарышкину, возвела въ графское достоинство въ одно время съ старшимъ братомъ (въ 1744 г.), и сдѣлала дѣйствительнымъ камергеромъ. Въ довершеніе почестей, 26-ти лѣтній

Кирилъ Разумовскій былъ избранъ, по прямому указанію петербургскихъ властей, малороссійскимъ гетманомъ, что равнялось высшему военному чину генераль-фельдмаршала. Авторъ біографіи Разумовскихъ, вообще пристрастный къ обоимъ братьямъ, съ особеннымъ умиленіемъ рассказываетъ о служебныхъ и иныхъ успѣхахъ графа Кирила Григорьевича. Нельзя, конечно, отрицать, что графъ Разумовскій-младшій былъ отъ природы весьма неглупый человѣкъ съ оттънкомъ малороссійскаго юмора, не зазнавался черезчуръ и былъ довольно доступенъ въ обращеніи (хотя нѣкоторыя просьбы и приходилось подавать ему не въ руки, а просовывать въ дверную щель); но поводовъ къ умиленію мы еще тутъ не видимъ никакихъ. Какую службу сослужилъ Разумовскій отечеству и чѣмъ отблагодарилъ его за тѣ почести и богатства, которыми пользовался? Государственныя заслуги его опираются на двухъ фактахъ: на президентствѣ въ академіи наукъ и на управленіи Малороссіей въ санѣ гетмана. Но можно-ли говорить серьезно о его дѣятельности въ академіи, предоставленной имъ въ безусловное распоряженіе Теплова? На свое же гетманство самъ Разумовскій не смотрѣлъ, какъ на дѣйствительный выборъ народа, и какъ только могъ, отлынивалъ отъ своихъ обязанностей. «Старые казаки—говорить самъ г. Васильчиковъ—вздыхая, покачивали головами (при выборѣ гетмана) и чуяли, что настали времена другія, что прошла невозвратно эпоха Сагайдачнаго и Хмѣльницкаго, при избраніи которыхъ и на умъ никому не приходили всѣ эти процессіи, возвышенія, обитія алымъ сукномъ, и богатые кареты, заложенные цугами,—тѣ простыя, но вольныя времена, когда громада казаковъ соби-

ралась на площади и шапками забрасывала любимого избранника». Разумовскій живетъ царькомъ въ Глуховѣ, пишетъ въ своихъ универсалахъ: мы, намъ, данъ въ Глуховѣ, и пр. Заводить придворный штатъ; но ему здѣсь смертельно скучно, потому что онъ ничѣмъ не связанъ съ интересами края, и пользуется всякимъ удобнымъ случаемъ удрать отсюда въ Петербургъ, гдѣ его привлекаютъ больше придворные куртаги и затаенная борьба брата съ Шуваловыми. Въ числѣ поводовъ къ отлучкѣ онъ выставляетъ, напримеръ, желаніе пользоваться осенью въ Петербургѣ «лучшимъ воздухомъ» (!). Г. Васильчиковъ указываетъ, какъ на заслуги Разумовскаго, на уничтоженіе таможенныхъ заставъ между Малороссіей и великорусскими губерніями, на судебную реформу и проч., но если первая мѣра имѣла еще нѣкоторую цѣну, то вторая была не больше, какъ перемѣной названій. Объ ограниченіи свободного перехода крестьянъ, состоявшемся при Разумовскомъ, авторъ говоритъ мелькомъ и даже похваливаетъ это рѣшеніе за то, что имъ «уменьшено бродяжничество». Вѣроятно, по его мнѣнію, съ окончательнымъ введеніемъ крѣпостнаго права въ Малороссію, бродяжничество совсѣмъ прекратилось и страна процвѣла, аки кринъ сельный? Вообще гетманство Разумовскаго, данное ему, какъ синекура за услуги брата, имѣло весьма печальный видъ заигрыванья съ народомъ, клонившагося въ сущности къ полному его поработенію. Такъ понимали дѣло и умѣйшіе малороссы, смотрѣвшіе на дѣянія графа «съ темнымъ и непонятнымъ чувствомъ». Въ денежныхъ дѣлахъ графъ Разумовскій тоже былъ нехорошъ и все домогался у правительства разныхъ наградъ и милостей.

Имѣя 100,000 гетманскаго дохода и получивъ за женой 44 тысячи душъ крестьянъ въ приданое, онъ не стыдился жаловаться на «крайнюю недостаточность» своихъ средствъ и просилъ имѣній, просилъ денегъ займа и безъ отдачи (стр. 500). Правда, что Разумовскій не бралъ на себя казенныхъ подрядовъ и не захватывалъ разныхъ торговыхъ монополій, подобно Петру Ивановичу Шувалову; но надо же быть воздержнымъ въ восхваленіи людей за то только, что они не принесли всего того зла, которое могли бы принести.

Графъ Петръ Ивановичъ Шуваловъ, упомянутый нами, былъ тоже сильный міра сего и, подобно Кирилу Разумовскому, выдвинулся впередъ, благодаря близости своего брата, — только не роднаго, а двоюроднаго, — Ивана Ивановича къ Елизаветѣ Петровнѣ. Но на сколько графъ Разумовскій былъ любимъ въ петербургскомъ обществѣ за нѣкоторыя привлекательныя стороны своего характера, на столько же Шуваловъ былъ ненавидимъ всѣми за свою нестерпимую гордость и самонадѣянность. Это былъ временщикъ подозрительный, выскрывающій и высматривающій; онъ и держался только тѣмъ, что возбуждалъ въ императрицѣ всякаго рода страхи и опасенія. «Безпрестанные недуги, говорить г. Васильчиковъ—проводя выгодную для Разумовскаго параллель между нимъ и Шуваловымъ—ослабили нервы императрицы: ей постоянно приходила на умъ первая ночь ея царствованія, и она опасалась, чтобы съ нею не поступили точно такъ, какъ нѣкогда поступила она сама съ несчастной Анной Леопольдовной: Этимъ настроеніемъ ловко воспользовался гр. П. Шуваловъ. Онъ старался еще болѣе усилить боязнь государыни, увѣрялъ ее, что она окру-

жена тайными врагами, готовыми на всякое преступленіе, и наконецъ ему удалось исполнѣ убѣдить болѣющую и слабѣющую императрицу въ томъ, что одинъ онъ въ состояніи оградить ее отъ дѣйствія скрытыхъ враговъ. Въ этомъ состояла главная сила его при дворѣ. Безъ всякой подготовки къ дѣламъ государственнымъ, лишенный образованія и познаній, крайне самонадѣянный, Шуваловъ на самомъ дѣлѣ способенъ былъ только къ однимъ мелкимъ придворнымъ интригамъ; но слишкомъ тщеславный и честолюбивый, онъ, несмотря на свою несостоятельность, стремился къ достиженію исключительнаго вліянія на дѣла и хотѣлъ стать во главѣ управленія. Не имѣя никакой опытности въ вопросахъ дипломатическихъ, незнакомый съ тайными пружинами европейскихъ кабинетовъ, никогда не бывавшій на войнѣ и кое-какъ знавшій службу, онъ однако ни передъ чѣмъ не останавливался: брался и за составленіе новаго уложенія, и за финансовыя вопросы, и за управленіе политикой русскаго двора, и за выдумку гаубицъ, и за учрежденіе военнаго строя. Достигнувъ почти исключительнаго вліянія, онъ, еще недавно съ покорностью склонявшій спину подъ батогами всемогущаго Разумовскаго, сдѣлался теперь самымъ гордымъ временщикомъ двора Елизаветы. Даже многочисленные его кліенты, запрудившіе всѣ отрасли управленія, были надменности невыносимой... Падкій къ деньгамъ, Шуваловъ набивалъ свои карманы трудовой копѣйкой народа. Чтобы дѣйствовать на императрицу страхомъ, Шуваловъ имѣлъ вѣрнаго союзника въ братцѣ своемъ, Александрѣ Ивановичѣ, который былъ въ то время начальникомъ страшной тайной канцеляріи; чтобы устранять отъ Ивана Шувалова

всѣхъ соперниковъ по интимнымъ дѣламъ, онъ не оставался передъ самыми гнусными средствами, изобрѣтая ихъ вдвоемъ съ своею супругою, Маврою Егоровною, знаменитою наперсницею Елизаветы. Такъ, вдвоемъ, погубили они несчастнаго юношу Бекетова, виновнаго только въ томъ, что онъ, по своему благообразію, пригланулся императрицѣ и грозилъ замѣнить при дворѣ Ивана Ивановича Шувалова, который—хотя не всегда и не во всемъ—тянулъ однаго сторону шуваловской партіи. Этотъ Бекетовъ любилъ литературу (не менѣе Ивана Ивановича Шувалова, извѣстнаго покровителя наукъ и искусствъ), самъ занимался ею вмѣстѣ съ другомъ своимъ Елагинымъ и однажды вздумалъ перелагать стихи свои на музыку. Пѣсни, имъ сочиняемыя, распѣвали у него молоденькіе придворные пѣвчіе. Нѣкоторыхъ изъ нихъ Бекетовъ полюбилъ за ихъ прекрасные голоса и гулялъ съ ними запросто по петергофскимъ садамъ. Шуваловы ухватились за это и поспѣшили истолковать прогулки Бекетова самымъ зазорнымъ образомъ. Но эта сплетня не погубила молодаго любимца, и надобно было придумать что-нибудь другое. Тогда Петръ Ивановичъ Шуваловъ искусно вкрался въ довѣренность неопытнаго юноши, выхвалялъ, какъ лисица въ баснѣ, красоту его, чрезвычайную бѣлизну лица и для сохраненія всегдашней свѣжести кожи презентовалъ ему баночку съ притираніемъ. Довѣрчивый Бекетовъ, не медля, воспользовался чудотворной мастикой и... и карьера его была покончена. Притиранье оказалось дѣйствительнымъ, но не для сохраненія бѣлизны лица, а для произведенія на немъ угрей и сыпи. Между тѣмъ графиня Мавра Егоровна не дремала: обра-

тивъ вниманіе кого слѣдуетъ на «зеркало души» Бекетова, т.-е. на его прыщеватое лицо, она объяснила переѣзду нѣ-которой секретной болѣзью и присовѣтовала удалить Бекетова отъ двора. Ударъ былъ вѣренъ: государыня переехала тотчасъ-же въ Царское Село и запретила слѣдовать за собою любимцу. Несчастный юноша, пораженный, какъ громомъ, этимъ запретомъ, заболѣлъ горячкою, которая чуть было не свела его въ могилу. Когда онъ оправился, его удалили отъ двора. Шуваловы восторжествовали... За всѣ эти качества и дѣянія шуваловская партія успѣла нажить себѣ много недоброжелателей и, прежде всего, въ лицѣ великой княгини Екатерины, которая на каждомъ шагѣ выказывала глубочайшее презрѣніе къ обоимъ братьямъ, отыскивала ихъ смѣшныя стороны и преслѣдовала сарказмами, распространявшимися мгновенно по всему городу (II т., стр. 481 и 517).

III.

Таковы были русскіе временщики XVIII-го столѣтія—и беззавѣтно роскошествующіе, и скрытно зложелательные.— Мы погрѣшили бы однако противъ исторической точности, еслибы стали утверждать, что подобный порядокъ дѣлъ считался всѣми безусловно-нормальнымъ, и что не было никакихъ попытокъ придать другое направленіе нашей государственной жизни. Нѣтъ! протестъ выражался по временамъ довольно открыто какъ въ литературѣ, такъ и въ прави-

тельствственныхъ сферахъ. Въ литературѣ онъ вызвалъ два направленія, существенно различныя одно отъ другаго. Представитель перваго направленія, князь Щербатовъ, нападалъ на современный ему порядокъ съ точки зрѣнія моралиста и защитника старины; сѣтуя объ упадкѣ нравственности въ русскихъ людяхъ, онъ радушно предлагалъ имъ образцы добродѣтели въ древней до-петровской жизни. Но Россія того времени страдала не избыткомъ, а недостаткомъ европейскихъ идей, и помогать бѣдѣ надо было—не возвращеніемъ вспять на старую, брошенную колею, а быстрымъ прогрессивнымъ движеніемъ по вновь избранному пути. Наше сближеніе съ Европою началось не по прихоти Петра Великаго: оно было прямымъ слѣдствіемъ умственного превосходства нашихъ западныхъ сосѣдей, и стоило только прорвать искусственную плотину, отдѣлившую насъ отъ цивилизованнаго міра, какъ патріархальный бытъ древней Руси сталъ разваливаться самъ собою подъ давленіемъ новыхъ понятій, обычаевъ и учреждений. Крутость Петра только ускоряла дѣло, неизбежное по самой своей сущности. Нѣтъ спора, что вмѣстѣ съ «плодами» европейской цивилизаціи мы нахватили столько же, если не больше, мусору и пустопѣвту; не подлежитъ сомнѣнію, что многіе новые порядки не измѣняли, а лишь прикрывали приличнымъ костюмомъ прежнія безобразія; но выйти изъ этого положенія можно было—не чураясь европейскихъ идей, а напротивъ внимательнѣй присматриваясь къ нимъ и отдѣляя въ нихъ вредное отъ полезнаго, питательные элементы отъ ядовитыхъ примѣсей. Словомъ, чтобы избавиться отъ европейскихъ недуговъ, необходимо было намъ самимъ сдѣлаться европей-

цами и принять сознательное участіе въ умственной жизни Запада. Защитникомъ европейской науки и европейскаго общежитія, въ лучшемъ значеніи этихъ словъ, является Александръ Николаевичъ Радищевъ, честная дѣятельность котораго еще такъ мало оцѣнена историками нашей литературы, что г. Галаховъ, напримѣръ, распространяясь на десяткѣ страницъ о Державинѣ, не счелъ нужнымъ сказать о Радищевѣ ничего больше, кромѣ того, что онъ «пріобрѣлъ себѣ печальную извѣстность своей книгой: «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву». Радищевъ, такъ же какъ и Щербатовъ, относился критически къ современному строю вещей; но онъ осуждалъ его не на основаніи старозавѣтныхъ понятій сомнительнаго достоинства, а на основаніи новыхъ, лучшихъ идей, добытыхъ западною наукой и болѣе развитой общественной жизнью. Съ невольнымъ удовольствіемъ останавливаешься на его «Житіи Ѳедора Васильевича Ушакова», въ которомъ онъ знакомитъ насъ съ замѣчательной личностью своего друга и товарища по заграничному обученію, и при этомъ раскрываетъ свой собственный образъ мыслей, солидарный со взглядами Ушакова. Въ началѣ этого житія (II т. стр. 296—320) Радищевъ говоритъ: «нерѣдко въ изображеніяхъ умершаго найдешь черты въ живыхъ еще сущаго». И дѣйствительно: біографія Ушакова есть столько же біографія самого Радищева, высказавшаго тутъ свои задушевнѣйшія убѣжденія и свои искреннія симпатіи. Біографическія свѣдѣнія о другѣ Радищева немногосложны. Ушаковъ служилъ сначала секретаремъ при Тепловѣ и могъ бы рассчитывать на выгодную карьеру, такъ-какъ онъ пользовался довѣріемъ своего на-

чальника и уже вкусилъ «обращеніе въ большомъ свѣтѣ» со всѣми его удобствами, а также и съ его растлѣвающими вліяніями. Но служебные успѣхи не плѣняли его, и, бросивъ начатую карьеру, онъ поѣхалъ за границу учиться, на казенный счетъ, вмѣстѣ съ Радищевымъ, Бутузовымъ и др. Съ молодыми людьми отправились, для наблюденія за ними и для нравственнаго ихъ назиданія, два лица: нѣкто Бокумъ, ихъ наставникъ или «гофмейстеръ», и инокъ Павелъ. Оба они не внушали къ себѣ никакого уваженія въ воспитанникахъ. Первый изъ нихъ, т. е. Бокумъ, обращался со взрослою молодежью, какъ со школьниками, дурно кормилъ ихъ и наконецъ такъ ожесточилъ противъ себя, что они въ Лейпцигѣ устроили противъ него домашнюю революцію. Объ умственныхъ способностяхъ Бокума и о степени вліянія, какое онъ могъ имѣть на воспитанниковъ,—даетъ полное понятіе слѣдующій анекдотъ. Пріѣхалъ въ Лейпцигъ русскій генералъ-поручикъ съ своимъ шуриномъ, гвардейскимъ офицеромъ, большимъ насмѣшникомъ, который любилъ выискивать глупцовъ и потѣшаться надъ ними. «Совершенно такового глупца—пишетъ Радищевъ—нашелъ онъ въ нашемъ гофмейстерѣ. Онъ, пользуясь пристрастіемъ его къ хвастовству, вывелъ его, по пословицѣ, на свѣжую воду. До того времени не вѣдали мы, что гофмейстеръ нашъ за похвалу себѣ вмѣнялъ прослыть богатыремъ... Помянутый гвардіи офицеръ, подстрекая самолюбіе Бокума, довелъ его до того, что онъ, для доказательства своихъ тѣлесныхъ силъ, выпивалъ, по его приказаніямъ, разомъ по нѣскольку бутылокъ воды или пива, давалъ себя толкать многимъ лакеямъ вдругъ, упряися противъ ихъ усилія совлечь его

съ мѣста, а симъ приказано было не жалѣть своихъ толчковъ. Онъ его заставилъ ворочать всякія тяжести, поднимать стулья, столы, платя ему за то, не умѣрая и не скрывая своего смѣха: Ну, Бокумъ! Бокумъ доведенъ былъ до того, что согласился вытерпѣвать удары довольно сильнаго электрическаго орудія». Въ то время, какъ Бокумъ занимался удачными опытами надъ своими тѣлесными силами, инокъ Павелъ съ неменьшимъ успѣхомъ дѣйствовалъ на религиозныя чувства юношей. Найдя ихъ всѣхъ недостаточно твердыми въ религіи, онъ началъ ихъ исправленіе съ того, что заставилъ ить при утреннихъ и вечернихъ молитвахъ. «Если вспомнить — говорить по прошествіи многихъ лѣтъ, уже пожилой въ то время авторъ біографіи — сколь нестройный, несогласный и шумный у насъ былъ всегда концертъ, то и теперь еще улыбаешься. Иной тянулъ очень низко, иной высоко, иной тонко, иной звонко, иной черезчуръ кудряво, и наконецъ устроенное на приученіе ко благоговѣнію превратилось постепенно въ шутку и посмѣхалище». Кромѣ того, инокъ Павелъ былъ самъ чрезвычайно смѣшливъ и, чтобы не разсмѣяться во время богослуженія, онъ всегда совершалъ его съ зажмуренными глазами. Эта черта была живо подмѣчена и подала поводъ къ такой сценѣ: «Икона, передъ которой совершался нашъ молитвенный напѣвъ, стояла въ верху довольно пространныго стола, на которомъ раскладены лежали наши шапки, шляпы, муфты, перчатки. М. У. (Михаилъ Ушаковъ) взялъ легонько одну изъ перчатокъ, на столѣ лежавшихъ, и согнувъ персты ея образомъ смѣшнаго кукиша, положилъ оную возвышенно, прямо предъ поющаго нашего духовника. При дѣланіи поясныхъ поклоновъ, раство-

рилъ онъ зажмурившіеся глаза свои — и первая представилась ему сложенная перчатка. Не могъ онъ воздержаться, захохоталъ громко, и мы всѣ за нимъ. Отецъ Павелъ, не привыкнувъ еще къ нашимъ провазамъ, обрѣталъ въ нихъ болѣе нежели простыя и юношескія шутки. Оборотясь, наименовалъ онъ насъ богоотступниками, непотребными и пр., сдѣлавшаго же вину смѣха называлъ, не грамматикально можетъ быть, мошенникомъ, да и того хуже. При первыхъ же словахъ, М. У., будучи же весьма вспыльчивъ, восколебался и столь же смѣшнымъ дѣяніемъ, какъ сей неприличными словами, представили намъ позорище, какого ни на какомъ театрѣ за рубль купить не можно. М. У., схвативъ висящую на стѣнѣ шпагу и привѣсивъ ее къ бедрѣ своей, бодро приступилъ къ чернецу; показывая ему эфесъ съ темлякомъ, говорилъ ему, немного занялся отъ природы: «забылъ развѣ, батюшка, что я кирасирскій офицеръ». Въ такомъ вкусѣ было продолженіе сего дѣйствія, которое для насъ кончилось смѣхомъ, для М. У. мнимою побѣдою, а для отца Павла отъитіемъ съ негодованіемъ въ свою комнату. Бокумъ съ первой же встрѣчи возненавидѣлъ Федора Ушакова «за твердость мыслей и вольное оныхъ изреченіе». Но Ушаковъ мало этимъ огорчился и скоро нашелъ себѣ другое утѣшеніе. Въ Европѣ шла въ это время горячая, талантливая борьба литературы съ общественными предразсудками и устарѣвшими политическими порядками. Ушаковъ увлекся ею, сталъ изучать корифеевъ этой литературы, и его философское развитіе пошло быстро. Онъ пишетъ большое сочиненіе о смертной казни, въ которомъ отвергаетъ ее рядомъ рациональныхъ доводовъ, задается серьезными психологиче-

скими вопросами: о происхожденіи душевныхъ способностей, о необходимости страстей, о добродѣтели, при чемъ старается разрѣшать ихъ логическимъ путемъ, а не «велегласными словами метафизики». •Замѣчательно, что съ книгой Гельвеція «О разумѣ» его познакомилъ одинъ русскій савонникъ, который, въ бытность свою въ Лейпцигѣ, сблизился съ Ушаковымъ, проводилъ съ нимъ въ разговорахъ цѣлыя вечера и даже обѣщалъ ему свое покровительство. Вернувшись въ Петербургъ, этотъ «мечтанный покровитель учености» однако одумался и не отвѣчалъ уже на письма своего заграничнаго друга. «Или ему низко было — размышляеть Радищевъ — вступить въ переписку съ неравнымъ ему состояніемъ; или благодарить надлежитъ за то наукамъ, что, среди обиталища ихъ, различіе состояній нечувствительно и взоровъ природнаго равенства не тягчить, и для того въ Лейпцигѣ О. обходился съ Федоромъ Васильевичемъ, какъ съ равнымъ себѣ. И по истинѣ равенъ онъ былъ тебѣ, мразная душа, силами разума, но далеко превышалъ тебя добротою сердца». Ушакову не суждено было вернуться въ Россію (и, можетъ быть, къ его счастью, такъ-какъ его легко могла бы постигнуть участь Радищева): онъ умеръ за границей отъ тяжелой болѣзни, усиленной безпрерывными трудами и умственнымъ напряженіемъ. Но и въ дверяхъ могилы онъ не потерялъ философскаго спокойствія духа и предупредилъ доктора: «не мни, что, возвѣщая мнѣ смерть, растревожишь меня безвременно». Передъ смертью онъ обратился къ Радищеву съ этими простыми, но трогательными словами: «Прости теперь въ послѣдній разъ; помни, что я тебя любилъ; помни, что нужно въ жизни имѣть прави-

ло, чтобы быть блаженнымъ, и что должно быть твердо въ мысляхъ, чтобы умирать безтрепетно». «Слезы и рыданіе—заканчиваетъ авторъ свой рассказъ—были ему въ отвѣтъ, но слова его громко раздались въ моей душѣ и невзглядимою чертою ознаменовались на памяти. Поживутъ они всецѣло, доколѣ дыханіе въ груди моей не исчезнетъ, и не охладѣтъ въ жилахъ кровь. Даже небо, да мысль присутственна мнѣ будетъ въ преддверіи гроба и да возмогу важное сынамъ моимъ оставить наслѣдіе — послѣднее завѣщаніе умирающаго вождя моей юности». И Радищевъ доказать всею своею жизнью, что онъ не забылъ честнаго завѣщанія друга... «Житіе Ушакова» появилось въ печати, безъ имени автора, годомъ раньше извѣстнаго «Путешествія». Тонъ его нѣсколько сдержаннѣе послѣдняго сочиненія; но и здѣсь видно уже, сколько справедливой горечи накопѣло въ душѣ Радищева, и какъ вѣрно понималъ онъ болѣзнь стороны тогдашняго общества. «Чтобы быть употреблену съ похвалою въ дѣлахъ министерскихъ—замѣчаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ—надобенъ умъ, а честности мало. Коварство, проницательство, искусство высится и низится по обстоятельствамъ могутъ сдѣлать отличнаго министра, но добраго гражданина николи». Переходя въ частности къ русскимъ начальникамъ, онъ говоритъ про нихъ: «каждый начальникъ мыслитъ, что, пользуясь удѣломъ власти безпредѣльной, онъ такой же властитель въ частномъ, какъ государь въ общемъ. И сіе столь справедливо, что нерѣдко правиломъ приѣмлется, что противорѣчіе власти начальника есть оскорбленіе верховной власти. Мысль несчастная, тысячи любящихъ отечество гражданъ заключающая въ темницу и предающая

ихъ смерти, тѣснящая духъ и разумъ, и на мѣстѣ величія водворяющая робость, рабство и замѣшательство, подъ личиною устройства и покоя». Къ этому же сильному мѣсту авторъ дѣлаетъ еще слѣдующее примѣчаніе: «Съ вѣроятностію, корень сего правила о непрекословномъ повиновеніи найти можемъ въ воинскихъ законоположеніяхъ и въ смѣшеніи гражданскихъ чиновниковъ съ военными. Большая часть у насъ начальниковъ, въ гражданскомъ званіи, начали обращеніе свое въ службѣ отечеству съ военного состоянія и, привыкнувъ давать подчиненнымъ своимъ приказы, на которые возраженія не терпитъ воинское повиновеніе, вступаютъ въ гражданскую службу съ приобрѣтенными въ военной мыслями. Имъ кажется вездѣ строй; кричить въ судъ: на караулъ! и опредѣленіе нерѣдко подписываетъ палкою». Не видя никакого выхода изъ этого зачарованнаго круга, Радищевъ успокоивался наконецъ на слѣдующемъ отдаленномъ соображеніи: «Человѣкъ много можетъ сносить непріятностей, удрученій и оскорбленій. Доказательствомъ сему служатъ всѣ единоначальства. Гладъ, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогаютъ. Не доводи его токмо до крайности. Но сего-то притѣснители частные и общіе, по счастью человѣчества, не разумѣютъ и, простирая повсемѣстную тяготу,—предѣль оныя, на коемъ отчаяніе бодрствленную возноситъ главу, зрятъ всегда въ отдаленности, хождая воскрай гибели, покрытой спасительною для человѣка мглою. Не вѣдаютъ мучители—и даждь Господи, да въ невѣдѣніи своемъ пребудутъ ослѣпленными навсѣгда!—не вѣдаютъ, что составляющее несносную печаль сему — другому не причиняетъ ниже единаго

скорбнаго мгновенія, да и наоборотъ то, что въ одномъ сердцѣ ни малѣйшаго не произведетъ содроганія, во стѣ (т. е. сотнѣ) другихъ родитъ отчаяніе и изступленіе. Пробуди благое невѣдѣніе всецѣло, пробуди нерушимо до скончанія вѣка: въ тебѣ почилъ сохранность страждущаго общества» (см. II т., стр. 308—309). Пугачевскій бунтъ могъ уже служить въ то время историческимъ подтвержденіемъ этой мысли объ отчаяніи и изступленіи, которыя, наконецъ, «возносятъ бодрственную главу, служа единственнымъ признакомъ жизни въ «страждущемъ обществѣ»...

Въ государственной сферѣ было двѣ крупныхъ попытки измѣнить теченіе дѣлъ. Первая изъ нихъ вышла изъ среды вельможъ, окружавшихъ тронъ, и относится къ царствованію Анны Іоанновны. Свѣдѣнія о ней мы находимъ въ «Письмахъ о Россіи *) дукъ де-Лирія», испанскаго посланника, прибывшаго въ Петербургъ при Петрѣ II, отъ имени короля Филиппа V (см. II и III томы Осьмнадцатаго вѣка).

Дукъ де-Лирія попалъ въ Россію по чистому недоразумѣнію и, во все время своего посольства, плакался на свою судьбу, на русскій морозъ, истребившій у него запасъ то-кайскаго вина, на русскихъ варваровъ, «хитрыхъ и лукавыхъ», какъ никто въ мірѣ, и наконецъ на испанское казначейство, которое съ такою аккуратностію высылало

*) Существуютъ еще Записки дукъ Лирійскаго, которыя были переведены въ 1845 г., съ французскаго языка, г. Лыковымъ. Но этотъ переводъ неполонъ; кромѣ того, французскія записки дукъ, написанныя имъ, представляютъ многія обстоятельства въ смягченномъ видѣ, тогда какъ въ своихъ денешахъ и письмахъ (на испанскомъ языкѣ) онъ записываетъ ихъ по свѣжимъ впечатлѣніямъ, по только что полученнымъ извѣстіямъ. Переводъ этихъ писемъ принадлежитъ г. Кустодіеву.

ему свои платежи, что бѣдный посланникъ принужденъ былъ отдать въ закладъ даже свой орденъ Золотого Руна. Недоразумѣніе, привлекая дука съ гостепріимнаго юга на суровый сѣверъ, состояло въ томъ, что Филиппъ V, заключивъ союзъ съ Австріей противъ Англіи, надѣялся, на случай войны, воспользоваться русскими кораблями и ими сокрушить морское могущество англичанъ. Надежда эта, сама по себѣ призрачная, потому что русскій флотъ вовсе не былъ въ состояніи выдержать борьбу съ англійскимъ, парализовалась совершенно тѣмъ обстоятельствомъ, что, во время посланничества дука, политическія отношенія радикально переѣнились, и Англія сдѣлалась изъ враговъ союзницей Испаніи. Кромѣ того, при Петрѣ II русскій дворъ выражалъ намѣреніе навсегда остаться въ Москвѣ, а тогда—говорить самъ дукъ де-Лирія — «я не далъ бы и четырехъ плевковъ за его союзъ, и пускай его себѣ возится съ персами и татарами: вѣдь государствамъ Европы тогда онъ не можетъ сдѣлать ни добра, ни зла». Но если путешествіе дука не принесло пользы его странѣ, то въ его письмахъ и депешахъ къ испанскому правительству сохранилось зато много интересныхъ фактовъ о положеніи дѣлъ въ Россіи и объ отношеніи придворныхъ партій въ царствованіе Петра II и въ началѣ царствованія Анны Іоанновны. Положеніе партій при Петрѣ II дукъ де-Лирія представляетъ въ слѣдующихъ чертахъ: «Чтобы лучше понять настоящее положеніе здѣшняго двора, нужно знать, что здѣсь существуютъ двѣ партіи. Первая—царская, къ которой принадлежатъ всѣ тѣ русскіе, которые желаютъ выгнать отсюда всѣхъ иностранцевъ. Она подраздѣляется на двѣ: одну составляютъ Голи-

цны, другую — Долгорукіе. Вторая партія есть партія великой княжны, царской сестры, и къ ней принадлежатъ: баронъ Остерманъ, графъ Левенвольдъ и всѣ иностранцы. Цѣль послѣдней партіи состоитъ въ томъ, чтобы поддержать себя противъ русскихъ милостію и покровительствомъ великой княжны (Натали Алексѣевны), которую царь пока весьма много уважаетъ. Левенвольда ненавидятъ не только русскіе, но и всѣ честные люди... Но больше всѣхъ царь довѣряетъ принцессѣ Елизаветѣ, своей теткѣ, которая отличается необыкновенною красотою; я думаю, что его расположеніе къ ней имѣетъ весь характеръ любви. Впрочемъ, она ведетъ себя благоразумно и осторожно; она уважаетъ Остермана и живетъ съ нимъ въ согласіи. Его величество также любитъ молодаго князя Долгорукаго, который, какъ молодой человѣкъ, угождаетъ ему во всемъ. Принцесса Елизавета, такимъ образомъ, нѣсколько отстраняется отъ царя, и нѣтъ сомнѣнія, если Долгорукій сдѣлается полнымъ фаворитомъ, принцессѣ и Остерману грозитъ гибель. Дѣлаютъ всевозможное, чтобы отстранить этого Долгорукаго (Ивана Алексѣевича), но пока безъ успѣха. Онъ, — сынъ князя Долгорукаго, втораго воспитателя царя, служитъ камергеромъ и пользуется такою довѣренностью, что не оставляетъ царя ни на минуту, даже спать съ нимъ въ одной комнатѣ. Отецъ его, въ свою очередь, старается доставлять царю разныя удовольствія. Они удалили бы уже Остермана, если бы русскіе вельможи были между собою въ согласіи. Голицыны и Долгорукіе — первые и сильнѣйшіе изъ всѣхъ русскихъ бояръ; но съ нѣкотораго времени они во враждѣ между собою: если одна сторона указываетъ для ка-

кого-нибудь важнаго поста одного изъ своихъ друзей, другая никакъ не хочетъ уступить». Въ другихъ денешахъ онъ дѣлаетъ характеристику всѣхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Наибольшую симпатію высказываетъ онъ къ великой княжнѣ Натальѣ Алексѣевнѣ, вѣроятно, въ благодарность за ту поддержку, которую находили въ ней иностранцы. «Доброжелательность, умъ, благородство, разсудительность, любовь къ иностранцамъ» — вотъ ея отличительныя качества. Всего рѣзче отзывается онъ о принцессѣ Елизаветѣ, хотя впоследствии, разойдясь съ Остерманомъ, значительно смягчаетъ о ней свои отзывы. Характеръ Елизаветы, по его мнѣнію, совершенно противоположенъ характеру великой княжны Натальи. «Красота ея физическая — говоритъ онъ — это чудо (maravilla), грація ея неописанна, но она лжива, безнравственна и крайне честолюбива. Еще при жизни своей матери она хотѣла быть преемницей престола предпочтительно предъ настоящимъ царемъ, но какъ божественная правда не восхотѣла этого, то она задумала взойти на тронъ, выйдя замужъ за своего племянника; но и этого не могла добиться, во-первыхъ, потому, что своимъ дурнымъ поведеніемъ она потеряла благоволеніе царя. Послѣ всего этого теперь она живетъ, скрывая свои мысли, заискивая у всѣхъ вообще, а особенно у старыхъ русскихъ, которые чувствуютъ себя оскорбленными въ своихъ обычаяхъ». Успѣхи Голицыныхъ при дворѣ тревожатъ дука еще больше, чѣмъ вліяніе красоты Елизаветы; онъ думаетъ, что если эта фамилія войдетъ окончательно въ милость у царя, то въ правительствѣ произойдетъ совершенная революція, и «всѣ иностранцы должны считать себя погибшими, потому что Голицыны всѣ

вообще ненавидать ихъ». Но значеніе Голицыныхъ предвидится только въ перспективѣ; въ настоящемъ же растетъ чрезмѣрная власть дома Долгорукихъ, которые «управляютъ всѣмъ и съ крайнимъ произволомъ». Говоря порознь о князьяхъ Долгорукихъ, дукъ де-Лирія относится довольно снисходительно къ самому фавориту и признаетъ въ немъ даже умъ и «отвращеніе къ придворнымъ интригамъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сообщаетъ, что въ приближенномъ семействѣ нѣтъ внутренняго согласія, такъ что отецъ фаворита завидуетъ успѣхамъ сына, а родная сестра его, нареченная невѣста Петра, «ненавидитъ брата и поклялась погубить его». Къ этимъ извѣстіямъ, которыя могли бы показаться странными и невѣроятными, дукъ де-Лирія прибавляетъ, что въ Россіи «никто не хочетъ знать никакого закона: каждый добивается своей цѣли, а для достиженія ея пожертвуетъ отцомъ, матерью, дѣтьми, родными и друзьями» (Т. II, стр. 157). Объ Остерманѣ, стоявшемъ во главѣ иностранной партіи, де-Лирія говоритъ, какъ о самомъ способномъ и опытномъ русскомъ министрѣ, хотя, въ откровенныя минуты, и замѣчаетъ, что это—человѣкъ безъ религіи и правилъ. Изъ всѣхъ этихъ данныхъ возникла и развивалась придворная борьба, подъ перекрестнымъ огнемъ которой пришлось стоять испанскому посланнику, сондируя тамъ и сямъ, обращаясь то къ тому, то къ другому, и попадая ежеминутно, по его выраженію, «на подводные камни.» Русская партія, въ которой многіе члены желали возстановленія допетровской старины, включая сюда и патріаршество, переселила царя въ Москву, чтобы удобнѣе окружить его тамъ соответствующими вліяніями; иностранцы же, въ томъ числѣ и де-Лирія, усили-

вались возвратить его въ Петербургъ, гдѣ самая почва подсказывала другія мысли и направляла иначе политику. Работая въ пользу своей цѣли, послѣдніе не затрудняются даже подлогомъ, и дукъ де-Лирія, вдвоемъ съ австрійскимъ посланникомъ графомъ Вратиславскимъ, преспокойно дѣлають къ писъму принца Евгенія приписку собственнаго сочиненія, въ которой говорится, что австрійскій цезарь просить настойчиво хлопотать о возвращеніи двора въ Петербургъ (стр. 125). Самъ царь сначала высказывается противъ жизни въ Москвѣ, гдѣ ему докучають наставленіями и постоянной опекой (стр. 45); но мало-по-малу онъ такъ подчиняется Долгорукимъ, преимущественно отцу фаворита, князю Алексѣю, что толки о Петербургѣ стихають, и наконецъ де-Лирія долженъ признаться самому себѣ, что «надежда на возвращеніе въ Петербургъ исчезла совершенно, и нѣтъ никакихъ способовъ убѣдить тѣхъ, которые бы своимъ вліяніемъ могли подѣйствовать на предпріятіе этого путешествія». Это случилось вскорѣ по смерти великой княжны, покровительницы иностранцевъ. Овладевъ царемъ, Долгорукіе удалили отъ него Елизавету, къ которой присватался-было, но безуспѣшно, князь Иванъ. Вслѣдъ затѣмъ отецъ фаворита сталъ подготавливать женитьбу царя на княжнѣ Долгорукой, и успѣлъ бы въ этомъ, еслибы замыслы его не прервала смерть Петра, здоровьемъ котораго слишкомъ неосторожно рисковалъ увлекшійся временщикъ. Въ этотъ періодъ жизни Петра, несчастный мальчикъ-государь, каждое утро, едва одѣвшись, садился въ сани и ѣхалъ въ подмосковную съ княземъ Алексѣемъ Долгорукимъ, который избобрѣталъ для него все новыя и новыя потѣхи, не желая

выпускать изъ своихъ рукъ и удаляя по возможности отъ Елизаветы и Остермана. Фаворитъ не одобрялъ дѣйствій отца, но по слабости характера не рѣшался противостать имъ. Государственные дѣла, всѣми заброшенные, приходили окончательно въ упадокъ. «Что касается здѣшняго управленія — пишетъ дукъ де-Лирія — все идетъ дурно: царь не занимается дѣлами, да и не думаетъ заниматься; денегъ никому не платятъ, и Богъ знаетъ, до чего дойдутъ финансы его царскаго величества; каждый воруетъ, сколько можетъ. Всѣ члены верховнаго совѣта нездоровы, и потому этотъ трибуналъ, душа здѣшняго управленія, вовсе не собирается. Всѣ подчиненныя вѣдомства тоже остановили свои дѣла. Жалобъ бездна; каждый дѣлаетъ то, что ему набредетъ на умъ». Наконецъ, совершилось обрученіе царя съ нелюбимою имъ невѣстою. При этомъ приняты были всѣ мѣры на случай безпорядка или сопротивленія недовольныхъ: цѣлый батальонъ гвардіи (въ 1,200 человѣкъ) держалъ караулъ во дворцѣ; сто гренадеръ, подъ командою фаворита, вошли въ залу, гдѣ производилась церемонія, съ заряженными ружьями. Счастье было «такъ близко, такъ возможно». Но вдругъ, чрезъ подтора мѣсяца, Петръ умираетъ, не вступивши въ законный бракъ, къ ужасу Долгорукихъ, на половину породнившихся съ нимъ. Надлежало замѣстить вакантный престолъ — и тогда-то зародилась въ нѣкоторыхъ умахъ мысль о политической реформѣ, упомянутая нами. Прежде всего на виду стояли: сынъ герцога Голштинскаго, — имѣвшій наибольшее право на престолъ, еслибы онъ переходилъ легальнымъ порядкомъ, — и принцесса Елизавета, у которой, уже въ то время, были свои сторонники. Дукъ де-Лирія

упоминаетъ также, въ числѣ кандидатовъ на тронъ, царь-цу-бабку Петра и князю Долгоруку, невѣсту покойнаго царя. Но случилось то, чего онъ вовсе не ожидалъ, а именно: на престолъ была призвана Анна Іоанновна, дочь номинально-царствовавшего Іоанна Алексѣевича, никогда и не мечтавшая о русской коронѣ. Что за странный поворотъ дѣла, и какъ объяснить его? Многіе наши историки, повѣствовавшіе объ этомъ событіи, объясняютъ его не больше, какъ коварствомъ царедворцевъ, которые добивались своихъ личныхъ выгодъ, и потому предложили тронъ герцогинѣ Курляндской, ограничивъ предварительно ея власть. Безъ сомнѣнія, личныя выгоды, болѣе или менѣе широко понимаемыя, руководятъ всѣми дѣйствіями смертныхъ, но однимъ указаніемъ на нихъ врядъ-ли исчерпывается смыслъ какого бы то ни было политическаго событія. Можно думать, что и Анна Іоанновна, разрывая подписанные ею пунеты, также не забывала своихъ личныхъ интересовъ; слѣдовательно, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ мотивъ дѣйствія будетъ совершенно одинаковъ. Но отъ этой общей побудительной причины перейдемъ къ дальнѣйшимъ соображеніямъ. На сколько члены верховнаго совѣта, ограничивая власть избираемой ими государыни, имѣли въ виду интересы страны, или, пожалуй, на сколько государственные интересы совпадали съ ихъ личными выгодами? Пересмотрѣвъ внимательно всѣ документы, относящіеся къ этому дѣлу, мы не рѣшимся сказать, чтобы государственные интересы тутъ совершенно отсутствовали, и чтобы реформаторы руководились исключительно своими личными расчетами. Они, правда, понимали эти интересы слишкомъ узко и хотѣли ограничить предста-

вительство однимъ сословіемъ, то-есть сравнительно-ничтожнымъ кружкомъ народа; но въ то время, въ цѣлой Европѣ, народныя массы нигдѣ не призывались еще къ политической жизни, и, такимъ образомъ, грѣхъ нашихъ верховниковъ нѣтъ за себя, по крайней мѣрѣ, *circonstances atténuantes*. Говорятъ еще, что верховники, избирая на извѣстныхъ условіяхъ Анну Іоанновну, желали уничтожить Петровы преобразованія и отодвинуть Россію ко временамъ Гостомысла; но и это предположеніе падаетъ само собою, въ виду того, что съ такою цѣлью сообразнѣе было бы—возвести на престолъ бабу Петра II-го, которую дуэль де-Лирія упоминаетъ въ числѣ претендентокъ. Люди, распоряжавшіеся трономъ, могли сдѣлать это такъ же свободно, какъ и предлагая корону герцогинѣ Курляндской. Но дѣло въ томъ, что партія тупыхъ и невѣжественныхъ ретроградовъ была не причеиъ въ моментъ избранія Анны. Кредитъ Ивана и Алексѣя Долгорукихъ упалъ сейчасъ же по смерти царя (этимъ объясняется и паденіе кандидатуры царской невѣсты), и главнымъ дѣятелемъ въ сношеніяхъ съ Анною Іоанновною становится князь Василій Лукичъ Долгорукій, бывшій русскимъ посланникомъ въ Швеціи, Польшѣ, Даніи и Франціи—человѣкъ безспорно умный и образованный. Пребываніе въ этихъ странахъ (стр. 62), вѣроятно, внушило ему тѣ новыя понятія о государственной власти, которыя онъ вознамѣрился приложить къ своему отечеству; а потому нельзя и допустить, чтобы онъ, достигнувъ успѣха, оправдалъ опасенія де-Лирія и сталъ безъ толку «выгонять всѣхъ иностранцевъ» изъ Россіи. Вѣрнѣе, что онъ своимъ вліяніемъ удержалъ бы отъ такой затѣи своихъ родичей и союзниковъ,

еслибы она пришла имъ въ голову. Поочистить же Россію отъ нѣкоторыхъ продажныхъ авантюристовъ, дѣйствительно, не мѣшало... По депешамъ дука де-Лиріи можно прослѣдить весь краткій періодъ преобразовательныхъ стремленій того времени. «Во первыхъ, хотятъ — пишетъ дукъ въ депешѣ отъ 31-го января нов. ст. 1730 г. — чтобы она (герцогиня Курландская) не выходила замужъ, во вторыхъ, чтобы ею руководствовалъ совѣтъ, назначаемый націей. (Въ глазахъ дука, какъ и всѣхъ политическихъ людей его времени, одинъ только высшій классъ слылъ подъ именемъ націи.) Идея та, чтобы считать царицу лицомъ, которому они отдають корону какъ бы на храненіе, чтобы продолженіе ея жизни составить свой планъ управленія на будущее время. Они имѣють три идеи объ управленіи, въ которыхъ еще не согласились: первая — слѣдовать примѣру Англіи, въ которой король ничего не можетъ дѣлать безъ парламента. Вторая — взять примѣръ съ управленія Польши, имѣя выборнаго монарха, котораго бы руки были связаны республикой. И третья — учредить республику во всей формѣ безъ монарха. Какой изъ этихъ трехъ идей они будутъ слѣдовать — еще неизвѣстно» (стр. 30, III т.). Далѣе, въ депешѣ отъ 6-го февраля того же года, дукъ сообщаетъ: «Планъ управленія, которое хотятъ установить здѣсь, отнимаетъ у ея царскаго величества всякую власть. Она не будетъ имѣть никакой власти надъ войскомъ, которымъ будутъ распоряжаться фельдмаршалы, давая во всемъ отчетъ верховному совѣту, и царица будетъ имѣть въ своемъ распоряженіи только ту гвардію, которая будетъ на дѣйствительной службѣ во дворцѣ; она не будетъ имѣть ни

одного слуги, который бы по формѣ не былъ утвержденъ верховнымъ совѣтомъ. Послѣдній будетъ составленъ изъ 12 членовъ, и всѣ дѣла будутъ восходить къ этому трибуналу. Сенатъ будетъ составленъ изъ 30 лицъ, и онъ будетъ заниматься дѣлами судебными. Кромѣ этихъ двухъ трибуналовъ, будетъ еще одинъ, изъ 200 лицъ мелкаго дворянства, въ родѣ нижней палаты». Затѣмъ (15-го февраля), верховный совѣтъ пригласилъ высшее дворянство — «содѣйствовать наибольшимъ пользамъ имперіи и представить свои идеи». Дворяне не замедлили воспользоваться благимъ предложеніемъ, и проекты посыпались одинъ за другимъ. Князь Черкасскій выставилъ свои «артикулы», по которымъ число членовъ верховнаго совѣта увеличивалось до 21-го; члены совѣта и сената должны были выбираться генералами и дворянствомъ по большинству голосовъ, и притомъ такъ, чтобы «изъ каждой фамиліи могъ быть выбранъ только одинъ» (пунетъ, направленный противъ родственной стачки въ правительствѣ); законы должны быть обсуждаемы въ совѣтѣ и сенатѣ при участіи генералитета и дворянства (не намекъ ли это на особую нижнюю палату изъ мелкихъ дворянъ, о которой говорится выше?). Кромѣ того, въ проектъ Черкасскаго внесены нѣкоторыя льготы для всѣхъ сословій; такъ, на примѣръ, дворянство освобождалось отъ обязательной службы, духовенство и купечество — отъ постоя солдатъ, а крестьянамъ «возможно облегчались налоги». За проектомъ Черкасскаго появилось еще два — генерала Матюшкина и князя Куракина, которыхъ содержаніе неизвѣстно; но кажется, что и эти проекты направлялись главнымъ образомъ противъ сильной власти, захваченной верховнымъ совѣтомъ.

Члены совѣта увидѣли, что нужно сдѣлать нѣкоторыя уступки,—и сдѣлали ихъ (см. статью «Русск. генералитетъ», стр. 174). По этому поводу дукъ де-Лирія писалъ отъ 20-го февраля нов. стили: «Теперь всѣ заняты составленіемъ проевтовъ, но еще не остановились ни на одномъ, и эти господа магнаты такъ раздѣлены между собою, что невозможно сказать что-нибудь положительное объ ихъ системѣ. Повидимому, съ приѣздомъ царицы примутъ какое нибудь рѣшеніе, но какое—угадать трудно. Я могу легко обмануться; но мнѣ кажется, что теперь не согласится между собою тѣ, которые думаютъ перемѣнить форму правленія, и что мы увидимъ царицу такую же неограниченною, какими были ея предшественники; но въ продолженіе ея царствованія они будутъ образовывать и совершенствовать свою систему, чтобы установить ее послѣ ея смерти». Дукъ де-Лирія ошибся только въ послѣднемъ: въ царствованіе Анны Іоанновны, которое было, собственно говоря, царствованіемъ Бирона и его клевретовъ, не произошло никакихъ измѣненій и усовершенствованій въ правительственной системѣ... Теперь посмотримъ, что дѣлалось на противоположной сторонѣ. Въ Митавѣ Анна Іоанновна покорно подписала пункты, предложенные ей верховнымъ совѣтомъ. Пункты эти гласили слѣдующее: 1) Она во всемъ руководится мнѣніемъ верховнаго совѣта. 2) Не будетъ предпринимать никакой войны. 3) Не можетъ заключать никакого мира. 4) Не можетъ налагать никакого налога. 5) Не можетъ предоставлять никакой значительной должности. 6) Не можетъ объявлять ни сентенцій, и никакого наказанія кому либо изъ дворянства безъ формальнаго процесса. 7) Не можетъ кон-

фисковать имущество ни одного дворянина, по крайней мѣрѣ, если это не будетъ вызвано какимъ нибудь важнымъ преступленіемъ. 8) Не можетъ отчуждать ни имущества, ни земли, принадлежащихъ коронѣ». Нельзя, конечно, сказать, чтобы эти пункты были направлены противъ злоупотреблений не существующихъ: всѣ знали, сколько послѣдовало казней и ссылокъ, не мотивированныхъ никакимъ опредѣленнымъ преступленіемъ; всѣ помнили хорошо, сколько казеннаго имущества раздарено фаворитамъ. Но вотъ въ Митаву же приходитъ къ ней секретное письмо отъ Ягужинскаго, въ которомъ этотъ генераль пишетъ, чтобы она ни въ какомъ случаѣ не принимала предлагаемыхъ ей условий, что ея выборъ былъ единодушенъ (но гдѣ? въ верховномъ же совѣтѣ?), что пусть только она обнаружитъ твердость и скорѣе приѣдетъ въ Москву, а ужъ онъ и его приверженцы станутъ на ея сторону. Покуда новая императрица была въ Митавѣ, ей неудобно было ссориться съ верховнымъ совѣтомъ, и письмо Ягужинскаго, быть можетъ, «по причинѣ измѣны самой царицы» (какъ предполагаетъ де-Лирія), попало въ руки Василя Долгорукаго, присланнаго отъ имени совѣта; авторъ же посланія арестованъ и посаженъ въ кремль. Но обстоятельства скоро склонились въ пользу Анны. Въ то время, какъ генералитетъ и дворянство, непривыкшіе къ самостоятельной политической жизни, сочиняли проекты и контръ-проекты, не умѣя остановиться ни на одномъ опредѣленномъ рѣшеніи—«офицеры гвардіи (отданные подъ начальство верховнаго совѣта) отъкрыто говорили, что они-де желаютъ лучше быть рабами одного монарха, чѣмъ покоряться столькимъ главамъ, тиранія которыхъ бу-

детъ невыносима» (т. III, стр. 36). Съ прїѣздомъ государыни въ Москву, это движеніе усилилось въ чаяніи близкихъ наградъ, и дѣло кончилось тѣмъ, что генералъ Салтыковъ, родственникъ императрицы, провозгласилъ ее, во главѣ гвардіи, неограниченной государыней. Генералитетъ и дворянство смалодушествовали при этомъ самымъ постыднымъ образомъ, сваливъ всю вину на умнѣйшаго изъ своей среды, Василія Долгорукаго, который и былъ объявленъ «измѣнникомъ и предателемъ». Впрочемъ, многіе вельможи, еще до развязки всей этой исторіи, когда нельзя было навѣрное предсказать конецъ, поступали чрезвычайно остроумно и находчиво: такъ, напримѣръ, генералъ Колтовскій, графъ Ѳ. Апраксинъ, князь И. Трубецкой подписывались съ одинаковымъ удовольствіемъ и подъ жалобами на верховниковъ, и подъ отвѣтами на эти жалобы. Иные подписывались сами подъ отказомъ верховнаго совѣта, а сыновей заставляли писать протестъ, уподобляясь той богомольной старушкѣ, которая ставила разомъ двѣ свѣчи и Богу, и сатанѣ. «Неизвѣстно еще, гдѣ придется быть», говорила предусмотрительная старушка. Но исторія наказала-таки вѣроломную толпу: 9-го мая (новаго стиля) 1730 г. Биронъ былъ сдѣланъ оберъ-камергеромъ двора, а затѣмъ начались и всѣ ужасы бироновщины. Февральскія и мартовскія событія пошли въ прокъ: они показали, что съ такими людьми, дѣйствительно, нечего церемониться...

IV.

Другая, еще болѣе замѣчательная, попытка реформировать нашъ государственный строй и влить въ него новые, свѣжіе соки — произведена самою представительницей верховной власти, Екатериной II. Мы говоримъ о знамени-томъ «Наказѣ» и о созваніи выборныхъ депутатовъ для составленія новаго уложенія. Время, въ которое жила императрица Екатерина, сильно отличается отъ глухой поры Аннинскаго царствованія. Это было время, когда философскія идеи, выработанныя новымъ направленіемъ умовъ, начали уже переходить изъ теоріи въ практику, осуществлялись вначалѣ руками самихъ привилегированныхъ сословій, противъ которыхъ онѣ были направлены; когда сильные государи записывались въ ряды философовъ, выставя на своемъ политическомъ знамени: освобожденіе отъ предразсудковъ, ограниченіе власти духовенства, религіозную терпимость, развитіе просвѣщенія въ народѣ, смягченіе наказаній, равенство передъ закономъ, и проч. и проч.; когда либерализмъ мысли считался обязательнымъ для каждого просвѣщеннаго человѣка, переходя нерѣдко въ *sensiblerie déclamatoire*—особенную болѣзнь вѣка. Еще въ дѣтствѣ Екатерины, когда она жила съ своею матерью въ Гамбургѣ, графъ Гилленбургъ замѣчалъ у нея «философское расположеніе ума»; позднѣе эта умственная пытливость развилась въ ней окончательно подѣ влияніемъ чтенія Бейля, Мон-

тескѣ, Вольтера и всѣхъ энциклопедистовъ. Въ религіозныхъ вопросахъ она держалась просвѣщенной вѣротерпимости, въ сферѣ правовыхъ отношеній отстаивала равенство передъ закономъ и возможно-полную свободу личности, а свои политическія симпатіи опредѣляла (уже въ 1789 году) такимъ рѣшительнымъ образомъ: «Я уважала философію—пишетъ она доктору Циммерману—потому что въ душѣ моей была всегда отмѣнной республиканкой. Признаюсь, что такое расположеніе души моей покажется, можетъ быть, чуднымъ противорѣчіемъ съ моей неограниченной властью; однакожь въ Россіи никто не скажетъ, чтобы я власть свою во зло употребляла». Взойдя на престолъ, она заводитъ пріямые сношенія съ французскими писателями, предлагаетъ имъ перенести въ Петербургъ изданіе «Энциклопедіи», гордимою духовенствомъ, гордится похвалами Вольтера, приглашаетъ къ себѣ Дидро (о Дидро см. статью въ I т. «Осьмнадц. вѣка») и, какъ покорная ученица, выслушиваетъ его пламенные, краснорѣчивыя бесѣды,—про себя соображая, впрочемъ, что смѣлыя теоріи философа удобнѣе выражаются въ салонѣ, чѣмъ проводятся въ политической жизни. Словомъ, она—философски образованная женщина, и огромною властью своею пользуется, въ самомъ дѣлѣ, умѣреннее, чѣмъ вызываетъ уже слишкомъ неумѣренные похвалы отечественныхъ бардовъ. Но личной кротости и воздержанія отъ злоупотребленій еще недостаточно для управленія государствомъ: нужно знать, прежде всего, потребности народа и слышать непосредственно голосъ имъ избранныхъ представителей. Законы должны возникать изъ жизни народа и контролироваться народною волей. Чтобы исполнить

эту существенную обязанность правительницы, Екатерина созывает комиссію изъ народныхъ представителей, пишетъ для нея свой человеколюбивый «Наказъ» и, являясь инкогнито въ засѣданія комиссій, съ удовольствіемъ прислушивается къ свободно-сдержанному говору свободныхъ людей. При выборѣ депутатовъ, сами правительственные лица совѣтуютъ выбирать не знатныхъ, а людей, знающихъ нужды народа. Право выбора дается по очень невысокому цензу, что рѣзко отличаетъ Екатерининскую мѣру отъ конституционно-аристократическихъ попытокъ князя Долгорукаго. Всѣ депутаты остаются довольны мудрыми словами «Наказа» и безтрепетно высказываютъ свои предложенія, а маршалъ Бибиковъ, съ достоинствомъ, какъ настоящій президентъ парламента, руководитъ преніями собранія. (Всѣ эти пренія напечатаны въ IV томѣ «Сборника Русс. Истор. Общества» изданія, представляющаго большой интересъ для науки.) Но есть, однако, и недовольные комиссіей. Лифляндскіе и эстляндскіе депутаты, боясь за ненарушимость своихъ «привилегій», желаютъ устранить себя отъ засѣданій комиссій. Тогда Екатерина пишетъ громовое письмо къ князю Вяземскому: «Велите, кому вы заблагоразсудите, подать голосъ, составленный изъ слѣдующихъ мотивовъ. Что онъ (то-есть будущій авторъ «голоса») съ великимъ удивленіемъ услышалъ торжественное предохраненіе (устраненіе) господъ лифляндскихъ депутатовъ, для того, что, какъ бы то ни были совершенны ихъ узаконенія теперешнія,—не выведены изъ такихъ человеколюбивыхъ правилъ, какъ въ «Наказѣ» ея величества предписано для составленія законовъ... Если же противу ком-

мисіи они торжественно предохранились, то онъ почти-
таетъ, что въ томъ они протестовали сами противъ себя:
ибо, бывъ на ряду со всѣми депутатами во всѣхъ частныхъ
коммисіяхъ, они сочиняють проекты. Если же въ сихъ
проектахъ они не внесли части себѣ приличныя и коими
они сами недовольны быть могутъ, какъ въ томъ ихъ при-
сяга обязала, и потомъ протестуютъ, то неизвѣстно по ка-
кой причинѣ. Чтобъ же лифляндскіе законы лучше были,
нежели наши будутъ, тому статься нельзя; ибо наши пра-
вила само человеколюбіе писало, а они правилъ показывать
не могутъ, и сверхъ того иныя ихъ узаконенія
наполнены невѣжествами и варварствами. И
такъ, предохраняя себя, торжественно они
просятъ: мы хотимъ, чтобы насъ смертію каз-
нили, мы просимъ пытокъ, мы просимъ, чтобы
отъ непрерывной ябеды наши суды никогда
не были окончены; мы торжественно предохраняемъ
противорѣчія и темноты нашихъ узаконеній» (т. III, стр.
388—89). Вотъ какъ высоко ставила, въ то время, Екате-
рина гуманныя правила своего «Наказа» и какъ презрительно
относилась она къ тупому противодѣйствію злонамѣрен-
ности или невѣжества. «Кто-жъ велѣлъ вамъ—говоритъ она
нѣмецкимъ «піонерамъ цивилизаціи», жадно ухватившимся
за свой средневѣковой хламъ—не принимать участія въ ра-
ботахъ коммисіи и не вносить «частей себѣ приличныхъ?»
Мы посмотрѣли бы, чьи проекты и мнѣнія разумнѣй и по-
лезнѣй для общества». Она не сомнѣвается, что русскіе за-
коны выйдутъ лучше тѣхъ, которые, въ оны дни, диктова-
лись варварствомъ и невѣжествомъ. И нужно сказать правду:

мѣнія въ комиссіи подавались совершенно непринужденно, и депутаты коснулись почти всѣхъ важнѣйшихъ вопросовъ государственнаго управленія. Крѣпостное право, котораго заразительное вліяніе проникло во всѣ поры русской жизни, подвергалось осужденію въ комиссіи, и Екатерина сочувствовала этимъ, изрѣдка вырывавшимся, справедливымъ приговорамъ. Извѣстны также ея саркастическіе отвѣты Сумарокову, вздумавшему вступить за безчеловѣчное право. Много лѣтъ спустя, въ письмѣ, которое г. Бартеневъ относитъ къ 1775 г., Екатерина, коснувшись одного нелѣпаго сенатскаго указа, пишетъ слѣдующее: «Я всячески различить стараюсь преступленія и наказанія, а сенатъ конфондируетъ (смѣшиваетъ) убійство съ обороной хозяина и хочетъ, чтобы смертоубійцы сравнены были съ оборонителями; но великая разница между убіеніемъ, знаніемъ о убіеніи и препятствіемъ или непротивствіемъ убіенію. Пророчествовать можно, что если за жизнь одного помѣщика въ отвѣтъ и въ наказаніе будутъ истреблять цѣлыя деревни, то бунтъ всѣхъ крѣпостныхъ крестьянъ воспослѣдуетъ. Положеніе помѣщичьихъ крестьянъ таково критическое, что окромѣ тишиной и человѣколюбивыми учрежденіями ничѣмъ избѣгнуть не можно. Генеральнаго освобожденія несноснаго и жестокаго ига не воспослѣдуетъ, ибо, не имѣвъ обороны ни въ законахъ и нигдѣ, слѣдовательно всякая малость можетъ ихъ привести въ отчаяніе; колыми паче мстительный такой законъ, какъ сенатъ вздумалъ нестати и не къ ладу издать. Итакъ: прошу быть весьма осторожною въ подобныхъ случаяхъ, дабы не ускорить и безъ того довольно грозящую бѣду, если въ новомъ уза-

коненіи не будутъ взяты мѣры къ пресѣченію сихъ опасныхъ слѣдствій. Ибо, если мы не согласимся на уменьшеніе жестокости и умѣреніе человѣческому роду нестерпимаго положенія, то и противъ нашей воли сами оную возмуть рано или поздно. Ваше сіятельство (письмо адресовано къ князю Вяземскому, генералъ-прокурору сената) изъ сихъ строкъ можете сдѣлать такое употребленіе, какъ вы сами для пользы имперіи заблагоразсудите. Ибо не безнужно, чтобъ не я одна сіе только чувствовала, но и другіе оглянулись въ своихъ предубѣжденіяхъ» (т. III, стр. 390—91). Кажется, нельзя рѣшительнѣе заклеить владѣніе живою собственностью и благоразумнѣе предвидѣть могущія произойти отъ того послѣдствія!

И все-таки крестьяне не были освобождены, и все-таки наша политическая жизнь, обновленная на короткій срокъ, повлеклась по прежнему руслу, усѣянному «подводными камнями», о которыхъ говорилъ дукъ де-Лирія. Въ концѣ царствованія Екатерины, мы видимъ ее даже въ прямой враждѣ съ принципами, выраженными въ ея собственномъ «Наказѣ». *L'égalité*—говоритъ она Храповицкому—*est un monstre, qui veut être roi*. Но и прежде французскихъ событій, взволновавшихъ понятнымъ образомъ всѣхъ коронованныхъ особъ, мы замѣчаемъ въ Екатеринѣ какую-то странную двойственность, какую-то робость и уклончивость передъ логическими выводами изъ ея же основныхъ взглядовъ. Еще отстаивая въ теоріи свободу мысли, она выхваляетъ на практикѣ «образцовое послушаніе»; сторонница честной и откровенной политики, она нисходитъ до совѣта—

«имѣть лисій хвостъ и волчій ротъ» (т. III, стр. 597). Интересны, въ этомъ смыслѣ, ея письма къ князю Волконскому (т. I, стр. 52, 162). Тутъ выступаетъ, уже, по временамъ, дѣятельность тайной экспедиціи, и Екатерина, взволнованная какими-то слухами въ Москвѣ, предписываетъ Волконскому—«не пропускать вракъ безъ изслѣдованія, но какъ нынѣ на Москвѣ вранья было безъ конца и безъ счету, того для, если вы усмотрите, что врани не унимаются, прикажите враня-другаго, по изслѣдованію (черезъ тайную экспедицію) того, что врани, высѣчь плетми публично» (стр. 63). Для допроса Наталіи Пассекъ въ 1784 году ѣдетъ въ Москву благонадежный Шешковский и разными пытками вымучиваетъ отъ нея показаніе, что, во время московскаго мятежа въ 1771 году, Петръ Панинъ хотѣлъ возвести на престолъ Павла Петровича (стр. 81). Впослѣдствіи этотъ же Шешковский такъ успѣшно развилъ свою инквизиціонную практику, что Потемкинъ, при встрѣчѣ съ нимъ, всегда спрашивалъ: «Каково нынче кнутабойничаешь?» и скромный инквизиторъ отвѣтствовалъ обыкновенно: «помаленьку, ваша свѣтлость!» Нѣкоторые изъ этихъ писемъ относятся къ пугачевскому бунту, и въ нихъ замѣчательно то, что, брава на чемъ свѣтъ стоятъ «воровъ, каналій и злодѣевъ», которые надумались, наконецъ, «сами взять себѣ волю» (см. выше письмо къ князю Вяземскому), Екатерина ни однимъ словомъ не обмолвливается о фатальныхъ причинахъ, неизбежно повлекшихъ за собой это прискорбное явленіе. Въ перепискѣ съ французскими энциклопедистами она также говоритъ о Пугачевѣ мелькомъ, какъ о фактѣ, недостойномъ развлекать ея философское вниманіе; а по укрощеніи мятежа не

только не принимаетъ мѣръ противъ помѣщичьяго произвола, но заводитъ еще крѣпостное право въ Малороссіи. Разгадка всѣхъ этихъ уклоненій, несообразностей и грубыхъ ошибокъ едва-ли не заключается въ громадномъ, рѣзкомъ противорѣчій между взглядами Екатерины II и ея обстановкой,—положеніемъ, которое создала для нея судьба. Трудно было ей сохранить всецѣло уваженіе къ человѣческой личности, когда ее окружала толпа низкихъ льстецовъ, нимало себя не уважавшихъ и готовыхъ «отважно жертвовать затылкомъ», чтобы только сорвать улыбку съ ея устъ. Въ одномъ письмѣ къ г-жѣ Жоффренъ (напечатанномъ въ I томѣ «Сборника Русскаго Историческаго Общества») Екатерина жалуется, что ей даже не съ кѣмъ поговорить по душѣ, такъ какъ придворные, при ея появленіи, «столбенѣютъ, какъ при видѣ медузиной головы». Одинъ только Бецкій, какъ это видно изъ другихъ писемъ, умѣлъ вести съ ней искреннюю и умную бесѣду о серьезныхъ вопросахъ, не столбенѣя передъ ней и не унижаясь до нуля. Сначала Екатерина, по ея собственному выраженію, «кричала, какъ орелъ», противъ этого обычая; но современемъ она, кажется, примирилась съ нимъ. Не мудрено было, наконецъ, потерять вкусъ къ литературѣ и наукѣ, когда въ русскомъ обществѣ процвѣтала истинно одна наука — «наука страсти нѣжной, которую воспѣлъ Навонъ». Были, правда, въ Россіи того времени поэты и ученые (поэты плодились даже въ большомъ количествѣ); но походили ли они сколько нибудь на тѣхъ европейскихъ дѣятелей литературы и науки, которые по праву внушали къ себѣ уваженіе Екатерины? Одинъ поэтъ, «потомокъ Багрима», самъ смотрѣлъ на свою поэзію,

какъ на развлеченіе, какъ «на вкусный лимонадъ лѣтомъ», и дорожилъ всего болѣе своими чиновничьими успѣхами. Другой поэтъ — и даже первый драматургъ — Сумароковъ, проживалъ въ то время въ Москвѣ, и объ немъ постоянно доходили до Екатерины самые курьезные слухи. То вдругъ слышно, что «на Москвѣ Сумароковъ чрезвычайно шалить и озорничаетъ, и будто на рынкѣ и близъ его дома ходить съ дубьемъ и разбиваетъ горшки и всякія продажныя вещи». Въ другой разъ онъ отличается еще лучше. «Пришедъ ко мнѣ — пишетъ его встревоженная мать къ императрицѣ — отъ злобы совѣтъ изступившій, началъ онъ въ глаза меня такими непристойными и поносительными злорѣчить словами, которыхъ я теперь уже и вспомнить не могу, крича и угрожая неоднократно изъ дому меня выгнать вонъ, называя его своимъ, потому что онъ между нами еще не раздѣленъ, отъ котораго страху бывшіе у меня тогда гости, тотчасъ разѣхались; а я принуждена была, съ дочерьми моими ушедъ, запереться въ особливую палату. А на послѣдокъ, выбѣжавъ на дворъ и вынявъ шпагу, неоднократно къ людямъ моимъ прибѣгалъ, хотя ихъ приколотъ... Оное же его бѣшенство и озорничество нѣсколько часовъ продолжалось, такъ что находящійся подлѣ моего дома переулокъ весь зрителями на такое ужасное и необыкновенное позорище наполнился» (т. I, стр. 61). Появился въ концѣ царствованія Екатерины политически-развитый и глубоко-убѣжденный писатель, но его «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» попалось на глаза императрицѣ уже въ тѣ минуты, когда она опасалась «французской заразы» и съ испугу чаяла у себя дома революціи. Впрочемъ Радищевъ стоялъ

такъ одиноко въ русскомъ обществѣ, что объ его ссылѣ сожалѣли немногіе, а Державинъ даже сочинилъ такой куплетецъ:

Бѣда твоя въ Москву со истинною сходна,
Не кстати лишь дерзка, снѣла и сумасбродна.
Я слышу, на коней ямцакъ кричить: вырь-вырь!
Знать, русскій Мирабо, поѣхалъ ты въ Сибирь.

Политическія реформы Екатерины тормозились противъ ея воли въ значительной степени. Она сочувствовала народу, который расплачивался и своими боками, и своею сумою (ибо денежнаго кошелька не было) за такое положеніе дѣлъ, желала бы она въ душѣ помочь угнетеннымъ, но между ею и народомъ создавалась вѣками цѣлая непроницаемая стѣна. Если ужъ Сумароковъ, одинъ изъ представителей русской интеллигенціи,—какова бы она тамъ ни была—съ благороднымъ дерзновеніемъ защищалъ крѣпостное право, то можно представить себѣ, какъ взирало на этотъ предметъ большинство русскихъ помѣщиковъ. Всѣ эти обстоятельства служатъ если не къ оправданію, то, по крайней мѣрѣ, къ объясненію той нерѣшительности и непоследовательности, какая обнаруживается въ политической программѣ Екатерины; но ея заслуга—изданіе «Наказа»—принадлежитъ лично ей, и немногіе русскіе въ состояніи были, какъ слѣдуетъ, понимать смыслъ этого великаго законодательнаго акта. Изданіе «Наказа» можно назвать самымъ крупнымъ и утѣшительнымъ фактомъ въ русской исторіи XVIII вѣка.

НАШИ КЛАССИКИ ВЪ ХАРАКТЕРИСТИКАХЪ Г. ГАЛАХОВА.

(Исторія русской словесности древней и новой. Сочиненіе А. Галахова. Т. II. (первая половина). С.-Петербургъ, 1868 г.)

I.

Мы живемъ въ такое счастливое время, когда писать исторію литературы, «преимущественно русской,» почитается многими дѣломъ до-пелъзя простымъ и доступнымъ даже для едва грамотнаго человѣка, а составленіе учебниковъ по этому предмету кажется настолько соблазнительнымъ для предпріимчивыхъ педагоговъ, что не проходитъ и одного года безъ того, чтобы книжныя лавки не обогатились какимъ нибудь новымъ издѣліемъ по этой части. Да и какъ не соблазниться, въ самомъ дѣлѣ, завлекательной легкостью труда, въ особенности при томъ условіи, что наскоро со-стрипанной книжкѣ предстоитъ перѣдко отличный сбытъ по всѣмъ учебнымъ заведеніямъ нашего пространнаго отече-ства? Отдѣльныя статьи историко-литературнаго содержанія (хотя бы онѣ принадлежали самому бездарному перу) все еще требуютъ нѣкотораго самостоятельнаго изученія избранной авторомъ эпохи, нѣкоторой критической сноровки въ опре-дѣленіи свойствъ того или другаго литературнаго таланта; учебники же, по общепринятому обычаю, пользуются не только готовыми фактами, которые нужно лишь связать грамматическими періодами, но даже и готовыми фразами,

однажды навсегда отчеканенными по казенному образцу. Помнится, что еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, слѣдовательно въ періодъ паденія Зеленецкаго и временнаго торжества прогрессивныхъ идей, появились у насъ послѣдовательно, одинъ за другимъ, и вдобавокъ одинъ хуже другаго, три учебныхъ курса русской литературы,—гг. Петраченки, Вульфа и Петрова,—изъ которыхъ послѣдній учебникъ достигнулъ, къ удивленію нашему, четвертаго или пятаго изданія, мирно расходясь по рукамъ нашей учащейся молодежи... Съ тѣхъ поръ, къ ихъ числу присоединились новыя, не уступающія имъ по достоинству, издѣлія Кирпичникова, Тимоѣева, Буракова e tutti quanti, и усердные компиляторы, конечно, вправѣ надѣяться, что судьба улыбнется имъ такъ же, какъ улыбалась уже она ихъ достойнымъ предшественникамъ.—Этотъ печальный наплывъ и еще болѣе печальный успѣхъ дешевыхъ компиляцій доказываютъ намъ, что если появленіе подобныхъ книгъ строго осуждается нынѣ въ сознаніи развитой части русскаго общества — въ тѣхъ немногочисленныхъ кружкахъ его, для которыхъ не прошла безслѣдно дѣятельность лучшихъ нашихъ критиковъ, — то, съ другой стороны, у насъ существуютъ и упорно держатся причины, позволяющія смотрѣть на исторію литературы, какъ на случайный и безцѣльный сбродъ личныхъ именъ, цифръ и названій литературныхъ произведеній. Можно сказать даже больше: по нѣкоторымъ признакамъ, все рѣзче и рѣзче обнаруживающимся въ нашемъ учебномъ мірѣ, позволительно думать, что въ то время, когда въ печати будутъ вырабатываться новыя, болѣе зрѣлыя и правильныя взгляды на исторію литературы, какъ

науку и какъ предметъ школьнаго обученія,—въ педагогической сферѣ движеніе пойдетъ совершенно противоположнымъ путемъ, и не впередъ, а назадъ, къ допотопнымъ формациямъ Зеленецкаго, Греча и Кошанскаго. На эту мысль наводятъ насъ, по крайней мѣрѣ, послѣднія программы гимназій министерства народнаго просвѣщенія, въ которыхъ, рядомъ съ торжествомъ классицизма и языкоученія съ его внѣшней, формально-грамматической стороны, идетъ поразительное оскудѣніе въ количествѣ и качествѣ собственно литературныхъ произведеній, обязательно разбираемыхъ преподавателямъ въ классѣ. Замѣчается желаніе—ограничить курсъ литературы однимъ знакомствомъ съ фабулой художественнаго произведенія и, пожалуй, съ такъ-называемыми «эстетическими красотами» его, отбросить въ сторону общественный смыслъ разбираемаго сочиненія, ту неразрывную историческую связь, которая соединяетъ его съ умственной жизнью извѣстной эпохи, съ идеалами и стремленіями нашихъ предковъ, наконецъ — стѣснить, почти выбросить со всѣмъ оцѣнку сатирическихъ произведеній, при которой невозможно было бы преподавателю удержаться на своихъ эстетическихъ ходуляхъ, но пришлось бы спуститься въ самый центръ описываемой жизни и войти въ разбирательство различныхъ умственныхъ направленій и житейскихъ событій. А этого-то именно и не нужно; это-то и составляетъ запретный плодъ, ведущій прямо, по мнѣнію опытныхъ людей, къ педагогическому грѣхопадению. «Къ чему—говорить эти опытные люди—вносить страстность и раздраженіе въ незлобивое сердце юношей? Зачѣмъ поднимать въ нихъ умѣ тревожные вопросы, на которые ихъ легко можетъ

натолкнуть излишняя словоохотливость учителя?» Опытнымъ людямъ, повидимому, не приходитъ въ голову, что умственная работа начинается въ ученикахъ не потому только, что этого хочется или не хочется учителю, не потому, что это нравится или не нравится начальству, но въ силу другихъ, болѣе существенныхъ законовъ человѣческой природы, и что вѣрнѣйшее средство отдѣлаться отъ всѣхъ мучительныхъ вопросовъ — это пойти имъ на встрѣчу, овладѣть ими при помощи знанія и трезвой мысли. Если школа не захочетъ помочь своему ученику въ его трудной психической работѣ, то послѣдній найдетъ, конечно, возможность удовлетворить иначе своимъ естественнымъ стремленіямъ; но обманутый или грубо оттолкнутый своими наставниками, онъ уже непремѣнно потеряетъ къ нимъ все прежнее довѣріе и уваженіе. Славный результатъ для послѣдователей теоріи: *tant pis, tant mieux*, къ которымъ, впрочемъ, опытные люди едва ли причисляютъ себя! При такомъ мнимо-безстрастномъ и мнимо-объективномъ направленіи (подъ этой кажущейся безстрастностью и объективностью скрываются, въ сущности, самыя пылкія вождѣнія и самая злокачественная тенденціозность, направленныя къ охранѣ всего отжившаго и гнилаго), при такомъ ясномъ и нисколько не скрываемомъ желаніи парализовать всякую живую струю въ учебномъ дѣлѣ, обративъ его, по прежнему, въ сухую, ни къ чему не ведущую схоластику, — взгляды Бѣлинскаго на цѣль и значеніе исторіи литературы, а также и его талантливыя, меткія характеристики русскихъ писателей, стали казаться подозрительными и вольнодумными въ глазахъ чересчуръ ревностныхъ блюстителей критическаго благочинія и бла-

гоустройства. Къ сожалѣнію, эти ревнители получили сильную поддержку, на которую, въ началѣ 60-хъ годовъ, они никакъ не могли бы рассчитывать. На помощь имъ пришелъ ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщенія, который, въ одномъ своемъ отзывѣ, по поводу втораго изданія христоматіи г. Филонова, положилъ слѣдующую, весьма любопытную и заслуживающую особеннаго вниманія, резолюцію. «Такъ какъ—пишетъ неизвѣстный рецензентъ—при второмъ изданіи составитель (то есть составитель христоматіи, г. Филоновъ) сдѣлалъ нѣкоторыя перемѣны въ пользу внутренняго достоинства своей книги, то мы считаемъ обязанностью указать: въ чемъ именно заключается произведенное имъ улучшеніе. Учебникъ, главнѣйшимъ образомъ, улучшается очищеніемъ его отъ яркихъ педагогическихъ недосмотровъ. Г. Филоновъ, не оставивъ безъ вниманія высказанныхъ ему замѣчаній, исключилъ изъ своей книги многое, что могло только запутывать и учителя, и учащихся... Остались только (какъ жалъ!!) слова Бѣлинскаго о трагическомъ и слова Арбузова о значеніи хоровъ греческой трагедіи, выписанныя изъ его стихотвореній 1856 г. Г. Филоновъ поступилъ бы еще лучше, еслибы сужденія этихъ лицъ замѣнилъ сужденіями другихъ авторитетовъ менѣе сомнительнаго качества... Не встрѣчается больше толкованіе мѣва о Прометѣѣ, находившееся въ 3-мъ томѣ, выписанное изъ сочиненій Бѣлинскаго. Но, къ сожалѣнію, въ темахъ все-таки осталась задача: «показать заслуги Прометея». (Замѣтимъ въ скобкахъ, что эта тема совершенно необходима, если

только учитель прочиталъ въ классѣ тотъ отрывокъ, къ которому она относится. Прометей самъ говоритъ о своихъ заслугахъ человѣчеству; слѣдовательно, не разъяснить ихъ и было бы, дѣйствительно, «яркимъ педагогическимъ недосмотромъ»). «Какимъ образомъ—гнѣвно вопрошаетъ рецензентъ — и въ какомъ классѣ гимназіи будутъ рѣшать эту тему ученики? (Какимъ образомъ? объ этомъ могъ бы догадаться самъ рецензентъ, прочтя «Прикованнаго Прометей», а въ какомъ классѣ?—это вопросъ, не стоящій отвѣта, такъ какъ рецензенту, безъ сомнѣнія, извѣстно: въ какихъ именно классахъ гимназіи проходятся теорія и исторія словесности.) За то другихъ темъ, столь же трудныхъ или, по крайней мѣрѣ, странныхъ, находившихся въ прежнемъ изданіи: — на примѣръ, характеръ дѣятельности «знаменитаго критика Бѣлинскаго» на основаніи стихотворенія Некрасова «Памяти пріятеля», характеристика Капра на основаніи пѣсни Беранже — въ новомъ изданіи нѣтъ, и прекрасно». (См. «Сборникъ мнѣній ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія объ учебныхъ руководствахъ и пособіяхъ, одобренныхъ для гимназій». Спб. 1869 г.)

Читатель, вѣроятно, согласится съ нами, что эта резолюція сама заслуживаетъ быть помѣщенной въ какойнибудь хрестоматіи, какъ образецъ педагогическихъ взглядовъ нашего времени... Читая ее, не знаешь, чему болѣе удивляться:—благодушной ли уступчивости г. Филонова, готоваго выбросить лучшія страницы изъ своей книги «въ пользу внутренняго ея достоинства», или неумытлой строгости ученаго комитета, который ставитъ на одну доску

Бѣлинскаго и Арбузова (ужь не тотъ ли это г. Арбузовъ, который прославился на мировомъ судѣ изобрѣтеніемъ новой клички ангелиста?), для котораго авторитетъ Бѣлинскаго есть «авторитетъ сомнительнаго качества», и который, хладнокровною рукою, вычеркиваетъ изъ книги всякое упоминаніе этого неприличнаго имени? Мы не станемъ, конечно, оскорблять неужѣсткой защитой великую тѣнь геніальнаго критика, достаточно вынесшаго въ своей жизни, достаточно перестрадаващаго въ душѣ за всю тупость и косность современнаго ему поколѣнія. Мы не намѣрены также разъяснять, по этому поводу, огромныхъ заслугъ писателя, создаващаго въ Россіи истинно-европейскую, раціональную критику и публицистику, оцѣниващаго впервые, но съ поразительной вѣрностью, таланты: Пушкина, Гоголя, Кольцова, Лермонтова, Герцена, Гончарова, Тургенева, Достоевскаго и др. Тѣмъ не менѣе, мы дали себѣ трудъ заглянуть въ адресъ-календарь, чтобы узнать съ точностью: какіе-такіе Лессинги засѣдаютъ въ этомъ комитетѣ, что для нихъ даже и Бѣлинскій (какъ Наполеонъ для расхоронившагося прапорщика въ извѣстномъ стихотвореніи Давыдова) есть нѣчто «въ родѣ бородавки». По справкѣ оказалось *), что ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщенія состоитъ, подъ предсѣдательствомъ г. Фойгта, изъ гг. членовъ: Благовѣщенскаго, Штейнмана, Чебышева, Ходнева, Георгіевскаго, Весселя—и Галахова, къ которымъ поступаютъ на разсмотрѣніе всѣ учебныя книги и руководства, предназначенныя для класснаго употребленія въ низшихъ и

*) Статья писана въ 1870 г.

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Кому изъ гг. членовъ принадлежитъ цитированный нами отзывъ—на это нѣтъ указаній въ печатномъ сборникѣ ихъ мнѣній; но, во всякомъ случаѣ, его невозможно приписывать ни гг. Штейнману и Благовѣщенскому — специалистамъ по древнимъ литературамъ, ни г. Чебышеву — математику, ни г. Ходневу — химику. Затѣмъ остаются гг. Георгіевскій, Вессель и Галаховъ, изъ которыхъ первый написалъ, кажется, магистерскую диссертацию по предмету политической исторіи, второй извѣстенъ своимъ быстрымъ перерожденіемъ изъ педагога-реалиста въ педагога-классика и, вѣроятно, является судьей по вопросамъ педагогики и дидактики; слѣдовательно, христоматіи, служащія пособіемъ къ изученію теоріи и исторіи словесности, должны находиться въ исключительномъ вѣдѣніи г. Галахова, какъ единственнаго лица въ комитетѣ, пріобрѣвшаго извѣстность именно по этимъ отраслямъ знанія. Впрочемъ, предоставляемъ самому г. Галахову категорически опровергнуть или подтвердить наши предположенія. Если же такого отвѣта не воспослѣдуетъ, то, по пословицѣ: «молчаніе есть знакъ согласія», г. Галаховъ долженъ считаться отнынѣ творцомъ приведеннаго отзыва.—Какъ бы то ни было, но и ученый комитетъ, выпустившій подъ своимъ именемъ и на своей нравственной отвѣтственности такую странную резолюцію, дѣлается поневолѣ солидарнымъ съ ней, и мы, на основаніи одного этого факта (другихъ фактовъ мы повуда не приводимъ), можемъ уже составить себѣ понятіе о характерѣ вліянія, какое оказываетъ почтенный трибуналъ на нашу учебную литературу послѣдняго времени. Не только Бѣлин-

скій трактуется имъ съ полнѣйшимъ пренебреженіемъ, предъ его судомъ заподозрѣнъ въ неблагонамѣренности даже классикъ Эсхилъ, котораго «Прометей» можетъ внушить вольнодумныя мысли юношеству, побудить къ неповиновенію и къ открытому бунту противъ властей предержавныхъ. Въ самомъ дѣлѣ — наглый бунтъ враждуетъ съ Юпитеромъ, который составляетъ для него, такъ сказать, ближайшее и непосредственное начальство; прикованный къ скалѣ за свою строптивость (въ педагогикѣ эта мѣра соотвѣтствуетъ тѣлесному наказанію или «энергическимъ мотивамъ жизни» г. Юркевича), онъ все-таки не унимается, но гремитъ своими цѣпами и посылаетъ проклятiя къ небу; наконецъ, непослушаніе этого тѣлесно-наказаннаго буяна соблазняетъ даже скромныхъ океанидъ, получившихъ образованіе въ строгомъ интернатѣ, на самомъ днѣ моря. Что тутъ хорошаго съ точки зрѣнія людей, смотрящихъ на литературу, какъ на обширную управу благочинія, гдѣ не должно быть мѣста никакимъ нарушеніямъ разъ заведеннаго порядка, гдѣ добродѣтель должна торжествовать, а порокъ предаваться унынію? Если ужъ гоголевскій генералъ, въ «Театральномъ Разъѣздѣ», утверждалъ не безъ основанія, что юный канцеляристъ, побывавшій въ театрѣ на «Ревизорѣ», на другой же день согрѣбитъ своему столоначальнику, то колыми паче подобный результатъ можетъ получиться вслѣдствіе прилежнаго чтенія мальчиками «Прикованнаго Прометея». Прилично ли говорить о «заслугахъ Прометея», когда, наоборотъ, слѣдуетъ указать и осудить его порочную гордыню? «Старый капралъ» Беранже, отвѣтившій офицеру оскорбленіемъ на оскорбленіе, также, и по тѣмъ же причинамъ, не годится въ руководи-

тели юношамъ. Идя дальше по этому пути и возлагая на прокрустово ложе всѣхъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей, мы дойдемъ, наконецъ, до того, что единственнымъ бесспорнымъ матеріаломъ для помѣщенія въ христоматіи—явятся, въ нашихъ глазахъ, нравственныя вирши Бориса Ѳедорова и нравственныя повѣствованія г-жи Зонтагъ. Ни Гоголю, мастерски изображавшему, по его словамъ, «все бѣдность да бѣдность, да несовершенства чловѣческой жизни», ни Грибоѣдову и Лермонтову, отрицавшимъ еще прямѣе и рѣзче господствовавшій строй вещей и понятій, не найдется мѣста даже на оберткѣ образцовой христоматіи... Мудрено ли, послѣ этого, что составители новѣйшихъ учебниковъ по исторіи литературы просто не знаютъ, какъ имъ быть съ нашими писателями, начиная съ Пушкина. До Пушкина еще туда-сюда, и дѣло идетъ у нихъ какъ по маслу: за «Россіаду» Хераскова уже никто нынѣ не ломаетъ копій; «уязвленіе» Державина не грозитъ серьезной опасностью; въ разборѣ одъ Ломоносова почти невозможно обмолвиться какимъ-нибудь неосторожнымъ словомъ. Но Пушкинъ, Грибоѣдовъ, даже отчасти Карамзинъ, составляютъ западню, въ которую уловляются неопытные умы; говоря о нихъ, придется волей-неволей коснуться такихъ вещей, которыя и теперь не утратили своей пикантности, и теперь продолжаютъ волновать и ссорить наши микроскопическія общественныя партіи. Попробуй-ка тутъ сказать что-нибудь лишнее или произвести фигуру умолчанія тамъ, гдѣ этого не полагается! И вотъ, во избѣжаніе бѣды, г. Кирпичниковъ доводитъ исторію литературы только до Пушкина, а чтобы пробѣлъ этотъ не показался стран-

нимъ, то заявляетъ въ своемъ предисловіи: «Въ настоящее время взглядъ на этихъ (то-есть на новыхъ) писателей еще не установился или, лучше сказать, существуетъ нѣсколько самыхъ разнородныхъ взглядовъ, а учебникъ никогда не долженъ обращаться въ полемическую статью. Кромѣ того, ходъ идей новаго времени, по самой его близости къ намъ, неясенъ, и вмѣсто исторіи литературы здѣсь можетъ существовать только критика. Имѣя въ виду составить учебникъ, мы исключили изъ нашей книги все сомнительное, неясное, всѣ предположенія и мнѣнія, и оставили только факты».

Едва-ли возможно выразить яснѣе и наивнѣе ту панику, которая обуяла гг. преподавателей по отношенію къ литературнымъ вопросамъ сколько-нибудь живаго и реальнаго характера. Факты и факты изъ жизни писателя (родился, моль, тамъ-то, умеръ тогда-то, написалъ то-то)—вотъ надежная броня, могущая приукрыть душу преподавателя отъ всякаго пронизательнаго усмотрѣнія; прочь мнѣнія, предположенія, критическія попытки: они не доведутъ до добра. Нѣтъ спора, что, при подобныхъ обстоятельствахъ, трудъ составленія учебника чрезвычайно сокращается, ибо не идетъ далѣе «царя Гороха», но есть основаніе думать, что у насъ не совсѣмъ еще перевелись люди, для которыхъ это насильственное самовоздержаніе и самоограниченіе тяжелѣе и противнѣе самаго обременительнаго труда... Невыгодныя условія отразились и на послѣднемъ сочиненіи г. Стоюнина: «Руководство для историческаго изученія замѣчательнѣйшихъ произведеній русской литературы», въ которомъ авторъ, по какимъ-то особеннымъ соображеніямъ, остановился на Жуков-

скомъ, а біографическія (замѣтьте: только біографическія) свѣдѣнія о Пушкинѣ, Грибоѣдовѣ, Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ перенесъ въ курсъ теоріи словесности. «Лучшія произведенія писателей новѣйшаго періода—говоритъ г. Стоюнинъ въ своемъ объясненіи—не вошли сюда, такъ-какъ они изучаются въ теоретическомъ курсѣ, и малое время, назначенное въ учебныхъ заведеніяхъ для изученія литературы, не позволяетъ внести ихъ также въ курсъ историческій». Но,—можно возразить на это,—въ теоретическомъ же курсѣ приходится знакомить съ лѣтописью, съ духовною проповѣдью, съ историческими записками современниковъ, и преподаватель имѣетъ полное право разобрать съ этою цѣлью лѣтопись Нестора, какую-нибудь проповѣдь Серапіона и «Исторію великаго князя московскаго», написанную Курбскимъ:—почему бы, въ такомъ случаѣ, не отнести въ теоретическій курсъ «біографическія свѣдѣнія» о Несторѣ, Серапіонѣ и кн. Курбскомъ? Между тѣмъ г. Стоюнинъ не дѣлаетъ этого, не исключаетъ названныхъ лицъ изъ исторіи литературы, но, напротивъ, отводитъ въ ней почетное мѣсто на ряду съ Кирилломъ Туровскимъ, Аванасіемъ Никитинимъ, Максимомъ Грекомъ и другими подвижниками нашей древней, полудуховной или совсѣмъ духовной литературы. За что жъ такая немилость постигла именно «новѣйшихъ писателей»? при чемъ можно еще спросить: справедливо ли Пушкина, Грибоѣдова и др. называть новѣйшими писателями, когда со смерти ихъ прошелъ уже не одинъ десятокъ лѣтъ?! Какъ же назвать, наконецъ, Тургенева, Островскаго, Гончарова?—этнхъ, дѣйствительно, и новѣйшихъ писателей, которыхъ произведенія также вошли во всѣ возможныя хрестоматіи и, до новаго распоряженія, еще

не выброшены оттуда, хотя, быть может, и имъ, вслѣдъ за Бѣлинскимъ, угрожаетъ тотъ же педагогическій остракизмъ. Очевидно, что у г. Стоюнина были какія-то другія, болѣе сильныя причины, побудившія его урѣзать, безъ существенной надобности, свой историческій курсъ. Догадка наша подтверждается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что г. Стоюнинъ не удовлетворяется въ теоретическомъ курсѣ одними біографическими свѣдѣніями о новыхъ писателяхъ, но пробуетъ изрѣдка отгнать и извѣстныя стороны ихъ таланта. Конечно, онъ дѣлаетъ это слегка, какъ бы урывками, приурочивая критическую оцѣнку къ различнымъ моментамъ въ жизни писателя (напримѣръ, на стран. 155, 170, 171 и др.), но такой пріемъ или, лучше сказать, такая наклонность автора показываетъ, что ему гораздо болѣе была бы по душѣ прямая и откровенная постановка вопроса объ историческомъ значеніи литературныхъ дѣятелей. Должно прибавить, что, судя по нѣкоторымъ частямъ его труда, г. Стоюнинъ могъ бы выполнить съ тактомъ и умѣньемъ подобную задачу, почему и самый учебникъ только выигралъ бы въ полнотѣ и законченности.

Что же касается до «малаго времени, назначеннаго для изученія литературы въ учебныхъ заведеніяхъ» — то здѣсь г. Стоюнинъ совершенно правъ и можетъ сослаться, въ подтвержденіе своихъ словъ, на любую учебную программу за послѣдніе годы. Большая часть времени въ гимназіяхъ поглощается, дѣйствительно, классическими языками, и мы надѣемся, что недалеко уже отстоитъ у насъ та радостная минута, когда о каждомъ руссѣйскомъ гимназистѣ можно будетъ выразиться стихами Батюшкова:

Подъ сѣвернымъ родился небомъ,
Но будто въ Аттікѣ рожденъ.

Эплада и Римъ такъ сильно заняли насъ, что намъ некогда думать о дикой Скиѣн, которая, мимоходомъ сказать, отъ такого пренебреженія можетъ одичать еще больше.

II.

По всѣмъ этимъ даннымъ, нельзя не признать, что новый трудъ г. Галахова появляется какъ нельзя болѣе своевременно и заслуживаетъ внимательнаго и отчетливаго разбора. Къ сожалѣнію, хотя этого труда вышелъ уже второй томъ, но и первый томъ его, изданный въ 1863 году, не вызвалъ, сколько помнится, ни одной обстоятельной критики; замѣчанія ограничивались стереотипными похвалами трудолюбію г. Галахова, да кос-какими второстепенными указаніями чисто библіографическаго свойства. Теперь интересъ труда г. Галахова еще болѣе увеличился, такъ какъ въ промежутокъ времени отъ 1863 г. до нашихъ дней произошло много важныхъ перемѣнъ и во взглядахъ литературы на этотъ предметъ, и въ настроеніи учебной администраціи. При изданіи перваго тома своей исторіи словесности, авторъ предназначалъ ее для класснаго употребленія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и съ этою цѣлью ввелъ въ нее два шрифта, крупный и мелкій, печатая первымъ существенныя части учебнаго курса, а вторымъ—менѣ значительныя подробности, которыя могутъ быть опускаемы по

соображенію учителя. Исторію словесности г. Галаховъ опредѣлялъ самымъ широкимъ образомъ, какъ изложеніе постепеннаго развитія литературы отъ ея начала до настоящаго времени въ связи съ общественною жизнью. «Словесность—говорилъ онъ—принимаемая въ значеніи литературы, обнимаетъ всѣ словесныя произведенія, изображающія жизнь и характеръ народа. Такъ какъ это изображение преимущественно является въ краснорѣчій и поэзій, то исторія краснорѣчія и поэзій занимаетъ главнѣйшее, но не единственное мѣсто въ исторіи литературы. Всѣ другія сочиненія, несмотря на то, что въ нихъ преобладаютъ или научныя, или практическія цѣли, также разсматриваются исторіею литературы по отношенію ихъ къ народной жизни и народному характеру, или по вліянію на развитіе краснорѣчія и поэзій, или по изящной формѣ, въ которую облечено ихъ содержаніе. Такимъ образомъ, объемъ литературы есть объемъ всѣхъ отраслей духовной дѣятельности, выражаемыхъ словомъ... Литература состоитъ въ тѣсной связи съ жизнью народа, какъ внѣшнюю, такъ и внутреннюю. Въ ней выражаются и факты общественнаго быта, и сознаніе этихъ фактовъ... Отношеніе литературныхъ произведеній къ общественной жизни двоякаго рода: въ однихъ видно прямое выраженіе дѣятельности съ ея мѣстными и временными отличіями; въ другихъ раскрывается духовное настроеніе эпохи, идеи и потребности общества, общественное сознаніе, хотя при этомъ можетъ и не быть прямого указанія на дѣятельность, вѣрнаго воспроизведенія событій и характеровъ. Исторія литературы обязана разъяснить оба отноше-

нія. Чѣмъ сильнѣе въ словесномъ произведеніи выразилось направленіе жизни, чѣмъ яснѣе въ немъ раскрылась какая нибудь сторона народнаго духа, тѣмъ оно значительнѣе. Важность его, въ этомъ смыслѣ, опредѣляется не столько литературнымъ достоинствомъ, сколько степенью отношенія къ общественной жизни». Чтобы не оставить никакого недоразумѣнія насчетъ смысла употребляемыхъ имъ словъ: «общество» и «общественная жизнь», г. Галаховъ присовокупилъ особое примѣчаніе, въ которомъ говорить, что общество состоитъ изъ разнообразныхъ круговъ большаго или меньшаго объема, и словесное выраженіе духа каждаго изъ нихъ принадлежитъ къ литературѣ, — «потому что дѣло здѣсь не въ величинѣ круга, а въ томъ, что этотъ кругъ дѣйствительно существуетъ и что онъ своимъ появленіемъ и бытіемъ обязанъ историческому развитію». «Авторъ по своему образованію — продолжаетъ развивать эту мысль г. Галаховъ — можетъ принадлежать къ лучшей, избранной части общества; можетъ и возвышаться надъ цѣлымъ обществомъ, сознавая такіа потребности жизни, которыя другимъ не являются даже въ видѣ темныхъ предчувствій. Если онъ въ твореніяхъ своихъ представитъ образъ этого избраннаго, хотя и малочисленнаго общества, или изобразитъ свои идеальныя стремленія, то его творенія займутъ законное мѣсто въ литературѣ, какъ выраженіе того, что въ большей или меньшей степени выработалось развитіемъ гражданственности, ходомъ исторіи» (Т. I, стр. 1—2). Придавая такое огромное значеніе развитію общественныхъ понятій и выработкѣ

общественныхъ идеаловъ, начиная съ ихъ первой ячейки, то-есть съ зарожденія ихъ въ сознаниіи избраннаго, интеллигентнаго кружка или даже въ смѣломъ, далеко опережающемъ толпу, порывѣ мыслящей единицы,—авторъ естественно долженъ былъ обратить особенное вниманіе на цивилизующую силу литературы, на тѣ ея стороны, которыми она соприкасается ближайшимъ образомъ и съ умственной жизнью цѣлой эпохи, и съ исторически-сложившимся общественнымъ бытомъ извѣстнаго народа. «Согласно двумъ сторонамъ словесныхъ произведеній—извѣщалъ насъ г. Галаховъ еще въ своемъ «предисловіи»—послѣднія разсматриваются мною съ двухъ точекъ зрѣнія: исторической и литературной. Читатель увидитъ, что книга моя даетъ перевѣсъ первой точкѣ зрѣнія, особенно въ новомъ періодѣ словесности, которымъ я больше занимался. Критика историческая, опредѣляющая дѣятельность автора по ея отношенію ко времени, въ которое она имѣла мѣсто, гораздо любопытнѣе и плодотворнѣе. Главное ея вниманіе обращено на взаимодѣйствіе литературы и современной эпохи: она показывается—какъ эта эпоха отражается въ литературѣ, и какъ литература, въ свою очередь, дѣйствуетъ на понятія эпохи. Въ словесныхъ произведеніяхъ она по преимуществу цѣнитъ ихъ образовательную силу, тѣ понятія и убѣжденія, которыя были ими вносимы въ оборотъ жизни, и посредствомъ которыхъ возвышался умственный уровень общества. Авторское достоинство измѣряетъ она не одною степенью литературнаго искусства, но качествомъ образа мыслей, который сообщаетъ сочиненіямъ извѣстное направленіе. Она требуетъ, чтобы явленія слова, удовлетво-

ря эстетическому чувству, въ то же время содѣйствовали распространенію идей истины и правды, чтобы художественная форма соединялась въ нихъ съ просвѣтительнымъ содержаніемъ. На основаніи этого я далъ больше простора изложенію отечественной литературы двухъ послѣднихъ столѣтій: въ это время виднѣе, чѣмъ когда-либо, она была орудіемъ культуры, усвоивая и передавая русскому обществу начала западно-европейской цивилизаціи. Нельзя не согласиться съ справедливостью этихъ взглядовъ, высказанныхъ г. Галаховымъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ: съ научной точки зрѣнія противъ нихъ едва ли что можно возразить, и еслибы покойный Бѣлинскій, столь гонимый нынѣ ученымъ комитетомъ министерства народного просвѣщенія, возсталъ какимъ-нибудь чудомъ изъ своей страдальческой могилы, онъ навѣрно утѣшился бы тѣмъ, что его дѣятельность полезно повліяла на современныхъ писателей и установила надолго надлежащій отправной пунктъ въ литературной критикѣ. Онъ ли не преслѣдовалъ, всю свою жизнь, тѣхъ бездарныхъ риторовъ, которые обратили поэзію, по выраженію Веневитинова, въ «орудіе умственного безсилія»; онъ ли не хлопоталъ о томъ, чтобы русская публика перестала видѣть въ поэтическомъ одушевленіи какое-то «нравственное опьяненіе, какъ бы отъ приѣма опиума или дѣйствія виннаго хмѣля, изступленіе чувствъ, горячку страсти, которыя заставляютъ непризваннаго поэта изображать предметы въ какомъ-то безумномъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми фразами» и пр. (см. Сочиненія Бѣлинскаго, т. IV, стр. 249); не онъ ли же представилъ первый опытъ критической исторіи русской

литературы (см. въ VIII томѣ разборъ сочиненій Пушкина), гдѣ достоинство писателей опредѣляется именно суммою полезныхъ идей, внесенныхъ ими въ общественное обра- щеніе? «Неистощимость и разнообразіе всякой поэзіи—по- учалъ Бѣлинскій въ 1840 г.—зависать отъ объема ея содер- жанія, и чѣмъ глубже, шире, универсальнѣе идеи, одушевляющія поэта и составляющія наеосъ его жизни, тѣмъ, естественно, разнообразіе и многочисленнѣе его произведенія: тучная, богатая растительными силами почва не истощается одною богатою жатвою, а сухая и пе- счаная не дастъ и одной порядочной жатвы.» «Чѣмъ выше поэтъ—говорилъ онъ въ томъ же году, опредѣляя отноше- ніе литературы къ общественной жизни—тѣмъ больше при- надлежитъ онъ обществу, среди котораго родился, тѣмъ яснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитіемъ общества... Литера- тура есть сознаніе народа: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отра- жается его духъ и жизнь; въ ней, какъ въ фокусѣ, видно назначеніе народа, мѣсто, занимаемое имъ въ великомъ се- мействѣ человѣческаго рода, моментъ всемірно-историче- скаго развитія человѣческаго духа, который онъ выражаетъ своимъ существованіемъ. Источникомъ литературы народа можетъ быть не какое-нибудь внѣшнее побужденіе или внѣш- ній толчокъ, но только міросозерцаніе народа... Міросо- зерцаніе есть источникъ и основа литературы; это фонъ, на которомъ рисуются ея картины, канва, по которой вы- шиваются ея узоры» (т. VIII, стр. 15; т. IV, стр. 206 и 281). Эти мысли, заимствованныя нами съ первыхъ рас- крывшихся страницъ сочиненій Бѣлинскаго, развивались имъ

последовательно со времени переѣзда въ Петербургъ, и если знаменитый критикъ соблазнялся иногда эстетическою виѣшностью, забывая или снисходительно прощая, ради ея, скудость внутренняго содержанія, то эти промахи показываютъ только, что и онъ былъ сыномъ своего времени и не могъ отрѣшиться вполне отъ узкихъ эстетическихъ традицій тогдашняго образованнаго общества. Но чѣмъ дальше, тѣмъ больше укрѣплялся Бѣлинскій въ своемъ реалистическомъ взглядѣ на литературу, и въ статьяхъ, написанныхъ имъ въ послѣдніе годы его жизни, не встрѣчается уже никакихъ намѣренныхъ или ненамѣренныхъ уступокъ господствовавшимъ предрасудкамъ. Внутренній смыслъ художественнаго произведенія, міросозерцаніе автора, идеи, на которыя наводитъ подборъ поэтическихъ картинъ—вотъ на что устремилась, въ этотъ періодъ, критическая проникаемость Бѣлинскаго. Въ разборѣ сочиненій Пушкина, благоговѣя предъ эстетическою красотою его поэзіи, Бѣлинскій пользовался уже всякимъ случаемъ перейти отъ художественной оцѣнки къ разсмотрѣнію живыхъ сторонъ общественной жизни, коснуться такъ или иначе, если не прямо,—что не всегда было удобно,—то хоть какимъ-нибудь замаскированнымъ намекомъ, тѣхъ кровныхъ интересовъ цивилизаціи, которые затрогивались художественнымъ изображеніемъ; въ томъ же разборѣ онъ опредѣлилъ и слабую сторону пушкинской поэзіи—ея теоретическій индифферентизмъ, а позднѣе даже высокомѣрное пренебреженіе ко всѣмъ задачамъ и вопросамъ, насильственно врывающимся въ міръ спокойнаго, отвлеченнаго творчества. «Такъ какъ поэзія Пушкина—говоритъ Бѣлин-

скій—заключается преимущественно въ поэтическомъ созерцаніи міра и такъ-какъ она безусловно признаетъ его настоящее положеніе если не всегда утѣшительнымъ, то всегда необходимо разумнымъ, поэтому она отличается характеромъ болѣе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, высказывается болѣе какъ чувство или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насевозъ проникнутая гуманностью, муза Пушкина умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ, какъ бы признавая ихъ роковую неизбежность и ненося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія. Такой взглядъ на міръ вытекаетъ уже изъ самой натуры Пушкина; этому взгляду обязанъ онъ изящною елейностью, кротостью, глубиною и возвышенностью своей поэзіи, и въ этомъ же взглядѣ заключаются недостатки его поэзіи. Какъ бы то ни было, но по своему воззрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора миновала уже совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возмужаетъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго» (т. VIII, стр. 397—98).

Мы—повторяемъ это—не имѣемъ здѣсь въ виду входить

въ историческую оцѣнку замѣчательной дѣятельности Бѣлинскаго; но всѣ эти извлеченія понадобились намъ единственно затѣмъ, чтобы читатель самъ убѣдился: до какой степени не новы взгляды, изложенные г. Галаховымъ въ первомъ томѣ его книги, и какъ близко повторяютъ они то, что высказано Бѣлинскимъ за тридцать лѣтъ до нашего времени. «Просвѣтительное содержаніе» литературы, на которое такъ сильно налегаетъ г. Галаховъ, жертвуя ему даже эстетической формой, «направленіе жизни» и «идеальныя стремленія» развитыхъ личностей, отражающіяся въ литературной сферѣ—все это не больше, какъ прозрачная перефразировка «народнаго міросозерцанія» и «универсальныхъ идей» Бѣлинскаго. Сущность дѣла, т.-е. отношеніе къ предмету—у обоихъ авторовъ одно и то же, а такъ какъ г. Галаховъ, безъ сомнѣнія, хорошо знакомъ съ сочиненіями Бѣлинскаго, то одинаковость взглядовъ, на сей разъ, не объясняется французской пословицей, что «прекрасныя умы встрѣчаются-де въ своихъ мысляхъ»... Само собою разумѣется, что мы нисколько не осуждаемъ г. Галахова за такія заимствованія, и даже радуемся тому, что его книга благополучно избѣжала рецензій ученаго комитета: не всякому писателю суждено внести въ литературу что нибудь свое, оригинальное; хорошо, если мысли, завѣщанныя первоклассными дѣятелями, воспринимаются и пропагандируются дѣятелями второстепенными... Сожалѣть можно только объ одномъ: г. Галаховъ, усвоивъ себѣ вѣрный, раціональный взглядъ на исторію литературы, не справился, какъ слѣдуетъ, съ его педагогическимъ приложеніемъ, упустивъ изъ виду, что одно дѣло — развивать теоретическія воззрѣнія

предъ взрослыми читателями, и другое дѣло—вводить ихъ въ сознаніе юношей, примѣнительно къ потребностямъ и складу неполнѣ зрѣлаго мышленія. Тутъ обнаружилось, что г. Галаховъ очень плохой педагогъ, и что книга его, назначенная служить учебникомъ въ гимназіяхъ, по сухости слога и обилію ненужныхъ подробностей, можетъ быть осилена развѣ только любознательными студентами старшихъ курсовъ университета. Гимназистъ же очутится въ ней, какъ въ лѣсу, и запутается въ массѣ фактовъ, характеристикъ, дѣленій и подраздѣленій всякаго рода. Различіе шрифтовъ, сдѣланное съ цѣлью облегчить занятія учениковъ, нисколько не помогаетъ этой трудности, такъ какъ шрифтъ крупный ежесловно, измѣнительнымъ образомъ, похищаетъ цѣлыя страницы у шрифта мелкаго. Но, не смотря на этотъ существенный педагогическій недостатокъ, мы все-таки предпочитаемъ прежняго г. Галахова нынѣшнему рецензенту учебнаго комитета—и вотъ по какой причинѣ. Г. Галаховъ погрѣшалъ, правда, противъ объема и характера учебнаго курса, но онъ не отрицалъ педагогической важности самого предмета, который въ нашихъ школахъ служитъ главнымъ звеномъ, соединяющимъ учебное дѣло съ интересами общественной жизни; ему не казалось нелѣпымъ и предосудительнымъ—возбуждать въ ученикахъ критическую способность, приучая ихъ задумываться надъ сложными явлениями индивидуальной психологіи и общественнаго организма; его не пугало стремленіе учителя захватывать въ своихъ урокахъ какъ можно больше живаго матеріала, полезно занимающаго умственныя силы класса и нѣсколько разнообразяющаго монотонную схоластику отвлеченнаго преподаванія.

Въ этомъ случаѣ онъ, какъ мы видѣли, даже хваталъ черезъ край, углубляясь въ тонкости, врядъ ли доступныя для мало развитаго ума; но важно то, что при такой постановкѣ учебнаго предмета, не пропадало совсѣмъ образовательное его значеніе, и отъ искусства преподавателя зависѣло—воспользоваться имъ, направить все дѣло въ дурную или въ хорошую сторону. Теперь же, въ очень короткіи сроки, исторія литературы признана предметомъ ехиднымъ и крайне-опаснымъ въ рукахъ вольнодумства, а ученики поглупѣли настолько, что не могутъ взять въ толкъ самаго простенькаго стихотворенія, самой нехитрой прозаической статейки! То заставляли ихъ толковать о высшихъ вопросахъ цивилизаціи, при чемъ учитель выходилъ дальше, чѣмъ слѣдовало, изъ рамокъ разбираемаго произведенія, то считаютъ ихъ такими крестинами, что даже вопросъ о «заслугахъ Прометея» становится для нихъ непосильнымъ бременемъ. Впрочемъ, касательно учениковъ, нынѣшній тонъ обыкновенно раздваивается: иногда они представляются «скорбными главой» юношами, которые, по недостатку смысла, не въ силахъ слѣдить за объясненіями учителя; иногда же они разсматриваются, какъ бомбы, начиненныя пороховъ:—прикоснись только къ нимъ зажженнымъ фитилемъ, они сейчасъ вспыхнутъ и произведутъ страшный взрывъ. Но что за фатальныя событія произошли въ Россіи? какіе громадныя успѣхи сдѣлало у насъ яacobинство? и нужно ли стѣснять и задерживать шаги просвѣщенія только потому, что два-три ученика (на семьдесятъ-то миллионovъ народу!) поняли какъ нибудь превратно фразу учителя? Напротивъ, въ учебномъ-то мірѣ и господствуютъ по преиму-

ществу тишь да гладь, да Божья благодать, такъ что грамматика Алябьева была, въ послѣднее время, едва-ли не единственнымъ «краснымъ призракомъ» педагогическаго вольнодумства. Эти быстрые переходы отъ одной крайности къ другой, эти внезапные скачки то впередъ, то назадъ, смотря потому, откуда подулъ вѣтеръ, наводятъ насъ на очень печальныя размышленія... И не однихъ насъ. Не такъ давно г. Ушинскій,—котораго, вѣроятно, никто не упрекнетъ въ излишнемъ пессимизмѣ,—наблюдая надъ тѣмъ же фактомъ, не поскупился на энергическія выраженія, чтобы заклеймить весь вредъ, происходящій отъ такой неустойчивости системъ для правильныхъ успѣховъ народнаго образованія въ Россіи. «Вотъ уже около 20-ти лѣтъ — пишетъ онъ въ одномъ специально-педагогическомъ журналѣ,—какъ мы болѣе или менѣе вращаемся въ кругу административныхъ распоряженій по дѣлу образованія. И какихъ только перемѣнъ въ этихъ направленіяхъ не насмотрѣлись мы! Почти не проходило, не то что одного пятилѣтія, но даже двухъ-трехъ лѣтъ, чтобы выдерживалось одно и то же направленіе, а направленіе, только что принятое съ возложеніемъ на него великихъ ожиданій, не смѣнялось новымъ, которое, по большей части, съ ужасомъ смотрѣло на прежнее, и опять подавало новыя великія надежды. Эта комедія направленій была довольно длинна и нестра, чтобы наконецъ не опротивѣть окончательно всякому мыслящему человѣку, не забывающему, при крикахъ сегодняшняго торжества, точно такихъ же криковъ торжества вчерашняго. Не дай Боже, чтобы эта бесплодная игра въ направленіе была приложена и къ дѣлу народной школы, къ

только что этому начинающемуся дѣлу, и отъ котораго, по нашему твердому убѣжденію, зависить вся будущность Россіи. Если мы начнемъ и нашу народную школу также водить по разнымъ направленіямъ, то не быть пути и изъ этого великаго дѣла; оно не подвинется ни на шагъ впередъ, и тогда въ какія-нибудь сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ мы можемъ стать въ болѣе отсталое положеніе въ отношеніи образованныхъ государствъ Европы, чѣмъ то, въ которомъ стояли при началѣ реформы Петра Великаго; а отсталость на современномъ языкѣ, есть нищенство, безсиліе, зависимость, экономическое и политическое ничтожество». (Народн. Школа, 1870 года, № 5-й). Все это очень справедливо, и «комедія направленій», распространяясь сверху до низу, можетъ повлечь за собой трагедію всеобщаго помраченія и быстраго упадка нашихъ высшихъ, среднихъ и низшихъ школъ.

Итакъ мы оставимъ въ сторонѣ педагогическіе недостатки, которые дѣлають книгу г. Галахова неудовлетворительнымъ учебникомъ для среднихъ школъ, и рассмотримъ ее съ чисто-научной точки зрѣнія, какъ сводъ извѣстныхъ понятій и взглядовъ на историческое развитіе русской литературы. При этомъ мы займемся преимущественно, почти исключительно, вторымъ томомъ «Исторіи русской словесности», обращаясь къ первому тому лишь настолько, насколько это нужно для пониманія общаго плана всего сочиненія, а также и для полноты характеристикъ новыхъ писателей, дѣятельности которыхъ посвященъ второй (еще неоконченный) томъ труда г. Галахова. Предпочтеніе, оказываемое нами новымъ писателямъ, объясняется, вопервыхъ, тѣмъ, что толки о древней литературѣ представляютъ немного

интереса для современных читателей, а, впрочем, и тѣмъ, что мы вообще больше согласны съ г. Галаховымъ въ его отзывѣхъ о Максимѣ Грекѣ, Ломоносовѣ и даже о писателяхъ Екатерининскаго времени, чѣмъ въ мнѣніяхъ о Карамзинѣ, Жуковскомъ и другихъ дѣятеляхъ новаго періода русской словесности. Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы говорить о предметахъ, слишкомъ отдаленныхъ отъ насъ, или повторять мнѣнія, болѣе или менѣе установившіяся въ литературной критикѣ, мы коснемся лицъ и вопросовъ, донинѣ не потерявшихъ нѣкотораго, хотя не особенно близкаго, отношенія къ современности, и оцѣниваемыхъ различно, смотря по различію литературныхъ и общественныхъ симпатій самихъ рецензентовъ.

Приглядываясь съ этой точки зрѣнія къ «Исторіи русской словесности», мы находимъ прежде всего, что авторъ не соблюлъ, въ продолженіи своего труда, тѣхъ обѣщаній, которыя далъ намъ въ предисловіи къ первому тому. Онъ обѣщалъ,—какъ помнитъ читатель,—разсматривать литературныя явленія въ связи съ общественными условіями, вызвавшими ихъ къ жизни, подвергать ихъ преимущественно исторической критикѣ, указывая взаимодѣйствіе между культурными и политическими фактами съ одной стороны и отраженіемъ ихъ въ народномъ сознаніи, въ литературѣ, съ другой. Такъ онъ и поступалъ, когда рѣчь шла, напримѣръ, о произведеніяхъ такъ-называемаго народнаго «двоевѣрія», о схоластикѣ кievскихъ ученыхъ, о реформѣ Петра Великаго и наконецъ о литературныхъ памятникахъ Екатерининскаго вѣка. Говоря о Прокоповичѣ и Кантемирѣ — этихъ наиболѣе выдающихся пропагандистахъ идей реформы —

г. Галаховъ вдавался подробно въ отчетъ о двухъ направленіяхъ, боровшихся при Петрѣ, изъ которыхъ первое опиралось на традицію и грубое невѣжество старины, а другое на силу науки и, главнымъ образомъ, на личную волю просвѣщеннаго монарха. Еще болѣе распространился онъ о преобразовательныхъ намѣреніяхъ Екатерины II, о движеніи мысли въ литературѣ, возникшемъ подъ вліяніемъ и покровительствомъ высшей власти, о типахъ, выхваченныхъ прямо изъ общественной жизни и осмѣянныхъ сатирою. Но переходя во второмъ томѣ къ эпохѣ Александра I, г. Галаховъ мгновенно отбрасываетъ этотъ обычный приѣмъ: не считаетъ болѣе нужнымъ обращаться отъ литературы къ общественной жизни — съ тѣмъ, чтобы найти правильную разгадку и оцѣнку умственныхъ направленій, волновавшихся на поверхности общества, и обходить молчаніемъ — насколько не вынужденнымъ при нынѣшнихъ условіяхъ прессы — весьма крупные факты какъ въ самой литературѣ, такъ и въ политической обстановкѣ того времени. Такое умолчаніе, затушевывая многія существенныя стороны дѣла, лишаетъ и остальные факты надлежащаго освѣщенія, такъ что благоразумный читатель, для котораго не составляютъ секрета опущенныя данныя, долженъ сначала возстановить ихъ въ своемъ воображеніи, а уже потомъ — произносить свой судъ надъ литературными дѣятелями Александровскаго періода. Безъ этой необходимой коррекціи онъ рискуетъ заблудиться и попасть въ большой просакъ. Александровское время было временемъ довольно сильнаго умственнаго броженія въ образованныхъ кругахъ русскаго общества, и необходимо знать: чьи именно интересы представлялъ и

защищалъ такой-то писатель, въ чью руку дѣйствовалъ онъ, — чтобы судить безпристрастно о «просвѣтительномъ содержаніи» его сочиненій. Г. Галаховъ распорядился бы гораздо лучше, еслибы, не помѣщая въ видѣ образцоваго отрывка передовой статьи Московскихъ Вѣдомостей ¹⁾ (см. Дополненія ко II тому, стр. III), онъ сберегъ побольше мѣста для историческихъ разъясненій той незавидной роли, которую разыгралъ Карамзинъ въ общемъ походѣ на Сперанскаго...

III.

Карамзинимъ кончается первый томъ «Исторіи русской словесности» и имъ же начинается второй ея томъ, наполненный, почти на цѣлую треть, подробной характеристикой этого писателя. Слишкомъ сто страницъ посвятилъ г. Галаховъ этому любопытному предмету, и можно бы надѣяться, что послѣ такого тщательнаго разсмотрѣнія (мы уже не хо-

¹⁾ Статья эта написана г. Катковымъ въ 1866 г., въ то время, когда ему приходилось плохо, и онъ задумалъ притянуть Карамзина къ участи въ своихъ подвигахъ. Здѣсь Карамзинъ рисуется красками, какими хотѣлось бы г. Каткову изобразить себя самого. А г. Галаховъ, не разобравъ въ чемъ дѣло, и смѣшавъ такимъ образомъ Карамзина съ Катковымъ (ошибка непростительная для панегириста Карамзина!), прилагаетъ статью за настоящую историческую характеристику. Советуемъ г. Галахову, если ужъ статья такъ понравилась ему, перемѣстить ее въ свою христоматію, какъ образецъ ловкаго самовосхваленія новѣйшаго Нарцисса. Г. Катковъ не Прометей, и ученый комитетъ не вооружится противъ него.

тимъ и вспоминать, что, по плану автора, всю эту сотню страницъ должны были поглотить и переработать семнадцатилѣтніе гимназисты!), послѣ такой мелочной обработки деталей, — и личность, и литературныя заслуги Карамзина освѣтятся передъ нами со всѣхъ своихъ наиболее рельефныхъ, выдающихся сторонъ. Но отдавая полную справедливость той добросовѣстности, съ которою г. Галаховъ изучилъ сочиненія Карамзина, также какъ и многихъ другихъ его современниковъ, нельзя не сказать однако, что въ разбираемой нами книгѣ встрѣчаются важные пропуски и невѣрные толкованія, затемняющія истинный смыслъ дѣла. Главное же, что въ особенности непріятно поражаетъ читателя, это — панегиристическій тонъ г. Галахова, его черезчуръ замѣтное желаніе выгородить и возвеличить Карамзина даже въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится касаться не совсѣмъ благовидныхъ мыслей пресловутаго историка государства Россійскаго. Чтобы нашъ приговоръ не показался рѣзкимъ и неосновательнымъ, мы намѣрены сначала представить *in extenso* всѣ мнѣнія и выводы г. Галахова, а затѣмъ, заручившись хорошими данными для спора, выскажемъ и наше собственное воззрѣніе на Карамзина, которое во многомъ пойдетъ въ разрѣзъ съ преувеличенными похвалами снисходительной критики. Отъ Карамзина мы перейдемъ, такимъ же порядкомъ, къ Жуковскому и Крылову.

Въ образованіи характера Карамзина и его взглядовъ на вещи участвовали, по мнѣнію г. Галахова, различныя силы и обстоятельства. Первое мѣсто принадлежитъ природѣ, надѣлившей его рѣдкой чувствительностью, которая обнаруживалась въ

немъ съ дѣтства и не покидала до смерти. Въ юношествѣ онъ былъ чувствителенъ какъ младенецъ; наклонъ лѣтъ любилъ предаваться меланхоли и, читая романы, нерѣдко плакалъ. «Онъ не стыдился—говорить г. Галаховъ—своего врожденнаго дара, хотя и придавалъ ему иногда патологическое значеніе» (стр. 2). Преобладающая склонность природы развилась потомъ подъ вліяніемъ романовъ сентиментальнаго содержанія. Вторымъ періодомъ образованія Карамзина надобно считать его ученіе въ пансіонѣ московскаго профессора Шадена, гдѣ онъ обучался иностраннымъ языкамъ, слушалъ уроки нравственной философіи, которую преподавалъ самъ Шаденъ, и вмѣстѣ съ другими пансіонерами посѣщалъ лекціи университетскихъ профессоровъ. По выходѣ изъ пансіона, Карамзинъ, чувствуя неудовлетворительность своихъ познаній, намѣревался довершить свое образованіе за границей, въ лейпцигскомъ университетѣ; но судьба столкнула его съ Новиковымъ, и въ масонскомъ кружкѣ прошелъ третій, весьма важный періодъ умственнаго развитія Карамзина. О масонствѣ г. Галаховъ говоритъ много въ концѣ своего перваго тома и, для выясненія этого вліянія, мы обратимся нѣсколько назадъ. «Масонское общество, по словамъ автора, не могло возбуждать сочувствія въ послѣдователяхъ той философіи, которая, во имя разума, какъ своего краеугольнаго камня, отвергала все, несомѣстимое съ его положеніями, которая стремилась къ положительному и естественному, разумѣя подъ «тайною» единственно явленія, еще не поддавшіяся изслѣдованію науки или сужденію здраваго смысла.... Прочитавъ книгу (С. Мартена): «О заблужденіяхъ и истинѣ», Вольтеръ пи-

сать Даламберу: «Je ne crois pas qu'on ait jamais rien imprimé de plus absurde, de plus obscur, de plus fou et de plus sot». Мнѣніе Вольтера раздѣляла и Екатерина II, сама воспитанная на скептической философіи XVIII вѣка; она не уважала людей, отвергавшихъ «школьную мудрость», то есть всю европейскую науку, вѣрившихъ въ таинства алхиміи и астрологін. «Помню—писала она Циммерману—что въ 1740 году головы менѣе всего философскія хотѣли быть философами; по крайней мѣрѣ, въ такомъ случаѣ разсудокъ и общій смыслъ (*sens commun*) не теряли своей силы. Но сіи новыя заблужденія принудили у насъ сдурачиться такимъ людямъ, которые прежде сего не были дураками». Къ чувству неуваженія присоединилось у нея въ послѣдствіи недо- вѣріе, возбужденное таинственными сходками масоновъ и, всего болѣе, ихъ сношеніями съ наслѣдникомъ престола. Это послѣднее подозрѣніе и боязнь какой-нибудь политической манифестаціи въ пользу Павла Петровича были, впрочемъ, ни на чемъ не основаны: масоны прилагали свои заботы къ внутреннему совершенствованію человѣка, а о политическихъ вопросахъ нисколько и не думали, считая ихъ пустяками, не заслуживающими вниманія «свободнаго каменщика». На самомъ дѣлѣ это были кротчайшіе люди, смиреннѣйшіе вѣрноподданные, простиравшіе свой политическій индифферентизмъ гораздо далѣе той границы, какая, вообще, можетъ быть желательна для самаго осторожнаго правительства. При полномъ равнодушіи къ государственной жизни и политическимъ направленіямъ, масоны отличались благотворительностью и тонко-развитымъ гуманнымъ чувствомъ: — въ этомъ заключалась ихъ сильная, симпатиче-

ская сторона, которая и привлекала къ нимъ расположеніе общества. Вліяніе масонства на Карамзина очерчивается довольно неопредѣленно г. Галаховымъ. Мы узнаемъ, что Карамзинъ былъ членомъ новиковскаго кружка, что онъ работалъ въ новиковскихъ изданіяхъ (перевелъ драму «Аркадскій памятникъ» для «Дѣтскаго чтенія» и пр. и пр.), но главной черты этого вліянія г. Галаховъ, какъ намъ кажется, не уловилъ вовсе. Единственнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ служатъ у него слѣдующія загадочныя строки: «Дѣйствительность вліянія, произведеннаго на Карамзина обществомъ Новикова, не подлежитъ сомнѣнію. Существенная его польза состояла въ прочномъ закалѣ мысли, державшейся на серьезныхъ занятіяхъ (на чтеніи «Химической псалтири» и «Магазина свободно-каменщическаго?»), на обсужденіи предметовъ, которые по своей важности (какъ напримѣръ рецептъ для дѣланія золота?) всегда обращаютъ на себя вниманіе даровитой любознательности. Въ тотъ періодъ жизни, когда умъ, большею частію, истощаетъ свои силы на трудахъ маловажныхъ или безъ надежнаго руководства переходитъ отъ одной дѣятельности къ другой, останавливаясь на каждой поверхностно и ни къ одной не привязываясь искренно, — въ этотъ самый періодъ Карамзину была указана достойная сфера человѣческаго знанія (какая?). Карамзинъ охотно вошелъ въ нее и непраздно оставался въ ней, хотя потомъ и сдѣлался ея отщепенцемъ, такъ какъ она рѣшительно не подходила ни къ характеру его чувства (почему же? элементъ чувства, а именно любви къ ближнему, былъ самой почтенной стороною масонства), ни къ складу его познавательной способности (но вѣдь выше

было сказано, что въ масонствѣ-то и закалилась мысль Карамзина?), не любившей ни въ чемъ темноты» (т. II, стр. 5). Затѣмъ слѣдуетъ поѣздка Карамзина за границу, во время которой онъ освободился (по нашему мнѣнію, несовсѣмъ) отъ масонскаго вліянія и подчинился на время взглядамъ французской философіи XVIII вѣка. Руссо сдѣлался его жумиромъ, хотя,—замѣтимъ мы отъ себя,—революціонная логика этого мыслителя была какъ-то очень своеобразно и сентиментально понята русскимъ прозелитомъ. Новое настроеніе выразилось въ «Письмахъ русскаго путешественника» и нѣкоторыхъ другихъ прозаическихъ разсужденіяхъ и стихотворныхъ думахъ Карамзина. Г. Галаховъ останавливается со вниманіемъ на первомъ произведеніи, и уже здѣсь начинаетъ пробиваться его особенное пристрастіе къ Карамзину. Дѣло въ томъ, что нѣкоторые критики, сравнивая письма изъ-за границы Фонъ-Визина и Карамзина, справедливо замѣчали, что Фонъ-Визинъ гораздо глубже взглянулъ на политическое состояніе французскаго общества и еще за нѣсколько лѣтъ до революціи предвидѣлъ неизбежность тяжелаго кризиса, тогда какъ Карамзинъ, стоя въ самомъ центрѣ всколыхнувшихся страстей, говоритъ о нихъ нехотя и мелькомъ, словно о бездѣлицѣ. На это замѣчаніе г. Галаховъ возражаетъ, что такое сравненіе неумѣстно, ибо письма Карамзина адресовались къ семейству Плещеевыхъ, имѣли совершенно интимный характеръ, и потому странно было бы требовать отъ нихъ глубокомысленнаго, серьезнаго содержанія. «Объяснять молчаніе Карамзина о французской революціи — говорить онъ — тѣмъ, что Карамзинъ не замѣчалъ или не понималъ ее, такъ же стран-

но, какъ, напри^мѣръ, маловажность его, дол^голѣтней переписки съ братомъ объяснять тѣмъ, что онъ, въ теченіе всего этого времени, не обращалъ своей мысли ни на что серьезное. Мудрецы литературной механики могли бы проще открыть ларчикъ. Ни съ семействомъ Плещеевыхъ, ни съ братомъ своимъ Карамзинъ не имѣлъ намѣренія войти въ сужденія о важныхъ матеріяхъ — вотъ и все. Важное держалъ онъ про себя, а съ иными знакомыми и родными бесѣдовалъ о неважномъ» (стр. 10). Но тутъ есть одно обстоятельство, за которое не преминуть ухватиться «мудрецы литературной механики»: вѣдь дол^голѣтняя переписка съ братомъ не назначалась Карамзинымъ для печати и, слѣдовательно, важность или неважность ея не можетъ быть вопросомъ для публики; письма же къ Плещеевымъ, литературно обработанныя, появились въ журналѣ, — стало быть, авторъ находилъ содержаніе ихъ вполне значительнымъ для того, чтобы заинтересовать имъ всѣхъ образованныхъ читателей. Тутъ дѣло мѣняется, и критики получаютъ полное право сравнивать письма Карамзина и Фонъ-Визина, если еще только поклонники послѣдняго не вступятся за него, ссылаясь на то, что къ частной перепискѣ Фонъ-Визина, напечатанной послѣ его смерти и безъ его желанія, невозможно прилагать тотъ же строгій критерій, какъ къ литературному произведенію Карамзина. Г. Галахову будетъ стоить немалого труда уговорить ихъ на податливость и, въ концѣ концовъ, онъ вмѣсто того, чтобы защитить Карамзина, самъ же подведетъ его подъ обухъ. А между тѣмъ вся эта бѣда произошла прямо отъ недосмотра: почтенный авторъ не замѣтилъ, что Карамзинъ

умалчиваетъ о революціи не потому, чтобы онъ считалъ именно Плещеевыхъ неспособными къ такой серьезной бесѣдѣ и «держалъ про себя» (по выраженію г. Галахова) свои мысли о такихъ серьезныхъ вещахъ. Причина кроется здѣсь гораздо глубже и на нее намекаетъ, — но только въ другомъ мѣстѣ и по совершенно другому поводу, — самъ г. Галаховъ. Это — тотъ политическій индифферентизмъ, то глубокое равнодушіе къ «бреннымъ формамъ» государственной жизни, съ которымъ Карамзинъ смотрѣлъ въ юности на французскую революцію, а въ старости — на конституціонное движеніе, вызванное наполеоновскими войнами. Эту черту унаслѣдовалъ онъ отъ масонскихъ кружковъ, и ее, конечно, не могла стереть, изгладить изъ его души недолговременная, платоническая любовь къ республикѣ.

Новое настроеніе, овладѣвшее Карамзинымъ со времени поѣздки за границу, г. Галаховъ характеризуетъ именемъ оптимизма и сближаетъ его съ воззрѣніями, выраженными Вольтеромъ въ «Разсужденіи о человѣкѣ». Сущность этой доктрины состоитъ въ слѣдующемъ. Природа — любящая мать всего живущаго: она дала намъ чувства для того, чтобы улаживать ихъ, дала разсудокъ, чтобы выбирать лучшія наслажденія, вложила въ насъ страсти, необходимыя для дѣятельности въ физическомъ и нравственномъ мірѣ. Страсти въ своихъ границахъ благотѣльны, внѣ границъ пагубны, и разсудокъ долженъ ограничивать ихъ. Человѣку даны свобода и право выбора: отъ него зависитъ, разнуздавъ свои страсти, погибнуть въ заблужденіяхъ, или, слѣдуя мудрымъ законамъ природы, сдѣлаться творцомъ своего благополучія, то есть привести страсти въ истинное равновѣсіе и образо-

вать вкусъ для истинныхъ наслажденій.*Каждый можетъ достигнуть такого счастья, и истинныя удовольствія равняютъ людей. Но это равенство счастья состоитъ не въ равной суммѣ благъ, данныхъ каждому человеку, а въ равенствѣ чувства, съ которымъ наслаждается каждый данною ему долею блага. «Быть счастливымъ — говоритъ Филалетъ въ «Разговорѣ о счастьи» — есть быть вѣрнымъ исполнителемъ естественныхъ мудрыхъ законовъ; а такъ какъ эти законы основаны на общемъ добрѣ, то быть счастливымъ есть быть добрымъ». Эта радужная доктрина, въ основѣ которой лежало то же предвзятое отношеніе къ природѣ, какъ и въ масонствѣ, господствовала въ Европѣ задолго до появленія Карамзина; но, не устоявъ предъ напоромъ рационализма и истинно-философской пытливости, была уже давно осмѣяна Вольтеромъ въ его Кандидѣ (1759 г.). Ходячая формула оптимизма: «все идетъ къ лучшему въ этомъ наилучшемъ изъ міровъ» получила сильнѣйшій ударъ отъ руки того же писателя, который самъ нѣкогда исповѣдовалъ ее. Тѣмъ не менѣе она припала какъ разъ впору умственному развитію Карамзина, и въ особенности совпала съ личнымъ расположеніемъ его духа. «Карамзинъ — говоритъ г. Галаховъ — несмотря на свою молодость, пользовался рѣдкою литературною извѣстностію, занималъ счастливое положеніе въ свѣтѣ, видѣлъ искреннее уваженіе къ себѣ и привязанность многихъ. Завѣтныя желанія его исполнились: онъ совершилъ путешествіе за границу; по возвращеніи, посвятилъ себя литературѣ, согласно наклонностямъ сердца и убѣжденію просвѣщеннаго гражданина; въ обществѣ знакомыхъ нашелъ онъ удовлетвореніе и дружбу, и любви. Все въ немъ и во-

кругъ него устроюсь хорошо и пріятно; будущее могло
общать еще лучшее и пріятнѣйшее» (стр. 23). Къ этому
времени относятся и всѣ свободолюбивыя стремленія Карам-
зина: его сочувствіе къ республиканской Швейцаріи (г. Гала-
ховъ утверждаетъ даже, что Карамзинъ всегда «по чувству
склонялся къ республикѣ»), его уваженіе къ дѣателямъ
конца XVIII вѣка и къ гуманно-космополитической цивили-
заціи вообще; наконецъ, его сострадательный взглядъ на
крѣпостное иго крестьянъ. «Конецъ нашего вѣка—говорилъ
онъ тогда — почитали мы концомъ главнѣйшихъ бѣдствій
человѣчества, и думали, что въ немъ послѣдуетъ важное,
общее соединеніе теоріи съ практикою, умозрѣнія съ дѣя-
тельностью; что люди, увѣрясь въ изящности законовъ чи-
стаго разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности, и
подъ сѣнію мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, насла-
дятся истинными благами жизни». Осынадцатый вѣкъ не
подтвердилъ оптимистическихъ надеждъ Карамзина; оказа-
лось, что изъ феодальнаго лѣса нельзя выбраться, не пова-
ливъ сотни—другой деревьевъ и не расчистивъ такимъ обра-
зомъ дальнѣйшаго пути; свобода, реализируясь въ дѣй-
ствительности, не могла рассчитывать на одни «изящные за-
коны разума», и ей понадобились для того иныя, болѣе
грубыя средства, взятые изъ грубой дѣйствительности. Это
обстоятельство оттолкнуло Карамзина и внушило ему какой-
то суевѣрный страхъ ко всѣмъ народнымъ движеніямъ.
«Вѣкъ просвѣщенія—воскликнулъ онъ—не узнаю тебя! въ
крови и пламени не узнаю тебя! среди убійствъ и разруше-
ній не узнаю тебя!» Переставъ узнавать свои же идеи въ
той суровой формѣ, въ которой воплощались онѣ въ поли-

тическомъ быту, Карамзинъ скоро почувствовалъ къ нимъ сильнѣйшую антипатію, и завелъ свои опасенія даже такъ далеко, что и въ людяхъ, окружавшихъ Александра Павловича, началъ видѣть Грегуаровъ, Карно и проч. и проч. (стр. 113). Идея же ихъ казались ему «саранчею, вылѣзшею изъ сѣмянъ революціи». Сочувствіе къ освобожденію крестьянъ скоро замѣнилось у Карамзина защитою рабства: вмѣсто умѣреннаго оброка, который онъ наложилъ-было на своихъ крестьянъ, руководясь либеральнымъ образомъ мыслей, онъ ввелъ снова барщину, которую «требовала истинная филантропія» (стр. 35). Философскій оптимизмъ колеблется и уступаетъ мѣсто другому, противоположному воззрѣнію: отъ убѣжденія, что «жизнь есть первое счастье», что «въ мірѣ все прекрасно», Карамзинъ переходитъ къ убѣжденію, что «здѣшній міръ есть училище терпѣнія», что «вездѣ и во всемъ окружаютъ насъ недостатки». Поводомъ къ такой перемѣнѣ въ мысляхъ послужила для Карамзина потеря первой его супруги — обстоятельство чисто-личнаго свойства, въ противоположность тому общественному бѣдствію, которое, внушивъ поэму: «Разрушеніе Лиссабона», съ тѣмъ вмѣстѣ побудило Вольтера отказаться отъ своего прежняго образа мыслей. Этотъ личный мотивъ, всегда служившій у Карамзина сильнѣйшимъ двигателемъ его внутренней жизни, кажется «любопытнымъ» г. Галахову, но онъ и характеристиченъ—слѣдовало бы прибавить къ этому. «Замѣтимъ—продолжаетъ авторъ—что перемѣна воззрѣній, произведенная печальными обстоятельствами жизни, не противорѣчила постоянно доброму настроенію души Карамзина... Ни благодущіе его не пострадало отъ новаго взгляда; ни

новый взгляд не потревожилъ благодушной его природы... Несчастія могли усилить въ немъ меланхолію, къ которой онъ имѣлъ естественную наклонность, но не могли поколебать вѣру въ совершенствованіе человѣка, въ неизбежное торжество добрыхъ началъ надъ злыми. Пессимистомъ онъ не могъ быть, и никогда не былъ: всю жизнь свою онъ былъ оптимистомъ. Всегда и вездѣ сопровождало его утѣшеніе; только онъ прибѣгалъ за нимъ не къ системѣ Попа, а къ религіи, не къ ученію деистовъ, а къ ученію собственно христіанскому». Но это окончательное отступленіе отъ деизма произошло уже гораздо позднѣе; къ концу же перваго періода литературной дѣятельности Карамзина, убѣжденія его формулируются въ такомъ видѣ: «По своему взгляду на міровое устройство, онъ былъ оптимистъ, усвоившій нѣкоторыя положенія деизма. По своимъ понятіямъ объ основахъ и способахъ науки, онъ, въ противоположность мистико-масонамъ, требовалъ раціональности, которая, въ области знанія, допускаетъ лишь то, что можетъ быть изслѣдовано и воспринято умомъ, а не другими способностями духа. По понятіямъ о судьбѣ человѣчества, онъ былъ убѣжденъ въ предопредѣленномъ и, слѣдовательно, непреложномъ его совершенствованіи. Поступательный ходъ человѣческаго развитія измѣрялъ онъ поступательнымъ, спокойнымъ ходомъ просвѣщенія, разливаемого по всѣмъ классамъ, и доброй нравственности, его дѣйствіемъ образуемой. Только при этихъ двухъ условіяхъ (просвѣщенія и нравственности) законы и учрежденія могутъ приносить пользу; безъ нихъ же какъ тѣ, такъ и другіе, несмотря на либеральный просторъ свой, теряютъ значеніе и остаются втунѣ.

Государственныя преобразованія должны совершаться мирнымъ путемъ, обходя всякіе поводы къ потрясеніямъ и насильственнымъ мѣрамъ, и относясь съ уваженіемъ къ исторіи народа. Европеизмъ, какъ высшая ступень человѣческаго развитія, служить неизбѣжнымъ, единственнымъ образомъ для каждаго народа, выступающаго на историческое поприще: отсюда благоговѣніе предъ геніемъ Петра и оправданіе его реформы. Любовь къ добру и человѣчеству есть душа правленія, животворная его сила. Наилучшую его форму представляетъ монархія, надежнѣйшимъ способомъ устривающая и внѣшнее величіе государства, и внутреннее благосостояніе гражданъ. Отношенія между добрымъ, челоуѣколюбивымъ монархомъ и его подданными должны быть обязательнымъ примѣромъ для отношеній между помѣщиками и крестьянами, своего рода уставомъ крѣпостнаго состоянія» (стр. 141). Мудрено сформулировать мягче, эластичнѣе и благовиднѣе сущность общественной философіи Карамзина. Тутъ есть и «просвѣщеніе, разливаемое по всѣмъ классамъ народа», и «государственныя преобразованія» и проч. и проч. Но когда мы вспомнимъ, что это просвѣщеніе мирилось съ крѣпостнымъ состояніемъ народа, что это «непреложное совершенствованіе» не должно было касаться самыхъ существенныхъ основъ гражданскаго и политическаго быта (въ этомъ послѣднемъ случаѣ совершенствованіе называлось уже «насильственными мѣрами»), когда мы выйдемъ, наконецъ, въ печальный смыслъ послѣднихъ строкъ этого *profession de foi*, то наше сочувствіе къ Карамзину замѣтно умалится. Къ тому же, и въ этой умѣренной про-

граммъ скоро произошло измѣненіе; изъ нея улетучилось «благоевѣніе передъ гениемъ Петра», «оправданіе его реформъ», и идеаломъ Карамзина становится Іоаннъ III, который «не обгонялъ умомъ настоящаго порядка вещей, не дѣйствовалъ воображеніемъ и не терялся мыслями въ возможностяхъ будущаго». При такомъ условіи «непреложное совершенствованіе» человѣческаго рода должно уже было пойти такими микроскопическими шагами, что, въ сравненіи съ ними, и ползаніе черепахи могло бы показаться орлинымъ полетомъ.

IV.

Всѣ перемѣны и превращенія, совершавшіяся довольно быстро въ образѣ мыслей Карамзина, г. Галаховъ великодушно беретъ подъ свою защиту и, не объясняя ихъ коренными недостатками въ мышленіи этого писателя, заботится только о томъ, чтобы навязать читателю убѣжденіе, что все это хорошо, справедливо, послѣдовательно, и что Карамзину даже невозможно было придти къ какимъ-нибудь другимъ выводамъ. Словомъ, оптимизмъ Карамзина заразилъ и его адвоката, г. Галахова. При этомъ авторъ «Исторіи русской словесности» не изображаетъ факты и мнѣнія объективно, какъ онъ это думаетъ, «ставя тѣ и другія среди современныхъ имъ данныхъ и не перемежая въ сферу данныхъ позднѣйшей эпохи» (стр. 36): — совсѣмъ не такой смыслъ имѣютъ его горячія апологіи въ честь воз-

любленнаго публициста-историка, въ дѣятельности котораго онъ видитъ не просто литературный фактъ, обладающій хорошими и дурными сторонами, но какъ бы нѣкій «священный» завѣтъ для потомства, обязаннаго относиться къ этому завѣту не иначе, какъ съ чувствомъ умиленія и благоговѣнія. Не разбирая въ подробности воззрѣній Карамзина на французскій переворотъ XVIII столѣтія, замѣтимъ, что г. Галаховъ напрасно затушевываетъ приличными выраженіями настоящія мысли Карамзина, напрасно старается провести разграничительную черту между реформой и революціей съ цѣлью доказать, что сочувствія нашего историка не исключали перемѣнъ и улучшеній въ политическомъ строѣ государства; на дѣлѣ оказывается, что эта черта существуетъ только въ воображеніи г. Галахова, Карамзинъ же постоянно переступалъ ее, трактуя, какъ революціонныя дѣйствія, ведущія къ гибели отечества, самыя полезныя попытки общественныхъ реформъ. Напуганный революціонными событіями, которыя, по словамъ г. Галахова, «относились къ ученіямъ XVIII вѣка, какъ крайній выводъ къ первоначальной послыжѣ», Карамзинъ скоро отказался отъ своихъ мимолетныхъ симпатій къ этимъ ученіямъ, и шагнулъ въ другую крайность даже не консервативнаго, а чисто ретрограднаго свойства. Прежде онъ мечталъ о «соединеніи теоріи (то есть теоріи французскихъ энциклопедистовъ) съ практикой», а впослѣдствіи началъ преслѣдовать самую эту теорію, не разбирая уже формы, въ какой воплощалась она въ дѣйствительности. Г. Галаховъ не ограничился тѣмъ, что отрицалъ этотъ переходъ, но пожелалъ объяснить его рациональнымъ образомъ, къ выгодѣ Карамзина. Такъ же благо-

видно представляет намъ авторъ отступленіе Карамзина отъ своего первоначальнаго взгляда на крѣпостное состояніе крестьянъ. Причиной этого отступленія былъ, дескать, собственный опытъ филантропическаго помѣщика: онъ обложилъ крестьянъ умѣреннымъ оброкомъ, предоставивъ имъ самимъ распоряжаться собственными дѣлами, а они, въ награду за эту милость, спились съ кругу, раззорились въ пухъ и наконецъ разочаровали барина въ его либерализмъ. Затянувъ послѣ того бразды правленія, онъ увидѣлъ плоды своего домостроительства: «прежде» крестьяне лѣнились, пили и терпѣли во всемъ недостатокъ; теперь они сдѣлались рачительными, трезвыми и зажиточными». Послѣ такого опыта Карамзинъ, по мнѣнію г. Галахова, естественно пришелъ къ выводу, что «связь народа съ его главою, основанная на любви и признательности, должна скрѣплять и отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ» (стр. 35). При этомъ г. Галаховъ, хотя и не рѣшается прямо, изъ преданности къ Карамзину, перейти въ лагерь крѣпостниковъ (крѣпостное право нынѣ отмѣнено, и говорить противъ него можно); но придумываетъ однако всевозможныя средства—смягчить и облагородить крѣпостническія тенденціи автора «Бѣдной Лизы». Первый приѣмъ его защиты состоитъ въ томъ, что Карамзинъ честно и искренно измѣнилъ свои прежнія понятія; никакія нечистыя побужденія не имѣли здѣсь мѣста, и кто станетъ предполагать ихъ,—«тотъ покажется или узкость историческаго пониманія, которая не въ силахъ оцѣнивать разновременныя явленія, каждое въ средѣ своихъ условій, или предосудительную подозрительность, которая во всѣхъ и каждомъ чувствуетъ свое соб-

ственное больное мѣсто». «Какъ будто при двухъ различныхъ убѣжденіяхъ—патетически восклицаетъ г. Галаховъ—вся честность принадлежитъ одному и вся безчестность непремѣнно стоитъ на сторонѣ другаго! какъ будто они оба не могутъ быть честны или безчестны!» Мы не будемъ пускаться въ объясненія, насколько тысяча душъ, принадлежавшая Карамзину, могла предрасполагать его къ отставанью крѣпостнаго права, и много ли, мало-ли эгоистическаго интереса сквозить въ тѣхъ его письмахъ, въ которыхъ онъ, напримѣръ, жалуется на невзность оброка крестьянами, на худое ихъ послушаніе, бранить своихъ дворовыхъ людей, отправленныхъ имъ въ полицію для наказанія, и рѣшается даже просить у государя «военнаго чловека, чтобы послать его въ имѣнье и образумить крестьянъ» (См. «Письма Карамзина къ И. И. Дмитріеву», стр. 278, 375 и 396). Для біографа Карамзина все это, конечно, факты любопытные и, къ тому же, совершенно опущенные изъ виду г. Галаховымъ; но для насъ важнѣе знать не степень личной честности и искренности Карамзина, а степень его умственной силы и публицистическаго такта. На эти вопросы г. Галаховъ не отвѣчаетъ прямо, а пользуется уловкою. Именно онъ доказываетъ, что Карамзинъ и на этомъ пунктѣ стоялъ въ уровень съ лучшими мыслителями, что, подобно ему, смотрѣли на крестьянскій вопросъ Лопухинъ, Державинъ и ... и Жанъ-Жакъ Руссо. Сопоставленіе именъ Державина и Руссо вызываетъ невольную улыбку, но мы постараемся воздержаться отъ нея и будемъ говорить серьезно. Что Гавріилъ Романовичъ Державинъ, объяснявшій французскую революцію «развращеніемъ философовъ» (въ

томъ числѣ и Руссо) и «лишнею царскою добротою», смотрѣлъ и на крестьянскій вопросъ одинаково съ Карамзинымъ—это не подлежитъ сомнѣнію и спору; что Лопухинъ, какъ масонъ, не возвысился въ этомъ случаѣ надъ догмой своего ученія, гласившаго, что для нравственнаго совершенствованія ничтожны всѣ, хотя бы самыя стѣснительныя, общественныя и государственныя формы,—это тоже неудивительно; но чтобы авторъ *Contrat social*, при всей своей парадоксальности, выходилъ изъ одного принципа съ Карамзинымъ,—въ этомъ позволительно усомниться, тѣмъ болѣе, что г. Галаховъ беретъ изъ его сочиненій только небольшую цитату, лишенную всякой связи съ общимъ смысломъ философіи Руссо. Женевского оракула спросили когда-то: нужно ли освобождать крестьянъ? и онъ отвѣчалъ на это: «Освобождайте! освобожденіе крестьянъ есть дѣло прекрасное и великое, но вмѣстѣ смѣлое и опасное; приступать къ нему нужно не кое-какъ, но съ соблюденіемъ извѣстныхъ предосторожностей». Предосторожности, указанныя Руссо и состоявшія въ томъ, что общественный голосъ, строго провѣряемый, долженъ назначать къ свободѣ только тѣхъ крестьянъ, которые отличились своимъ поведеніемъ, добрыми нравами и достаточнымъ образованіемъ, при чемъ даръ свободы вручается имъ торжественно, съ подобающею церемоніею,—эти предосторожности, невыполнимыя практически и даже ошибочныя по своему замыслу, могли подвергнуться самымъ основательнымъ возраженіямъ; но отсюда еще нельзя заключать, чтобы Руссо, сторонникъ безграничнаго развитія личности, признавалъ, какъ нормальный фактъ, угнетеніе и порабощеніе одного человѣка другимъ. Такой

мисли нѣтъ у Руссо въ цитатѣ, приведенной г. Галаховымъ, тогда какъ Карамзинъ, отступившись отъ своего сочувствія къ ученіямъ XVIII-го вѣка, признавалъ крѣпостное право столь же неизбѣжнымъ и законнымъ явленіемъ, какъ монархическое устройство государства. «Связь народа съ его главою (т. е. съ монархомъ) — какъ сказано выше — должна скрѣплять и отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ». Категорическое это утвержденіе едва-ли можетъ быть поставлено рядомъ съ искусственными «предосторожностями» Руссо. Да и вообще Карамзинъ не разъ высказывался въ томъ смыслѣ, что безумно возставать противъ социальныхъ перегородокъ и социального зла, проистекающаго изъ неравенства общественныхъ положеній, изъ деспотизма власти и богатства, изъ господства грубой силы надъ правомъ и разумомъ. «Основаніе гражданскихъ обществъ — писалъ онъ въ послѣдніе годы своей жизни — неизмѣнно: можете низъ поставить наверху, но будетъ всегда низъ и верхъ, воля и неволя, богатство и бѣдность, удовольствіе и страданіе. Для существа нравственнаго нѣтъ блага безъ свободы; но эту свободу даетъ не государь, не парламентъ, а каждый изъ насъ самому себѣ съ помощью божьей. Свободу мы должны завоевать въ своемъ сердцѣ миромъ совѣсти и довѣренностью къ Провидѣнію» (Неиздан. сочин., стр. 195). Итакъ, должно «завоевывать свободу въ своемъ сердцѣ», не вооружаясь противъ внѣшнихъ условій, мѣшающихъ выйти наружу этому свободному чувству; ну, а затѣмъ, все можетъ остаться по старому — и крѣпостное право, и лихоимство судей, и гнетъ бюрократіи. Мало того: всякая попытка искоренить вѣковое наследственное зло, разрушить обвет-

шавшія общественныя формы, является по этому взгляду, какъ бы консулствомъ надъ Провидѣніемъ, которое не даромъ же установило тотъ или другой порядокъ и сберегло обломки различныхъ историческихъ эпохъ. Это археологическое почтеніе къ старинѣ въ особенности развилось у Карамзина съ тѣхъ поръ, какъ онъ получилъ титулъ «исторіографа» Россійской Имперіи и погрузился съ особеннымъ усердіемъ въ изученіе той жизни, въ которой свободныя традиціи были вырваны съ корнемъ московскими князьями, а политическій застой возведенъ ими же на степень непреложнаго догмата. Отсюда почерпнулъ исторіографъ и новыя аргументы для своей вражды къ преобразованіямъ, и свѣжее негодованіе противъ всѣхъ реформаторовъ вообще. Негодованіе это излилось бурнымъ потокомъ въ извѣстной «Запискѣ о древней и новой Россіи». «Всякая новость въ государственномъ порядкѣ—писалъ Карамзинъ—есть зло, къ коему надобно прибѣгать только по необходимости, ибо мы болѣе уважаемъ то, что давно уважаемъ, и все дѣлаемъ лучше отъ привычки... Мудрые законодатели, принужденные измѣнять уставы политическіе, старались какъ можно менѣе отходить отъ старыхъ... Требуемъ болѣе мудрости охранительной, нежели творческой... Гораздо легче отмѣнить новое, нежели старое. Новости ведутъ къ новостямъ и благопріятствуютъ необузданностямъ произвола» (стр. 101). Вотъ вѣнецъ политической мудрости Карамзина, предъ которою умиляется г. Галаховъ и заставляетъ насъ умиляться также; вотъ послѣднее слово того умственного поворота, который, начавшись съ отвращенія къ революціи и пройдя недолгій путь туманнаго поклоненія европеизму, какъ

«высшей ступени человѣческаго развитія», ударился подъ конецъ въ глухія дебри азіатскаго застоя и неподвижности. Въ странѣ, преисполненной всяческаго старовѣрства и грубыхъ, окаменѣлыхъ предразсудковъ, Карамзинъ толковалъ о превосходствѣ «охранительной» силы предъ силою творческою и организующею; народу, задыхавшемуся подъ тяжестью вѣковаго гнета, онъ рекомендовалъ—избѣгать «новостей въ государственномъ порядкѣ» и страшиться «необузданностей произвола». Какъ много во всемъ этомъ умственной зрѣлости, публицистическаго такта и здраваго пониманія настоящихъ потребностей эпохи!

Съ такимъ-то образомъ мыслей, съ такими симпатіями и антипатіями, вошелъ Карамзинъ въ кругъ высшаго русскаго общества, въ которомъ, подъ прямымъ вліяніемъ самого государя, составила довольно сильная фракція людей честныхъ и образованныхъ, готовыхъ на важныя уступки либеральнымъ стремленіямъ вѣка. Какое положеніе занялъ въ этомъ обществѣ Карамзинъ? какъ отнесся онъ къ борьбѣ идей, происходившей въ правительствѣ и отчасти въ литературныхъ кружкахъ? Чью программу взялся онъ поддерживать и на что устремилъ стрѣлы своей діалектики? Въ 1811 г., при личномъ знакомствѣ съ Александромъ Павловичемъ, онъ дебютируетъ «Запиской о древней и новой Россіи», изъ которой мы привели уже такую характеристическую цитату. Цѣль записки состояла въ томъ, чтобы подорвать кредитъ Сперанскаго и внушить государю, отличавшемуся своей подозрительностью, недовѣріе и даже опасеніе ко всѣмъ преобразовательнымъ мѣрамъ, предложеннымъ его умнымъ и энергическимъ совѣтникомъ. «Рѣзкая, хотя и благонамѣ-

ренная, критика того, что было совершено въ Россіи въ первое десятилѣтіе XIX вѣка, не понравилась государю», говоритъ г. Галаховъ. Но Карамзинъ не унывалъ и настойчиво продолжалъ свою агитацію, поддерживаемый всѣми ретроградными элементами въ правительствѣ. Когда онъ, въ 1816 г., пріѣхалъ въ Петербургъ съ первыми томами своей исторіи, либералы отъ него отшатнулись, а враги Сперанскаго встрѣтили его дружески, какъ стараго союзника; самъ графъ Аракчеевъ обласкалъ его и замолвилъ за него слово государю, — то вѣское слово, которое имѣло рѣшительное вліяніе какъ на ускореніе печатанія исторіи, такъ и на награду, данную ея автору. «Литераторы и правительственные лица — читаемъ мы у г. Галахова — съ разными чувствами встрѣтили москвича, который хотя не имѣлъ никакого участія въ администраціи, но понималъ, что дѣлалось въ Россіи и судилъ о томъ откровенно, съ извѣстной точкой зрѣнія. Если многіе изъ первыхъ видѣли въ немъ либеральнаго нововводителя, то нѣкоторые между вторыми разумѣли его, какъ сторонника антилиберальныхъ идей въ политикѣ. Самого Сперанскаго, противъ котораго главнѣйшимъ образомъ направлена «Записка о древней и новой Россіи», не было въ столицѣ, но были другіе, на глаза которыхъ реформаторъ въ словесности отсталъ отъ вѣка по своимъ понятіямъ о реформахъ государственныхъ». Откуда вышли эти разныя чувства, съ которыми Карамзинъ былъ встрѣченъ въ Петербургѣ? справедливо ли упрекали его въ отсталости понятій о реформахъ государственныхъ? — на все это г. Галаховъ отвѣчаетъ весьма уклончиво и опять-таки старается представить дѣло въ благопріятномъ свѣтѣ

для Карамзина. Прежде всего онъ пробуетъ уравновѣсить нападки Карамзина на Сперанскаго съ тѣми осужденіями, которыя находилъ самъ Карамзинъ въ лагерѣ доносчиковъ, подобныхъ Кутузову:—если Карамзинъ возставаѣ противъ тогдашнихъ реформаторовъ за то, что они стремились слишкомъ далеко впередъ, то, съ другой стороны, въ русскомъ обществѣ встрѣчалось не мало лицъ, полагавшихъ, что и самого Карамзина слѣдуетъ, для пользы отечества, осадить нѣсколько назадъ. Шишковъ съ компаніей увѣряли, напримеръ, что реформа литературнаго слога, произведенная Карамзиннымъ и его послѣдователями, скрывала подъ собою неблагонамѣренное направленіе мысли и чувства; различіе между языками славянскимъ и русскимъ, установленное этою реформою, объяснялось суровымъ славянофиломъ, какъ результатъ злостнаго желанія отдѣлить духовныя книги отъ свѣтскихъ и привлечь умъ и сердце читателей къ однимъ свѣтскимъ писаніямъ, гдѣ столько разставлено сѣтей къ «помраченію ума и уловленію нравственности». «Языкъ—провозглашалъ Шишковъ, цѣлся въ своихъ противниковъ—есть душа народа, зеркало нравовъ, показатель просвѣщенія, неумолчный проповѣдникъ дѣлъ. Возвышается народъ,—возвышается языкъ; благонравенъ народъ,—благонравенъ языкъ. Никогда безбожникъ не можетъ говорить языкомъ Давида: слава небесъ не открывается ползающему въ землѣ червю. Никогда развратный не можетъ говорить языкомъ Соломона: свѣтъ мудрости не озаряетъ утопающаго въ страстяхъ и порокахъ... Гдѣ нѣтъ въ сердцахъ вѣры, тамъ нѣтъ въ языкѣ благочестія. Гдѣ ученіе основано на мракѣ лжеумствованій, тамъ въ языкѣ не воз-

сіяеть истина; тамъ въ наглыхъ и невѣжественныхъ писаніяхъ господствуетъ одинъ только развратъ и ложь» (стр. 76). Это обращеніе *ad hominem* — приемъ донинѣ весьма употребительный между нашими «патріотическими» публицистами—высказывалось, по крайней мѣрѣ, гласно, въ печати, и допускало публичное же возраженіе со стороны обвиняемыхъ лицъ; но не всѣ враги Карамзина довольствовались этимъ не вполне надежнымъ средствомъ вредить ему. Между ними же нашелся одинъ, а именно Кутузовъ, кураторъ московскаго университета, который, при каждомъ вышеніи Карамзина, громилъ еще его негласными доносами, адресованными то къ тому, то къ другому изъ высокопоставленныхъ лицъ. Такъ напримѣръ, по случаю пожалованія Карамзину ордена Владиміра 3-й степени въ 1810 году, Кутузовъ, возмущенный до глубины души этимъ отличіемъ, писать къ министру народнаго просвѣщенія, графу А. К. Разумовскому: «Не могу равнодушно глядѣть на распространяющееся у насъ уваженіе къ сочиненіямъ г. Карамзина. Вы знаете, что оныя исполнены вольнодумческаго и якобинческаго яда... Карамзинъ явно (!!) проповѣдуетъ безбожіе и безначаліе. Не орденъ ему надобно бы дать, давно бы пора его запереть... Ваше есть дѣло открыть государю глаза и показать Карамзина во всей его гнусной наготѣ, яко врага Божія и яко орудіе тьмы» (Письма К-на къ Дмитріеву). По выраженію: «вы знаете», употребленному Кутузовымъ въ этомъ доносѣ, можно думать, что и графъ Разумовскій, преклонявшій, какъ извѣстно, свой слухъ къ внушеніямъ извѣстнаго клерикала и обскуранта Жозефа де-Местра, былъ тоже не прочь подмѣтить

въ сочиненіяхъ Карамзина разныя «сумнительныя мѣста». Отсюда видно, что Карамзинъ, уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ, от-казавшись отъ своихъ либеральныхъ стремленій, все еще возбуждалъ противъ себя подозрительность невѣжества ко-саками приѣмами мысли и оборотами рѣчи, сохранившимися у него отъ прежнихъ вліяній, и еслибы г. Галаховъ огра-ничился указаніемъ превосходства Карамзина надъ Кутузо-вымъ, Шишковымъ и другими подобными же дѣятелями, то мы ни на одну минуту не стали бы противорѣчить ему и почли бы несправедливымъ охлаждать его симпатію, совер-шенно законную въ этихъ предѣлахъ. Мы сказали бы: да, Карамзинъ, какъ реформаторъ слога, какъ издатель журна-ловъ, приучившихъ публику къ этого рода чтенію, наконецъ, какъ человѣкъ, европейски-образованный, стоялъ цѣлою головою выше тупыхъ неучей и злонамѣренныхъ доноси-ковъ, способныхъ задуть самую невинную мысль и затра-вить ни за что, ни про что кротчайшаго въ мірѣ индиви-дуума: защитникъ золотой середины, онъ не одобрялъ, на-примѣръ, ни «министерства затмѣнія», руководимаго Шиш-ковымъ, ни страшныхъ военныхъ поселеній, введенныхъ Аракчеевымъ, ни губительной цензуры, стоявшей, по его выраженію, «какъ черный медвѣдь», на дорогѣ писателя; въ немъ нашлось столько трезвости мысли и стойкости убѣж-деній, чтобы не поддаться мистическому повѣтрію, которое во второй половинѣ царствованія Александра Павловича, повѣяло у насъ сильнѣе и вреднѣе, чѣмъ при своемъ по-явленіи, въ послѣдней четверти XVIII столѣтія. Всего этого, однако, слишкомъ недостаточно для того, чтобы посадить Карамзина на такомъ высокомъ пьедесталѣ, какой усили-

вается создать ему г. Галаховъ. Дальше этой золотой середины Карамзинъ никогда не пошелъ, и коль скоро поднималась рѣчь не о палліативныхъ только средствахъ къ ограниченію зла, а о совершенномъ его искорененіи путемъ широкихъ и послѣдовательныхъ реформъ, то онъ сейчасъ же начиналъ защищать *statu quo*, обнаруживая свои точки соприкосновенія съ наиболѣе отсталыми партіями въ обществѣ и правительствѣ. Такъ дѣйствовалъ онъ по отношенію къ Сперанскому и вообще ко всѣмъ либеральнымъ представителямъ тогдашней администраціи, оказывая вольную или невольную услугу тому самому мракобѣсію, противъ излишествъ котораго онъ же впоследствии поднималъ свой голосъ—конечно, лишь при удобномъ случаѣ и, болѣею частію, по секрету. На этомъ основаніи баронъ Корфъ имѣлъ полное право сказать о Карамзинѣ, что «современная публика нашла въ его запискѣ (о древней и новой Россіи) свое собственное темное неудовольствіе, облеченное въ форму изящной рѣчи», и что записка эта «представляетъ собою итогъ толковъ тогдашней консервативной оппозиціи и тѣхъ массъ, которыя, обетшавъ, требовали обновленія». Онъ же полагаетъ, что изъ сужденій Карамзина о Сперанскомъ «впоследствии образовались важнѣйшія обвиненія противъ государственнаго секретаря и, частію, самыя пружины, употребленныя къ его низверженію» («Жизнь графа Сперанскаго», томъ I, стр. 132, 142—3). Г. Галахову извѣстны факты, изложенные въ книгѣ барона Корфа, и онъ даже соглашается, повидимому, съ нѣкоторыми мнѣніями біографа Сперанскаго; но его собственные выводы мало выигрываютъ отъ этого, а историческая критика остается, попрежнему,

одностороннею и пристрастною въ пользу одного изъ обсуждаемыхъ направлений. Баронъ Корфъ, напримѣръ, называетъ Карамзина органомъ «консервативной оппозиціи» и темнаго неудовольствія «обетшавшихъ массъ», а г. Галаховъ беретъ изъ этой характеристики только одно первое слово и объявляетъ, что оно справедливо, такъ-какъ Карамзинъ выражалъ, дѣйствительно, «консервативное мнѣніе о работахъ Сперанскаго» (стр. 100). Дальнѣйшія же поясненія онъ опускаетъ совсѣмъ, и выходитъ, какъ-будто бы баронъ Корфъ говоритъ то же самое, что и г. Галаховъ. Между тѣмъ разница въ ихъ мнѣніяхъ слишкомъ замѣтна, и въ то время, какъ г. Галаховъ признаетъ Карамзина «консерваторомъ въ разумномъ смыслѣ этого слова» (стр. 99), баронъ Корфъ иронически замѣчаетъ: «чего именно желаетъ Карамзинъ, то остается, по крайней мѣрѣ, для насъ неразгаданнымъ... въ запискѣ только критика новаго, но нѣтъ ни критики стараго, ни окончательнаго вывода, въ которомъ выразилось бы положительное заключеніе сочинителя». Для г. Галахова, напротивъ, совершенно понятно, чего хотѣлъ Карамзинъ: онъ хотѣлъ, изволите видѣть, «утвердить систему государственныхъ улучшеній на историческомъ подножій, т. е. допускалъ поступательное движеніе народа впередъ не иначе, какъ на условіяхъ прошедшей и настоящей его жизни, на соображеніяхъ съ дѣйствительными его потребностями». Опять туманныя фразы, отводящія глаза читателю; опять шифрованная грамота, къ которой невозможно подобрать ключа! Какъ можетъ совершиться поступательное движеніе при сохраненіи всѣхъ условій настоящей жизни? Кто сказалъ г. Галахову, что дѣйствительныя

потребности народа, быть может, неясно имъ сознаваема, были поняты Сперанскимъ хуже, чѣмъ Карамзинимъ? Впрочемъ, скажемъ спасибо автору и за то уже, что онъ не рѣшился перенести цѣликомъ въ свою исторію словесности тѣхъ рѣзкихъ филиппикъ противъ русскаго либерализма, которыми онъ украсилъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, свою статью, написанную по поводу столѣтней годовщины рожденія Карамзина. «Своими сочувствіями — писалъ тогда г. Галаховъ—Карамзинъ стоялъ по ту сторону революціи, не допуская внутренней связи между нею и вѣкомъ просвѣщенія, то есть XVIII вѣкомъ до 1789 г.; либералы, напротивъ, стояли по эту сторону революціи съ такими мнѣніями и требованіями, которыя Карамзинъ уподоблялъ саранчѣ, вышедшей изъ оставленныхъ ею (то-есть революціею) сѣмянъ. Согласіе между нимъ и ими оказывалось невозможнымъ... Карамзина трудно было сбить на этомъ пунктѣ, потому что, надобно сказать правду, онъ былъ умнѣе либералистовъ и не въ примѣръ ихъ здравомысленнѣе... Независимо отъ разногласія въ мнѣніяхъ, либералисты представляли для Карамзина еще другую слабую сторону. Онъ умѣлъ бы почтить противоположный образъ мыслей, еслибы эти мысли относились къ искреннимъ убѣжденіямъ, еслибы онѣ были не только сознательно восприняты умомъ, ищущимъ истины, но и прочно приняты сердцемъ, желающимъ употребить истину на служеніе людямъ... Въ либералистахъ, какъ видно, онъ не замѣчалъ требуемой имъ нравственной состоятельности» («Журн. Министер. Народн. Просвѣщ.» 1867 г., № 1). Отдѣлавъ гуртомъ всѣхъ «либералистовъ» за недостатокъ здра-

вомыслия и искренности убѣжденій, г. Галаховъ одобрялъ Карамзина за его презрительный отзывъ о статьяхъ Куницына и находилъ похвальнымъ его равнодушіе къ такимъ капитальнымъ литературнымъ явленіямъ, каковымъ была, въ свое время, книга Н. Тургенева: «Опытъ теоріи налоговъ». О Сперанскомъ г. Галаховъ не говорилъ прямо; но такъ-какъ, по его словамъ, «организаціонныя работы Сперанскаго производились въ томъ же либеральномъ направленіи», то, понятно, что и послѣдній подпадалъ, наряду съ Куницынымъ и Тургеневымъ, огульному осужденію г. Галахова. Нынѣ г. Галаховъ не такъ строгъ къ нашимъ политическимъ теоретикамъ александровскаго времени и, обвиняя ихъ (словами Карамзина) «въ излишнемъ уваженіи формъ государственности,» въ ущербъ духу, наполняющему эти формы, съ тѣмъ вмѣстѣ считаетъ и Карамзина несвободнымъ отъ упрека въ излишнемъ пренебреженіи къ государственному строю, въ излишней увѣренности, что индивидуальное развитіе возможно и безъ хорошихъ учреждений. Но упрекъ, мимоходомъ брошенный, не нарушаетъ общаго хвалебнаго тона книги, и г. Галаховъ, даже высказывая его, пользуется случаемъ сослаться на одну цитату, отрывъ имъ въ «Исторіи государства Россійскаго» (103). Что же касается до этого послѣдняго произведенія, то, въ разборѣ его, г. Галаховъ находитъ множество поводовъ отнестись сочувственно къ образу мыслей Карамзина. «Исторію государства Россійскаго» онъ разсматриваетъ въ связи съ «Запиской о древней и новой Россіи», и уже по этому одному обстоятельству можно предвидѣть, какъ снисходительно отнесется онъ къ ея недостаткамъ и какъ старательно выставитъ впередъ

всѣ ея достоинства, даже очень спорныя и сомнительныя. Исторію Карамзина, такъ же какъ и его «Записку», г. Галаховъ признаетъ сочиненіемъ тенденціознымъ, то-есть имѣющимъ цѣлю не только познакомить насъ съ событіями минувшаго, но и расположить ихъ по личному идеалу историка, навести читателя, преднамѣренною ихъ группировкою, на практическіе выводы, приложимые къ современной жизни. Рассказывая историческія происшествія, слѣдя за возникновеніемъ и развитіемъ Московскаго государства, Карамзинъ всегда имѣетъ въ виду вопросы, возбужденные современностью, и нерѣдко выходитъ самъ изъ-за кулисъ повѣствованія, чтобы провести какую-нибудь параллель или выдвинуть начало, ему любезное. Въ своемъ предисловіи къ «Исторіи» Карамзинъ пишетъ: «должно знать, какъ искони мятежныя страсти волновали мятежное общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала ихъ бурныя стремленія, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастье». Хотя въ этихъ строкахъ нѣтъ прямого указанія на французскую революцію, но, по мнѣнію г. Галахова, оно безспорно подразумѣвается, тѣмъ болѣе, что позднѣе, въ характеристикѣ Іоанна Грознаго, Карамзинъ выискалъ-таки случай упомянуть прямо о «дикихъ страстяхъ», свирѣпствовавшихъ во время французской революціи. «Исторія», на ряду съ «Запиской», отстаиваетъ крѣпостное право, и Карамзинъ не только не осуждаетъ Годунова за приврѣпленіе крестьянъ къ землѣ, но еще, напротивъ, видитъ въ этомъ законѣ добродѣтельное желаніе утвердить между владѣльцами и сельскими работниками «союзъ неизмѣнный, какъ бы семействен-

ний, основанный на единствѣ выгодъ, на благосостояніи общества». Въ «Запискѣ» Карамзинъ нападалъ на Сперанскаго за его разрушительныя стремленія, за его намѣренія—пошатнуть или, по крайней мѣрѣ, видоизмѣнить установившійся вѣками строй государственной жизни; въ «Исторіи» онъ идеализируетъ и этотъ строй, и типъ власти, способствовавшій его установленію. Соответственно этому коренному началу построень и весь планъ «Исторіи государства Россійскаго». Немудрено, что, при такомъ взглядѣ на развитіе нашей исторической жизни, Карамзинъ проглядѣлъ участіе въ ней народа, который всегда представляется у него тупою и безличною массою, только напрасно мѣшающею грандіозному шествію государственнаго идеала. Не будь этого народа, этой темной толпы, ни на что не нужной,—и руссiйская исторія получила бы еще болѣе величія и назидательности, сосредоточившись безраздѣльно въ біографіяхъ двухъ-трехъ лицъ, заправлявшихъ ея судьбами. Г. Галаховъ самъ замѣчаетъ, что такой историческій взглядъ противорѣчитъ въ концѣ всѣмъ современнымъ требованіямъ науки; но, какъ усердный адвокатъ, онъ старается перемѣстить центръ тяжести возраженій на ту точку, на которой они были бы менѣе серьезны и опасны для историка государства Россійскаго. «Карамзина—говоритъ онъ—упрекали въ томъ, что онъ изображеніе внутренней жизни народа не вставлялъ въ самый рассказъ, а помѣщалъ его въ отдѣльныя главы, примыкая ихъ, какъ бы дополненіе, къ концу каждаго періода,—упрекъ, по моему, незаслуженный, отзывающійся педантизмомъ. Не все ли равно, гдѣ бы ни стояло описаніе внутренняго быта, лишь бы оно было

надлежащее?» Какъ будто упреки Карамзину касаются, дѣйствительно, только выбора мѣста для описанія внутренней жизни народа, а не того, что эта жизнь совершенно пренебрежена имъ и разсматривается, какъ лишній, механическій придатокъ къ исторіи государства. Какъ будто въ этомъ мѣстѣ заключается вся сила, и нужно только переплести нѣсколько иначе главы Карамзинскаго труда, то-есть поставить первыя послѣдними и послѣднія первыми, чтобы легкомысленные упреки упали сами собою. Главная же суть обвиненія—бездущность идеала писателя и невѣрность историческихъ характеристикъ, искаженныхъ, съ умысломъ или безъ умысла, ради предвзятой узкой теоріи—оставляется г. Галаховымъ совсѣмъ безъ отвѣта. «Не наше—говорить онъ—дѣло объяснять, вѣрны ли въ историческомъ смыслѣ характеристики лицъ у Карамзина, то-есть согласны ли онѣ съ дѣйствительными ихъ образами въ лѣтописяхъ и иныхъ памятникахъ»; не его же дѣло опредѣлить и степень «просвѣтительнаго содержанія» въ самомъ идеалѣ Карамзина. Устранивъ себя отъ прямого сужденія объ этихъ предметахъ, обязательнаго для историка просвѣтительныхъ идей, г. Галаховъ не уберется, однако, отъ слѣдующей патріотической тирады: «какъ бы ни отзывалась критика о научномъ значеніи «Исторіи государства Россійскаго»—но по важности и благородству идеаловъ (?), по искусству, съ какимъ они проведены, по силѣ патріотическаго чувства, равно по искусству постройки и красотѣ внѣшней формы, трудъ Карамзина есть твердый памятникъ, воздвигнутый во славу родной земли и въ свою собственную славу: онъ будетъ говорить потомству о своемъ

творцѣ до тѣхъ поръ, пока, выражаясь словами поэта, «естъ у насъ отечество!» (стр. 110). Громко, но неубѣдительно.

V.

Мы пишемъ не курсъ литературы, а рецензію на книгу, и находимся, слѣдовательно, въ нѣкоторой невольной зависимости отъ ея автора. О чемъ онъ говорить подробно и доказательно, о томъ мы должны упоминать лишь вскользь съ единственной цѣлью—не пройти молчаніемъ хорошихъ сторонъ разбираемаго труда; но то, что упущено авторомъ изъ виду или истолковано неправильнымъ образомъ, то и должно составить предметъ нашего особеннаго вниманія. По этимъ соображеніямъ, мы не распространялись о качествахъ литературнаго слога Карамзина, о борьбѣ, возникшей изъ-за него между поклонниками славянщины и адептами новой литературной школы, между «Бесѣдой» и «Арзамасомъ»; мы не останавливались также на специальныхъ особенностяхъ того сентиментальнаго направленія, которое, появившись до Карамзина, достигло при немъ наибольшаго развитія; подробное разсмотрѣніе журнальной дѣятельности Карамзина также не входило въ наши расчеты. Всѣмъ этимъ занялся старательно г. Галаховъ, и его объясненія, по сколько они касаются второстепенныхъ сторонъ дѣла и поддерживаются обширной начитанностью автора, могутъ быть признаны удовлетворительными. Изъ этихъ объясненій видно довольно ясно: какое измѣненіе внесено Карамзинымъ въ строй русскаго языка, откуда занесены къ намъ первыя сѣ-

мена сентиментализма въ драмѣ и въ повѣсти, и въ какомъ духѣ относились журналы Карамзина къ политическимъ событіямъ въ Европѣ и къ дѣятельности правительства въ нашемъ отечествѣ. Знакомство съ литературою предмета обнаружено въ достаточной степени; цитатъ разнаго сорта—множество. Но начитанность не замѣняетъ таланта, и узкость понятій еще ярче сквозить между фактическими знаніями. Покуда рѣчь идетъ о слогѣ карамзинистовъ и шишковистовъ, г. Галаховъ совершенно на своемъ мѣстѣ; содержаніе «Марѣи Посадницы» и разныхъ статей, помѣщенныхъ въ «Московскомъ журналѣ» и въ «Вѣстникѣ Европы», онъ изучилъ также весьма изрядно; о крайностяхъ сентиментализма, проявившагося, съ легкой руки Карамзина, въ русскихъ чувствительныхъ путешествіяхъ, онъ подаетъ мнѣнія далеко не безъосновательныя. Когда же автору приходится высказывать приговоръ надъ сущностью взглядовъ, выражаемыхъ изящнымъ слогомъ, надъ общественнымъ значеніемъ литературной роли Карамзина,—онъ постоянно хитритъ, перетолковываетъ свои же данныя, впадаетъ въ дилеммы вмѣсто критики и преднамѣренно умалчиваетъ обо всемъ, что могло бы бросить иной свѣтъ на вопросы, имъ обсуждаемые. Образчики всего этого мы представляли уже выше нашимъ читателямъ; но мы исполнили бы только половину нашей задачи, еслибы, рядомъ съ радужнымъ изображеніемъ Карамзина, не поставили его настоящій историческій обликъ въ томъ видѣ, въ какомъ рисуется онъ по историческимъ свѣдѣніямъ и по собственнымъ сочиненіямъ этого писателя. При этомъ мы воспользуемся и фактами, приведенными у г. Галахова, но сгруппируемъ ихъ нѣсколько иначе, подъ дру-

гимъ угломъ зрѣнія, и дополнимъ тѣми необходимыми комментаріями, которыхъ не пожелалъ дать намъ авторъ «Исторія русской словесности».

Литературная дѣятельность Карамзина началась въ осьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, и первый періодъ ея прошелъ подѣ вліяніемъ того мистицизма, который появился въ Европѣ, какъ противодѣйствіе сильно распространявшемуся ученію французскихъ энциклопедистовъ. Этотъ мистицизмъ, извѣстный подѣ именемъ масонства, имѣлъ нѣкоторое сродство съ деистической философіей, и масоны, такъ же какъ и деисты, послѣдователи Локка, стремились осуществить въ практической жизни «религію разума», или «натуральную религію», чуждую догматизма и конфессіональной розни. Но это тожество основнаго принципа касалось только сферы религіозныхъ вопросовъ, да и тутъ еще масонство прихватило, съ теченіемъ времени, столько наносныхъ элементовъ, что, благодаря имъ, «естественная религія» обратилась въ какой-то своеобразный культъ, замѣнившій старую обрядность новыми манипуляціями. Въ вопросахъ же науки и политической жизни масонство отошло еще дальше отъ своего первоначальнаго источника, — и въ то время, какъ деисты раціональнаго толка расширяли область научной критики и проповѣдовали политическую свободу, европейскіе мистики пытались воскресить элевзинскія таинства въ наукѣ и относились съ пренебреженіемъ къ правильному развитію гражданскихъ и политическихъ формъ. Только немногія фракціи масонскаго ордена примкнули къ политической оппозиціи и организовали изъ себя тайныя общества, имѣвшія цѣлью преобразование государственнаго строя; эти-

то уклоненія и возбудили въ правительствахъ недовѣріе къ масонскимъ ложамъ вообще. Въ русскомъ масонствѣ не было совсѣмъ политически-оппозиціоннаго характера, который проникнулъ отчасти въ западныя масонскія ложи, и наши мистики, погружаясь съ большою охотою въ отысканіе философскаго камня, мало интересовались недостатками общественной организаціи, какъ бы ни были они крупны и возмутительны для человѣческаго чувства. Нравственное совершенствованіе, которое озабочивало собой русскихъ масоновъ, могло уживаться, по ихъ мнѣнію, со всякой общественной формой, со всякимъ политическимъ устройствомъ; поэтому дѣятельность ихъ ограничивалась филантропическими подвигами, — правда, весьма почтенными, но слишкомъ недостаточными, чтобы произвести серьезное измѣненіе къ лучшему, — да пропагандой «нравоученія и высокомыслія», въ противоположность «низкому любомудрію» новѣйшихъ философовъ. «Развратъ въ наукахъ — твердили масоны — происходитъ отъ незнанія источника, изъ котораго онѣ проистекли, и отъ незнанія предмета, куда онѣ текутъ. Науки суть плодъ созрѣвшаго безсмертнаго человѣческаго духа. Если человѣкъ цѣлую жизнь упражняется въ томъ же, въ чемъ и животныя, то наука разума не только ему бесполезна, но и пагубна. Когда же человѣкъ имѣетъ главною своею цѣлію совершенство духа, состоящее въ познаніи безсмертныхъ истинъ, то наука разума приносить ему пользу». Подъ этимъ «упражненіемъ въ томъ же, въ чемъ упражняются и животныя», масоны разумѣли послѣдованіе той философской школы, которая не провѣлила человѣческихъ страстей и склонностей, но, признавая ихъ за благодѣтельный даръ

природы, учила не искоренять ихъ, а только сдерживать въ извѣстныхъ границахъ и направлять къ хорошимъ цѣлямъ.

Что же касается до политическихъ преобразованій, то они вовсе исключались изъ программы «Дружескаго Общества». Лопухинъ, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ членовъ этого кружка, объясняя разницу между русскимъ и западно-европейскимъ масонствомъ, прямо говоритъ: «нашего общества предметъ былъ добродѣтель и стараніе, исправляя себя, достигать ея совершенства при сердечномъ убѣжденіи въ совершенномъ ея въ насъ недостаткѣ; а система наша — что Христосъ начало и конецъ всякаго блаженства». Тайныя же политическія общества, по мнѣнію Лопухина, основаны на томъ, чтобы — «отвергать Христа, а общество оныхъ предметъ: заговоръ буйства, побуждаемаго глупымъ стремленіемъ къ необузданности и неестественному равенству». Въ своемъ масонскомъ катихизисѣ Лопухинъ предписываетъ правовѣрному масону чтить правительство и «во всякомъ страхѣ повиноваться ему, не только доброму и кроткому, но и строптивому». Нельзя рѣзче осудить всѣ реформаторскія попытки, выходящія изъ среды самого общества, помимо или противъ желанія вліятельныхъ лицъ; нельзя выразить болѣе терпѣливой готовности сносить ошибки и притѣсненія силы. Масоны не только чуждались политическихъ замысловъ, но и ихъ религіозное вольнодумство, — противъ котораго не совѣмъ безъ основанія витѣйствовали хранители ортодоксіи, — будучи въ сущности отрицаніемъ конфессіональных распрей, прекрасно уживалось, однако, съ формальнымъ, исключительнымъ догматизмомъ господствующаго вѣроученія. Фи-

лантропическое настроеніе масоновъ также не было настолько сильно, чтобы оттолкнуть ихъ отъ самаго негуманнаго учрежденія—крѣпостнаго права,—и тотъ же Лопухинъ, желая видѣть крестьянъ благоденствующими, съ тѣмъ влѣстѣ, отстаивалъ крѣпостное право, нужное, по его мнѣнію, «для обузданія народа». Пробывъ около трехъ лѣтъ въ новиковскомъ кружкѣ, Карамзинъ надолго сохранилъ въ себѣ нѣкоторыя черты его вліянія. Отъ природы склонный къ меланхоліи и самоуглубленію, одаренный сильной фантазіей и чувствительностью, болѣзненно развившейся отъ чтенія сентиментальной беллетристики, Карамзинъ легко поддался ученію, которое требовало отъ человѣка внутренней работы надъ самимъ собою, сулило въ отдаленной перспективѣ возвращеніе золотого вѣка и, узаконяя гуманный взглядъ на человѣческую личность, не смущало однако своихъ адептовъ необходимостью опасной борьбы противъ учреждений, противорѣчащихъ этому гуманному взгляду. Словомъ, всѣ выдающіяся стороны натуры Карамзина находили себѣ удовлетвореніе въ «Дружескомъ Обществѣ»; умственное же развитіе его, видимо, не возмущалось крайнимъ невѣжествомъ людей, отрицавшихъ всѣ новѣйшія пріобрѣтенія науки. Между тѣмъ первыя впечатлѣнія молодости сильно ложатся на воспріимчивую душу—и вотъ мы замѣчаемъ, что, даже отрѣшившись въ послѣдствіи отъ мистическихъ бредней своихъ бывшихъ друзей, Карамзинъ навсегда остался масономъ по многимъ существеннымъ пунктамъ своихъ политическихъ и нравственныхъ убѣжденій. Уваженіе къ личности человѣка, независимо отъ ея соціальнаго пѣса и значенія, твердое сознаніе, что и внѣ государственной службы, одною частвою

дѣятельностью, можно принести пользу обществу, политѣй-
шай вѣротерпимость, блистательно проявившаяся у Лопухина
во время производства имъ слѣдствія надъ духоборцами —
все это хорошія черты масонскаго вліянія, и ими Карамзинъ
обязанъ своему трехлѣтнему пребыванію въ кругу людей,
отличавшихся своею общественною благотворительностью и
гуманностью личнаго характера, пренебрегавшихъ чинами и
почестями, и смотрѣвшихъ безъ фанатизма на различіе ре-
лигіозныхъ понятій и исповѣданій. Уже много лѣтъ спустя
по выходѣ изъ масонскаго общества, Карамзинъ отзывается
равнодушно о чиновничьей карьерѣ и, не выражая къ
ней никакой зависти, остается вполне доволенъ своимъ
скромнымъ, но независимымъ призваніемъ литератора. Въ
одномъ стихотвореніи, написанномъ, вскорѣ по возвращеніи
изъ-за границы, Карамзинъ говоритъ:

Прости! твой другъ умретъ тебя достойнымъ,
Послушнымъ истинѣ, въ душѣ своей покойнымъ.
Не скажутъ вѣкъ объ немъ, чтобъ онъ чиновъ искалъ,
Чтобъ знатнымъ подлецамъ когда-нибудь ласкалъ.

(Соч. Карамзина, изд. 1848 г., стр. 49).

И тотъ же взглядъ высказываетъ онъ черезъ шесть лѣтъ
въ письмѣ къ И. И. Дмитріеву изъ Москвы. «Видно—пи-
шетъ онъ своему другу, который, вѣроятно, жаловался на
банихъ-нибудъ «знатныхъ подлецовъ» — что приказныя хло-
поты не свойственны душѣ твоей, когда онѣ такъ трево-
жатъ и гнетутъ ее. Слѣдственно, дорого платишь ты за
свое оберъ-прокурорство. (Дмитріевъ служилъ тогда оберъ-
прокуроромъ въ сенатѣ.) Для такихъ упражненій надобно
имѣть самую холодную и песчаную душу: иначе бѣдная про-
падетъ съ грусти. Лѣнливый верблюдъ проходитъ благопо-

лучно по мертвой степи Каменистой Аравіи; гордый, пламенный конь томится, сохнет и умирает среди песчаныхъ ея морей» (Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 96). Въ бытность свою при дворѣ онъ выражался не менѣе рѣзко объ интригахъ и проискахъ, происходившихъ предъ его глазами: «Мнѣ гадки — писалъ онъ къ тому же лицу — и низкіе честолюбцы, и низкіе корыстолюбцы. Дворъ не возвыситъ меня. Люблю только любить государя. Къ нему не лѣзу и не полѣзу» (Ibid. стр. 248). Свою литературную профессію Карамзинъ ставилъ чрезвычайно высоко и не давалъ ее въ обиду передъ чиновническими притязаніями: талантливый писатель могъ быть, по его мнѣнію, столько же полезенъ отечеству, какъ и самый важный государственный сановникъ. Говоря въ одномъ своемъ стихотвореніи о вліяніи изящныхъ искусствъ на развитіе человѣческихъ обществъ, онъ слѣдующимъ образомъ характеризуетъ значеніе поэтовъ и художниковъ, которыхъ называетъ любимцами Феба:

Они безъ власти, безъ короны,
Даютъ умомъ своимъ законы;
Ихъ кисть, рѣзецъ, струна и гласъ
Играютъ нѣжными душами,
Улыбкой, вздохами, слезами,
И чувства возвышаютъ въ насъ.

(Соч. Карамзина, стр. 143).

Это довѣріе къ умственной власти, высказанное еще въ концѣ прошлаго столѣтія, заслуживаетъ, конечно, всякой похвалы, и примѣръ Карамзина, доказавшаго возможность прочнаго положенія, пріобрѣтеннаго одними литературными заслугами, не прошелъ безслѣдно для русскаго общества. Въ его лицѣ литература и наука впервые поднялись на ту высоту, на которую прежде ставились у насъ только круп-

ный чинъ или знатное происхожденіе; не имѣя никакого громкаго титула, ни значительнаго оффиціальнаго мѣста, русскій историкъ входилъ, «не стыдяся», въ высшій кругъ генераловъ и министровъ, и «смотрѣлъ имъ смѣло въ глаза». По этой причинѣ Николай Тургеневъ, современникъ Карамзина, далеко не раздѣлявшій его взглядовъ на вещи, относился къ нему съ уваженіемъ и называлъ его «литераторомъ въ самомъ широкомъ и прекрасномъ значеніи этого слова» (*La Russie et les Russes*, I, стр. 325). Карамзинъ, по увѣренію Тургенева, никогда и не хотѣлъ быть ничѣмъ другимъ: императоръ Александръ предлагалъ ему нѣсколько разъ портфель министра народнаго просвѣщенія, но чуждый тщеславія писатель постоянно отказывался отъ этой чести, довольствуясь званіемъ исторіографа и личнымъ расположеніемъ государя. Отсутствіе фанатизма и разумная терпимость ко всемъ религіознымъ убѣжденіямъ также должны быть поставлены въ заслугу Карамзину; усвоивъ себѣ этотъ взглядъ въ масонскомъ обществѣ, онъ никогда уже не отказывался отъ него и выхвалялъ Вольтера преимущественно за то, что «онъ распространилъ взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ, и наиболѣе посрамила гнусное лжевѣріе, которому еще въ началѣ XVIII вѣка приносились кровавыя жертвы въ Европѣ». Не забудемъ упомянуть и о филантропическихъ чувствахъ Карамзина, объ его готовности помочь человѣку въ бѣдѣ или въ опасности (извѣстно, что его ходатайство спасло Пушкина отъ монастырскаго заключенія), о той благосклонной мягкости въ житейскихъ отношеніяхъ, которую Карамзинъ требовалъ отъ cadaго, считая ее «цвѣтомъ общежитія, своего

рода добродѣтелю, слѣдствіемъ утонченнаго человѣколюбія, которое поставляетъ себѣ въ обязанность и малыми знаками, и ласковымъ словомъ, привѣтливымъ взоромъ—оказывать ближнему благорасположеніе». Не преувеличивая важности этихъ житейскихъ добродѣтелей,—притомъ же ограниченныхъ въ своемъ дѣйствіи только кружкомъ лицъ, близкихъ къ Карамзину и принадлежавшихъ къ одному съ нимъ общественному слою,—можно однако сказать, что онѣ составляли утѣшительное явленіе въ той средѣ, гдѣ грубость нравовъ пустила глубокіе корни, гдѣ гуманное обращеніе съ людьми казалось непущною поблажкою, а въ официальныхъ сферахъ—даже «бездѣйствіемъ власти», забывающей свое прямое назначеніе вселять повсюду страхъ и трепетъ.

Но этими хорошими сторонами не исчерпывалось вліяніе масонства на Карамзина. Проповѣдуя любовь къ ближнимъ, масоны нисколько не цѣнили тѣхъ общественныхъ учреждений, которые могли бы гарантировать людямъ торжество справедливости и человѣколюбія; выставляя «нравственное совершенствованіе», какъ альфу и омегу своего ученія, они не понимали: въ какой тѣсной связи находится это совершенствованіе какъ съ умственнымъ развитіемъ отдѣльнаго чловека, такъ и съ политическимъ прогрессомъ цѣлаго общества. Это непониманіе перешло къ Карамзину и застѣло въ немъ плотно,—такъ плотно, что ни заграничная поѣздка, ни разнообразное чтеніе, ни событія, проходившія предъ его умственнымъ взоромъ, не прояснили этого тумана, не разбили этого камня преткновенія.

Если мы прибавимъ къ этому крайнюю слабость отвлеченнаго мышленія вообще и даже какую-то боязнь предъ

строгой логической последовательностью, не допускающей ни бездоказательных посылок, ни трансцендентальных полу-рѣшеній и quasi-отвѣтовъ на вопросы,—то мы найдемъ ключъ къ разгадкѣ всего нравственнаго содержанія личности Карамзина. Мы поймемъ тогда, почему Карамзинъ, разставшись съ масонами и вступивъ на точку зрѣнія философскаго деизма, ограничился мелковатымъ восхваленіемъ всего сущаго и не пошелъ дальше по дорогѣ, проложенной другими деистами: этому помѣшала метафизическая завязка, заимствованная отъ масоновъ и постоянно бродившая въ душѣ у Карамзина. Теорія благотворности страстей, которую проповѣдовалъ Карамзинъ въ отпоръ масонской доктринѣ, вызвавшей къ ихъ аскетическому умерщвленію,—составляла, конечно, значительный шагъ впередъ; но флѣція «мудрой и любящей природы», лежавшая въ основаніи этой теоріи, не была, уже и въ то время, послѣднимъ словомъ въ рациональномъ развитіи европейской мысли. Лучшимъ доказательствомъ того, какъ узко и ограниченно понималъ Карамзинъ европейскихъ авторитетовъ, служить его извѣстное увлеченіе Ж.-Жакомъ Руссо. «Чувствительный и добродушный философъ», стоявшій тверже другихъ на своей абсолютно-моральной точкѣ зрѣнія, былъ, понятнымъ образомъ, ближе и симпатичнѣе Карамзину, который любилъ цитировать его изреченія. Но вѣдь не эта чувствительность придавала обаяніе пламенной проповѣди Руссо: она была только формой, подъ которой скрывалось глубоко-полемическое и страстно-отрицательное отношеніе ко всѣмъ общественнымъ порядкамъ, тяготѣвшимъ сознаніе развитыхъ людей. Естественныя права человѣка, отнятыя у него деспотическимъ воспитаніемъ,

извращенной цивилизаціей и несправедливымъ общественнымъ устройствомъ—вотъ всегдашняя цѣль стремленій Руссо, вотъ движущій стимулъ его литературной дѣятельности. Но эта полемическая струя, этотъ рѣзкій и горячій протестъ не оставили никакого слѣда въ холодно-резонерскомъ и чуждомъ всякой страстности умственномъ темпераментѣ Карамзина, и изъ всей философіи Руссо на виду остались, въ «Письмахъ русскаго путешественника», только безпрестанные гимны пастушескому быту, да еще метафизическія размышленія на тему: «кто засыпаетъ на рукахъ отца, тотъ не заботится о своемъ пробужденіи». Соціальная сторона ученія Руссо улетучилась цѣликомъ въ сентиментальной передѣлкѣ Карамзина. Здѣсь уже, кромѣ общей слабости теоретическаго развитія Карамзина, дѣйствовала и другая, болѣе частная и спеціальная причина,— а именно тотъ недостатокъ общественнаго, политическаго смысла, на который мы указывали выше. Въ своей оптимистической доктринѣ, составлявшей крайній предѣлъ его либерализма, Карамзинъ утверждалъ, что «равенство счастья состоитъ не въ равной суммѣ благъ, данныхъ каждому человѣку, а въ равенствѣ чувства, съ которымъ наслаждается каждый данною ему долею блага». При такой постановкѣ вопроса, заботы о лучшемъ распредѣленіи общественныхъ благъ, которыя составляютъ сущность всякаго политическаго движенія, уже изгонялись изъ круга интересовъ образованной личности, и хотя молодость Карамзина, а также настроеніе среды, его окружавшей, парализировали вначалѣ полное примѣненіе этой эгоистической теоріи; но можно было предвидѣть, что она, со временемъ, возьметъ таки свое, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше будетъ оттал-

живать Карамзина от господствовавших стремлений его эпохи. По стихотворениям Карамзина нетрудно прослѣдить, какъ умственный темпераментъ, подкрѣпленный масонскимъ вліяніемъ, постепенно бралъ въ немъ перевѣсъ надъ мимолетными увлеченіями молодости. Въ одномъ стихотвореніи, относящемся къ 1793 году, Карамзинъ рассказываетъ, что и онъ «обольщался мечтами», любилъ горячо людей, какъ своихъ братьевъ, желалъ имъ добра всею душою и даже готовъ былъ «пожертвовать для ихъ счастья своею кровью». Но—продолжаетъ онъ—

... время, опыты разрушаютъ
Воздушный замокъ юныхъ лѣтъ;
Красы волшебства исчезаютъ,
Теперь иной я вижу свѣтъ,—
И вижу ясно, что съ Платономъ
Республикъ намъ не учредить,
Съ Пиктакомъ, Оалесомъ, Зеновомъ
Сердце жестокыхъ не смягчить.

.
Гордецъ не любитъ наставленія,
Глупецъ не терпитъ просвѣщенія—
Итакъ, лампаду угасимъ,
Желаю доброй ночи имъ.

Затѣмъ, отыскивая поддержку и утѣшеніе въ жизни, Карамзинъ говоритъ, что нужно «построить себѣ тихій кровъ, куда бы злые и невѣжды не нашли дороги», и въ этомъ кровѣ наслаждаться любовью и дружбой. Личное и, пожалуй, семейное счастье становится идеаломъ Карамзина, и ему приноситъ онъ въ жертву свои «волшебныя мечты» и «воздушныя замки юныхъ лѣтъ». Понятно послѣ этого, почему личные и семейныя обстоятельства отражаются такъ сильно въ исторіи умственной жизни Карамзина. Когда (по словамъ г. Галахова)

«вокругъ него все устроилось хорошо и пріятно, а будущее могло обѣщать еще лучшее и пріятнѣйшее», — Карамзинъ исповѣдовалъ радужную доктрину оптимизма; умерла у него жена — и міръ, изъ прекраснаго храма, воздвигнутаго любящею матерью-природой, обратился въ «училище терпѣнія» и въ безобразную кучу недостатковъ всякаго рода. Попавши разъ на этотъ путь личнаго и семейнаго эгоизма, предпочтя всему на свѣтѣ филистерское счастье по пословицѣ: «моя хата съ краю, ничего не знаю», Карамзинъ естественно не ограничился однимъ лишь безмолвнымъ отстраненіемъ себя отъ тревогъ и опасностей общественной пропаганды. Сначала онъ намѣревался только «угасить» свою собственную лампаду, чтобы не разгнѣвать какихъ-то глупцовъ, не терпящихъ свѣта; но это — первая стадія въ развитіи филистерскаго идеала. Затѣмъ начинается вторая. За усталостью и опасеніемъ непріятностей неизбѣжно слѣдуетъ желаніе успокоиться совершенно, заткнуть себѣ уши отъ тревожнаго шума, набѣгающаго извнѣ, уединиться навсегда въ пріятной и хорошо обогрѣтой семейной раковинѣ. Но общественныя движенія и катастрофы нарушаютъ этотъ привольный и теплый покой; они назойливо врываются въ самое святилище домашняго очага и требуютъ жертвъ, волненій, борьбы. Въ семейной раковинѣ раздается шумъ и гулъ происходящей снаружи битвы; побѣдители оглашаютъ воздухъ грозными криками, побѣжденные молятъ о пощадѣ. Личное счастье филистера ежеминутно подвергается ставкѣ, и банкومتъ — судьба можетъ холодно провозгласить: «ваша карта убита; неужодно-ль другую?» Какое-жъ тутъ спокойствіе, какаѣ «тихая жизнь»? И вотъ филистеръ начинаетъ съ озлобленіемъ смотрѣть на этихъ волнующихся

людей, которые бѣгаютъ и шумятъ вокругъ его жилища, не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что онъ, филистеръ, уже надѣлъ свой ночной колпакъ и, прочтя молитву на сонъ грядущій, уткнулъ голову въ подушки. Въ концѣ концовъ филистеръ восклицаетъ:

Въ праменьяхъ новое опасно.
А безначаліе ужасно.
Какъ трудно общество создать!
Оно устроилось вѣками;
Гораздо легче разрушать
Безумцу съ дерзкими руками.
Не вымышляйте новыхъ бѣдъ:
Въ семъ мірѣ совершенства вѣтъ!

(Соч. К—на, т. I, стр. 253).

Подозрительность филистера усиливается послѣ этого до *pes plus ultra*: среди бѣла дня ему мерещатся привидѣнія; легкій стукъ за дверью, шорохъ подъ окномъ кажутся предвѣстіемъ грабежа и насилія. «Нѣтъ, ужь пусть лучше все идетъ по старому—шепчетъ онъ про себя, смежая очи,— и если я останусь безъ политической свободы, о которой, по правдѣ сказать, я никогда серьезно не заботился, зато мой носовой платокъ несомнѣнно останется въ карманѣ». И съ этими тихими мыслями засыпаетъ...

Идеаль семейнаго счастья, гармоническаго сліянія двухъ «любящихъ душъ» конечно, имѣетъ свою цѣну, если онъ не идетъ въ разрѣзъ съ понятіемъ объ общественной солидарности, о взаимности интересовъ, связывающихъ въ одно цѣлое разнообразныя человѣческія ассоціаціи; въ такомъ видѣ идеаль этотъ существуетъ у всѣхъ образованныхъ націй и воспѣвается поэтами, у которыхъ преданность общему благу не враждуетъ съ ихъ личными привязанностями. Семья,—кружокъ близ-

нихъ и единомыслящихъ людей,—является тогда какъ бы ази-лемъ, въ которомъ вырабатываются новыя силы, выходящія потомъ на общественную арену. Но другое дѣло, когда семья является замѣною общества, когда она, подобно трясины, засасываетъ въ себя цѣлаго человѣка, убиваетъ въ немъ всякую энергію, суживаетъ кругозоръ его понятій, дѣлаетъ жел-кимъ и трусливымъ эгоистомъ, готовымъ отдать все, поступи-ться самыми завѣтными стремленіями за чечевицную по-хлебку у домашнего очага. Проповѣдовать такой идеаль, и притомъ въ обществѣ молодомъ, разрозненномъ и неусвоив-шемъ себѣ даже первыхъ понятій о соціальной связи, зна-чило—не двигать его впередъ, а оставлять, по малой мѣрѣ, на одной и той же точкѣ развитія.

Философія квіэтизма, эгонистическаго равнодушія къ ин-тересамъ ближняго такъ сродна и присуща всякому дурно-организованному обществу, что ее слѣдовало бы, кажется, не поощрять и поддерживать посредствомъ искусной зама-скировки вредныхъ ея сторонъ, а, напротивъ того, изгонять и преслѣдовать всѣми возможными средствами. Карамзинъ же поступалъ какъ разъ наоборотъ, и не только способ-ствовалъ общественному усыпленію своими радужно-санти-ментально-патріотическими иллюзіями, но, не довольствуясь этимъ, вошелъ, наконецъ, въ открытую борьбу съ зачинав-шимся умственнымъ движеніемъ противоположнаго свойства.

Это новое направленіе, противъ котораго возсталъ Карам-зинъ всѣми остатками своей угасавшей энергіи, всѣмъ запасомъ своего литературнаго таланта, нисколько не угро-жало существующему политическому устройству общества, оставляло его даже по виду неизмѣненнымъ, но вносило въ него въ

сущности идеи иного лучшего порядка, которые могли бы, при добросовѣстномъ выполненіи, значительно умѣрить дурныя послѣдствія старыхъ традицій. Отсюда пошли толки объ «основныхъ законахъ» страны, о «государственныхъ сословіяхъ» или учрежденіяхъ, призванныхъ выражать законныя требованія націи. Еслибы Карамзинъ не отставалъ отъ развитія своего вѣка, еслибы онъ усвоилъ себѣ глубоко и искренно ту теорію, которую нѣкогда хотѣлъ «примѣнить къ практикѣ», то для него въ этихъ новыхъ стремленіяхъ не нашлось бы ничего ужаснаго и анархическаго. Люди желали воспользоваться грозными уроками исторіи, надѣялись устранить своими комбинаціями возможность повторенія народныхъ вспышекъ, шумъ которыхъ еще стоялъ, такъ сказать, въ воздухѣ. Этотъ политическій либерализмъ не миновалъ и Россіи, и даже пользовался, въ первой половинѣ царствованія Александра Павловича, сильною поддержкою въ высшихъ сферахъ русскаго правительства. Извѣстны слова, сказанныя самимъ Александромъ г-жѣ Сталь. Подъ руководствомъ государя и по его настоянію составлялся у насъ огромный проектъ, долженствовавшій обновить всю нашу политическую жизнь «отъ волостнаго правленія до кабинета государева». Въ этомъ проектѣ Сперанскій, касаясь смѣшенія и путаницы въ нашихъ гражданскихъ законахъ, а также смутнаго недовольства общества, проистекающаго изъ такого положенія дѣлъ, спрашивалъ: «Но гдѣ средства улучшить эти законы, ввести въ нихъ желаемый порядокъ, когда мы не имѣемъ законовъ политическихъ? Къ чему служить законы, опредѣляющіе права собственности каждаго, когда сама эта собственность не имѣетъ никакого

прочнаго и опредѣленнаго основанія? Къ чему гражданскіе законы, когда ихъ таблицы могутъ каждый день разбиться? Жалуются на беспорядокъ въ финансахъ; но можно ли устроить хорошо финансы тамъ, гдѣ нѣтъ публичнаго кредита, гдѣ не существуетъ никакого политическаго учрежденія, которое могло бы обезпечивать его прочность? Жалуются на медленность, съ какой распространяются просвѣщеніе, промышленность; но гдѣ принципъ, который могъ бы оживотворить ихъ? Къ чему стараться просвѣщать раба, если просвѣщеніе не должно имѣть на него другого дѣйствія, кромѣ того, что оно заставитъ его еще болѣе почувствовать тягость своего положенія? Наконецъ, это общее недовольство, эта наклонность все критиковать суть ничто иное, какъ выраженіе скуки отъ нынѣшняго порядка вещей... Умы находятся въ тягостномъ безпокойствѣ; а это безпокойство можно объяснить только полнымъ измѣненіемъ, происшедшимъ въ мнѣніяхъ, только желаніемъ другого управленія, желаніемъ, пожалуй, неопредѣленнымъ, но тѣмъ не менѣе живымъ. Все это доказываетъ, что существующая система управленія не соотвѣтствуетъ болѣе состоянію общественнаго мнѣнія, и что пришло время замѣнить эту систему другою». О крѣпостномъ правѣ Сперанскій выражался такимъ образомъ: «Какія бы трудности ни могло представить освобожденіе (крестьянъ), крѣпостное право есть вещь, столь противорѣчащая здравому смыслу, что его нельзя считать иначе, какъ временнымъ зломъ, которое неминуемо должно имѣть свой конецъ». Сторонникамъ мысли, что крестьянъ нельзя освобождать, не давши имъ напередъ просвѣщенія, Сперанскій возражалъ рѣзко и основательно:

«Что такое образованіе, знаніе для народа несвободнаго, какъ не средство живѣе почувствовать бѣдственность своего положенія, источникъ волненій, которыя могутъ только способствовать къ большему его порабощенію, или могутъ навлечь на страну ужасы безначалія. Изъ челоѣколюбія столько же, сколько изъ политики, слѣдуетъ оставить рабовъ въ невѣжествѣ, если не хотятъ дать имъ свободы». Идеи, выраженныя Сперанскимъ, не составляли секрета для читающей русской публики: онѣ находили отголосокъ въ нашей литературѣ того времени, и сила этого отголоска напрасно уменьшается, съ заднею цѣлью, нѣкоторыми историками русской мысли. Конечно, цензурныя условія не позволяли этимъ идеямъ высказываться въ печати такъ же широко и опредѣленно, какъ высказывались онѣ въ законодательномъ проектѣ Сперанскаго; но читающая публика, безъ сомнѣнія, совершенно ясно понимала, на какіе именно вопросы намекается въ подцензурной прессѣ. Въ 1818 году (22-го марта) С. С. Уваровъ произнесъ рѣчь въ торжественномъ собраніи главнаго педагогическаго института, въ которой коснулся политическаго направленія того времени. «По примѣру Европы—говоритъ онъ—мы начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ. Политическая свобода, по словамъ знаменитаго оратора нашего вѣка, есть послѣдній и прекраснѣйшій даръ Бога; но сей даръ пріобрѣтается медленно, сохраняется неусыпною твердостью; онъ сопряженъ съ большими жертвами, съ большими утратами. Въ опасностяхъ, въ буряхъ, сопровождающихъ политическую свободу, находится вѣрнѣйшій признакъ всѣхъ великихъ и полезныхъ явленій одушевленнаго и бездушнаго міра, и мы должны, по совѣту того же оратора, или не стра-

шиться опасностей, или вовсе отказаться отъ сихъ великихъ даровъ природы». Разбирая эту рѣчь, извѣстный профессоръ А. П. Кунинъ останавливается, между прочимъ, на фразѣ: «мы начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ» и говоритъ: «Конечно, такъ; но мы давно о нихъ помышляли: никогда не были они чужды русскому народу. Вѣча, боярскія думы, третейскій и совѣстный судъ, разбирательство дѣлъ при посредничествѣ присяжныхъ, равныхъ званіемъ подсудимому, были еще въ древности существенными принадлежностями образа правленія въ нашемъ отечествѣ. Въ важныхъ происшествіяхъ государства обыкновенно всѣ сословія принимали участіе и дѣйствовали единодушно. Отраженіе нашествія враговъ, постановленіе общихъ законовъ, избраніе достойнаго поколѣнія для занятія русскаго престола обыкновенно составляли предметъ совѣщанія и согласнаго рѣшенія всѣхъ государственныхъ чиновъ состояній. Иностранные народы прежде насъ дали непремѣнныя формы государственному правленію, но не позже ихъ мы о томъ помышляли»* («Сынъ Отеч.» 1818 г., т. XXIII). Въ томъ же 1818 году, черезъ нѣсколько дней послѣ рѣчи гр. Уварова, произнесена была въ Варшавѣ самимъ императоромъ Александромъ другая рѣчь, еще болѣе замѣчательная, еще болѣе надѣлавшая шуму въ русскомъ обществѣ. «Образованіе, существовавшее въ вашемъ краѣ—говорилъ Александръ польскимъ депутатамъ—дозволяло мнѣ ввести немедленно то, что я вамъ даровалъ, руководствуясь правилами законно-свободныхъ учрежденій, бывшихъ предметомъ моихъ помышлений, и которыхъ спасительное вліяніе надѣюсь я, при помощи Божіей, распространить и на всѣ страны, Провидѣ-

ніємъ попеченію моему ввѣренныя. Такимъ образомъ вы мнѣ подали средства явить моему отечеству то, что я уже съ давнихъ лѣтъ ему приуготовляю, и чѣмъ оно воспользуется, когда начала столь важнаго дѣла достигнуть надлежащей зрѣлости. Вы призваны дать великій примѣръ Европѣ, устремляющей на васъ свои взоры. Докажите своимъ современникамъ, что законно-свободныя постановленія, коихъ священныя начала смѣшиваются съ разрушительнымъ ученіемъ, угрожавшимъ въ наше время бѣдственнымъ паденіемъ общественному устройству, не суть мечта опасная; но что, напротивъ, таковыя постановленія, когда приводятся въ исполненіе по правотѣ сердца и направляются съ чистымъ намѣреніемъ къ достиженію полезной и спасительной для человѣчества цѣли, то совершенно согласуются съ порядкомъ, и общимъ содѣйствіемъ утверждаютъ истинное благосостояніе народовъ. Вамъ предлежитъ нынѣ явить на опытъ сію великую и спасительную истину». (См. «Духъ журналовъ 1818 г.» № 14). «Варшавскія рѣчи—писалъ по этому поводу Барамзинъ къ Дмитріеву—сильно отозвались въ молодыхъ сердцахъ; спятъ и видятъ конституцію; судятъ, радятъ; начинаютъ и писать—въ Сынѣ Отечества, въ разборѣ рѣчи Уварова; иное уже вышло, другое готовится. И смѣшно, и жалко! Но будетъ, чему быть. Знаю, что государь ревностно желаетъ добра; все зависить отъ Провидѣнія—и слава Богу! Не перестану наслаждаться своимъ образомъ мыслей или, лучше сказать, сердечнымъ удостовѣреніемъ, что мы такъ, а Богъ по своему. Въ сей системѣ какой покой для ума зрителей, т. е. для нашей братіи! Пусть молодежь ярится: мы улыбаемся. <(Письмо К-на къ Дмитріеву,

стр. 236—7.) Но молодежь не переставала яряться и не находила особеннаго наслажденія въ «спокойной системѣ» Карамзина; даже другъ его, князь Петръ Андреевичъ Вяземскій, бывшій тогда въ Варшавѣ, «пылалъ свободомысліемъ» (ibid. стр. 253) и при томъ такъ честно и искренно, что потерялъ изъ-за этого мѣсто по службѣ, будучи приглашенъ удалиться изъ польской столицы. Русскіе журналы перепечатали рѣчь государя. Куницынъ разобралъ ее въ «Сынѣ Отечества», въ особой статьѣ. «Ужасы революціи—говоритъ онъ—миновались; умы начинаютъ дѣйствовать свободно; причины сего политическаго переворота открываются. Несчастія Франціи произошли не отъ того, что она желала свободнаго, неизбѣжнаго постановленія, но отъ стремленія учредить образъ правленія ей несвойственный и для всякаго европейскаго народа неудобный». Дальше доказывалось, что республиканскій образъ правленія, испробованный Франціею, могъ быть уместенъ только въ древнихъ государствахъ—городахъ, которыхъ ограниченныя территоріи дозволяли всѣмъ жителямъ свободно собираться на площадяхъ для совѣщанія о дѣлахъ общественныхъ; жители же новѣйшихъ государствъ не имѣютъ этого удобства по большому пространству, ихъ раздѣляющему. Кромѣ того, въ древнихъ республикахъ существовали рабы, которые исполняли разныя хозяйственныя работы, занимались ремеслами и даже изящными искусствами и, такимъ образомъ, обезпечивали свободнымъ гражданамъ досугъ порѣшать исключительно государственные вопросы. «Потому—продолжалъ Куницынъ—граждане древнихъ республикъ могли проводить время на публичныхъ площадяхъ, въ слушаніи ораторовъ, въ преніяхъ о постановленіи и отмѣнѣ законовъ,

въ обличеніи и судѣ безпорядочныхъ чиновниковъ. Когда и сихъ дѣлъ не доставало, то они переходили къ воинскимъ упражненіямъ и публичнымъ играмъ. Нынѣ другія времена, другіе обычаи. Городская и сельская промышленность, по причинѣ вліянія на общее благосостояніе, взошли на степень уваженія, ей приличную. Люди свободнаго состоянія считаютъ прибыточныя упражненія похвальными, а праздность и безпечность о дѣлахъ хозяйственныхъ постыднымъ препровожденіемъ времени. Граждане древнихъ республикъ полагали свободу въ томъ, чтобы повиноваться тѣмъ только законамъ, которые они сами постановили или допустили; жители новѣйшихъ государствъ не желаютъ сего права, крайне для нихъ убыточнаго по причинѣ многотрудныхъ и нескончаемыхъ государственныхъ занятій. Нынѣ мирный гражданинъ желаетъ только того, чтобы законы были для него справедливы, чтобы никакая сила не могла тѣснить лица его ненаказанно, чтобы никто не воспользовался его собственностью безъ замѣны и вознагражденія, чтобы никто, кромѣ закона, не смѣлъ остановить его дѣятельность и учинить труды его бесполезными, а ожиданія тщетными. Потому жители вышеписанныхъ государствъ, вопреки духу древнихъ республиканцевъ, не желая сами быть законодателями, хотятъ только имѣть при лицѣ верховнаго властителя своихъ представителей, которые бы его, яко отца народа, извѣщали о нуждахъ общественныхъ, умоляли о принятіи мѣръ противъ золъ, существующихъ въ обществѣ, и съ благонадежностью могли испрашивать у его правосудія законовъ, для всѣхъ равно благодѣтельныхъ. Слѣдовательно, желанія новѣйшихъ народовъ стремятся только къ тому, чтобы верховная власть

имѣла всю возможность къ открытію общественныхъ безпорядковъ и всю силу, потребную къ прекращенію оныхъ. Таковое устройство государствъ служитъ залогомъ безопасности подданныхъ и величія трона. Сочетавая волю верховнаго властителя съ волею общею, оно совокупляетъ ихъ неразрывными узами. Никому не можетъ оно внушить опасенія, ибо оставляетъ каждого на своемъ мѣстѣ и со всѣми правами, каковыя только въ обществѣ благоустроенномъ допущены быть могутъ» («Сынъ Отеч.», 1818 г., № XVIII). «Духъ журналовъ», опираясь на мысли, усиленные авторитетомъ самого императора, печаталъ цѣлкомъ, въ томъ же году, баварскую конституцію съ такимъ примѣчаніемъ отъ редакціи: «1818 годъ останется навсегда незабвеннымъ въ лѣтописяхъ Баваріи: въ семъ году баварцы получили отъ короля своего государственное уложеніе (конституцію), на правахъ законной свободы, политической и гражданской, основанное. Актъ сей есть толикой важности, что мы нужнымъ считаемъ сообщить оный вполнѣ». Въ слѣдующемъ же году, въ первой своей книжкѣ, «Духъ журналовъ» откликнулся на жгучій вопросъ еще рѣшительнѣе, въ статьѣ подъ громкимъ заглавіемъ: «Чего требуетъ духъ времени? Чего желаютъ народы?» «Народы — отвѣчаетъ авторъ на этотъ вопросъ — желаютъ владычества законовъ — коренныхъ, неизмѣнныхъ, опредѣляющихъ права и обязанности каждого, равно обязательныхъ и для властей, и для подвластныхъ, при которыхъ самовластіе мѣста имѣть не можетъ, и которыхъ столь же невозможно было бы ниспровергнуть, какъ и уклониться отъ нихъ. Спросите всѣ христіанскіе народы, во всѣхъ частяхъ свѣта: они другого

желанія не имѣють. Сіе одно имѣли въ виду въ продолжительныхъ войнахъ; для сего проливали кровь, терпѣли столько бѣдствій, перенесли неслыханныя тягости,—чтобы дѣти ихъ, внуки и правнуки блаженствовали подъ сѣнію владычества законовъ. Вотъ духъ времени, цѣль всеобщихъ желаній, не всѣми ясно понимаемая, но истинная, единственная цѣль... Сами государи восчувствовали необходимость поставить владычество законовъ на незыблемомъ основаніи, они сами одинъ передъ другимъ ревнуютъ (особенной ревности, впрочемъ, не было замѣтно) даровать народамъ своимъ сей залогъ отеческаго о нихъ попеченія, сей памятникъ мудрости своей и надежнѣйшее ручательство будущаго ихъ благоденствія—государственное уложеніе. Но уложеніе на бумагѣ есть только мертвая буква: оно также можетъ быть устранено, перетолковано, брошено, какъ тысячи другихъ узаконеній. Чтобъ оно было всегда въ силѣ, для сего необходимо нужно дать ему самостоятельное бытіе и учредить при немъ блюстителей. Многочисленными опытами доказано, что всякое сословіе, подъ вліяніемъ правительства состоящее, не можетъ быть надежнымъ охранителемъ государственнаго уложенія. Природные блюстители онаго суть народные представители. Они суть вѣрные охранители его неприкосновенности, преслѣдователи нарушителей его, совѣтники государей и соучастники въ законодательствѣ; безъ нихъ никакой новый законъ не можетъ быть изданъ, никакой налогъ паложень, никакое важное предпріятіе предпринято. Чрезъ нихъ народъ имѣетъ свой голосъ, который есть тогда по истинѣ гласъ Божій; при нихъ личность и собственность каждаго останется неприкосновенною, при нихъ никакое

злоупотребленіе власти не укроется, никакое нарушеніе правъ не останется безнаказаннымъ; при нихъ правосудіе недреманно, сильный не смѣетъ положить на вѣсы руки своей, ниже богатый—злата, чтобы наклонить ихъ къ обвиненію невиннаго: все тогда дѣлается гласно и предъ очами всѣхъ, ибо правда и доброе дѣло не имѣютъ нужды скрываться въ тайнѣ. Такое устройство сильно укрѣпляетъ духъ народный и ускоряетъ преуспѣваніе всего истинно полезнаго. А что всего важнѣе: вся машина государственнаго управленія, сообразно потребностямъ времени, легко поправляется и совершенствуется безъ внезапныхъ потрясеній, никогда не препинается въ ходѣ, но всякій разъ, когда нужно, заводится вновь и идетъ всегда ровно, единообразно и благоустройно. И вотъ чего требуетъ духъ времени, чего желаютъ народы—и въ чемъ сами государи предупреждаютъ ихъ желанія». Кромѣ общихъ политическихъ вопросовъ, въ русской журналистикѣ обсуждались довольно свободно и нѣкоторыя частныя явленія нашей государственной жизни. Крѣпостное право,—не смотря на перемежающуюся строгость цензуры или, лучше сказать, благодаря тому, что эта строгость не всегда поддерживалась съ одинаковымъ рвеніемъ,—подвергалось не разъ открытому нападенію, которое сильно озабочивало собой защитниковъ рабства. Органомъ этихъ дебатовъ служили попеременно различныя изданія. Такъ, напримеръ, «Духъ журналовъ» далъ у себя мѣсто статьѣ Правдина (быть можетъ, псевдонимъ какого-нибудь вліятельнаго лица), въ которой сравнивается положеніе крестьянъ въ Россіи и за границей, и отсюда дѣлаются разные, благоприятные для крѣпостнаго права, выводы. Правдинъ на-

ходить, что крѣпостное состояніе русскихъ крестьянъ обезпечиваетъ имъ, по крайней мѣрѣ, кусокъ насущнаго хлѣба, тогда какъ заграничные пролетаріи, принужденные скитаться отъ одного землевладѣльца къ другому, умираютъ съ голоду, впадаютъ въ преступленія или выселяются толпами въ Америку и Россію. Всѣ эти разсужденія пересыпаются возгласами о челоуѣколюбіи русскихъ помѣщиковъ, объ ихъ отеческой нѣжности къ своимъ крестьянамъ и пр. и пр. Апологія крѣпостничества не осталась безъ возраженія, и въ «Сынѣ Отечества» появилась противъ нея рѣзкая статья, гдѣ всѣ доводы Правдина разбирались поодиночкѣ, сопровождаемые остроумнымъ глумленіемъ надъ этимъ доморожденнымъ философомъ.

«Первое важнѣйшее право иностраннаго крестьянина—читаемъ въ «Сынѣ Отечества»—состоитъ въ томъ, что онъ самъ себѣ принадлежитъ и не переходитъ изъ рукъ въ руки посредствомъ мѣны, продажи, дара, наслѣдства и другихъ сдѣлокъ, но всегда остается своимъ господиномъ, и сіе право такъ драгоценно, что, еслибы захотѣли присвоить и продать частно или съ аукціона самого сочинителя Правдина, то бы онъ вѣрно на сію перемѣну состоянія не согласился, хотя бы покупщикъ самому ему равенъ былъ въ челоуѣколюбіи. Хорошо тамъ, гдѣ насъ нѣтъ; легко проповѣдовать благополучіе неволи на чужой счетъ и рекомендовать оную другимъ, какъ райское состояніе, а самому навсегда оставаться при худой свободѣ. Второе важное право иностраннаго крестьянина состоитъ въ томъ, что сына его никто не возьметъ невольно въ личное услуженіе, какъ-то въ конюхи, лакеи, псари и т. п. Дочь его также не бу-

дѣтъ взята въ кухарки, поломойки, горничныя и проч., но останется при родителяхъ своихъ до замужства, а потомъ вступить въ бракъ только по собственной склонности и по родительскому благословенію. Словомъ сказать, бракъ сей совершится по точному смыслу постановленій церкви, а не такъ, какъ онъ происходитъ часто между крѣпостными: парню приказываютъ жениться на такой-то дѣвкѣ, а сей-непремѣнно за него выйти, а если кто изъ нихъ окажется преслушнымъ, тотъ непремѣнно будетъ наказанъ. Третье важное право иностраннаго крестьянина состоитъ въ томъ, что онъ занимается дѣлами, къ его пользѣ относящимися, по собственному усмотрѣнію: нанимаетъ землю у кого хочетъ и такую, какая ему надобна; платитъ за нее оброкъ, на какой самъ добровольно согласится. За то всѣ плоды его трудолюбія принадлежать ему неотъемлемо. Работу исправляетъ онъ по собственному побужденію, а не по наказу, и трудится прилежно, имѣя несомнѣнную надежду улучшить свое состояніе. Никто не накажетъ его произвольно и пристрастно, ибо никто не имѣетъ къ тому ни права, ни побужденія». Далѣе авторъ доказываетъ, что экономическое положеніе иностранныхъ крестьянъ нельзя и сравнивать съ бытомъ нашихъ ободранныхъ крѣпостныхъ, что количество преступленій, падающихъ въ Западной Европѣ на низшій классъ, вѣзется намъ громаднымъ только потому, что у насъ все шито да крыто, тогда какъ тамъ судъ производится публично и процессы печатаются въ газетахъ; переселеніе же крестьянъ въ Америку и въ наше «благословенное отечество» объясняется не свободою, а другими причинами, неимѣющими съ нею ничего общаго. «Знаетъ

ли г. Правдинъ—продолжаетъ его оппонентъ—откуда переселились въ Россію колонисты? Изъ Баваріи, гдѣ феодальныя права помѣщиковъ на крестьянъ, живущихъ въ ихъ помѣстьяхъ, еще отчасти не уничтожены, гдѣ правительство, по географическому положенію своей страны, принимаетъ великое участіе въ политическихъ связяхъ Европы. Какая война между Франціей и Германіей не обращалась въ тягость Баварскому королевству? Къ тому же переселились къ намъ баварцы не католическаго, но лютеранскаго закона, слѣдовательно люди, исповѣдующіе не господствующую религію въ Баваріи. Правда, что правительство не преслѣдуетъ ихъ, какъ Юліанъ Богоотступникъ христіанъ преслѣдовалъ, но ихъ тѣснить духъ партій и ненависть католиковъ. Потому не свобода гонить ихъ въ Россію, а притѣсненія; не она виновна въ ихъ бѣдности, а другія причины. Свобода вѣроисповѣданія привела къ намъ гернгутеровъ нѣмецкихъ и шотландскихъ. Къ намъ переселились также въ разныя времена жители Эльзаса. Пусть г. авторъ вспомнить, каково было состояніе сей страны со-временъ Людовика XIV и по 1818 годъ. Ихъ участь была такая же, каковую терпѣть молдаване, валахи и сербы со временъ Петра I. Здѣсь же надобно припомнить, что иностранные крестьяне приходятъ къ намъ не для того, чтобы поступать въ крѣпостные, но чтобы свободно заниматься земледѣліемъ и приобрѣтатьพอสมควร достатокъ для себя, а не для другихъ. Пусть любопытный прочитаетъ манифесты объ иностранныхъ поселенцахъ, изданные императрицею Екатериною II и благополучно царствующимъ императоромъ. Въ правахъ, предоставленныхъ сямъ иностранцамъ, найдетъ онъ также причину ихъ

благосостоянія. Если они, какъ увѣряетъ авторъ, бѣжали отъ свободы, то почему до сихъ поръ не подали еще просьбы объ укрѣпленіи ихъ за какимъ-либо благодѣтельнымъ помѣщникомъ? Нѣкоторыя колоніи существуютъ уже 30 и 40 лѣтъ въ Россіи и до сихъ поръ еще не увѣрились въ преимуществѣ закрѣпощенія передъ свободою. Пусть же г. авторъ напишетъ объявленіе въ иностранныхъ газетахъ о намѣреніи укрѣпить за собою нѣсколько душъ крестьянъ и пригласитъ желающихъ воспользоваться симъ случаемъ поступить къ нему въ собственность. Но онъ долженъ изъяснить притомъ всѣ права свои и обязанности крестьянъ — посмотримъ, много ли явится къ нему желающихъ?» («Сынъ Отеч.» 1818 г., № 17). Въ другихъ случаяхъ, тотъ же «Духъ журналовъ», съ которымъ полемизировалъ «Сынъ Отечества» по крестьянскому вопросу, относился сочувственно къ несчастному положенію низшихъ классовъ, какъ, напримѣръ, въ статьяхъ: о сохранныхъ кассахъ (1819 г., № 2), о винномъ откупѣ (1817 г., № 3) и пр. Самый вопросъ о крѣпостномъ правѣ былъ возбужденъ редакціею этого журнала въ видѣ письма отъ посторонняго лица и оставленъ открытымъ для обсуждения. Вообще говоря, крестьянскій вопросъ постоянно затрогивался въ нашей литературѣ, во все время царствованія Александра Павловича, начиная съ книги Пнина и кончая статьей, напечатанной въ «Историческомъ журналѣ» за 1820 годъ, и мыслящіе люди находили возможность, хоть изрѣдка, урывками, взглянуть на этотъ предметъ тѣмъ же прямымъ и просвѣщеннымъ взглядомъ, какимъ смотрѣли они на различныя формы политическаго устройства. Одновременно съ журнальными статьями, трактовавшими о представи-

тельномъ правленіи, крѣпостномъ правѣ, свободѣ печати и гласномъ судопроизводствѣ, появились у насъ два замѣчательныя ученыя изслѣдованія, которыя обратили бы на себя вниманіе даже въ болѣе богатыхъ европейскихъ литературахъ. Мы разумѣемъ «Естественное право» Куницына и «Опытъ теоріи налоговъ» Н. И. Тургенева. Въ первой изъ этихъ книгъ талантливый авторъ, слѣдую ученію Руссо и Канта, разсматривалъ государственный союзъ, какъ свободный договоръ, заключаемый между верховной властью и ея подданными, и съ большою логической силой и смѣлостью примѣнялъ этотъ основной принципъ ко всѣмъ рѣшительно проявленіямъ государственной жизни. «Если исполнитель закона—говоритъ Куницынъ—поставляетъ на мѣсто онаго свою волю, то подданные имѣютъ право ему противиться; ибо кто требуетъ не, того, что законы повелѣваютъ, тотъ незаконно присвоиваетъ себѣ власть законодателя. Власть можетъ быть передана только по согласію всѣхъ членовъ общества, ибо въ договорѣ соединенія нѣтъ условія, обязывающаго частнаго члена повиноваться произволу другихъ... Всѣ подданные одинъ другому равны, но равенство состоитъ въ томъ, что всѣ они равно могутъ быть принуждаемы властителемъ соблюдать взаимныя права, ибо властитель обязанъ защищать права всѣхъ членовъ государства равною силою. Слѣдовательно, ненаказанность одного, строжайшее наказаніе другого въ одинаковыхъ случаяхъ и за равныя преступленія не могутъ быть допущены по началамъ права. Равенство нарушается, когда одному предоставлена свобода пріобрѣтать такое право, которое воспрещено другимъ. Если не противно цѣли общества, когда одинъ кто либо распола-

гаеть извѣстнымъ правомъ, то и другой на томъ же основаніи располагать онымъ можетъ». (Право естеств. Ч. II, стр. 65, 78, 108). Предоставляя властямъ право собирать свѣдѣнія объ имуществѣ, сизахъ и поступкахъ подданныхъ, авторъ прибавляетъ: «Но властитель не можетъ употреблять для того средства, несовмѣстныя съ свободою и честью гражданъ, ибо, по договору подданства, граждане передали властителю право охранять всѣ свои права, слѣдовательно также и право на честь. Ни одинъ изъ подданныхъ не можетъ принять такого порученія, которое противно свободѣ его согражданъ, ибо, по договору соединенія, граждане обѣщали не нарушать взаимныхъ правъ. Посему каждый согладаясь есть врагъ общества, ибо онъ нарушаетъ свободу частныхъ людей, которую граждане государства обязались защищать совокупными силами. Итакъ, освѣдомленіе о поведеніи подданныхъ не должно нарушать частной свободы». Когда же найдутся основательныя причины подозрѣвать извѣстное лицо въ опасномъ намѣреніи, то и «тутъ самое подозрѣніе должно составлять актъ законный, судьбою совершенный, ибо, по договору подданства, каждый обязался отвѣчать за свои дѣйствія закону, а не частному произволу. Изысканіе подозрѣнія, падающаго на какое либо лицо, состоитъ только въ точномъ разсмотрѣніи причинъ, къ оправданію или обличенію онаго служащихъ; слѣдовательно никакое насиліе причинено оному быть не можетъ. Подозрѣваемый въ преступленіи не есть еще преступникъ дѣйствительный. Слѣдовательно пытка и всякое истязаніе суть дѣйствія незаконныя» (стр. 88—91). Обязательность этихъ правилъ, по мнѣнію автора, не должна нарушаться ради, такъ называемыхъ, государственныхъ причинъ

(raisons d'état)—«которыми въ практикѣ прикрываются несправедливые поступки и которыя не могутъ быть допущены правомъ естественнымъ. Сія темныя выраженія употребляются для отвращенія соблазна, который необходимо происходитъ въ народѣ отъ созерцанія неправоты, публичною властію причиняемой или допускаемой.» Вторую книгу, т. е. сочиненіе Тургенева, Куницынъ же съ восторгомъ привѣтствовалъ, какъ предвѣстіе новаго фазиса въ развитіи русской литературы. «Просвѣщеніе Россіи—писалъ въ своемъ разборѣ чуткій и умный рецензентъ—несмотря на мѣстныя обстоятельства, распространяется по тѣмъ же правиламъ, по которымъ оно распространялось въ другихъ государствахъ. Петръ I, воинъ и зиждатель, хотѣлъ укоренить въ Россіи прежде науки математическія и физическія; но вмѣсто оныхъ большаго совершенства донинѣ у насъ достигли науки словесныя. Намъ такъ же, какъ и другимъ народамъ, надлежало написать множество стиховъ, сочинить и перевести съ иностранныхъ языковъ множество романовъ—въ чемъ и нынѣ рачительно упражняемся—надлежало прежде долго обучаться всему у другихъ народовъ, и потомъ уже могли мы получить смѣлость писать о предметахъ важныхъ и общепользныхъ. Такимъ образомъ, съ начала текущаго столѣтія, мы занялись, съ большимъ прилежаніемъ и успѣхами, науками точными... Мы имѣемъ, наконецъ, отечественныхъ сочинителей по части сельскаго хозяйства, математики и физики, по части законовѣдѣнія теоретическаго и практическаго, по части управленія государства вообще. Исторія и статистика россійскаго государства нынѣ обрабатываются не одними иностранцами, но и природными россиянами... Нау-

ка финансовъ есть новая вѣтвь образованія въ нашемъ отечествѣ. До перевода сочиненія гр. Верри мы ничего на русскомъ языкѣ не читали о государственномъ хозяйствѣ; до перевода творенія Адама Смита мы ничего не могли знать о налогахъ изъ русскихъ сочиненій, и искусство опредѣлять и собирать подати почитали непринадлежащимъ къ кругу свѣдѣній частнаго человѣка. То, что непосредственно насъ касается, почитали мы дѣломъ чуждымъ и отдаленнымъ отъ нашихъ выгодъ; то, что составляетъ общій предметъ нашего вниманія, мы признавали собственностью нѣкотораго только класса людей. Нынѣ другое получаемъ понятіе о финансахъ: дѣло общее становится предметомъ общаго разсужденія. Мы не станемъ распространяться о томъ значеніи, какое имѣла, въ свое время, книга Тургенева; достаточно сказать, что онъ первый заговорилъ объ источникахъ государственныхъ доходовъ, о распредѣленіи налоговъ «между всѣми гражданами въ одинаковой соразмѣрности, безъ исключеній, вредныхъ для общества», объ ихъ опредѣленности, которая должна быть независима отъ власти собирателей (стр. 32—34), о собираніи налоговъ въ удобнѣйшую для плательщика пору, при чемъ авторъ находилъ не только бесполезными, но и противными цѣли тѣлесныя наказанія, а также аресты и тюремныя заключенія, на томъ основаніи, что «если плательщикъ не имѣетъ средствъ удовлетворить требованіе казны, то чрезъ понесенное наказаніе не сдѣлается къ тому способнѣе; если же онъ имѣетъ собственность, то, въ крайнемъ случаѣ, она только можетъ подлежать продажѣ и вычету налога» (стр. 232—34). Онъ говорилъ также о налогѣ съ наслѣдства, о бумажныхъ деньгахъ, какъ о налогѣ, и—

по справедливому замѣчанію Куницына — «изложилъ свои мысли такъ ясно и подробно, что книга его можетъ быть полезна и для тѣхъ, которые, безъ предварительнаго наставленія, сами собою хотятъ приобрѣсти свѣдѣнія объ этой важной части государственнаго управленія («Сынъ От.» 1818 г., № 50 и 51). Тотъ же Тургеневъ стоялъ, какъ извѣстно, за освобожденіе крестьянъ съ землею, и этою мѣрою подсылалъ въ корни возраженіе сторонниковъ рабства, что крестьяне, внезапно освобожденные и не имѣющіе никакой собственности, останутся безъ куска хлѣба...

VI.

Мы не хотимъ преувеличивать важности направленія, вкратцѣ очерченнаго нами; но не имѣемъ также никакихъ причинъ ослаблять и унижать его значеніе въ пользу тенденцій, лишенныхъ всякаго достоинства и прониженныхъ духомъ вражды или недовѣрія ко всему молодому, новому, свѣжему, только что зачинавшемуся въ общественной жизни. Конечно, либерализмъ русской литературы 20-хъ годовъ не отличался особенной глубиною и рѣшительностью; конечно, можно возразить многое, и съ теоретической, и съ практической стороны, противъ различныхъ мѣръ, предложенныхъ въ законодательномъ проектѣ Сперанскаго; но, во первыхъ, не слѣдуетъ забывать, что наша литература не могла высказываться вполне ясно и опредѣленно, и движеніе, происходившее въ обществѣ, только до нѣкоторой степени прорывалось въ печати; во вторыхъ, всѣ эти возраженія законны и убѣдительны вовсе не съ той точки зрѣнія, на какой стояли

наши «классическіе» писатели въ родѣ Карамзина. Сперанскому можно было возразить, что его государственной реформѣ должна была предшествовать реформа крестьянская; защитникамъ освобожденія крестьянъ полезно было напомнить (какъ то и дѣлалъ Н. И. Тургеневъ), что личная свобода должна основываться на свободѣ экономической; но развѣ то самое говорили Карамзинъ и его союзники? Развѣ они устраняли недостатки проектируемыхъ реформъ, а не отпихивали ихъ цѣликомъ во имя вѣлѣмыхъ понятій объ интересахъ государства и правахъ личности? Развѣ все послѣдующее развитіе русской мысли приближалось къ идеаламъ Карамзина, а не отходило отъ нихъ на болѣе и болѣе значительное разстояніе? Развѣ, наконецъ, великое слово, разрѣшившее въ наши дни крѣпостныя узы народа и давшее ему равный для всѣхъ гласный судъ—развѣ это слово находится въ большей гармоніи со взглядами Карамзина, чѣмъ съ идеями Сперанскаго, Тургенева и Куницына? Нѣтъ и нѣтъ! Въ томъ-то и сила, что Карамзинъ порицалъ современныя ему явленія, какъ человѣкъ отсталый и безъ толку раздраженный, не умѣя ни спорить логически, ни понимать надлежащимъ образомъ возраженія своихъ противниковъ. А противниками этими были всѣ передовые люди русскаго общества. Борьба Карамзина со Сперанскимъ уже показала, чего можно ожидать отъ сентиментальнаго панегириста «Марѣи Посадницы». Самъ Сперанскій, возвратясь изъ ссылки, избѣгалъ даже встрѣчи съ Карамзинымъ. «Сперанскій холоденъ со мною какъ ледъ—писалъ въ 1821 г. историкъ государства русскаго—едва говорить, и то уже въ случаѣ необходимости; къ намъ не

ходить, и я къ нему не хожу» (Письма къ Дмитріеву, стр. 313). Да и что могъ чувствовать Сперанскій, кромѣ неуваженія, къ одному изъ представителей ретроградной партіи, отъ противодѣйствія которой пали въ прахъ всѣ его лучшія надежды и стремленія? Не съ бѣльшимъ уваженіемъ отнесся къ Карамзину, по выходѣ его исторіи, и молодой Пушкинъ. Недовольство людей, считавшихъ непригодными историческіе взгляды Карамзина, не могло свободно выражаться въ тогдашней прессѣ, но изъ записки Н. Муравьева, напечатанной г. Погодинымъ, видно, въ чемъ состояло это недовольство и какія именно мысли знаменитаго «предисловія» вызывали сильнѣйшую оппозицію въ либеральной части русскаго общества. Карамзинъ, напримѣръ, писалъ въ своемъ предисловіи, что «исторія представляетъ намъ, какъ благотворная власть обуздывала бурное стремленіе мятежныхъ страстей». А Муравьевъ замѣчалъ на это: «Согласимся, что сіи примѣры рѣдки. Обыкновенно страстямъ противятся другія-же страсти; борьба начинается, способности душевныя и умственныя съ обѣихъ сторонъ пріобрѣтають наибольшую силу. Наконецъ, противники утомляются, познають общую выгоду, и примиреніе заключается благоразумною опытностью. Вообщемъ весьма трудно малому числу людей быть выше страстей народовъ, къ которымъ принадлежать они сами, быть благоразумнѣе вѣка и удерживать стремленіе цѣлыхъ обществъ. Слабы соображенія наши противъ естественнаго хода вещей. И даже тогда, когда мы воображаемъ, что дѣйствуемъ по собственному произволу, и тогда мы повинемся прошедшему—дополняемъ то, что сдѣлано, то, чего требу-

еть отъ насъ общее мнѣніе... Вообще, отъ самыхъ первыхъ временъ одни и тѣ же явленія. Отъ времени до времени рождаются новыя понятія, новыя мысли; онѣ долго маются, созрѣваютъ, потомъ быстро распространяются и производятъ долговременныя явленія, за которыми слѣдуетъ новый порядокъ вещей, новая нравственная система». Здѣсь, какъ видитъ читатель, столкнулись два совершенно противоположные взгляда на вещи: Карамзинъ видѣлъ въ исторіи два ряда явленій, не имѣющихъ между собою ничего общаго — съ одной стороны мятежныя страсти народовъ, а съ другой благотворныя дѣйствія власти;—Муравьевъ же полагалъ, что мятежныя страсти господствуютъ какъ на той, такъ и на другой сторонѣ, и задача правительствъ состоитъ не въ томъ только, чтобы «обуздывать» желанія народа, но въ томъ, чтобы сообразоваться съ «общимъ мнѣніемъ» и дѣлать своевременныя уступки новымъ понятіямъ. Далѣе Карамзинъ требуетъ, чтобы изученіе исторіи «мирно насъ съ несовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣкахъ»; а Муравьевъ говоритъ: «Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищъ всего земнаго: но исторія должна-ли только мирить насъ съ несовершенствомъ, должна ли погружать насъ въ нравственный сонъ квіэтизма? Въ томъ ли состоитъ гражданская добродѣтель, которую народное бытописаніе воспламенять обязано? Не миръ, но брань вѣчная должна существовать между зломъ и благомъ; добродѣтельные граждане должны быть въ вѣчномъ союзѣ противъ заблужденій и пороковъ. Не примиреніе наше съ несовершенствомъ, не удовлетвореніе суетнаго любопытства,

не пища чувствительности, не забавы праздности составляют предметъ исторіи. Она возжигаетъ соревнованіе вѣковъ, пробуждаетъ душевныя силы наши и устремляетъ къ тому совершенству, которое суждено на землѣ. Священными устами исторіи праотцы взываютъ къ намъ: «не посрамите земли русскія». Несовершенство видимаго порядка вещей есть, безъ сомнѣнія, обыкновенное явленіе во всѣхъ вѣкахъ, но есть различіе между несовершенствами. Кто сравнитъ несовершенства вѣка Фабриціевъ или Антониновъ съ несовершенствами вѣка Нерона или гнуснаго Геліогабала, когда честь, жизнь и самыя права гражданъ зависѣли отъ произвола развращеннаго отрока, когда владыки міра, римляне, уподоблялись безсмысленнымъ тварямъ?» Точно также остался неудовлетворенъ «предисловіемъ» Карамзина извѣстный Лелевель, напечатавшій свой разборъ въ «Сѣверномъ Архивѣ» за 1822 годъ (№ 23); а черезъ нѣсколько лѣтъ по смерти Карамзина Н. А. Полевой рискнулъ, наконецъ, высказать прямое и откровенное мнѣніе о всей литературной дѣятельности сошедшаго съ поприща писателя. «Хронологическій взглядъ на литературное поприще Карамзина—писалъ онъ — показываетъ намъ, что онъ былъ литераторъ, философъ, историкъ прошедшаго вѣка; прежняго, не нашего поколѣнія. Это весьма важно для насъ во всѣхъ отношеніяхъ, ибо симъ вѣрно оцѣняются достоинства Карамзина, его заслуги и слава... Онъ былъ, безъ сомнѣнія, первый литераторъ своего народа въ концѣ прошедшаго столѣтія, былъ, можетъ быть, самый просвѣщенный изъ русскихъ, современныхъ ему, писателей. Между тѣмъ вѣкъ двигался съ неслыханною до того времени быстротою. Ни-

когда не было открыто, изъяснено, обдуманно столь много, какъ въ Европѣ въ послѣднія 25 лѣтъ. Все измѣнилось и въ политическомъ, и въ литературномъ мірѣ. Философія, теорія словесности, поэзія, исторія, знанія политическія — все преобразовалось. Но когда начался сей новый періодъ измѣненій, Карамзинъ уже кончилъ свои подвиги вообще въ литературѣ; онъ не былъ дѣйствующимъ лицомъ; одна мысль занимала его — исторія отечества... Безъ него развилась новая русская поэзія, началось изученіе философіи, исторіи, политическихъ знаній сообразно новымъ идеямъ, новымъ понятіямъ нѣмцевъ, англичанъ и французовъ, перекаленныхъ (*retrempés*, какъ они сами говорятъ) въ страшной бурѣ, и обновленныхъ на новую жизнь». Объ исторіи Карамзина Полевой отзывался слѣдующимъ образомъ: «Жизнь Россіи остается для читателя неизвѣстною, хотя его утомляютъ подробностями неважными, ничтожными, занимаютъ, трогаютъ картинами великими, ужасными, выводятъ передъ нимъ толпу людей, до излишества огромную. Карамзинъ нигдѣ не представляетъ вамъ духа народнаго, не изображаетъ многочисленныхъ переходовъ его отъ варяжскаго феодализма до деспотическаго правленія Іоанна и до самобытнаго возрожденія при Мининѣ. Вы видите стройную, продолжительную галерею портретовъ, поставленныхъ въ одинакія рамки, нарисованныхъ не съ натуры, но по волѣ художника, и одѣтыхъ также по его волѣ. Это — лѣтопись, написанная мастерски, а не исторія» («Моск. Телегр.» 1829 года, № 12).

Бѣлинскій, отдавая справедливость многимъ заслугамъ Карамзина, уже просто подтрунивалъ надъ людьми, ко-

торне «живутъ памятью сердца и не могутъ выйти изъ убѣжденія, что Карамзинъ былъ великій геній, и что его творенія вѣчны и равно свѣжи для настоящаго и будущаго, какъ они были для прошедшаго» (т. VIII, стр. 139). А г. Галяковъ до сихъ поръ не хочетъ знать этихъ отзывовъ и, воскуривъ фиміамъ, священнодѣйствуетъ по старинному на могилѣ Карамзина, какъ будто бы вокругъ него стоятъ князья Шаликовы, Макаровы и другіе сверстники автора «Бѣдной Лизы», какъ будто бы въ цѣлой подлунной не произошло ничего новаго послѣ бесѣды Филагета съ Мелодоромъ...

Время и мѣсто не позволяютъ намъ останавливаться на Жуковскомъ и Крыловѣ съ тою же подробностью, съ какою остановились мы на Карамзинѣ; но все сказанное нами относится въ полной мѣрѣ къ Жуковскому и отчасти къ Крылову. Жуковский — при всѣхъ симпатичныхъ сторонахъ своей личности и своего таланта — не лучше Карамзина понималъ духъ вѣка, не съ большимъ сочувствіемъ относился къ нему, и его литературная карьера только тѣмъ отличается отъ карамзинской, что онъ началъ съ того, чѣмъ кончилъ Карамзинъ. У послѣдняго былъ короткій періодъ увлеченія свободной философіей; онъ идеализировалъ Марку Посадницу, увлекался швейцарской республикой и уважалъ даже Робеспьера; Жуковский же прямо началъ съ идеализаціи кроткихъ семейныхъ добродѣтелей, съ проповѣди общественнаго застоя, и никогда не сворачивалъ съ этой дороги. Въ началѣ своей дѣятельности онъ пѣлъ:

Друзья, любите снѣ родительскаго крова!
Гдѣ-жъ счастье, какъ не здѣсь, на лонѣ тишины,
Съ забвеніемъ суетъ, съ безпечностью свободы?
О, блага чистія, о, сладкій даръ природы!

Гдѣ вы, мои поля? Гдѣ вы, любовь весны?
Страна, гдѣ я разцвѣлъ въ тѣни уединенія,
Гдѣ сладость тайная во грудь мою лилась и пр. и пр.

А въ концѣ поприща, пройдя безучастно среди умственныхъ тревогъ и волненій александровскаго времени, онъ успокоился въ томъ же семейномъ кругу, который воспѣвалъ съ юныхъ лѣтъ:

И нинѣ тихо, безъ волненія льется
Потокъ мой уединенной жизни.
Смотря въ лицо подруги, данной Богомъ,
На освященіе сердца моего,
Смотри, какъ спитъ сномъ ангела на лонѣ
У матери младенецъ мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тотъ покой,
Котораго такъ жадно здѣсь мы ищемъ...

Даже издавая журналъ, Жуковский вносилъ въ свою программу такую обязанность: «имѣй въ виду семейство, въ которомъ со временемъ, на самомъ дѣлѣ, ты могъ бы исполнить всѣ лучшія мечты, озаряющія твою душу въ часы уединеннаго размышленія; симъ сладостнымъ ожиданіемъ разсѣвай скуку временнаго одиночества, воображая, что дѣйствуешь въ глазахъ избраннаго, достойнаго любви, привязаннаго къ тебѣ существа» (соч. Ж.-го. Изд. 1869 г. Т. VI.). Къ общественнымъ движеніямъ, къ попыткамъ политическихъ реформъ Жуковский относился съ такою же беспощадной строгостью, какъ и Карамзинъ. Такъ, въ одномъ своемъ письмѣ, онъ порицаетъ происшествія 1848 года въ Германіи; въ другомъ прозаическомъ очеркѣ, по поводу того же возникновенія представительныхъ правительствъ въ Германіи, Жуковский пророчитъ: «представительная система сама себя въ своемъ развитіи уничтожить, уступивъ, наконецъ, мѣсто чистой монархіи, опирающейся на государственные штаты». У насъ, до

сихъ поръ, считаютъ Карамзина родоначальникомъ сентиментальнаго направленія, а Жуковскаго — представителемъ романтизма въ русской литературѣ; но если мы перестанемъ гоняться за словами, то увидимъ, что въ стремленіяхъ и идеалахъ обоихъ этихъ писателей существуетъ полнѣйшая солидарность, слегка оттъняемая нѣкоторыми личными свойствами ихъ характеровъ. У Жуковскаго больше теплоты и сердечности, у Карамзина — холодности и резонерства; Жуковский, какъ мистикъ и мечтатель, больше тянется къ облакамъ, Карамзинъ же гораздо положительнѣе его. Но чуть лишь Жуковский вступилъ въ земную юдоль, — онъ смотритъ на все глазами Карамзина. Семейный кружокъ является для него такъ же, какъ и для Карамзина, апопееозой земнаго счастья; патриархальныя условія общественной жизни кажутся ему такою же точно святыней, до которой не должна касаться ничья продерзостная рука. Обоихъ писателей можно назвать одинаково проповѣдниками общественнаго квіэтизма (черта, усмотрѣнная въ Карамзинѣ Муравьевымъ) и узенькаго благополучія въ домашней сферѣ. Съ словомъ же «романтизмъ» нужно обращаться крайне осторожно, такъ-какъ оно производило въ оны дни такую же путаницу въ умахъ, какую производитъ въ наше время, пресловутая кличка нигилизма. Подъ романтизмомъ понимали вообще уклоненіе отъ старыхъ школьныхъ правилъ, выработанныхъ псевдоклассическими пѣтиками, и этимъ отрицательнымъ названіемъ, которое, собственно говоря, ничего не опредѣляло, окрестили людей различнаго направленія, сходящихся въ противодѣйствіи мерзляковской риторикѣ. Такимъ образомъ, подъ это названіе подошли и Жуковский, и Пушкинъ, и Веневити-

новъ, и Рыгѣевъ, хотя каждый изъ нихъ вносилъ въ литературу совершенно особые элементы, весьма мало похожіе одинъ на другой. Какое сходство, напримѣръ, между «добрымъ и счастливымъ человѣкомъ» Жуковскаго, который ищетъ «лучшихъ наслажденій и драгоцѣнныхъ наградъ въ нѣдрѣ семейства», и тѣмъ вѣчно-тревожнымъ, самоотверженнымъ общественнымъ дѣятелемъ, который сказалъ о себѣ:

Еще отъ самой колибели
Къ свободѣ страсть жила во мнѣ;
Мнѣ мать и сестры пѣсни пѣли
О незабвенной старинѣ!

Столь же мало общаго между Теономъ, усѣвшимся мирно у гроба своей возлюбленной въ ожиданіи будущей съ нею встрѣчи, и пушкинскимъ Алеко, который мечется изъ патра въ шатеръ подъ вліяніемъ байроновскаго скептицизма и разочарованія. Веневитиновъ стоитъ также особнякомъ въ этой группѣ, съ своимъ разностороннимъ образованіемъ, съ своей философской пытливостью, наложившей рѣзкій отпечатокъ на всю его поэзію. А между тѣмъ всѣ названныя лица зачислялись современниками подъ одно общее знамя романтизма.—Г. Галаховъ, возвеличивая Карамзина, не упустилъ случая умилиться и предъ Жуковскимъ, и это, по крайней мѣрѣ, послѣдовательно съ его стороны. «Нетрудно оспаривать—говоритъ онъ—положеніе автора, ставящаго семейство на первомъ планѣ, впереди отечества и всего рода человѣческаго; но онъ думалъ такъ, и его мнѣніе имѣло для него силу искренняго убѣжденія. Кто усвоивалъ его образъ мыслей, тому было ясно, что семейство дѣйствительно заключаетъ въ себѣ всѣ особенности идеала, достойнаго сдѣлаться цѣлью исканій каждаго».

Ну а тѣ, кто не усвоилъ себѣ этого образа мыслей—что же вы объ нихъ-то умалчиваете, г. Галаховъ? правы они или нѣтъ, и трудно ли ихъ оспаривать? Впрочемъ г. Галаховъ не умалчиваетъ о нихъ и черезъ двѣ страницы даже вступаетъ съ ними въ полемику. «Обвиняютъ Жуковского—такъ возражается онъ à ses moutons,—что своими заоблачными идеями, своимъ стремленіемъ къ незримоу и таинственному, онъ наводилъ на современныхъ читателей, преимущественно на молодежь, праздную мечтательность, созерцательную косность, не только не притодную, но даже вредную для дѣятельной жизни. Нужно было укрѣплять наши силы въ виду борьбы, предстоящей каждому человѣку въ обществѣ—укоряли его—а онъ разслаблялъ насъ. Но такое обвиненіе, если оно и справедливо (?) падаетъ не на одного Жуковского, а на многихъ поэтовъ-идеалистовъ христіанскаго міра. Одно изъ двухъ: или надобно доказать внутреннюю несостоятельность поэтическаго идеализма вообще (что невозможно), или видя въ немъ не случайное и фальшивое явленіе и признавъ за нимъ *sa raison d'être*, признать съ тѣмъ вмѣстѣ, что онъ настраивалъ сердца къ благороднымъ и возвышеннымъ движеніямъ, которымъ не было причины оставаться безплодными и въ семействѣ, и въ обществѣ. Идеализмъ есть не только необходимая стадія въ развитіи поэзіи, но и необходимая, существенная ея принадлежность, безъ различія времени и народовъ. А если ужъ каждому поэту непремѣнно слѣдуетъ быть Тиртеемъ борьбы въ жизни и для жизни, то притязательные критики могутъ успокоиться: Жуковский также проповѣдовалъ войну—войну души съ нечистыми помыслами и дѣяніями» и пр. Здѣсь

г. Галаховъ начинаетъ уже иронизировать; но надъ кѣмъ или надъ чѣмъ иронизируетъ онъ? Что идеализмъ Жуковского отрываетъ умы людей отъ дѣйствительной жизни, что онъ нашептывалъ имъ пренебреженіе къ общественнымъ связямъ и обязанностямъ, ставя выше всего любовь къ женщинѣ, а, по смерти ея, «стремленіе въ оный таинственный свѣтъ», куда никто не знаетъ дороги; что онъ тормозилъ довольно долго наклонность къ реальному мышленію — въ этомъ едва ли возможно сомнѣваться. Какимъ же чудомъ этотъ идеализмъ сдѣлался «необходимой, существенной принадлежностью поэзіи, безъ различія времени и народовъ»? Не смѣшиваетъ ли, попросту, авторъ творческую идеализацію, дѣйствительно необходимую поэту для осмысливанія и комбинированія наблюдаемыхъ фактовъ, съ идеализмомъ, какъ нравственною системой, слишкомъ извѣстной по своимъ характеристическимъ признакамъ? Если такъ, то пусть онъ посмѣется надъ самимъ собою, а не надъ «притязательными критиками», которые, по всей вѣроятности, лучше его понимаютъ эту разницу.

VII.

До сихъ поръ мы одобряли автора за «последовательность» въ хвалебномъ настроеніи его пера; но теперь пришла минута, когда мы должны сильно ограничить или даже совсемъ отобрать назадъ и этотъ комплиментъ. Въ отношеніи къ Жуковскому г. Галаховъ стоитъ еще твердо и не даетъ его въ обиду разнымъ придирчивымъ критикамъ; но вотъ

зашла рѣчь о Крыловѣ—и картина быстро мѣняется. Г. Галаховъ забываетъ вдругъ всѣ уловки и извороты, всѣ *circonstances atténuantes*, которыми любилъ угостить читателя ю славу своихъ любимцевъ; онъ самъ дѣлается, на этотъ разъ, строгъ и притязателемъ, и пробуетъ на бѣдномъ баснописцѣ всю мощь своего критическаго анализа. Мы бы собственно ничего не возразили противъ такой требовательности, еслибы она примѣнялась равномерно ко всѣмъ богамъ русскаго олимпа; но, обрушиваясь въ частности на одного Крылова, она побуждаетъ невольно вступить за него—по крайней мѣрѣ, «для сравненія его съ сверстниками». Крыловъ, напримѣръ, осуждалъ, подобно Карамзину, либерализмъ александровской эпохи, называлъ ослиами, забравшимися на Парнасъ, первыхъ совѣтниковъ государя, и даже—по мнѣнію г. Кеневича—не пощадилъ и Сперанскаго въ баснѣ: «Орелъ и паукъ», представивъ его въ видѣ паука, который «безъ ума и трудовъ» взлетѣлъ высоко на орлиномъ хвостѣ. Последнее толкованіе г. Кеневича, правда, подвергается сомнѣнію, но общій неодобрительный тонъ Крылова по отношенію къ современному ему политическому свободомыслию не нуждается въ доказательствахъ. Казалось бы, что г. Галахову, потратившему немало краснорѣчія на защиту Карамзина, слѣдовало также отстаивать и Крылова—и, пожалуй, отстаивать съ большимъ азартомъ, такъ-какъ аллегорическія картинки дѣдушки-баснописца легче поддаются объясненію въ ту или другую сторону. Такъ мы и ждали, но — какъ сказано — обманулись. За Сперанскаго г. Галаховъ стоитъ горой; къ свободѣ мысли изъясняетъ платоническое влеченіе и за недостатокъ этого влеченія въ

Крыловъ обзываетъ его—словами Сперанскаго—«порядочнымъ невѣждой». Онъ даже ссорится, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, съ г. Кеневичемъ за его несправимое пристрастіе къ своему идеалу—Крылову. Вотъ, напримѣръ, какому разбору подвергаетъ г. Галаховъ басню Крылова «Водолазъ»:

«Съ какой стороны ни судить о притчѣ—пишетъ нашъ строгій критикъ—она оказывается несостоятельною, построенною на такомъ сравненіи, которое, по французской поговоркѣ, ничего не доказываетъ. Алчность къ приобрѣтенію матеріальныхъ богатствъ нельзя уподоблять жадѣ умственныхъ изслѣдованій, глубинѣ знанія. Въ стремленіи къ истинѣ умъ не можетъ остановиться на серединѣ. Врожденная, совершенно законная пытливость духа влечетъ человѣка нескончаемо и безгранично, хотя бы за это влеченіе онъ жертвовалъ жизнью (боже, какой пагосъ!) или навсегда утрачивалъ счастье, какъ юноша въ Шиллеровомъ стихотвореніи: «Покрытый истуканъ въ Саисѣ». Эта пытливость есть столько же прирожденное намъ свойство, сколько и необходимое условіе нашего совершенствованія, почему и нельзя сказать, будто водолазъ Крылова «погибаетъ оттого, что рѣшился на дѣло, противное природѣ человѣка». (Это сказано г. Кеневичемъ въ одномъ изъ его безчисленныхъ и на половину не нужныхъ примѣчаній). Если же на притчу смотрѣть по отношенію ко времени ея появленія, то ее, по малой мѣрѣ, слѣдуетъ назвать несвоевременною и неумѣстною. Мы и теперь еще не можемъ похвалиться успѣхами въ любомудріи: если любомудріе—зло, то оно и теперь у насъ въ большомъ недостаткѣ, а не въ большомъ излишкѣ. Разумѣется,

и предки наши, въ первую половину царствованія Александра I-го, не до такой степени погружались въ знанія, чтобы слѣдовало удерживать ихъ рвеніе; напротивъ, было бы благоразумнѣе и патріотичнѣе возбуждать въ нихъ охоту къ умственнымъ трудамъ, которыми очень немногіе посвящали свое время. Мнѣніе, что Крыловъ, по существующему отличію своего таланта, во всему относился не иначе, какъ критически (это опять мнѣніе г. Кеневича), можетъ оправдывать другаго писателя, а не нашего, который такъ высоко цѣнилъ правоучительные выводы, и цѣлью авторской дѣятельности ставилъ пользу согражданъ. Такой писатель, и при выборѣ предметовъ для сатиры, и въ самой сатирѣ, обязанъ руководствоваться не естественнымъ позывомъ таланта, но и взглядомъ на литературу, имъ же самимъ высказаннымъ. Въ неумѣннѣ на первыхъ порахъ приняться за хорошее дѣло или въ неловкости, съ какою принимаются за него новички, и въ происходящихъ отсюда комическихъ сценахъ, онъ не дозволить себѣ видѣть уже крайность зла и не замѣчать начала добра: иначе сатира нанесетъ вредъ самымъ уважительнымъ стремленіямъ общества. Настроеніе сатирика сообщится читателямъ, которые, ради нелѣпостей и неудачъ, обнаруживаемыхъ при вступленіи въ неизвѣданныя дотолѣ области, сочтутъ и послѣднія нелѣпостью. Къ числу такихъ областей принадлежала въ нашемъ обществѣ наука» (стр. 311—12). Въ другомъ мѣстѣ, разобравъ еще нѣкоторыя басни Крылова, направленные противъ вольнодумства и философіи («Сочинитель и разбойникъ»; «Огородникъ и философъ» и др.), г. Галаховъ снова настойчиво замѣчаетъ: «Общественное

значеніе литературныхъ произведеній опредѣляется какъ подборомъ ихъ предметовъ, такъ и взглядами, въ нихъ выражаемыми. И предметы, и взгляды пріобрѣтають большую или меньшую важность, смотря по ихъ отношенію къ мѣсту и времени. Что хорошо и вѣстати въ одну эпоху, то непригодно и даже вредно для другой. Съ этой точки зрѣнія, басни Крылова, о которыхъ мы говорили, подлежатъ осужденію. Дѣйствительно баснописецъ долженъ былъ подумать: чѣмъ болѣе страдало современное ему русское общество—привычкою ли видѣть то, чего нельзя не видѣть, что по величинѣ своей бросается въ глаза каждому (см. басню «Любопытный»), или неумѣньемъ замѣчать такія вещи, которыя, кромѣ глазъ, требуютъ умственного зрѣнія и вниманія? поклоненіемъ ли навѣку, державшему легионы въ крѣпостной у себя зависимости, или педантическимъ стремленіемъ замѣстить безсознательный навѣкъ сознательнымъ образомъ мыслей,—желаніемъ, которое заявляли единицы и десятки? довѣріемъ ли къ наукѣ и страстію рыться и погибать въ ея глубинахъ или, наоборотъ, мелкимъ плаваніемъ по знанію?... Развивалась ли на виду у баснописца литература съ безнравственнымъ направленіемъ? гдѣ сочинители, отравлявшіе ядомъ своихъ твореній общество, или философы—наставники, заражавшіе ядовитымъ ученіемъ юношество? Если отвѣты на эти вопросы легки и ясны, то непонятна случайность, по которой человѣкъ такого ума и таланта, какъ Крыловъ, обходилъ большинство явленій наиболѣе тяжкихъ, будто ихъ вовсе не существовало, и выбиралъ предметомъ своей сатиры меньшинство противоположныхъ явленій, какъ

будто въ нихъ сосредоточивалась вся сила народнаго зла?... Почему и какъ баснописецъ преслѣдовалъ мошекъ и букашекъ и не замѣчалъ слона?» Отсюда г. Галаховъ дѣлаетъ выводъ, что образованіе баснописца было мелко и ограничено, что онъ чувствовалъ полнѣйшее равнодушіе къ знанію независимо отъ ближайшихъ и практическихъ въ немъ надобностей, что онъ не имѣлъ никакого положительнаго образа мыслей, и его «идеалъ заключался въ покоѣ безстрастія». Говоря откровенно, мы находимъ такой приговоръ слишкомъ рѣзкимъ и одностороннимъ, такъ-какъ трезвый и практическій умъ Крылова нерѣдко указывалъ ему на дѣйствительно-важные недостатки русскаго общества (вспомнимъ басни: «Свинья* подъ дубомъ», «Рыбы пляски», «Мірская сходка», «Листы и корни», «Слонъ на воеводствѣ»); но въ примѣненіи къ разобраннѣмъ баснямъ критическій приѣмъ г. Галахова совершенно вѣренъ. Мы недоумѣваемъ только: почему г. Галаховъ опрокинулся съ такой строгостью на Крылова, у котораго вредное вліяніе одной басни часто парализировалось несомнѣнно хорошимъ вліяніемъ другой, и не испробовалъ своего критическаго приѣма на всей дѣятельности Карамзина, начиная съ «Записки о древней и новой Россіи»? Поживы ему было бы гораздо больше, и онъ могъ бы закидать своего излюбленнаго писателя такими вопросами: «неужели въ русскомъ обществѣ александровскаго времени политическій либерализмъ былъ самою зловредною чертою, наиболѣе заслуживающей полемики? неужели въ немъ не было никакого другаго, болѣе сильнаго и живучаго зла? считались ли у насъ тысячами люди, интересовавшіеся общественными событіями, или,

наоборотъ, нашу инерцію, нашу безпечность въ этомъ отношеніи нужно было будить героическими средствами? гдѣ скрывались, наконецъ, наши Дантоны и Мараты, которыми Карамзинъ страдалъ пугливый народъ?» и пр. и пр. Если бы г. Галаховъ захотѣлъ быть справедливымъ, то на эти вопросы онъ отвѣтилъ бы еще рѣзче, чѣмъ на вопросы, заданные имъ скромному баснописцу, который уже тѣмъ выше Карамзина, что, по собственному выраженію, «не пускался въ открытое море», чувствуя недостаточность своихъ силъ, и не брался служить для цѣлаго государства мужемъ разума и совѣта.

•

О НОВѢЙШЕМЪ ПРЕПОДАВАНІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХЪ ПРЕДМЕТОВЪ.

(О преподаваніи русской литературы. Соч. Владиміра Стоюнина.
Курсъ общей педагогикѣ, г. Юркевича).

I.

Преподаваніе теоріи и исторіи словесности представляется, до сихъ поръ, крайне неудовлетворительнымъ въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Это хорошо извѣстно всѣмъ практическимъ педагогамъ, всѣмъ лицамъ, сколько-нибудь заинтересованнымъ въ этомъ дѣлѣ. Объясненія для этого факта представляются различныя. Иные, напр., относя все къ личности преподавателя, умѣющаго или неумѣющаго осмыслить и изложить свой учебный предметъ, склонны находить причину явленія въ плохой подготовкѣ учителей, изъ которыхъ далеко не всѣ прошли «серьезную филологическую школу», то-есть, воспитали себя на чтеніи и изученіи классическихъ авторовъ. Повидимому съ цѣлью помочь этой бѣдѣ, основанъ здѣсь историко-филологическій институтъ, питомцы котораго должны будутъ преподавать намъ образцы надлежащаго пониманія задачъ и требованій современной науки въ ея примѣненіи къ педагогическимъ условіямъ среднихъ общеобразовательныхъ школъ... Мы желаемъ всякихъ успѣховъ новому разсаднику филологическихъ познаній въ Рос-

сін; но думаемъ, что дѣятельность его врядъ ли принесетъ замѣтную пользу, если ко времени перваго выпуска его «до-рогихъ» слушателей (несомнѣнно, что они стоятъ казнѣ очень дорого, такъ-какъ въ институтѣ совсѣмъ нѣтъ своекоштныхъ воспитанниковъ, и классическую древность признано полезнымъ изучать только на казенный счетъ),—если къ этому великому дню не измѣнятся нисколько господствующіе нынѣ взгляды на преподаваніе словесныхъ наукъ. Личность преподавателя, его познанія и педагогическій тактъ, безъ сомнѣнія, много значать для успѣха преподаванія; но самая-то личность несетъ на себѣ вліяніе общихъ условій, которыя не всегда удобно и не всегда возможно устранить. Какъ ни будь свѣдуущъ и талантливъ преподаватель, но если его свяжутъ по рукамъ и по ногамъ обязательной программой, односторонней и схоластической,—то врядъ ли онъ можетъ выпутаться совершенно невредимо изъ этихъ крѣпкихъ тенетъ, врядъ ли не загубить въ нихъ большую часть своихъ познаній и горячаго рвенія къ дѣлу. Къ сожалѣнію, въ нашихъ вліятельныхъ педагогическихъ сферахъ, откуда излетаютъ всевозможные «проекты» и программы,—все, повидимому, съ цѣлью усовершенствовать,—никакъ не можетъ установиться и окрѣпнуть правильный взглядъ на задачу и объемъ преподаванія словесности. Въ былые дни мы изучали «по Зеленецкому» всѣ роды и виды поэзіи и прозы, всѣ риторическія украшенія рѣчи; обогащали свою память бездною тонкихъ, отвлеченныхъ опредѣленій романа, драмы, комедіи и пр., не прочтя толкомъ ни одного порядочнаго автора; бойко сдавали, наконецъ, свой выпускной экзаменъ и, уже много лѣтъ спустя, при первомъ запросѣ на дѣйстви-

тельными познанія, на серьезную критическую оцѣнку литературнаго произведенія, убѣждались, что зазубрить по книжкѣ теоретическое опредѣленіе—не значитъ еще умѣть приѣмнѣть его къ живому литературному образцу. Такъ научались мы по Зеленецкому теоріи словесности. По тому же курсу (но по другой книжкѣ) знакомились мы съ прогрессивнымъ движеніемъ русской литературы. Тутъ узнавали мы имена и отчества почти всѣхъ сочинителей, когда либо воздѣлывавшихъ вертоградъ Россійской словесности, запоминали годъ ихъ рожденія и смерти, чины и знаки отличія, полученные ими (буде сочинители состояли въ государственной службѣ), заучивали неукоснительно всѣ заглавія никогда не прочтенныхъ нами поэмъ, драмъ, и, въ заключеніе всего, начинивъ себя различными фразами о сентиментальности Карамзина, народности Пушкина и юморѣ Гоголя, получали право сказать, что мы-де знаемъ исторію русской литературы. Сколастика Зеленецкаго рухнула и, послѣ нѣсколькихъ попытокъ раціональнаго веденія дѣла, мы снова пришли къ другой, не менѣе вредной крайности. Многіе педагоги (и притомъ изъ вліятельныхъ), осудивъ Зеленецкаго за обиліе отвлеченной мудрости, вообразили, что теорія и исторія словесности не могутъ быть ничѣмъ инымъ, какъ звонкими, безсодержательными фразами, нисколько непонятными для учениковъ; ссылаясь на плохой результатъ обученія «по Зеленецкому», они стали увѣрять, что вообще критика литературныхъ произведеній съ выводомъ изъ нея основныхъ теоретическихъ различій (т.-е. того, что составляетъ въ здоровомъ преподаваніи теорію словесности) недоступна ученику средняго учебнаго заведенія—такъ точно,

какъ недоступно ему связанное систематическое изложеніе постепеннаго развитія и смѣны понятій и идеаловъ въ исторіи словесности. Оба предмета, взаимно-дополняющіе одинъ другой, исчезали, такимъ образомъ, изъ гимназическаго курса, а чтобы замѣстить чѣмъ-нибудь этотъ пробѣлъ, новые педанты предлагали особенно налечь на исторію языка. Какъ будто историческое изученіе языка—дѣло немногихъ специалистовъ—болѣе доступно пониманію юношества, болѣе свреременно и плодотворно, чѣмъ изученіе литературныхъ произведеній въ достаточно широкой, разъясняющей ихъ исторической обстановкѣ; какъ будто, наконецъ, рациональная исторія языка возможна безъ исторіи мысли, выражавшейся въ немъ! Въ духѣ этой филологической односторонности составлены всѣ новѣйшія программы по исторіи русской словесности, въ которыхъ видно желаніе расширить, сколько возможно, филологическій матеріалъ и сжать до послѣдней степени исторію мысли въ литературныхъ произведеніяхъ. Такимъ образомъ, число авторовъ и количество сочиненій, обязательныхъ для разбора въ старшихъ классахъ гимназій, убавляется съ каждымъ годомъ: изъ Фонъ-Визина нынѣ рекомендуется только одинъ «Недоросль», котораго нельзя ни понять, ни оцѣнить, не сопоставивъ его съ другими произведеніями того же писателя и современныхъ ему авторовъ; изъ лирическихъ стихотвореній Пушкина берутся только «Бородянская годовщина» и «Клеветникамъ Россіи»; за Грибоѣдовымъ, кажется, совсѣмъ не признано права просвѣщать русское юношество, и т. д. Зато филологія процвѣтаетъ!

Но въ то время, какъ официальные программы обна-

руживаютъ попытку обойтись совсѣмъ безъ теоріи и исторіи литературы, ограничившись одними лингвистическими упражненіями,—въ нашей педагогической литературѣ разрабатываются съ большимъ толкомъ новые методы преподаванія обоихъ изгоняемыхъ предметовъ. Одному изъ нихъ посвящена полезная книга г. Водовозова: «Словесность въ образцахъ и разборахъ, съ объясненіемъ общихъ свойствъ сочиненія и главныхъ родовъ поэзіи и прозы». Здѣсь авторъ сдѣлалъ довольно удачный опытъ—выводить главнѣйшія правила, такъ-называемой, теоріи словесности изъ внимательнаго критическаго разбора самихъ литературныхъ произведеній, устраняя всѣ схоластическіе приемы, донинѣ употреблявшіеся при этомъ случаѣ. Такъ, напримѣръ, г. Водовозовъ сличаетъ весьма подробно «Капитанскую дочку» съ историческимъ описаніемъ пугачевского бунта и затѣмъ, уже послѣ долгихъ объясненій и выводовъ, приступаетъ къ характеристикѣ поэзіи вообще. Также точно, родовыя свойства эпоса, отличительныя черты народнаго творчества, общія свойства драмы, трагическое и комическое въ искусствѣ—изслѣдуются у автора чисто-индуктивнымъ путемъ, и теоретическія обобщенія даются имъ, какъ результатъ точнаго и дробнаго анализа. Свойства образнаго слога (то, что въ старыхъ риторикахъ называлось тропами и фигурами) указывались г. Водовозовымъ тоже на примѣрахъ, и при томъ безъ лишняго употребленія терминовъ. Въ своемъ критическомъ разборѣ литературныхъ произведеній авторъ книги такъ мало окупился на анализъ всѣхъ, даже незначительныхъ подробностей, такъ добросовѣстно углублялся во всѣ изгибы поэтической мысли, что вызвалъ справедливый упрекъ

въ излишествѣ мелочныхъ критическихъ наблюдений и въ недостаткѣ синтеза, то-есть обобщающихъ выводовъ. Тѣмъ не менѣе книга его составляетъ приобрѣтеніе для педагогической литературы. Въ такомъ видѣ теорія словесности перестаетъ быть пугаломъ для учениковъ и дѣлается средствомъ для полезныхъ умственныхъ занятій, естественнымъ продолженіемъ и завершеніемъ высшаго грамматическаго курса. Отъ изученія языка, какъ формы, въ которой выражается человѣческая мысль, такъ просто и необходимо перейти къ анализу самой этой мысли, къ отысканію тѣхъ общихъ правилъ, по которымъ создаются литературныя произведенія и обогащаютъ языкъ новыми образами, выраженіями и оборотами рѣчи. Сколько бы ни говорили педанты о томъ, что подобная критическая работа приходится будто бы не по силамъ учениковъ въ старшихъ классахъ гимназій, педагогическій опытъ всегда будетъ свидѣтельствовать противное и покажетъ яснымъ образомъ, что за этимъ соболеніемъ о слабыхъ силахъ юношей скрываются какія-нибудь другія, болѣе искреннія и болѣе внушительныя соображенія въ родѣ тѣхъ, которыя высказаны были довольно откровенно въ одномъ отчетѣ о преподаваніи словесности въ гимназіяхъ *здѣшняго* учебнаго округа. Въ этомъ отчетѣ говорилось, напри-
мѣръ (и, помнится, именно по поводу преподаванія г. Водовозова), что ученики не должны-де критически относиться къ самому Карамзину, что такое отношеніе разовьетъ въ нихъ гордость, фразерство, самоувѣренныя претензіи и т. п., тогда какъ въ ихъ нѣжномъ возрастѣ полезнѣе внимать безпрекословно хвалебнымъ характеристикамъ, которыя слышать они съ каедръ учителя (конечно, вѣлыми благонамѣреннаго)

и прочтутъ въ учебникахъ (конечно, одобренныхъ начальствомъ). При такомъ оригинальномъ взглядѣ на значеніе критическаго анализа въ воспитаніи, преподаваніе словесности можетъ, дѣйствительно, превратиться въ пустую, самодовольную, недопускающую возраженій, догматику съ одной стороны и въ бессмысленное заучиванье фразъ учителя или учебника—съ другой. Такого рода словесность, дѣйствительно, бесполезна, и мы за нее не стоимъ.... Но зачѣмъ же сваливать свою вину на другихъ и обвинять въ подготовленіи фразеровъ именно тѣхъ людей, которые, развивая въ ученикахъ способность критической оцѣнки предметовъ, тѣмъ самымъ отучаютъ ихъ отъ рабскаго, неосмысленнаго повторенія чужихъ фразъ? Зачѣмъ отказываться отъ логическихъ послѣдствій своего собственнаго мнѣнія? Il faut avoir courage de son opinion, messieurs...

Если книга г. Водовозова полезна для рациональнаго преподаванія теоріи словесности, то книга г. Стоюнина, заглавіе которой приведено выше, въ той же мѣрѣ полезна для преподаванія исторіи русской литературы. Она выдержала уже нѣсколько изданій и вполне заслуживаетъ своего успѣха, такъ-какъ, несмотря на нѣкоторые чувствительные недостатки, она представляетъ единственный или, по крайней-мѣрѣ, лучший образчикъ примѣненія литературнаго курса къ потребностямъ среднихъ учебныхъ заведеній. Г. Стоюнинъ не имѣлъ въ виду написать цѣлый курсъ исторіи русской литературы въ строгой связи и послѣдовательности; цѣль его была преимущественно педагогическая, а именно онъ вознамѣрился, по поводу нѣкоторыхъ книгъ, общеупотребительныхъ въ преподаваніи русской словесности (какъ-то: «Исто-

ріи словесности» г. Галахова и хрестоматій гг. Буслаева и Филонова), изложитъ свои мысли о томъ, чѣмъ должна быть исторія литературы въ гимназическомъ курсѣ, какъ нужно готовить учениковъ къ ея слушанію и на какія именно стороны литературныхъ произведеній, древнихъ и новыхъ, слѣдуетъ обращать вниманіе при классномъ разборѣ. Такимъ образомъ книга г. Стоюнина распадается на нѣсколько частей, недостаточно спаянныхъ между собою. Прежде всего авторъ опредѣляетъ педагогическую цѣль въ преподаваніи словесности (разумѣя здѣсь какъ теорію, такъ и исторію предмета) и указываетъ средства, какими можетъ быть достигнута эта цѣль; далѣе онъ обращается къ книгѣ г. Водозова и высказываетъ свое мнѣніе, вполне добросовѣстное, о степени ея педагогической пригодности; затѣмъ переходитъ собственно къ исторіи литературы и останавливается подробно, въ связи съ разбираемыми имъ книгами, на самыхъ важныхъ моментахъ въ развитіи русской литературы — на тѣхъ моментахъ, на которыхъ долженъ сосредоточиваться, по его мнѣнію, весь интересъ и смыслъ преподаванія. Въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ авторъ обращаетъ всего больше вниманія на развитіе народныхъ «идеаловъ», понимая подъ этимъ словомъ образное представленіе народа о политической власти, о религіозныхъ, общественныхъ и семейныхъ обязанностяхъ человѣка. Здѣсь мы находимъ вѣрное пониманіе многихъ, весьма важныхъ литературныхъ вопросовъ; кромѣ того, встрѣчается нѣсколько сдержанныхъ, но вѣскихъ и справедливыхъ возраженій г. Галахову. Только уже въ 21-й главѣ своей книги авторъ представляетъ образцы разборовъ по теоріи словесности, хотя эти разборы были бы уместнѣе въ началѣ

книги: вѣдь теорія словесности должна предшествовать исторіи, а не наоборотъ. Изъ этого краткаго перечня содержанія главъ видно, что книга г. Стоюнина страдаетъ недостаткомъ правильнаго и опредѣленнаго плана. Авторъ желалъ совмѣстить въ своемъ трудѣ, по малой мѣрѣ, три разнородныя задачи: во первыхъ, написать критическій разборъ на нѣсколько книгъ (гг. Галахова, Водовозова, Буслаева и Филонова); во вторыхъ, представить пробный курсъ по теоріи словесности и, наконецъ, третьихъ, прослѣдить всѣ главнѣйшіе моменты въ развитіи русской литературы и общества. Между тѣмъ для каждой изъ этихъ задачъ, чтобы исчерпать ее вполне, понадобилось бы написать особую книгу, какъ это и сдѣлалъ г. Водовозовъ исключительно для теоріи словесности. Вслѣдствіе этой разрозненности плана г. Стоюнинъ не успѣлъ высказать вполне своихъ взглядовъ на развитіе русской литературы, такъ-какъ первый томъ «Исторіи словесности» Галахова, на который онъ писалъ свой разборъ, доведенъ только до появленія Карамзина, и это обстоятельство стѣснило, замѣтно, г. Стоюнина, ограничившагося обязанностью рецензента. По той же причинѣ, курсъ теоріи словесности, вошедшій въ книгу въ видѣ пробныхъ уроковъ, оказался чересчуръ сжатъ и не представляетъ отвѣта на многіе крупныя теоретическіе вопросы, неизбѣжно являющіеся при оцѣнѣ литературныхъ произведеній. Г. Стоюнинъ, пожалуй, возразитъ намъ, что онъ считаетъ теорію и исторію словесности однимъ предметомъ, а потому и говоритъ объ нихъ въ одной книгѣ; но этимъ возраженіемъ врядъ-ли возможно удовлетвориться. Какъ бы ни были шатки теоретическія основанія литератур-

ной критики, составляющія то, что называется на учебномъ языкѣ «теоріей словесности», какъ бы мало ни соответствовала современная эстетика названію науки (мы не будемъ спорить съ г. Стоюнинымъ, что такого названія она покуда и не заслуживаетъ); но несомнѣнно, однако, то, что, приступая къ чтенію и оцѣнкѣ литературныхъ произведеній, необходимо установить эстетическія начала въ томъ или другомъ видѣ, примѣняясь, конечно, къ потребностямъ и пониманію учениковъ. Итакъ, одно дѣло—изучать литературу съ цѣлью: указать общіе признаки, по которымъ словесныя произведенія группируются подъ рубрики драмы, эпоса и лирики, а также найти критическія требованія, одинаково приложимыя къ цѣлому роду произведеній, и другое дѣло—коснуться специально исторіи литературы своего только народа, чтобы показать существенныя черты народнаго духа и постепенное измѣненіе народныхъ идеаловъ. Въ первомъ случаѣ возможно, и даже должно, заимствовать подходящіе примѣры и доказательства изъ всѣхъ европейскихъ литературъ; во второмъ случаѣ преподаватель ограниченъ исторіей одного народа, и чѣмъ больше захватить онъ въ свой курсъ реальныхъ, бытовыхъ и историческихъ чертъ, тѣмъ полезнѣе будетъ онъ для своихъ учениковъ. Выяснять критическія начала, растолковывать ходячіе литературные термины тутъ уже поздно: это дѣло должно быть сдѣлано ранѣе. Нужно только сравнить двѣ половины книги г. Стоюнина — историческую и эстетическую, — чтобы увидѣть, что и самъ онъ преслѣдуетъ въ обоихъ случаяхъ разныя цѣли. — При всемъ томъ книга г. Стоюнина заключаетъ въ себѣ много хорошихъ сторонъ: сюда относимъ мы всѣ педагогическія разсужденія его,

обнаруживающія въ немъ опытнаго и здравомыслящаго педагога, и большую часть его историко-литературныхъ взглядовъ, за исключеніемъ, напримѣръ, преувеличенныхъ похвалъ Кантемиру, изъ всѣхъ сатиръ котораго только одна сатира «Къ уму моему» заслуживаетъ, на нашъ взглядъ, разбора съ учениками, да и то не сама по себѣ, а какъ удобный предлогъ для характеристики петровскаго времени. Педагогическая цѣль преподаванія словесности опредѣлена у г. Стоюнина совершенно правильно, и съ этимъ опредѣленіемъ стоитъ познакомить нашихъ читателей. По мнѣнію г. Стоюнина, каждый преподаватель долженъ найти въ своемъ учебномъ предметѣ три живыя силы, которыя благотѣльно дѣйствовали бы на учащихся: 1) онъ долженъ сообщать имъ истинныя познанія, касающіяся природы и чело-вѣка; 2) развивать ихъ и 3) приучать къ труду. Примѣняя эти требованія къ преподавателямъ словесности, авторъ находитъ, что только немногіе изъ нихъ удовлетворяютъ всѣмъ нужнымъ условіямъ, большинство же гонится за однимъ изъ нихъ, забывая остальные. «Есть такіе преподаватели—пишетъ г. Стоюнинъ—которые исключительно заботятся о количествѣ знаній; чѣмъ больше, тѣмъ лучше—говорятъ они—и, дѣйствительно, передаютъ много фактовъ и даже разсужденій, рассчитывая на силу памяти, которая на извѣстное время можетъ удержать все переданное. Про ихъ учениковъ можно сказать, что они выучили предметъ, но нельзя сказать, что они правильно развивались на этомъ предметѣ, а тѣмъ болѣе, что они разумно надъ нимъ работали и слѣдственно привыкали къ труду. Они только учили на память, считая это занятіе утомительнымъ трудомъ, къ

которому трудно почувствовать расположение. Есть другие преподаватели, которые на первом планѣ ставят развитіе, и основываютъ его на занимательности или интересности передаваемыхъ познаній. Необходимо овладѣть вниманіемъ ученика—говорятъ они,—чтобы онъ слушалъ васъ съ большимъ интересомъ; только при такомъ условіи онъ безъ всякаго труда, легко и скоро, будетъ запоминать ваши уроки и, конечно, будетъ развиваться вашими бесѣдами съ нимъ. Такіе преподаватели, дѣйствительно, рассказываютъ чрезвычайно интересно. Ученики слушаютъ ихъ очень внимательно, спрашиваютъ ихъ съ удовольствіемъ, а они еще съ большимъ удовольствіемъ распространяются въ подробностяхъ на ихъ вопросы. Все это очень хорошо, потому что въ такихъ бесѣдахъ много жизни, есть живая связь между наставниками и учениками; но нѣтъ одного очень важнаго обстоятельства: заботясь о всевозможныхъ облегченіяхъ, наставникъ нисколько не думаетъ о трудѣ. Его ученики легко воспринимаютъ все, что онъ имъ рассказываетъ, показываетъ и объясняетъ; такъ какъ онъ знаетъ во всемъ мѣру, то они не утомляются, а всегда бодры, свѣжи и радуютъ его, пересказывая его рассказы и объясненія, убѣждая при этомъ, что любознательность дѣйствительно возбуждена въ нихъ. И это хорошо; но тутъ мы видимъ только страдательное, пассивное воспріятіе. Онъ доставляетъ ученику большое удовольствіе, раскрывая ему новый міръ, сообщая много новыхъ понятій; самому ему (ученику) трудиться не надъ чѣмъ. А между тѣмъ, впереди ждетъ его жизнь, главное значеніе которой должно быть въ трудѣ. Если воспитаніе готовить человѣка для жизни, то большая ошибка со стороны воспитателя не обращать вни-

манія на возбужденіе труда, не заставлятъ трудиться такъ, чтобы ученикъ увидѣлъ, наконецъ, въ трудѣ нравственную пользу, независимо отъ матеріальной, чтобы трудъ сталъ его потребностью». Наконецъ, есть третій сортъ педагоговъ, которые, вообразивъ, по словамъ г. Стоюнина, что «мука и трудъ одно и то же, съ намѣреніемъ дѣлаютъ разныя трудности, лишь бы только помучить ученика надъ работою». Г. Стоюнинъ совершенно правъ въ теоретическомъ опредѣленіи достоинствъ педагога; но такъ-какъ совершенства на землѣ нѣтъ (что давно извѣстно даже не учившимся въ семинаріи), то мы думаемъ, что изъ всѣхъ представленныхъ имъ односторонностей самая терпимая и—скажемъ больше—самая желательная при настоящихъ условіяхъ, это, именно, вторая односторонность. Пусть существуетъ «живая связь между наставниками и учениками», пусть ученики слушаютъ съ наслажденіемъ учителя и, такъ сказать, влюбляются въ науку въ его разсказахъ; положимъ, что это будетъ «пассивный трудъ», какъ выражается г. Стоюнинъ, и самостоятельной умственной работы, къ которой должна приучать школа, здѣсь не окажется; но добрыя сѣмена все-таки западутъ въ молодую душу, и если ученикъ не попадетъ потомъ въ особенно душную атмосферу, то принесутъ непременно хорошіе плоды. Любви и привѣтки къ усидчивому труду они не дали, но не поселили, по крайней мѣрѣ, отвращенія къ нему, и мальчикъ, выходя изъ школы, не вспомнитъ съ ненавистью своихъ наставниковъ и не броситъ съ озлобленіемъ въ печку свои книги и тетради. Такой результатъ былъ бы еще очень сносенъ; но у насъ, къ сожалѣнію, сталъ развиваться въ послѣднее время третій сортъ педагоговъ, которые дѣлаютъ различныя трудно-

сти, чтобы только помучить ученика надъ работою»; иначе чѣмъ же бы объяснить непомѣрное усиленіе въ гимназіяхъ латыни и греческаго языка, противъ котораго начинаютъ уже протестовать разумнѣйшіе изъ «классиковъ»? Чтобы сообщить при изученіи словесности истинныя познанія ученикамъ и дать имъ при этомъ удобный матеріалъ для самостоятельной разработки по вопросамъ, указаннымъ преподавателемъ, г. Стоюнинъ дѣлаетъ строгій выборъ произведеній, полезныхъ для чтенія въ классѣ. «Въ каждой литературѣ—говоритъ онъ—есть столько прекрасныхъ произведеній, что нѣтъ возможности перечитать въ классѣ ихъ всѣ, слѣдственно, необходимо опредѣлить, чего держаться при выборѣ ихъ для чтенія и изученія въ классѣ, а съ этимъ вмѣстѣ и обсудить достоинство тѣхъ познаній, которыя будутъ сообщать они. Разумѣется, эстетическимъ и народнымъ произведеніямъ литературы должно дать предпочтеніе передъ всѣми прочими уже потому, что они развиваютъ эстетическое чувство; это въ педагогическомъ дѣлѣ есть ихъ специальность, такъ-какъ всѣ другіе учебные предметы не имѣютъ въ виду этой стороны развитія. Впрочемъ, указывая на изящныя произведенія, мы никакъ не хотимъ ограничиться одною эстетикой, чтобы носиться въ заоблачномъ мірѣ безусловно и вѣчно прекраснаго и восхищаться одними возвышенными идеалами. Нѣтъ, здѣсь мы имѣемъ въ виду еще другія условія. Каждое истинно-эстетическое произведеніе отражаетъ въ себѣ жизнь, дѣйствительность, съ которою связывается много нравственныхъ, общественныхъ и другихъ вопросовъ. Разбирая такое произведеніе, мы необходимо должны подробно обсудить его содержаніе, безъ чего

невозможна даже и одна эстетическая оцѣнка, слѣдственно, должны имѣть дѣло съ разнообразными вопросами жизни: коснемся ли разбора фактовъ, или личностей и ихъ характеровъ, или отношенія ихъ между собою, или идеаловъ самого поэта и пр., все будетъ наводить насъ на вопросы близкіе и интересные каждому, вопросы житейскіе, а съ ними вмѣстѣ будутъ разясняться и самыя понятія — нравственныя, семейныя, общественныя;—понятія, которыя у учениковъ обыкновенно бываютъ слишкомъ туманны, неопредѣленны и сбивчивы, такъ-какъ имъ рѣдко приходится задумываться надъ ними. Въ этомъ туманѣ они нерѣдко остаются и по выходѣ изъ школы, а иной и всю жизнь... Умъ ученика, безпрестанно возбуждаемый вопросами, близкими къ жизни и, слѣдовательно, живо интересующими, а не отвлеченными, не будетъ принимать пассивно познанія, а напротивъ, самъ будетъ приобирать ихъ изъ наблюденія надъ даннымъ матеріаломъ. Заботиться только о томъ, чтобы ученикъ умѣлъ пересказать одно содержаніе литературнаго произведенія—значить, хлопотать о знаніяхъ бесполезныхъ. Они зайдутъ свое мѣсто въ памяти, но не объяснятъ ни природы, ни жизни, ни человека». Подвергая такой всесторонней критической оцѣнкѣ читаемыя въ классѣ произведенія, г. Стоюнинъ невольно встрѣтился съ моднымъ нынѣ вопросомъ: будетъ ли полезно развивать въ ученикахъ критическій анализъ, и не поведетъ ли это къ фразерству, нигилизму и неповиновенію старшимъ? Съ своей обычной сдержанностью (переходящей иногда въ уклончивость) онъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ слѣдующимъ образомъ: «Нѣкоторыхъ педагоговъ пугаетъ слово: критическое изученіе предмета, чего мы рѣшительно не понимаемъ.

Вѣроятно, подъ именемъ критики мы разумѣемъ совсѣмъ не то, что они. Обстоятельно обсудить съ учениками прочитанное сочиненіе, найти въ немъ отвѣты на многіе вопросы, которые изъ него вытекаютъ, указать на достоинства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, доказать, почему они считаются достоинствами, и равнымъ образомъ замѣтить недостатки: неужели это можетъ развивать въ ученикѣ фразерство и самонадѣянность, какъ иные предполагаютъ? Намъ кажется, напротивъ, такіе приемы передадутъ ученику нѣсколько критическихъ приемовъ, которые не позволятъ ему судить о сочиненіи всривъ и всось, а приучатъ вникать въ дѣло и убѣждать, что нельзя произносить своего рѣшительнаго суда безъ многихъ опредѣленныхъ доказательствъ. Фразерство развиваетъ не критика, а голословныя сужденія безъ всякихъ данныхъ, общія характеристики предметовъ, съ которыми ученикъ не успѣлъ познакомиться, когда его заставляютъ высказывать свой судъ, не давъ возможности собрать наблюденія. Но неужели же это критика? По нашему мнѣнію, критика есть судъ, на основаніи многихъ собранныхъ признаковъ. Приучать собирать признаки и строго обсуживать ихъ, значить, приучать къ строгому мышленію и къ осторожному суду. Тамъ фразерства быть не можетъ, гдѣ судъ составляютъ выводы изъ опредѣленныхъ данныхъ; могутъ быть ошибки, но ошибки еще далеко не фразерство. Мы даже не знаемъ, какимъ образомъ можно избѣжать критики, еслибы даже ограничиться объяснительнымъ чтеніемъ съ полнѣйшимъ усвоеніемъ содержанія произведенія. Вѣдь можетъ случиться, что ученикъ будетъ несогласенъ съ тою или другою мыслью изучаемаго сочиненія или ему не понравится какая-либо сцена и даже

цѣлое произведеніе? Что же тутъ будетъ дѣлать учитель, опасующійся критики? Заставить вѣрить на слово, что эта мысль вѣрна, а эта сцена прекрасна? Что же это за педагогическое средство убѣждать? И такъ, по нашему мнѣнію, критики нечего бояться при изученіи литературнаго произведенія: она часто бываетъ неизбѣжна, вызываемая самими учениками, и всегда полезна, потому что не допускаетъ никакихъ голословныхъ опредѣленій».

Еслибы нѣсколько лѣтъ тому назадъ подобное сомнѣніе въ пользѣ критическаго начала было высказано въ литературѣ, то врядъ ли нашлись бы даже охотники возражать на него: до такой степени оно показалось бы страннымъ, нелѣпымъ и незаслуживающимъ опроверженія. Но теперь, при измѣнившихся обстоятельствахъ, мы рекомендуемъ отвѣтъ г. Стоюнина всѣмъ педагогамъ, которыхъ смущаетъ не гамлетовскій, а молчалинскій вопросъ: «Да можно-ль смѣть свое сужденіе имѣть?» Надѣмся, что такихъ педагоговъ наберется достаточное количество, и, слѣдовательно, мы не безъ пользы привели мнѣніе почтеннаго автора.

II.

Что молчалинскій вопросъ дѣйствительно смущаетъ нашихъ педагоговъ, и что есть между ними такіе теоретики, которые весьма категорически запрещаютъ имѣть «свое сужденіе»,—въ этомъ можно вполне убѣдиться, прочтя «Курсъ общей педагогики» г. Юркевича. Прежде всего, эта книга наводитъ насъ невольно на одно сравненіе...

Изъ послѣдняго романа Виктора Гюго (*L'homme qui rit*)

многіе русскіе читатели узнали впервые, что въ XVII-мъ вѣкѣ существовало и даже процвѣтало въ Европѣ цѣлое общество людей, занимавшихся специально — не избіеніемъ, но изуродованіемъ младенцевъ, смотря по надобностямъ султановъ, папъ, англійскихъ лордовъ и тому подобныхъ заказчиковъ человѣческаго тѣла. Одному нужны были карлики, другому — вѣчно-смѣющіеся люди съ застывшею улыбкою на обезображенномъ лицѣ, третій искалъ человѣческаго горла, способнаго кричать по пѣтушьи (обычай, долго существовавшій при англійскомъ дворѣ), четвертый, наконецъ, нуждался въ евнухахъ для охраненія цѣломудрія своихъ женъ — и всѣмъ этимъ многообразнымъ потребностямъ удовлетворяло знаменитое братство. «Требованіе на уродовъ» — говоритъ Гюго (не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести его подлинныя слова) — положило начало особенному искусству. Были воспитатели или, вѣрнѣе, образователи карликовъ. Брали человѣка и дѣлали изъ него недоноска; брали лицо и дѣлали изъ него мордочку. Останавливали ростъ, комкали человѣческій образъ. Искусственное производство уродливостей имѣло свои правила; это была цѣлая наука. Представьте себѣ искусство сохранять натуральныя формы человѣческаго тѣла и исправлять ихъ, если онѣ повреждены, въ обратномъ смыслѣ. Тамъ, гдѣ Богъ далъ прямой глазъ, искусство замѣняло его косиною; тамъ, гдѣ Богъ далъ гармонію, это искусство вносило уродство... Нѣкоторые анатомисты того времени умѣли очень удачно стереть съ человѣческаго образа божественный отпечатокъ... Дѣтопокупатели (по испански: *компрахикосы*) обладали талантомъ обезображивать, и этотъ талантъ служилъ имъ рекомендаціей для политики. Обезобразить гораздо

лучше, чѣмъ убить. Была, правда, желѣзная маска, но это уже средство чрезвычайное. Нельзя населить Европу желѣзными масками, между тѣмъ какъ изуродованные фигляры бѣгаютъ по улицамъ безъ всякаго стѣсненія; и потомъ желѣзную маску можно сорвать, тѣлесную—нельзя. Навѣкъ васъ замаскировать вашимъ же собственнымъ лицомъ—это преостроумная вещь. Дѣтопокупатели обдѣлывали человѣка, какъ китайцы обдѣлываютъ дерево. У нихъ были секреты этого искусства, у нихъ были станки. Утраченное искусство! Изъ ихъ рукъ выходило что-то невзрачное, хилое, чудное... Они съ такимъ умѣньемъ, съ такимъ умомъ обдѣлывали маленькое существо, что даже родной отецъ не могъ его узнать. Иногда они не трогали спиннаго хребта и оставляли его прямымъ, но преображали лицо. Они, такъ сказать, снимали съ ребенка его мѣтку, какъ спариваютъ мѣтку съ платка... Дѣтопокупатели не только отнимали фizioномію у ребенка, они у него отнимали и память. Ребенокъ вовсе не сознавалъ, что подвергся изуродованію. Эта странная хирургія оставляла слѣды на его лицѣ, но въ его умѣ слѣда не оставалось. Самое большее, что онъ могъ припомнить, было то, что онъ разъ былъ схваченъ какими-то людьми, потомъ уснулъ, потомъ его вылѣчили. Вылѣчили отъ чего? Онъ не помнилъ прижиганій сѣрой, ни нарѣзовъ желѣзомъ. Дѣтопокупатели, во время операцій, усыпляли маленькаго пациента посредствомъ одуряющаго порошка, который слылъ за волшебный, и утишалъ, уничтожалъ боль». Читатели, прочтя эту меткую характеристику, можетъ быть, воскликнуть вмѣстѣ съ авторомъ: «утраченное искусство!» Совершенно напрасно. Нѣтъ, господа, искусство это не утрачено, не забыто—по

крайней-мѣрѣ, въ нашей литературѣ и практикѣ; оно только измѣнило свое названіе и отбросило нѣкоторые, слишкомъ варварскіе приемы; но сущность дѣла осталась возмутительною, какъ прежде. Современные компрахи́дсы величаютъ себя педагогами, современныхъ красавцевъ, вышедшихъ изъ ихъ педагогическихъ станковъ, титулуютъ они «благовоспитанными и хорошо дисциплинированными юношами»; прижиганіе сѣрой и надрѣзы желѣзомъ замѣняютъ они побоями, розгами или «предостереженіями», «внушеніями», «увѣщаніями» и другими «нравственными средствами», которыя, какъ бурсацкіе канчуки въ повѣсти Віи, «будучи употреблены въ большомъ количествѣ, дѣлаются вещью нестерпимою». Подобно прежнимъ компрахикосамъ, современные (преимущественно московскіе) педагоги пользуются разными научными средствами для достиженія своихъ цѣлей, съ тою, однако, разницею, что компрахикосы дѣйствовали только на тѣло, а педагоги стараются извратить самую душу своихъ питомцевъ и наложить на нее свое патентованное клеймо. Нужно еще замѣтить—и это замѣчаніе клонится къ чести дѣтопокупателей—что они, по чувству естественной стыдливости, скрывали свои настоящіе цѣли и приемы, употребляемые ими, тогда какъ современные педагоги, съ ихъ московскимъ оракуломъ во главѣ, преразвѣсно утверждаютъ, что «школа есть дисциплина»—и ничего больше, то-есть должна заботиться не о развитіи дѣтскаго ума, а объ удержаніи его на короткой уздѣ окаменѣвшихъ и бессмысленныхъ привычекъ и понятій...

Книга г. Юркевича, которая навела насъ на предыдущія мысли, служить весьма подробнымъ и безцеремоннымъ кодексомъ всѣхъ явныхъ и тайныхъ поползновеній совре-

менных... компрахнеосовъ. Авторъ нисколько не скрываетъ своей цѣли—выдѣлать изъ дѣтей послушныхъ куколъ, безжизненныхъ автоматовъ, которые всегда и во всемъ безпрекословно повиновались бы лицамъ, призваннымъ водворять между ними дисциплину. Книга эта дѣлится, для виду, на множество главъ съ мнимо-научными названіями: «идея воспитанія», «воспитательныя мѣры», «общая теорія обученія», «методика» и т. д., но сущность ея состоитъ вовсе не въ идеяхъ, а въ кое-какихъ практическихъ цѣляхъ, къ которымъ должна быть направлена дѣятельность ловкихъ педагоговъ. Главное зло, съ которымъ долженъ бороться педагогъ, сформулировано у г. Юркевича слѣдующимъ образомъ: «это есть та критика, которая все подрываетъ, во всемъ сомнѣвается, то и дѣло роется внутри человѣка, зондируетъ, переворачиваетъ, перестраиваетъ, то-есть извѣстный нигилизмъ, признавъ моральной порчи человѣка». Если устранить изъ этой тирады столь извѣщенный нигилизмъ, который сохраняетъ еще у насъ значеніе «жупела», пугавшаго до обморока сердобольную купчиху Островскаго, — то ея смыслъ будетъ до нельзя простъ и очевиденъ: «воспитывайте дѣтей такъ, чтобы они ни въ чемъ не сомнѣвались, вѣрили на слово всякому добродушному человѣку, взявшему на себя трудъ поучать ихъ, чтобы ни въ какомъ случаѣ не относились критически къ своимъ поступкамъ и не требовали отъ себя тѣхъ пустяковъ, которые называются на человѣческомъ языкѣ самостоятельностью и честностью убѣжденій». Намъ скажутъ, пожалуй, что мы невѣрно комментируемъ мысли автора. Но никто не въ правѣ сказать это: мы только придали идеямъ Юрке-

веча ихъ настоящій и естественный колоритъ, упростили форму ихъ выраженія. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ отсутствіе критическаго начала не есть моральное холопство и развѣ человѣкъ, лишенный способности «рыться внутри себя», не будетъ весь вѣкъ свой рыться въ навозѣ, даже безъ надежды найти въ немъ когда нибудь жемчужное зерно? Будьте справедливы, читатель, и согласитесь, что наша фраза вѣрно и характерно передаетъ взятую мысль. Опредѣливъ такимъ образомъ отправную точку педагога, г. Юркевичъ подгоняетъ къ ней всѣ другія части своей системы. Собственно обученіе, которое могло бы развить умъ дитяти и расширить его нравственный горизонтъ, авторъ «Педагогики» не цѣнитъ ни въ грошъ, такъ-какъ, по его мнѣнію, самое обученіе «должно быть религіознымъ», т.-е. ученикъ обязанъ вѣрить научнымъ истинамъ, а не убѣждаться въ нихъ путемъ повѣрки и анализа. Особенно недоброжелательствуетъ г. Юркевичъ естественнымъ наукамъ (это любимый конекъ всѣхъ московскихъ компахикосовъ), особенно вооружается противъ ихъ критическаго метода, способнаго эманципировать нравственную личность питомца. По его категорическому мнѣнію, юноша, обогащенный свѣдѣніями изъ біологій, знаетъ только «какія пилули нужно употреблять противъ пагубныхъ послѣдствій дурной страсти, какія злокачественныя язвы уничтожаются цѣлительною мазью» (стр. 35). Вслѣдствіе этого г. Юркевичъ ставитъ на первомъ мѣстѣ въ воспитаніи «нравственное вліяніе» воспитателя, которое въ его глазахъ все исчерпывается строжайшею дисциплиной. При этомъ онъ оказываетъ большое вниманіе «дѣтямъ народа». «Если—говоритъ онъ—воспита-

ніе имѣть цѣлью напечатлѣть въ душѣ воспитанника готовое законодательство, то дисциплина принимаетъ обширныя размѣры и опирается на тяжелыя понудительныя мѣры. Воспитатель, въ этомъ случаѣ, можетъ сказать по совѣсти (хороша, должно быть, совѣсть у такого воспитателя!): щадй жезлъ, ненавидитъ сына. Сообразно съ этимъ, воспитаніе дѣтей народа, которыя не имѣютъ ни времени, ни средствъ къ глубокому внутреннему образованію, должно быть по преимуществу дисциплинарное. Самое обученіе должно не столько обогащать ихъ свѣдѣніями, сколько дисциплинировать ихъ разумъ, какъ бы приковывая его (?) къ немногимъ, но очень твердымъ истинамъ» (стр. 96). Но авторъ немного любезнѣе и къ дѣтямъ другихъ сословій. Отвергая гуманность, на которую «въ новѣйшее время стали указывать, какъ на путеводную звѣзду для воспитателя» (стр. 19), г. Юркевичъ полагаетъ, что такою звѣздою должна быть дисциплина, которая «не можетъ быть не строгой» (стр. 95), и вся разница въ воспитаніи «дѣтей народа» и «дѣтей благородныхъ» сводится только къ большому или меньшему количеству пинковъ и розогъ, отпускаемыхъ педагогами. Въ дисциплину г. Юркевичъ просто влюбленъ и смотритъ на нее глазами знаменитаго исправника, который хвастался тѣмъ, что если онъ пошлетъ вмѣсто себя свою палку, то и ей крестьяне будутъ кланяться и передъ ней будутъ снимать шапки. Покуда рѣчь идетъ о біологін, гуманности и т. п. «скучныхъ матеріяхъ», г. Юркевичъ вѣдь и невразумителенъ; но какъ только доходитъ дѣло до дисциплины и тѣлесныхъ наказаній, прозванныхъ нѣкогда тѣмъ же ав-

торомъ «энергическими мотивами жизни», г. Юркевичъ ментально оживляется и, какъ гоголевскій Пѣтухъ при заказываньи любимыхъ блюдъ, «и губами причмокиваетъ, и присасываетъ»—словомъ, получаетъ полнѣйшее удовольствіе. Самый стиль его крѣпнетъ и впадаетъ въ тонъ полицейскаго приказа. «Требованія—пишетъ онъ подъ рубрикою «дисциплины»—представляются воспитаннику въ отвлеченныхъ правилахъ, которыя устанавливаютъ порядокъ для его жизни и дѣятельности. Правила должны быть исполняемы. Этимъ предполагаются мѣры и учрежденія, которыя содѣйствуютъ исполненію правилъ и затрудняютъ ихъ нарушеніе. Совокупность такихъ правилъ, мѣръ и учреждений называется дисциплиной» и проч. Г. Юркевичъ глумится надъ педагогической теоріей, которая «унижаетъ высокое значеніе дисциплины» (стр. 95). Строгій и неослабный надзоръ воспитателя долженъ простираться на все: «какое мѣсто занимаетъ ученикъ въ классѣ, на какомъ мѣстѣ онъ оставляетъ свои книги и свою одежду; воспитатель долженъ дисциплинировать взоръ и голосъ ученика» (стр. 101),—до тѣхъ поръ, конечно, покуда ученикъ не заоретъ благимъ матомъ и не убѣжитъ вонъ, куда глаза глядятъ, изъ такого милаго учебнаго заведенія... Изъ всѣхъ качествъ, необходимыхъ для педагога, г. Юркевичъ цѣнитъ выше всего «искусство пригрозить (курсивъ въ подлинникѣ) рѣшительною переменною голоса или выраженія глазъ» (стр. 141). Такъ-какъ въ основѣ нравственнаго вліянія воспитателя г. Юркевичъ кладетъ страхъ или, какъ онъ выражается, «холодъ страха», задаваемого питомцамъ, то понятно отсюда, что для автора «Педагогики» наиболѣе устра-

шающія средства будутъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и наиболѣе дѣйствительными въ воспитаніи. «Строгость — говоритъ онъ — закаляетъ воспитанника въ вѣрности и преданности идеалу» (какому?). Чтобы меньше стѣснить воспитателя въ выборѣ строгихъ мѣръ, г. Юркевичъ настаиваетъ на томъ, чтобы законъ предоставилъ каждому педагогу «такъ-называемое отеческое право, то-есть право отвѣчать за принятую карательную мѣру только передъ своею совѣстью и передъ Богомъ» (стр. 184). Надо думать, однако, что такое ходатайство передъ закономъ останется неуваженнымъ, ибо въ противномъ случаѣ компрахикосы, выдрессированные авторомъ «Педагогики», дохнуть не дадутъ своимъ несчастнымъ воспитанникамъ, да кромѣ того истребятъ на розги большую часть отечественныхъ лѣсовъ, которые приказано уже беречь даже и въ троицынъ день. Тѣмъ не менѣе, г. Юркевичъ полагаетъ, что воспитателя не слѣдуетъ стѣснять въ правѣ пресѣкать зло, въ самомъ началѣ, вспышкой гнѣва, угрозой и «импровизированнымъ наказаніемъ» (стр. 185), и тутъ же замѣчаетъ, что тѣлесныя наказанія напрасно считаются щекотливыми въ наше время. Можно представить себѣ, что было бы въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, еслибы какая-нибудь волшебная фея взялась удовлетворить требованіямъ г. Юркевича. Сцены могли бы произойти ужаснѣе той, которая разыгралась въ совѣтѣ московскаго университета по случаю забаллотированія г. Леонтьева.

Тѣлеснымъ наказаніямъ, или «энергическимъ мотивамъ жизни», г. Юркевичъ посвящаетъ даже особый параграфъ. Мы выписываемъ эти золотыя строки: «Склонность приобѣ-

гать къ средствамъ чувственнымъ прежде, чѣмъ истощены средства моральныя, свойственна учителямъ, какъ и всѣмъ людямъ; и такъ здѣсь очень близка опасность злоупотребленій. Но воспитателю подобаетъ довѣріе; если онъ вообще не заслуживаетъ его, то онъ недостоинъ своего званія... Для успокоенія тѣхъ, которые желаютъ лишить воспитателя самаго права прибѣгать къ тѣлеснымъ наказаніямъ, замѣтимъ, что когда обнаруживается педагогическое варварство въ примѣненіи тѣлесныхъ наказаній, то оно будетъ обнаруживаться и во всѣхъ отношеніяхъ воспитателя къ воспитанникамъ (хорошо успокоеніе!). Духъ народа, дѣйствующій сознательно и безсознательно въ мнѣніяхъ и чувствахъ воспитателя, производитъ и съ своей стороны вліяніе на выборъ и тяжесть наказаній. Если римляне наказывали мальчика за одно невниманіе плетью, хлыстомъ, палкой, розгой и «выдѣлкой кожи», то ничего подобнаго этому варварскому реэстру наказаній не представляетъ воспитаніе греческое. Даже китайское воспитаніе болѣе снисходительно: ученика ставятъ на колѣни передъ его товарищами или онъ стоитъ столбомъ у дверей школы, или получаетъ отъ 8 до 10 ударовъ вдоль по тѣлу, причемъ онъ лежитъ ничкомъ на длинной, узкой скамьѣ, которая имѣется въ каждой школѣ». Китайское наказаніе, повидимому, особенно нравится московскому компаньосу, и его-то сулитъ онъ російскимъ юношамъ, буде начальство соблаговолитъ на его всепокорѣйшія представленія.

Мы хотѣли-было кончить наши замѣтки, но вспомнили, что книга г. Юркевича произошла, какъ онъ самъ говоритъ, «изъ развитія записокъ, которыя были выданы для руко-

водства молодымъ педагогамъ, приготовляющимся къ своему званію въ учительской семинаріи военнаго вѣдомства въ Москвѣ». Если это правда (а сомнѣваться въ этомъ, кажется, невозможно), то намъ остается только пожелать бѣдныхъ молодыхъ педагоговъ «военнаго вѣдомства,» обязанныхъ руководствоваться такими принципами. Впрочемъ, къ счастью, подобныя зерна не всегда находятъ для себя благодарную почву, и намъ утѣшительно думать это къ чести будущихъ воспитателей, выходящихъ или уже вышедшихъ изъ педагогическихъ «станковъ» г. Юркевича. Въ противномъ же случаѣ, никакому преподаванію не будетъ мѣста, и оно живо замѣнится «выдѣлкою кожи» учениковъ, хотя бы и не тѣмъ варварскимъ способомъ, какъ производилось это у древнихъ римлянъ.

НОВАЯ ПЕРЕДЕЛКА КАРАМЗИНСКОЙ ТЕОРИИ.

(О вліявіи общества на организацію государства въ царскій періодъ русской исторіи. Соч. Н. Хлѣбникова. С.-Петербургъ, 1869 г.).

I

Наша историческая литература, еще не такъ давно занимавшаяся кропотливыми изслѣдованіями о древне-русской бородѣ, о сребрѣ ярославлѣ, о мнѳологическомъ значеніи русскаго ухвата и т. п. интересныхъ и вызывающихъ на размышленіе предметахъ,—нынѣ обнаруживаетъ наклонность перейти отъ мелочныхъ, фактическихъ изысканій къ обобщающимъ взглядамъ и прагматическому осмысливанію добытыхъ и разработанныхъ фактовъ. Подобныя же попытки — подбирать факты къ извѣстнымъ, теоретическимъ рубрикамъ — производились, конечно, и прежде; но приемы нашихъ прежнихъ теоретиковъ были до крайности просты и нехитры; а самыя ихъ теоріи, почерпнутыя изъ тѣхъ временъ, «когда свободно рыскалъ звѣрь, а человѣкъ бродилъ пугливо»,—не имѣли ничего общаго съ наукою. Выставить, бывало, русскій теоретикъ величественную аксіому: «народы дикіе любятъ независимость, народы образованные—порядокъ», а затѣмъ для него уже прояснилась мгновенно вся масса историческихъ фактовъ, такъ что ее легко было растасовать и приурочить либо къ дикой независимости, либо къ образованному порядку. Дѣйствительно ли внѣшній порядокъ, водворяемый притомъ варварскими средствами,

совпадаетъ съ идеей цивилизаціи, а любовь къ независимости, хотя бы и въ грубой формѣ, съ дикостью и варварствомъ?— объ этомъ ужъ не задумывался отечественный Кифа Мокіевичъ и преспокойно распредѣлялъ свой историческій матеріалъ, относя къ дикости новгородскую свободу, а къ порядку — «собираніе земли русской» посредствомъ подкуповъ и насильствъ всякаго рода. Но несмотря на свою кажущуюся неблагоприятность, мудрованія эти имѣли за собой то отрицательное достоинство, что ихъ шаткость и бездоказательность лишали ихъ возможности утвердиться надолго въ литературѣ, тѣмъ болѣе, что и сами наши «первоучители» не налегали вовсе на теоретическую разработку своихъ доктринъ, ограничиваясь почти одною художественною стороною въ исторіи. Какъ только художественный элементъ исчезъ, за отсутствіемъ сильныхъ талантовъ, изъ нашей исторической литературы, его смѣнила сейчасъ же археологія, которая совсѣмъ уже не рисковала пускаться въ отвлеченныя измышленія....

Но старыя понятія живучи и, кромѣ того, одарены способностью превращенія въ такой сильной степени, что поверхностный наблюдатель не сразу и замѣтитъ: какую форму выбрала для себя, въ данную минуту, традиціонная идея. Бываетъ даже, что послѣдователи традиціоннаго старовѣрства вступаютъ въ борьбу съ его родоначальниками и прежними корифеями; но борьба эта происходитъ или по недоразумѣнію, которое вскорѣ разъясняется, или вслѣдствіе умысла, чтобы отвести глаза легковѣрнымъ людямъ и увѣрить ихъ, что подмалеванная старина—вовсе не старина, но получена на дняхъ изъ Парижа вмѣстѣ съ послѣдними модными картинками; или же, наконецъ, борьба касается не сущности

оспариваемой идеи, а какихнибудь второстепенных ее аксессуаров, без которых идея эта может не только существовать, но процветать и благоденствовать на бѣломъ свѣтѣ. Способностью горячиться и вступать въ споръ по недоразумѣнію отличается, какъ извѣстно, М. П. Погодинъ. Сколько разъ поднималъ онъ шумъ въ литературѣ, усматривая неблагонамѣренность то въ томъ, то въ другомъ сочинителѣ, и сколько разъ посрамлялся и признавалъ своими друзьями—людьми, ошибочно принятыхъ за враговъ. Что же касается до умѣнья перечекаивать, такъ-сказать, старыя идеи, кладя на нихъ новый, болѣе современный штемпель, то по этой части весьма полезенъ г. Борисъ Чичеринъ, который, заимствовавъ у своихъ предшественниковъ драгоценную мысль о несовмѣстимости порядка съ свободой и о преимуществѣ перваго надъ послѣдней, умудрился придать ей нѣкоторый приличный видъ и пустилъ снова въ ходъ подъ именемъ «государственной централизаціи». Цѣлука, какъ видите, не особенно хитрая, но на нее поддаются многіе: «на ловца и звѣрь бѣжитъ», говоритъ пословица.

Наше общество до настоящаго времени такъ богато напоено и пропитано элементами донетровскаго и даже домостроевскаго склада жизни, что было бы странно, еслибы указанные нами мастера не находили поклонниковъ и хвалителей своимъ издѣліямъ между разною умственною ветшью нашего общества. Но бываетъ жаль смотрѣть, когда они въ сѣти своихъ философствованій изловляютъ людей молодыхъ, и въ особенности способныхъ. Мы никакъ не можемъ отказать г. Хлѣбникову въ дарованіи. Нечасто случается прочесть такое толковое изложеніе нашей

древней исторіи, какое встрѣчаемъ у него. У автора есть свѣтъ въ головѣ; онъ не подавляется грудой своего матеріала, какъ-то обыкновенно бываетъ съ чернорабочими историками; онъ умѣетъ владѣть имъ, и придавать ему, гдѣ нужно, извѣстный колоритъ, умѣетъ постоянно поддерживать интересъ читателя; у него немало наблюдательности, есть даже способность къ широкимъ обобщеніямъ,—однимъ словомъ, есть всѣ задатки, чтобы дать хорошее историческое сочиненіе. И тѣмъ не менѣе мы должны сказать, что книга его, по сущности основныхъ своихъ тезисовъ, должна быть зачислена въ разрядъ неудачныхъ и запоздалыхъ попытокъ—реставрировать знакомую намъ идею о неизбежности государственнаго деспотизма въ древней Руси. Доказывая это основное положеніе своей книги, авторъ обращается за помощью къ Гнейсту, Гизо, Макиавелли и даже Огюсту Конту, но при внимательномъ разсмотрѣніи его доводовъ легко убѣдиться, что большая часть ихъ навѣяна никѣмъ инымъ, какъ «многоуважаемымъ» (по аттестаціи г. Хлѣбникова) профессоромъ Чичеринимъ. Разница состоитъ только въ томъ, что «многоуважаемый профессоръ», видя въ государственной централизаціи наилучшую политическую форму, приветствовалъ появленіе ея въ Московскомъ великомъ княжествѣ, тогда какъ г. Хлѣбниковъ допускаетъ ее съ собоуѣзнованіемъ, какъ необходимое, фатальное послѣдствіе экономической и политической несостоятельности удѣльно-вѣчевыхъ порядковъ. Экономизмъ нынче въ модѣ, и г. Хлѣбниковъ пользуется имъ съ цѣлью утвердить на болѣе прочномъ фундаментѣ обветшавшую мысль нашихъ прежнихъ историковъ и юристовъ. Съ этою цѣлью, социаль-

но-экономическое положеніе различныхъ классовъ русскаго общества изображается имъ самыми мрачными красками, такъ какъ именно въ этой мрачности онъ надѣется найти оправданіе и для государственнаго деспотизма, и для упадка самоуправленія, и даже для крѣпостнаго права, которое, по мнѣнію автора, «рѣшительно необходимо въ нѣкоторыя эпохи, чтобы приучить народъ къ труду (какъ будто собственныя потребности человѣка недостаточно приучаютъ его къ этому!), образовать богатое и образованное (ну, образованье-то у насъ не слишкомъ развилось при крѣпостномъ правѣ) сословіе, которое такъ необходимо въ государствѣ» (стр. 190). Въ своей экономической характеристикѣ авторъ начинаетъ съ высшаго сословія—съ боярскаго класса. Сильная аристократія не могла, по его мнѣнію, образоваться у насъ до Юанна III по двумъ причинамъ: вопервыхъ, дружина наша сохраняла всегда подвижной характеръ, вслѣдствіе удѣльной системы, и переходила вмѣстѣ съ своими князьями; во вторыхъ, земли, при ихъ огромныхъ пространствахъ и при малочисленности населенія, не имѣли никакой цѣны и не могли доставить точки опоры своимъ владѣльцамъ. Впослѣдствіи же, когда дворъ московскаго царя сдѣлался центромъ національной жизни, аристократія обратилась въ военно-придворное сословіе, которое, и по своему положенію въ администраціи, и по своимъ матеріальнымъ средствамъ, вполне зависѣло отъ верховной власти. Къ тому же низшій слой придворной аристократіи—дѣти боярскія—находился въ постоянной враждѣ съ боярами, такъ-какъ послѣдніе верѣдко грабили и обирали первыхъ при назначеніи имъ помѣстій и денегъ за службу. Только прикрѣп-

леніе крестьянъ, по мнѣнію автора, дало опорную точку нашей аристократіи, и тогда она проникнулась корпоративнымъ духомъ, почувствовала себя сословіемъ, имѣющимъ общіе интересы. Въ смутное время, напримѣръ, она дѣйствуетъ уже, какъ твердая, сплошная корпорація (стр. 33). Но въ началѣ царскаго періода русской исторіи наша аристократія была бѣдна, слаба и руководствовалась однѣми личными эгоистическими цѣлями. Сравнивая русскую аристократію съ англійской въ соотвѣтствующій періодъ времени, г. Хлѣбниковъ приходитъ къ выводу, что нашъ первѣйшій богачъ едва-ли равнялся, по значительности матеріальныхъ средствъ, съ какимъ-нибудь второстепеннымъ англійскимъ барономъ. Такимъ образомъ, наша аристократія не могла служить сдерживающимъ началомъ для крайностей деспотизма, а, напротивъ, сама старалась поживиться отъ него, гдѣ можно и какъ можно, лакомыми кусочками. Однимъ изъ такихъ лакомыхъ кусковъ было, между прочимъ, и прикрѣпленіе крестьянъ, которое повлекло за собой постепенный переходъ дворянскихъ помѣстій,—раздаваемыхъ за службу и только на время службы,—въ вотчины, т. е. въ наследственную поземельную собственность. Къ этому прикрѣпленію крестьянъ г. Хлѣбниковъ относится какъ-то двойственно и неопредѣленно. Съ одной стороны, какъ мы уже видѣли это,—онъ желаетъ доказать, что закрѣпощеніе массы народа способствуетъ развитію въ ней любви и привычки къ труду; съ другой стороны, историческая добросовѣстность заставляетъ его признать, что «экономическое положеніе крестьянъ, разумѣется, не могло сдѣлаться лучшимъ съ прикрѣпленіемъ крестьянъ, чѣмъ до

этого прикрѣпленія» (стр. 260);—стало быть, рабство весьма мало поощряетъ развитіе трудолюбія. Образованнаго и богатаго сословія, которое должно было воспитаться, по плану г. Хлѣбникова, на народныхъ харчахъ, тоже не оказывается въ концѣ книги, и рабство, раззоривъ до тла массу народа, не содѣйствовало скопленію богатствъ и въ привилегированной его части. При этомъ остается недоказанной и другая мысль г. Хлѣбникова, что «монархія болѣе благоприятствуетъ равноправности гражданъ, а господство аристократіи почти неизбежно ведетъ къ образованію рабства» (стр. 45). Напротивъ, изъ его собственнаго изслѣдованія видно, что Іоаннъ III, настоящій основатель Московской монархіи, первый вводитъ нѣкоторыя препятствія къ полному и свободному переходу крестьянъ (стр. 47), что Іоаннъ IV, не сдѣлавъ ничего путнаго въ пользу крестьянъ, только ограбилъ и передушилъ ихъ помѣщиковъ, и что, наконецъ, со временъ Бориса Годунова вплоть до царя Алексѣя Михайловича, московскіе монархи дѣйствовали въ постоянномъ союзѣ съ аристократическими классами, въ ущербъ интересамъ большинства народа, который и заявилъ свой протестъ бунтомъ Стеньки Разина. Правда, г. Хлѣбниковъ старается убѣдить насъ, что возстаніе Разина произошло главнымъ образомъ отъ введенія низкопробной мѣдной монеты при Алексѣѣ Михайловичѣ; но коренная причина этого народнаго взрыва слишкомъ ясна для каждаго, кто прочиталъ съ толкомъ даже одно разсужденіе г. Хлѣбникова и незнакомъ ни съ какими другими данными для рѣшенія вопроса. Борисъ Годуновъ, взойдя на тронъ, ищетъ опоры не въ цѣломъ народѣ, а въ духовенствѣ и служиломъ со-

словян, которыя вручили ему власть. На соборѣ, избравшемъ въ цари Бориса, было 86 духовныхъ лицъ, 38 бояръ и окольничихъ, 198 мелкихъ поземельныхъ владѣльцевъ, 23 горожанина—и только 4 крестьянина! Естественно, что это крестьянство и было принесено въ жертву правящимъ классамъ. Только въ 1601 году, усомнившись въ надежности прежней поддержки, Борисъ вздумалъ—да и то нерѣшительно—опереться на народъ, дозволивъ переходъ крестьянъ изъ имѣній мелкопомѣстныхъ. Но эта полумѣра, удержавъ въ силѣ прежнее запрещеніе крестьянамъ переходить изъ имѣній крупныхъ владѣльцевъ, какъ-то: бояръ, монастырей и самого царя,—не принесла пользы Борису: крестьяне были недовольны ею, потому что конкуренція однихъ мелкопомѣстныхъ между собою не могла довести аренду земли до слишкомъ низкаго уровня, какъ могла бы это сдѣлать конкуренція мелкихъ владѣльцевъ съ боярами; дѣти же боярскія, которыхъ новый указъ задѣлъ чувствительно по карману, конечно, отнеслись къ нему съ затаенною злобою. Быть крестьянъ мало выиграло отъ этой попытки улучшенія.—Василій Шуйскій былъ еще больше, чѣмъ Борисъ Годуновъ, въ зависимости отъ аристократіи: въ избраніи его даже не участвовала земская дума, а дѣйствовала только одна боярская партія, которая и ограничила, по отношенію къ себѣ, извѣстною договорною грамотой, власть своего ставленника (стр. 204). По низверженіи Василія, сила бояръ не уменьшилась, и они заставили присягнуть себѣ народъ—«во всемъ ихъ бояръ слушати и судъ ихъ любити» (стр. 216). Когда же королевичъ Владиславъ провозглашенъ былъ русскимъ царемъ, то боярство, среди общаго разгрома страны, бомбардировало его

только просьбами о помѣстьяхъ, съ предательскими совѣтами о томъ, какъ подавить возстаніе въ непокорной части народа. Бояринъ Михаилъ Салтыковъ, — глава приверженцевъ Владислава, — поссорился съ Гонсѣвскимъ, представителемъ королевича, за то, что послѣдній допустилъ въ думу торговаго мужа Андропова, скоро получившаго огромный вѣсъ и значеніе; всѣ другіе бояре обидѣлись вмѣстѣ съ Салтыковыми. «Эта единодушная борьба бояръ—иронически замѣчаетъ г. Хлѣбниковъ—борьба противъ одного только мужа, достигшаго власти, уже ясно обнаруживаетъ, какъ эгоистически смотрѣло это сословіе на государство».

II.

Ироническое замѣчаніе г. Хлѣбникова совершенно вѣрно, и мы не имѣемъ ни малѣйшаго желанія вступаться за гражданскія доблести того сословія, которое, не имѣя ни одного изъ благихъ свойствъ западно-европейской аристократіи, сосредоточило въ себѣ исключительно дурныя ея стороны. Но не слѣдуетъ забывать, что, съ возвышеніемъ Москвы, эти дурныя стороны не только не исчезли, но сообщались самой центральной власти, которая также (за исключеніемъ Минина) не пускала въ свою верховную думу торговыхъ мужиковъ. При избраніи Михаила Ѳеодоровича боярская партія опять разыграла свою роль, и мы имѣемъ извѣстіе, что юный царь, вступая на тронъ, былъ также ограниченъ въ своихъ правахъ, относительно боярскаго класса, какъ и Василій Шуйскій. «Во все царствованіе Михаила—говоритъ г. Хлѣбниковъ—принадлежность всѣхъ

важнѣйшихъ государственныхъ должностей знатнымъ родамъ не была оспариваема». Какъ мало даже земскія услуги государству значили передъ важностью длиннаго ряда предковъ—это видно уже по тому факту, что знаменитый Пожарскій, очистившій Михаилу дорогу къ трону, былъ выданъ головой за мѣстнической споръ съ знатымъ родомъ Салтыковыхъ. Мининъ, попавши въ боярскую думу, повидимому, былъ совершенно затертъ въ ней: онъ словно въ воду канулъ съ своимъ умомъ и желѣзною волей, поставившей на ноги, въ критическую минуту, всю Россію. Крестьянамъ и посадскимъ людямъ не стало легче отъ усиленія центральной власти и при Алексѣѣ Михайловичѣ. Въ 1646 г. посланы были писцы, чтобы переписать всѣхъ живущихъ крестьянъ, и было постановлено, что бѣглецы крестьяне, принятые кѣмъ нибудь послѣ этой описи, будутъ отобраны и возвращены старымъ помѣщикамъ со всѣмъ своимъ имуществомъ, и, кромѣ того, на нихъ же взыщутся государевы и помѣщичьи подати за всѣ годы, которые они провели въ бѣгахъ. Въ 1647 г. десятилѣтній срокъ для отыскиванія бѣглыхъ былъ измѣненъ въ пятнадцатилѣтній; наконецъ, на земскомъ соборѣ 1649 г. срокъ сыска совсѣмъ отмѣненъ, и крестьянинъ окончательно прикрѣпился къ землѣ. Какъ быстро падало въ «царскій періодъ» русской исторіи благосостояніе крестьянскаго населенія—это нетрудно вывести изъ сличенія слѣдующихъ фактовъ. Въ XVI-мъ столѣтіи, такъ называемые черносошные (т. е. тягловые государственные) крестьяне испытывали самую прискорбную участь: при незначительности дохода (простиравшагося среднимъ числомъ отъ 2 до 4 рублей въ годъ) на нихъ лежали громадною тяжестью государственныя

и общественныя повинности. Всѣ подати и повинности этого времени можно раздѣлить на три разряда. Къ первому разряду относятся повинности, предназначенныя на защиту государства: городовое дѣло, т. е., строеніе городскихъ стѣнъ и башенъ; пищальныя деньги, (на покупку оружія, на содержаніе ратныхъ людей); посошная служба, т. е. выставленіе рекрута; зеленое дѣло, т. е. приготовленіе пороха; засѣчное дѣло—устройство засѣкъ, чтобы помѣшать вступленію непріятелей. Ко второму разряду повинностей принадлежатъ сборы на содержаніе областного управленія: жалованье чиновникамъ мѣстнаго управленія и судебныя пошлины; дѣачія писчія пошлины, приметь или прибавка къ ямскимъ доходамъ, кромѣ содержанія самого яма и ямщиковъ, подмога ямскимъ охотникамъ; сюда же относится натуральная повинность—строеніе и починка мостовъ. Третій разрядъ—это подати, употребляемыя на содержаніе двора: оброкъ съ поженъ, полпужная пошлина, соколій оброкъ, поминочныя черныя соболи. Эти налоги, по снисходительному расчисленію г. Хлѣбникова, обходились въ 1555 г. не менѣе 3 р. съ черной обжи (обжа равнялась 15-ти десятинамъ); слѣдовательно, крестьянинъ, владѣвшій обыкновенно одною третью обжи, т. е. пятью десятинами, уплачивалъ отъ $\frac{3}{4}$ до 1 рубля налоговъ, что равнялось, по крайней мѣрѣ, половинѣ его дохода. Натуральныя повинности, отвлекавшія крестьянина отъ его собственнаго дѣла, совсѣмъ не входятъ въ этотъ расчетъ. Понятно, что черносошные крестьяне, обираемые донатами и заваленные непосильной работою, рвались, что ни есть мочи, съ своихъ черныхъ земель въ имѣнья монастырскія и боярскія; ихъ судьбѣ могли

позавидовать только крестьяне, жившіе на землях дѣтей боярскихъ, которымъ приходилось еще хуже (стр. 50—51). Въ XVII-мъ же столѣтіи эта картина мѣняется: помѣщичьи крестьяне приближаются, мало по малу, къ положенію холоповъ, такъ что въ 1647 г. совершается продажа крестьянъ безъ земли, и правительство не обращаетъ на это вниманія, явно показывая, что крестьяне столько же прикрѣпляются къ землѣ, сколько и къ личности землевладѣльца. Но это покуда исключительные факты; въ концѣ же царствованія Алексѣя Михайловича (въ 1675 г.) правительство разрѣшаетъ формально продажу крестьянъ порознь, какъ вычужаго скота (стр. 273). Съ перемѣной обстоятельствъ, быть черносошнымъ крестьянъ, не утратившихъ ни личной свободы, ни общиннаго самоуправленія, дѣлается даже предметомъ зависти для крѣпостныхъ.

Таково было у насъ положеніе сельскаго класса; но и городское населеніе было поставлено отнюдь не въ лучшія условія. Торговля стѣснялась для посадскихъ людей: вопервыхъ, откупамъ, къ которымъ московское правительство было очень склонно, создавая монополію даже изъ торговли квасомъ, сусломъ, овсяною тухлою и пр., вовторыхъ — конкуренціей иностранныхъ капиталистовъ, стрѣльцовъ и другихъ лицъ, которыя, не платя тяжелыхъ податей и не исправляя городскихъ службъ, могли, съ выгодой для себя, соперничать съ отягощенными посадскими. Городская служба, которую несли посадскіе по сбору и продажѣ монополизированныхъ товаровъ, была въ высшей степени тяжела для нихъ. Всѣ торговныя пошлины или отдавались на откупъ, или собирались на вѣру, т.-е. сами горожане выбирали лицъ,

которыя бы вѣзали пошлины и отдавали въ казну. Трудно сказать, какой порядокъ вещей былъ болѣе обременителенъ для горожанъ. При отдачѣ на откупъ случались удивительныя безпорядки, благодаря произволу откупщиковъ, и несмотря на вышательство цѣловальниковъ, обязанныхъ смотрѣть, чтобы монополистъ не бралъ пошлинъ выше определенныхъ грамотами. При отдачѣ таможенныхъ сборовъ на вѣру, городу также было не легче, потому что за недоборъ отвѣчали сначала сборщики, а потомъ и всѣ ихъ избиратели. Такъ, напримѣръ, въ 1618 г. съ бѣлоозерцевъ взыскивались таможенные недоборы деньги съ такой беспощадной строгостью, что «многіе лутчіе (люди) съ правожовъ разбѣглися безвѣстно съ женами и съ дѣтьми, покины дома свои пусты». Одинъ сборщикъ податей даже хвастался тѣмъ, что онъ «царскіе доходы правилъ нещадно — поби-валъ на смерть». Кромѣ городскихъ службъ, посадскіе люди отбывали еще разныя, чрезвычайныя и обыкновенныя налоги: уплачивали извѣстную часть имущества, вносили оброкъ, полонянничныя деньги (на выкупъ плѣнныхъ) и пр. Во все время царствованія Михаила и Алексѣя Михайловича посадскіе, доведенные до окончательнаго раззоренія, старались удрать изъ своихъ посадовъ и «заложиться» за вѣстей, за монастыри — словомъ, всюду; шли даже въ кабальныя холопы. Всякій выходъ посадскихъ, всякій «обѣленный» (т.-е. свободный отъ податей) дворъ ложился новой тягостью на остальныхъ посадскихъ, такъ-какъ правительство и не думало убавлять службъ, если горожанъ становилось меньше. Пришлось, наконецъ, угрожать посадскимъ смертною казнью за оставленіе посада! (стр. 292).

Принципъ крѣпостнаго права проведенъ былъ послѣдовательно во всѣхъ сферахъ русской жизни: крестьяне прикрѣплялись къ землѣ или, вѣрнѣе сказать, къ ея владѣльцу, городскіе жители—къ городу, высшіе классы—къ двору. «Для личности—такъ заключаетъ г. Хлѣбниковъ свою характеристику «царскаго періода»—не существовало никакого обезпеченія въ судѣ, въ случаѣ преступленій или проступковъ, кромѣ важной гарантіи (?), заключавшейся въ мягкости характера двухъ благочестивыхъ царей (т.-е. Михаила и Алексѣя). Отъ наказанія кнутомъ и батогами обычай и законъ началъ освобождать бояръ и думныхъ людей, но всѣ другіе подвергались ему за всякія преступленія... Отсутствие законнаго суда, обезпечивающаго личность, заставляло людей прибѣгать къ лицемерію, къ двуличности и пр. Боязнь произвола сильныхъ заставляла людей прятать деньги и жить въ грязныхъ и дымныхъ лачугахъ, спать на скамьяхъ безъ постелей, носить грязное платье и бѣлье; все это дѣлалось съ тою цѣлью, чтобы не подать подозрѣнія въ богатствѣ» (стр. 249). Корыстолюбивое духовенство, овладѣвъ огромными богатствами, не содѣйствовало нисколько умственному и нравственному развитію народа; напротивъ, оно старалось освободиться отъ всякихъ обязательныхъ отношеній къ государству и, по возможности, устраивало себѣ рай въ здѣшней жизни. Всегда раболобное передъ свѣтскою властью, которая распоряжалась мірскими благами, духовенство наше, за немногими исключеніями, вступалось ревнивѣе всего за свои матеріальные интересы. Когда же оно пробовало выйти изъ сферы матеріальныхъ расчетовъ въ широкую область государственной жизни, его сочувствія

принадлежали застою и косности, а не движенію, не прогрессу.

Читатель видитъ, что картина, нарисованная нами по матеріаламъ г. Хлѣбникова, не отличается привлекательностью, и нужно имѣть «нарочито-острое» воображеніе, чтобы представить себѣ что-нибудь худшее. Тѣмъ не менѣе, г. Хлѣбниковъ стоитъ на томъ, что безъ благодѣтельной помощи московской централизаціи, мы просто сгинули бы со свѣту съ нашими старыми вѣчами и городскими республиками. Тутъ есть, очевидно, какое-то крупное недоразумѣніе, какая-то недомолвка, которую слѣдуетъ найти и указать автору. Постараемся сдѣлать это кратко, такъ-какъ картина, изображенная выше, краснорѣчиво говоритъ сама за себя и избавляетъ насъ отъ пространныхъ объясненій.

Географическія условія, способствующія, по мнѣнію г. Хлѣбникова, развитію деспотизма, существовали у насъ и прежде, въ эпоху напр. Владиміра Мономаха; границы были также мало обезпечены отъ нападеній враговъ: съ юга—половцевъ; съ запада—нѣмцевъ, поляковъ и венгровъ; но отчего же Владиміръ Мономахъ, по характеру своей власти и дѣятельности, такъ мало похожъ на царя опричниковъ? Возьмите «Поученіе» Владиміра Мономаха. Вы видите, что дѣятельный князь большую часть своей жизни провелъ въ походахъ; но онъ находилъ время и совѣщаться съ дружиною, и заботиться о своемъ собственномъ образованіи. Человѣческій образъ «излюбленного князя» русской земли просвѣчиваетъ въ каждой строкѣ его поученія: онъ совѣтуетъ заботиться о бѣдныхъ, защищать слабыхъ, водить дружбу съ иностранными гостями, исполнять по духу, а не по бук-

вѣ, предписанія религіи. Есть ли тутъ сходство съ дикою бранью, изливаемой Іоанномъ Грознымъ на князя Курбскаго—за то только, что строптивый воевода отказался «принять вѣнецъ мученическій»? Могла ли вмѣститься въ головѣ Мономаха несчастная мысль—сдѣлаться мучителемъ своего народа, да и потерпѣлъ ли бы самый народъ такого мучителя? Новгородцы не менѣе кіевлянъ вынуждены были заботиться объ отраженіи непріятеля и слѣдовательно—по теоріи г. Хлѣбникова — у нихъ прежде всего должна бы развиться сильная диктатура; но это не мѣшало новгородцамъ ежеминутно изгонять своихъ князей: одного за то, что «не блюдетъ смердъ», другого за то, что овладѣваетъ частною и общественною собственностью, а также «выводитъ иноземцевъ», поселившихся въ городѣ, и т. д. Отсюда видно, что географическія условія и необходимость самозащиты далеко еще не ведутъ къ водворенію опричнины. Такъ же мало повела бы къ этому идея объединенія Россіи, еслибы народъ имѣлъ полный просторъ и свободу—выбрать для этой идеи соотвѣтствующую форму. Общерусскій патріотизмъ, сознаніе единства и нераздѣльности русской земли, пробивается уже сильной струей въ «Словѣ о полку Игоревѣ»; то же сознаніе, безъ всякой примѣси крѣпостническихъ замисловъ, видимъ мы въ дѣйствіяхъ лучшихъ князей удѣльно-вѣчеваго періода, — и странно утверждать, что единственнымъ исходомъ для русскаго патріотизма была именно московская централизація, закрѣпостившая народъ сверху до низу, лишившая его и политическихъ правъ, и сознанія необходимости пользоваться ими. Поголовныя народныя вѣча—сколько бы ни говорили противъ нихъ узкіе защитники порядка quand

тѣмъ—имѣли ту неоспоримую заслугу, что, привлекая каждого къ участию въ политической и общественной жизни, они строго соблюдали интересы народа и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вкореняли въ немъ здоровое понятіе о связи личныхъ, индивидуальныхъ правъ и выгодъ съ правами и выгодами цѣлаго гражданскаго общества. Московская централизація только эксплуатировала въ свою пользу хорошіе результаты обогащенія и заселенія Руси, добытые прежней свободной жизнью народа. Г. Хлѣбниковъ самъ говоритъ: «Образованіе удѣловъ, раздробивши Россію на маленькія независимыя области, не давало возможности всеобщаго и одновременнаго прикрѣпленія крестьянъ, а частные законы въ отдѣльныхъ княжествахъ повели бы за собою ихъ обезлюдѣніе, такъ-какъ сосѣди воспользовались бы ими, чтобы сманить прикрѣпленныхъ крестьянъ. Земель было много, а работниковъ мало, а потому всѣ удѣльные князья не только не старались закрѣпить крестьянъ, но каждый наперерывъ старался давать льготы крестьянамъ, переманеннымъ изъ чужихъ удѣловъ» (стр. 46). Въ другомъ мѣстѣ г. Хлѣбниковъ признаетъ, что раздѣленіе государства на множество независимыхъ владѣній было всегда «очень полезно для развитія городовъ» (стр. 70). Такимъ образомъ, отпаваясь отъ собственныхъ словъ г. Хлѣбникова, легко доказать, что если нашъ удѣльно-вѣчевой періодъ способствовалъ благосостоянію крестьянъ и развитію городовъ, то онъ сослужилъ этимъ однимъ огромную службу Россіи, и его дѣло только было испорчено послѣдующею правительственною системою. Торговое богатство Новгорода, его умственное и политическое развитіе, весьма высокое сравнительно съ Москвою —

это факты, которые невозможно отрицать или заподозривать: по свидетельству всѣхъ историческихъ документовъ новгородцы были богаче, честнѣе, нравственнѣе и умственноразвитѣе москвичей. При болѣе благопріятныхъ историческихъ условіяхъ, новгородское устройство могло бы распространиться по всей Россіи, соединивъ ее не крѣпостными цѣпями, но вольною, общенародною связью политическихъ, торговыхъ и промышленныхъ интересовъ. Г. Хлѣбниковъ напрасно измышляетъ: какую именно форму выбралъ бы для себя свободный союзъ русскихъ земель?—вопросъ этотъ уже разрѣшенъ самой исторіей Новгорода, и отдѣленіе Пскова, а также вятской общины отъ своей метрополии показываетъ намъ, что опредѣленіе правильныхъ политическихъ отношеній между первенствующимъ городомъ и его колоніями вовсе не представляло непреоборимыхъ трудностей. Правда, что зависть между Псковомъ и Новгородомъ всегда существовала; но съ другой стороны они живо чувствовали солидарность своихъ политическихъ стремленій, и не даромъ у нихъ сложилась пословица: «душа на Волховѣ, сердце на Великой». Что же касается до экономической безурядицы, которую г. Хлѣбниковъ приводитъ въ числѣ главныхъ причинъ возвышенія центральной власти, — то изъ его собственнаго изложенія видно, что наше всеобщее раззореніе было не причиною, а слѣдствіемъ московскаго деспотизма.

Итакъ, по нашему мнѣнію, удѣльно-вѣчевой порядокъ палъ не вслѣдствіе своей внутренней несостоятельности и не потому, чтобы на смѣну его шелъ новый, болѣе совершенный политическій режимъ, но по другой причинѣ, которая пришла извнѣ и раздавила въ зародышѣ начатки свободной

политической жизни. Эту причину указывает мелькомъ г. Хлѣбниковъ, но не останавливается на ней съ должнымъ вниманіемъ и явно желаетъ навязать вѣчевому устройству то зло, которое не имѣетъ съ нимъ никакой органической связи. Татарское иго—вотъ пропасть, лежащая между Владиміромъ Мономахомъ и Иваномъ Грознымъ, и въ этой пропасти погибли и вѣча, и новгородская свобода, и естественное развитіе русскаго народа.

ОПЫТЪ ФИЛОСОФСКОЙ РАЗРАБОТКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ.

(«Соціально-педагогическія условія умственнаго развитія русскаго народа». Соч. Аеанасія Щапова. С.-Петербургъ. Изданіе Н. Полякова. 1870 г.).

I.

Между современными изслѣдователями русской исторіи Г. Щаповъ занимаетъ совершенно особое мѣсто, рѣзко отличающійся, по складу мысли и направленію своей дѣятельности, какъ отъ московскихъ теоретиковъ, подгоняющихъ всѣ факты подъ идею государственнаго интереса и государственной цѣлости, такъ и отъ петербургскихъ анекдотистовъ, которые не задаются въ своихъ трудахъ уже ровно никакою идеею и тискаютъ въ печатныя статьи нисколько не осмысленныя матеріалы, отрывки гдѣ-нибудь въ казенныхъ архивахъ или въ частныхъ запискахъ. Г. Щаповъ уже давно обратилъ на себя вниманіе именно своею способностью—отыскивать въ грудѣ разрозненныхъ фактовъ одну, обобщающую ихъ, идею; смотрѣть не поверхностно, но осмысленно и глубоко въ самую, такъ-сказать, подпочву развѣтвляющихся историческихъ событій, не обманываясь ихъ призрачною внѣшностью или выпуклою художественною стороною, и не ограничиваясь при этомъ какимъ-нибудь узенькимъ традиціоннымъ міровоззрѣніемъ, пропитаннымъ старовѣрствомъ, при полномъ отсутствіи истинно-научнаго, критическаго анализа. Въ такомъ,

по крайней мѣрѣ, духѣ были написаны всѣ его послѣднія статьи, въ которыхъ авторъ, отрѣшившись отъ своихъ прежнихъ, нѣсколько мистическихъ и преувеличенныхъ восхищеній нашимъ земскимъ, народнымъ геніемъ, сталъ на спокойную точку зрѣнія рационалиста-историка, относящагося съ одинаковымъ безпристрастіемъ и къ прогрессивной роли правительства (въ тѣхъ случаяхъ, когда таковая роль дѣйствительно выпадала на его долю), и къ повальному «недоумству» народной массы, легко объясняемому ея безправнымъ состояніемъ и долговременной умственной забитостью. Исторія русскаго интеллекта, русской мыслящей силы, двигавшейся впередъ сквозь тысячи препятствій, полагаемыхъ ей какъ природой и климатомъ страны, такъ и всей социально-воспитывающей обстановкой, возникшей изъ осложненныхъ физическихъ и психологическихъ причинъ—вотъ главная задача послѣднихъ работъ г. Щапова. При выполненіи этой задачи г. Щаповъ пользуется приемами и методомъ, уже указанными Боклемъ въ его «Исторіи цивилизаціи Англіи»; но заимствуя у Бокля тѣ положенія, которыя одинаково примѣнимы къ исторіи умственного развитія всѣхъ народовъ, онъ видоизмѣняетъ или ограничиваетъ другіе боклевскіе тезисы, которые варьируются такъ или иначе, смотря по особымъ, характернымъ условіямъ исторической жизни каждаго народа. Такъ, напримѣръ, ставя на первый планъ, подобно Боклю, вліяніе природы на образованіе народнаго характера и признавая, вмѣстѣ съ нимъ, развитіе скептицизма начальнымъ шагомъ въ приобрѣтеніи истинныхъ познаній, г. Щаповъ не могъ, въ виду великаго прогрессивнаго значенія петровской реформы, отнестись съ боклевской строгостью ко

всѣмъ рѣшительно проявленіямъ правительственной инициативы, хотя и не забылъ отмѣтить яркими красками дурныя послѣдствія господствовавшей у насъ государственной опеки и регламентаціи. Также точно—и по той же причинѣ—значенію личности Петра отведено у г. Шапова гораздо болѣе мѣста, чѣмъ сколько предоставляет его Бокль другимъ, подобнымъ же, вліятельнымъ лицамъ западноевропейской исторіи. Все это показываетъ намъ, что г. Шаповъ занимается не просто пересадкою къ намъ готовыхъ воззрѣній передовыхъ европейскихъ писателей; но что онъ, сознательно вооружившись новымъ научнымъ методомъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, настолько изучилъ свой фактическій матеріалъ, что его выводы не предшествуютъ фактамъ, не навязываются имъ со стороны, но свободно вытекаютъ изъ нихъ, какъ болѣе или менѣе правильное, логическое заключеніе.

Книга г. Шапова—представляетъ собой, кажется, первую у насъ попытку обзорѣть въ связномъ, философски-обдуманномъ очеркѣ всю сумму общественно-воспитательныхъ, или социальнo-педагогическихъ вліяній, подъ которыми суждено было развиваться русской мысли отъ основанія государства вплоть до нашихъ дней. Вліяніе природы, т.-е. физическихъ условій страны, на характеръ и склонности русскаго народа указывается здѣсь только мимоходомъ; главнѣйшамъ же образомъ г. Шаповъ разсматриваетъ въ своей книгѣ ту социальную обстановку, которая, въ формѣ религіозныхъ представленій и государственныхъ «мѣропріятій», могущественно дѣйствовала на складъ, силу и направленіе русской мысли. Странно было бы требовать, чтобы въ этомъ едва-ли не первомъ опытѣ почтенный авторъ избѣжалъ всякихъ ошибокъ, упущеній или

даже недостатковъ въ самомъ планѣ работы: подобныя требованія были бы равносильны фантастическому желанію—видѣть цѣлую науку выходящей вполне обработанною изъ головы одного человѣка; но, несмотря на то, что г. Щаповъ даетъ поводъ возразить себѣ по многимъ пунктамъ, мы все-таки должны признать его трудъ весьма замѣчательнымъ вкладомъ въ современную русско-историческую литературу.

II.

Мы передадимъ сначала въ общихъ чертахъ содержаніе книги г. Щапова, а затѣмъ укажемъ тѣ ея мѣста, которые, по нашему мнѣнію, требуютъ выясненія, дополненій или даже переработки въ извѣстномъ смыслѣ.

Сравнивая, въ началѣ своего труда, исторію умственного развитія въ Россіи и въ Европѣ, г. Щаповъ говоритъ, что въ то время, какъ въ Европѣ теоретическая мысль и философская самостоятельность развивались генеративно-последовательно и образовали, наконецъ, въ XV вѣкѣ, цѣлую школу свободныхъ мыслителей, служившую выраженіемъ (по словамъ Гизо) умственной революціи,—въ исторіи умственного развитія русскаго народа не замѣтно было последовательнаго, философскаго изощренія мыслительной силы, и потому много вѣковъ совсѣмъ не было особаго класса, который посвятилъ бы себя культурѣ мысли. Племена, вошедшія въ составъ русскаго народа при основаніи государства, стояли еще на самой низкой, примитивной степени

своего интеллектуального развитія. Краниологическія изслѣдованія послѣдняго времени показываютъ, что къ какому бы племени ни принадлежало, напримѣръ, московское курганное поколѣніе, въ средѣ котораго зарождалось московское государство, во всякомъ случаѣ краниологическое развитіе его не показываетъ присутствія сколько-нибудь выработанной способности мышленія. Сжатый черепъ, длинный и узкій, сильное развитіе затылочной его части, низкій приплюснутый лобъ, малый личной уголъ—вотъ краниологическія черты этого племени, весьма напоминающія характеристическія формы череповъ каменнаго вѣка и басковъ (стр. 5). Такое племя, очевидно, не могло само собою, собственными интеллектуальными силами, начать могучую умственную самостоятельность; во главѣ его не могъ выдвинуться самостоятельный мыслящій и руководящій классъ. Оно необходимо должно было подчиниться, во первыхъ, интеллектуальному вліянію и господству скандинаво-германскихъ, варяжскихъ князей и дружинниковъ, имѣвшихъ больше возможности умственно развиться при условіи обширныхъ морскихъ походовъ, морской торговли и пр., во вторыхъ, интеллектуальному перевѣсу византійской церковно-учительной іерархіи, сильной и вліятельной, если не физико-математическимъ ученіемъ Аристотелѣй, Эвклидовъ, Архимедовъ, то догматической Златоустовъ, Назіанзиновъ, Дамаскиныхъ и пр. И дѣйствительно, если мы, послѣ разсмотрѣнія череповъ, заглянемъ въ доисторическій, міеологическій періодъ славяно-русскаго интеллекта, то не найдемъ въ немъ никакихъ яркихъ зачатковъ высшаго разсудочнаго процесса. Славяне не могли еще возвыситься, силою отвлеченнаго мы-

шленія, до идеи божества и обобщенной системы религіи: они только созерцали, ощущали и поклонялись непосредственно—по свидѣтельству Нестора и византійскихъ писателей—такимъ физическимъ типамъ и предметамъ природы, какъ, напримѣръ, рѣки, колодези, болота, деревья, камни и т. п. Передъ временемъ водворенія на Руси христіанства, сенсуальная воспріимчивость славянскихъ племенъ коснѣла еще на степени дикарскаго, звѣроловческаго, зооморфическаго міросозерцанія, такъ какъ многія племена славянскія жили еще, по словамъ лѣтописи, въ лѣсахъ, звѣринскимъ образомъ, и приносили въ жертву богамъ не только звѣрей, но и «сыны своя и дщери». Вслѣдствіе общей неразвитости умственныхъ способностей, при отсутствіи вполне организованной, обобщенной догматической и обрядовой стороны религіи, при полной замѣтѣ, наконецъ, жреческой касты родовымъ значеніемъ отцовъ семействъ или старшихъ въ родѣ—классъ славянскихъ вѣдуновъ или знахарей не успѣлъ организаваться, во главѣ славянскихъ племенъ, въ замкнутую и умственно-владычествующую жреческую касту или іерархію. Тѣмъ болѣе знахарство это не могло положить начала раціонально-мыслящему классу народа, что оно само основывалось не на здравыхъ выводахъ мышленія и знанія, но на совершенно ложныхъ мнѣстескихъ представленіяхъ и сенсуальныхъ галлюцинаціяхъ. По всѣмъ этимъ причинамъ умственная сила и вліятельность вѣдуновъ и волхвовъ никогда не могли устоять въ борьбѣ съ византійской, строго выработанной, доктриной и съ византійскимъ клерикально-педагогическимъ классомъ. Наконецъ, и въ историческія уже времена, въ эпоху колонизаціи и

земскаго строенія—вѣковая, исключительно физическая работа нашего народа въ области природы, обуславливая одну лишь первобытную, натуральную восприимчивость, въ то же время почти совершенно исключала возможность развитія высшего, теоретическаго мышленія. Эта вѣковая работа колонизаціи, напрягая одни виѣшніе чувства и способствуя накопленію однихъ лишь элементарныхъ, конкретныхъ впечатлѣній, не давала досуга народу мысленно обсуждать, сравнивать и обобщать всѣ разсѣянные, безсвязныя чувственныя воспріятія, а также вырабатывать изъ нихъ своимъ мышленіемъ какіе-нибудь логическіе выводы или заключенія. Итакъ, славяно-русскій народъ, еще только выступая на поприще исторіи, подчинился, въ самомъ воспитаніи своей мыслительной силы, византійскому клерикальному классу, который явился на Руси сначала въ лицѣ византійскихъ грековъ, составлявшихъ первоначальную іерархію новосозданной русской церкви, а затѣмъ, будучи свободенъ отъ черныхъ работъ и обезпеченъ жалованными десятинами, землями и работами народными, организовался мало по малу въ самобытный славянскій церковно-учительный классъ, ставшій надолго во главѣ умственнаго воспитанія и направленія русскаго народа. Кромѣ того, славянскія племена, испытавши во времена родовой рѣзни и междоусобицъ недостаточность своего земскаго устройства и примирительнаго вліянія родоначальниковъ и старшинъ, подчинились сами, вмѣстѣ съ финскими племенами, интеллектуальному вліянію и власти скандинаво-германскаго, или варяжскаго, княжескаго рода, который потомъ, обрусѣвши и вѣнчавшись византійской мономаховой

діадемой, возвысился въ наслѣдственный домъ самодержавцевъ всероссійскихъ и сдѣлался главнымъ, самодержавнымъ регуляторомъ всей умственной жизни русскаго народа (стр. 10—12). Оцѣнивая вліяніе на русскую жизнь религіознаго начала, заимствованнаго изъ Византіи, г. Шаповъ говоритъ: «Восточно-византійская доктрина имѣла своей задачей не интеллектуальное, не научно-мыслительное развитіе русскаго народа, а одно нравственно-религіозное воспитаніе. Все главное ея назначеніе состояло въ развитіи грековосточнаго христіанскаго умонастроенія, греко-восточной христіанской вѣры и нравственности. Поэтому въ программу ея не входило ни возбужденіе всеобщей самодѣятельности мышленія, разума, ни распространеніе такихъ способовъ развитія мыслительныхъ способностей народа, какъ классическая литература и наука. Отсюда происходили двѣ характеристическія особенности умственной жизни древней Руси, отразившіяся въ умонастроеніи новой Россіи: 1) совершенное преобладаніе восточно-византійскаго теологическаго начала надъ классико-космологическимъ и 2) совершенное преобладаніе вѣры и нравственности надъ разумомъ и мыслью». Этотъ выводъ г. Шаповъ подтверждаетъ многими фактами и соображеніями. Византія, въ то время, когда мы заимствовали отсюда религіозное ученіе, находилась сама въ глубокомъ упадкѣ: наука, преподаваемая въ ея школахъ, не служила нисколько этого имени. «Творческій духъ грековъ, по справедливому замѣчанію одного русскаго изслѣдователя, ослабѣвалъ постепенно, и истинно-христіанское начало стѣснилось одностороннею догмой. Наука не имѣла жизненности, внутренней силы, свѣжести, не обращалась въ жизнь

и сама не питалась жизнью; облеченная въ отвлеченныя, сухія формы, она существовала отдѣльно, почти не касаясь живыхъ, современныхъ интересовъ общества. Утонченная диалектика въ области богословія, искусственныя и пустыя умозрѣнія въ философіи, декламація вмѣсто истиннаго краснорѣчія—вотъ что, болѣе всего, составляло ученыя занятія византійскихъ грековъ». При такой выродившейся, жалкой наукѣ, Византія, очевидно, не могла возбудить въ русскомъ народѣ развитія научной мыслительности. Въ самомъ христіанскомъ ученіи Византія, въ длинный періодъ схоластико-догматическихъ словопреній, почти нисколько не развивала умственно-образовательныхъ идей христіанства о человѣкѣ, объ общественныхъ отношеніяхъ, о началахъ любви и братства и т. п. Въ это время она только выработала и твердо, неподвижно установила догматъ о трехъ ипостасяхъ божества, о поклоненіи св. иконамъ, о почитаніи Богородицы и святыхъ, и разработала въ восточномъ духѣ церковную архитектуру, церковное богослуженіе, церковное пѣніе и церковную обрядность. Все это Византія передала и Россіи. Порабощенная и угнетенная потомъ турками, она и вовсе поступилась тѣми умственно-образовательными средствами, какія заключались въ твореніяхъ Аристотеля, Эвклида, Гипократа и другихъ классическихъ геніевъ. Всѣ ея древнія рукописи достались не Россіи, а Западу. Такимъ образомъ, западные умы, предвосхитивши произведенія греческаго генія, были возбуждены ихъ идеями къ могучему умственному развитію, а Россія лишилась и этого образовательнаго импульса, и отстала отъ Запада. На Западѣ, какъ извѣстно, и монастыри служили проводниками не однѣхъ догматиче-

свихъ, но и классическихъ научныхъ идей. Такъ, напри-
мѣръ, въ аббатствѣ Кройландскомъ, въ концѣ XI вѣка,
было до 3,000 книгъ и въ томъ числѣ множество сочиненій
римскихъ классиковъ; въ аббатствѣ Гластонберійскомъ би-
бліотека заключала въ себѣ, въ 1248 году, 400 томовъ, и
между ними, бѣльшею частію, встрѣчались древне-классиче-
скія произведенія. Въ нашихъ же монастыряхъ, въ массѣ
библейскихъ, святоотеческихъ и богослужебныхъ книгъ (какъ,
напримѣръ, въ Соловецкомъ, Сергіевомъ, Кирилло-Бѣлозер-
скомъ и другихъ книгохранилищахъ) не находилось иногда
ни одной древне-греческой или римской рукописи. Наконецъ,
если такія рукописи попадали къ намъ и переводились на
русскій языкъ, то и тутъ предпочтеніе оказывалось авто-
рамъ въ родѣ, напримѣръ, Козьмы Индикоплава, который,
въ своей «Книгѣ міра», доказывалъ, что земля четырехугольна,
небо, въ видѣ полукруга, прикрѣплено къ краямъ ея, и что
окрестъ всей земли океанъ. «Такимъ образомъ—говоритъ
г. Щаповъ въ заключеніе своей характеристики византий-
скаго вліянія—к л а с с и ц и з м ъ не былъ историческимъ нача-
ломъ интеллектуальнаго развитія въ Россіи, каковымъ былъ
на Западѣ. Онъ не былъ у насъ, какъ на Западѣ, предва-
рительнымъ горниломъ испытанія мыслительности, не былъ
предуготовительной школой возбужденія и воспитанія пытли-
вой мысли и духа изслѣдованія... Русскому народу, такъ
сказать, родившемуся уже на зарѣ новой исторіи человѣче-
ства,—когда преемственно-историческій круговоротъ идей
цивилизациі долженъ уже исходить для всѣхъ новыхъ наро-
довъ не только не съ востока дряхлаго, нѣкогда импульси-
ровавшаго мыслительность древнихъ грековъ, но даже и не

изъ классическаго міра, Эллады и Рима, а съ запада Европы— русскому народу, закономъ всемірной исторіи, суждено было возбудиться, импульсироваться къ умственной жизни уже новымъ, западно-европейскимъ завѣтомъ великихъ, міровыхъ идей и открытій, а не ветхимъ завѣтомъ зачаточныхъ знаній классическаго міра... Поэтому, съ XVIII вѣка, съ вѣка Ньютона, Эйлера, и друг. уже поздно было почерпать умственно-образовательныя средства въ произведеніяхъ Аристотеля, Платона, Птолемея и др. Съ XVIII вѣка классицизмъ въ училищахъ русскаго народа былъ уже анахронизмомъ и мертвою буюю». Русскій умъ, покорно воспринимавшій въ себя византійскую доктрину, долгое время оставался глухъ ко всѣмъ вопросамъ и возбужденіямъ классицизма. Въмѣсто философіи и наукъ, въ древней Россіи заповѣдывалось учиться только смиренномудрію и каноническимъ книгамъ. Въ тѣ времена говорили: «Братія, не высокоумствуйте, но во смиреніи пребывайте, посеми же и прочая разумѣвайте. Аще кто ти речетъ: вѣси ли всю философію? И ты ему рцы: эллинскихъ борзостей не текохъ, ни риторскихъ астрономъ не читахъ, ни съ мудрыми философы не бывахъ; учусь книгамъ благодатнаго закона, аще бо мощно моя грѣшная душа очистити отъ грѣхъ». Эта же боязнь сомнѣнія и трезваго изученія природы зашла изъ древней и въ новую Русь, и даже въ наши дни не перестаетъ смущать благочестивыя души разныхъ публицистовъ. Уже въ 1720 году, т. е. въ концѣ царствованія Петра I, силившагося пробудить русскую мысль, вѣкій іеромонахъ Кохановскій поучалъ: «аще бо и великостепенный человекъ училъ отъ своего мозга, не слушай и не приѣмля». Когда извѣстнаго профессора Рихмана,

во время производства громоотводныхъ опытовъ, убило молніей, то публику объялъ такой суевѣрный страхъ, что Ломоносовъ боялся, чтобы этотъ случай не былъ перетолкованъ противъ естественныхъ наукъ. И дѣйствительно, современникъ этого событія, В. А. Нащокинъ, выражавшій, конечно, мнѣнія большинства, отзывался объ опытѣ Рихмана, какъ о нелѣпой и самонадѣянной попыткѣ—вырвать у природы ея секреты, передъ которыми нужно только безмолвствовать и слѣпо имъ подчиняться. «Профессоръ Рихманъ — говоритъ насмѣшливо Нащокинъ въ своихъ запискахъ — машиною старался объ удержаніи грома и молніи, дабы отъ идущаго грома людей спасти; но съ нимъ прежде всѣхъ случилось при той самой сдѣланной машинѣ, съ нимъ, Рихманомъ, о мудрованіи сходно произошло въ древности, какъ Эсхиль тоже черезъ астрономію позналъ убіеніе себя верженіемъ сверху: орелъ съ высоты опустилъ желвь (черепаху) и разбилъ лису голову Эсхила». Даже по учрежденіи физико-математическихъ факультетовъ въ университетахъ, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, профессора естественныхъ и математическихъ наукъ должны еще были, подобно Ломоносову, доказывать, что знаніе силъ природы не подрываетъ религій, а, напротивъ, приводитъ къ ней и пр. и пр. Еслибы г. Шаповъ довѣлъ свое изслѣдованіе до нашихъ дней, то онъ долженъ былъ бы занести подъ ту же рубрику нелѣпые возгласы новѣйшихъ «спасителей отечества» (выраженіе, принадлежащее г. Тургеневу) противъ всякаго живаго научнаго слова, не укладывающагося на прокрустовомъ ложѣ благонамѣренно-полицейскихъ тенденцій.

III.

Какъ въ сферѣ нравственно-религіознаго міросозерцанія русскій народъ всецѣло подчинился вліянію византійской доктрины, такъ въ умственномъ образованіи своемъ онъ, вслѣдствіе того же отсутствія мыслящаго, руководящаго класса, поддался исключительно-государственной системѣ опеки и воспитанія, и его мыслительность, въ своемъ направленіи и развитіи, руководилась постоянно инициативой правительства. Занятый вѣковой «борьбой за существованіе» среди доставшейся ему на долю суровой сѣверной природы, скупой на дары,—народъ нашъ естественно, въ періодъ своей колонизаціонной дѣятельности, не имѣлъ достаточно досуга обдумывать и размышлять, а потому всякія умственные дѣла и заботы долженъ былъ устранить отъ себя на много вѣковъ и уступить, предоставить ихъ думѣ правительственной—царской думѣ. Въ то время, когда народъ былъ весь погруженъ въ колонизаторскую работу и съ топоромъ, ко-сой и сохой бродилъ врознь по великорусской и сибирской землѣ, въ «черныхъ, дикихъ лѣсахъ», отыскивая только, по свидѣтельству историческихъ актовъ, «теплыхъ и родимыхъ мѣстъ и корма или животныхъ и промысловъ»—въ то время думѣ царской легко было «думать свою думу» за весь народъ и развить полную государственную систему приказной опеки, централизаціи и уставности или регламентовъ. Поэтому, еще въ XVII вѣкѣ, задолго до Петра Великаго, когда

земскіе люди собирались на соборы или земскія думы, они обыкновенно единогласно отвѣчали на тотъ или другой, земскій вопросъ: «въ томъ какъ тебя, государя, Богъ вразумитъ и твоя государева мысль и воля: то наши рѣчи». Экономія русской природы была трудно доступна, а народъ, въ разработкѣ ея, руководился только поверхностнымъ указаніемъ пяти чувствъ; ему не сопутствовала могучая раціональная мысль, съ нимъ не было ни «рудознатцевъ», ни книгъ о разныхъ произведеніяхъ природы. Вотъ это-то неразуміе, это умственное безсиліе или неумѣнье народа справиться собственными средствами съ природой родной страны и было у насъ, по мнѣнію автора, основною, существенною причиною господства государственной опеки. «Въ русскомъ государствѣ—говоритъ Юрій Крыжаничъ—необходима казенная дума. Первое: ибо нашего народа люди суть коснаго разума и неудобно сами что выдумаютъ, если имъ не будетъ показано. Второе: ибо у насъ нѣтъ никакихъ книгъ объ земледѣліи и объ иныхъ промыслахъ, какія есть у другихъ народовъ. Третье: ибо нашъ народъ лѣнивъ и непромышленъ, и сами себѣ не хотятъ сдѣлать добра, если не будутъ принуждены какою либо силою. Четвертое: ибо здѣсь есть совершенное самовладство, и повелѣніемъ царскимъ можетъ учиниться по всей землѣ всякая поправа, гдѣ что будетъ полезно и потребно ввести въ обычай». Правительство, увидя, съ одной стороны, открытыя народомъ богатства природы, съ другой—умственное безсиліе самого народа въ обладаніи ими, призвало ученыхъ нѣмцевъ, и, вооружившись такимъ образомъ европейской интеллигенціей, неизбѣжно стало во главѣ умственной дѣятельности въ Рос-

сія. Вслѣдствіе этого, физико-математическія и другія науки пришлось вводить въ Россіи по указу и по повелѣніямъ царя — Петра-Великаго. О необходимости петровской реформы г. Щаповъ выражается слѣдующимъ образомъ: «Для того, чтобы въ умахъ русскихъ развить способность и возбудить любовь къ математическому и естественно-научному мышленію и знанію, надобно было, вопервыхъ, явиться во главѣ русскаго народа генію, образовавшемуся подъ вліяніемъ западнаго разума, и энергично предпринять систематическое ученіе молодыхъ поколѣній математикѣ и естественнымъ наукамъ; вовторыхъ, необходимо было начинать, такъ сказать, съ азбуки математики и естествознанія и все, относящееся къ этимъ наукамъ, начиная съ ариметики и кончая астрономіей, заимствовать на Западѣ, гдѣ геніи Коперниковъ, Декартовъ, Кеплеровъ, Ньютоновъ и Лейбницевъ давно обогатили естественныя и математическія науки великими открытіями и воспитали уже цѣлыя поколѣнія естествоиспытателей и математиковъ. И вотъ Петръ-Великій является первымъ нововводителемъ въ дѣлѣ реальнаго, естественно-научнаго воспитанія и развитія молодыхъ поколѣній въ Россіи... Желая просвѣтить народъ рабочій, практический, Петръ-Великій и съ Запада заимствовалъ такія реальныя, математическія и естественныя науки, которыя преимущественно возбуждаютъ и воспитываютъ реалистическое умонастроеніе и относятся прямо или косвенно къ реальнымъ, физическимъ работамъ народа, къ народному и государственному хозяйству. На естествознаніе онъ больше смотрѣлъ съ утилитарной точки зрѣнія». Петръ-Великій основалъ въ Россіи первыя свѣтскія училища съ реально-

практическимъ характеромъ, а затѣмъ, смотря по развитію народныхъ потребностей, открывались у насъ и другія учебныя заведенія — гимназіи, университеты, собственно народныя школы, и все это становилось дѣломъ разныхъ коммисій, комитетовъ и регламентовъ правительства, которое постоянно думало за народъ, представляло собой его голову, его интеллигенцію. Отдавая должную справедливость просвѣтительной роли государства въ дѣлѣ введенія у насъ европейскихъ наукъ и устройства школъ, г. Щановъ находить, вмѣстѣ съ тѣмъ, что излишнее вліяніе правительственной опеки было весьма невыгодно для самостоятельнаго развитія и проявленія русской мысли. Вонпервыхъ, задачей этой опеки было не свободное развитіе русской мысли, а направленіе ея по частнымъ видамъ правительства; по этой причинѣ общество русское, положившись на заботы правительства, само уже никогда не думало и не заботилось о лучшихъ способахъ и свободномъ направленіи своего умственного образованія. Отсюда развились (точнѣе сказать: удержались на долгое время) умственное рабство и умственная безпечность народа въ вопросахъ, близко касающихся его собственнаго благополучія. «Еслибы — говоритъ авторъ — отъ времени до времени не выходили новые указы, новыя учрежденія, умственная жизнь нашего общества, кажется, и вовсе не возбуждалась бы ничѣмъ. Не даромъ, въ современныхъ газетахъ нашихъ, мы часто читаемъ такія жалобы: общественная жизнь наша такъ безцвѣтна и однообразна, что еслибы не новыя, напримѣръ, судебныя учрежденія, общество совершенно, кажется, уснуло бы. Благодаря только выдающимся изъ обыденнаго уровня судебнымъ про-

цессамъ, отъ времени до времени появляющимся въ печати, общество оживляется, становится дѣятельнѣе, высказывается... Воспитываясь и получая направленіе въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, по казеннымъ программамъ, общественная мысль носитъ на себѣ отпечатокъ казенный, легальный, указно-регламентарный, уставный. Общественное міросозерцаніе не вырабатывается трудомъ раціональнаго общественнаго ученія и научнаго мышленія, энергической и постоянной самодѣятельностью общественной мысли, не почерпается изъ наукъ, изъ самодѣятельности разума, а цѣликомъ заимствуется только изъ свода законовъ... Вслѣдствіе вѣковой привычки къ умственной опекаѣ, вѣковаго подчиненія умственно-образовательнымъ идеямъ, указамъ и учрежденіямъ правительства, въ обществѣ нашемъ нѣтъ даже привычки думать, жить и работать мыслью. Ничто такъ не чуждо нашему обществу, какъ элементъ раціональной и критической самодѣятельности мышленія». «Множество аномалій — говорить въ другомъ мѣстѣ г. Шаповъ — множество умственныхъ и нравственныхъ болѣзней разѣдаетъ нашъ общественный организмъ, множество вопіющихъ недостатковъ въ нашемъ социальномъ строѣ. И общество словно не чувствуетъ этихъ болѣзней, не сознаетъ этихъ аномалій и недостатковъ. Оно ждетъ сознанія и лѣченія ихъ со стороны правительства или съ восточно-азиатскимъ фатализмомъ предоставляетъ излѣченіе ихъ на произволъ судьбы. Еще не такъ давно даже передовые выразители общественной мысли, въ родѣ, напримѣръ Тютчева, взывали къ обществу, чтобы оно не думало, не разсуждало, а съ азиатскою, фаталистическою безпечною уповало, что всѣ его

соціальныя раны заживуть сами собою, во время его глубокаго умственнаго сна и безъ всякаго живительнаго лѣкарства просвѣщенія. Они проповѣдовали обществу:

Не разсуждай, не хлопочи:

Безумство ищетъ, глупость судить;

Дневныя раны сномъ лѣчи,

А завтра быть тому, что будетъ.» (Стр. 59).

Вовторыхъ, успѣшности государственной опеки препятствовали непостоянныя, измѣнчивыя направленія въ самомъ правительствѣ, хроническія реакціи, слишкомъ памятливыя въ исторіи русской мысли. Если бы ровно и послѣдовательно развивались у насъ только такія попеченія правительства, какъ напримѣръ, заботы Петра о распространеніи европейскихъ наукъ или мѣры Александра Павловича къ развитію просвѣщенія въ первую половину его царствованія, то, безъ сомнѣнія, и мысль русская развивалась бы также непрерывно-послѣдовательно, безъ остановокъ и болѣзненныхъ кризисовъ. Но въ томъ-то и бѣда, что въ историческомъ развитіи правительственной опеки не было правильнаго, прогрессивнаго движенія, а, напротивъ, часто выпадали продолжительные періоды застоя и суровой реакціи. Такъ, напримѣръ, съ конца XVIII-го столѣтія, т.-е. со времени французской революціи, а потомъ послѣ 1815 года, послѣ заключенія священнаго союза, въ правительствѣ нашемъ, вмѣсто прежняго безбоязненнаго умственнаго влеченія къ Западу, высказавшагося въ дѣятельности Петра I, сталъ развиваться робкій, боязливый взглядъ на успѣхи науки и разума въ Западной Европѣ. Этой боязнью, этимъ поворотомъ назадъ объясняются гоненія на литературу въ концѣ царствованія Екатерины II-й, репрессивный характеръ павловскаго времени и,

наконецъ, незабвенные подвиги Магницкаго и Рунича, лавры которыхъ донныѣ не даютъ спать многимъ общественнымъ дѣателямъ. Неодинаковые личные взгляды императоровъ Павла и Александра различно регулировали развитіе и направленіе русской мысли. Первый изъ нихъ, уstraшенный событіями 90-хъ годовъ во Франціи, запретилъ совершенно привозъ изъ-за границы всякихъ книгъ и даже музыкальных нотъ. Этотъ указъ сейчасъ же послужилъ камертономъ для тогдашней публицистики. Панегиристы временъ Павла стали говорить въ духъ этого государя: «Мудрую прозорливость свою императоръ Павелъ доказалъ въ спѣшествованіи истинному преуспѣянію наукъ чрезъ учрежденіе строгой и бдящей цензуры книжной. Познаніе и такъ-называемое просвѣщеніе часто употреблено во зло чрезъ обольстительные нынѣшнихъ странъ напѣвы вольности и чрезъ обманчивые призраки мнимаго счастья. Европейскія правительства, спокойно взиравшія на сей развратъ, возымѣли, наконецъ, правильную причину сожалѣть о своемъ равнодушіи. Сколь счастливою почитать себя должна Россія потому, что ученость въ ней благопріятными ограниченіями и охраняется отъ всегубительной язвы возникающаго всюду лжеученія» и пр. и пр. Александръ I-й, не находя особенно «благопріятными» для науки эти ограниченія, отмѣнилъ ихъ сейчасъ же по вступленіи своемъ на престолъ и повелъ Россію совершенно противоположной дорогой. Реформаторскіе планы роились въ головѣ молодого государя и его приближенныхъ совѣтниковъ; прежній способъ управленія признанъ вреднымъ для нашего отечества; между разными реформами, готовившимися для Россіи, рѣчь заходила и о

конституція, которая должна была «увѣнчать» преобразованное и упроченное государственное зданіе. Учрежденіе министерствъ было только первымъ шагомъ на новомъ пути. Сообразно съ этимъ, измѣнился взглядъ на просвѣщеніе и проводниковъ его — литературу и общественныя училища; всѣ заговорили о свободѣ прессы, о свободѣ преподаванія и изслѣдованія. М. Н. Муравьевъ, товарищъ министра народнаго просвѣщенія, провозглашалъ, что залогъ успѣховъ цивилизации и нравственности заключается въ свободѣ научнаго изслѣдованія, и указывалъ въ примѣръ на умственное превосходство протестантской Германіи надъ католическою. «Въ различныхъ областяхъ одного народа — писалъ Муравьевъ — примѣчается великое противоположеніе въ поведеніи и общежитіи людей по мѣрѣ того, какъ просвѣщеніе покровительствуется или утѣсняется. Между тѣмъ, какъ въ католическихъ областяхъ нѣмецкой земли понятія народныя омрачены грубостью суевѣрія и невѣжества, протестантскія земли, гдѣ царствуетъ разумная свобода въ разбирательствѣ мнѣній, отличаются общимъ распространеніемъ просвѣщенія и благонравія». Но послѣ 1810, и особенно послѣ 1815 г., декораціи снова перемѣнились. Сочувствіе къ просвѣщенію и къ университетамъ протестантской Германіи поколебалось, и въ правительствѣ начали появляться защитники католической системы образованія, предвозвѣщавшіе приближеніе временъ Фотія, Магницкаго и Рунича. Іезуиты завладѣли общественнымъ воспитаніемъ, вербуя своихъ питомцевъ преимущественно въ богатыхъ и знатныхъ семействахъ. Министру народнаго просвѣщенія, А. К. Разумовскому, доказывали, что любовь къ наукамъ и забота о нихъ

есть опасная ошибка; въ учебныхъ заведеніяхъ, которыя учреждены были съ такими свѣтлыми надеждами во всѣхъ концахъ Россіи, стали видѣть скопище полужнаекъ, самоувѣренныхъ и заносчивыхъ, проникнутыхъ самыми разрушительными намѣреніями. Совѣтникомъ и руководителемъ Разумовскаго сдѣлался извѣстный въ литературномъ мірѣ графъ Жозефъ де-Местръ, сардинскій посланникъ при русскомъ дворѣ—врагъ естественныхъ и политическихъ наукъ, проповѣдникъ библейскихъ принциповъ въ геологін, правовѣдѣніи и пр. Наконецъ, толки о конституціи замѣнились толками о военныхъ поселеніяхъ и о «богодухновенныхъ» пророчествахъ разныхъ, ополоумѣвшихъ отъ изувѣрства, ханжей и пусто-святковъ. Кромѣ хроническихъ реакціонныхъ дѣйствій, правительственная опека имѣла въ своихъ рукахъ еще одно постоянное учрежденіе или специально-регулятивное орудіе — цензуру, которая во время реакцій тоже, съ своей стороны, становилась реакціонерною. Заботы о предохраненіи русской мысли отъ соблазновъ начались еще съ тѣхъ поръ, какъ въ Россіи появился изъ Византіи церковно-іерархическій классъ, и мыслительность народная подчинилась авторитету византійскаго номоканона, догмата и преданія. Эти сдержки свободного проявленія мыслительной силы особенно развились съ тѣхъ поръ, какъ стали возникать въ Россіи различныя ереси. Уже въ Стоглавѣ, въ 1555 г., между многими правилами положено было: «книги списывать съ добрыхъ переводовъ да справлять; переписчикъ неисправныхъ книгъ подвергается великому запрещенію; покупающій не можетъ пользоваться такими книгами, а продающій лишается самихъ книгъ». Сверхъ того, соборъ просилъ царя, «запретить

великимъ запрещеніемъ, чтобы христіане не читали и не держали у себя книгъ еретическихъ». Съ XIV-го вѣка до 1644 г. постоянно переписывалось въ сборникахъ и потомъ напечатано было въ руководство грамотному люду, — «правило о книгахъ, ихъ же подобаетъ чести и внимати, и ихъ же ни внимати, ни чести не подобаетъ». Одинъ соборъ въ XVII-мъ вѣкѣ запретилъ продавать книги «со многою ложью» и положилъ «чинить смиреніе» писателямъ. Но собственно цензура, или предварительный просмотръ рукописей, появляется у насъ только съ 1720 г. по поводу изданія черниговскою и кіевопечерскою типографіями книгъ «со многими противностями восточной церкви». Указомъ 20-го марта 1721 г. запрещалось продавать «книги писанныя и печатанныя безъ дозволенія, подъ страхомъ жестокаго отвѣта и безошаднаго штрафованія». Далѣе вышло запрещеніе вывозить книги изъ за границы безъ разсмотрѣнія. Потомъ различными указами предписывалось, чтобы всѣ книги гражданскаго и богословскаго содержанія пересматривались въ академіи наукъ или въ губернскихъ правительственныхъ мѣстахъ. Наконецъ, указомъ 3-го ноября 1751 г. установлена цензура относительно газетъ. Болѣе же полное изложеніе началъ цензуры, какъ учрежденія, дѣйствующаго отдѣльно и независимо отъ законовъ уголовныхъ, принадлежитъ указу 1776 г. августа 22-го. При Александрѣ I, цензурованіе печатныхъ книгъ окончательно замѣнилось предварительнымъ просмотромъ рукописей, и — «въ литературѣ, по выраженію одного писателя, образовались свои катакомбы» (стр. 74). Въ періодъ полного господства строгой цензуры, въ области русской науки и литературы появился особый необъятный

отдѣлъ предметовъ и вопросовъ, такъ называемыхъ, нецензурныхъ, преимущественно въ социологіи и естественныхъ наукахъ. Въ естественныхъ наукахъ, напримѣръ, нецензурны были вопросы о физическомъ образованіи земли, о происхожденіи видовъ, о древности человѣка, о различныхъ явленіяхъ въ нервной физиологіи, о значеніи въ природѣ силы и матеріи и пр. и пр. Въ области социальныхъ наукъ нецензурными считались вопросы о естественныхъ основахъ социального устройства и вообще о естественныхъ законахъ общества, о происхожденіи власти, о сословномъ и имущественномъ неравенствѣ людей и пр. и пр. Чѣмъ для развитія научной и литературной мысли была цензура—тѣмъ, для развитія народной мыслительности, было строгое ограниченіе массы народа въ ея умственныхъ правахъ. Простой, рабочій народъ исторически былъ обреченъ на одну страдную, физическую работу, и потому не имѣлъ досуга и возможности самостоятельно додуматься до научно-интеллектуальной работы. А потомъ, особенно съ XVII и въ началѣ XVIII вѣка, онъ обремененъ былъ государственными работами, податями и повинностями, и потому не могъ принять участія въ усвоеніи европейскихъ наукъ съ самаго начала умственно-образовательной реформы Петра-Великаго. Дальнѣйшая же его исторія, отъ тираніи бироновщины до пугачевщины, еще болѣе не благопріятствовала его интеллектуальному развитію. Впервые, съ возрастающимъ преобладаніемъ и усложненіемъ матеріальныхъ потребностей огромной имперіи—военныхъ, податныхъ и проч.—въ правительствѣ преобладалъ и увеличивался запросъ не на интеллектуальныя, а на матеріально-производительныя, физическія силы народа; съ раз-

витиѣмъ же сословности и табели о рангахъ установился взглядъ на простой, рабочій народъ, какъ исключительно на податное и государственно-рабочее сословіе, которому вовсе не нужно высшее интеллектуальное развитіе, какъ дворянству. Во вторыхъ, съ усиленіемъ сословныхъ претензій и ерѣстническихъ тенденцій въ средѣ самого дворянства, а также съ началомъ правительственныхъ реакцій, высшее научное развитіе рабочаго народа, или низшихъ классовъ, признавалось не только ненужнымъ, но даже невыгоднымъ и опаснымъ для государства. Въ началѣ XIX столѣтія, въ русской литературѣ раболѣпно высказывалась идея сословнаго ограниченія умственныхъ правъ, при чемъ нѣкоторые писатели, даже либеральнаго направленія, отводили для низшихъ классовъ самую тѣсную долю научнаго знанія (стр. 82—83). Малая подготовленность народа къ воспріятію идей цивилизаціи была также причиной того, что у насъ долго не могъ установиться (и до сихъ поръ еще не установился съ должною прочностью) истинный методъ научнаго изысканія. «Во всѣхъ сферахъ мышленія и знанія—говорить Кондорсѣ—познаніе метода, употребляемаго для изысканія истинъ, гораздо важнѣе познанія самихъ истинъ, такъ-какъ въ немъ заключается зародышъ всего того, что остается еще открыть». И на западѣ этотъ истинный методъ умственнаго изслѣдованія открытъ давно, впервые указанъ еще въ «*Novum Organon*» Бакона, въ «*Discours sur la méthode*» Декарта, и потомъ утверждѣнъ всей новой исторіей интеллектуальнаго развитія Европы. Но неразвитый умъ, вслѣдствіе вѣковаго преобладанія низшихъ интеллектуальныхъ способностей надъ высшими мыслительными силами, не могъ

додуматься до истинно-научного метода изслѣдованія и, такимъ образомъ, не могъ стать на настоящую дорогу умственного движенія и прогресса. Въмѣсто положительно-философскаго, индуктивнаго метода мышленія, во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ нашихъ, даже въ университетахъ, долгое время преобладалъ методъ дедуктивно-идеалистическій и даже мистико-фантастическій; вмѣсто развитія научнаго, рациональнаго знанія, университетское обученіе долгое время обременяло собой только память учащихся или дѣйствовало на ихъ воображеніе, отвлекая его отъ производительной научной почвы. Въ университетахъ господствовали науки археологическія, историко-филологическія, этико-юридическія, эстетическія, развивавшія больше память, воображеніе и произвольно-измѣнчивое метафизическое міросозерцаніе. Самыя естественныя науки излагались у насъ теоретически, идеально, безъ опытовъ и наблюденій, да притомъ нерѣдко съ сильной закваской отвлеченно-философскаго и даже мистическаго духа. Такъ, напримѣръ, въ московскомъ университетѣ и медико-хирургической академіи, анатомія и хирургія преподавались безъ операций и разсѣченія труповъ, вдали отъ больныхъ и анатомическаго театра; профессоръ кievскаго университета, Зеновичъ, въ теоретической части органической химіи, находилъ умѣстнымъ доказывать, что «мудрость, или знаніе прошедшаго, настоящаго и будущаго, происходитъ отъ дѣйствія одной души, инстинктъ—отъ дѣйствія одного органическаго духа (?), а умъ происходитъ отъ совокупнаго ихъ дѣйствія» и пр. Профессоръ анатоміи Ѳедоровъ «сквозь видимое небо созерцалъ небо невидимое, духовное»; профессоръ физики Абламовичъ, уже въ 1834 г., преподавалъ съ кафедры, по

выраженію г. Шульгина, — «больше разный сумбуръ болтовни и городскихъ сплетенъ, чѣмъ физику». Даже въ лучшемъ случаѣ, преподаваніе естественныхъ наукъ ограничивалось накопленіемъ «раритетовъ» и «натуралій» въ одну безобразную кучу, и поверхностными «обсерваціями», мало привлекавшими серьезную естественно-научную любознательность (стр. 205, 242—244). Въ самомъ обществѣ, независимо отъ правительственныхъ гоненій, возникали анти-реалистическія реакціи, объясняемыя только полнѣйшимъ отсутствіемъ того духа сомнѣнія, скептицизма, который всегда служитъ предшественникомъ истиннаго познанія. Такъ, напр., извѣстный Новиковъ, одинъ изъ лучшихъ русскихъ людей XVIII столѣтія, гораздо раньше самой Екатерины, вооружился противъ «умствованій вольномыслящихъ мудрецовъ» и, отрицая открытія Лавуазье, Коперника и Кеплера, думалъ воскресить «химическую псалтирь» Парацельса и всѣ средневѣковыя, астрологическія и алхимическія бредни. Пробужденіе скептицизма было у насъ, по словамъ г. Щапова, «злополучно-несчастливо» и сопровождалось патологическими умственными явленіями. Скептическое настроеніе зародилось у насъ еще въ XVIII столѣтія, но было задавлено наплывомъ обскурантныхъ и реакціонныхъ идей — и притомъ задавлено почти безъ борьбы, такъ-какъ, само по себѣ, настроеніе это было до крайности слабо и, за небольшими исключеніями, ограничивалось одними кощунственными фразами, заимствованными у Вольтера. Въ 1815—16 годахъ, послѣ заграничной кампаніи, вслѣдствіе невольнаго сравненія невозмутимой и праздної русской жизни съ дѣятельной и шумной жизнью западныхъ обществъ, всколыхнутыхъ политическимъ движе-

ніемъ,—скептицизмъ снова возродился у насъ въ видѣ безпокойнаго разочарованія, которое не удовлетворялось ни тогдашнимъ строемъ общественной жизни, ни «либеральными принципами» администраціи. Это вторичное скептическое движеніе было гораздо глубже перваго, но и оно замыкалось, въ большинствѣ случаевъ, въ бесплодную оппозицію, въ неопредѣленное онѣгинское отрицаніе, не сознававшее ясно сферы отрицанія и идеала. Были, конечно, въ ту пору люди, которые знали, что осуждали, и стремились къ твердообозначеннымъ дѣламъ; но объ этихъ людяхъ г. Щаповъ, по причинамъ понятнымъ, умалчиваетъ. Холодный, резонирующий скептицизмъ Сенковского, имѣвшій своею подкладкою полнѣйшее равнодушіе ко всѣмъ теоріямъ и убѣжденіямъ на свѣтѣ; его безразличный, легкомысленный смѣхъ надъ всѣмъ, что попадалось ему подъ руку—строго осуждены г. Щаповымъ. «Публика руссiйская—говорить г. Щаповъ—какъ беззаботное дитя, не знавшее мукъ сомнѣнія и борьбы, предовольно надрывала свои животы отъ безразличныхъ смѣхотворныхъ остротъ брамбеусовскаго скептицизма и преспокойно, крѣпко засыпала... И спасеніе русской мысли и литературѣ, что скоро явился Бѣлинскій и зажегъ въ ней дѣйствительную, жгучую искру истиннаго реально-критическаго скептицизма» (стр. 304—307). Предѣлы статьи не позволяютъ намъ приводить съ бѣльшею подробностью интересные наблюденія и выводы г. Щапова; но изъ нашего сжатаго очерка читатели видятъ уже, какъ богата содержаніемъ его книга, какихъ важныхъ историческихъ вопросовъ касается она, и съ какимъ искусствомъ группируетъ авторъ всѣ, наиболѣе выдающіяся, явленія нашей обществен-

ной и государственной жизни. Мы, не обинуясь, скажемъ, что въ новомъ трудѣ г. Щапова, иногда одною меткою страницей, цѣлые періоды русской исторіи объясняются удачнѣе, чѣмъ въ какомъ-нибудь специальномъ трактатѣ, преисполненномъ *de fond en comble* сухихъ фактовъ и безплодной учености. Но книга г. Щапова имѣетъ также и свои слабыя стороны, на которыя мы сейчасъ укажемъ безъ всякаго стѣсненія, чтобы не подвергнуться упреку въ пристрастіи и не поднять кредита ярыхъ нападокъ, посыпавшихся на автора изъ противоположнаго лагеря...

IV.

Прежде всего, что бросается въ глаза даже при поверхностномъ чтеніи книги—это ея разбросанность, утомительныя длинноты и частыя повторенія, которыя, конечно, парализуютъ вниманіе читателя. Авторъ подчасъ словно забываетъ, что онъ уже говорилъ о такомъ-то вопросѣ, говорилъ подробно и доказательно, и снова возвращается къ нему почти въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ и на цѣлыхъ страницахъ. Это происходитъ, повидимому, оттого, что книга составилась изъ соединенія разныхъ статей, напечатанныхъ г. Щаповымъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, въ петербургскихъ журналахъ—статей, въ которыхъ говорилось нерѣдко объ однихъ и тѣхъ же предметахъ или, по крайней мѣрѣ, проводилась одна и та же руководящая мысль. Статьи эти слѣдовало бы внимательно пересмотрѣть съизнова, сократить ненужныя повторенія, развить мало-

доказательные тезисы, и стройнѣе систематизировать въ одно цѣлое; но авторъ произвелъ эту работу только въ очень слабой степени, и потому не избѣгъ недостатка, указанного нами. вмѣсто такой необходимой передѣлки, г. Щаповъ ограничился тѣмъ, что возстановилъ въ прежнихъ статьяхъ многія выпущенныя мѣста, добавилъ кое-гдѣ нѣсколько новыхъ страницъ (эти добавки, кажется, сдѣланы по преимуществу въ концѣ книги) и, чтобы спаять плотнѣе отдѣльныя части своей книги, придумалъ для нея искусственную схему, которая не вполне удачно охватываетъ собой богатое содержаніе его труда. Оказывается, напримѣръ, что, благодаря схематическому построенію, одни и тѣ же факты приводятся г. Щаповымъ,—то какъ причины, производящія извѣстныя слѣдствія, то какъ слѣдствія, вытекающія изъ этихъ же самыхъ причинъ. Такимъ образомъ, въ началѣ книги, господство религіозной и государственной опеки объясняется, какъ результатъ отсутствія въ нашемъ народѣ самодѣтельности мышленія, организованнаго мыслящаго класса, а въ концѣ — то же отсутствіе мыслящаго класса является уже результатомъ продолжительнаго государственнаго и церковнаго тяготѣнія надъ умственной дѣятельностію въ Россіи. Магницкій является въ разныхъ мѣстахъ книги,—то какъ органъ правительственнаго давленія на умы, то какъ продуктъ общественной анти-натуралистической реакціи въ третьемъ послѣ-петровскомъ поколѣніи. Здѣсь уже кроется не одна схематическая ошибка, но, вмѣстѣ съ нею, и чисто-историческій промахъ. Личности въ родѣ Магницкаго не имѣютъ никакихъ собственныхъ, хотя бы и ложныхъ, убѣжденій; они всегда сторонники силы, и

служать съ одинаковымъ рвеніемъ Сперанскому, Голицыну, Фотію и Аракчееву, смотря по тому, куда клонится перевѣсъ, и кто можетъ лучше вознаградить усердное рвеніе. Невозможно разсматривать этихъ людей, какъ самостоятельныя мыслящія единицы: они могутъ быть не чѣмъ инымъ, какъ орудіемъ въ рукахъ господствующей силы; поэтому-то они всегда и прилаживались у насъ къ правительству, которое своими инструкціями и предписаніями замѣняло для нихъ и совѣсть, и личныя мнѣнія. Новиковъ, Невзоровъ, Лабзинъ—вотъ дѣйствительно общественные дѣятели, выразившіе собой цѣлую полосу въ направленіи русской мысли; но Магницкому нѣтъ мѣста въ ихъ компаніи, такъ-какъ для него въ сущности было все равно: кощунствовать ли въ свѣтскихъ обществахъ на французскій ладъ, или биться лбомъ въ душевную молельню,—лишь бы то и другое занятіе оплачивалось приличнымъ образомъ, получало достодолжное вознагражденіе.—Рядомъ съ длиннотами и повтореніями встрѣчаются у г. Щапова крупныя пробѣлы и опущенія, которые тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ шире логическая посылка, выставляемая авторомъ. Такъ, въ ряду фактовъ, имѣвшихъ вліяніе на складъ и направленіе русской мысли, г. Щаповъ совсѣмъ не упоминаетъ о татарскомъ игѣ и послѣдствіяхъ, оставленныхъ имъ въ нашей жизни, хотя, безъ сомнѣнія, не отрицаетъ громадной важности двухсотлѣтняго гнѣта завоевательной орды—гнета, приучившаго Россію къ безусловной покорности, измѣнившаго глубоко и понятіе о власти, и отношеніе этой власти къ народу. Унизительныя прогулки князей къ ханской ставкѣ, звѣрское обращеніе ханскихъ баскаковъ съ подвластнымъ народомъ—

всѣ эти картины азіатскаго раболѣпія, безмолвія или жестокости не могли проходить, и дѣйствительно не прошли, безслѣдно для нравственнаго чувства покореннаго племени. Страхъ передъ силою, нисколько не стѣснявшейся въ своихъ грубыхъ проявленіяхъ, заглушалъ чувство собственного достоинства и не давалъ развиваться ему. Это—нравственная, и притомъ отрицательная, сторона татарскаго вліянія, но была въ немъ и положительная политическая сторона. Татарское иго сдѣлало жизненнымъ и неотразимо важнымъ для насъ вопросъ объ усиленіи государственной власти, которая одна могла поставить оплотъ противъ варварскаго гнета; оно же указывало образецъ этой власти въ своихъ ханахъ и баскакахъ. Въ то же время развивалось значеніе духовенства, которое давало народу единственно-возможное утѣшеніе. Слова пророка Исаіи: «кто дастъ на расхищеніе Іакова и на разграбленіе Израиля? не Богъ-ли? ему же согрѣшили, не хотѣли ходить въ путяхъ его, ни слушать закона его, и навелъ онъ на нихъ гнѣвъ своей ярости»—эти слова приводятся въ одномъ поученіи московскаго митрополита Алексѣя, какъ побѣдоносное доказательство неизбежности монгольскаго ига, ниспосланнаго на Россію свыше, чтобы наказать ее за прежніе грѣхи и затѣмъ вывести на путь благочестія. Тотъ же митрополитъ Алексѣй на вопросъ: всякій ли царь или князь, или епископъ отъ Бога поставляется? отвѣтствовалъ слѣдующимъ образомъ: «нѣкоторые изъ царей или князей поставляются достойными такой чести отъ Бога, а недостойные поставляются противъ недостойства людей, по Божью поущенію и хотѣнію», въ доказательство чего приводятся два при-

мѣра—мучителя Ооки въ Царьградѣ и одного недостойнаго епископа Оиванды. «Итакъ — заключаетъ митрополитъ — когда видишь недостойнаго, злаго царя и князя или епископа, не дивися, ни Божія промысла оглаголуй, но научися и вѣруй, что по беззаконью такимъ мучителямъ предаемся». (См. Творенія св. отцовъ, изд. моск. духов. академiи, годъ шестой, кн. I.) Двѣ эти силы—духовная и мірская—дружно соединившись для достиженія одной цѣли, безъ труда забрали въ свои руки всѣ умственныя и матеріальныя средства мало развитой и небогатаго страны. Замѣтимъ, что и въ Западной Европѣ не вездѣ природа щедро вознаграждаетъ труды рабочаго населенія (весь скандинавскій полуостровъ не больше насъ надѣленъ естественными богатствами); вспомнимъ, что и тамъ были обстоятельства, способствовавшія усиленію государственной власти, ибо мыслящіе люди также сосредоточивались, долгое время, въ правительствѣ и духовномъ классѣ; но развитіе Запада пошло, однако, другимъ путемъ,—именно потому, что свѣтская и духовная власть не дѣйствовали тамъ за одно противъ общаго варварскаго давленія, и своей взаимной враждою, своимъ постояннымъ соперничествомъ, давали возможность установиться въ обществѣ различнымъ политическимъ партіямъ и умственнымъ направленіямъ. Вообще, надо замѣтить, авторъ слишкомъ рѣдко проводитъ параллель между русской и западно-европейской исторіей, а это умолчаніе оставляетъ неразъясненными многія важныя стороны разсматриваемаго предмета. Желательно было бы, чтобы авторъ не упустилъ этого изъ виду въ своемъ обширномъ изслѣдованіи объ умственной развитіи русскаго на-

рода», часть которого составляет разбираемая нами книга. Также точно, въ новой русской исторіи, г. Щаповъ очень мало говорить о педагогической реформѣ Бецкаго, тогда какъ, въ нашихъ глазахъ, эта реформа да еще изданіе «Наказа» составляютъ самые крупные и плодотворные факты за весь періодъ екатерининскаго царствованія. Авторъ даже ошибочно, въ одномъ мѣстѣ (стр. 27 — 28), считаетъ толки о «нравственности», возбужденные Бецкимъ, какъ бы продолженіемъ тѣхъ же толковъ, служившихъ въ древности признакомъ умственной апатіи и господства неподвижныхъ догматическихъ началъ. Но та нравственность, которую проповѣдовалъ Бецкій въ своихъ уставахъ, а Екатерина въ своихъ педагогическихъ сочиненіяхъ, и также въ инструкціи Н. И. Салтыкову,—не есть догматическая формула нашихъ древнихъ книжниковъ, и имѣть съ нею столь же мало общаго, какъ мало общаго у Монтаня, Локка и Руссо съ Максимомъ Грекомъ, Ниломъ Сорскимъ и философомъ Сковородою. «Добродѣтель—говорилъ Бецкій—есть не иное что, какъ полезныя и пріятныя дѣла, творимыя нами для себя самихъ и для ближняго»; лучшее средство научить такой добродѣтели, это—примѣръ самихъ воспитателей, имѣющихъ «мысли вольныя, нравъ къ раболѣпству непреклонный». Здѣсь, очевидно, нравственность поставлена, такъ-сказать, на общественную почву и отдѣлена отъ своей прежней теологической основы. Такое мнѣніе высказалъ впервые Шарронъ въ своей книгѣ: «De la sagesse», и его же развивали впослѣдствіи французскіе энциклопедисты. Нравственность, понимаемая такимъ образомъ, вела къ «практическому исполненію обязанностей жизни» (выраженіе Шаррона), къ политѣйшей вѣро-

терпимости. въ призваніи солидарности отдѣльной личности со всѣмъ человѣческимъ родомъ. Бецкій приписывалъ внушить своимъ питомцамъ, что «какіи особенно и мы всѣ вообще принимаемъ участіе въ заключеніи, отъ котораго страдаютъ ближніе наши сосѣди и единоземцы, не меньше же и въ томъ несчастіи, которому подвергается чужія государства... Хотя не прямо подвергаемся мы сими несчастіямъ, но въ послѣдующее время, по обстоятельствамъ, взаимно сопрягающимся, и мы принимаемъ участіе въ семъ разореніи и ущербѣ». Впрочемъ, въ другихъ мѣстахъ своей книги г. Щаповъ относится къ Бецкому, какъ къ одному изъ передовыхъ дѣятелей своего времени, и приведенную нами неправильную сопостановку понятій можно, пожалуй, считать за *laus linguae*. Гораздо сильнѣе возраженія должны мы сдѣлать по поводу преувеличеннаго восторга, которому предается г. Щаповъ, мечтая о повсемѣстномъ учрежденіи школъ, въ которыхъ обучали бы однѣмъ естественнымъ наукамъ — химіи, ботаникѣ, минералогіи — съ исключеніемъ всѣхъ другихъ отраслей человѣческаго знанія. Въ началѣ своей книги г. Щаповъ, говоря объ успѣхахъ естественныхъ наукъ, придавалъ (и совершенно справедливо) наибольшую важность тому индуктивному, экспериментальному методу, который свилъ себѣ прочное гнѣздо въ этой области, и отсюда устремляетъ свои набѣги во всѣ другія сферы человѣческаго познанія; но чѣмъ дальше, тѣмъ больше суживаетъ авторъ этотъ правильный взглядъ. Въ началѣ своей книги онъ цитируетъ, какъ вполне основательное, мнѣніе А. Гумбольдта, который говорилъ: «То, что придаю эпохѣ Колумба особенный ха-

рактёръ,—характеръ непрерывнаго и успѣшнаго стремленія къ открытіямъ въ пространствѣ, къ умноженію познаній о землѣ, — было предуготовлено медленно и различными путями: какъ, напримѣръ, небольшимъ числомъ смѣлыхъ мужей,—прежде того появившихся и возбуждавшихъ, въ одно время, и къ всеобщей самодѣятельности мышленія, и къ изслѣдованію отдѣльныхъ явленій природы;—вліяніемъ, которое имѣло на глубочайшіе источники духовной жизни, возобновленное въ Италіи, знакомство съ произведеніями греческой литературы; изобрѣтеніемъ типографскаго искусства, давшимъ мышленію крылья и прочное существованіе и пр. Когда платонизмъ вытѣсненъ былъ аристотелевой философіей, то эта послѣдняя начала оказывать самое рѣшительное вліяніе на умственное движеніе и именно въ одно время по двумъ направленіямъ: въ изслѣдованіяхъ умозрительной философій и въ философской обработкѣ эмпирическаго естествознанія. Первое изъ этихъ направленій уже потому не можетъ быть пройдено молчаніемъ, что оно, посреди схоластической діалектики, привело нѣскольکو благородныхъ, высоко-одаренныхъ мужей къ независимому мышленію въ различныхъ областяхъ знанія. Величественное физическое міросозерцаніе нуждается не въ одномъ только обиліи наблюденій, служащихъ основаніемъ для обобщенія идей: для него еще необходимо предварительное укрѣпленіе разума, духа мыслящаго, дабы въ вѣчной борьбѣ между знаніемъ и вѣрованіемъ не страшился грозныхъ образовъ, которые до настоящаго времени

являлись у входовъ въ извѣстныя области опытныхъ наукъ и заграждали эти входы. Не должно разрознивать того, что въ постепенномъ развитіи человѣчества равномерно оживляло и чувство человѣческаго призванія къ научной свободѣ, и долго неудовлетворяемое стремленіе къ открытіямъ въ отдаленныхъ пространствахъ». Отсюда ясно, что не одно естествознаніе, какъ сумма физическихъ наблюденій надъ природою, но и всѣ другія отрасли знанія, руководимыя «самодѣятельностью мышленія», при условіяхъ научной свободы и рационально-философской обработки, способствуютъ въ равной мѣрѣ развитію человѣчества. Но г. Щановъ какъ бы забываетъ въ послѣдствіи эту справедливую мысль Гумбольдта и наконецъ увлекается до того, что считаетъ обязательнымъ для каждаго деревенскаго парня сдѣлаться ученымъ огородникомъ, зоологомъ, минералогомъ, механикомъ и проч. и проч. (стр. 320—321). Авторъ даже упрекаетъ археографа Калайдовича за то, что онъ посвятилъ свои труды не спеціальному естествознанію, но разработкѣ русской исторіи и археологіи (стр. 529), хотя черезъ нѣсколько страницъ самъ замѣчаетъ, что недостатокъ серьезной умственной пытливости и, вслѣдствіе того, погоня за мелочными фактами, курьезами и раритетами одинаково парализовали дѣятельность нашихъ ученыхъ какъ въ области социальныхъ познаній, такъ и въ кругѣ естественныхъ наукъ. Слѣдовательно, если Калайдовичъ интересовался часто ненужными мелочами въ исторіи, то онъ перенесъ бы такое же точно умонастроеніе и въ естественныя науки; если же онъ, при всемъ томъ, принесъ пользу въ своей спеціальности, то и не зачѣмъ было ему избирать другой родъ занятій.

Вѣдь историческіе факты, собранные нашей, положимъ, не-
богатой и односторонней наукой, дали, однако, возможность
г. Щапову написать свою книгу, а мы думаемъ, что появ-
леніе этой книги не менѣе полезно, чѣмъ какой-нибудь но-
вый курсъ геогнозіи или механики. Умственное развитіе дости-
гается не однимъ изученіемъ матеріальной природы, не од-
нимъ обращеніемъ съ микроскопомъ и ретортою; къ нему
ведетъ не менѣе прочнымъ образомъ изученіе условій и
законовъ индивидуально-психологической и общественной
жизни — словомъ, того, что составляетъ предметъ пси-
хологическихъ, соціальныхъ наукъ. Недаромъ Контъ по-
ставилъ социологію, или науку о проявленіяхъ личности
въ обществѣ, на верхней ступени человѣческаго познанія,
такъ-какъ знаніе ея подразумѣваетъ собой знаком-
ство съ низшими отраслями наукъ, но далеко не ис-
черпывается ими. Мы не споримъ, что современная
философія, исторія, юриспруденція, психологія, эстетика не
удовлетворяютъ требованіямъ точной, раціональной критики,
но онѣ еще менѣе будутъ удовлетворять имъ, если мы ихъ
оставимъ окончательно въ забросѣ и ограничимъ нашу
умственную дѣятельность одними огородами, фабриками и
лабораторіями. Хорошіе садовники и минералогіи, ни въ
какомъ случаѣ, не замѣнятъ намъ людей съ хорошимъ зна-
ніемъ и пониманіемъ общественной жизни. Скажемъ, нако-
нецъ, что авторъ, придавая большое значеніе природѣ
страны въ развитіи національнаго характера, почти вовсе
не касается этого предмета въ своей книгѣ.

Мы хотѣли еще замѣтить о нѣкоторыхъ фактическихъ
ошибкахъ или, точнѣе, недосмотрахъ г. Щапова, а также

о странной стилистической манерѣ его (въ которой особенно непріятно выдается охота громоздить множество эпитетовъ одинъ на другой); но остановились, прочтя рецензію нѣкоего Варволомея Кочнева въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Всѣ эти промахи и словечки тщательно собраны здѣсь, разцвѣчены особаго сорта юморомъ, почерпнутымъ изъ покойнаго «Весельчака» или «Рододендрона», и преподнесены публикѣ въ видѣ «нигилистическаго букета», къ которому надлежитъ — понятно! — питать отвращеніе. Статейка эта доказываетъ неопровержимымъ образомъ... что г. Щаповъ, живя въ Иркутскѣ, не имѣетъ такого удобства, какъ г. Кочневъ, пользоваться справочными книжками императорской публичной библіотеки и румянцевскаго музея; но никакого другого вывода, болѣе лестнаго для г. Кочнева и его научныхъ познаній, изъ статьи сдѣлать невозможно. Г. Щаповъ, не роняя себя, можетъ воспользоваться нѣкоторыми фактическими указаніями «Русскаго Вѣстника», но азбучную философію онъ, всеконечно, оставитъ для домашняго употребленія редакціи. Мы понимаемъ озлобленіе «Русскаго Вѣстника»: какъ! вмѣсто ликеевъ и атенеевъ съ двумя древними языками, намъ нужно заводить «химическія и ботаническія школы»? Что жъ станется съ ликеемъ, воздвигнутымъ недавно въ нашей первопрестольной столицѣ? Но ужъ если пошло на выборъ крайностей, то мы, не задумываясь, предпочтемъ крайность, въ которую впадаетъ г. Щаповъ, ибо въ ней есть все-таки чутье настоящихъ жизненныхъ потребностей, а не бездушное, упрямое старовѣрство.

ИДЕЯ ГРАЖДАНСКАГО БРАКА ВЪ РУССКОМЪ РАСКОЛѢ.

(Историческій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. (Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ). Выпускъ I. (Отъ начала раскола до царствованія императора Николая I). Экстраординарнаго профессора С.-Петербургской Духовной Академіи И. Нильскаго С.-Петербургъ. 1869 г.).

I.

Въ числѣ народныхъ «бѣдъ», потрясавшихъ собою нашу тысячелѣтнюю, но небогатую внутреннимъ смысломъ историческую жизнь, не послѣднее мѣсто занимаетъ церковный расколъ, который, начавшись съ мелкихъ обрядностей, дошелъ, въ нѣкоторыхъ своихъ сектахъ, до выработки замѣчательныхъ взглядовъ на религіозные вопросы и общественныя отношенія. Исторія раскола тѣмъ именно и поучительна, что по ней можно прослѣдить, какъ созрѣвало и крѣпло, независимо отъ государственной опеки и часто даже наперекоръ ей, самостоятельное мышленіе русскаго народа. Какой, въ самомъ дѣлѣ, долгій путь скептическаго анализа надлежало пройти этому народу, чтобы отъ внѣшняго, формальнаго пониманія религіи, какъ оно обнаружилось въ спорахъ о двуперстномъ знаменіи, хожденіи по селѣ и т. п.—прійти къ тому стойкому раціонализму, который явственно сказывается въ религіозномъ мышленіи духоборцевъ и молоканъ? Съ другой стороны, какая бездна безсмыслия и дикаго изувѣрства отдѣляетъ этихъ самыхъ молоканъ отъ хлыстовъ,

скопцовъ и т. п. фанатиковъ, тоже вышедшихъ изъ народа подъ вліяніемъ другихъ, тяжелыхъ условій русской жизни. Связать воедино всѣ эти, по виду, разрозненные факты, обнять мыслью и логическій путь, и ненормальныя отъ него уклоненія въ расколѣ — вотъ прямая обязанность писателей, которыхъ пытливый умъ не ограничивается въ исторіи одной ея археологическою или курьезной стороною. Надо сказать правду, что въ послѣднее время, благодаря сравнительно-льготнымъ условіямъ русской прессы, исторія раскола сдѣлалась болѣе доступна критической обработкѣ; но мы все-таки далеко не можемъ утверждать, чтобы въ нашей литературѣ выяснились окончательно даже крупнѣйшіе фазисы религіознаго разномыслія на Руси. Объ иныхъ вопросахъ не говорится совсѣмъ, о другихъ говорится — но двусмысленно и уклончиво: цѣльнаго взгляда на расколъ еще не высказано нигдѣ, хотя матеріаловъ для него накопилось уже достаточно. Изслѣдованіе г. Нильскаго, лежащее передъ нами, даже не обогащаетъ литературы раскола никакими новыми идеями; но вопросъ, взятый имъ, такъ интересенъ самъ по себѣ, что даже въ сухомъ изложеніи, преисполненномъ длинныхъ, неудобочитаемыхъ цитатъ, онъ можетъ расшевелить любознательность читателя. Какъ сложилась семейная жизнь въ русскомъ расколѣ? Какія формы выработала она для себя, оторвавшись отъ традиціонной почвы?—вопрошаетъ г. Нильскій, и отвѣчаетъ на это пространнымъ трактатомъ, въ которомъ факты говорятъ гораздо краснорѣчивѣе авторскихъ размышленій. Мы воспользуемся прежде этими фактами, а потомъ скажемъ нѣсколько словъ объ отношеніи автора къ своему предмету.

Извѣстно, что на первыхъ порахъ лица, возставшія противъ церковныхъ преобразованій Никона и получившія, по соборному постановленію 1666—7 года, названіе раскольниковъ, не имѣли въ виду устроить свою религіозную жизнь на какихъ нибудь новыхъ началахъ, но хотѣли только спасти «древлее благочестіе», удерживая безъ малѣйшей перемѣны ту церковную практику, которую признавали, какъ правильную, предшественники Никона. Къ этому мы прибавимъ съ своей стороны, что раскольники смотрѣли на дѣло совершенно такъ же, какъ какой нибудь крутицкій митрополитъ Іона (и даже самъ патріархъ Филаретъ) въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича, во время исправленія «Потребника». Ученыхъ справщиковъ этой книги, по приказанію Іоны, потребовали къ отвѣту, обвинили въ еретицествѣ и засадили въ тюрьму единственно за то, что они вычеркнули изъ «Потребника» ненужную поправку: и огнемъ въ молитвѣ водоосвященія: «прійди, Господи, и освяти воду сію Духомъ твоимъ и огнемъ». Отсюда возникли противъ нихъ обвиненія, что они — «Духа святого не исповѣдаютъ, яко огнь есть». За это одного изъ справщиковъ, а именно архимандрита Діонисія, отказавшагося дать взятку въ 500 р., душили «дымомъ на палатахъ», морили голодомъ и выводили въ кандалахъ на площадь, гдѣ народъ забрасывалъ его грязью, какъ еретика. Страданія мнимыхъ еретиковъ продолжались цѣлый годъ и кончились, только благодаря вмѣшательству іерусалимскаго патріарха Ѳеофана, который, прибывъ въ Москву для сбора милостыни, не безъ труда убѣдилъ Филарета, уже патріарха, въ ненужности прибавки: «и огнемъ». (См. «Русскіе исповѣдники просвѣщенія», статья

г. Соловьева, «Рус. Вѣстн.» 1857 г. № 17). Такое невѣжественное упорство въ сохраненіи буквы священнаго писанія,—и притомъ буквы, искаженной переписчиками,—объясняется очень просто повальной безграмотностью и непроходимой тупостью, господствовавшей въ до-петровское время. Митрополитъ газскій, Паисій Лигаридъ, занимавшійся, по порученію Алексѣя Михайловича, опроверженіемъ «Челобитной» соловецкаго монастыря (между русскими іерархами не нашлось человѣка, способнаго на такой трудъ), не даромъ говорилъ, что все это «наводненіе ересей истекало и возростало на общую пагубу отъ лишенія и неимѣнія народныхъ учителей». Понятно, что, коренясь въ слѣпой приверженности къ старинѣ, расколъ, и въ ученіи о бракѣ, не отходилъ сначала слишкомъ далеко отъ мнѣній и обычаевъ, принятыхъ въ господствующей церкви. Вся разниа состояла въ томъ, что, по мнѣнію раскольниковъ, слѣдовало употреблять при обрядѣ вѣнчанія не новыя, а старопечатныя книги и благословлять брачующихся двуперстнымъ знаменіемъ. Такъ шло дѣло до тѣхъ поръ, покуда живы были «истинные іереи», т.-е. рукоположенные до Никона, у которыхъ раскольники могли вѣнчаться, не нарушая старыхъ церковныхъ правилъ. Но положеніе это должно было измѣниться, когда правительство рѣшилось твердо преслѣдовать расколъ, а число священниковъ, вѣрныхъ преданію, стало быстро убывать какъ по причинѣ естественной смерти, такъ и вслѣдствіе гоненій, воздвигнутыхъ на нихъ духовной и свѣтской властями. Тогда появились новые, роковые вопросы: откуда достать священниковъ, поставленныхъ по «древнему чину», и можно ли вѣнчаться въ «еретическихъ» церквахъ по ис-

правленными книгамъ и съ нарушеніемъ прежнихъ обрядовъ? Между духовенствомъ, возставшимъ противъ церковныхъ распоряженій Никона, былъ только одинъ епископъ, Павелъ Коломенскій, который могъ, нѣкоторое время, по-полнять законнымъ образомъ раскольниковую іерархію; но и онъ умеръ въ самомъ началѣ раскола; слѣдовательно, сторонникамъ древняго благочестія, рано или поздно, угрожала опасность остаться совсѣмъ безъ священниковъ и безъ церковныхъ таинствъ. Это предвидѣли раскольники и однажды спросили самого Павла Коломенскаго: какъ имъ быть въ случаѣ прекращенія правильной іерархіи? Отвѣтъ Павла передается различно раскольниками, смотря по сектѣ, къ которой принадлежать они. Такъ, поповцы, въ оправданіе своего обычая принимать бѣглыхъ поповъ, совершая надъ ними муропомазаніе, утверждаютъ, что Павелъ Коломенскій указалъ именно на это средство для сохраненія благодати за «новорокоположенными» священниками; безпоповцы же, отвергающіе церковную іерархію по причинѣ «оскудѣнія священной руки», говорятъ, что коломенскій архіерей запретилъ своимъ послѣдователямъ всякое общеніе съ православною церковью и заповѣдалъ совершать нѣкоторыя таинства, какъ напр., крещеніе и покаяніе, самимъ мірянамъ. На сторонѣ безпоповцевъ стоитъ и такой авторитетъ, какъ знаменитый протопопъ Аввакумъ, который внушалъ раскольникамъ непримиримую ненависть къ новопоставленному духовенству. «А съ водою какъ онъ (т.-е. никоніанскій священникъ) пріидетъ въ домъ твой — писалъ раздраженный протопопъ къ своимъ духовнымъ чадамъ — а въ дому бывъ, водою намочить, и ты послѣ его вымети

метлою, а робятамъ вели по запечью отъ него спрятаться, а самъ съ женою ходи тутъ и виномъ его пой, а самъ говори: «прости, бачка, нечисты... и не окаявались, недостойны къ кресту». Онъ кропитъ, а ты рожу-то въ уголъ вороти, или въ мошну въ тѣ поры полѣзай да деньги ему добывай. А жена за домашними дѣлами поди да говори ему, раба Христова: «бачка, какой ты человѣкъ! аль по своей попадѣ не разумѣешь? не время мнѣ!» Да какъ нибудь отживите его. А хотя и омочить водою тою, душа бы твоя не хотѣла». Вслѣдствіе этой ненависти къ новой церковной іерархіи, доходившей до комическаго «отворачиванья рожи» отъ православнаго священника, значительная часть въ расколѣ отказалась совсѣмъ отъ совершенія таинствъ, допуская только тѣ изъ нихъ, которыя, по завѣту Павла Коломенскаго, могли поддерживаться и мірскими людьми. Затѣмъ безпоповщинскій расколъ, оторвавшись отъ всякой традиціонной связи съ господствующей церковью, пошелъ своей особой дорогою, и въ немъ образовалось скоро новое разномысліе относительно брака, о которомъ раскольники не могли почерпнуть изъ преданія никакого категорическаго рѣшенія. До этого рѣшенія имъ приходилось добираться самимъ, посредствомъ разныхъ доводовъ и соображеній, которые, конечно, измѣнялись, смотря по развитію личности, бравшейся за самостоятельную разработку спорнаго вопроса. Здѣсь-то и обнаружилась та внутренняя, органическая сила, о присутствіи которой въ расколѣ наша публика имѣетъ еще, до сихъ поръ, весьма слабое понятіе. Въ первое время по образованіи раскола, идея безбрачія, вслѣдствіе невозможности «правильнаго» совершенія брачнаго таинства, по-

лучила, повидимому, господство въ массѣ раскольниковъ, чему способствовали многія обстоятельства, изъ которыхъ одно—именно вражда къ господствующей церковной іерархіи—уже упомянуто нами. Эта вражда вызвала у протопопа Аввакума прямое запрещеніе раскольникамъ—вѣнчаться въ православныхъ церквахъ: «Аще вѣнчаеми бывають у нихъ, то не браки, а прелюбодѣющіи; аще ли имуть истинныхъ іереевъ, да вѣнчаются снова. Аще кто не имать іереевъ да живетъ просто». Эту послѣднюю фразу: «да живетъ просто» нужно, по всей вѣроятности, понимать, какъ требованіе безбрачной жизни, потому что самъ Аввакумъ былъ усерднымъ ея защитникомъ и часто «унималъ другихъ отъ блуда»; но справедливо также и мнѣніе г. Щапова (противъ котораго долемизируетъ однако г. Нильскій), что эта фраза, растолкованная въ извѣстномъ смыслѣ, пришлась какъ нельзя болѣе кстати для распушенности нравовъ, составлявшей типическую черту въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ. Едва ли возможно сомнѣваться, что широкое удовлетвореніе половыхъ страстей, которое такъ прилично и удобно прикрывалось обѣтомъ вынужденнаго безбрачія, было не послѣднею причиной того, что пропаганда брака, въ видѣ гражданскаго сожитія мужа съ одною женою, находила сильный отпоръ въ расколичьей средѣ. Подобное стѣсненіе, конечно, не правилось тѣмъ благочестивымъ людямъ, которые скоро привыкли къ тому, чтобы ихъ духовныя сестры приносили имъ (говоря расколичьимъ языкомъ) «пустынные плоды своего чрева»; уклоняясь отъ брака подъ благовиднымъ предлогомъ, они сохраняли за собой право имѣть сколько угодно «страпухъ» и «посестрій»; но лицемѣрный

декорумъ былъ при этомъ соблюденъ, и имъ оставалось только искусно прятать концы своихъ любовныхъ связей. Впрочемъ, нѣкоторыя секты (какъ напр. стефановщина) мало обращали вниманія даже на соблюденіе этого декорума, и—по словамъ, приводимымъ у самого г. Нильскаго—ихъ наставники частенько жили «въ кельяхъ на уединеніи съ зазорными лицами и съ духовными дочерьми». И такое явленіе нисколько не удивительно: формальное благочестіе древней Руси, передъ которымъ такъ умиляются наши любители старины, ничего другаго и не могло скрывать подъ собою, кромѣ животной разнузданности, плохо замаскированной лицемѣрными обрядами. Извѣстенъ напр. обычай нашихъ предковъ занавѣшивать образа въ комнатѣ, приготовляясь къ нѣкоторому грѣховному дѣлу... Лики угодниковъ не видѣли грѣха, и совѣсть грѣшника была успокоена. Счастливыя исключенія, разумѣется, встрѣчались всегда, но они не измѣняли общаго характера нашего религіознаго благочестія, крайне узкаго, односторонняго, поглощеннаго одною внѣшностью и обрядностью. Кромѣ того, на помощь нравственной распушенности, пришли и другія обстоятельства, которыхъ также не слѣдуетъ терять изъ виду. Первое изъ нихъ заключалось въ томъ, что, по общему мнѣнію раскольниковъ, вслѣдъ за упадкомъ древней вѣры, настанетъ въ кратчайшій срокъ царство антихриста; слѣдовательно истиннымъ христіанамъ нечего было и хлопотать о женѣ и дѣтяхъ. Тотъ же Аввакумъ, много подвизавшійся по части распространенія раскола, удостоился первый видѣть народившагося антихриста. «Я, братія мои,—сообщаетъ онъ въ одномъ изъ своихъ посланій—видѣлъ антихриста, собаку бѣшеную право видѣлъ.

Плють у него вся смрадъ и зѣло дурна, огнемъ пышетъ изъ рта, а изъ ноздрей и изъ ушей пламя смрадное исходитъ». А въ 1669 г., по всему пространству необъятной Россіи, раскольники, бросивъ всѣ свои обычныя занятія, бѣгутъ цѣлыми семействами изъ домовъ въ лѣса и пустыни, и тамъ, собравшись толпами, постятся, молятся, приносятъ другъ другу покаяніе въ грѣхахъ, приобщаются старинными дарами и, надѣвъ чистыя рубахи и саваны, ложатся въ заранѣе приготовленные гробы. Изъ этихъ гробовъ, въ ожиданіи трубы архангела, раздается заунывный напѣвъ:

Древянъ гробъ сосновый
Ради меня строенъ;
Въ немъ буду лежать.
Труба гласа ждати.
Ангелы вострубить,
Изъ гробовъ возбудятъ.
Я хотя и грѣшенъ,
Пойду къ Богу на судъ и пр. и пр.

На сей разъ ангелы однако не вострубили, и пришествіе антихриста откладывалось потомъ на различные сроки. Такъ, на примѣръ, его ожидали въ 1691 г., затѣмъ въ 1699 году, наконецъ, въ 1702 г. Этотъ послѣдній срокъ, среди начавшихся реформъ Петра Великаго, казавшихся большинству неправославными, антихристіанскими, представлялся до того вѣроятнымъ, что мысль о наступленіи царства антихристова въ началѣ XVIII-го вѣка сдѣлалась достояніемъ не только раскольниковъ, но и многихъ изъ православныхъ, и проповѣдь Талицкаго, возвѣщавшаго близкое разрушеніе міра, выслушивалась, съ одинаковымъ страхомъ, какъ самимъ народомъ, такъ и высшими лицами изъ духовенства и бояръ. Вслѣдствіе этого безпоповщинскіе учителя, какъ

это видно изъ ихъ сочиненій, требуя отъ своихъ послѣдователей безбрачной жизни, никогда не упускали случая, для болѣе убѣдительности своихъ словъ, указывать на скорое появленіе антихриста, какъ на неизбѣжное событіе, которое дѣлаетъ излишними долговременныя житейскія связи. Второе обстоятельство, также повліявшее на отрицаніе брака, по крайней мѣрѣ, въ извѣстный періодъ времени, кроется въ тѣхъ звѣрскихъ гоненіяхъ, которыя подняты были на раскольниковъ, начиная съ 1684 г., ихъ прежней покровительницей, Софьей Алексѣвной. Внезапно, въ этомъ году, появилось противъ раскола постановленіе, узаконявшее пытки и «огненную смерть» для тѣхъ, кто «не принесетъ покоренія св. церкви», сулившее жестокое наказаніе тѣмъ изъ православныхъ, которые скрывали у себя раскольниковъ и не доносили объ нихъ, осуждавшее «на смерть безъ всякаго милосердія» раскольниковъ перекрещивателей, хотя бы они раскаявались и «св. таинъ причастіися желали истинно», подвергавшее кнуту всѣхъ перекрещивавшихся у раскольниковъ, даже и въ томъ случаѣ, если они «учнутъ виниться безъ всякаго противности», и наконецъ отсылавшее подъ кнутъ даже тѣхъ раскольниковъ, которые «отъ неразумѣнія или въ малыхъ лѣтахъ, стояли въ упрямствѣ въ новоисправленныхъ книгахъ» и пр. и пр. Вслѣдъ затѣмъ начались военныя экзекуціи, которыя распространили еще болѣе ужасъ въ раскольниковѣмъ населеніи. «Лютое нападеніе,—по выраженію раскольниковъ,—суровое свирѣпство, звѣриная наглость» храбрыхъ воиновъ, посылаемыхъ для этой междоусобной рѣзни, наводили панику на цѣлыя области и заставляли подумать о средствахъ избавиться отъ

мученій. Менѣ фанатическіе ревнители старой вѣры спасались бѣгствомъ въ сосѣднія страны — въ Польшу, Швецію, Турцію, Пруссію и на Кавказъ. При этомъ поголовномъ бѣгствѣ положено было основаніе знаменитой слободѣ Вѣткѣ на землѣ пана Халецкаго, и «мнози течаху въ оная прославляемая мѣста». Яростные же фанатики, предвидя «нашествіе мучителей и ихъ наѣздъ съ оружіемъ и съ пушками», сжигали себя сами, цѣлыми массами, для полученія царствія небеснаго. Въ 1687 г. раскольники, въ числѣ 2,700 человекъ, сожглись въ Палеостровскомъ монастырѣ; въ томъ же монастырѣ въ 1689 г. сгорѣло до 500 раскольниковъ. Въ 1693 г., въ одной деревнѣ Новгородской губерніи, сожглось до 800 раскольниковъ, а въ 1709 г., по донесенію іеремонаха Игнатія св. Дмитрію Ростовскому, въ одномъ его приходѣ—«сожглось душъ обоего пола и всякаго возраста 1,920, кромѣ нинихъ окрестныхъ селъ и деревень, въ коихъ безчисленное множество народа пожглось», такъ что «наполняшеса воздухъ, отъ труповъ старающихся, смрадной вони на многи дни». Св. Дмитрій Ростовскій, какъ извѣстно, не ослабно наблюдалъ за раскольниками... Вообще, вслѣдствіе узаконенія 1684 г., у насъ погибла не одна тысяча народа. Въ такое суровое время народу некогда было думать объ утѣхахъ семейной жизни, и вопросъ о бракѣ, естественно, устранился на задній планъ. Даже поповщинская секта, — рѣшившаяся принимать къ себѣ бѣглыхъ поповъ «новаго поставленія», при помощи которыхъ можно было бы безирепятственно совершать браки, — даже и она воздерживалась, въ это время, отъ семейной жизни предъ ежеминутной грозой смертной казни или мучительныхъ пытокъ.

II.

Но поголовныя избіенія раскольниковъ—собственно за ихъ религіозное несогласіе—прекратились со вступленіемъ на престолъ Петра I. Суровый указъ 1684 г. продолжалъ еще существовать въ качествѣ неотмѣннаго закона, но практическое приложеніе его, съ самаго начала царствованія Петра, сдѣлалось мягче, снисходительнѣе, хотя раскольники являлись, въ большинствѣ случаевъ, личными врагами молодого царя. Правда, и при Петрѣ, въ первые же годы, было немало случаевъ преслѣдованія раскольниковъ; но эти преслѣдованія были больше дѣломъ личнаго усердія второстепенныхъ властей (какъ, напримѣръ, Питерима, прозваннаго Петромъ въ шутку «равноапостольнымъ»), нежели слѣдствіемъ внушеній самого государя. Терпимость и даже индифферентизмъ Петра къ конфессіональнымъ распрямъ достаточно извѣстны изъ исторіи, и отсюда безошибочно опредѣляется его отношеніе къ расколу, какъ къ религіозному толку. Насмѣшливый реформаторъ и рационалистъ, устраивавшій публичныя пародіи на мѹфтіевъ и патріарховъ, подъ именемъ «всешутѣйшаго собора», не могъ враждовать серьезно съ двуперстнымъ знаменіемъ и хожденіемъ подсолонъ. Больше не нравились ему борода и стариннаго покроя платье, какъ вывѣски грубаго суетвѣрія и невѣжества—и за нихъ раскольники должны были расплачиваться особымъ штрафомъ. Въ 1702 г. Петръ

всенародно объявлялъ, что онъ «совѣсти человѣческой приневолить не желаетъ и охотно предоставляетъ каждому христіанину, на его отвѣтственность, пещись о блаженствѣ души своей», и общалъ при этомъ «крѣпко смотрѣть, чтобы никто, какъ въ своемъ публичномъ, такъ и въ частномъ отправленіи богослуженія, обезпокоенъ не былъ». Въ томъ же году случилось Петру переходить изъ Архангельска въ Повѣнецъ черезъ извѣстную рѣку Выгъ (по имени которой названа безпоповщинская Выговская пустыня), и ему было доложено, что на этой рѣкѣ живутъ раскольники. «Пуškai живутъ!»—отвѣчалъ онъ по свидѣтельству историка Выговской пустыни—и поѣхалъ смирно, яко отецъ отечества благоутробнѣйшій». Вскорѣ послѣ этого (въ 1705 г.) Петръ, чрезъ своего любимца Меншикова, входитъ даже въ прямыя сношенія съ обитателями «пустыни»—бывшей главнымъ притономъ тогдашней безпоповщины—и, въ награду за согласіе ихъ работать на повѣнецкихъ заводахъ, даетъ имъ указомъ право на открытое, свободное отправленіе богослуженія по старопечатнымъ книгамъ. Поручая въ 1706 г. Питериму заняться обращеніемъ раскольниковъ въ Нижегородской губерніи, Петръ внушалъ ему: «съ противниками церкви съ кротостію и разумомъ поступать, по апостолу: быхъ беззаконнымъ, яко беззаконенъ, да беззаконныхъ пріобрѣту, быхъ всѣмъ вся да всяко нѣкіе спасу—а не такъ, какъ нынѣ, жестокими словами и отчужденіемъ». Въ 1708 г., когда Карлъ XII вступилъ въ Малороссію и достигъ стародубскаго края, нѣкоторые изъ стародубскихъ раскольниковъ напали на непріятеля, нѣсколько сотенъ побили, а живыхъ привели плѣнниками къ государю, бывшему

тогда въ Стародубѣ. За такой патріотизмъ Петръ тогда же приказалъ переписать всѣхъ стародубскихъ раскольниковъ и утвердилъ ихъ лично за собою «съ тѣмъ, чтобъ впредь оными никто не могъ владѣть». Въ 1714 г. Петръ торжественно даруетъ раскольникамъ право, наравнѣ со всѣми другими подданными, жить въ селеніяхъ и городахъ «безо всякаго сомнѣнія и страха», лишь бы только они объявляли о себѣ въ приказѣ церковныхъ дѣлъ и записывались въ платѣжь двойнаго оклада. Дальше, указами 1719, 1720 и 1722 годовъ, позволено было раскольникамъ не ходить на исповѣдь, вѣнчаться не у церкви, носить бороду и платье стараго покроя, съ условіемъ только платить за всѣ эти льготы опредѣленную денежную пеню. Всѣми этими мѣрами Петръ показалъ, что, не видя серьезной опасности въ религіозномъ «пререканіи» раскольниковъ съ государственной церковью, онъ подводитъ его подъ разрядъ обыкновенныхъ полицейскихъ провинностей, за которыя достаточно брать, въ видѣ штрафа, усиленный подушный окладъ. Штрафъ же этотъ обращался на заведеніе флота, на прорытіе каналовъ, на устройство школъ и тому подобныя потребности реформы. Только въ самомъ концѣ своего царствованія, убѣдившись изъ дѣла царевича Алексѣя и многихъ другихъ частныхъ случаевъ, что раскольники ведутъ подкопъ—не противъ одной лишь церковной обрядности, но и противъ всѣхъ европейскихъ нововведеній, Петръ причислилъ раскольниковъ дѣла «къ злодѣйственнымъ» и снова обратился, хотя далеко не съ прежней жестокостью—къ тому уголовному арсеналу, который былъ у него подъ руками. Лично раздраженный и лично ненавидимый раскольниками, спасая отъ разрушенія свое

любимое дѣло, Петръ забылъ уже тутъ свою прежнюю умѣренность и просвѣщенные взгляды на расколъ. Тѣмъ не менѣе, раскольники, въ царствованіе Петра, чувствовали себя гораздо спокойнѣе и безопаснѣе, чѣмъ прежде, а главный пріютъ безпоповщины — Выговская пустыня, гдѣ умный и хитрый настоятель Андрей Денисовъ успѣлъ убѣдить своихъ единовѣрцевъ въ возможности соединенія истиннаго христіанства съ подданствомъ Петру, — разбогатѣлъ до такой степени, что обитатели его, вѣкогда сами терпѣвшіе голодъ, нашли возможнымъ помогать изъ своихъ средствъ не только раскольникамъ, бывшимъ въ зависимости отъ монастыря, но и постороннимъ лицамъ, разумѣется, съ тайною цѣлью привлечь ихъ въ свои ряды. Фанатизмъ Выговскихъ скитовъ, выразившійся прежде въ открытой враждѣ къ власти и въ покушеніяхъ къ самосожигательству, сталъ теперь, мало-по-малу, слабѣть, а вслѣдъ затѣмъ началъ колебаться и ихъ прежній аскетизмъ. Проповѣдники суроваго житія, проводившіе прежде сами строгую жизнь, — теперь, среди всеобщаго изобилія и довольства, стали позволять себѣ такіа утѣхи въ жизни, которыя ясно показывали, что ревнители иноческаго подвижничества далеко не прочь и отъ наслажденія благами міра сего. «Пустынныя плоды чрева яновинъ» приносились все чаще и чаще, и самъ Андрей Денисовъ, доказывавшій необходимость безбрачной жизни, началъ снисходительнѣе смотрѣть на брачное сожитіе раскольниковъ, видя въ немъ средство избавиться отъ перемѣннаго разврата. Если прибавить къ этому, что ученіе о близкой кончинѣ міра, также служившее препятствіемъ къ брачнымъ союзамъ, хотя и продолжало существовать въ Выгов-

скомъ скиту, но уже только въ одной теоріи, и плохо мирясь съ спокойнымъ, обеспеченнымъ положеніемъ раскольниковъ, — то мы легко поймемъ, что удовольствія правильно-организованной семейной жизни снова стали рисоваться въ воображеніи людей, отдохнувшихъ отъ преслѣдованій. Къ тому же, въ ихъ средѣ уже перевелись тѣ выходцы изъ разныхъ монастырей, которые хотѣли весь раскольниковскій міръ превратить въ одну громадную монастырскую общину. Тогда-то и обнаружилось въ безпоповщинскомъ расколѣ сильное движеніе въ пользу брака, которое повело сначала къ литературной полемикѣ, а потомъ и къ распаденію самаго раскола на двѣ враждебныя партіи. Первымъ раскольниковъ, признавшимъ, что бракъ, заключенный въ православной церкви, слѣдуетъ считать законнымъ и не расторгать, — былъ Ѳеодосій Васильевъ, который вздумалъ, въ концѣ XVII вѣка, основать отдѣльное раскольниковское общество, съ тѣмъ, чтобы самому стать во главѣ его. Съ этою цѣлью Ѳеодосій оставилъ Новгородъ, убѣжалъ со всею семьей въ Польшу и здѣсь положилъ основаніе особому раскольниковскому толку, получившему, по его имени, названіе Ѳеодосіевщины. Своимъ ученіемъ о бракѣ Ѳеодосій сталъ въ противорѣчіе съ своими прежними единомышленниками — поморцами, и это дало поводъ къ спорамъ между ними, окончившимся не въ пользу брака. Ѳеодосій, какъ видно, слишкомъ слабо мотивировалъ свое уклоненіе отъ прежнихъ взглядовъ, и потому, хотя онъ самъ устоялъ до конца жизни въ своемъ противорѣчій, но послѣдователи его, замѣтивъ недостаточность его доказательствъ, признали нужнымъ, вскорѣ послѣ его смерти, разводить всѣхъ повѣнчанныхъ до перехода въ расколъ — «на чистое житіе». Го-

раздо стойче и рѣшительнѣе была поддержка, оказанная браку Иваномъ Алексѣевымъ—однимъ изъ стародубскихъ раскольниковъ, попавшимъ въ упомянутую нами переписку при Петрѣ. Это былъ весьма умный и энергическій человѣкъ, очень начитанный и наблюдательный, не закрывавшій глазъ на недостатки своего общества. Наставниковъ еедосѣвскихъ онъ безъ церемоніи сравнивалъ за ихъ невѣжество и умственную слѣпоту, съ «нѣкими нетопырями темными, кои зрящихъ истинно досаждаютъ», и отерпыто нападалъ на тотъ безшабашный развратъ, которому предавались эти наставники, прикрытые благовидной ширмой иноческаго житія. Долго думая надъ вопросами о бракѣ, Алексѣевъ пришелъ къ тому заключенію, что вынужденное безбрачіе безпоповцевъ имѣло нѣкогда историческое оправданіе—въ отсутствіи правительнаго священства и въ строгомъ аскетизмѣ первоначальныхъ безпоповцевъ, жившихъ, по стеченію неблагоприятныхъ обстоятельствъ, въ лѣсахъ и пустыняхъ;—но что теперь второе изъ этихъ условій замѣнилось полнѣйшей физической разнузданностью, а о чистотѣ нравовъ нѣтъ и помину.

Что же касается до перваго условія, которое Алексѣевъ, какъ вѣрный раскольникъ, обязывался признавать съ прежней рѣзкостью, — то онъ постарался обойти его совѣмъ въ этомъ вопросѣ, доказывая, что священникъ есть только простой свидѣтель при совершеніи брака и что самый бракъ есть тайна, но не въ смыслѣ таинства, какъ понимаетъ его православная церковь—таинства, въ которомъ чрезъ пресвитерское вѣнчаніе и благословеніе сообщается брачующимся особенная благодать св. Духа,—а въ смыслѣ таинственного значенія супружеской любви, какъ образа любви Христа

въ церкви. Продолжая развивать свой взглядъ на бракъ, Алексѣевъ говорилъ, что бракъ установленъ самимъ Богомъ еще при созданіи первыхъ людей, что основаніемъ его служитъ благословеніе, данное Богомъ Адаму и Евѣ, а чрезъ нихъ и всѣмъ ихъ потомкамъ, и что поэтому, для заключенія брака, не требуется особенная благодать, исходящая отъ іерея, но должны быть соблюдены только слѣдующія три правила: во первыхъ, согласіе вѣнчающихся на бракъ, при взаимной любви; во вторыхъ, «общенародное» выраженіе этого согласія передъ свидѣтелями (въ числу которыхъ принадлежитъ и священникъ); наконецъ, третьихъ — согласіе родителей, необходимое для того, чтобы выразить въ немъ законную родительскую власть надъ дѣтьми, и также, чтобы не допустить въ бракъ какихъ либо злоупотребленій, напримѣръ, близкаго родства, дурнаго выбора жениха или невесты и пр. Но что же послѣ этого значитъ церковное вѣнчаніе брака, принятое во всѣхъ христіанскихъ церквахъ? Это, по словамъ Алексѣева, не больше, какъ «общенародный христіанскій обычай», неимѣющій прямаго отношенія къ существу брака; введено же церковью вѣнчаніе для того, чтобы имъ отличить законное сопряженіе брачующихся лицъ отъ блуднаго сожитія, въ соответствии «нѣбному чину», употреблявшемуся при заключеніи браковъ еще въ ветхомъ заветѣ между іудеями, и «общенародному обычаю», существовавшему въ древности въ разныхъ формахъ и существующему донынѣ между язычниками. Отсюда Алексѣевъ дѣлаетъ выводъ, что, при неимѣніи православнаго священства, можно вѣнчаться и въ церкви еретической. Христіанскій общенародный обычай чрезъ это будетъ соблюденъ, а благодать, необходимая

для брака, которой еретики не имѣютъ, зависитъ не отъ вѣщанія, а отъ первоначальнаго Божіа благословенія. «Очевидно—присовокупляетъ г. Нильскій—что Алексѣевъ смотритъ на бракъ съ естественной, а не съ христіанской точки зрѣнія, и разумѣетъ собственно бракъ, такъ-называемый, гражданскій» (стр. 122). Для подкрѣпленія этого гражданскаго брака, Алексѣевъ заимствовалъ свои аргументы и изъ большаго катихизиса, и изъ Кормчей книги, и изъ церковной исторіи, причемъ выказалъ замѣчательную богословскую эрудицію и ловкую діалектику, съ которой не всегда удачно борется г. экстраординарный профессоръ духовной академіи. Прежде всего Алексѣевъ выбралъ изъ большаго катихизиса и изъ Кормчей книги такіа опредѣленія брака, въ которыхъ—по словамъ г. Нильскаго—«по видимому, подается та мысль, что единственнымъ основаніемъ брака служить первоначальное Божіе благословеніе, данное въ лицѣ Адама и Евы всѣмъ ихъ потомкамъ, и затѣмъ — взаимное согласіе желающихъ вступить въ бракъ, выраженное словами передъ свидѣтелемъ». Такъ, напримѣръ, въ большомъ катихизисѣ, на вопросъ: что есть бракъ? дается такой отвѣтъ: «бракъ есть тайна, ею же женихъ и невѣста отъ чистыя любви своея въ сердцахъ своемъ усердно себѣ изволятъ и согласіе между собою, и обѣтъ сотворять, яко произволительно, по благословенію Божію, въ общее и нераздѣльное житіе сопрягаются: якоже Адамъ и Ева прежде паденія и безплотскаго смѣшенія правъ и истинный бракъ имѣста»; а на вопросъ: «кто есть дѣйственикъ тайны брака?» говорится, что это—вопервыхъ, Богъ, сказавшій: «раститесь и множитесь», а вовторыхъ, сами брачующіеся, давшіе другъ

другу обѣты вѣрности. Объ участіи священника не упоминается совсѣмъ. Въ Кормчей же книгѣ сказано: «форма, или образъ совершенія брака, суть слова совокупляющихъ, изволеніе ихъ внутреннее предъ іереемъ извѣщающая», и это выраженіе: предъ іереемъ привело Алексѣева къ той мысли, что священникъ, участвующій въ заключеніи брака, есть небольшое, какъ одинъ изъ свидѣтелей взаимнаго согласія жениха и невѣсты на вступленіе въ брачный союзъ, но отнюдь не совершитель этого священнодѣйствія. Далѣе, изучая библейскую и «многія другія исторіи», Алексѣевъ замѣтилъ, что было время, когда браки заключались въ обществѣ человѣческомъ безъ всякаго «священнословія», т.-е. безъ всякаго внѣшняго обряда, по одному взаимному согласію лицъ, желавшихъ вступить въ бракъ, съ дозволенія родителей брачующихся. Такъ, по словамъ Алексѣева, — «по Адамъ сущіи народы на единомъ любовномъ основаніи брака начало и конецъ творяху: начало сего — благохотѣніе взаимное, конецъ же — слова общаго хотѣнія родителей жениха и невѣсты и самихъ жениха и невѣсты». Такъ заключались браки въ «естественномъ законѣ, даже до закона писаннаго», и не только между язычниками, но и между іудеями. Въ примѣръ подобныхъ браковъ между послѣдними Алексѣевъ указываетъ на бракъ Исаака съ Ревеккою. Въ послѣдствіи времени, говоритъ Алексѣевъ, у язычниковъ браки стали совершаться въ капищахъ, у іудеевъ же установился обрядъ приведенія брачующихся въ храмъ. Но такъ-какъ этотъ обрядъ явился уже въ законѣ писанномъ, а браки заключались прежде и считались законными, то очевидно — говоритъ раскольничій учитель — что заключеніе браковъ въ храмахъ и капи-

цахъ было учреждено не потому, чтобы безъ этого брачныя сопряженія не имѣли законности и силы, но единственно для того, чтобы, кромѣ согласія родителей, а также жениха и невесты, дать мѣсто еще и «согласію общенародному» и тѣмъ, съ одной стороны, сдѣлать бракъ формально болѣе твердымъ, а съ другой—предохранить вступившихъ въ него отъ разнаго рода нареканій, показавъ всѣмъ и каждому, что они начали свое сожитіе не «яко тати», какъ дѣлають блудники, а «подобательнымъ путемъ», т.-е. открыто, черезъ бракъ. Переходя затѣмъ къ исторіи новозавѣтной, Алексѣевъ и въ ней нашелъ основанія думать, что церковное вѣнчаніе не имѣетъ существеннаго значенія для брака. Такъ онъ говоритъ, что и въ церкви христіанской «первѣе быше бракъ, сему же послѣдоваша церковное дѣйство», и въ подтвержденіе своихъ словъ указываетъ на книгу Діонисія Ареопагита «о церковномъ священноначаліи», изъ которой будто бы видно, что при апостолахъ не было еще обычая совершать браки въ церкви, такъ-какъ Діонисій, перечисляя разныя таинства, не говоритъ ничего о вѣнчаніи брака. Алексѣевъ ссылается также и на другое обстоятельство изъ практики первенствующей церкви,—именно на то, что, при обращеніи язычниковъ къ вѣрѣ христовой, церковь совершала надъ ними крещеніе, миропомазаніе и др. таинства, но никогда не совершала надъ ними брака, если они находились до обращенія въ брачномъ сожитіи, а позволяла имъ жить по прежнему, какъ мужу и женѣ. Точно также, продолжаетъ Алексѣевъ, поступала церковь и съ еретиками, и притомъ не только съ такими, которыхъ принимали чрезъ одно отреченіе отъ ереси, но и съ такими, надъ которыми, при прие-

мѣ ихъ, совершалось крещеніе. Наконецъ, Алексѣевъ указываетъ на то, что церковь православная никогда не пересчитывала лицъ православныхъ же, но вступавшихъ въ бракъ, по какимъ либо обстоятельствамъ, въ церквахъ еретическихъ. Всѣ эти разсужденія, вкратцѣ приведенныя нами, быть можетъ, ошибочны съ догматической точки зрѣнія; но они имѣютъ огромную важность для историка, наглядно показывая, что нашъ расколъ — по крайней мѣрѣ, въ лицѣ наиболѣе развитыхъ его представителей — не удовольствовался однимъ формализмомъ и религіозною казуистикой, но затронулъ, въ нѣкоторыхъ сектахъ, весьма крупныя вопросы, имѣющіе ближайшее отношеніе къ общественной жизни. Стоитъ замѣтить, что простой раскольникъ-крестьянинъ, небывшій ни въ какихъ школахъ и академіяхъ, одною силою умственной пытливости, дошелъ до того, что могъ совершенно перенести вопросъ о бракѣ съ церковной на гражданскую почву, то-есть сдѣлать изъ брака тотъ общественный договоръ, который только очень недавно въ Европѣ приобрѣлъ положеніе равноправное съ церковной формою брака. Врядъ-ли послѣ этого можно отрицать въ расколѣ присутствіе дѣятельной мысли и внутреннее прогрессивное движеніе, только замедляемое внѣшними препятствіями.

Доводы Алексѣева въ пользу брака нашли себѣ много приверженцевъ и служатъ до настоящаго времени опорною точкою для поморцевъ, вступающихъ въ бракъ. Но едосѣвцы отвергнули ихъ, какъ еретичество, забывъ, что, въ такомъ случаѣ, самъ основатель ихъ секты былъ упорнымъ еретикомъ. Роли переимѣнились: поморцы, прежде нападав-

шіе на бракъ, сдѣлались его сторонниками, а еедосѣвцы, которымъ приличіе было бы, съ самаго начала, не противиться этому нововведенію, стали озлобленно нападать на «новоженцовъ», рѣшавшихся войти хоть на полчаса, для совершенія брака, въ православную церковь. Началась ожесточенная борьба, продолжавшаяся довольно открыто въ царствованіе Екатерины и Александра, такъ-какъ въ это время, — особенно при Александрѣ, — расколъ пользовался уже значительнѣйшими, противъ прежняго, послабленіями и льготами. На сторонѣ брака, какъ гражданскаго обряда, который возможно совершать даже и при отсутствіи священника, стояли: Емельяновъ, одинъ изъ настоятелей покровской часовни въ Москвѣ, и Навель Любопытный, извѣстный раскольникій писатель. Противъ брака вооружались: знаменитый основатель преображенскаго московскаго кладбища, купецъ Ковылинъ, названный «отличнымъ бракоборцемъ», и бѣглый заводскій крестьянинъ, Гнусинъ, — «семиименная особа» (по выраженію Павла Любопытнаго), разгуливавшая по Россіи подъ семью различными именами. Аргументы Алексѣева въ защиту брака дополнялись и развивались его послѣдователями — и въ этой переработкѣ раскольникій бракъ сдѣлался окончательно гражданскимъ актомъ, такъ что въ Покровской часовнѣ, гдѣ совершались подобныя браки, вошло даже въ обычай составлять особые свадебные контракты, подписываемые женихомъ и невѣстой (стр. 339).

Нельзя не поблагодарить г. Нильскаго за трудолюбивое собраніе всѣхъ этихъ свидѣній, бросающихъ новый свѣтъ на исторію нашего раскола; но нельзя не указать также и

на пристрастный тонъ, съ которымъ относится онъ къ нѣ-
которымъ мнѣніямъ и даже къ фактамъ, имъ излагаемымъ.
Такъ, напримѣръ, ему очень хочется доказать, что расколь-
ничьи гражданскіе браки никогда не признавались на-
шимъ правительствомъ законными, а между тѣмъ изъ его
доказательствъ выходитъ только то, что правительство часто
колебалось въ своемъ взглядѣ на этотъ вопросъ, и что св.
синодъ нерѣдко пользовался случаемъ, чтобы расторгать
такіе браки. Но въ дѣлѣ, приведенномъ у Павла Любопыт-
наго (стр. 343), а именно въ дѣлѣ раскольника Мони́на,
женившагося по обряду поморской церкви, митрополитъ
Платонъ, а за нимъ и весь святѣйшій синодъ, рѣшили этотъ
вопросъ въ пользу Мони́на. Въ другой разъ тульская духов-
ная консисторія привлекла къ отвѣтственности одного без-
поповца за его бракъ, но св. синодъ, принявъ во вниманіе
гражданскія узаконенія, на которыя сослался отвѣтчикъ,
приказалъ преслѣдованіе это прекратить (стр. 403). Стало
быть, были гражданскіе законы, служившіе, такъ-сказать,
щитомъ для раскольниковъ. Они, дѣйствительно, приводятся
у самого г. Нильскаго. Первый законъ, на который ссыла-
лись раскольники, изданъ Петромъ въ 1719 г. и упомянутъ
Екатериной II въ 1762 г. при вызовѣ бѣглыхъ расколь-
никовъ изъ-за границы; онъ состоитъ въ томъ, что расколь-
ничьи браки, совершенные «не у церкви, безъ вѣнечныхъ
памятей» — не расторгались, но только оплачивались извѣ-
стнымъ штрафомъ такъ же, какъ, напримѣръ, ношеніе бороды.
Второй законъ — это высочайше утвержденное мнѣніе госу-
дарственнаго совѣта (по дѣлу поручика Шелковникова о
разводѣ его съ женою), въ которомъ говорится: «для охра-

ненія твердости брачныхъ союзовъ постановить правиломъ, чтобы никакія въ гражданскомъ управленіи мѣста и лица не допускали и не утверждали между супругами обязательствъ и другихъ актовъ, въ коихъ будетъ заключаться условіе жить имъ въ разлученіи или какое либо другое произвольное ихъ желаніе, клонящееся къ разрыву супружескаго союза». Постановление это распространялось «на всѣ христіанскія исповѣданія, т.-е. какъ на тѣ, въ коихъ брачный союзъ почитается таинствомъ, такъ и на тѣ, въ коихъ онъ принимается за гражданскій актъ». Раскольники сейчасъ же причислили свои браки къ числу гражданскихъ актовъ, допускаемыхъ закономъ, и министерство внутреннихъ дѣлъ, повидимому, согласилось съ этою ихъ претензіею. По крайней мѣрѣ, въ томъ же 1819 г., министерство внутреннихъ дѣлъ не утвердило тѣхъ положеній комитета войска донскаго, которыми браки раскольниковъ, совершенные внѣ церкви, признавались недѣйствительными, а совершители такихъ браковъ предавались суду наравнѣ съ учителями раскола. Положенія эти были найдены «противными правиламъ кротости и служащими, съ одной стороны, поводомъ къ ожесточенію раскольниковъ, а съ другой — побужденіемъ прибѣгать къ средствамъ обмана и подлога» (стр. 405). Такая революція министерства показываетъ, что не одинъ московскій магистратъ смотрѣлъ на «брачную книгу» Покровской часовни, какъ на официальный документъ, подтверждающій раскольничьи браки, но что этого же взгляда придерживались и разумные люди въ нашемъ высшемъ правительствѣ.

ЦЕНЗУРНЫЙ ПРОЕКТЪ МАГНИЦКАГО.

(Изъ исторіи цензуры въ Россіи).

I.

Русская литература, — за небольшимъ исключеніемъ книгъ, издаваемыхъ университетами и учеными обществами на ихъ собственной отвѣтственности, — находилась нѣсколько десятковъ лѣтъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ администраціи, и только съ ея дозволенія, выраженнаго красными чернилами цензора, могла бряцать на лирахъ, философствовать о природѣ и размышлять о предметахъ «общественнаго благоустройства». Это прямое вліяніе и руководство официальныхъ стражей надъ печатнымъ словомъ бывало по временамъ довольно снисходительно къ свободѣ мысли, допуская ее на столько, на сколько требовала развитая часть самого общества; но гораздо чаще оно же ложилось тяжкимъ гнетомъ надъ развитіемъ литературы, произвольно стѣсня, урезывая и даже подавляя совсѣмъ тревожную мысль, неумѣющую подладиться къ существующимъ требованіямъ. Легко понять, какъ безгранично было въ послѣднемъ случаѣ давленіе цензуры и какъ больно отражалось оно въ сознаніи мыслящихъ писателей, искренно убѣжденныхъ и дорожившихъ правильнымъ, неискаженнымъ выраженіемъ своей мысли. Тогда цѣлая отрасль литературы становилась невозможными,

такъ-какъ въ нихъ самовластно распоряжалось «благоустройство» цензора, навязывая писателю не только казенныя, рутинныя мысли, но и казенный способъ ихъ выраженія. Была ли возможность, напримѣръ, при такихъ условіяхъ, развитъ стройную философскую систему, освѣтить правильнымъ взглядомъ рядъ историческихъ фактовъ, оцѣнить всестороннимъ образомъ какое-нибудь крупное явленіе современной общественной жизни? Философія и исторія могли существовать только въ жалкомъ видѣ; публицистика становилась почти совсѣмъ невозможною. Конечно, велика изобрѣтательность человѣческаго ума, и за недостаткомъ прямыхъ путей для выраженія мыслей существуютъ еще пути окольные; но въ этихъ уловкахъ и стремленіяхъ обойти цензурныя рифы, тратилось задаромъ много силъ, а результатъ все-таки выходилъ неудовлетворительный. Литература мельчала и начинала удаляться отъ серьезныхъ вопросовъ, предпочитая бесѣдовать съ любителями о погодѣ, лунѣ и дѣвѣ; вмѣсто философскаго направленія, въ ней появлялось ребяческое легкомысліе или трусливое двоедушіе; самый языкъ ея становился блѣднымъ, темнымъ, лишеннымъ красокъ, силы и энергіи. Въ серьезныхъ сочиненіяхъ установилась особая, условная азбука, и публика научилась читать не только по строкамъ, но и между строками, понимая нѣкоторыя выраженія въ обратномъ смыслѣ, разумѣя подъ одними предметами другіе. Такъ, напримѣръ, Турція и Австрія (меттерниховскаго закала) постоянно, въ теченіе долгаго времени, отдувались за Россію. Въ публицистическихъ статьяхъ появились уклончивыя приемы, состоявшіе въ неясныхъ намекахъ, въ нѣкоторомъ, такъ-сказать, киваньи и подмигиваньи читателю; мимоходомъ вставлялись

фразы и даже страницы, повидимому, противорѣчивія основной мысли, но которыя понаторѣлый читатель безошибочно объяснялъ «обстоятельствами, отъ редакціи независящими». Упадокъ литературы подъ вліяніемъ строгаго административнаго надзора былъ уже давно замѣчаемъ мыслящими людьми, хотя, по особымъ обстоятельствамъ, замѣчанія эти и не могли, до послѣдняго времени, попадать въ русскую печать.

«Истинные сыны отечества—писалъ въ 1801 г. въ негласной запискѣ одинъ образованный человѣкъ того времени, видѣвшій, что и правительство благопріятствовало свободѣ печати,—ждутъ уничтоженія цензуры, какъ послѣдняго оплота, удерживающаго ходъ просвѣщенія тяжкими оковами и связывающаго истину рабскими узами. Свобода писать въ настоящемъ философскомъ вѣкѣ не можетъ казаться путемъ къ развращенію и вреду государства. Цензура нужна была въ прошедшихъ столѣтіяхъ, нужна была фанатизму невѣжества, покрывавшаго Европу густымъ мракомъ, когда варварскіе законы государственные, догматы невѣжествомъ искаженной вѣры и деспотизмъ самый безчеловѣчный утѣсняли свободу людей, и когда мыслить — было преступленіе... Словесность наша всегда была подъ гнетомъ цензуры. Столѣтъ, какъ она составляетъ отдѣлъ въ исторіи ума человѣческаго и его произведеній: мы имѣемъ много хорошихъ поэтовъ, прозаиковъ, видимъ на нашемъ языкѣ сочиненія математическія, физическія и др., но философіи—нѣтъ и слѣда! Можетъ быть, скажутъ, что у насъ есть переводы философскихъ твореній. Это правда, но всѣ наши переводы содержатъ только отрывки своихъ подлинниковъ: рука цензора

сумѣла убить ихъ духъ... Цензоръ и простой гражданинъ смотрять на книги неодинаково. Простой просвѣщенный гражданинъ видитъ въ общихъ философскихъ положеніяхъ истины или заблужденія, однѣ признаетъ полезными, другія вредными, но вредными болѣе для самого писателя, показывающаго слабость своихъ умственныхъ способностей. Цензоръ же, напротивъ того, въ самыхъ важныхъ и общихъ истинахъ, чуждыхъ всякихъ частныхъ и личностей, видитъ опасность и расположень толковать ихъ въ худую сторону, увлекаясь или честолюбіемъ, или своеправіемъ, или боязнью потерять свое мѣсто». Отражая ходячій упрекъ, что свобода печати произвела будто бы французскую революцію, неизвѣстный авторъ высказывалъ слѣдующую, замѣчательно вѣрную мысль: «Если Сена послужила могилою для цѣлыхъ семействъ, бросившихся въ нее отъ голода; если улицы Парижа наполнены были день и ночь грабителями и убійцами; если кредитъ окончательно упалъ и во всемъ былъ страшный недостатокъ, то писатели въ этомъ отнюдъ неповинны. Если я спокоенъ и счастливъ, говори мнѣ философъ, что угодно, я не пожертвую своимъ настоящимъ благосостояніемъ для неизвѣстнаго будущаго: такъ думаетъ народъ» *. Голосъ анонимнаго автора, такъ горячо вступившаго за свободу печатнаго слова, не былъ одинокимъ въ русскомъ обществѣ: недовольство цензурными порядками, не ограничиваясь негласнымъ ихъ

* Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ Россіи въ царствованіе Александра I. М. Сухомлинова, стр. 19—20.

порицаніємъ, проскальзывало, хотя изрѣдка, и въ печатныя книги, сквозь стѣснительныя рогаги, мѣшавшія откровенному обсужденію этого щекотливаго вопроса. Такъ, напримѣръ, Радищевъ говорилъ въ своей извѣстной книгѣ: «Теперь свобода имѣть всякому орудія печатанія; но то, что печатать можно, состоитъ подъ опекою. Цензура сдѣлана нянькою разсудка, остроумія, воображенія, всего великаго и изящнаго. Но гдѣ есть няньки, то слѣдуетъ, что есть ребята, которыя ходятъ на помочахъ, отчего у нихъ бываютъ нерѣдко кривыя ноги. Гдѣ есть опекуны, слѣдуетъ, что есть малолѣтніе, незрѣлые разумы, которые собою править не могутъ. Если же всегда пребудутъ няньки и опекуны, то ребенокъ долженъ ходить на помочахъ, и совершенный на возрастѣ будетъ калѣка». Здѣсь же разсказывается случай, какъ въ управу благочинія (занимавшуюся тогда цензурованіемъ книгъ) принесенъ былъ для пропуска переводъ романа: «переводчикъ, слѣдуя автору, назвалъ любовь лукавымъ богомъ; мундирный цензоръ, исполненный духа благочестія, почернилъ сіе выраженіе, говоря: неприлично божеству называться лукавымъ». Еще замѣчательный осужденіе цензуры, произнесенное Пнинимъ—уже по выходѣ перваго цензурнаго устава — въ «Журналѣ Россійской Словесности» (1805 г.). Статья его имѣетъ форму діалога между сочинителемъ и цензоромъ, и названа авторомъ — вѣроятно, для успокоенія совѣсти лица, пропускавшаго ее — «переводомъ съ манчжурскаго». Сочинитель приноситъ къ цензору рукопись подъ заглавіемъ: «Истина», прося разсмотрѣть и дозволить ее къ печати. Цензоръ поражается прежде всего дерзкимъ заглавіемъ, и, углубившись въ чтеніе тетради, нахо-

дѣть въ ней подозрительныя мысли въ такомъ родѣ: «не отнимайте ничего другъ у друга, просвѣщайте другъ друга, храните справедливость другъ къ другу» и т. п. Остановившись на нѣкоторыхъ, наиболѣе сомнительныхъ мѣстахъ, цензоръ требуетъ ихъ исключенія, и между нимъ и авторомъ завязывается назидательный споръ. «Вы — говоритъ авторъ своему литературному стражу—отнимая душу у моей «Истины», лишаете всѣхъ ея красотъ, хотите, чтобы я согласился, въ угожденіе вамъ, обезобразить ее, сдѣлавъ ее нелѣпою? Нѣтъ, г. цензоръ, ваше требованіе безчеловѣчно: виновать ли я, что истина моя вамъ не нравится, и вы не понимаете ее?... Познаніе истины ведетъ къ благополучію. Лишать человѣка сего познанія, значить, препятствовать ему въ его благополучіи, значить, лишать его способовъ сдѣлаться счастливымъ. Если можно не позволить одну истину, то должно уже не позволять никакой, ибо истины между собою составляютъ непрерывную цѣпь. Исключить изъ нихъ одну—значить, отнять изъ цѣпи звено и его разрушить. Притомъ же истинно великій мужъ не опасается слушать истину, не требуетъ, чтобы ему слѣпо вѣрили, но желаетъ, чтобы его понимали». При этомъ авторъ отстаиваетъ свое право, какъ совершеннолѣтняго, «отвѣчать самому за свой образъ мыслей и за дѣла свои». «Я уже не дитя—говоритъ онъ—и не имѣю нужды въ дядькѣ». Кромѣ того, по мнѣнію автора, цензорская подпись нелѣпѣе даже и для того, чтобы успокоить литературнаго дѣятеля насчетъ судьбы его книги. «Ваше засвидѣтельствованіе—замѣчаетъ онъ цензору—можно назвать ничего не значущимъ, ибо опытъ показываетъ, что оно ни-

сколько не обезпечиваетъ ни книги, ни автора». Подъ этимъ опытомъ авторъ діалога, безъ сомнѣнія, подразумѣвалъ несчастную судьбу книги Радищева, пропущенной полицейскою цензурой, а также запрещеніе своего собственнаго этюда: «Опытъ о просвѣщеніи», дозволеннаго гражданскимъ губернаторомъ и остановленнаго въ продажѣ цензурнымъ комитетомъ. Дальнѣйшая исторія русской прессы могла бы представить на этотъ случай много, не менѣе сильныхъ, примѣровъ... Наконецъ, Пнинъ указываетъ и на принципъ собственности, попираемый произволомъ административнаго лица. «Моя истина—защищается выведенный имъ писатель—стоила мнѣ величайшихъ трудовъ: я не щадилъ для нея моего здоровья, просиживалъ дни и ночи—словомъ, книга моя есть моя собственность. А стѣснять собственность никогда не должно, ибо чрезъ сіе нарушается справедливость и порядокъ» *). Но на всѣ эти резоны цензоръ отвѣчаетъ холодною фразой: «я не позволяю, и, слѣдовательно, это непозволительно», такъ что автору остается только одно, не слишкомъ большое утѣшеніе, что его «истина пребудетъ неизмѣнно въ его сердцѣ, исполненномъ любви къ человечеству, которое не имѣетъ нужды ни въ какихъ свидѣтельствахъ, кромѣ собственной своей совѣсти».

Всѣ приведенные примѣры показываютъ намъ, что подчиненное положеніе русской литературы никогда не принималось ею безропотно и не удовлетворяло вполне дѣйствительному захвату русской мысли; напротивъ того, стѣснительныя рамки, насильственно суживавшія наше литера-

*) Журн. Россійской Словесности 1895 г. № 12.

турное развитіе, вызывали по временамъ, насколько это было возможно, рѣзкіе протесты, удачно мотивированные съ различныхъ точекъ зрѣнія. Права разсудка, науки, литературной собственности, необходимость нести каждому юридическую отвѣтственность за себя—все это противопоставлялось произвольной опеке, налагавшей цѣпи на интеллектуальную жизнь развитыхъ личностей, лишавшей ихъ свободного слова для выраженія насущныхъ потребностей или невыполнѣ еще сознанныхъ, но вѣрныхъ инстинктовъ цѣлаго общества. Скрытая по необходимости, но упорная борьба съ этой опекой становилась задачей передовыхъ писателей, и хотя много зрѣлыхъ мыслей и обдуманыхъ произведеній погибало цѣликомъ въ неравномъ бою, но тѣмъ не менѣе и цензурныя рамки, переполненные до краевъ литературнымъ содержаніемъ, раздвигались до нѣкоторой степени, уступая давленію, ежедневно повторяющихся, настоячивыхъ попытокъ. Извѣстно, напримѣръ, что «Мертвыя Души», потерпѣвъ крушеніе въ одной цензурной инстанціи, пробили-таки себѣ дорогу въ печать, впрочемъ, съ измѣненіемъ главы о капитанѣ Копѣйкинѣ. Въ послѣдніе годы существованія предварительной цензуры или, правильнѣе сказать, незадолго до введенія новаго закона о печати (такъ какъ предварительная цензура не отмѣнена этимъ закономъ окончательно, и продолжаетъ дѣйствовать въ ограниченныхъ размѣрахъ)—въ эти тревожныя годы возникновенія разныхъ «вопросовъ», напоръ литературныхъ силъ и, соответствовавшая ему, невольная уступчивость административнаго контроля чувствовались уже въ такой сильной степени, что понадобилось регулировать иначе самыя отношенія прессы къ администра-

ціи. Словомъ, понадобилось (какъ это и выражено въ законѣ 6-го апрѣля) «облегчить» незавидную участь литературы, то есть дать ей нѣкоторыя права въ обсужденіи общественныхъ вопросовъ, въ пропагандѣ теоретическихъ мнѣній, а затѣмъ перенести отвѣтственность за все напечатанное—съ цензоровъ на авторовъ и редакторовъ періодическихъ изданій.

Этотъ тяжелый путь, пройденный нашею литературою,—тяжелый въ особенности для періодической прессы, какъ такой ея вѣтви, которая соприкасается ближайшимъ образомъ съ общественными интересами, а также и со всѣми случайными колебаніями въ правительственныхъ намѣреніяхъ,—путь, усыпанный далеко не розами и отразившійся на самыхъ свойствахъ нашего печатнаго слова, знакомъ по слухамъ русской публикѣ; но знакомство это едва-ли не ограничивается, до сихъ поръ, нѣсколькими анекдотами о цензорахъ, преимущественно сороковыхъ годовъ, которые, страшась повсюду либерализма, вымарывали изъ корректуръ, въ кухонныхъ книгахъ, выраженія въ родѣ «вольнаго духа». Довольно распространены также анекдоты о цензорѣ Брасовскомъ, который, въ двадцатыхъ годахъ, творилъ невозбранно чудеса въ русской литературѣ.

Конечно, и эти анекдотическія подробности не лишены своего значенія, показывая до какихъ геркулесовыхъ столбовъ могла доходить придирчивость усерднаго цензора; но не поставленный въ связь съ дѣйствовавшимъ законодательствомъ и со взглядами высшаго правительства, онѣ получаютъ характеръ отрывочный и невразумительный, тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, наиболѣе курьезныя цензурныя запрещенія всегда совпадали или съ буквой закона о печати,

или съ настроеніемъ, господствовавшимъ въ правительственныхъ сферахъ. Въ равной мѣрѣ и развитіе литературы, объемъ и сила идей, въ ней выражаемыхъ, находились въ тѣсной зависимости отъ тѣхъ ограниченій, которыя налагались на нее цензурной практикой. Опредѣлить точнѣе эту зависимость, выяснить на фактахъ взаимодѣйствіе между интенсивностью мысли (каково бы ни было ея относительное значеніе) и упругостію преградъ, для нея поставленныхъ,—принадлежитъ настоящему времени, когда многіе цензурные документы, обнародованные самимъ правительствомъ или найденные въ архивахъ частными изыскателями, проливаютъ новый свѣтъ на ту затаенную борьбу литературы съ репрессією, которая то затихала, то поднималась съ новою силою въ предѣлахъ цензурнаго вѣдомства. Изслѣдованіе этого предмета составить, со временемъ, любопытный отдѣлъ въ исторіи русской литературы и, быть можетъ, повѣстовать изъ нея формулярные списки авторовъ, сшитые на бѣлую нитку и пересыпанные эстетическими разглагольствіями о величіи державинскаго стиха и сладости карамзинской прозы... Будемъ ждать; а пока познакомимъ нашихъ читателей съ однимъ важнымъ моментомъ въ исторіи цензурныхъ постановленій. Но прежде, чѣмъ перейти собственно къ предмету нашей статьи, т.-е. къ цензурному проекту Магницкаго, мы должны объяснить происхожденіе предварительной цензуры и характеръ ея въ началѣ царствованія Александра I-го. Это сопоставленіе начала и конца «цензурнаго періода» представитъ контрастъ, не лишенный занимательности.

II.

Наше правительство, съ тѣхъ поръ, какъ появился на Руси первый печатный станокъ, никогда не отказывало себѣ въ правѣ наблюдать за содержаніемъ выпускаемыхъ книгъ, соображаясь съ собственными видами и наміреніями. Правильнѣе сказать, печатный станокъ введенъ въ Россію правительствомъ, чтобы прекратить распространеніе въ народѣ рукописей священнаго писанія, искаженныхъ по невѣжеству или небрежности переписчиковъ. Такимъ образомъ, первые печатныя книги входили у насъ въ обращеніе по приказанію царя Іоанна IV, а само общество не только не пользовалось типографскимъ искусствомъ, но даже смотрѣло на него, какъ на орудіе нечистой силы. Преслѣдованіе и истребленіе книгъ по ихъ напечатанію началось гораздо позже, а именно со времени богословскихъ распрій между кievскимъ и московскимъ духовенствомъ; при этомъ сочиненія кievскихъ ученыхъ, зараженныхъ латинскою ересью, предавались сожженію. О преслѣдованіи свѣтской литературы не могло быть и рѣчи. Чисто-свѣтская литература началась у насъ при Петрѣ I-мъ, и опять таки по инициативѣ самого государя, которому приходилось еще развивать въ нашемъ грамотномъ людѣ охоту къ чтенію подобныхъ книгъ. Наиболѣе развитые люди этого царствованія, способные къ литературной работѣ, раздѣляли вполне стремленія преобразователя и, при такой полной солидарности правительства съ мыслящею частію общества, для репрессивныхъ мѣръ не

представлялось никакого достаточного повода. Разногласіе это встрѣчается только во второй половинѣ екатерининскаго правленія, когда въ русскомъ обществѣ появилась уже нѣкоторая самодѣятельность мысли, не всегда отвѣчавшая, по своему характеру, желаніямъ правительства. Сначала Новиковъ, а потомъ Радищевъ возбуждаютъ противъ себя гоненія властей, заподозрившихъ въ ихъ литературныхъ трудахъ сокровенную и притомъ враждебную для правительства политическую цѣль. Новиковъ и всѣ масоны подозрѣвались въ тайныхъ связяхъ съ наслѣдникомъ престола; книга-же Радищева была принята Екатериною, какъ сигналъ для какого-то, впрочемъ несостоявшагося, политическаго бунта въ духѣ французской революціи. На этотъ разъ печатный станокъ былъ признанъ средствомъ, столько же удобнымъ для поддержки правительственныхъ плановъ, какъ и для противодѣйствія имъ. Отсюда начинается стремленіе правительства замѣнить ненадежный полицейскій контроль надъ напечатанными уже книгами—системой предварительнаго просмотра и одобренія рукописей, предназначенныхъ къ напечатанію. Такъ напр. въ 1802 г.,—т.-е. въ то время, когда дѣйствовалъ указъ о «свидѣтельствovanіи печатныхъ книгъ», а уставъ предварительной цензуры не былъ еще составленъ,—на дѣлѣ уже господствовалъ обычай представлять рукописи для предварительнаго просмотра, и нѣкто Августъ Видманъ жаловался министру на запрещеніе петербургской цензурой представленнаго такимъ порядкомъ сочиненія. Это первое запрещеніе предварительно-просмотрѣнной книги было мотивировано тѣмъ, что «ему (т.-е. Видману) не слѣдуетъ писать о таковыхъ матеріяхъ и что сіе принадле-

жить однимъ знатымъ особамъ». (Истор. свѣд. о ценз. стр. 12). Также точно въ 1803 г. Новосильцевъ препровождалъ къ гр. Завадовскому (первому министру народного просвѣщенія) сообщенную ему рукопись подъ названіемъ «Траянъ и Александръ», прося — «приказать рассмотреть оную цензурѣ для одобренія къ напечатанію». Повидимому, авторы и издатели, напуганные прежними арестами и конфискаціями отпечатанныхъ книгъ, сами предпочли — искать предварительнаго одобренія, чтобы сколько нибудь застраховать себя отъ бѣды. «Обстоятельство это — справедливо замѣчаетъ авторъ исторической записки о цензурѣ въ Россіи, изданной въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ въ 1862 г. — не покажется удивительнымъ, если сообразить, что лишь при извѣстной силѣ общественнаго мнѣнія и при извѣстныхъ условіяхъ юридическаго развитія государства, такъ называемая карательная система цензуры представляетъ для писателя достаточныя гарантіи; послѣдствія, къ которымъ приводитъ предварительное цензурованіе, мудрено было въ то время предвидѣть, и многимъ, если не всѣмъ, безопасно должно было казаться: знать напередъ мнѣніе правительства о своемъ сочиненіи, нежели рисковать, что оно будетъ конфисковано, и самъ авторъ подвергнется преслѣдованію». Наконецъ, въ 1804 г., вышелъ первый уставъ предварительной цензуры. Обстоятельства, при которыхъ возникъ онъ, были весьма благоприятны для развитія литературы. Молодой императоръ, окруженный либеральными совѣтниками, составлявшими, вчетверомъ, такъ-называемый *comité du salut public*, готовъ былъ на всевозможныя уступки въ пользу свободы мысли

и слова. Когда вопросъ о печати былъ поставленъ на очередь для обсужденія, то одинъ изъ членовъ этого интимнаго комитета, Н. Н. Новосильцевъ, попечитель петербургскаго учебнаго округа, предложилъ ввести у насъ датскій уставъ о свободномъ книгопечатаніи, и главное правленіе училищъ сильно склонялось на сторону этого проекта. Датскій уставъ, который, при нѣкоторыхъ перемѣнахъ, казался Новосильцеву достаточной гарантіей для свободы слова, равно какъ достаточной охраной противъ злоупотребленій ею, былъ изданъ королемъ Христіаномъ VII (1766—1808) подъ вліяніемъ графа Струэнзе, извѣстнаго поклонника либеральныхъ идей, и сопровождался манифестомъ слѣдующаго содержанія: «Находя въ высшей степени вреднымъ для безпристрастнаго изслѣдованія истины и открытія закоренѣлыхъ предрасудковъ и заблужденій—запрещеніе гражданамъ, одушевленнымъ любовью къ отечеству и общему благу, свободно высказывать свои убѣжденія и обличать злоупотребленія и предрасудки, мы рѣшились дать неограниченную свободу книгопечатанію и окончательно уничтожить всякаго рода цензуру». Это рѣшеніе датскаго короля привело, въ свое время, въ восторгъ всѣхъ европейскихъ писателей, и Вольтеръ откликнулся на него хвалебнымъ посланіемъ, въ которомъ краснорѣчиво доказывалъ, что печать никогда не приносила вреда для общества и что если въ народѣ составлялись заговоры и разыгрывались мятежи, то не вслѣдствіе появленія той или другой книги, а вслѣдствіе иныхъ, болѣе существенныхъ политическихъ причинъ. Но съ паденіемъ Струэнзе, поднявшаго противъ себя своими энергическими мѣрами множество тайныхъ и явныхъ враговъ, измѣнилось и либеральное на-

строение датскаго правительства. Различныя новыя постановленія были направлены къ тому, чтобы ограничить свободу слова и дать правительству болѣе средствъ бороться съ оппозиціонной печатью. Признавалось нужнымъ выдѣлить и опредѣлить особый разрядъ преступленій по дѣламъ печати, причемъ вниманіе суда должно было обращаться не только на фактическую часть книги, но также на ея духъ и направленіе. Причины такой строгости объясняются въ манифестѣ короля отъ 1799 г. Отсюда узнаемъ мы, что «книгопечатаніе сдѣлалось, къ несчастію, орудіемъ страстей самыхъ низкихъ и произвело слѣдствія самыя пагубныя какъ для общественнаго спокойствія, такъ и для безопасности частной», что нѣкоторые «злоумышленные люди съ соблазнительною и достойною кары дерзостью ежедневно нападаютъ на все, что во всякомъ благоустроенномъ государствѣ должно быть драгоцѣнно и священно для цѣлаго общества (?), не перестаютъ распространять самыя ложныя понятія о вещахъ и стараются разсѣвать неправильныя мнѣнія о предметахъ самыхъ важныхъ для человѣка и гражданина, чрезъ что малосвѣдущая и неполнѣ образованная часть народа, особенно же неопытное юношество, можетъ удобно развращаться и впадать въ заблужденіе». «Нѣтъ сомнѣнія—говорилось далѣе—что развратъ сей можно было бы всего надежнѣе предупредить, подвергнувъ разсмотрѣнію правительства всѣ книги, назначаемыя къ печати. Но какъ этому сопутствуетъ принужденіе, непріятное всякому благомыслящему и просвѣщенному человѣку, желающему быть полезнымъ чрезъ сообщеніе другимъ своихъ свѣдѣній, то мы и не желаемъ употребить подобное средство. Въмѣсто же сего вознамѣрились

мы опредѣлить и утвердить положительнымъ закономъ, сколько возможно, предѣлы свободнаго книгопечатанія, назначивъ также и соразмѣрное наказаніе для тѣхъ, которые дерзнуть преступать наши отеческія и благонамѣренныя повелѣнія». Законъ, возникшій по такимъ соображеніямъ, отличался далеко не отеческой строгостью и особенно преслѣдовалъ анонимныя сочиненія, признавая ихъ «вопиющимъ зломъ, безнравственнымъ орудіемъ для оскорбленія священнѣйшихъ правъ гражданина». Вслѣдствіе этого, на каждой печатной книгѣ требовалось выставленіе именъ: автора, издателя и типографщика. Въ числѣ самостоятельныхъ преступленій печати, кромѣ клеветъ, ложныхъ извѣстій, оскорбительныхъ или неприличныхъ выраженій, поименовывались и такія, въ преслѣдованіи которыхъ судья уже явнымъ образомъ переставалъ быть судьей и становился послушнымъ орудіемъ въ рукахъ административной власти: до такой степени произвольно и субъективно было здѣсь опредѣленіе «преступности» печатнаго слова. Сюда относятся: «насмѣшки надъ государственными учрежденіями, возбужденіе ненависти противъ своего правительства, презрительныя отзывы о дружественныхъ державахъ, невыгодныя слухи о королѣ» и пр. Между тѣмъ, за каждое изъ такихъ неясныхъ, но тягучихъ преступленій виновные авторы подвергались весьма чувствительнымъ наказаніямъ, начиная отъ срочнаго тюремнаго заключенія и кончая вѣчной каторжной работой въ цѣпяхъ. Авторъ же книги, «заключающей въ себѣ совѣты и внушенія произвести перемѣну въ правленіи, установленномъ государственными законами, и сдѣлать возмущеніе противъ короля, повиненъ былъ

смертной казни». Представляя въ главное правленіе училищъ переводъ датскаго манифеста, Новосильцевъ считалъ невозможнымъ переносить его цѣликомъ на нашу почву и предложилъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, свои видоизмѣненія — съ цѣлю смягчить суровость датскихъ постановленій и сдѣлать удобнымъ примѣненіе ихъ къ Россіи. Вотъ пункты, предложенныя имъ:

1) Требованіе датскаго правительства—печатать имя каждаго автора и переводчика—особенно тягостно для молодыхъ литераторовъ, впервые выступающихъ на поприще словесности и изъ скромности скрывающихъ свои имена. Можно бы предоставить свободу печатать книги и безъ означенія имени автора или переводчика. Для отвращенія же злоупотребленій не бесполезно средство, отчасти принимаемое датскимъ законодательствомъ, хотя и по другому поводу. Если кто либо изъ сочинителей или переводчиковъ пожелаетъ, чтобы имя его не было поставлено на издаваемой книгѣ, въ такомъ случаѣ двое или трое изъ гражданъ, имѣющихъ гдѣ либо постоянное пребываніе, должны дать типографщику письменное обязательство въ томъ, что въ случаѣ надобности они объявятъ имя автора.

2) Взысканія за нарушеніе цензурныхъ правилъ, принятія въ Даніи и несоотвѣтствующія русскимъ законамъ и обычаямъ, должны быть замѣнены другими, сообразными съ русскимъ законодательствомъ.

3) Датскимъ постановленіемъ требуется, чтобы одинъ экземпляръ каждаго періодическаго изданія, журнала, газеты и каждой книги, до выпуска въ свѣтъ, былъ представляемъ копенгагенскому полицеймейстеру. Если полицеймей-

стеръ найдеть въ книгѣ что либо предосудительное или неблагопристойное, то немедленно долженъ запретить ея продажу, опечатать всѣ экземпляры и препроводить задержанную книгу въ королевскую канцелярію. Въ Россіи право конфискаціи подозрительныхъ книгъ удобнѣе предоставить не полиціи, а университетамъ и академіямъ, съ тѣмъ чтобы они, уведомивъ мѣстное начальство, представляли мнѣнія свои, вмѣстѣ съ экземпляромъ книги, въ главное правленіе училищъ.

4) Обвиняемый въ сочиненіи или изданіи предосудительной книги обыкновеннымъ ли порядкомъ долженъ быть судимъ или же нужно учредить особый родъ суда и разбирательства? Если дѣла печати предоставить обыкновеннымъ судамъ, въ которыхъ часто засѣдаютъ чиновники, не имѣющіе научныхъ познаній, то могутъ произойти пагубныя для подсудимыхъ писателей слѣдствія, для отвращенія которыхъ слѣдовало бы учредить особый родъ суда. Главное правленіе училищъ составить списокъ государственныхъ чиновниковъ, имѣющихъ требуемыя свѣдѣнія и пользующихся уваженіемъ въ обществѣ. Въ случаѣ обвиненія въ изданіи вредной книги правленіе назначить изъ помѣщенныхъ въ списокъ лицъ определенное число (четыре, шесть или восемь) посредниковъ, живущихъ въ томъ городѣ, гдѣ находится обвиняемый. Для скорѣйшаго теченія дѣлъ и для избѣжанія переписки можно предоставить и университетамъ право назначить посредниковъ изъ лицъ, внесенныхъ въ списокъ въ главное правленіе. Если обвиняемый будетъ оправданъ посредниками, то онъ освобождается отъ всякаго суда, а книга его отъ запрещенія и конфискаціи; обвинитель же под-

вергается възысканію на основаніи законовъ.

5) Постановленіе о свободномъ книгопечатаніи не должно касаться цензуры книгъ духовныхъ, наблюденіе за которыми исполнѣе предоставлено св. синоду.

Нельзя не замѣтить, съ перваго разу, того доброжелательства и уваженія къ печатному слову, которое выражается въ предложенныхъ Новосильцевымъ перемѣнахъ. Личность писателя и судьба его мнѣній гарантируются особымъ судомъ, составленнымъ изъ лицъ по выбору главнаго правленія училищъ (которое, въ то время, было расположено покровительствовать литературѣ); право конфискаціи подозрительныхъ книгъ переходитъ отъ полиціи къ университетамъ; наконецъ, и самъ обвинитель приглашается быть осмотрительнѣе, такъ-какъ, въ случаѣ несправедливаго обвиненія, онъ отвѣчаетъ передъ судомъ. Но проекту Новосильцева не суждено было перейти въ практику, хотя соображенія, выставленныя противъ него, показываютъ, что и противоположное мнѣніе руководствовалось отнюдь не враждебнымъ чувствомъ къ литературѣ. Озерецковскій и Фусъ—также члены главнаго правленія училищъ,—которымъ предоставлено было окончательное рѣшеніе вопроса: какой цензурный порядокъ болѣе соответствуетъ нашей странѣ, нашли, что учрежденіе предварительной цензуры будетъ цѣлесообразнѣе, во-первыхъ, потому что «предохранить совершенно общество отъ злоупотребленія свободой слова», а во-вторыхъ потому, что «предохранить самую литературу отъ давленія пристрастныхъ и некомпетентныхъ судовъ». На 4-й пунктъ Новосильцевскихъ предложеній Озерецковскій и Фусъ возражаютъ

такимъ образомъ: «великое неудобство было бы предавать авторовъ обыкновенному суду; но чрезвычайно затруднительнъ также и выборъ посредниковъ, вполне способныхъ оцѣнить степень виновности писателя, проникнутыхъ истинно либеральными мыслями и чуждыхъ пристрастія и всякаго рода предразсудковъ. Какъ бы ни разграничивали преступленія и постепенность наказаній,—тонкость и неудовимость оттѣнковъ въ нарушении закона, различіе въ воззрѣніи и требовательности судей, способъ толкованія намековъ и мѣстъ, имѣющихъ двойной смыслъ и т. п., дѣлають въ высшей степени затруднительнымъ приговоръ надъ книгами и авторами». Съ другой стороны, Озерецковскій и Фусъ не скрывали неудобствъ и стѣсненій предварительной цензуры: «сочиненіе — говорили они — исполненное полезнѣйшихъ истинъ, но поражающихъ своею новизною и смѣлостью, можетъ подвергнуться запрещенію мнительнаго и робкаго цензора». Но чтобы оградить литературу отъ такой робости официальныхъ ея стражей, они считали достаточнымъ составить «подробныя наставленія цензорамъ въ духѣ терпимости и любви къ просвѣщенію».—Эти возраженія, сдѣланныя составителями перваго цензурнаго устава противъ свободной печати, не могутъ быть объясняемы какимъ либо скрытымъ нерасположеніемъ къ литературѣ: напротивъ Фусъ, въ самыя горькія времена цензурнаго террора, былъ единственнымъ, хотя и не особенно энергическимъ защитникомъ русской печати. Вѣрнѣе думать, что оба члена главнаго правленія училищъ желали пользы литературѣ и въ самомъ дѣлѣ смущались и отступали передъ мыслью — подвергать авторовъ уголовной

отвѣтственности по нашимъ строгимъ законамъ. Ихъ замѣчаніе о невозможности учредить правильный судъ надъ литературою совершенно справедливо въ томъ отношеніи, что духъ, т.-е. направленіе книги—преслѣдованіе котораго не устранялось проектомъ Новосильцева—дѣйствительно не подлежитъ судебной юрисдикціи, и тутъ всегда пойдутъ въ ходъ чисто личныя, произвольныя мнѣнія судей. Направленіе сочиненія есть то же, что фizioномія у человѣка; возможно ли судить кого нибудь за фizioномію? Другое дѣло—тѣ простыя, матеріальныя факты (какъ напр. клевета, вредящая лично человѣку, призывъ къ употребленію физической силы и т. п.), которые легко поддаются судебному опредѣленію и не требуютъ для себя особаго уголовного кодекса. Но нетрудно доказать, что такимъ простымъ дѣломъ не захотѣлъ бы ограничиваться нашъ прежній судъ, если ужъ имъ не ограничивается и нынѣшній. Способъ толкованія намековъ и мѣстъ, имѣющихъ двоякій смыслъ,—тотъ способъ, котораго въ особенности боялись Озерецковскій и Фусъ,—могъ бы повредить немало только что ставившейся на ноги литературѣ. Къ чести перваго цензурнаго устава слѣдуетъ замѣтить, что это выискиваніе преступнаго смысла было строго осуждено имъ. «Цензура — гласилъ 21-й параграфъ этого устава — въ запрещеніи печатанія и пропуска книгъ и сочиненій (періодическихъ) руководствуется благоразумнымъ снисхожденіемъ, удаляясь всякаго пристрастнаго толкованія сочиненій или мѣстъ въ оныхъ, которыя по какимъ либо мнимымъ причинамъ кажутся подлежащими запрещенію. Когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двоякій

смыслъ, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать». Либеральное направленіе составителей устава всего яснѣе видно изъ ихъ доклада объ учрежденіи цензуры. «Разумная свобода книгопечатанія—читаемъ мы въ проектѣ, доклада, написанномъ рукою самого Фуса—обѣщаетъ слѣдствія благія и прочныя; злоупотребленіе же ея приноситъ вредъ только случайный и скоропреходящій. Поэтому нельзя не сожалѣть, что правительства, самыя либеральныя по своимъ принципамъ, находятся иногда въ необходимости ограничивать свободу слова, побуждаясь къ тому примѣромъ, стеченіемъ обстоятельствъ, неотразимымъ вліяніемъ духа времени. Сожалѣніе усиливается при мысли, что такое ограниченіе трудно удержать въ надлежащихъ предѣлахъ, и что оно, будучи доведено до крайности, становится положительно вреднымъ. Неоспоримо, что строгость цензуры всегда влечетъ за собой пагубныя послѣдствія: истребляетъ искренность, подавляетъ умы и, погашая священный огонь любви къ истинѣ, задерживаетъ развитіе просвѣщенія. Неоспоримо и то, что свобода мыслить и писать есть одно изъ сильнѣйшихъ средствъ къ возвышенію народнаго духа, и что даже свободное высказываніе ложной мысли ведетъ только къ большому торжеству истины: едва заблужденіе отважится заговорить во всеуслышаніе, множество умовъ готово будетъ вступить съ нимъ въ гибельную для него борьбу. Наконецъ, нѣтъ сомнѣнія, что истиннаго успѣха въ просвѣщеніи, прямого и прочнаго стремленія къ достижимому для человѣчества со-

вершенству можно ожидать только тамъ, гдѣ безпрепятственное употребленіе всѣхъ душевныхъ силъ даетъ свободу умамъ, гдѣ дозволяется открыто разсуждать о важнѣйшихъ интересахъ человѣчества, объ истинахъ, наиболѣе дорогихъ для человѣка и гражданина». Такимъ образомъ, предварительная цензура допускалась съ сожалѣніемъ, какъ необходимое зло, размѣры котораго должны быть, по возможности, ограничены. *) Цензурный уставъ, вытекшій изъ такихъ прецедентовъ, естественно отразилъ на себѣ, благоприятное для литературы, настроеніе правительства. «Скромное и благоразумное изслѣдованіе всякой истины, относящейся до вѣры, человѣчества,—сказано въ уставѣ—не только не подлежитъ и самой умѣренной строгости цензуры, но пользуется совершенной свободой печати, возвышающей успѣхи просвѣщенія». Для боязливыхъ цензоровъ существовало вышеприведенное правило о толкованіи сомнительныхъ мѣстъ. Словомъ, въ уставѣ нѣтъ никакого желанія поймать и сократить всякій порывъ свободной мысли, и, руководясь имъ добросовѣстно, можно было отчасти замѣнить для литературы полную свободу книгопечатанія. На первыхъ порахъ дѣло поведено было, дѣйствительно, на широкихъ основаніяхъ, и русскіе журналы, расплодившіеся во множествѣ, получили право и возможность касаться такихъ предметовъ, о которыхъ они никогда не говорили прежде. Толки объ освобожденіи крестьянъ, о гласномъ судѣ, о конституціи, наконецъ, даже о вредѣ предварительной цензуры, которая, несмотря на свою

*) Матер. для истор. просвѣщ., стр. 13—17.

снисходительность, не удовлетворяла нѣкоторыхъ писателей—все это стало появляться на страницахъ нашихъ періодическихъ изданій, возбуждая участіе и вызывая различныя мнѣнія въ публикѣ. Между заявленіями тогдашнихъ «неумѣренныхъ» прогрессистовъ слышались сдерживающіе голоса умѣренной партіи; раздавалось по временамъ и злобное, но покуда безвредное шипѣніе враговъ просвѣщенія и политическаго развитія. Всѣ оттѣнки общественныхъ направленій были добросовѣстно представлены прессою, съ преобладаніемъ, конечно, либеральнаго элемента, и правительству не предстояло особеннаго труда соразмѣрять свои дѣйствія съ требованіями той или другой стороны, не подавляя самаго выраженія этихъ требованій и мнѣній. Но, къ сожалѣнію, принципъ непосредственной опеки надъ народной жизнью и канцелярскаго управленія ею такъ проникъ въ сердце нашей администраціи, что она, видя быстрое развитіе общественной самодѣятельности, отнеслась къ нему не съ сочувствіемъ, какъ бы слѣдовало, но сначала съ недовѣріемъ, а потомъ и съ явнымъ неудовольствіемъ. Сочувственно съ этимъ измѣнялось и направленіе въ цензурѣ; надъ нею начало сбываться предсказаніе Фуса, что ограниченіе, наложенное на литературу, «трудно удержать въ надлежащихъ предѣлахъ». Административная машина такъ устроена, что малѣйшее давленіе сверху сейчасъ же отражается въ низу іерархической лѣстницы: какъ бы ни былъ лично либераленъ и просвѣщенъ отдѣльный цензоръ, онъ не можетъ устоять противъ этого давленія, и, дорожа своимъ мѣстомъ, охотно или неохотно подчиняется общему лозунгу. Покуда государь сочувствовалъ свободѣ мысли, бю-

рократическая опека дѣлала ей значительныя уступки; но вотъ рѣзкая перемѣна произошла въ самомъ Александрѣ, и онъ отвернулся, съ какою-то грустью и неудовлетвореннымъ чувствомъ, отъ своихъ прежнихъ идеаловъ и задушевныхъ мечтаній, сохраняя, однако, въ душѣ ихъ слабые слѣды. «Привязанность — по наблюденію Шишкова—или какъ бы нѣкая страсть его къ прежнимъ своимъ дѣяніямъ и образу мыслей, не взирая на силу опытовъ и убѣжденій, не могли въ немъ истребиться, такъ что, казалось, онъ, самъ съ собою борясь, увлекался попеременно то тѣмъ, то другими мыслями *). Здѣсь коренится та двойственность въ политикѣ, которая отмѣчаетъ собой вторую половину царствованія Александра. Эта же двойственность отразилась и въ положеніи русской литературы.

III.

При измѣнившихся политическихъ обстоятельствахъ цензурный уставъ 1804 г. пересталъ удовлетворять требованіямъ правительства, и явилась мысль—основать наблюденіе за литературою на новыхъ реакціонныхъ началахъ, которыя уже врывались широкой струей въ нашу внутреннюю жизнь. Съ этою цѣлью, въ средѣ главнаго правленія училищъ, образовался особый комитетъ, который, начавъ свои дѣйствія въ іюнь 1820 г.,

*) Записки А. С. Шишкова, стр. 111.

выработалъ проектъ устава, въ окончательной редакціи, въ маѣ 1823 г. Въ составленіи новаго устава принялъ дѣятельное участіе знаменитый Магницкій, и одно это имя, столь памятное въ лѣтописяхъ русскаго просвѣщенія, уже достаточно ручается за угрожающій смыслъ цѣлаго законодательнаго акта. Дѣло началось съ того, что Магницкій изложилъ предварительно, въ особой запискѣ, свое мнѣніе о цензурѣ вообще и о началахъ, на которыхъ она должна быть устроена въ Россіи, а затѣмъ, принявъ въ соображеніе кое-какія (весьма немногія) замѣчанія своихъ сочленовъ, представилъ проектъ новаго устава и секретной инструкціи цензурному комитету. Какъ самый уставъ, такъ, въ особенности, инструкція—предназначались спеціально для того, чтобы противо-дѣйствовать духу времени, предупреждать «всѣ его уловки и извороты», насколько обнаружатся они въ отдѣльных книгахъ и въ журнальныхъ статьяхъ. Пояснительная записка, предшествовавшая, какъ мы сказали, самому уставу, состояла изъ четырехъ раздѣловъ. Вотъ какимъ путемъ приходилъ Магницкій къ сознанію необходимости усилить у насъ строгость цензуры.

Въ первомъ раздѣлѣ записки мы находимъ краткое обозрѣніе происхожденія и устройства цензурныхъ установленій въ Европѣ. Здѣсь авторъ, коснувшись вкратцѣ положенія древнихъ римскихъ цензоровъ, обязанныхъ наказывать «преступленія, гражданскимъ правосудіемъ недосигаемая», говорить, что въ христіанскомъ обществѣ учрежденіе это оказалось, сначала, совершенно излишнимъ, что и доказывается исторіей первыхъ вѣковъ христіанства. «Но — продолжаетъ онъ — когда вѣра ослабла, когда наконецъ сдѣ-

лалась она въ массѣ европейскихъ народовъ, въ лицахъ и сословіяхъ, ими управляющихъ, нѣкоторымъ только званіемъ, тогда старались замѣнить и ее, и цензоровъ римскихъ (!!) такъ-называемой честью и даже обществомъ, исключительно сію честь ограждавшимъ (рыцари). Но и отъ него вскорѣ остались только нѣкоторыя права и наименованія, т.-е. дворянство и ордены кавалерскіе». Не стоитъ опровергать это невѣжественное мнѣніе: всѣ привыкли думать, что эпоха рыцарства,—монашескихъ орденовъ и крестовыхъ походовъ,—была временемъ наивысшаго развитія религіозныхъ инстинктовъ, а по словамъ Магницкаго выходило, что въ это именно время, когда люди жертвовали и своею жизнью, и своимъ достояніемъ, во имя отвлеченныхъ христіанскихъ идеаловъ, — религія «ослабла,» и ее пришлось поддерживать искусственными мѣрами. «Между тѣмъ — нашептывалъ дальше лукавый ренегатъ — люди, управлявшіе народами, увидѣли, что развратъ сердца и мысли, не насыщаясь собственными порочными удовольствіями, находитъ наслажденіе въ распространеніи своего круга и въ заразѣ не только современниковъ, но и будущихъ поколѣній (а признано всѣми, и тѣми даже, кои отвергали ученіе евангельское, что государства на одной только нравственности могутъ стоять надежно); то и старались изъ развалинъ Рима воскресить цензоровъ, переодѣвъ ихъ прилично новѣйшему образу правленій. Установлены цензоры для удержанія вредныхъ вѣрѣ, законной власти и нравственности книгъ». Такимъ образомъ возникла цензура, въ до-революціонный періодъ, во всѣхъ европейскихъ государствахъ. Исключеніе составляли только немногія государства, о которыхъ Магницкій произноситъ

самый велестный приговоръ. Въ Швейцаріи, напримѣръ, — конечно, не безъ участія бѣсовской силы, которой объяснялись въ системѣ нашихъ изувѣровъ міровыя событія — «всѣ безбожныя книги, запрещенныя во Франціи, могли невозбранно появляться, благодаря свободѣ книгопечатанія»; въ Даніи же предварительная цензура отмѣнена извѣстнымъ министромъ Струэнзе, «самовластно управлявшимъ молодымъ государемъ». (Нельзя же было не кольнуть, при сей вѣрной оказіи, либеральнаго министра, тѣмъ болѣе, что гнусный намекъ этотъ могъ относиться и къ нѣкоторымъ русскимъ дѣятелямъ въ началѣ царствованія Александра). Тѣмъ не менѣе — присовокупляетъ Магницкій, желая ослабить значеніе приводимыхъ фактовъ — «въ Даніи и въ Англіи свобода книгопечатанія гораздо строже цензуры, ибо подвергаетъ сочинителя уголовному суду, и когда, напримѣръ, кто напечатаетъ что либо оскорбительное противъ короля, его судятъ въ оскорбленіи величества и, слѣдовательно, подвергаютъ смерти». Во второмъ раздѣлѣ записки авторъ переходитъ къ Россіи и, рассказавъ вкратцѣ исторію цензуры съ 1783 г., говоритъ въ заключеніе, что правительство наше сочло нужнымъ, «сообразуясь съ опаснымъ движеніемъ умовъ въ Европѣ, обозрѣть предметъ цензуры во всей его обширности и сдѣлать для него установленія, сообразнѣйшія прежнихъ съ обстоятельствами и временемъ». Третій отдѣлъ посвященъ разсмотрѣнію того переворота въ образѣ мыслей, который произошелъ въ Европѣ за послѣдніе годы и отразился у насъ, по увѣренію Магницкаго. Здѣсь встрѣчаются пространныя разсужденія въ такомъ родѣ: «тотъ духъ, который скрывался у Вольтера и Руссо подъ скромнымъ плащомъ филантропіи, у Робеспьера подъ шапкою свободы, у

Бонапарта подѣ трехцвѣтнымъ перомъ консула и наконецъ подѣ короною императора,—есть тотъ самый духъ, который нынѣ, съ трактатами философіи и хартіями конституцій въ рукѣ, поставилъ престолъ свой на западѣ и хочетъ быть равенъ Богу». Наконецъ, въ четвертомъ и послѣднемъ отдѣлѣ, раскрываются главныя начала, на которыхъ должна быть учреждена цензура въ Россіи. Эти начала суть слѣдующія:

- 1) Всякое сочиненіе, въ которомъ прямо или косвенно отвергается, ослабляется или представляется сомнительнымъ ученіе откровенія, отвергать и запрещать безъ пощады.
- 2) Всякое сочиненіе, не только возмутительное противъ властей предержавныхъ, но и ослабляющее, въ какомъ-либо отношеніи, должное къ нимъ почтеніе, запрещать.
- 3) Всякое сочиненіе, заключающее въ себѣ какой либо духъ сектаторства или смѣшивающее чистое ученіе вѣры евангельской съ древними подложными ученіями, либо съ такъ-называемой магіей, кабалистикой и масонствомъ — запрещать.
- 4) Запрещать равнымъ образомъ всѣ тѣ сочиненія, въ коихъ своевольство разума человѣческаго усиливается разяснить и доказать философски недоступныя для него тайнства вѣры.
- 5) Запрещать все противное добрымъ правамъ, благопристойности и свѣтскимъ приличіямъ, чести народной и личной». Съ особенной строгостью относился Магницкій къ медицинѣ и вообще къ естественнымъ наукамъ, и въ этомъ случаѣ предупредилъ во многомъ нашихъ современныхъ противниковъ реализма. «Въ настоящее время — писалъ онъ — когда науки математическія и даже географія несутъ часто на себѣ отпечатокъ невѣрія, могутъ ли не подлежать строжайшему надзору творенія медицинскія, въ коихъ разсужде-

нія о дѣйствіяхъ души на органы тѣлесныя и о возбужденіи въ тѣлѣ различныхъ страстей подають обильные способы къ утвержденію матеріализма самымъ косвеннымъ и тонкимъ образомъ». Въ томъ же отдѣлѣ предполагается разграничить, ясно и положительно, «часто смѣшиваемую цензуру министерства просвѣщенія и министерства полиціи». Дѣйствіе первой цензуры — по мнѣнію автора записки — есть нравственное и ученое, дѣйствіе второй — только вспомогательное и внѣшнее, а потому министерство полиціи и должно ограничиться: 1) надзоромъ за тѣмъ, чтобы книги не печатались и не продавались безъ разрѣшенія цензуры, и 2) просмотромъ афишъ и другаго рода публичныхъ объявленій. Эти руководящія начала, изложенныя Магницкимъ въ его запискѣ, вызвали нѣсколько замѣчаній со стороны членовъ ученаго комитета. Одинъ изъ нихъ (академикъ Фусъ) вступился за математику, обвиненную въ духѣ невѣрія, и счелъ нужнымъ — вѣроятно для избавленія себя отъ какихъ нибудь глазныхъ нареканій — засвидѣтельствовать тутъ же, что онъ, «занимаясь болѣе пятидесяти лѣтъ математикою, перечиталъ нѣсколько тысячъ математическихъ книгъ, но вѣра его осталась непоколебимою». Но другой членъ, гр. Лаваль, до-того вошелъ во вкусъ инквизиціонныхъ подозрѣній, что предложилъ внести въ уставъ особый параграфъ, запрещающій «всякія колкія осужденія правительствъ и государей, находящихся съ нашимъ дворомъ въ дружествѣ, союзѣ или родствѣ» и, кромѣ того, посоветовалъ запретить во всѣхъ журналахъ, за исключеніемъ двухъ или трехъ, печатаніе и оцѣнку политическихъ событій. Вскорѣ послѣ того Магницкій, поощренный сочувствіемъ большинства своихъ сослуживцевъ, представилъ

самый проект устава и секретную инструкцію для руководства цензурнымъ комитетамъ. Необходимость подобной инструкціи объяснялась, по его словамъ, тѣмъ, что «невозможно выразить краткими положеніями и слогомъ закона всѣ подробности, для руководства цензурнаго комитета нужны», а между тѣмъ цензорамъ полезно знать «начала, послужившія основаніемъ новому уставу о цензурѣ». Это назначеніе — обнаруживать сокровенныя мысли и намѣренія законодателей—инструкція исполняетъ превосходно: въ ней, дѣйствительно, отражается, какъ въ фокусѣ, тотъ печальный моментъ нашей государственной жизни, когда не одна какая нибудь наука, не та или другая личность, а вообще человѣческій интеллектъ, съ его естественнымъ стремленіемъ къ познанію—въ наукѣ—и къ усовершенствованіямъ—въ общественной жизни—былъ заподозрѣнъ въ попыткѣ ниспровергнуть до корня всякій гражданскій порядокъ. «Съ седьмого на десять вѣка—гласитъ инструкція—духъ времени явно возсталъ въ Европѣ на Бога ученіями матеріализма, потомъ адскими поруганіями надъ св. бібліею и наконецъ отверженіемъ искупителя и личнымъ (?) на него остервененіемъ. Тогда явились первыя разрушительныя начала теорій права естественнаго. (Это право, дававшее возможность выводить политическія формы изъ нормальныхъ условій человѣческаго общежитія, помимо всѣхъ метафизическихъ построеній, вызвало противъ себя всю злобу Магницкаго). За ними послѣдовало во Франціи низверженіе алтарей христовыхъ и законныхъ властей. Нынѣ, когда вѣтшіе враги утихли, системы невѣрія, дотолѣ Англію и Францію только обтекавшія, со всею хитростью духа злобы явились подъ новою

личиною въ Германіи. Безъ открытаго уже опроверженія библіи, въ молчаніи объ искупителѣ, подъ именемъ чистаго разума, въ совершеннѣйшихъ противъ прежняго системахъ наукъ философскихъ, естественныхъ, историческихъ, и въ произведеніяхъ изящной словесности, разливается нынѣ ядъ опаснѣйшаго всѣхъ прежнихъ временъ невѣрія. Подобно новому Пилату, разумъ человѣческій, со всею правильною умозрительныхъ формъ своихъ, осуждаетъ и предастъ на пропатіе богочеловѣка». Противъ этого-то духа времени, «якобы» охватывающаго собой всѣ рѣшительно проявленія мыслящей силы, и должна быть направлена дѣятельность цензурнаго комитета. Замѣчательно, что, по смыслу этой инструкціи, цензоръ уже перестаетъ быть чиновникомъ, призваннымъ къ охраненію закона и ограниченнымъ въ своей дѣятельности извѣстными легальными формами:—нѣтъ! цензурный комитетъ рисовался Магницкому въ образѣ инквизиціоннаго трибунала, который не только охраняетъ религію и гражданскій порядокъ, но самъ, во всеоружіи власти и по непосредственному «благословенію господнему», нападаетъ на ихъ мнимыхъ или дѣйствительныхъ враговъ и одерживаетъ побѣду тѣмъ успѣшнѣе, что противная сторона совершенно лишена всякихъ способовъ къ защитѣ. Законъ, какъ точное указаніе дозволенной границы, пригодное и для нападенія, и для защиты, не долженъ отнынѣ стѣснять служебную задачу цензоровъ, и пресловутая инструкція выражается на этотъ счетъ съ такимъ поразительнымъ цинизмомъ, который былъ бы невозможенъ для обнародованнаго правительствомъ документа. Въ ней прямо говорится, что къ запрещенію книги всегда можно найти предлогъ—если не въ чемъ другомъ,

то въ неисправности слога и т. п. Явный смысл фразы тоже нисколько не ограждаетъ авторовъ. Къ числу книгъ, порицающихъ администрацію и правительство—предусмотрительно замѣчаетъ инструкция—«можно отнести сочиненія, въ которыхъ хотя бы и не заключалось явной хулы на настоящій образъ нашего правительства, но подразумѣвалась бы она въ излишнихъ похвалахъ какимъ-либо конституціямъ, силою народа и войскъ у законныхъ государей исторгнутымъ». Изученіе исторіи, какъ науки, значительно затруднялось запрещеніемъ книгъ, въ которыхъ порицаются особы отечественныхъ государей, въ Бозѣ почивающихъ. Противъ этого запрещенія, выраженного притомъ въ неопредѣленныхъ словахъ, возсталъ даже гр. Лаваль, хотя онъ относился сочувственно къ основнымъ началамъ инструкции и предложилъ, — какъ мы видѣли, — внести въ уставъ особый пунктъ, запрещающій колкія «осужденія правительствъ и государей, находящихся съ нашимъ дворомъ въ дружествѣ». Но запретить такое осужденіе правительственныхъ лицъ возможно было, по его мнѣнію, только въ настоящемъ; что же касается до прошедшаго времени, то это было бы — «все равно, что запретить изученіе исторіи, сего верховнаго судилища, на которомъ разбираются добрыя и худыя дѣла: ни одна историческая книга во Франціи не умолчала ни о жестокостяхъ Людовика XI, ни о фанатизмѣ Карла IX, стрѣлявшаго въ своихъ подданныхъ — протестантовъ; во всѣхъ историческихъ запискахъ того времени ясно изображено, какимъ образомъ Марія Медичи заставляла партизановъ своихъ дѣйствовать для вооруженія руки Равальяка противъ Генриха IV». Но Лаваль

могъ утѣшиться и тѣмъ, что его мысль о вредѣ политическихъ разсужденій въ русскихъ журналахъ не была пропущена Магницкимъ мимо ушей. «Хотя особое будетъ сдѣлано распоряженіе — говорилось въ инструкціи — въ разсужденіи того, чтобы всѣ политическія вѣдомости почерпали сообщаемыя ими заграничныя извѣстія изъ одного officialнаго источника; но комитету, и за сею мѣрою, наблюсти должно, чтобы ничто противное уставу въ нравственномъ отношеніи появиться въ публичныхъ листахъ не могло. Таковъ, напримѣръ, процессъ англійской королевы. Краткое извѣстіе о немъ могло быть напечатано, но подробности и слова ея обвинителей, изъ почтенія къ высотности ея сана, изъ уваженія даже къ ея полу и къ добрымъ нравамъ, должны были бы, по правиламъ нынѣ изданнаго устава, быть пройдены въ молчаніи». Направленіе русской литературы представлялось Магницкому въ такой степени рѣзкимъ и враждебнымъ правительству, что онъ счелъ нужнымъ подмалевать и пустить въ дѣло тотъ, никогда не употреблявшійся, параграфъ прежняго устава, по которому цензора обязывались доносить на авторовъ сочиненій, явно возмутительныхъ, отвергающихъ бытіе Бога, оскорбляющихъ верховную власть и т. п. Въ передѣлкѣ Магницкаго, этотъ параграфъ принялъ такую форму, болѣе удобную для преслѣдованія личности негласнымъ путемъ: «Извѣщеніе министра (просвѣщенія) о сочинителѣ о п а с н о й книги (самое выраженіе: «опасная книга» уже крайне эластично) должно быть учиняемо немедленно и тайно, дабы, до сообщенія онаго министру внутреннихъ дѣлъ, не могъ онъ укрыться отъ полиціи и закона. Посему каждый цензоръ, не ожидая въ сихъ случаяхъ засѣданія

комитета, остановленную рукопись съ своими примѣчаніями обязанъ представить министру духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія. Въ первомъ засѣданіи комитета долженъ онъ объявить сіе собранію, которое до разрѣшенія и хранить дѣло въ тайнѣ. Исполненіе всѣхъ этихъ обязанностей называлось въ инструкціи — «служеніемъ Царству Божію по прямому разумѣнію и по чистой совѣсти, вѣрою освѣщаемымъ»; сами исполнители должны были смотрѣть на себя, какъ на «стражей, охраняющихъ вѣру Христову, нравы отечественные и самый языкъ нашъ, не оскверненный еще ни богохуленіями, ни разрушительными воплями противъ власти царской, ни нечистотами разврата и сладострастія». Одновременно съ инструкціей былъ представленъ и проектъ устава, проникнутый, конечно, тѣмъ же духомъ нетерпимости и вражды къ просвѣщенію. Ни въ комъ изъ членовъ комитета эти проекты не возбудили такого теплаго участія, какъ въ извѣстномъ сподвижникѣ Магницкаго—Руничѣ. Этотъ послѣдній нашелъ ихъ вполне цѣлесообразными, но для вящаго усовершенствованія совѣтовалъ распространить списокъ книгъ, осуждаемыхъ цензурою, нѣсколькими новыми подраздѣленіями. Такъ, напримѣръ, по его мнѣнію, сюда должны быть отнесены: 1) «книги, какого бы рода ни были, не ведущія къ истинной высокой цѣли — къ водворенію въ составѣ общества постояннаго и спасительнаго согласія между вѣрою, вѣдѣніемъ и законною властью; 2) книги, въ коихъ описаны частныя видѣнія, откровенія, внутреннія ощущенія, частныя и общія пророчанія, и всякаго рода сочиненія, за вдохновенныя выдаваемыя; 3) книги о нравственной философіи и умозрительномъ законода-

тельствѣ (то-есть естественномъ правѣ), въ коихъ отдѣляется нравственность отъ вѣры» (подчеркнутая фраза буквально внесена Магницкимъ въ новый уставъ, не смотря на свой до-нельзя туманный смыслъ) и пр. и пр. Къ книгамъ естественно-научнаго содержанія, и безъ того осужденнымъ Магницкимъ,—по мнѣнію Рунича,—слѣдовало еще прибавить: «сочиненія, называемыя историческими, философическими и филологическими, безъ всякой связи и цѣли представляющія безпорядочный сборъ матерій, умствований и умозрѣній, противныхъ не только евангельскому ученію, но и здравому смыслу». (??) Откровенный Руничъ, не видѣвшій никакой надобности церемониться съ общественнымъ мнѣніемъ, потребовалъ даже, чтобы первые пункты его запретительнаго реэстра были введены не въ инструкцію, а въ самый уставъ; «потому что уставъ—говорилъ онъ—какъ коренное законоположеніе, не подлежитъ измѣненіямъ, инструкция же, напротивъ того, по обстоятельствамъ и духу времени, можетъ онымъ подвергнуться; по наименованію же секретной и не дойдетъ до всеобщаго свѣдѣнія». А ему бы хотѣлось увѣковѣчить свою выдумку, застраховать ее отъ всякихъ перемѣнъ и безбоязненно «довести до всеобщаго свѣдѣнія» публики, суда которой, по причинамъ понятнымъ, избѣгалъ даже Магницкій! Вмѣстѣ съ проектомъ Магницкаго разсматривался въ комитетѣ другой проектъ цензурнаго устава, составленный Стурдзою. Но такъ-какъ послѣдній уставъ все еще отличался нѣкоторой мягкостью сравнительно съ первымъ, то и рѣшено было оставить его безъ вниманія. Иначе взглянуть комитетъ на цензурныя правила Царства Польскаго, духъ и цѣль которыхъ были, по его

миѣнію, совершенно одинаковы съ принятымъ имъ проектомъ. По опредѣленію комитета, изъ этихъ правилъ слѣдовало заимствовать нѣсколько запретительныхъ параграфовъ.

Вопервыхъ, «запрещается всякое сочиненіе, въ которомъ заключаются прямыя или косвенныя нападенія на ту непреложную истину, что монархическій образъ правленія, въ началѣ обществъ, данъ въ примѣръ самимъ Богомъ и составляетъ единое твердое, законное и благотворное ихъ основаніе». Вовторыхъ, «запрещается всякое сочиненіе, прямо или косвенно устремленное противъ той царственной думы, коей ввѣрено свыше охраненіе и благоденствіе всего христіанскаго міра, верховная стража алтарей божіихъ и престоловъ помазанниковъ, и которая наименована союзомъ священнымъ». Подлежало также заимствованію и указаніе тѣхъ литературныхъ средствъ, «которымъ пользуется нечестивое скопище любителей переворотовъ». Къ числу подобныхъ средствъ цензурный уставъ Царства Польскаго относилъ, между прочимъ: «разсказы, очерки, характеристики, взятые изъ временъ и странъ отдаленныхъ; искусныя и тонкія аллегоріи; искаженныя историческія событія; возмутительныя и по большей части вымышленныя картины, въ которыхъ изображены дѣйствія фанатизма или тираніи; выписки изъ рѣчей, проникнутыхъ революціоннымъ духомъ, искусство ловко напоминать блистательныя явленія въ эпоху народныхъ смутъ и волненій (по этому пункту можно было бы запретить цѣлкомъ «Марѳу Посадницу» Карамзина, такъ-какъ въ ней «ловко напоминаются блистательныя явленія въ эпоху народныхъ смутъ»); коварное опроверженіе безнравственныхъ идей, посредствомъ котораго онѣ еще

силѣе укореняются въ умѣ читателя; лукавые разборы нечестивыхъ сочиненій (сюда можно было подвести самое невинное изложеніе философскихъ и политическихъ системъ, несогласныхъ съ нашею доморощеною политикою и философіей); ложные слухи, распространяемые и дополняемые для смущенія умовъ; острофы и сатирическія выходки, изъ которыхъ секта энциклопедистовъ, предводимая Вольтеромъ, сдѣлала себѣ орудіе противъ началъ здраваго смысла» (?).

IV.

Цензурный уставъ, вышедшій изъ рукъ Магницкаго и дополненный сотрудничествомъ разныхъ друзей русскаго просвѣщенія, естественнымъ образомъ, совмѣстилъ въ себѣ весь «здравый смыслъ» и все благоуханіе тѣхъ «началъ», которыя положены были въ основу официальнаго наблюденія за литературою. Что не попало въ уставъ, то вошло въ инструкцію—конечно, въ болѣе сжатой формѣ (ибо для вмѣщенія всего краснорѣчія Рунича и комп. не хватило бы цѣлаго кодекса), но съ сохраненіемъ существеннаго смысла. Читая между строками и перетолковывая въ худую сторону смыслъ читаемаго—становилось уже прямою обязанностью цензора.

Для политическихъ мнѣній устанавливалась разъ навсегда одна казенная мѣрка, философія замѣнялась теософическими мечтаніями, лишенными почвы и доказательствъ;

даже порядокъ дѣлъ въ союзныхъ государствахъ принимался подѣ обязательную защиту русскихъ цензурныхъ комитетовъ. Все это завершалось драконовскими угрозами содержателямъ типографій и книгопродавцамъ. Не вошли въ уставъ только замѣчанія о масонствѣ, сектаторствѣ и «мнимо-вдохновенныхъ» книгахъ, потому что министромъ просвѣщенія все еще былъ князь Голицынъ, извѣстный своей склонностью къ мистицизму, и невозможно было нападать открыто на предметъ его слабости. Взамѣнъ этого, въ уставѣ вошелъ другой параграфъ, навѣянный духомъ библейскихъ обществъ: «всякое твореніе, въ которомъ, подѣ предлогомъ защиты или оправданія одной изъ церквей христіанскихъ, порицается другая, яко нарушающее союзъ любви, всѣхъ христіанъ единымъ духомъ во Христѣ связующей, подвергается запрещенію». Роль общей полиціи въ дѣлахъ печати, по одному изъ параграфовъ новаго устава, ограничивалась «наблюденіемъ за непремѣннымъ исполненіемъ» цензурныхъ правилъ; но въ слѣдующемъ затѣмъ параграфѣ роль эта значительно расширялась и, министерство внутреннихъ дѣлъ получало право извлекать изъ продажи «не токмо запрещенныя цензурою или безъ ея одобренія напечатанныя книги, но и книги, до изданія сего устава напечатанныя и противныя его правиламъ». Хотя окончательное запрещеніе такихъ книгъ оставалось все-таки за министерствомъ народнаго просвѣщенія; но тѣмъ не менѣе полиція могла бы, по силѣ этого постановленія, привязаться, каждую минуту, къ книгопродавцу, арестовать любую книгу, какъ «противную правиламъ» новаго устава, и тѣмъ убить окончательно книжную торговлю,

и безъ того мало привлекательную для капитала. Кромѣ того, министерство народнаго просвѣщенія снабжалось неслыханнымъ полномочіемъ—придавать закону обратное дѣйствіе, что противорѣчитъ уже самымъ элементарнымъ юридическимъ понятіямъ. Но составители новаго устава смотрѣли на него, какъ пушкинскій Пименъ на свою лѣтопись, то есть какъ на «долгъ, завѣщанный отъ Бога»; оканчивая свои занятія, они выразили надежду, что трудъ ихъ предохранитъ надолго вѣру, правительство и народныя нравы отъ преступнаго на нихъ посягательства. Къ счастью для литературы, этому уставу не пришлось дѣйствовать и предохранять отечество въ томъ видѣ, въ какомъ былъ онъ составленъ: внесенный на обсужденіе главнаго правленія училищъ въ 1823 году, онъ былъ задержанъ вслѣдствіе того, что одновременно съ нимъ вырабатывался св. синодомъ новый уставъ духовной цензуры и, по сличеніи ихъ, оказалось, что оба устава касаются, въ нѣкоторыхъ статьяхъ, однихъ и тѣхъ же предметовъ. Поэтому признано необходимымъ распределить болѣе точнымъ образомъ обязанности свѣтской и духовной цензуры *). Дѣло снова затянулось...

Здѣсь стоить остановиться и подумать о томъ: насколько своевременны были, особенно въ двадцатыхъ годахъ, суровыя мѣры противъ литературы, предпринятія нашими бездарными администраторами въ родѣ Магницкаго и Рувища. Припомнимъ, что въ это время, въ нашемъ обществѣ, вслѣдствіе частыхъ и непосредственныхъ сноше-

*) Матер. для истор. русск. просв. Сухомлинова, стр. 82.

ній съ Европою, шла тревожная и открытая борьба старыхъ понятій съ новыми идеями, заносимыми къ намъ съ Запада: жизнь требовала улучшеній; всё вопіяло противъ разныхъ стѣснительныхъ порядковъ, и этотъ либеральный протестъ, по признанію Греча, былъ такъ великъ и громогласенъ, что даже ему съ Булгаринымъ приходилось поддѣлываться подъ общій тонъ. Такое напряженное состояніе общества требовало, по возможности, широкой литературной борьбы, въ которой могли бы выясниться какъ хорошія, такъ и дурныя стороны предлагаемыхъ нововведеній:—умѣстно ли было въ эту именно минуту прекратить возможность публичнаго обсужденія вопросовъ, которые у всѣхъ были на языкѣ?! Самые вопросы не исчезали отъ этого, а тревожное состояніе общества усиливалось и, не находя себѣ выраженія и оцѣнки въ литературѣ, порождало тайныя сходки, которыхъ дѣятельность слишкомъ извѣстна и памятна...

Проектъ Магницкаго не погибъ: онъ былъ препровожденъ обратно въ ученый комитетъ, и, уже подѣ непосредственнымъ наблюденіемъ новаго министра Шишкова, цензурный уставъ переработанъ и утвержденъ 10 іюня 1826 г. Но литературѣ немного стало легче отъ этой передѣлки: Шишковъ принадлежалъ къ тѣмъ невѣжественнымъ противникамъ либеральныхъ реформъ, которые съ особенной настойчивостью и при каждомъ удобномъ случаѣ указывали на потрясеніе государственныхъ основъ, какъ на неизбѣжное слѣдствіе распространявшагося вольнодумства. Литература и школа—главные проводники вредныхъ идей—требовали, по его мнѣнію, скорого и рѣшительнаго обузданія

Еще въ 1815 г. Шишковъ два раза читалъ въ государственномъ совѣтѣ свое мнѣніе, въ коемъ развивалась мысль, что «цензура должна быть учреждена на лучшемъ и надежнѣйшемъ основаніи», что безъ этого условія, при старомъ неполномъ и неопредѣленномъ уставѣ, въ издаваемыхъ книгахъ всегда будутъ появляться «умышленные и неумышленные худости, служащіе къ воспламененію умовъ и къ распространенію заблужденій».

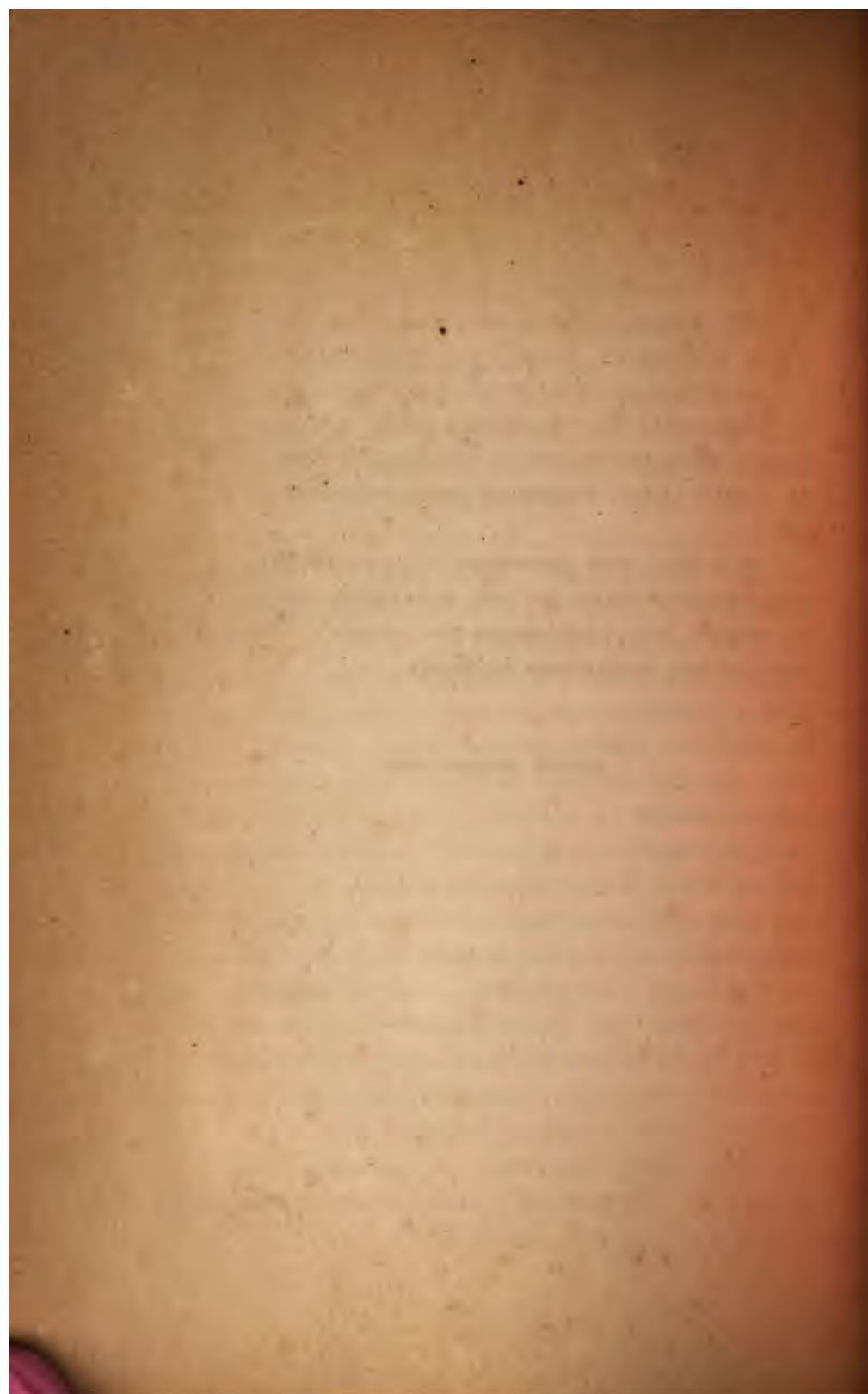
Въ 1822 г., по дѣлу о профессорахъ петербургскаго университета, обвиненныхъ чуть не въ якобинствѣ, за нѣсколько весьма нехитрыхъ мыслей (въ родѣ того, напримѣръ, что «крѣпостное сословіе земледѣльцевъ есть великая преграда для улучшенія земледѣлія») — Шишковъ вспомнилъ свое прежнее мнѣніе и похвастался своею прозорливостью. «Нынешняя исторія съ профессорами — писалъ онъ по этому поводу — показываетъ, что я не безъ основанія называлъ сѣмена сіи плодовитыми, и что способы къ искорененію ихъ становятся тѣмъ труднѣе, чѣмъ долѣе росли. Учителя, пріучась сами думать и писать обо всемъ свободно, или, лучше сказать, разсуждать и умствовать дерзко, не соображаясь ни съ какими общими правилами, ниже съ нравоученіями вѣры, тому же научаютъ и учениковъ своихъ». Средствомъ противъ этого зла, Шишковъ опять выставилъ «благоразумную и наблюдающую свою должность цензуру». Цензура была, какъ видно, любимымъ конькомъ суроваго славянофила, и ея слабостью готовъ онъ былъ объяснять всякое несчастіе въ государствѣ. Далеко не всѣ профессора писали и печатали свои труды, но и въ ихъ образѣ мыслей оказалась виновною снисходительная цензура. При такомъ рве-

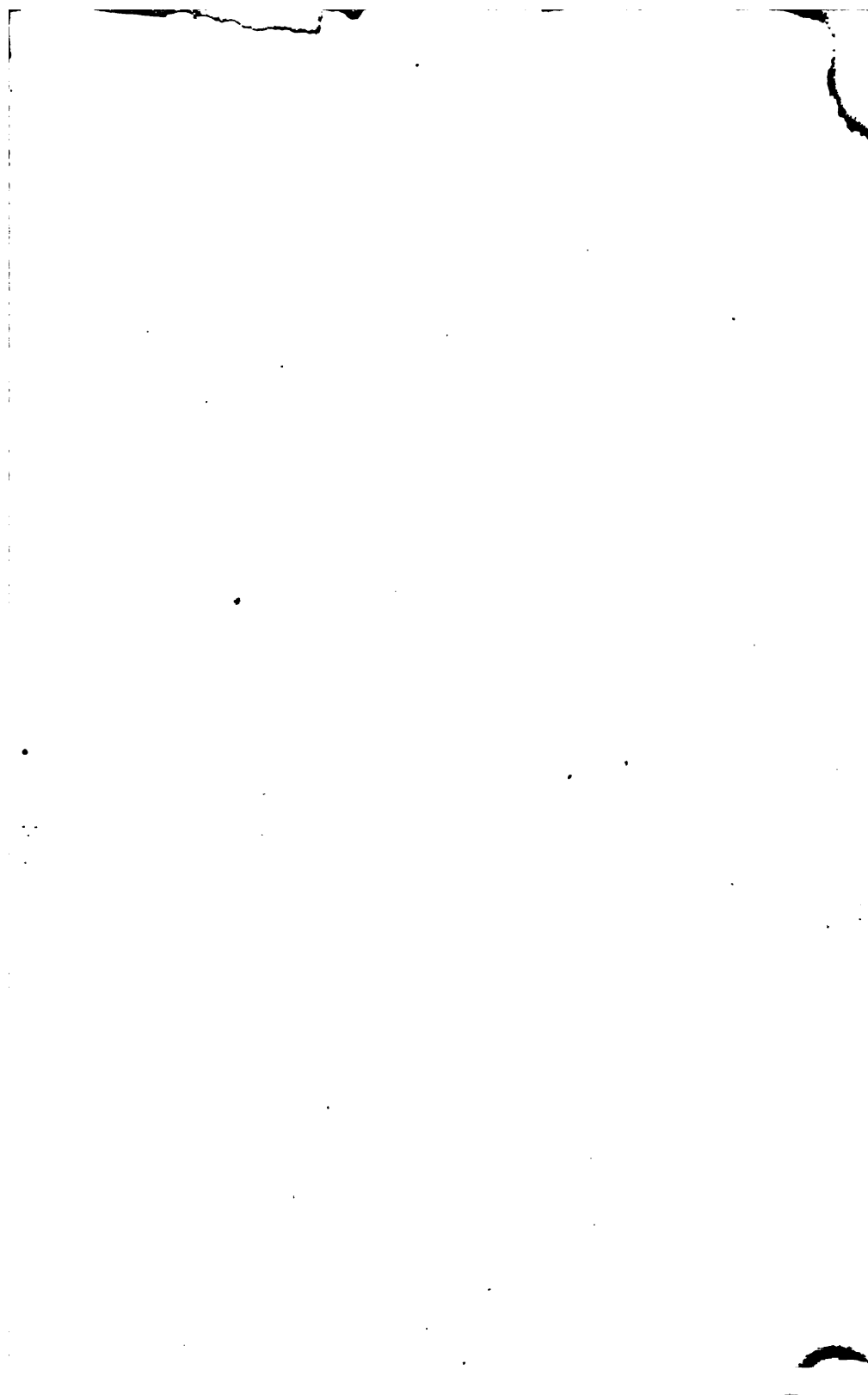
ніи къ цензурному благочинію, Шишковъ, сдѣлавшись министромъ, позаботился прежде всего о томъ, чтобы расширить и упрочить officialный контроль надъ литературою. Для этой цѣли отлично пригодился цензурный проектъ, сочиненный при помощи Магницкаго, тѣмъ болѣе, что и самъ Магницкій, отстранившись во-время отъ партіи Голицына, сохранилъ свое видное положеніе въ министерствѣ. Секретная инструкция цензорамъ осталась неутвержденною (утвержденіе ея равнялось бы положительному изгнанію литературы изъ государства), но отличительныя черты прежняго проекта перешли и въ новый уставъ. Перетолкованіе статей въ невыгодномъ для авторовъ смыслѣ освящено закономъ. «Не позволяется пропускать къ печатанію — гласитъ § 151 новаго устава — мѣста въ сочиненіяхъ и переводахъ, имѣющія двоякій смыслъ, ежели одинъ изъ нихъ противенъ цензурнымъ правиламъ»; запрещено обнаруживать цензурныя пометки выставленіемъ точекъ въ печатныхъ книгахъ. Отъ критики требовалось безпристрастіе, степень котораго опредѣлялась цензурою. Сочиненія, въ которыхъ была нарушена чистота русскаго языка, не допускались къ печати. Не забудемъ при этомъ, что подобнымъ нарушеніемъ для Шихова была даже карамзинская реформа литературнаго слога. Всякая инициатива литературы въ правительственныхъ вопросахъ безусловно запрещалась. Сочиненія по исторіи, философіи и логикѣ должны были обращать на себя особенно строгое вниманіе. Кромѣ взысканій съ цензоровъ за упущенія, узаконялось также взысканіе съ самихъ авторовъ на томъ странномъ основаніи, что «цензурный уставъ имъ долженъ быть извѣстенъ», какъ-будто толкованіе этого устава

не зависѣло отъ разныхъ случайностей, которыя невозможно было ни знать, ни предвидѣть частному человѣку. Въ случаѣ отобранія вреднаго сочиненія, пропущеннаго по недосмотру цензуры, издателю предоставлено было право взыскивать убытокъ съ автора (?!). Наконецъ, хотя секретная инструкція по цензурѣ не удостоилась официальнаго утвержденія, какъ постоянная форма цензурныхъ требованій; но она замѣнялась, до нѣкоторой степени, особыми, на каждый случай, секретными наставленіями отъ министерства.

Это и былъ тотъ знаменитый чугунный уставъ, существовавшій только два года, о которомъ цензоръ Глинка говорилъ, что, руководствуясь имъ, «можно и «Отче нашъ» перетолковать яacobинскимъ нарѣчіемъ».

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.





ПРОДАЕТСЯ ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:

ПОЛНОЕ
СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА,

изд. подъ редакціею А. П. Пятковского, съ портретомъ автора,
факсимиле и статьею о его жизни и сочиненіяхъ. Изданіе 3-е.
Сиб. 1862 г. Ц. 1 р. 25 к., вѣс. 1 фун.

Одобрено Учен. Комитетомъ Мин. Нар. Просв., Учебнымъ Бюро
IV Отдѣленія Собств. Его Велич. Канцеляріи, и внесено въ нормальный
каталогъ библиотекъ воен.-учебн. заведеній. Главный складъ въ книжномъ
магазинѣ Н. Н. Глазунова, на Большой Садовой.

Готовятся къ печати:

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМЪ

въ царствованіе императрицы екатерины II.

Историческое изслѣдованіе по архивнымъ источникамъ А. П. Пятковского

и его же,

ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ БЕЦКІЙ

И ЕГО ВРЕМЯ,

съ портретомъ, примѣчаніями и приложеніями. Историко-
біографическое изслѣдованіе.

О времени выхода будетъ объявлено особо.

Давл. ценз. Сиб. 4 ноября 1875 г.

Цѣна за два тома 3 руб. 50 коп.

ИЗЪ ИСТОРИИ
НАШЕГО
ЛИТЕРАТУРНАГО И ОБЩЕСТВЕННАГО
РАЗВИТІЯ.

КОМПОНОВАНІО И ВРЕДНІЧЕСКОЮ СТАТІЮ

А. П. ПЯТКОВСКАГО.

Во двухъ томахъ.

Томъ II.



САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ:
Типографъ Р. Голицына, по Литейному, № 23.
1876.

Собрание

ИЗЪ ИСТОРИИ
НАШЕГО
ЛИТЕРАТУРНАГО И ОБЩЕСТВЕННАГО
РАЗВИТІЯ.

МОНОГРАФИИ И КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

А. П. ПЯТКОВСКАГО.

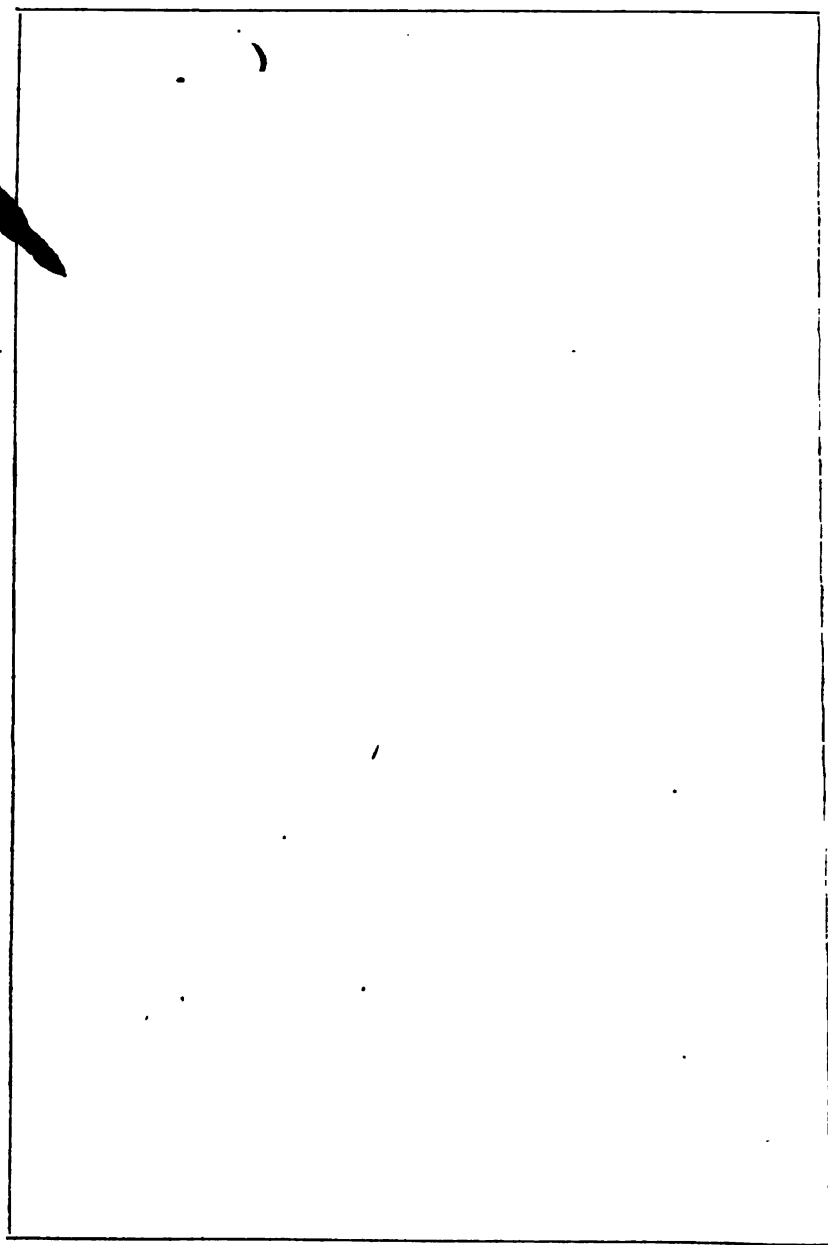
Въ двухъ томахъ.

Томъ II.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Р. Голике, по Лигоневъ, № 22.
1876.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the characters "S. 100".



ОГЛАВЛЕНИЕ
второго тома.

ОТРАН.

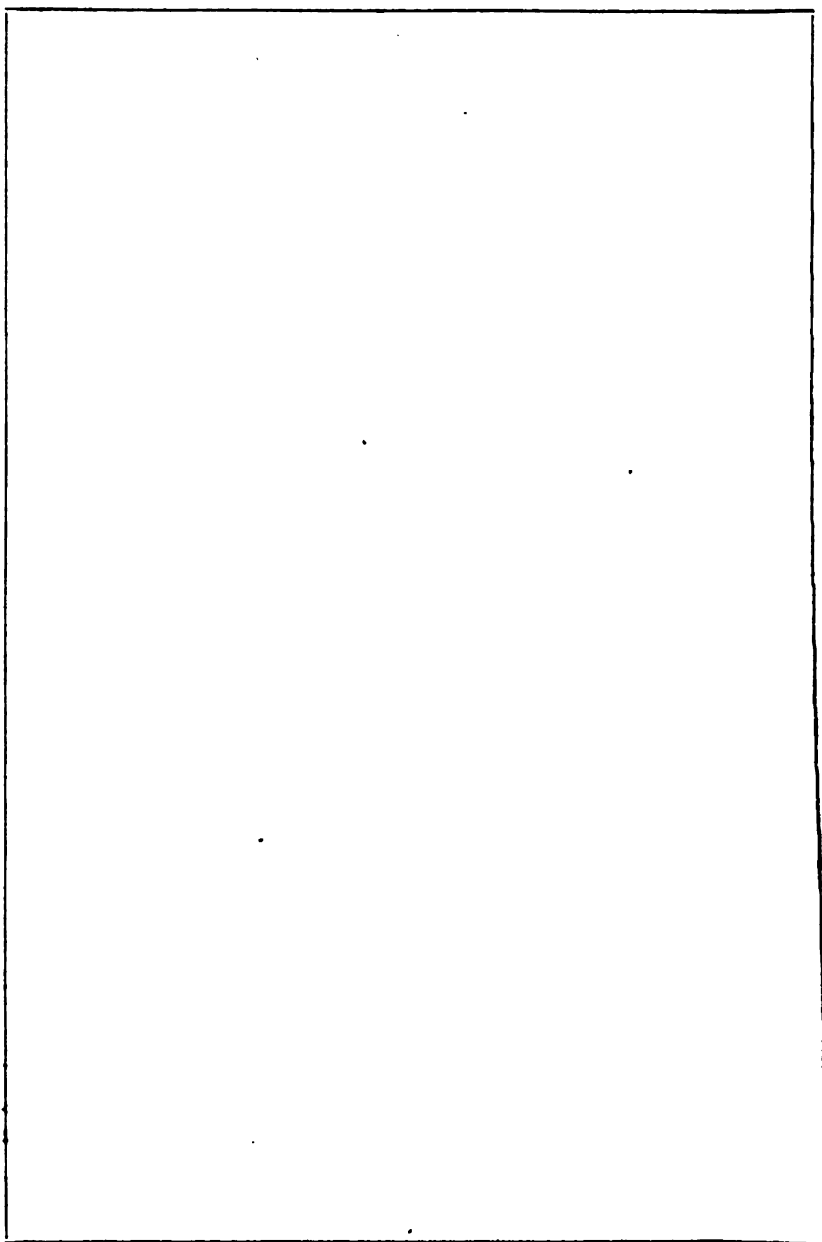
**1). Очерки изъ исторіи русской журналис-
тики:**

Главы I — II (отъ Петра I до Александра I;
1703—1801 г. г.) 1—74.

Главы III — X (первая половина царствованія
Александра I; 1801—12 г. г.). 74—257.

Гл. XI — XII (вторая половина того же царст-
вованія; 1812—20 г. г.). 257—316.

**2). Журнальный триумвиратъ (изъ исто-
ріи русской журналистики 30-хъ годовъ) . 316—362.**



ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ.

I.

Взглядъ Петра В. на значеніе прессы.—Русская типографія въ Амстердамѣ; переводъ иностранныхъ книгъ политическаго содержанія на русскій языкъ. — Подкупъ иностранныхъ журналовъ; полемика Гюйсена съ Нейгебауэромъ. — Θεοφάνη Прокіоповичъ. — Значеніе древнихъ курантовъ. — Первые русскія «Вѣдомости» 1703 г.; ихъ содержаніе и характеръ *.)

Съ тѣхъ поръ, какъ Россія XVIII-го столѣтія была вдвинута волей-неволей въ кругъ европейскихъ державъ,—ей понадобились и всѣ атрибуты, всѣ матеріальныя и нравственныя поддержки европейской цивилизаціи. Самъ гениальный преобразователь понималъ это очень хорошо и спѣшилъ перенести въ Россію, прежде всего, тѣ практическіе плоды европейской науки, которые, въ видѣ военнаго, морскаго и инженернаго дѣла, были такъ необходимы вновь сформировавшемуся на европейскій ладъ государству, окруженному сильными и небезопасными сосѣдями. Заведены были: регу-

*) Въ предлагаемыхъ очеркахъ мы намѣрены представить, въ нѣкоторой связи, явленія русской журналистики,—начиная съ того момента, когда Петръ I-й самъ сталъ пользоваться печатью для своихъ государственныхъ цѣлей. и кончая второй половиной царствованія Александра I, когда правительство сочло уже нужнымъ наложить на эту печать серьезныя ограниченія. Въ большія библиографическія подробности мы вдаваться не будемъ; явленія мелкія и неинтересныя совсѣмъ не войдутъ въ наши статьи; но за нитью развитія, опредѣляющей всѣ измѣненія въ характерѣ прессы,—мы будемъ слѣдить внимательно и укажемъ ее, гдѣ нужно, или прямо, или же подборомъ фактовъ. Статьи «Журнальный Триумфъ» можетъ служить продолженіемъ очерковъ.

Считаемъ вужнымъ прибавить, что мы сдѣлали значительныя (преимущественно фактическія) дополненія къ прежнему печатному тексту этихъ статей.

Авторъ.

лярная армія, флотъ, инженерное и морское училища; все это пригодилось намъ въ послѣдующихъ войнахъ. Но Европа, въ то время, была уже богата не одними внѣшними плодами цивилизаціи, не одной технической стороной знанія: въ ней понемногу развивалась и крѣпла другая сила, сила общественнаго миѣнія, руководимаго политической печатью. На эту силу также обратилъ вниманіе Петръ I, и задумалъ воспользоваться ею для своихъ преобразовательныхъ плановъ; печатный станокъ, выпускавшій до него почти исключительно книги богословскаго содержанія, съ примѣсю полу-свѣтскихъ, полу-духовныхъ произведеній кievской учености, — теперь началъ помогать дѣлу реформы распространеніемъ научныхъ свѣдѣній и политическихъ взглядовъ въ европейскомъ духѣ. При Петрѣ появились и первыя русскія «Вѣдомости».

Какимъ же именно образомъ практиковалъ Петръ Великій научную и политическую пропаганду посредствомъ печатнаго станка? Его личные взгляды имѣютъ, конечно, при этомъ большую важность, и наша исторія была бы далеко неполна безъ знанія тѣхъ общихъ условій, въ которыхъ находились, въ извѣстное время, всѣ произведенія научно-политическаго свойства.

Изъ грамоты Яну Тессингу, подписанной въ 1700 г., видно, что она дана была по его просьбѣ «за учиненныя имъ великому посольству (русскому) службы» съ тѣмъ, чтобы онъ, Тессингъ, завелъ въ Амстердамѣ типографію и печаталъ въ ней «земныя и морскія картины, и чертежи, и листы, и персоны, и математическія, и архитектурныя, и городостроительныя и всякія ратныя и художественныя книги на

славянскомъ и латинскомъ языкахъ вмѣстѣ, тако и славянскомъ и голландскомъ языкомъ по особну, отъ чего бѣ русскіе подданные много службы и прибыли могли получать и обучатися во всякихъ художествахъ и вѣдѣніяхъ». Напечатанные Тессингомъ чертежи и книги дозволялось ему привозить къ Архангельску, а также и въ другіе города «повольною торговлею, съ платежемъ указанныхъ пошлинъ». Продавцы книгъ изъ другихъ типографій, въ Россіи, подвергались штрафу въ 300 ефимковъ, изъ которыхъ третья часть шла въ пользу Тессинга; самыя же книги конфисковывались. Духъ и направленіе книгъ, напечатанныхъ въ типографіи Тессинга, опредѣлялись слѣдующими словами грамоты: «чтобъ тѣ чертежи и книги напечатаны были къ славѣ великаго государя межъ европейскими монархи и ко общей народной пользѣ и прибытку, а пониженія бѣ нашего царскаго величества превысокой чести и государства нашего въ славу въ тѣхъ чертежахъ и книгахъ не было». Упорно стремясь къ своей цѣли—цивилизовать русскій народъ хотя бы и крутыми, унаслѣдованными отъ прежнихъ вѣковъ мѣрами,—Петръ I-й не останавливался ни передъ какими препятствіями и не смутился тѣмъ обстоятельствомъ, что на первыхъ порахъ книги, напечатанныя въ амстердамской типографіи, расходились весьма плохо, а въ 1703 г. одинъ голландскій купецъ, торговавшій этимъ товаромъ, писалъ къ царю, что онъ въ своей торговлѣ понесъ убытокъ, «понеже купцовъ и охотниковъ въ земляхъ вашего царскаго величества зѣло мало». Но охота учиться, вмѣстѣ со вкусомъ къ чтенію, распространялась мало по малу въ верхнихъ слояхъ народа. Желая видѣть

въ изданьяхъ амстердамской типографіи только то, что могло бы служить «къ славі великаго государя и наивыщей похвалѣ всему російскому царствію», правительство очень обезпокоилось, когда славянскій шрифтъ попалъ (около 1708 г.) въ руки псевдовъ, и они стали печатать имъ различныя воззванія, какъ напр. къ малороссамъ. Велѣно было «такихъ людей ловить и разспрашивать, гдѣ кто такія писма (т. е. прокламаціи) взялъ, и на кого скажутъ, и тѣхъ людей ссыскивать со всякимъ крѣпкимъ прилежаніемъ». Кромѣ книгъ чисто ученаго содержанія, Петръ приказалъ переводить и такія сочиненія, въ которыхъ, на основаніи началъ, добытыхъ развитіемъ науки и политической жизни, излагались новыя взгляды на общественныя отношенія или сообщались свѣдѣнія о политическомъ устройствѣ иноземныхъ государствъ, ихъ законахъ и современномъ состояніи. Къ такимъ переводамъ относятся: Пуффендорфа — «Введеніе въ исторію европейскую» и «О должностяхъ челоуѣка и гражданина»; Гуго Гроція — «О законахъ естества и народовъ» и пр. и пр. Особенно цѣнили Петръ сочиненія Пуффендорфа, называя его «мудрымъ законознателемъ». Ученый этотъ былъ послѣдователемъ Гуго-Гроція и Гоббеса. Онъ первый началъ читать въ Гейдельбергѣ народное и естественное право, онъ также первый осмѣлился указывать на недостатки и несообразности современнаго ему устройства Германіи. Его книга: «De statu reipublicae germanicae» надѣлала въ свое время много шума, и Пуффендорфъ до самой смерти не открывалъ псевдонима (Мозамбана), подъ которымъ онъ выпустилъ ее въ свѣтъ. Исторію Пуффендорфъ излагалъ съ политической точки зрѣнія и свое «Введеніе» къ исторіи

замѣчательнѣйшихъ евронеискихъ государствъ предназначалъ, какъ руководство государственнымъ людямъ. Здѣсь откинуты прежняя рутина, бесполезныя филологическія тонкости, и вниманіе обращено на внутреннее состояніе государствъ, на обстоятельства, служившія причинами возвышенія и упадка ихъ. Разсказываютъ, при этомъ, что Бужинскій, переводчикъ Пуффендорфа, выпустилъ одно рѣзкое мѣсто въ его исторіи, но Петръ назвалъ его за это глупцомъ и приказалъ перевести *). Въ другомъ же своемъ сочиненіи: «О должностяхъ челоѣка и гражданина» Пуффендорфъ стремился опредѣлить, на началахъ естественнаго права, роль каждаго гражданина въ государствѣ, причину возникновенія законовъ, ихъ значеніе и степень нравственной обязанности для общества. Отъ закона, издаваемаго правительственною властью, авторъ требуетъ уже внутренней, покоряющей себя силы, требуетъ логики, убѣдительнои для каждаго здравомыслящаго челоѣка. «Кто бы ни единой причины показать не можетъ, для чего мнѣ, и не хотящу, обязательство хочется

*) Вотъ что, между прочимъ, говорится въ этомъ мѣстѣ: «Заворны же (руссіе) и невоздержательны суть, свирѣлы и кровежаждущіе челоѣды, въ вещьхъ благополучныхъ безчинно и нестерпимою гордостію возносятся; въ противныхъ же вещьхъ низложеннаго ума и сокрушеннаго... ко прибыли и лихвѣ, хитростію собираемой, никій же народъ паче удобенъ есть. Рабскій народъ рабски смиряется, и жестокостію власти воздержаться въ повиновеніи любятъ, и якоже всѣ игры въ бояхъ и равахъ у нихъ состоятся, тако бичевъ и плетей у нихъ частое есть употребленіе». Бужинскій, хоть можетъ быть и отплевывался, но все таки перевелъ эту тираду.—Слѣдуетъ однако замѣтить, что Петръ I-ый былъ болѣе щекотливъ, когда критика касалась его правленія, нежели когда она порекала недостатки управляемаго имъ народа.

наложить, кромѣ единого насилія, той мене устрашить можетъ, дабы, зла вѣщаго удаляясь, ему повиновался. Но когда страхъ минуетъ, тогда все могу паче по моей волѣ, нежели по его дѣлать» (§ 5, II гл.). Итакъ, страхъ наказанія признается Пуффендорфомъ недостаточной гарантеей для исполненія закона; безъ разсудительныхъ поводовъ и подкрѣпленный «единымъ насиліемъ», законъ есть только личная прихоть власти ¹⁾. Само собой разумѣется, что въ петровское время подобное пониманіе закона не всегда переходило въ дѣйствительность; но, тѣмъ не менѣе, новыя понятія объ общественныхъ правахъ и обязанностяхъ западали въ умы по инициативѣ самой верховной власти.

Сближаясь для своихъ государственныхъ цѣлей съ Западною Европою, русскій царь дорожилъ толками о себѣ, возбуждавшимися въ европейской печати. «Петръ Великій — пишетъ г. Пекарскій въ своемъ изслѣдованіи ²⁾», — понималъ очень хорошо силу и значеніе общественнаго мнѣнія въ Европѣ и сознавалъ то вліяніе, которое имѣли на него, даже и въ началѣ XVIII-го столѣтія, журналистика и различныя политическія изданія. О Россіи петровскихъ временъ европейскіе журналы и публицисты говорили или съ насмѣшками, когда дѣло шло объ умственномъ состояніи страны, или съ опасеніями, похожими на страхъ римлянъ при слухахъ о варварахъ, когда получались извѣстія о воинскихъ успѣхахъ русскаго царя. Видя это, Петръ желалъ, чтобы жур-

¹⁾ Любопытно, что переводъ исторіи Пуффендорфа былъ запрещенъ въ продажѣ при Аннѣ Іоанновнѣ — вѣроятно, за «опасный» либерализмъ — но черезъ нѣсколько лѣтъ опала была снята съ него.

²⁾ Наука и литер. при Петрѣ В. Т. I, стр. 90—91.

валисты и издатели были на его сторонѣ, т. е. они должны были увѣрять европейскую читающую публику, что въ Россіи не такъ все плохо, какъ это обыкновенно принято думать, что, напротивъ, тамъ происходитъ много примѣчательнаго по волѣ царя и вслѣдствіе распоряженій его министровъ, которые, всѣ безъ исключенія, отличнѣйшіе, образованнѣйшіе люди и т. д. Чтобы имѣть такіе печатные отзывы, полагали въ тѣ времена достаточнымъ нанять съ десятокъ голодныхъ журналистовъ и писателей, которые и обязывались писать статьи о Россіи въ извѣстномъ направленіи, сообразномъ съ видами правительства. Адвокатовъ за Россію изъ европейскихъ журналистовъ и писателей вербовали во всѣхъ государствахъ — и это было спеціальностью барона Гюйссена. Послѣ Петра у насъ не хлопотали о томъ, что будутъ писать о Россіи за границей, а потому и нашего агента по этой части предали забвенію, и онъ, когда фонъ-Гавенъ (датск. путешественникъ 1736—1740 г.) былъ въ Россіи, — вынужденнымъ нашелся напомнить о себѣ въ подробной запискѣ, гдѣ не пропущено ни одного учено-литературнаго путешествія барона въ Германію на пользу Россіи. Этотъ Гюйссенъ, первый офиціозный въ Россіи публицистъ, былъ прежде совѣтникомъ при княжескомъ домѣ Вальдекъ; но потомъ, вызванный въ Россію Паткулемъ, посвятилъ свой литературный талантъ новому отечеству. Въ условіяхъ, заключенныхъ имъ съ Петромъ, онъ бралъ на себя, между прочимъ, слѣдующія обязанности: 1) переводить, печатать и распространять царскія постановленія, издаваемые для устройства военной части въ Россіи; 2) склонять голландскихъ, германскихъ и другихъ

странъ ученыхъ, чтобы они посвящали царю или членамъ его семейства, или наконецъ царскимъ министрамъ замѣчательныя изъ своихъ произведеній, преимущественно касающіяся исторіи, политики и механики; также, чтобы эти ученые писали статьи къ прославленію Россіи. Этотъ литературный контрактъ напоминаетъ собой грамоту, выданную Тессингу: и тутъ, и тамъ выражается одинаково заботливость о прославленіи царя и Россіи. Худой молвы Петръ Великій вообще боялся, и если вѣрить Нейгебауэру, о которомъ мы будемъ сейчасъ говорить, изъ Россіи того времени нелегко выпускали иностранцевъ-офицеровъ, именно по боязни, чтобы они не стали разглашать въ Европѣ разныхъ невыгодныхъ для насъ слуховъ. Гюйссенъ добросовѣстно исполнилъ свои порученія: входилъ въ сношенія съ вліятельнымъ журналомъ «Europäische Flora», издававшимся подъ редакцію Рабенера, сочинялъ для Патеуля многія бумаги и перевелъ на разные языки письмо царя къ польскому королю Августу. По старанію Гюйсена, въ «Европейской Молвѣ» печатались хвалебныя статьи о Россіи; въ нихъ Петра сравнивали съ «солнцемъ, которое не пребываетъ на одномъ мѣстѣ, но всѣхъ подданныхъ веселитъ своимъ присутствіемъ.» Онъ просилъ также Гинца, издававшего въ Парижѣ на французскомъ языкѣ описаніе походовъ Карла XII, воздержаться отъ неприличныхъ, по его мнѣнію, выраженій, при чемъ указалъ ошибочныя свѣдѣнія, которыя и были исправлены Гинцемъ во 2-ой части его труда. Онъ же убѣдилъ римскаго профессора Гравину напечатать

*) Въ царствованіе Екатерины II-ой такое же значеніе имѣлъ «Политическій Портфель», издававшійся въ Венеціи.

похвальное слово Петру и пригласилъ Лейбница на свиданіе съ царемъ въ Торгау. Много хлопотъ испыталъ Гюйссентъ ради ложныхъ извѣстій о Россіи со стороны шведовъ; но всего болѣе усердствовалъ онъ въ полемикѣ съ Нейгебауэромъ, и книга, написанная имъ по этому поводу, «отъ государева двора въ двухъ грамотахъ апробована была, да тысячу рублей за почесть и трудъ обѣщано», хотя послѣднее обѣщаніе и не было сдержано. Полемика съ Нейгебауэромъ чрезвычайно интересна; она возникла по слѣдующему поводу. Въ 1699 году пріѣзжалъ въ Москву, съ цѣлію переговоровъ, отъ саксонскаго курфюрста, генералъ Карловичъ, съ которымъ Петръ намѣревался отправить за границу, для обученія, царевича Алексѣя. Предположеніе это не сбылось за смертію Карловича. Въ свитѣ посла *) прибылъ въ Россію и сынъ одного данцигскаго бюргера, Нейгебауэръ, слушавшій лекціи въ Лейпцигскомъ университетѣ. По отзыву одного лица, удостовѣрившаго, что Нейгебауэръ былъ человѣкъ «нарочитой остроты», этотъ иностранецъ опредѣленъ наставникомъ (или, какъ онъ себя называлъ, гофмейстеромъ) къ царевичу Алексѣю. Но уже въ концѣ 1701 г. обнаружались неудовольствія между нѣмцемъ и русскими, состоявшими при царевичѣ. Нейгебауэръ настаивалъ, чтобы ему подчинили этихъ лицъ, «понеже если всякій изъ нихъ будетъ дѣлать что хочетъ, то невозможно царевича изряднымъ нравамъ и порядочному житію научить, зане нѣкоторые, отъ злости, всѣ труды его портить будутъ». Далѣе онъ просилъ и совсѣмъ удалить нѣкоторыхъ приближенныхъ ца-

*) По другимъ извѣстіямъ, Нейгебауэръ былъ вызванъ въ Москву прямо изъ-за границы и пріѣхалъ въ іюнь 1701 г.

ревича, въ томъ числѣ особенно несправившагося ему русскаго учителя, Никифора Вяземскаго,—на томъ основаніи, что эти люди «неудобны быть у царевича, котораго зѣло воздерживать надлежитъ». Просьбы Нейгебауэра не исполнялись, и 23-го мая 1702 г. въ Архангельскѣ, за обѣдомъ у царевича, произошла крупная ссора между учителями, нѣмцемъ и русскимъ. Нейгебауэръ былъ выведенъ изъ себя тѣмъ, что Вяземскій и Нарышкинъ говорили тихо и смѣялись съ царевичемъ, который терпѣть не могъ Нейгебауэра. Учитель замѣтилъ, что царевичу неприлично, при постороннихъ, говорить тихо съ своими приближенными. Нарышкинъ и Вяземскій оспаривали это замѣчаніе съ насмѣшками. Вскорѣ Алексѣй Петровичъ, по совѣту Вяземскаго, положилъ было на блюдо обглоданную кость. Нейгебауэръ снова замѣтилъ, что обглоданныя кости оставляются на тарелкѣ, а класть ихъ на блюдо, съ котораго берутъ другіе, невѣжливо. По этому случаю учителя начали между собою споръ, перешедшій въ сильную брань: Вяземскій называлъ Нейгебауэра собакой, а тотъ величалъ своихъ противниковъ варварами. Производился розыскъ, и Нейгебауэръ былъ сначала удаленъ отъ должности учителя царевича, а потомъ (въ 1704 г.) высланъ и совсѣмъ изъ Россіи на гамбургскомъ кораблѣ. За границей онъ далъ полную волю своему раздраженію, и въ 1704 г. появилась въ Германіи презлая брошюра: «Письмо знатнаго нѣмецкаго офицера къ тайному совѣтнику одного высокаго владѣтеля». Подъ именемъ нѣмецкаго офицера, повѣствующаго о русскихъ дѣлахъ, скрывался, конечно, самъ Нейгебауэръ. Въ этой брошюрѣ обиженный педагогъ, хорошо знавшій, чѣмъ можно насолить своимъ противникамъ, со-

вѣтуеть всѣмъ иностранцамъ не вѣрить обѣщаніямъ русскаго правительства и не ѣхать въ Россію, «въ эту варварскую страну, гдѣ будутъ обращаться съ ними безъ всякаго состраданія». Затѣмъ авторъ рассказываетъ разные случаи дурнаго обращенія не только съ простыми офицерами, но даже съ посланниками иностранныхъ державъ. Случаи подобраны въ такомъ родѣ: «польскій генералъ и посланникъ, баронъ Ланге, былъ пожалованъ отъ царя собственноручно ударами... майора Кирхена царь передъ подкомъ назвалъ поноснымъ словомъ и, плюнувъ ему въ глаза, вырвалъ у него шпагу... капитанъ Форбусъ былъ наказанъ шпицрутеномъ, а передъ тѣмъ генералъ изъ русскихъ, сказавъ: «я хочу ошельмовать тебя!» далъ ему пощечину... Меншиковъ злостно поступаетъ съ нѣмцами, а потомъ навязываетъ ихъ нѣмецкимъ офицерамъ... полковникъ Реннъ давно былъ бы наказанъ кнутомъ, еслибъ его жена благоразумно не вмѣшалась въ дѣло». Насколько вѣрны всѣ эти факты — разбирать не наше дѣло; но ихъ ловкій и правдоподобный выборъ, дѣйствительно, могъ отбить охоту у иностранцевъ, вообще косо смотрѣвшихъ на Россію, поступать къ царю на службу. Брошюра Нейгебауэра была запрещена въ Пруссіи и Саксоніи; шведы же старались распространять ее всѣми способами. Тогда-то Гюйссенъ написалъ отвѣтъ, гдѣ прямо говоритъ о «гофмейстерѣ» Нейгебауэрѣ: обвиняетъ его въ надменныхъ замашкахъ, въ желаніи стать выше всѣхъ, въ плохомъ обученіи наслѣдника, и опровергаетъ факты, приводимые въ «Письмѣ нѣмецкаго офицера». Такимъ образомъ, Гюйссенъ защищаетъ Меншикова отъ несправедливыхъ будто бы обвиненій Нейгебауэра, причемъ со-

чиняетъ для «Данилыча» новую родословную, производя его отъ хорошей литовской фамиліи; рассказываетъ по-своему случай съ барономъ Ланге, исторію дѣвицы Монсъ и т. д. Приведя ссору Нейгебауэра съ царевичемъ, увлекшійся защитникъ Петра совѣтуетъ своему земляку радоваться, что онъ благополучно убрался восвояси, ибо «въ другихъ государствахъ его засадили бы въ бастилію или другую какую крѣпость на многіе годы, не спрашивая, что онъ сдѣлалъ дурнаго, какъ это дѣлается и съ высокими министрами, которые, не смотря на прежнія свои вѣрныя службы, не имѣли счастья понравиться государю или его приближеннымъ». Досадуя на Нейгебауэра за подробное описаніе употребленія батога и не имѣя въ запасѣ никакихъ существенныхъ возраженій, Гюйссенъ съ насмѣшкою говоритъ: «можно думать, что авторъ часто видѣлъ все это своими глазами и увеселялъ свои нѣжныя чувства подобными спектаклями. По всей справедливости можно пожелать таковыхъ наказаній, какъ заслуженную награду, всѣмъ пасквилянтамъ, особенно тѣмъ изъ нихъ, которые нападаютъ грубымъ образомъ на коронованныхъ особъ». Въ другихъ мѣстахъ своей діатрибы Гюйссенъ называетъ Нейгебауэра «архи-шельмою (erz-schelm), похитителемъ чести и клеветникомъ». Нейгебауэръ не остался въ долгу и, въ отвѣтъ на пространное обличеніе, написалъ «Kurtze Gegenantwort auf des sjaarischen Pasquillanten, гдѣ онъ снова возвращается къ Меншикову и объясняетъ весьма недвусмысленно причину его возвышенія при царскомъ дворѣ. На грубыя выходки Нейгебауэръ также не скупится: «Что же негодай—говоритъ онъ—намаралъ о поведеніи гофмейстера въ Москвѣ, то это не заслуживаетъ

нибавого отвѣта, потому что основу для своихъ розсказней онъ могъ найти только въ своемъ воровскомъ мозгу. Пускай подлецъ описываетъ прекрасно русскихъ по своей волѣ и возможности, но свѣтъ и особенно дворы, императорскій и королевскіе, знаютъ уже, что это за раки такіе». О личности Гюйссена раздраженный антагонистъ его отзывается, что баронъ «имѣетъ нѣкоторыя свѣдѣнія въ литературѣ и что онъ малый не безъ способностей; но обратилъ хорошее, что въ немъ есть, на пользу варварскихъ тирановъ, и на стыдъ и посрамленіе своихъ честныхъ соотечественниковъ.»

Предоставивъ барону Гюйссену вѣдаться съ иностранными публицистами, Петръ заботился и о томъ, чтобы побивать внутри государства понятія и предразсудки, завѣщанные стариной и поднимавшіеся въ отпоръ его реформаціоннымъ стремленіямъ. Большую помощь оказывалъ ему, въ этомъ случаѣ, Теофанъ Прокоповичъ. Оставляя въ сторонѣ личныя качества этого замѣчательнаго человѣка, его двоедушіе и склонность къ интригѣ, отчасти оправдываемыя духомъ времени и его шаткимъ положеніемъ въ средѣ духовенства, нельзя не признать, что онъ былъ способный и дѣльный пропагандистъ реформы, очень много послужившій Петру и своимъ краснорѣчіемъ, какъ проповѣдникъ, и своимъ перомъ, какъ авторъ «Регламента» синоду и «Перваго ученія отрокомъ». Живымъ словомъ, откликавшимся на всѣ важнѣйшіе современные вопросы, Прокоповичъ положительно замѣнялъ Петру правительственную газету, и не меньше Гюйссена, хотя въ иномъ духѣ, полемизировалъ съ врагами своего государя. Публика, слушавшая и читавшая Прокоповича (проповѣди его печатались вскорѣ по произнесе-

ній), была не та, что у Гюйсена, и средства для ея вразумленія употреблялись тоже другія. Въмѣсто отвлеченнаго схоластическаго витійства, Прокоповичъ, именемъ церкви, развивалъ въ своихъ проповѣдяхъ политическія идеи и этимъ безконечно превосходилъ своихъ индифферентныхъ предшественниковъ. Такъ напр., по возвращеніи государя изъ чужихъ краевъ, Прокоповичъ произнесъ два слова, въ которыхъ доказывалъ законность и государственную пользу путешествій, въ особенности для правителей царствъ; морская побѣда, одержанная надъ шведами кн. Голицынымъ, дала ему поводъ сказать похвальное слово нашему зарождавшемуся флоту и объяснить значеніе для Россіи морскихъ силъ. Возставая противъ замѣнутаго національнаго быта, подтверждаемаго азіатскими предразсудками, Прокоповичъ ссылаясь на Шестодневъ Василя Великаго и доказывалъ, что самъ Богъ предписываетъ необходимость взаимнаго «друголюбія человѣковъ». «Понеже — говоритъ онъ — невозможно было людямъ имѣть коммуникацію земнымъ путемъ отъ конца до конца міра сего, того ради промыслъ Божій проліялъ промежъ селенія человѣческая водное естество, взаимному всѣхъ странъ сообществу послужить могущее». Въ «Словѣ о баталіи полтавской», сказанномъ въ годовщину этой битвы, въ 1717 г., Прокоповичъ говорилъ: «Нѣчто было (въ древней Россіи), чего не завидѣли намъ сосѣди, и было нѣчто, о чемъ боялися, дабы не было. Не была еще регула воинская (т. е. регулярная армія), не были искусства инженерныя, не были обоего чина архитекторы, не былъ флотъ, не была сила на морѣ». Замѣчательно въ высшей степени его «Слово о власти и чести царской», вызванное участіемъ нѣкоторыхъ ду-

ховныхъ лицъ въ дѣлѣ царевича Алексѣя Петровича. Слово это произнесено въ томъ же году (1718 г., 6 апрѣля), какъ начался судъ надъ царевичемъ; въ немъ Прокоповичъ говорить о «противствѣ верховной власти, открывшемся въ нынѣшнія времена», о «грѣхѣ, въ Россіи приключившемся». Противниковъ верховной власти ораторъ раздѣляетъ на нѣсколько группъ: одни изъ нихъ—«свободолюбцы, слышаще бо, яко свободу приобрѣте намъ Христосъ»; другіе—поклонники папства и теократіи; третьи, наконецъ,—«нѣкіе мудрецы, кои тайнымъ образомъ лъстимии или меланхоліей помрачаеми», думаютъ, что все «якоже есть высоко въ человѣцѣхъ, мерзость есть передъ Богомъ». Затѣмъ авторъ «Слова», свидѣтельствомъ апостоловъ и примѣрами изъ св. исторіи, опровергаетъ такихъ мерзослововъ; онъ надѣется, что и всякій «чистосердечный человѣкъ поплюетъ ихъ мнѣніе о властехъ», какъ о явленіи, происшедшемъ «отъ промысла просто человѣческаго или отъ превозмогшей силы» *). Всего болѣе достается тутъ «невѣждамъ, кои богословствуютъ отъ писанія, да такъ, какъ то летаютъ прузи (саранча), животное окрылатѣлое, но что чревище великое, а крыльця малыя и не по мѣрѣ тѣла, вздоймется полетѣть, да тотчасъ и на землю падаетъ: тако и они суще книгочѣи, аки бы крылатые, покушаются богословствовати, аки бы летати, да за грубость мозга бусловцами являються, не разумѣюще писанія, ни силы божія». Не трудно понять, кого разумѣетъ Прокоповичъ подъ именемъ «невѣждъ»; но онъ устраняетъ всякое сомнѣніе и прямо называетъ ихъ духовными лицами и монахами. Оппозиція «невѣждъ» петровской реформы была

*) См. «Ееф. Прокоп. слова и рѣчи», изд. 1760 г. ч. 1 стр. 149.

[illegible]

ихъ проповѣдахъ Прокоповичъ явился истѣнно истиннымъ ораторомъ, умѣвшимъ дѣйствовать на умы слушателей и излагать съ церковной ксеноди политическую программу. Въ духовномъ «Регламентѣ» и въ «Первомъ ученіи отроковъ» онъ также усердно служилъ реформѣ, какъ администраторъ и народный наставникъ. Въ предисловіи къ «Ученію отроковъ» Прокоповичъ нападалъ такъ же, какъ и въ своихъ проповѣдахъ, на тѣхъ «чужесовѣтъ книгъ, которые обращаютъ свое искусство въ орудіе злобы и дерзають уничижить плебейныя, мнимо-богословскія ученія». Эти нападки вызвали даже противъ автора доносъ извѣстнаго въ свое время ревнителя благочестія, Марселя Родинскаго, который находилъ въ «Ученіи отроковъ» несогласіи съ православіемъ «призрачныя мѣста». Въ «Регламентѣ» онъ тоже встрѣчаетъ совершенно-полицейскія тирады, касающіяся ханжества и религіознаго формализма «мнимыхъ мудрецовъ». Съ полнымъ самоотрицаніемъ нападалъ Прокоповичъ на недостатки и притязанія своего сословія, и въ «Розыскѣ историческомъ» снова подвергнулъ осужденію попытку духовенства создать теократическое государство въ государствѣ...

Изъ немногаго сказаннаго нами достаточно ясно, что печать петровскихъ временъ была только служебнымъ органомъ государственной власти и даже не изъясняла попытокъ уклониться отъ своего официальнаго характера. Сила реформы и смѣлость преобразователя еще держали умы лучшихъ людей въ искренней зависимости отъ видовъ правительства. Случай съ Бужинскимъ, выкинувшимъ самое рѣзкое мѣсто въ своемъ переводѣ, доказываетъ, что Петръ Великій предоставлялъ печати больше свободы, чѣмъ даже

искали его литературные сотрудники. Обь инициативѣ общества, даже обь отдѣльныхъ порывахъ далеко шагнувшей личной мысли, тутъ не можетъ быть и рѣчи. Въ числѣ разныхъ европейскихъ изобрѣтеній, печать пригодилась у насъ для политической реформы—и кругъ ея дѣятельности былъ опредѣленъ самой этой задачею.

Не ограничиваясь изданіемъ книгъ и брошюръ съ учено-политическимъ содержаніемъ, Петръ I положилъ начало и нашей періодической литературѣ. Еще за границей Петръ видѣлъ, какое значеніе имѣютъ періодическіе листы, сообщающіе публикѣ различныя извѣстія изъ жизни своего и чужихъ государствъ; онъ пожелалъ завести нѣчто подобное у себя, чтобы имѣть возможность распространять быстрѣйшимъ образомъ полезныя свѣдѣнія и знакомить всѣхъ интересующихся русскихъ съ ходомъ какъ нашихъ, такъ и западно-европейскихъ дѣлъ. Съ этой цѣлью онъ замѣнилъ газетами прежніе куранты. Что такое куранты—слѣдуетъ объяснить. — И до Петра Великаго предки наши не оставались въ совершенномъ невѣжествѣ насчетъ того, что происходило за предѣлами ихъ собственнаго отечества. Великокняжескіе и царскіе гонцы отправлявшіеся по дѣламъ государства въ Грецію, Польшу, Германію и въ другія мѣста, привозили оттуда разныя свѣдѣнія о состояніи тамошнихъ дѣлъ. Съ послами отправлялись подьячіе, цѣловальники, крестовые попы и «люди» пословъ. Всѣ они, по возвращеніи своемъ въ Россію, въ кругу родныхъ и друзей, рассказывали о томъ, что они видѣли или слышали въ чужихъ земляхъ. Эти заграничныя вѣсти, изустно или письменно распространяемыя въ народѣ, глаголютъ, напр. что «отъ Рима до Кольскаго острога

нѣтъ нигдѣ благочестія», что у королей и грандуковъ— «стоны аспидные, писаны золотомъ травы», что «кирки или мечети зѣло стройны», что «въ Амстердамѣ безъ мѣры людно, а трехъ вещей нѣтъ: хлѣба, воды и дровъ». Немного дошло до насъ образчиковъ подобныхъ вѣдомостей (въ «путешествіяхъ русскихъ людей въ чужія земли», изъ которыхъ одни изданы въ свѣтъ, другія же остаются въ рукописяхъ); но нельзя сомнѣваться, что эти домашнія записки нерѣдко велись и въ давнее время. Съ 1621 г. вѣдомости изъ-за границы становятся извѣстными подъ именемъ курантовъ *). Куранты содержали въ себѣ свѣдѣнія о разныхъ въ Европѣ военныхъ дѣйствіяхъ и мирныхъ постановленіяхъ. Составленіемъ этихъ курантовъ занимались въ Посольскомъ Приказѣ: тамъ, изъ донесеній отъ разныхъ заграничныхъ агентовъ, дѣлали нужныя извлеченія; а впоследствии, когда стали появляться въ Россіи печатныя иностранныя вѣдомости (съ 1631 г.), то переводили изъ нихъ любопытѣйшія статьи, текстъ переписывали на нѣсколькихъ листахъ склеенной бумаги (столбцами) и въ обычной формѣ свитковъ представляли эти куранты для прочтенія царю и нѣкоторымъ приближеннымъ людямъ. Посредствомъ этого рода вѣдомостей Посольскій Приказъ слѣдилъ изо дня въ день за ходомъ современной политики. Кильбургеръ говоритъ: «по приходѣ почтъ, газеты тотчасъ посылаются въ замокъ (Кремль), въ Посольскій Приказъ, и тамъ распечатываются, для того чтобъ ни одинъ

*) Отъ слова *currens* — текущій, бѣгущій. Слово это употреблялось для означенія передаваемыхъ вѣстей. Предполагали, что куранты введены въ употребленіе Ординнымъ—Нащокинымъ, но этотъ послѣдній управлялъ посольскимъ приказомъ при Алексѣѣ Михайловичѣ, а куранты появились гораздо ранѣе.

частный человек не узналъ прежде двора того, что происходит внутри государства и за границей, а болѣе для того, чтобы каждый остерегался писать что нибудь непозволительное и для государства вредное. Съ почтою еженедѣльно получаютъ всѣ голландскія, гамбургскія, кенигсбергскія и др., какъ печатныя, такъ и письменныя вѣдомости. Онѣ всегда переводятся на русскій языкъ и читаются царю». Это продолжалось до конца 1702 г., когда (16 декабря) послѣдовало именное повелѣніе Петра I-го, о печатаніи газетъ, слѣдующаго содержанія: «Великій Государь указалъ — по вѣдомостямъ о воинскихъ и о всякихъ дѣлахъ, которыя надлежатъ для объявленія московскаго и окрестнаго государствъ людямъ, печатать куранты, а, для печатанія тѣхъ курантовъ, вѣдомости, въ которыхъ приказахъ о чемъ нынѣ какія есть и впредь будутъ, присылать изъ тѣхъ приказовъ въ монастырскій приказъ». (Полн. Собр. Зак. IV, 1921).

Первый номеръ этихъ «Вѣдомостей» появился въ Москвѣ 2 января 1703 г., но еще раньше указъ царя былъ исполненъ (27 декабря 1702 г.), напечатаніемъ Юрнала о Нотебургѣ *). Относительно появленія петровскихъ вѣдомостей было высказано много библиографическихъ неточностей и противорѣчій: академикъ Георги говорилъ, что онѣ «воспріяли свое начало въ 1708 г., Сопиковъ — что онѣ стали

*) Юрналъ, или подневная роспись, что въ непосредственную осаду подъ крѣпостью Нотебургомъ чинилось сентября съ 26 числа въ 1702 г. Подробное же названіе петровскихъ «Вѣдомостей» было слѣдующее: «Вѣдомости о военныхъ и иныхъ дѣлахъ, достойныхъ званія и памяти, случившихся въ московскомъ государствѣ и въ иныхъ окрестныхъ странахъ».

издаваться съ 1728 г. ¹⁾; г. Гречъ сбивался и указывалъ цѣлые три года—1705, 1708 и 1714-й. Теперь несомнѣнно, что русскія «Вѣдомости» стали выходить съ начала 1703 г., и съ того времени изданіе ихъ продолжалось непрерывно до 1728 г. Онѣ печатались въ осьмую долю листа, церковными буквами, по 1711-й годъ въ одной Москвѣ, а съ этого года въ Москвѣ и Петербургѣ ²⁾ поочередно, гражданскими и церковными буквами. Съ 1717 г. церковный шрифтъ исчезаетъ и замѣняется навсегда гражданскимъ, но издаются вѣдомости по прежнему, то въ Петербургѣ, то въ Москвѣ, до 1728 г. Выходили же онѣ не всегда въ опредѣленный срокъ (всѣхъ номеровъ за 1703 г. вышло 39), съ экстраординарными по обстоятельствамъ прибавленіями, объемомъ отъ 2 до 7 листовъ въ каждомъ номерѣ. Вѣдомости печатались въ количествѣ 1000 экземпляровъ и, по видимому, читались усердно; по крайней мѣрѣ, нѣкоторые отдѣльные номера вѣдомостей вошли цѣликомъ въ рукописные сборники того времени. Петръ имѣлъ, на этотъ разъ, болѣе удачи, чѣмъ въ распространеніи амстердамскихъ изданій, я ему удалось таки расшевелить любознательность своей публики. Содержаніе этихъ вѣдомостей было, по своему времени, разнообразно и занимательно. Свѣдѣнія, относившіяся до Россіи, помѣщались прежде извѣстій иностранныхъ, которыя заимствовались, вѣроятно, изъ двухъ газетъ, получавшихся тогда въ посольской канцеляріи: «Breslauer Nouvelles» и «Reichs-Post-Reiter». Кромѣ того, гр. Матвѣевъ, тогдашній посланникъ

¹⁾ Сониковъ, очевидно, смѣшалъ ихъ съ «Петербургскими (академическими) вѣдомостями», которыя стали выходить съ 1728 г.

²⁾ Первый № этихъ вѣдомостей въ Петербургѣ вышелъ 11 мая 1711 г.

нашъ въ Голландіи, присылалъ царю, какъ отдѣльные нумера газетъ, издававшихся въ этой странѣ, такъ и любопытныя выписки изъ газетъ, выходившихъ въ другихъ государствахъ. Все это, вполнѣ или въ экстрактѣ, помѣщалось въ вѣдомостяхъ, и въ нѣкоторыхъ нумерахъ, въ оглавленіи иностранныхъ извѣстій, напечатано крупнымъ шрифтомъ: «Вѣдомости изъ Гаги.» Кто занимался, ближайшимъ образомъ, редакціей «Вѣдомостей» — съ точностью неизвѣстно; думаютъ, что это былъ графъ Ѳ. А. Головинъ. Но Петръ I и самъ часто отмѣчалъ для перевода статьи изъ иностранныхъ газетъ и вообще пристально слѣдилъ за ходомъ этого дѣла, прочитывая даже корректуру перваго нумера. Можно сказать, поэтому, что великій преобразователь Россіи былъ также и ея первымъ журналистомъ.

Чтобы читатели могли наглядно познакомиться съ характеромъ и содержаніемъ петровскихъ вѣдомостей, мы приводимъ здѣсь, въ сокращеніи, первый ихъ номеръ, состоявшій изъ двухъ листовъ. При этомъ, для удобства чтенія, мы нѣсколько измѣняемъ сбивчивую орфографію подлинника:

«Вѣдомости.»

На Москвѣ вновь нынѣ пушекъ мѣдныхъ, гоубицъ и мартировъ вылито 400. Тѣ пушки ядромъ, по 24, по 18 и по 12 фунтовъ; гоубицы бомбомъ пудовые и полупудовые; мартиръ бомбомъ девяти, трехъ и дву-пудовые и меньше. И еще много формъ готовыхъ, великихъ и среднихъ, къ литью пушекъ, гоубицъ и мартировъ. А мѣди нынѣ на пушечномъ дворѣ, которая приготовлена къ новому литью, болѣе 40,000 пудъ лежитъ.

Повелѣніемъ его величества московскія школы умножаются, и 45 человекъ слушаютъ философію и уже діалектику окончили.

Въ математической штурманской школѣ болѣе 300 человекъ учатся и добръ науку приемятъ.

На Москвѣ, ноябрю съ 24 числа по 24 декабря, родилось мужскаго и женскаго полу 386 человекъ.

Изъ Персиды пишутъ: индѣйскій царь послать въ дарахъ великому Государю нашему слона и иныхъ вещей не мало. Изъ града Шемахи отпущенъ онъ въ Астрахань сухимъ путемъ.

Изъ Казани пишутъ: на рѣкѣ Соку нашли много нефти и мѣдной руды; изъ той руды мѣдь выплавили изрядну, отчего чають не малую бытъ прибыль московскому государству.

Изъ Сибири пишутъ: въ китайскомъ государствѣ езуитовъ весьма не стали любить за ихъ лукавство, а иные изъ нихъ и смертію казнены.

Изъ Олонца пишутъ: города Олонца попъ Иванъ Окуловъ, собравъ охотниковъ пѣшихъ съ тысячу человекъ, ходилъ за рубежъ въ свѣйскую границу и разбилъ свѣйскіе—ругозенскую и гиппонскую, и сумерскую, и керисурскую заставы. А на тѣхъ заставахъ шведовъ побилъ многое число... и соловскую мызу сжегъ, и около соловской многіе мызы и деревни, дворовъ съ тысячу, пожегъ же...

Изъ Львова пишутъ, декабря въ 14 день: силы казацкіе подъ полковникомъ Самусемъ ежедневно умножаются; вырубя въ Немировѣ коменданта, съ своими ратными людьми городъ овладѣли, и уже намѣренъ есть Бѣлую церковь добывать, и чають, что и тѣмъ городкомъ овладѣть, какъ Палей съ нимъ соединится съ своими войски...

Изъ Ніена, въ ингерманландской землѣ, октября въ 16 день. Мы здѣсь живемъ въ бѣдномъ постановленіи, понеже Москва въ здѣшней землѣ не добро поступаетъ, и для того многіе люди отъ страха отселѣ выбурекъ ¹⁾ и въ финляндскую землю уходятъ, взявъ лучшіе пожитки съ собою.

Крѣпость Орѣшекъ — высокая, кругомъ глубокою водою объятая, — въ 40 верстахъ отселѣ, крѣпко отъ московскихъ войскъ осажена, и уже болѣе 4000 выстрѣловъ изъ пушекъ, вдругъ по 20 выстрѣловъ, было, и уже болѣе 1500 бомбъ выброшено, но по сіе время не великій убытокъ учинили, а еще много трудовъ имѣти будутъ, покажутъ ту крѣпость овладѣють...

Изъ Амстердама, ноября въ 10 день. Отъ Архангельскаго города пишутъ, сентября въ 20 день, что какъ его Царское величество войска свои въ различныхъ корабляхъ на Бѣлое море запровадилъ, оттолѣ далѣ пошелъ и корабли паки назадъ къ Архангельскому городу прислалъ, и обрѣтаются тамо 15,000 человѣкъ солдатъ, и на новой крѣпости, на Двинкѣ нарѣченной, ежедневно 600 человѣкъ работаютъ ²⁾.

На Москвѣ 1703 г., генваря во 2 день.

Читатель видитъ, что содержаніе петровскихъ «Вѣдомостей» было, по преимуществу, фактическое; политическихъ взглядовъ, намековъ, даже выразительнаго подбора фактовъ мы почти не встрѣчаемъ. Только въ польскихъ дѣлахъ, которыя всегда сильно интересовали Петра, можно заподозрить этотъ

¹⁾ Т. е. въ Выборгъ.

²⁾ Получивъ извѣстіе, что шведы готовятся напасть на Архангельскъ, Петръ укрѣпилъ устье Двины батареями, а на взморь вложилъ новую крѣпость, назвавъ ее «Двинкою».

предназначенный выборъ извѣстій. Тутъ описывались довольно подробно стычки поляковъ съ саксонскими войсками, волненія на сеймахъ и пр. и пр. «Польша—говорится въ одномъ номерѣ» Вѣдомостей—отъ шведовъ, саксонцевъ и польскихъ (т. е. своихъ собственныхъ) войскъ и казаковъ досажденіе пріемлетъ». Въ другомъ мѣстѣ находимъ: «на сеймѣ стали противность чинить, и паки всѣ разошлись, ничего не договорясь». Есть даже насмѣшливый каламбуръ: «указы о люблинскомъ сеймѣ объявлены здѣсь (въ Варшавѣ), но не всѣмъ любимы стали» *).

Въ «Вѣдомостяхъ» нѣтъ еще правильнаго раздѣленія извѣстій по рубрикамъ: политическія новости чередуются съ разными явленіями природы; ничтожное событіе стоитъ рядомъ съ крупнымъ и даже излагается подробнѣе его. Такъ напр., вслѣдъ за политическими извѣстіями изъ Парижа (Вѣдом. 1724 г.) попадаетъ новость: «Одна бѣдная жонка родила дочь съ четырьмя руками, съ четырьмя ногами, съ двумя фундаментами и пр. Послѣ смерти потрошили ее и нашли въ тѣлѣ два сердца, два легкіе, два пузыря и четыре почки». Редакція «Вѣдомостей», желая распространить свое изданіе въ возможно большемъ кругу читателей, очевидно рассчитывала, что запасъ новыхъ и разнообразныхъ свѣдѣній, сообщаемыхъ ею, расшевелитъ апатію грамотныхъ людей и возбудитъ въ нихъ интересъ къ тому, что совершалось за предѣлами ихъ домашняго очага. Для достиженія этой цѣли полезны были и курьезы, въ родѣ приведеннаго, весьма интересовавшіе тогдашнюю публи-

*) См. Вѣдомости 1703 г. № 18.

ку. Политическія разсужденія Петръ вполне предоставлялъ книгамъ и брошюрамъ, а вѣдомости предназначалъ для скорѣйшаго распространенія извѣстій о европейскихъ дѣлахъ и о своихъ собственныхъ распоряженіяхъ.

Съ теченіемъ времени, измѣнялись и совершенствовались петровскія вѣдомости. Усовершенствованіе началось съ внѣшней стороны: гражданскій шрифтъ вытѣснилъ (съ 1717 г.) прежній церковнославянскій; въ 1711 г. появляется, въ первый разъ, на вѣдомостяхъ виньетка съ изображеніемъ Невы, а въ 1723 г. всѣ послѣдніе 19 номеровъ вышли съ такими же виньетками, рѣзанными на деревѣ. Чтеніе вѣдомостей распространялось, мало по малу, въ разныхъ классахъ народа; но какъ географическія свѣдѣнія были у насъ очень скудны да и то заключались въ тѣсномъ кругу высшаго сословія или лицъ, получившихъ образованіе въ духовныхъ училищахъ,—то, чтобы сдѣлать газету доступнѣе разумнѣю каждому читателя, редація, съ конца 1723 г., стала помѣщать въ газетныхъ номерахъ краткія свѣдѣнія о замѣчательнѣйшихъ мѣстахъ въ разныхъ странахъ свѣта. Напр. «Версалія — село и забавный домъ короля французскаго, близко Парижа»; «Гага — въ Голландіи городъ или, лучше сказать, село самое хорошее, порядочно строенное и увеселительнѣйшее во всей Европѣ» и т. п. Въ 1725 г. пять послѣднихъ номеровъ озаглавлены уже такъ: «Россійскія Вѣдомости»; номера отмѣчаются цифрами, чего прежде не было. Послѣ смерти Петра I-го изданіе его вѣдомостей продолжалось по 1728-ой годъ. Въ этомъ же году, въ силу регламента, Академія наукъ стала издавать (со 2-го января) свою газету подъ названіемъ «С. Петербургскихъ Вѣдомостей».

и печатать ее въ академической типографіи. Нелишнимъ будетъ замѣтить, что эти «академическія» вѣдомости не могутъ считаться въ журнальномъ смыслѣ (какъ хотѣлось нѣкоторымъ) продолженіемъ «Россійскихъ Вѣдомостей», ибо въ такомъ случаѣ и «Московскія Вѣдомости» могутъ претендовать (и дѣйствительно претендовали) на эту честь, — даже съ болѣею основательностью, такъ какъ на нѣкоторыхъ нумерахъ петровской газеты (1703 г.) стоитъ почти тоже заглавіе: «вѣдомости московскіе». Но тогда, — чего добраго! — и «Русскія Вѣдомости», нынѣ издающіяся въ Москвѣ, потянутся за ними... Итакъ, москвичамъ полезно помнить, что ихъ университетская газета издается только съ 1756 г., а редакція «Петербургскихъ Вѣдомостей» тоже должна знать, что названіе, форматъ и, отчасти, характеръ этого изданія совершенно отличаютъ его отъ прежнихъ вѣдомостей, и слѣдовательно генеалогія его не восходитъ раньше 1728 г. Значитъ, напрасно обѣ почтенныя газеты стали бы гоняться за древностью лѣтъ и оспаривать другъ у друга пальму библіографическаго первенства...

II.

Герардъ — Фридрихъ Миллеръ, какъ редакторъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» и «Историческихъ примѣчаній» къ нимъ. Борьба съ суетворіемъ. Политическая сторона въ газетѣ. Вопросъ о правѣ частныхъ людей обсуждать политическія событія. Взглядъ Ломоносова на призваніе журналистики. «Ежемѣсячныя сочиненія». Характеръ тогдашней сатиры. Развѣтѣ журналистики при императрицѣ Екатеринѣ II-й и репрессивныя мѣры противъ нея. «Политическій журналъ». Мѣры имп. Павла I.

С.-Петербургскія (академическія) вѣдомости выходили дважды въ недѣлю (дни выхода измѣнялись въ разные годы) съ историческими, генеалогическими и географическими примѣчаніями *), тѣ и другія въ 4^о, иногда съ чертежами предметовъ по части астрономіи, механики и пр. Редакторомъ С.-Петерб. Вѣдомостей (съ 1728 до половины 1730 г.) и «Историческихъ примѣчаній» къ нимъ сдѣлался извѣстный академикъ Миллеръ, о которомъ мы считаемъ себя вправе поговорить нѣсколько подробнѣе, какъ о первомъ русскомъ журналистѣ, чуждомъ исключительно—официальнаго характера петровской прессы.

Герардъ-Фридрихъ Миллеръ родился 18 окт. 1705 г. въ Герфордѣ, маленькомъ вестфальскомъ городкѣ. Отецъ его занималъ должность директора въ Герфордской гимназій.

*) Эти «примѣчанія» продолжались по 1742 г.

По словамъ Бюшинга (біографа Миллера), въ Герфордѣ сохранилось преданіе, что во время проѣзда Петра В. черезъ этотъ городъ, любопытный мальчикъ выбѣжалъ къ нему на встрѣчу безъ башмаковъ, которые спряталъ его отецъ, желая удержать его дома. Этотъ случай былъ растолкованъ друзьями его семейства, какъ предзнаменованіе предстоявшей ему поѣздки въ Россію. Въ 1722 г., семнадцати лѣтъ отъ роду, Миллеръ поступилъ уже въ Ринтельскій университетъ, изъ котораго черезъ годъ перешелъ въ Лейпцигскій. Здѣсь главными его наставниками были профессора Готшедъ и Менкенъ, изъ которыхъ послѣдній доставилъ ему мѣсто въ Россіи. Менкенъ былъ корреспондентомъ только что учрежденной въ то время С.-Петербургской Академіи Наукъ, и по просьбѣ Блюментроста (перваго президента Академіи), вызывавшаго ученыхъ изъ-за границы, рекомендовалъ ему Миллера на мѣсто адъюнкта по исторической каведрѣ. Такимъ образомъ Миллеръ, съ согласія своего отца, отправился въ Петербургъ, куда и прибылъ 5 ноября 1725 г. По первоначальному плану, Академія Наукъ была не только академіей, въ нынѣшнемъ ея значеніи, но и первымъ въ Россіи высшимъ учебнымъ заведеніемъ. Миллеръ, немедленно по пріѣздѣ, сталъ преподавать въ высшихъ классахъ академической гимназіи латинскій языкъ, исторію и географію. Обязанность эту онъ исправлялъ постоянно въ теченіи 1726 и 1727 г. Трудолюбіе и добросовѣстность отличали собой всю ученую карьеру Миллера. Не смотря на разныя житейскія невзгоды, на разныя канцелярскія каверзы, которыми запутывалъ его (начиная съ 1739 г.) его недругъ Шумахеръ, этотъ честный человѣкъ

шелъ неуклонно по своей дорогѣ и обогатилъ нашу литературу огромною массою историческихъ, географическихъ и статистическихъ свѣдѣній, собранныхъ имъ—какъ во время десятилѣтняго странствованія по Сибири (съ 1733 — до 1744 г.), вмѣстѣ съ Гмелинымъ и Делиемъ, такъ и во время управленія московскимъ архивомъ иностранной коллегіи (съ 1766 г. до самой смерти Миллера, въ 1793 г.). Нельзя сказать, чтобы Миллеръ равнялся, по природной даровитости, съ другимъ своимъ соотечественникомъ, Шлецеромъ, или съ нашимъ «поморцемъ» Ломоносовымъ, но онъ, во всякомъ случаѣ, употребилъ свои способности самымъ полезнымъ образомъ и сдѣлалъ все, что можно было требовать отъ ученаго съ его размѣромъ умственныхъ силъ. Достоинно сожалѣнія, что болѣе даровитый Ломоносовъ, по своему взгляду на разработку русской исторіи, стоялъ гораздо ниже этого ученаго нѣмца и ожесточенно преслѣдовалъ его за обидное будто бы для русскихъ мнѣніе о скандинавскомъ происхожденіи нашихъ первыхъ князей. При этомъ Ломоносовъ,—какъ гонитель Миллера,—оказывался даже въ одной фалангѣ съ ненавистнымъ Шумахеромъ, который насолилъ, кажется, въ равной степени обоимъ академикамъ...

Журнальная дѣятельность Миллера началась съ 1728 г., когда онъ принялъ на себя редакцію С.-Петербургскихъ Вѣдомостей и сталъ выдавать къ нимъ особое прибавленіе подъ вышеприведеннымъ названіемъ. Начиная это прибавленіе къ «Вѣдомостямъ», Миллеръ желалъ преимущественно испытать, какъ будетъ оно встрѣчено читателями. Успѣхъ превзошелъ его ожиданія: публика съ охотою читала его листки, и многіе члены Академіи поддерживали его

своимъ сотрудничествомъ *). Въ 1729 г., въ «Письмѣ къ благосклонному читателю», Миллеръ самъ объявилъ, что до его примѣчаній «нашлись многіе охотники», и онъ, вслѣдствіе этого, нашелся вынужденнымъ участить срокъ ихъ выпуска. Съ этого времени «Примѣчанія» выходили не только на русскомъ, но и на нѣмецкомъ языкахъ, по полу-листу въ каждый почтовый день. Если попадались въ «Вѣдомостяхъ» фразы, непонятныя для читателей, то Миллеръ дѣлалъ на нихъ свои примѣчанія—сначала только историческаго и географическаго содержанія; но въ 1729 г. было уже извѣщено: «Мы (т. е. редакція) намѣрены такъ распространить примѣчанія, что не токмо, какъ въ прочемъ обыкновенно, новую политическую исторію, генеалогію и географію изъяснять, но и о всемъ прочемъ наше мнѣніе объявлять будемъ. Такожде не оставимъ, при данномъ случаѣ, изъ разныхъ частей натуральной, церковной и ученой исторіи многое прибавлять». Эти примѣчанія, зародышъ которыхъ мы находимъ въ петровскихъ вѣдомостяхъ 1723 г., (въ объясненіи географическихъ именъ) Миллеръ почерпалъ, преимущественно изъ иностранныхъ періодическихъ изданій, какъ напр. изъ англійскихъ—«Зрителя» и «Опекуна». Характеръ примѣчаній былъ чисто академическій: публикѣ, не имѣвшей въ рукахъ почти никакихъ учебныхъ пособій, но уже приученной Петромъ къ чтенію вѣдомостей, Миллеръ предлагалъ свѣдѣнія по самымъ разнообразнымъ предметамъ и тѣмъ подготавливалъ ее къ сознательному воспріятію читаннаго. Въ «письмѣ къ благосклонному

*) Успѣхъ «примѣчаній» доказывается, между прочимъ, тѣмъ, что въ 1765 г., въ Москвѣ, они были напечатаны вторымъ изданіемъ.

читателю», о которомъ мы сейчасъ упомянули (Примѣч. 1729 г. № 1), Миллеръ разсказалъ вкратцѣ исторію возникновенія вѣдомостей въ Европѣ, причѣмъ отдалъ италянцамъ первое благодареніе за вымысленіе такъ пріятнаго и полезнаго дѣла». Развиваясь въ Европѣ, — у французовъ, голландцевъ и нѣмцевъ, — «сія мода, напоследокъ, въ здѣшнія сѣверныя провинціи произошла». Строка «Вѣдомостей» о римскихъ кардиналахъ вызвала слѣдующее примѣчаніе: «Кардинальскій чинъ зѣло отъ древнихъ временъ въ римской церкви въ употребленіи былъ. Нинѣ разумѣются подъ симъ званіемъ знатнѣйшія папскаго духовнаго чина особы, которыхъ коллегіумъ въ 70-ти особахъ состоитъ, которое число не всегда въ комплектѣ... они требуютъ рангъ въ равенствѣ съ королями и князьями и имѣютъ совершенное первенство предъ ихъ посланниками и титулъ еминенціи (свѣтлости)». Далѣе разсказывается самый обрядъ избранія кардиналовъ. Въ примѣчаніяхъ видна забота и о насущной пользѣ читателей: въ статьѣ о «моровомъ повѣтріи» (примѣч. 1729 г. № X) объясняются причины, симптомы и врачеваніе этой болѣзни; говоря о камнѣ извѣстѣ, — находимомъ у насъ въ Сибири, — изъ котораго выдѣлывалось нестараемое полотно, Миллеръ также имѣлъ въ виду возможность практическихъ результатовъ. Не забывалъ онъ нападать на суевѣрія, господствовавшія въ русскомъ обществѣ. Такъ напр. извѣстіе о появленіи кометы въ Анконѣ было имъ комментировано слѣдующимъ образомъ: «При семъ случаѣ намѣрены мы о кометахъ и протчихъ небесныхъ знакахъ нѣчто упомянуть, дабы чрезъ то благочестнаго читателя, которому таковыя бы необыч-

нше видѣнія соблазнію быть могли, изъ сомнѣнія вывести. Комета есть чрезвычайная звѣзда на небеси, которая свое собственное движеніе имѣетъ и тою въ нѣкоторыя времена видима бываетъ. Она является, почитай всегда, или съ краткимъ, или съ долгимъ, свѣтлымъ хвостомъ, о чемъ слѣдующій резонъ дается: понеже кометы обыкновенно веругъ мгловатымъ кругомъ окружены бывають, въ которомъ отъ онаго назадъ сіяющіе лучи солнечные на противу стоящей сторонѣ зѣло явно и ясно видѣть можно... Изъ сего описанія, которое въ примѣчаніяхъ знатнѣйшихъ астрономовъ подтверждается, выразумѣть можно, что кометы—натуральныя, отъ Бога сотворенныя, твари суть, которыми, по учрежденіямъ ихъ движенія, въ нѣкоторыя времена, конечно, являтися надлежитъ, и тако оныя никоимъ образомъ за признаки несчастія сочтены быть не могутъ, хотя временемъ незапно учинилось, что какое несчастливое посѣщеніе на земли въ тое же время приключилось, какъ комета на небеси видима была.—Приключались часто злыя и несчастливыя времена безъ явленія кометъ, а напротивъ того примѣчено, что при явленіи разныхъ кометъ болѣе счастливыхъ, какъ несчастливыхъ случаевъ приключилось (?). И тако не надлежитъ отъ нихъ, хотя чрезвычайныхъ, звѣздахъ какіе сумнѣнія имѣть, ниже оный хвостъ, какъ простой народъ рассуждаетъ, за метлу какую признавать, яко бы Богъ оную при наказаніи какой земли употреблять хотѣлъ... Изъ Анконы увѣдомлено нынѣ, что пять дней по явленіи оной кометы, еще другая звѣзда въ образѣ креста видима была, и потомъ молодой чело-

вѣкъ, на лошади сидящій, на шляпѣ перо имѣя, усмотрѣнь. И можетъ быть, что въ облакахъ или на небеси нѣкоторые ясные лучи разныхъ видовъ являлись, и тако онымъ (т. е. наблюдателямъ) отъ премѣненія оныхъ (лучей) такія фигуры въ мысли показались¹⁾. Конечно, Миллеръ не былъ особенно бдителенъ въ преслѣдованіи разныхъ суевѣрій и нерѣдко печаталъ, безъ всякой оговорки, извѣстія въ такомъ родѣ, что «нѣкоторая дамская персона имѣла, на сихъ дняхъ, съ духомъ нѣкотораго кавалера особый случай»... (т. е. свиданіе съ умершимъ)²⁾. Нѣкоторыя иностранныя слова въ «Примѣчаніяхъ» объясняются: при словѣ *фабула* ставится въ скобкахъ—«басня», при словѣ *матерія*—вещество и т. п.

Что касается С.-Петербур. Вѣдомостей, издававшихся подъ редакціей Миллера, то онѣ въ одномъ только отношеніи измѣнились,—и прибавимъ, къ худшему,—противъ петровскихъ вѣдомостей: извѣстія о нашихъ внутреннихъ дѣлахъ сообщались въ нихъ крайне скудныя, и, большею частію, припечатывались въ концѣ газетнаго нумера. (Такъ продолжалось вплоть до 1758 г.). Въ этихъ скудныхъ извѣстіяхъ говорилось только о разныхъ торжествахъ, смотрахъ и чинопроизводствахъ. Иногда появляются замѣтки о погодѣ, напр. «воздухъ въ здѣшнихъ околичностяхъ (въ окрестностяхъ Петербурга) уже такъ легокъ и пріятенъ сталъ, какъ только оный пожеланъ быть можетъ. 27 дня сего мѣсяца (марта) прошелъ ледъ рѣки Невы, и уже на оной на судахъ ѣздить

¹⁾ «Примѣч.» 1728 г. № 2.

²⁾ «Примѣч.» 1728 г. № 5.

можно» ¹⁾. Но иностранныя извѣстія были, по прежнему, обильны и разнообразны, хотя также слѣдовали одно за другимъ, безъ всякаго раздѣленія ихъ по родамъ и по степени важности. Приведемъ образчики подобныхъ извѣстій:

«Изъ Рима, ноября отъ 29 дня. Графъ фонъ-Ламбергъ имѣеть, яко цесарскій посланникъ, сюды прибыть. Нѣкоторый церковный служитель здѣшняго собора Санктъ-Іоанна фонъ-Латерана взятъ подъ караулъ, понеже онъ кости звѣрей за мощи святыхъ продавалъ и чрезъ нѣкоторые вымысленные буды другихъ обманывать вспомоществовалъ». (1728 г. № 1).

«Изъ Дублина, въ Ирландіи, отъ 9 дня декабря. Сего дня начался парламентъ, а нижній совѣтъ выбралъ господина Вильгельма Конолла въ ихъ шпрекеры (предлагатели о дѣлахъ ²⁾). Вицерой, Милордъ Картеретъ, былъ въ верховномъ совѣтѣ и говорилъ предъ обѣма Парламентами слѣдующую рѣчь» ³⁾. (Затѣмъ приводится самая рѣчь. Приводились также рѣчи англійскаго короля къ своему парламенту).

«Изъ Лондона, отъ 1 дня генваря. Здѣсь еще сумнѣваются о счастливомъ успѣшествованіи трактатовъ между нашимъ и Гишпанскимъ дворами ⁴⁾), ибо хотя слухъ вездѣ разсѣянъ былъ, что король Гишпанскій прелиминарныя артикулы къ предбудущему общему миру подтвердилъ, то однакожъ извѣстны мы здѣсь, что сіе токмо подъ нѣкоторыми кондиціями учинилось, которые нашему двору отъ Гишпаніи предложены». (id. № 6).

¹⁾ «Прим». 1768 г. № 2.

²⁾ Примѣчаніе редакціи Петерб. вѣдомостей.

³⁾ «Прим». 1728 г. № 3.

⁴⁾ Здѣсь говорится о Суассонскихъ конференціяхъ.

«Изъ Рима, отъ 14 дня февраля. Во вторникъ къ вечеру окончены карнавальскія увеселенія, ко удовольствію всякаго, при пусканіи лошадей въ запуски въ Алкорзѣ. (Сія есть одна изъ красивѣйшихъ улицъ здѣсь, гдѣ варварскіе ¹⁾ лошади въ запуски бѣгаютъ, и знатнѣйшіе особы въ Воскресные и праздничные дни гуляютъ»). ²⁾ (id. № 21).

«Изъ Штрасбурга пишутъ, что нѣкоторая особа женскаго полу, не бывъ за мужемъ, въ 60 году отъ рожденія ея, 23 дня прошлаго мѣсяца февраля умерла, у которой нижняя часть чрева отъ времени до времени великая стала, которая однакожъ весьма никакой болѣзни не чувствовала, и какъ тамошніе медики, хотя они при лѣченіи ея всякіе лѣкарства употребляли, ей никакой пользы учинить не могли, то стали они оную по смерти ея анатомировать, дабы имъ причину такой необыкновенной болѣзни открыть, и нашли внутри чрева ея великую змѣю». ³⁾ (id № 22).

При передачѣ политическихъ извѣстій, Миллеръ не позволялъ себѣ быть ихъ судьей и держался только фактовъ, которые почерпалъ изъ самыхъ достовѣрныхъ иностранныхъ газетъ. Какъ смотрѣли въ то время на участіе «непризванныхъ лицъ» въ рѣшеніи политическихъ вопросовъ—покажетъ намъ «копія съ письма изъ Амстердама», напечатанная въ № 88 С.-Петербур. Вѣдомостей за 1728 г. Здѣсь идетъ рѣчь объ одной юмористической статьѣ или брошюрѣ, — напечатанной, какъ видно, во Франціи, — гдѣ «мирныя дѣла»

¹⁾ Т. е. варварскія.

²⁾ Миллеръ, и въ самомъ текстѣ С.-Петербур. Вѣдомостей, часто дѣлалъ подобныя объясненія.

³⁾ Вѣроятно—солитеръ?

(т. е. конференціи въ Суассонѣ) «представлены, яко картеная (карточная) игра, и 20 и большее число персонъ въ одной квадриллѣ представляются». По словамъ корреспондента, это «безобразное ума разсужденіе принято у многихъ за благо», и онъ очень беспокоится, чтобы эта насмѣшка и въ Петербургѣ «не была такимъ же образомъ принята». Коснувшись вообще права частныхъ лицъ обсуждать политическія дѣла, корреспондентъ отзывается такъ: «Воинскихъ и мирныхъ дѣлъ основательно разсуждать суть, по моему мнѣнію, токмо тѣ достойны, которые случаи имѣютъ съ знатными министрами обходиться и которые о ихъ тайныхъ дѣлахъ извѣстны. Нѣкоторые принуждены скорлупами довольствоваться вмѣсто того, что сіи ядра находятъ; и когда такой, который сіе счастье не имѣетъ, думаетъ, что онъ подлинно прицѣпился, то находится часто, что онъ въ средину цѣли не потрафилъ.»

«Что есть страннѣе—продолжаетъ нашъ авторъ—яко то, когда кто дѣйствительныя и важныя дѣла смѣшно изображаетъ? Что худшѣе, яко то, когда кто 20 и большее число персонъ въ одной квадриллѣ представляетъ? что есть обыкновеннымъ правиламъ въ разсужденіи противнѣе, яко то, когда кто склоненіямъ нрава (т. е. своей прихоти) надъ мудростью власть даетъ и въ самомъ началѣ измѣняетъ, къ какой партіи онъ склоняется? и что напоследокъ безразумнѣе, яко то, когда кто такіе персоны въ игру (т. е. въ игру картежную) вмѣняетъ, которые до оной весьма не касаются».

«Разсудите сами—заключаетъ корреспондентъ—если сіе жесточайшаго разсмотрѣнія не стоитъ. Я оное письмо того ради къ вамъ посылаю, дабы вы со мною о слабости изда-

теля сожалѣли... Воздержность издателя да защищается такъ, какъ можетъ; такъ именуемое благое разсужденіе, которымъ французскій народъ хвалится (статья появилась во Франціи) изъ него не узнавается, или, если оно отъ прежнихъ временъ такъ изъ порядка вышло, то-бы хорошо было, когда-бы особливое собраніе учредить, котораго члены постарались бы, чтобы оно въ прежнее состояніе, чисто и безъ фальши, привести. Но находится мало таковыхъ людей въ свѣтѣ, которые основательнаго и добраго разсужденія суть.

Итакъ, по мнѣнію амстердамскаго корреспондента—лица, повидимому принадлежавшаго къ вліятельному кругу,—сообщеніе публикѣ политическихъ извѣстій лежитъ на обязанности свѣдущихъ людей, близкихъ къ министрамъ, и нужно даже учредить «особливое собраніе», которое бы имѣло своей спеціальной задачей: заботиться о приведеніи этихъ извѣстій «въ чистоту и безъ фальши»,—если ужъ они разъ и сказаны несвѣдущею рукою.

Подобный же немудреный взглядъ на журналистику, какъ на официальный отчетъ о дѣятельности официальныхъ собраній, высказываетъ и Ломоносовъ, не возвысившійся въ этомъ случаѣ надъ уровнемъ обывденныхъ воззрѣній. Разница состоитъ только въ томъ, что Ломоносовъ совсѣмъ даже изгоняетъ современную политику изъ круга журнальных обсужденій и ограничиваетъ этотъ кругъ одними резонированными выборками изъ академическихъ изданій и мемуаровъ. Взглядъ этотъ высказанъ былъ Ломоносовымъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Въ 1754 г., въ одномъ лейпцигскомъ журналѣ (*Commentaria de rebus in scientia naturali et medicina gestis*) по-

явилась очень злая рецензія на ученыя работы нашего знаменитаго академика, особенно нападавшая на его новыя теоріи о теплотѣ и стужѣ, о химическихъ растворахъ и объ упругости воздуха. Рецензія эта принадлежала, кажется, лейпцигскому профессору Кестнеру, извѣстному въ то время математику и сатирику, который, по выраженію Эйлера—«не умѣлъ держать въ уздѣ своего сатирическаго духа», и своими колкими насмѣшками возстановилъ противъ себя почти всѣхъ своихъ ученыхъ современниковъ. Ломоносовъ,—крайне самолюбивый и всегда раздражительный, если дѣло касалось его ученой дѣятельности, — не оставилъ, конечно, безъ возраженія помянутую рецензію и отвѣтилъ противъ нея цѣлой диссертацией, въ которой для насъ интересны: какъ предисловіе, заключающее въ себѣ разсужденіе «о должности журналистовъ» такъ и конечные выводы или совѣты автора *).

«Всякій знаетъ—говоритъ Ломоносовъ въ началѣ своего разсужденія—какъ стали значительны и быстры успѣхи наукъ съ тѣхъ поръ, какъ было сброшено иго рабства, и мѣсто его заступила свобода сужденія. Но нельзя не знать также, что злоупотребленіе этой свободой было причиною весьма ощутительныхъ золъ, число которыхъ однакожь далеко не было бы такъ велико, еслибъ большая часть пишущихъ не смотрѣли на свое авторство, какъ на ремесло и на средство къ пропитанію, вмѣсто того, что—

*) Диссертация эта, написанная на латинскомъ языкѣ, была, по ходатайству Эйлера, переведена Формеемъ на французскій языкъ для журнала: «Bibliothèque Germanique» и тамъ напечатана въ 1755 г. Мы пользуемся русскимъ переводомъ ея, сдѣланнымъ г. Куникомъ въ «Сборникѣ матеріаловъ для исторіи имп. академіи наукъ въ XVIII вѣкѣ». (Спб. 1865 г.)

бы имѣть въ виду точное и основательное изслѣдованіе истины. Оттого-то происходитъ столько излишне-смѣлыхъ выводовъ, столько странныхъ системъ, столько противорѣчивыхъ мнѣній, столько заблужденій и негѣпостей, что науки были бы давно подавлены этою грудю хлама, еслибы ученые общества не старались соединенными силами противодѣйствовать такому бѣдствію. Только что люди замѣтили, что въ потокѣ литературы смѣшаны истина съ ложью, вѣрное съ невѣрнымъ, и что наука подвергается опасности лишиться всякаго дѣйствія, если она не будетъ выведена изъ этого положенія, — образовались общества ученыхъ и учреждены были какъ бы литературныя судилища для оцѣнки сочиненій, съ тѣмъ, чтобы отдавать каждому автору справедливость на основаніи самихъ точныхъ началъ естественнаго права. Таково (въ равной мѣрѣ) происхожденіе академій и обществъ, завѣдывающихъ изданіемъ журналовъ. Первые наблюдаютъ, чтобы! до выхода въ свѣтъ, сочиненія ихъ членовъ подвергались строгому разсмотрѣнію, которое не допускало бы примѣся заблужденія къ истинѣ, не позволяло бы выдавать однѣхъ гипотезъ за достовѣрные положенія и стараго за новое. Что касается до журналовъ, то они обязаны представлять самыя точныя и вѣрныя сокращенія появляющихся сочиненій съ присоединеніемъ къ нимъ иногда справедливаго сужденія либо о самомъ содержаніи, либо о какихъ нибудь обстоятельствахъ, относящихся къ выполненію. Цѣль и польза такихъ извлеченій состоитъ въ томъ, чтобы быстрѣе распространять въ ученомъ мірѣ знакомство съ новыми книгами.

Сблизивъ и даже отождествивъ такимъ образомъ задачи ученыхъ обществъ и журналистики, Ломоносовъ замѣчаетъ далѣе, что «излишне было бы указывать: сколько услугъ академіи оказали наукамъ своими прилежными трудами и учеными мемуарами, какъ усилился и распространился свѣтъ истины съ тѣхъ поръ, какъ возникли эти полезныя учрежденія.» Но гораздо менѣе доволенъ онъ результатами быстрого развитія журналистики. «Журналы—по его мнѣнію—также могли бы много способствовать къ приращенію человѣческихъ знаній, еслибъ издатели были въ состояніи точно выполнить задачу, которую на себя приняли, и оставались въ настоящихъ предѣлахъ, предписываемыхъ имъ этой задачей. Способность и воля—вотъ чего отъ нихъ требуютъ. Способность нужна для того, чтобы основательно и съ знаніемъ дѣла обсуждать ту массу разнородныхъ предметовъ, которая входитъ въ ихъ планъ; воля, — чтобы, не имѣя въ виду ничего иного, кромѣ истины, нисколько не поддаваться предразсудкамъ и страстямъ. Тѣ, которые присвоили себѣ званіе журналистовъ безъ такого дарованія и расположенія, не сдѣлали бы этого, еслибъ,—какъ было ужъ замѣчено,—ихъ не подстрекнулъ къ тому голодъ и не заставилъ ихъ судить и рядить о томъ, чего они не разумѣютъ. Дѣло дошло до того, что нѣтъ столь дурнаго сочиненія, котораго бы не расхвалили и не превознесъ какой нибудь журналъ, и наоборотъ, какъ бы превосходенъ ни былъ трудъ, его непременно очернить и растерзаетъ какой нибудь ничего не знающій или несправедливый критикъ. Послѣ того, количество журналовъ такъ умножилось, что уже некогда было бы читать книги

полезныя и нужныя или самому думать и трудиться, еслибъ кто захотѣлъ собирать у себя и только перелистывать Эфемериды, Ученныя газеты, Литературныя записки, Библіотеки, Комментаріи и другія періодическія изданія этого рода. Потому разсудительные читатели и держатся только такихъ журналовъ, которые признаны за лучшіе, и оставляютъ въ сторонѣ тѣ жалкія компіляціи, которыя только переписываютъ или искажаютъ сказанное другими, и которыхъ вся заслуга въ томъ, что онѣ, не стѣсняясь ничѣмъ, расточаютъ желчь и ядъ. Журналистъ свѣдущій, проникательный, справедливый и скромный сдѣлался чѣмъ то въ родѣ фенікса».

Выразивъ далѣе сожалѣніе о томъ, что журнальная критика «вредитъ репутаціи ученыхъ, уничтожаетъ истину» и угрожаетъ «погубить совершенно свободу разсужденія» (?)—Ломоносовъ, въ заключеніе своей диссертациі, находитъ необходимымъ «предписать такимъ критикамъ точныя границы, въ которыхъ имъ слѣдуетъ оставаться», и тутъ же указываетъ эти границы въ семи пунктахъ, совѣтуя «затвердить ихъ хорошенько» какъ лейпцигскому журналисту, такъ и всѣмъ его собратьямъ:

«1. Кто беретса сообщать публикѣ содержаніе новыхъ сочиненій, долженъ напередъ взвѣсить свои силы, ибо онъ предпринимаетъ трудъ тяжелый и весьма сложный, котораго цѣль не въ томъ, чтобы передавать вещи извѣстныя и истины общія; но чтобъ умѣть схватить новое и существенное въ сочиненіяхъ, принадлежащихъ иногда людямъ самымъ гениальнымъ (кажется, скромный намекъ на самого автора диссертациі). Говорить о нихъ невѣрно и неразсудительно, значить подвергать себя презрѣнію и по-

смѣянію, значить уподобляться карлу, который захотѣлъ бы поднять на своихъ плечахъ горы».

«2. Чтобы быть въ состояніи произнести приговоръ искренній и справедливый, надобно освободить свой умъ отъ всякаго предразсудка, отъ всякаго предубѣжденія, и не требовать, чтобы авторы, которыхъ мы беремся судить, рабски подчинялись идеямъ, господствующимъ надъ нами (*soient servilement astreints aux idées qui nous dominent*), считая и безъ того этихъ писателей нашими истинными врагами, съ которыми мы призваны вести открытую войну».

«3. Сочиненія, о которыхъ отдается отчетъ, должны быть раздѣлены на два разряда: къ первому принадлежатъ сочиненія одного автора, писавшаго ихъ, какъ частное лицо; ко второму — труды, издаваемые цѣлыми корпорациями съ общаго согласія, по тщательномъ ихъ разсмотрѣніи. И тѣ, и другіе заслуживаютъ, конечно, всякаго вниманія и уваженія со стороны критики: нѣтъ такого сочиненія, которое не требовало бы соблюденія естественныхъ законовъ справедливости и приличія. Нельзя однакожь не согласиться, что нужно вдвое болѣе осторожности, когда дѣло идетъ о сочиненіяхъ, уже носящихъ на себѣ печать уважительнаго одобренія (*qui portent déjà le sceau d'une approbation respectable*), просмотрѣнныхъ и признанныхъ достойнымъ изданія отъ лицъ, которыхъ совокупныя знанія естественно превосходятъ свѣдѣнія журналиста, и прежде, нежели онъ рѣшится указывать недостатки и осуждать, онъ долженъ неоднократно взвѣснить то, что намѣренъ сказать, для того чтобы быть въ состояніи поддержать и оправдать свои слова, если въ томъ встрѣ-

тится надобность. Такъ какъ сочиненія этого рода бываютъ обыкновенно тщательно обработаны, и предметы въ нихъ рассматриваются систематически, то малѣйшіе пропуски или неточности могутъ подать поводъ къ опрометчивымъ сужденіямъ, которыя уже и сами по себѣ постыдны, но становятся такими еще болѣе, когда въ нихъ ясно высказываются небрежность, невѣжество, поспѣшность, духъ партій и недобросовѣстность».

«4. Журналистъ не долженъ торопиться порицать гипотезы. Онѣ позволительны въ предметахъ философскихъ, и это даже единственный путь, которымъ величайшіе люди успѣли открыть истины самыя важныя. Это какъ бы порывы, доставляющіе имъ возможность достигнуть знаній, до которыхъ умы низкіе и пресмыкающіеся въ пыли (*les esprits objects et rampants dans la poussière*) никогда добраться не могутъ».

«5. Особенно же пусть журналистъ запомнить, что всего безчестнѣе для него красть у кого либо изъ собратьевъ высказываемыя имъ мысли и сужденія и присвоивать ихъ себѣ, какъ будто бы онъ самъ придумалъ ихъ, тогда какъ ему извѣстны едва заглавія книгъ, которыя онъ уничтожаетъ. Такъ бываетъ часто съ наглымъ рецензентомъ, который отваживается дѣлать извлеченія изъ книгъ физическихъ и медицинскихъ».

«6. Журналисту позволяется опровергнуть то, что, по его мнѣнію, заслуживаетъ того въ новыхъ сочиненіяхъ, хотя это вовсе не настоящее его дѣло и не прямое его призваніе (*quoique ce ne soit pas son objet direct et sa vocation proprement dite*). Но кто уже разъ берется за

то, (тотъ) долженъ вполне ознакомиться съ мыслями автора, разобрать всѣ его доказательства и противопоставить имъ дѣйствительныя возраженія и основательные доводы, прежде нежели онъ присвоитъ себѣ право осуждать другого. Одни сомнѣнія и произвольные вопросы не даютъ этого права, ибо нѣтъ такого невѣжды, который не могъ бы предложить гораздо болѣе вопросовъ, нежели сколько самый свѣдущій человѣкъ въ состояніи рѣшить. Журналистъ не долженъ особенно воображать, что непонятное и необъяснимое для него—таково же и для автора, который могъ имѣть свои причины (?) къ тому, чтобы сократить или опустить нѣкоторые обстоятельства».

«7. Наконецъ, онъ никогда не долженъ имѣть слишкомъ высокаго мнѣнія о своемъ превосходствѣ, о своемъ авторитетѣ и о достоинствѣ своихъ сужденій. Выполняемое имъ дѣло само по себѣ уже непріятно для самолюбія тѣхъ, кого онъ затрогиваетъ (*la fonction qu'il exerce étant déjà par elle-même désagréable à l'amour propre de ceux qui en sont objet*): было бы, съ его стороны, очень неблагоприятно оскорблять ихъ намѣренно и вынуждать къ обнаруженію его безсилія (*désobliger volontairement et de les forcer à mettre au grand jour son insuffisance*)».

Нельзя не замѣтить, что, помимо добрыхъ совѣтовъ, полезныхъ въ равной мѣрѣ какъ для журналистовъ, такъ и для академиковъ (какъ напр. совѣтъ «не имѣть слишкомъ высокаго мнѣнія о своемъ превосходствѣ и авторитетѣ»),—диссертация эта больше выражаетъ собой негодованіе уязвленнаго автора, чѣмъ достаточное пониманіе той «должно-

сти журналиста», о которой взялся разсуждать онъ. Недобросовѣстные и невѣжественные люди, — берущіеся не за свое дѣло и вносящіе въ него элементы разложенья, — встрѣчаются, конечно, во всѣхъ сферахъ общественной дѣятельности; но едва ли основательно было со стороны Ломоносова видѣть ихъ почти исключительно въ журналистѣхъ, гдѣ, будто бы, нельзя и найти «свѣдущаго, проникающаго и справедливаго» человѣка. Прямое опроверженіе этому взгляду представилось сейчасъ же въ лицѣ того журналиста, который отнесся вполне уважительно къ претензіи Ломоносова и далъ ей возможность публично же высказаться, не смотря на то, что раздраженный ученый клеймилъ смаху все сословіе, къ которому принадлежалъ, между прочимъ, и этотъ «справедливый» журналистъ. Но, независимо отъ вопроса о болѣе или меньшей личной и порядочности тогдашнихъ журнальных дѣятелей, — самый взглядъ Ломоносова на задачу и характеръ журнальнаго дѣла никакъ не можетъ быть признанъ правильнымъ, ибо въ немъ упущена цѣликомъ изъ виду вся общественно-политическая роль журналистики. Учебная книга, академическій мемуаръ дѣлаютъ излишнимъ, по этому взгляду, всякое періодическое изданіе, а взрослая публика трактуется авторомъ диссертациі, какъ учащееся юношество.

Ломоносовъ едва разрѣшаетъ журналисту «опровергать въ разбираемыхъ сочиненіяхъ то, что заслуживаетъ опроверженія,» и обязываетъ его только передавать ихъ содержаніе, съ соблюденіемъ особой почтительности, — равняющей-ся подобострастію, — къ коллективнымъ трудамъ ученыхъ

корпораций. Насколько журналисты вѣтрены, необразованы и корыстны, настолько же члены «ученыхъ корпорацій» солидны, свѣдуши и руководимы только одними высшими научными интересами. Такимъ образомъ, патентованная ученость, которая и безъ того склонна застыть въ своемъ неподвижномъ величїи, являлась сама себѣ судьей и получала безраздѣльное право вязать и рѣшить всѣ научные и литературные вопросы. Совершенно аналогическая мысль,—только перенесенная въ область политики,—мысль о необходимости «особливыхъ собраній», соответствующихъ ученымъ корпораціямъ Ломоносова, была высказана и въ цитированномъ нами письмѣ амстердамскаго корреспондента С.-Петербургскихъ Вѣдомостей.

Успѣхъ «Примѣчаній» внушилъ Миллеру намѣреніе заняться изданіемъ ежемѣсячнаго учено-литературнаго журнала, съ цѣлью распространить въ русской публикѣ серьезныя научныя познанія, относящіяся главнымъ образомъ къ прошедшему и настоящему быту Россіи. Назначенный въ началѣ 1754 г. конференцъ-секретаремъ академіи, Миллеръ немедленно предложилъ ей приступить къ такому изданію, а вмѣстѣ съ тѣмъ составилъ подробную программу журнала и принялъ на себя его редакцію подъ наблюденіемъ особаго академическаго комитета. Изданіе появилось въ 1755 г. подъ именемъ «Ежемѣсячныхъ Сочиненій», но въ теченіе десятилѣтняго своего существованія оно три раза мѣняло это первоначальное названіе. На первомъ планѣ стояли здѣсь ученныя изысканія самого Миллера по русской исторіи; но въ журналѣ были введены также и другого рода статьи, безъ раздѣленія ихъ на особыя рубрики (которыя появились, въ

первый разъ, въ карамзинскихъ журналахъ),—введены уже не для «пользы», а для «увеселенія» читателей. Въ предисловіи къ журналу говорилось: «Предлагаемы будутъ здѣсь всякія сочиненія, какія только обществу полезны быть могутъ: не одни только разсужденія о собственно такъ называемыхъ наукахъ, но и такія, которыя въ экономіи, въ купечествѣ, въ рудокопныхъ дѣлахъ и пр. къ поправленію чего нибудь поводъ подать могутъ... Для сохраненія благопристойности и для отвращенія противныхъ слѣдствій вносятся не будутъ сюда никакіе явные споры или чувствительныя возраженія на сочиненія другихъ, ни же иное что съ обидою написанное на кого бы то ни было... Мы равномѣрно желаемъ, чтобъ и стихотворцы сочиненія свои намъ сообщали, между которыми могутъ быть и забавныя; то мы надѣемся, что сочинители оныхъ ни до кого персонально касаться не будутъ». Такимъ образомъ, въ журналѣ печатались правоучительныя притчи, сны, повѣсти — оригинальныя и переводныя изъ англійскихъ и нѣмецкихъ журналовъ. Характеръ этихъ правоученій и сатиръ былъ еще не таковъ, какимъ онъ сталъ въ позднѣйшее время: Миллеръ очень опасался всякихъ «персональных указаній» и «противныхъ слѣдствій» полемики, потому и въ сатирахъ его журнала развивались только одні общія идеи, въ самой отвличенной и безобидной формѣ. Форма аллегорій считалась самой удобной для такого кроткаго исправленія нравовъ; нравственныя идеи, пересыпанныя нападками на общечеловѣческіе пороки, излагались въ видѣ сновъ, разговоровъ въ царствѣ мертвыхъ и т. п. Для пущаго обличенія зла, авторъ бралъ названіе какого

нибудь ходячаго порока и рассказывалъ его исторію, какъ-то: союзъ съ другими пороками и вражду съ добродѣтелью. Въ подобномъ родѣ есть, напримѣръ, одна «Аллегорія», въ которой рассказывается о гордости, что она «родилась отъ упрямства и презорства; ненависть и зависть были дѣдъ и бабка съ отцовской, а безуміе и самолюбіе—съ материнской стороны». Гордость вступаетъ потомъ въ бракъ съ честолюбіемъ, губить мужа и сама погибаетъ. Въ другихъ беллетристическихъ произведеніяхъ развивается мысль, что «благодѣтели и милосердіе потребны героямъ», что «монаршее имя любовью къ подданнымъ безсмертіе пріобрѣтаетъ» и т. п. По части серьезныхъ статей съ научнымъ характеромъ, Миллеръ переводилъ изслѣдованія Бюффона, Линнея, статьи медицинскаго содержанія и пр. и пр. Современные извѣстія оставались въ окончательномъ пренебреженіи: они ограничивались, и то рѣдко, описаніемъ фейерверковъ, придворныхъ церемоній, приема пословъ и т. п. Критика была еще въ зародышѣ и не считалась необходимой принадлежностью журнала. Поэтому «Ежемесячныя сочиненія» представили, за первые 8 лѣтъ своего существованія, только двѣ критическія статьи, изъ которыхъ въ одной разбиралась трагедія Сумарокова: «Синавъ и Труворъ». Но за то съ 1763 г. появляется въ журналѣ постоянная библіографія русскихъ и иностранныхъ книгъ.

Съ 1756 г. стали выходить въ Москвѣ, при университетѣ, «Московскія Вѣдомости» (дважды въ недѣлю) по образцу Петербургскихъ, въ томъ видѣ, какъ онѣ издавались при Миллерѣ. Первыми редакторами ихъ были Поповскій и Барсовъ. Здѣсь такъ же, какъ и въ академическихъ вѣдомостяхъ,

печатались преимущественно иностранныя политическія извѣстія, безъ всякой тенденціи, а также новости собственно московскія: описаніе университетскихъ празднествъ, объявленія отъ университета и присутственныхъ мѣстъ.

Итакъ, кромѣ элементарно-поучительнаго характера, въ изданіяхъ Миллера впервые пробилась и сатирическая струя, скованная первоначально своей аллегорической формой. Но этой слабой струѣ предстояло скоро разростись въ довольно широкій потокъ. Въ 1759 г. одинъ изъ сотрудниковъ «Ежемесячныхъ Сочиненій», сатирикъ и драматургъ Сумароковъ открылъ свой собственный журналъ, подъ названіемъ «Трудолюбивой Пчелы», въ которомъ сатирѣ отводилось уже болѣе мѣста и значенія, чѣмъ въ «Ежемесячныхъ Сочиненіяхъ». Сумароковъ осмѣивалъ не пороки вообще, а пороки русскаго общества въ частности. Еще полнѣе выразилось это сатирическое направленіе въ цѣломъ рядѣ журналовъ, возникшихъ при Екатеринѣ II. — Извѣстно, что въ первое время своего царствованія Екатерина II, торжественно осудивъ своего предшественника за «развращеніе всего того, что Петръ Великій въ Россіи установилъ», дала обѣщаніе заботиться единственно о благосостояніи своего государства, «дабы вывести усердныхъ сыновъ Россіи изъ унынія и оскорбленія». Императрица издала, одинъ за другимъ, нѣсколько указовъ, или облегчавшихъ народныя тягости, или осуждавшихъ, рѣзко и беспощадно, весь прежній порядокъ дѣлъ. Сюда относятся: указъ объ уничтоженіи ненавистой всѣмъ тайной канцеляріи и другой—о лихоимствѣ—гдѣ съ замѣчательной прямою было раскрыто все зло, господствовавшее въ то время въ нашихъ судахъ. Либеральное настроеніе

императрицы, желавшей прослать «россійской Минервой», отразилось и въ тогдашней литературѣ. Понимая, подобно Петру I, значеніе печати для успѣшнаго проведенія въ общество извѣстныхъ взглядовъ, Екатерина сама прибѣгала къ литературнымъ средствамъ и охотно позволяла другимъ пользоваться свободой слова,—поскольку это не противорѣчало ея государственнымъ видамъ и тѣмъ особеннымъ, полузависимымъ отношеніямъ, въ которыхъ историческая судьба поставила ее къ правящимъ классамъ русскаго народа.

Вслѣдствіе этого, положеніе тогдашнихъ журналовъ было не очень завидное; при всей своей невинности, они получали право нападать только на то, что было уже и безъ нихъ осуждено высшею властью. Писатели, которые пробовали распространить свои критическія наблюденія нѣсколько дальше обычной мѣрки, встрѣтились съ самыми затруднительными препятствіями, которыхъ, конечно, они не могли преодолѣть. Исторія притѣсненій, которымъ подверглись въ это время наши сатирическіе журналы, достаточно знакома публикѣ, и мы только напомнимъ ее въ главныхъ чертахъ. Въ 1769 г. появился еженедѣльный сатирическій листокъ «Всякая Всячина», въ изданіи котораго принимала непосредственное участіе сама императрица (см. «Матеріалы для исторіи журн. и литер. дѣятельности Екатерины II;» Зап. Ак. Н., прил. къ III т., № 6.) Направленіе этого листка было умѣренно-либеральное; въ немъ вліятельный кружокъ развивалъ инкогнито свои мысли по разнымъ вопросамъ, занимавшимъ тогда общественное мнѣніе. Примѣръ «Всякой Всячины» увлекъ на это поприще и другихъ писателей: вслѣдъ за ней появился въ томъ же году рядъ

новыхъ изданій: «И то, и се», «Ни то, ни се» (Рубана), «Подешнина» (Тузова), «Смѣсь», «Трутень» (Новикова) и «Адская почта» (Эмина). Кромѣ того, полгода выходило «Полезное съ Пріятнымъ». Но всѣ эти изданія прекратились въ концѣ года; только два изъ нихъ: «Барышокъ Всякія Всячины» (т. е. остатокъ прошлагодныхъ статей) и «Трутень» перешли на слѣдующій 1770 годъ. Самымъ смѣлымъ изъ этихъ журналовъ былъ, конечно, «Трутень» Новикова. Въ первыхъ же листкахъ своего еженедѣльнаго изданія смѣлый писатель напалъ съ такимъ ожесточеніемъ на взяточниковъ и ихъ покровителей, что осторожная «Всякая Всячина» сочла нужнымъ тогда же напечатать отповѣдь, въ которой вина неправосудія слагалась съ чиновниковъ на общество, давно привыкшее къ ябедѣ и сутяжничеству. При этомъ «Всякая Всячина» удостовѣряла, что «можетъ быть, никогда и нигдѣ какое бы то ни было правленіе не имѣло болѣе попеченія о своихъ подданныхъ, какъ нынѣ царствующая монархія», и что «ей, великой государынѣ, пріятно правосудіе, что она сама справедлива и желаетъ въ самомъ дѣлѣ видѣти справедливость и правосудіе въ дѣйствіи во всей ея области». Вопросъ о взяточничествѣ ставился здѣсь такимъ образомъ, что излишняя горячность въ преслѣдованіи его могла быть растолкована, какъ обида для верховной власти. Подобная постановка вопроса повела къ тому, что въ началѣ 1770 г. «Трутень» всѣ свои нападки на взяточниковъ помѣчалъ заднимъ числомъ, т. е. относя ихъ къ неустройству прежняго управленія,—тогда какъ въ первый годъ изданія онъ смотрѣлъ далеко не такъ благодушно на процвѣтаніе правосудія въ нашемъ отечествѣ. «Скажи, пожа-

луй—спрашивалъ, во 2-мъ листѣ «Трутня», (1769 г.) взяточникъ—дядя своего племянника—для чего ты не хочешь идти въ приказную (службу)? Почему она тебѣ противна? Ежели ты думаешь, что она, по нынѣшнимъ указамъ, не наживна, такъ ты въ этомъ, другъ мой, ошибаешься. Правда, въ нынѣшнія времена противъ прежняго не придетъ и десятой доли; но со всѣмъ тѣмъ годовъ въ десятокъ можно нажить хорошую деревеньку». Только одни прокуроры (должность, только что учрежденная въ то время) мѣшаютъ воровству и, по пословицѣ: «новая метла чисто мететъ», стараются замѣнить закономъ—беззаконіе. «Нажилъ бы я еще и не то—сѣтуешь взяточникъ—ежели бы прокуроръ со мною былъ посогласнѣе; но за грѣхи мои наказалъ меня Господь такимъ несговорчивымъ, что, какъ его не уговаривай, только онъ, какъ козы рога, въ мѣхъ не лѣзетъ... Прокуроръ нашъ человѣкъ молодой и, сказываютъ, что ученый, только я этого не примѣтилъ. Развѣ потому, что онъ въ бытность его въ Петербургѣ, накопилъ себѣ премножество книгъ, а пути нѣтъ ни въ одной. Я одинажды перебиралъ ихъ всѣ, только ни въ одной не нашелъ, котораго святаго въ тотъ день празднуется память,—такъ куда онѣ годятся? Я на всѣ его книги святцовъ своихъ не промѣняю». Но и эти неожиданные враги, по мнѣнію взяточника, ненадолго остановятъ разгулъ корысти. «Научился (прокуроръ) дѣлать в и р ш и—иронически замѣчаетъ онъ—которыми думалъ насъ оплетать; только самъ онъ чаще попадаетъ въ наши верши (т. е. сѣти). Мы его частехонько за носъ поворачиваемъ. Онъ думаетъ, что всѣ дѣла надлежитъ вершить по

наукамъ, а у насъ въ приказныхъ дѣлахъ какія науки? Это правъ, такъ тотъ и безъ наукъ правъ, лишь бы только была у него догадка, какъ приняться за дѣло, а судейская наука вся въ томъ состоитъ, чтобы умѣть искуснѣе пригибать указы по своему желанію, въ чемъ и секретари много намъ помогаютъ». Изъ этихъ словъ выходитъ уже, что прокурорскій надзоръ—не смотря на то, что онъ досаждалъ по временамъ судьямъ,—не въ силахъ былъ улучшить дѣла, имѣвшаго глубокіе органическіе недостатки: въ отсутствіи гласности, въ «гибкости» закона, въ общемъ невѣжествѣ и т. п. Еще больше утѣшаетъ взяточника та пріятная надежда, что его племянникъ, благодаря протекціи «знатныхъ господъ», можетъ и самъ попасть въ прокуроры, а затѣмъ стакнуться съ дядюшкой и вдвоемъ обирать народъ такъ искусно, что на нихъ «и просить нельзя будетъ». Но такіа зловѣщія пророчества, разумѣется, не нравились императрицѣ....

Еще рѣзче оборвали Новикова, когда онъ вздумалъ коснуться, въ прозрачныхъ обличеніяхъ, разныхъ высокопоставленныхъ лицъ, или тѣхъ—по его словамъ—«большихъ бояръ, которые угнетаютъ истину, правосудіе, честь, добродѣтель и человѣчество, и съ которыми хуже имѣть дѣло, чѣмъ съ лютымъ тигромъ». Вслѣдъ за появленіемъ подобныхъ статей, издатель «Трутна» получилъ письмо отъ одного изъ своихъ доброжелательныхъ читателей, въ которомъ его предостерегали, что статьи такого содержанія дурно принимаются при дворѣ. Между прочимъ, авторъ письма приводитъ весьма выразительныя слова одного «придворнаго господчика», сказанныя имъ про издателя «Трутна»: «Не

въ свои-де этотъ авторъ садится сави. Онъ-де зачинаетъ писать сатиры на придворныхъ господъ, знатныхъ бояръ, дамъ («Трутенъ» помѣстилъ въ IV-мъ листѣ рассказъ о томъ, какъ одна знатная барыня украла изъ гостинаго двора два мотка золотыхъ и серебряныхъ сѣтокъ), на судей именитыхъ и на всѣхъ. Такая-де смѣлость ничто иное есть, какъ дерзновеніе. Полно-де его недавно отпряла «Всякая Всячина» очень хорошо; это еще ничего: въ старыя времена послали бы-де его потрудиться для пользы государственной описывать нравы какого ни на есть царства русскаго владѣнія (т. е. въ Сибирь, по объясненію г. Пекарскаго); но нынче-де дали волю писать и пересмѣхать знатныхъ, и за такія сатиры не наказываютъ. Вѣдь-де знатный господинъ—не простой дворянинъ, что на немъ тоже взыскивать, что и на простолюдинахъ. Кто-де не имѣетъ почтенія и подобострастія къ знатымъ особамъ, тотъ уже худой слуга. Знать, что-де онъ не слыхивалъ, что были на Руси сатирики и не въ его пору, но и тѣмъ рога посломали. («Трутенъ», въ изданіи П. А. Ефремова, л. VIII, стр. 51). Письмо оканчивается благимъ совѣтомъ—«не наводить зеркала на лица знатныхъ бояръ и боярынь».

Нападки на «Трутенъ» со стороны «Всякой Всячины»,— которыми такъ восхищается «придворный господчикъ»,— дѣйствительно заслуживаютъ вниманія по своему принципиальному характеру. Война возгорѣлась по поводу того, что наши сатирическіе журналы увлеклись, по мнѣнію «Всякой Всячины», своими обличительными стремленіями и начали слишкомъ явственно «дѣлить на особъ» вмѣсто того, чтобы имѣть въ виду одни лишь пороки. Словомъ, «Вся-

кая Всячина» выразила желаніе держаться въ предѣлахъ той отвлеченной, туманно-аллегорической сатиры, которую мы встрѣчаемъ въ «Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ» Миллера, и также опасалась всякихъ «персональных указаній» и «чувствительныхъ возраженій», несомнѣстныхъ съ кроткимъ, безобиднымъ характеромъ подобной сатиры. Не раздѣляя обличительной строгости своего «плодовитаго потомства», бабушка русской сатиры (какъ называла себя «Всякая Всячина») выставила на видъ такую программу: 1) не называть слабостей пороками, 2) хранить во всякомъ случаѣ человѣколюбіе и 3) не думать, чтобъ кто могъ быть совершеннымъ. Но «Трутенъ» не рѣшился принять рекомендуемую программу и возразилъ на нее въ очень вѣской и сдержанной статьѣ. «Я самъ того мнѣнія—говоритъ Правдолюбовъ въ V-мъ листѣ «Трутня» за 1769 г.—что слабости человѣческія сожалѣнія достойны, однакожь не похвалъ, и никогда того не подумаю, чтобъ на сей разъ не покривила своею мыслью и душою госпожа ваша прабаба, давъ знать, что похвальнѣе снисходить порокамъ, нежели исправлять оныя. Многіе, слабой совѣсти, люди никогда не упоминаютъ имя порока, не прибавивъ къ оному человѣколюбія. Они говорятъ, что слабости человѣческія обыкновенны, и что должно оныя прикрывать человѣколюбіемъ; слѣдовательно, они порокамъ сшили изъ человѣколюбія кафтанъ, но такихъ людей человѣколюбіе приличнѣе называть пороколюбіемъ. По моему мнѣнію, больше человѣколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, который онымъ снисходить или (сказать по русски) потакаеть... Не понравилось мнѣ первое правило упомянутой гос-

пожи, то есть, чтобъ отнюдь не называть слабости порокомъ, будто Іоаннъ и Иванъ—не все одно. О слабости тѣла человѣческаго мы разсуждать не станемъ, ибо я не лѣкарь, а она не повивальная бабушка, но душа слабая и гибкая въ каждую сторону покривиться можетъ. Да и я не знаю, что, по мнѣнію сей госпожи, значить слабость. Нынѣ обыкновенно слабостью называется: въ кого нибудь по уши влюбиться, т. е: въ чужую жену или дочь; а изъ сей мнимой слабости выходитъ—обезчестить домъ, въ который мы ходимъ, и поссорить мужа съ женою или отца съ дѣтьми; и это будто не порокъ?.. Любить деньги есть также слабость, почему слабому человѣку простибельно брать взятки и набогатѣться грабежами. Пьянствовать также слабость, или еще привычка; однако пьяному можно жену и дѣтей прибить до полусмерти и подраться съ вѣрнымъ своимъ другомъ. Словомъ сказать, я какъ въ слабости, такъ въ порокахъ не вижу ни добра, ни различія».

Возраженія эти крайне не понравились «Всякой Всячинѣ», и она, назвавъ ихъ несправедливо «ругательствами», обвинила «Трутеня» въ томъ, что онъ «исключаетъ снисхожденіе, истребляетъ милосердіе» и даже требуетъ будто бы «за все да про все кнутомъ сѣчь». Вообразивъ себѣ все это, «Всякая Всячина» не затруднилась уже дать «Трутню» человѣколюбивый совѣтъ полѣчиться,—«дабы черные пары и желчь не оказывались даже и на бумагѣ, до коей онъ дотрогивается». Правдолюбовъ, однако, не смолчалъ. «Госпожа «Всякая Всячина»—пишетъ онъ въ отвѣтъ на гнѣвную реплику—на насъ прогнѣвалась, и наши нравоучительныя разсужденія называетъ ругательствами. Но те-

перъ вижу, что она меньше виновата, нежели я думалъ. Вся ея вина состоитъ въ томъ, что на русскомъ языкѣ изъясняться не умѣетъ и русскихъ писаній обстоятельно разумѣть не можетъ... Въ пятомъ листѣ «Трутня» ничего не писано, какъ думаетъ госпожа «Всякая Всячина», ни противу милосердія, ни противу снисхожденія; и публика, на которую я ссылаюсь, то разобратъ можетъ. Ежели я напишамъ, что больше человеколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, кто онымъ потакаетъ, то не знаю, какъ такимъ изъясненіемъ я могъ тронуть милосердіе? Видно, что госпожа «Всякая Всячина» такъ похвалами избалована, что теперь и то почитаетъ за преступленіе, если кто ее не похвалитъ. Не знаю, почему она мое письмо называетъ ругательствомъ? Ругательство есть брань, гнусными словами выраженная, но въ моемъ прежнемъ письмѣ, которое заскребло по сердцу сей пожилой дамы, нѣтъ ни кнутовъ, ни висѣлицъ, ни прочихъ слуху противныхъ рѣчей, которыя въ изданіи ея находятся... Она утверждаетъ, что я имѣю дурное сердце, потому что, по ея мнѣнію, исключая моими разсужденіями снисхожденіе и милосердіе. Кажется, я ясно написалъ, что слабости человѣческія сожалѣнія достойны, но что требуютъ исправленія, а не потачки; и такъ думаю, что сіе мое изреченіе знающему російскій языкъ и правду не покажется противнымъ ни справедливости, ни милосердію. Совѣтъ ея, чтобы мнѣ лѣчиться, не знаю—мнѣ ли больше приличенъ или сей госпожѣ? Она, сказавъ, что на пятый листъ «Трутня» отвѣтствовать не хочетъ, отвѣчала на оный всѣмъ своимъ сердцемъ и умомъ, и вся ея желчь въ ономъ письмѣ сдѣ-

лалась видна. Когда жъ она забывается и такъ мокротлива, что часто не туда плыветъ, куда надлежитъ, то, кажется, для очищенія ея мыслей и внутренности, не бесполезно ей и полѣчиться».

Въ журнальной полемикѣ приняли участіе и другіе сатирическіе листки: «Смѣсь» и «Адская Почта» стали на сторону «Трутня»; журналъ «И то, и се» вступился за «Всякую Всячину» *). Съ особенной ѣдкостью отзывалась «Смѣсь» о литературныхъ претензіяхъ «Всякой Всячины» и отрещивалась отъ всякаго родства съ нею. «Я вижу въ городѣ—читаемъ мы въ этомъ журналѣ — такую бабушку, которая всѣхъ писателей журналовъ включаетъ въ свое племя и всегда ворчитъ на нихъ севозъ зубовъ: изъ чего заключаю, что они не отъ нея происходятъ, а она сама на нихъ клеветъ. Но почто же называться роднею? Или она уже выжила изъ ума? Сомнѣніе мое часъ отъ часу умножается. Я разсматривалъ ея труды и послѣдъ случалъ съ ея потомствомъ, однако не находилъ ни малыхъ слѣдовъ, чтобъ она была способна къ такому дѣторожденію, ибо послѣдніе ея внучата поразум-

*) «Адская Почта» издавалась ежемѣсячно Ф. А. Эминнымъ во второй половинѣ 1769 г., а издателемъ «И то, и се» (еженедѣльн. журналъ) былъ М. Д. Чулковъ; что же касается до «Смѣси», выходившей еженедѣльно съ 1 апр. 1769 г., то имя ея издателя осталось, до сихъ поръ, неизвѣстнымъ. Приписывали это изданіе Новикову, — вѣроятно, основываясь на бойкости сатиры и солидарности его направленія съ «Трутнемъ», — но, по мнѣнію А. Н. Аванасьева, такое предположеніе «едва-ли справедливо». (См. «Русскіе сатирич. журналы», изслѣдов. Аванасьева, стр. 260—61). По прекращеніи журнала, издатель «Смѣси» обращался въ редакцію «Трутня» для объясненій съ своими прежними читателями. («Трутень» 1770 г. л. XI и XII).

и ъе бабушки; въ нихъ я не вижу такихъ противорѣчій, въ какихъ она запуталась. Бабушка въ добрый часъ намірается исправлять пороки, а въ блажной—даетъ имъ послабленіе. Она говоритъ, что подьячихъ искушаютъ, и для того они берутъ взятки, а это такъ на правду походитъ, какъ то, что чортъ искушаетъ людей и велитъ имъ дѣлать злое. Сія же старушка совѣтуетъ: чтобы не таскаться по приказнымъ крючкамъ, то должно мириться и раздѣливаться добровольно; всякій сіе знаетъ, и, конечно, по-пустому тягаться не смѣется охотниковъ. Вѣрно, еслибъ всѣ были совѣстны и наблюдали законы, то не надобно бы было и судовъ, и приказовъ, и подьячимъ бы не шло государево жалованье. Но когда сіе необходимо, то для чего ей защищать подьячихъ? Знать, что они-то истинное ея поколѣніе». Подтрунивая далѣе надъ самохвальствомъ «Всякой Всячины», остроумный противникъ ея говорилъ: «Знаете ли, почему она увѣнчана толкими похвалами, въ листкахъ ея видными? Я вамъ скажу. Во-первыхъ скажу, потому что многія похвалы сама себѣ сплетаетъ; потомъ по причинѣ той, что разгласила, будто въ ея собраніи многіе знатные господа находятся; и такъ нѣкоторые, можетъ статья, думая хваленіемъ ихъ сочиненій войти въ ихъ милость, засыпали похвалами «Всякую Всячину».

Былъ ли прямой, личный умыселъ въ нѣкоторыхъ колкостяхъ, приведенныхъ нами—трудно рѣшить, хотя участіе, принимаемое императрицею въ изданіи «Всякой Всячины» и могло быть извѣстно въ тогдашнемъ литературномъ кругу; но нельзя не замѣтить, что инны изъ этихъ колкихъ остротъ

должны были показаться Екатеринѣ направленными прямо по ея адресу (какъ напр. плохое знаніе русскаго языка), и что это обстоятельство, въ придатокъ къ другимъ, также могло отразиться на судьбѣ русской журналистики. И дѣйствительно «Трутенъ», въ скоромъ времени, весьма понизилъ свой тонъ. Въ послѣдующихъ статьяхъ уже ясно видно, что перо сатирика удерживалось боязнью сказать больше, чѣмъ слѣдовало, попасть не въ тонъ вліятельнаго кружка и подвергнуться за то прямому или косвенному порицанію. Съ такою именно опасливостью затрогивался у Новикова крестьянскій вопросъ. Въ XIV листѣ «Трутеня» за 1769 г. мы встрѣчаемъ характеристику помѣщика Безразсуда, который «боленъ мнѣніемъ, что крестьяне не суть челоувѣки, но крестьяне; а что такое крестьяне, о томъ знаетъ онъ только потому, что они крѣпостные его рабы». Безразсудъ думаетъ, что крестьяне «для того и сотворены, чтобы, претерпѣвая всякія нужды, и день и ночь работать и исполнять его волю исправнымъ платежемъ оброка», — и этою крѣпостническою философіею вызываетъ слѣдующее внушеніе сатирика: «Вообрази рабовъ твоихъ состояніе; оно и безъ отягощенія тягостно; когда жъ ты гнушаешься тѣми, которые для удовольствованія страстей твоихъ трудятся почти безъ отдохновенія, они и не смѣютъ и мыслить, что они челоувѣки, но почитаютъ себя осужденными за грѣхи отецъ своихъ, видя, что прочая ихъ братія у помѣщиковъ-отцовъ наслаждаются вожделѣннымъ спокойствіемъ, не завидуя никакому на свѣтѣ участію (?) ради того, что они въ своемъ званіи благополучны» и пр. Этому помѣщику, для излѣченія болѣзни, авторъ совѣтуетъ: «всякій день по два раза разсматривать кости господскія и

крестьянскія до тѣхъ поръ, пока найдетъ онъ различіе между господиномъ и крестьяниномъ». Очевидно, у автора была на умѣ мысль о несправедливости крѣпостныхъ отношеній, и эту мысль онъ выставилъ довольно прозрачно подъ видомъ сравненія помѣщичьихъ и крестьянскихъ костей; но логическаго вывода, прямаго отрицанія крѣпостнаго права и тутъ нѣтъ,—потому ли, что Екатерина не находила удобнымъ отнимать у многихъ вельможъ только что пожалованныхъ имъ крестьянъ, за содѣйствіе къ возведенію ея на тронъ, или, можетъ быть, потому, что самъ Новиковъ стоялъ исключительно на филантропической точкѣ зрѣнія и, подобно многимъ образованнымъ людямъ того времени, хлопоталъ не объ уничтоженіи, а только о смягченіи крѣпостнаго ига. Тѣмъ не менѣе, и скромныя нападки на коренное зло тогдашней общественной жизни коробили ревностныхъ защитниковъ дворянскихъ правъ.

Вслѣдствіе внѣшняго давленія, «Трутенъ» постепенно падалъ въ 1770 г.; издатель боялся печатать самыя рѣзкія статьи, присылаемыя къ нему, или печаталъ ихъ съ уродливыми передѣлками; сотрудники и подписчики одинаково жаловались, что журналъ за этотъ годъ сталъ «нерадивѣе» прошлогодняго. По причинѣ вынужденныхъ редакторскихъ поправокъ, случалось, что

Въ смущеніи творецъ труды свои читалъ

И зря, что самъ писалъ, того не понималъ...

Въ оправданіе свое издатель говорилъ, что не знаетъ, какъ угодить публикѣ: что въ 1769 г. всѣ бранили «Трутенъ» за «ругательства и подлыя мысли, печатаемыя въ немъ»; а въ 1770 г. снова бранятъ, уже за то, что въ журналѣ ни-

чего такого нѣтъ, и онъ сталъ тише воды, ниже травы. Новиковъ, конечно, понималъ, что бранили его изданіе не одни и тѣ же лица...

Въ томъ же году прекратился «Трутень», не вызвавъ, по словамъ Новикова, соболѣзнованія въ читателяхъ, уже давно недовольныхъ имъ.

Въ 1772 г. Новиковъ опять выступаетъ на журнальное поприще съ новымъ еженедѣльникомъ—«Живописецъ». Къ этой дѣятельности вызвало его появленіе комедіи: «О, время!» авторъ которой — сама императрица — осмѣивалъ довольно рѣзко ханжество, роскошь и невѣжество современнаго общества. Новиковъ сталъ подъ защиту этой комедіи и свой журналъ посвятилъ «неизвѣстному сочинителю» ея, въ такихъ восторженныхъ словахъ: «Вы первый сочинили комедію точно въ нашихъ нравахъ, вы первый съ такимъ искусствомъ и острою заставили слушать ѣдкость сатиры съ пріятностію и удовольствіемъ; вы первый съ такою благородною смѣлостію напали на пороки, въ Россіи господствовавшіе... Продолжайте, государь мой, къ славѣ Россіи, къ чести своего имени и къ великому удовольствію разумныхъ единомыслителей вашихъ; продолжайте, говорю, прославлять себя вашими сочиненіями: перо ваше достойно равенства съ Мольтеровымъ. Слѣдуйте его примѣру: взгляните безпристрастнымъ окомъ на пороки наши, закоренѣлые худые обычаи, злоупотребленія, и на всѣ развратныя наши поступки; вы найдете толпы людей, достойныхъ вашего осмѣянія, и вы увидите, какое еще пространное поле къ прославленію вашему осталось. Истребите изъ сердца своего всякое пристрастіе; не взирайте на лица: порочный человѣкъ во всякомъ званіи равно

достойны презрѣнія. Низкостепенный порочный человекъ, видя осмѣиваемаго себя купно съ превосходительнымъ, не будетъ имѣть причины роптать, что пороки въ бѣдности только одной перомъ вашимъ угнетаются. А превосходительство, удрученное пороками, въ первый разъ въ жизни своей восчувствуетъ равенство съ низкостепенными. Вы первый достойны показать, что дарованная вольность умамъ российскимъ употребляется въ пользу отечества». Съ тѣмъ вмѣстѣ Новиковъ сѣтовалъ, что авторъ комедіи скрываетъ свое имя, «достойное всеобщей благодарности», и не видѣлъ никакой достаточной къ тому причины. «Неужели—спрашивалъ онъ—оскорбля столь жестоко пороки и вооружа противъ себя порочныхъ, опасаетесь ихъ злословія? Нѣтъ, такая слабость никогда не можетъ имѣть мѣста въ вашемъ сердцѣ. И можетъ ли какая благородная смѣлость опасаться угнетенія въ то время, когда, ко счастію Россіи и ко благоденствію человѣческаго рода, владычествуетъ нами премудрая Екатерина? Ея удовольствіе, оказанное въ представленіи вашей комедіи, удостовѣряетъ о покровительствѣ ея такимъ, какъ вы, писателямъ. Чего жъ осталось вамъ страшиться?» Но восторженные похвалы не увлекли собой автора комедіи, и онъ, разглядѣвъ въ нихъ возбужденіе прежняго вопроса о преслѣдованіи порочныхъ людей, скромнымъ отвѣтомъ своимъ далъ понять, что онъ вовсе не стоитъ на одной точкѣ зрѣнія съ издателемъ «Живописца». «Никогда не думалъ я—писалъ авторъ комедіи къ своему хвалителю,—чтобъ сочиненная мною комедія: «О, время»! таковой имѣла успѣхъ, каковымъ вы меня увѣряете, а тѣмъ паче не воображалъ себѣ той чести, которую вы,

приписаніемъ еженедѣльныхъ вашихъ листовъ мнѣ сдѣлали... При сочиненіи оной не бралъ я находящихся въ ней умоначертаній ни откуда, кромѣ собственной моей семьи: слѣдовательно, не выходя изъ дому своего, нашелъ въ ономъ одномъ, къ составленію забавнаго позорища, довольно обширное поле для искуснѣйшаго пера, а не для такого, каковымъ я свое почитаю. Что до меня касается, я никакихъ ни требованій, ни желаній не имѣю. Пишу и для собственной своей забавы, и если малыя сочиненія мои приобретутъ успѣхъ и принесутъ удовольствіе разумнымъ людямъ, то тѣмъ я весьма награжденъ буду. Напротивъ того, если услышу, что нѣтъ въ нихъ никому увеселенія, то хотя тѣмъ, ненавида прайдность, отъ писанія и не воздержуся, однако же выдавать ихъ болѣе не стану. Имени своего я не скрываю, но и не напишу его, дабы въ первый разъ не явилось оно въ свѣтѣ въ заглавіи комедіи, что для меня самого было бы комедіею, а прибыли въ томъ никому нѣтъ— Карпомъ ли, или Сидоромъ меня зовутъ». Такимъ образомъ, издатель «Живописца», видѣвшій въ появленіи комедіи новую эру для русскаго прогресса, новую, могущественную поддержку для смѣлой сатиры, долженъ былъ убѣдиться изъ отвѣта «сочинителя», что послѣдній далеко не раздѣляетъ его толкованій на свою пьесу, и что «собственная забава» и исканіе «увеселенія» отнюдь не совпадаютъ съ тѣми обличительными мотивами, которыхъ искалъ и желалъ найти Новиковъ въ замыслахъ автора. Но издатель «Живописца» не хотѣлъ замѣчать этого противорѣчія и продолжалъ въ своемъ журналѣ прежнія нападенія на «порочныхъ людей», прикрываясь, одна-

ко, очень часто льстивыми одами, какъ напримѣръ «на приобрѣтеніе Бѣлоруссіи», «на день короновація» и т. п.

Въ V-мъ листѣ «Живописца» помѣщенъ замѣчательный «Отрывокъ изъ путешествія», въ которомъ мы снова встречаемся съ картинами крѣпостнаго права.

«Бѣдность и рабство—пишетъ путешественникъ — повсюду встрѣчались со мною во образѣ крестьянъ. Неполученныя поля, худой урожай хлѣба возмущали мнѣ: какое помѣщики тѣхъ мѣстъ о земледѣліи прилагали раченіе. Маленькія, покрытыя соломой, хижины изъ тонкаго забора, дворянныя, огороженные плетнями, небольшія одоны хлѣба, весьма малое число лошадей и рогатаго скота подтверждали, сколь велики недостатки тѣхъ бѣдныхъ тварей, которыя богатство и величество цѣлаго государства составлять должны. Не пропускалъ я ни одного селенія, чтобы не разспрашивать о причинахъ бѣдности крестьянской. И слушая ихъ отвѣты, къ великому огорченію всегда находилъ, что помѣщики ихъ сами тому были виною». Затѣмъ слѣдуетъ весьма подробное описаніе деревни Раззореной, гдѣ самый зажиточный мужикъ имѣлъ только одну корову, а несчастныя дѣти до-того были застрашены именемъ барина, что боялись и подойти къ коляскѣ путешественника. Положеніе грудныхъ младенцевъ въ особенности растрогало автора. «Я вошелъ въ избу—пишетъ онъ—растворенными настежь дверями. Заразительный духъ отъ всякой нечистоты, чрезвычайный жаръ и жужжанье бесчисленнаго множества мухъ, оттуда меня выгоняли, а вопль трехъ оставленныхъ младенцевъ (деревня описывается въ лѣтнее время) удерживалъ въ оной. Я спѣшилъ подать по-

мощь симъ несчастнымъ тварямъ. Пришедъ къ лукошкамъ, прищипленнымъ веревками къ шестамъ, въ которыхъ лежали безъ всякаго призрѣнія оставленные младенцы, увидѣлъ я, что у одного упалъ сосокъ съ молокомъ; я его поправилъ, и онъ успокоился. Другого нашель, обернувшася лицомъ къ подушонкѣ изъ самой толстой холстины, набитой соломой; я тотчасъ его оборотилъ и увидѣлъ, что безъ скорой помощи лишился бы онъ жизни, ибо онъ не только что посинѣлъ, но, и почернѣвъ, былъ уже въ рукахъ смерти; скоро и этотъ успокоился. Подошедъ къ третьему, увидѣлъ, что онъ былъ распеленанъ, множество мухъ покрывали лицо его и тѣло, и немилосердно мучили сего ребенка; солома, на которой онъ лежалъ, также его колола, и онъ произносилъ пронзающій крикъ. Я оказалъ и этому услугу, согналъ всѣхъ мухъ, спеленалъ его другими, хотя нечистыми, но однакожь сухими пеленками, которыя въ избѣ тогда развѣшены были; поправилъ солому, которую онъ, барахтаясь, ногами взбилъ: замолчалъ и этотъ. Смотри на сихъ младенцевъ и входя въ бѣдность состоянія сихъ людей, вскричалъ я: жестокосердый тиранъ, отъемлющій у крестъянъ насущный хлѣбъ и послѣднее спокойство,—посмотри, чего требуютъ сии младенцы? У одного связаны руки и ноги: приносить ли онъ о томъ жалобы? Нѣтъ, онъ спокойно взираетъ на свои оковы. Чего же требуетъ онъ? Необходимо—нужнаго только пропитанія. Другой произносилъ вопль о томъ, чтобы только не отнимали у него жизнь. Третій вопіялъ къ человѣчеству, чтобы его не мучили. Кричите, бѣдныя твари, сказалъ я, проливая слезы; произносите жалобы свои! наслаждай-

тесъ послѣднимъ симъ удовольствіемъ въ младенчествѣ: когда возмужаете, тогда и сего утѣшенія лишитесь. О, солнце!.. призри сихъ несчастныхъ!» *)

Но чтобы эта возмутительная картина не была слишкомъ обобщена и не подала повода къ новымъ нареканіямъ на журналъ, издатель «Живописца» счелъ необходимымъ, въ XIII-омъ листѣ, объяснить устами каеого то «почтеннаго превосходительства», что подобныя описанія не имѣютъ въ виду оскорблять цѣлый «дворянскій корпусъ» и что они не только не «огорчаютъ дворянъ, украшенныхъ добродѣтелью и знающихъ человѣчество, но паче еще и превозносятъ ихъ». Тѣмъ не менѣе, «превосходительство» предупреждаетъ издателя, что онъ уже нажилъ себѣ враговъ помѣщеніемъ такой статьи: «Бранили васъ надменные дворянствомъ люди, которые думаютъ, что дворяне ничего не дѣлаютъ неблагороднаго, что подлости одной (низшему классу) свойственно утопать въ порокахъ, и что, наконецъ, хотя нѣкоторые дворяне и имѣютъ слабость забывать честь и человѣчество, однакожь, будто они, яко благородные люди, отъ порицанія всегда должны быть свободны. Сіи гордые люди утверждаютъ, что будто точно сказано о кре-

*) Не задолго до освобожденія крестьянъ, въ московскомъ журналѣ «Моя» появилось стихотвореніе, въ которомъ авторъ также собогъ-новалъ несчастнымъ младенцамъ, брошеннымъ на живы въ страдный день. Но ожиданіе близкой реформы внушило уже и другое чувство автору:

Не плачьте горько такъ, невинные младенцы,

Юнѣйшіе земли роимой поселенцы:

Надъ вашей младостью не дремлетъ ночи тѣнь;

Вамъ брезжетъ вольный свѣтъ, вамъ всходитъ новый день!

стыгнахъ: «наважу ихъ жезломъ беззаконія»—и подлинно они часто наказываются беззаконіемъ» *).

Подьячихъ и взяточниковъ-судей «Живописецъ» также не оставлялъ въ покоѣ, и на эту тему, въ V-мъ листѣ за 1772 г. (ч. II), помѣстилъ чрезвычайно-остроумное и ѣдкое письмо, будто бы полученное имъ отъ одного изъ такихъ лицъ:

«Слушай-ка, братъ Живописецъ! на шутку что ли я тебѣ достался! Не на такого ты наскочилъ. Развѣ ты не знаешь приказныхъ, такъ отвѣдай, потягайся. Вѣдомо тебѣ буди, что я передъ Владимірской поклонялся, и снялъ ее матушку со стѣны въ томъ, что какъ скоро приѣду я въ Петербургъ, то подамъ на тебя челобитье въ безчестьѣ. Знаешь ли ты, молокососъ, что я имѣю патентъ, которымъ повелѣвается признавать меня и почитать за добраго, вѣрнаго и честнаго титулярнаго совѣтника; вѣдаешь ли ты, что и въ подлостѣ есть пословица: не пойманъ, не воръ, не поднята, не..... А ты, забывъ законы духовные, воинскіе и гражданскіе, осмѣлился назвать меня якобы воромъ. Чѣмъ ты это докажешь? Я хотя и отрѣшенъ отъ дѣлъ, однакожь не за воровство, а за взятки; а взятки—ничто иное, какъ акциденція. Воръ тотъ, который грабитъ на проѣзжей дорогѣ, а я биралъ взятки у себя дома, а дѣла чершилъ въ судебномъ мѣстѣ: кто себѣ добра не захочетъ? А къ тому же я никого до смерти не убилъ: правда, согрѣшилъ передъ Богомъ и передъ государемъ, многихъ пустилъ по міру, да это дѣло постороннее, и тебѣ до него

*) Далѣе слѣдуетъ фраза, прерванная у автора двумя рядами точекъ. (Изд. П. А. Ефремова, стр. 81).

нужды нѣтъ. Какъ передъ Богомъ не согрѣшить? какъ царя не обмануть? какъ у него не украсть? Грѣшно украсть изъ кармана своего брата... Глупый человѣкъ, да это и указами за воровство не почитается, а называется «похищеніемъ казеннаго интереса». А похищеніе и воровство не одно: первое ничто иное, какъ утайка, а другое—преступленіе противъ законовъ и достойно кнута и висѣлицы. Правда, бывали и такіе примѣры, что и за утайку сѣкали кнутомъ... Но нынѣ, благодаря Бога, люди стали разсудительнѣе и за реченную утайку сѣкутъ только тѣхъ, которые малое число утаятъ: да это и дѣльно; не заводи дѣла изъ бездѣлицы. А прочихъ, которые приличаются въ утайкѣ большихъ суммъ, отпущаютъ жить въ свои деревни».

Никакая литературная тактика, никакіе приемы восхваленія сильныхъ не помогли однако «Живописцу», и онъ едва дотянулъ свое существованіе до половины 1773 г. Въ 1774 г. выходилъ только одинъ «Кошелекъ», издаваемый тѣмъ же Новиковымъ, а въ слѣдующемъ 1775 г. сатирическая журналистика совсѣмъ замолкла.

Спустя нѣсколько лѣтъ, принявшись за изданіе «Утренняго свѣта» (1777—1780 г.) Новиковъ и самъ уже, подъ вліяніемъ масонства, пришелъ къ убѣжденію, нѣкогда высказанному «Всякою Всячиной», что «бичемъ сатиры» слѣдуетъ поражать не самихъ порочныхъ субъектовъ, а только отвлеченныя понятія пороковъ. «Порокъ и человѣкъ—говорить онъ въ «предувѣдомленіи» къ I-ой части изданія—подобны двумъ параллельнымъ линіямъ, которыя вѣчно одна другой прикоснуться не могутъ.» Нападки Новикова, въ это

время, направлялись исключительно на «французскую моду», подъ которой онъ сталъ подразумѣвать все цивилизующее вліяніе западно-европейской науки и общественной жизни, а взамѣнъ яркихъ указаній на наше домашнее зло, читатели «Утренняго свѣта» приглашались довольствоваться астрологическими соображеніями о вліяніи планетъ на землю, въ такомъ напр. родѣ: «Венера умѣренно холодна и влажна, а по своей натурѣ благопріятна»; «Сатурнъ холоденъ и влаженъ; вліяніе его почитается недобрымъ» и пр., и пр.

Сатирическое направленіе проявилось впоследствии въ «Собесѣдникѣ любителей россійскаго слова» (1783—1784 г.), въ которомъ главное участіе принадлежало княгинѣ Дашковой; но уже близко было время полицейскихъ преслѣдованій за неправившееся императрицѣ «свободоязычіе». Въ 1785 г. наряжено было слѣдствіе надъ Новиковымъ за напечатаніе книгъ, «наполненныхъ странными мудрствованіями». По поводу этихъ изданій императрица сама написала письмо московскому митрополиту Платону: «призовите помянутаго Новикова къ себѣ и прикажите испытать его въ законѣ (Божьемъ), равно и книги его типографіи освидѣтельствовать: не скрывается ли въ нихъ умствованій, несходныхъ съ простыми и чистыми правилами вѣры нашей». И митрополитъ Платонъ, дѣйствительно, произвелъ Новикову экзаменъ изъ православнаго катихизиса. Въ 1790 г., сентября 4, данъ былъ указъ о ссылкѣ въ Сибирь Радищева «за изданіе книги (Путешествіе изъ Петербурга въ Москву), наполненной самыми вредными умствованіями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властямъ уваженіе, стремя-

щились къ тому, чтобы произвести въ народѣ негодованіе противу начальниковъ и начальства, и наконецъ оскорбительными и неистовыми израженіями противу сана и власти царской».

Замѣчательно, что въ томъ же году проф. Сохацкій началъ издавать въ Москвѣ «Политическій журналъ съ показаніемъ ученыхъ и другихъ вещей», въ которомъ описывались подробно всѣ политическія событія во Франціи и даже печатались рѣчи тогдашнихъ ораторовъ. Въ первомъ номерѣ этого журнала (1790 г.) говорилось: «Въ 1789 г. весь свѣтъ потрясенъ былъ столь сильно, что вездѣ открылись чрезвычайныя движенія, и произошло въ Европѣ начало новой эпохи человѣческаго рода. (Курсивъ въ подлинникѣ). Послѣ многихъ столѣтій, 1789 годъ есть самый достопамятный. Со временъ крестовыхъ походовъ никогда еще не было такой эпохи, какъ сія, въ которой бы политическое мнѣніе распространилось и промчалось чрезъ всю Европу съ толикою живостью и соучаствованіемъ. Духъ свободы учинился воинственнымъ при концѣ XVIII, такъ какъ духъ религіи при концѣ XI вѣка. Тогда вооруженною рукою возвращали святую землю, нынѣ святую свободу. Тогда ратовали противъ Саладиновъ, нынѣ противъ своихъ собственныхъ государей. Французы брали тогда крѣпости у невѣрныхъ королей, нынѣ брали они ихъ у христіаннѣйшаго. Какъ тогда, такъ и теперь энтузіазмъ превратился, во многихъ головахъ, въ круженіе и фанатизмъ. Отсѣкали людямъ головы, грабительствовали и разрушали дома и крѣпости, дабы показать права человѣчества... Но при сильныхъ превращеніяхъ невозможно избѣгнуть буйныхъ из-

лишествъ». Затѣмъ, исчисливъ всѣ политическія реформы въ разныхъ странахъ Европы, авторъ статьи продолжаетъ: «При всѣхъ оныхъ безпокойныхъ народныхъ движеніяхъ произошло, какъ выше замѣчено, начало новой эпохи человѣческаго рода, — эпоха поправленія судьбы такъ называемыхъ низкихъ состояній, — угнетеніе самопроизвольной власти, ограниченіе министерскаго и подминистерскаго деспотизма, владычества аристократовъ, или вельможъ, возлѣ престоловъ». Журналъ этотъ переводился съ нѣмецкаго и, вѣроятно, по малому числу подписчиковъ, не обратилъ на себя вниманія литературныхъ аргусовъ. Хотя въ немъ проводились взгляды умѣренной конституціонной партіи, но такая умѣренность у насъ принимала видъ непростительнаго вольнодумства, за которымъ, въ эту именную пору, уже начинали зорко смотрѣть.

Въ 1793 г. разразилась гроза надъ... прахомъ Княжнина за трагедію «Вадимъ Новгородскій», при чемъ даровитый авторъ только по случаю своей смерти не попалъ въ руки надежнаго сыщика Шешковского, — замѣнившаго въ «тайной экспедиціи» прежнихъ дѣятелей упраздненной «тайной канцеляріи». Наконецъ въ 1796 г. послѣдовалъ именной указъ сенату «объ ограниченіи свободы книгопечатанія и ввоза иностранныхъ книгъ, объ учрежденіи на сей конецъ цензуръ и объ упраздненіи частныхъ типографій». Постановленія о предварительной цензурѣ были развиты и организованы въ царствованіе Павла I, сдѣлавшаго, между прочимъ, слѣдующее распоряженіе: «Такъ какъ чрезъ ввозимыя изъ-за границы разныя книги наносится развратъ вѣры, гражданского закона и благонравія, то отнынѣ, впредь до указа, повелѣва-

емъ запретить впускъ изъ-за границы всякаго рода книгъ, на какомъ бы языкѣ онѣ ни были, безъ изъятія, въ государство наше, равно жѣрно и музыку.» Музыкальныя ноты подвергались ostracisme изъ опасенія революціонныхъ напѣвовъ, которые могли бы проникнуть къ намъ этимъ путемъ. (Полн. Собр. Зак. Т. XXVI, № 19,387).

Это распоряженіе было отмѣнено Александромъ I, ко времени котораго мы и переходимъ.

III.

Зависимое положеніе русской журналистики вообще. Характеръ первой половины царствованія Александра I-го. Мѣры и предположенія правительства. Comité du salut public. Взглядъ Новосильцева на свободу книгопечатанія. Цензурный уставъ 1804 г. Проектъ правительственнаго журнала, отвергнутый Завадовскимъ.

Мы видѣли, что происхожденіе русской журналистики относится къ тому времени, когда государственная власть, реформируя внутренній бытъ страны,—далеко отставшей въ своемъ развитіи отъ другихъ европейскихъ державъ,—прибѣгнула къ прессѣ, какъ къ удобному орудію для политической пропаганды въ извѣстномъ смыслѣ. Петръ Великій, суровый преобразователь Россіи, былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, ея первымъ журналистомъ: подъ его непосредственнымъ наблюденіемъ издавался въ Москвѣ, а потомъ въ Петербургѣ, первый газетный листокъ, предназначенный возбуждать политическое любопытство русскихъ грамотѣевъ. Такое происхожденіе нашей журналистики обусловило, въ значитель-

ной степени, и всю ея дальнѣйшую судьбу: мѣнялась власть, заправлявшая такъ или иначе политическимъ бытомъ страны, мало того, мѣнялись только приемы и отношенія этой власти къ разнымъ общественнымъ вопросамъ, какъ уже вся журналистика подчинялась волей-неволей новому камертону, выходившему изъ правительственныхъ сферъ. Такъ напр. въ началѣ царствованія Екатерины II-й журналистика наша, отражая на себѣ взгляды самой императрицы, настроилась было въ очень гуманномъ тонѣ; но даже и въ это цвѣтущее время предѣлы литературнаго вліянія строго ограничивались правительственными видами, и новиковскій журналъ («Трутенъ»), перешагнувшій эти предѣлы, долженъ былъ замолчать на другой годъ своего существованія. «Не въ свои-де этотъ авторъ садится сани; онъ-де zaczynaеть писать сатиры на придворныхъ господъ, бояръ, дамъ; такая-де смѣлость ничто иное есть, какъ дерзновение»:—вотъ приговоръ, высказанный вліятельнымъ кружкомъ о журнальной дѣятельности Новикова. Въ слѣдующее затѣмъ царствованіе, при существованіи указа о невывозѣ «изъ-за границы всякаго рода книгъ, на какомъ бы языкѣ оныя ни были», дѣятельность журналиста въ Россіи оказалась еще болѣе затруднительной. Обстоятельства снова измѣнились при восшествіи на престолъ Александра I-го. Юный монархъ получилъ весьма тщательное и раціональное воспитаніе подъ руководствомъ швейцарскаго гражданина Лагарпа, нимало не скрывавшаго свой либеральный образъ мыслей; въ его доброй, впечатлительной душѣ были возбуждены смолоду и благородныя чувства, и великодушныя стремленія. Находясь, по обязанностямъ своего сана, при самомъ, такъ сказать, источ-

никъ правительственныхъ системъ, молодой внукъ Екатерины II-й не раздѣлялъ тревожныхъ опасеній, выразившихся въ цѣломъ рядѣ репрессивныхъ мѣръ; задушевные симпатіи влекли его на сторону прогресса и истинно-человѣческаго развитія. Еще меньше онъ могъ быть доволенъ тѣми личностями, которыя выдвинулись впередъ въ концѣ царствованія Екатерины II-й. Это недовольство, какъ системой администраціи, такъ и личностями, приводившими ее въ исполненіе, долго накоплялось въ душѣ Александра и приводило его, по временамъ, къ тяжкому разочарованію, къ сознанію своего безсилія — исправить все зло, допущенное прежними блюстителями закона. «Мое положеніе—писалъ онъ, въ одинъ изъ такихъ тяжелыхъ моментовъ, князю Кочубею—меня вовсе не удовлетворяетъ. Оно слишкомъ блистательно для моего характера, которому нравятся исключительно тишина и спокойствіе. Придворная жизнь не для меня создана... Я каждый разъ страдаю, когда долженъ являться на придворную сцену, и кровь портится во мнѣ при видѣ низостей, совершаемыхъ другими на каждомъ шагѣ для полученія внѣшнихъ отличій, не стоящихъ въ моихъ глазахъ мѣднаго гроша. Я чувствую себя несчастнымъ въ обществѣ такихъ людей, которыхъ не желалъ бы имѣть у себя лакеями... Въ нашихъ дѣлахъ господствуетъ неимовѣрный безпорядокъ; грабятъ со всѣхъ сторонъ; всѣ части управляются дурно; порядокъ, кажется, изгнанъ отовсюду, а имперія, не смотря на то, стремится лишь къ расширенію своихъ предѣловъ. При такомъ ходѣ вещей возможно ли одному человѣку управлять государствомъ, а тѣмъ болѣе исправить укоренившіяся въ немъ злоупотребленія: это выше силъ не

только человека, одаренного, подобно мнѣ, обыкновенными способностями, но даже и генія, а я постоянно держался правила, что лучше совсѣмъ не браться за дѣло, чѣмъ исполнять его дурно. Слѣдуя этому правилу, я и принялъ то рѣшеніе, о которомъ сказалъ вамъ. Мой планъ состоитъ въ томъ, чтобы, по отреченіи отъ этого труднаго поприща, поселиться съ женою на берегахъ Рейна, гдѣ буду жить спокойно, частнымъ человекомъ, полагая мое счастье въ обществѣ друзей и въ изученіи природы». (См. Восшествіе на престолъ имп. Николая I, соч. барона Корфа). Идиллическое намѣреніе отказаться отъ власти не устояло, конечно, предъ обаяніями новаго блистательнаго поприща, и Александръ I-й вступилъ на престолъ къ радости всѣхъ мыслящихъ и образованныхъ людей того времени. Впечатлѣніе, произведенное этимъ событіемъ, было громадно, въ особенности благодаря тому контрасту, который представляла молва между характеромъ ближайшаго царствованія и направленіемъ новаго государя. «Для Россіи — говоритъ г. Ковалевскій — воцареніе императора Александра I-го было зарею пробужденія. Трудно представить себѣ государя и человека, такъ щедро одареннаго природою и съ такимъ блестящимъ образованіемъ, какъ Александръ I. Современники свидѣтельствуютъ, что при извѣстіи о его воцареніи, на улицахъ, люди, незнакомые между собою, другъ друга обнимали и поздравляли. Въ манифестѣ своемъ онъ объявилъ, что будетъ править Богомъ врученнымъ ему народомъ по законамъ и по сердцу премудрой бабки своей Екатерины II-й, и первымъ дѣйствіемъ его было освобожденіе всѣхъ содержащихся по дѣламъ тайной экспедиціи въ крѣпостяхъ, и со-

сланныхъ въ Сибирь или въ отдаленные города и деревни Россіи подъ надзоръ мѣстныхъ властей, и уничтоженіе самой тайной экспедиціи. Рассказываютъ, будто Алексѣй Петровичъ Ермоловъ, выходя изъ Петропавловской крѣпости, написалъ на стѣнѣ: «свободна отъ постоя», а государь, узнавши объ этомъ, сказалъ: «желаю, чтобъ навсегда». Во время коронаціи, по словамъ того же автора: «въ лицѣ государя было болѣе задумчивости, робости, чѣмъ смѣлости; онъ какъ бы чувствовалъ всю важность, всю тягость царской власти, которую принялъ; не съ самонадѣянностью и гордымъ величіемъ шелъ онъ, не страхъ внушали его взгляды кроткіе, привѣтливые... Каждый мысленно ободрялъ его: «смѣлѣе, смѣлѣе! вѣрь, что господство дикой власти менѣе надежно, чѣмъ господство разума, что проявленіе благотворнаго добра въ нравственной жизни народа также необходимо, какъ проявленіе солнечной теплоты въ царствѣ растительномъ» *).

«Около престола группируются люди, извѣстные своей наклонностью къ конституціоннымъ учрежденіямъ Англіи—Чарторижскій, Новосильцевъ, Строгановъ;—учреждаются министерства, которыя должны были въ послѣдствіи привести къ отвѣтственности исполнительной власти; открыты новыя университеты въ Казани, Харьковѣ и Петербургѣ, заведены гимназіи и уѣздныя училища, съ цѣлью положить прочныя основы просвѣщенію страны. «Александръ I-й, по справедливому замѣчанію одного иностраннаго историка, зналъ другое честолюбіе, кромѣ военнаго, другое величіе, кромѣ величія воина. попирающаго трупы разбитой арміи; жизнь солдата не имѣла для него никакой прелести; въ противоположность своимъ

*) См. Графъ Блудовъ и его время, стр. 23—24.

предшественникамъ, онъ даже предпочиталъ простой гражданскій костюмъ блеску военного мундира». Въ публичной рѣчи, при открытіи харьковскаго университета, графъ Северинъ—Потоцкій прямо выразился, что это высшее учебное заведеніе основано «для совершеннѣйшаго образованія благородныхъ молодыхъ людей, приготовляющихся занимать нѣкогда первыя государственныя мѣста, на подобіе оксфордскаго и кембриджскаго университетовъ, въ кои сыны первыхъ англійскихъ лордовъ пріѣзжаютъ на учаться защищать въ парламентѣ права своей страны». Почти въ то же время, въ засѣданіи академіи наукъ, президентъ ея, Н. Н. Новосильцевъ сказалъ: «чуждѣй пагубнаго мнѣнія, которое къ стыду прежнихъ временъ, заставляя мрачное невѣжество предпочитать успѣхамъ наукъ и художествъ, заграждало пути къ распространенію оныхъ, и увѣренъ будучи, что познаніе истинъ въ естественномъ ихъ порядкѣ и въ надлежащемъ между собою отношеніи, предметъ всѣхъ наукъ составляющее, обогащаетъ и украшаетъ разумъ, возвышаетъ духъ чувствованія и добродѣтели чловѣка, и убѣжденіемъ въ собственной пользѣ побуждаетъ чтить законы, любить отечество, быть вѣрнымъ подданнымъ и добрымъ гражданиномъ—мудрый монархъ начерталъ правила народнаго просвѣщенія». (Сѣверн. Вѣстникъ 1804 г. № 1 и 10).

Но въ то время, когда развитые люди встрѣчали съ такимъ сочувствіемъ воцареніе новаго императора и первые шаги его на державномъ поприщѣ,—кружокъ отсталыхъ личностей, съ небольшою горячностью, хотя и не такъ открыто, занимаясь порицаніемъ его привычекъ и образа мыслей

Г. Богдановичъ сообщаетъ въ своихъ любопытныхъ матеріалахъ, что нѣкоторые похвальные качества государя, включая сюда его отвращеніе отъ всякаго этикета и внѣшняго блеска, подвергались самымъ превратнымъ толкамъ. Говорили, что русскій дворъ утратилъ все достоподобное величіе свое, что одна лишь вдовствующая императрица умѣетъ поддерживать старинныя дворцовыя преданія. Любители «форменныхъ отличекъ» находили предосудительнымъ, что государь ничѣмъ не отличался отъ своихъ подданныхъ въ одеждѣ и образѣ жизни, что не приглашалъ дипломатическій корпусъ на большіе перемероніальныя обѣды и пр. Осуждали также императора за то, что, въ одномъ изъ манифестовъ, онъ изъяснилъ благодарность своимъ подданнымъ за услуги, оказанныя родинѣ, назвавъ ихъ сынами отечества и повторивъ нѣсколько разъ слово: «отечество». Удивлялись также пристрастію самодержавнаго владыки къ американцамъ, гражданамъ республики. Жозефъ де - Местръ, проповѣдовавшій молодому государю свою реакціонную мудрость, вначалѣ принятую очень холодно, удивлялся, что Александръ былъ ласковъ къ бостонскому негодіанту, Пуансё, который «не смѣлъ бы показаться ни въ какомъ изъ домовъ высшаго туринскаго общества». Графиня Шуазель-Гуфье отзывалась объ Александрѣ тономъ ироніи: «Въ немъ замѣтна преувеличенная простота обхожденія; выказывающая его отвращеніе къ державному церемоніалу; можно сказать, что въ этомъ отношеніи онъ хочетъ быть императоромъ какъ можно менѣе. Это придворный, какъ будто лишній при дворѣ». *).

*) Первая эпоха преобразованій имп. Александра I. Вѣстн. Евр. 1856 г., т. I.

Сочувствіе мыслящихъ людей, негодованіе ретроградовъ, своихъ и иноземныхъ, все предвѣщало прекрасный путь новому царствованію, и еслибы молодой монархъ отличался столько же энергіей и настойчивостію въ исполненіи своихъ мыслей, сколько благородствомъ своихъ намѣреній, то во внутреннемъ быту нашего отечества произошелъ бы, безъ всякаго сомнѣнія, крутой и полезный переворотъ. Къ сожалѣнію, недостатокъ энергіи и, кромѣ того, нѣкоторая шаткость и неопредѣленность преобразовательныхъ плановъ,—слѣдствіе плохаго знакомства съ государственной практикой,—произвели то, что на первыхъ же порахъ, въ ближайшемъ, интимномъ совѣтѣ государя, слышались весьма серьезные разногласія по вопросамъ самой капитальной важности, и Александръ часто оставался въ нерѣшимости: чью сторону взять въ данномъ случаѣ? Интимный совѣтъ государя, прозванный имъ въ шутку *Comité du salut public*, состоялъ, какъ извѣстно, изъ четырехъ лицъ: вн. Чарторижскаго, Кочубея, Новосильцева и Строганова, и между ними-то обсуждались всѣ важнѣйшія внутреннія реформы. Изъ рукописныхъ протоколовъ этого комитета, (веденныхъ гр. Строгановымъ *), видно, что на разсмотрѣніе его вносились такіе крупные вопросы, какъ напр. о преобразованіи сената въ законодательный корпусъ, объ уничтоженіи крѣпостнаго права, о введеніи *habeas corpus* и т. п. Разсуждая о дворянской грамотѣ, государь выразился, что онъ подписываетъ эту грамоту противъ своей воли, «вслѣдствіе исключительности ея правъ, которая ему была всегда противна». При этомъ Александръ отвергалъ однако всѣ мѣры, которыя могъ

*) См. статьи г. Богдановича, стр. 172 — 194.

ли бы сразу покончить съ признаннымъ уже зломъ, и охотѣе избиралъ паллятивныя средства, ведущія къ цѣли окольной дорогою. Такъ было въ комитетѣ съ крестьянскимъ вопросомъ. Напрасно энергическій Строгановъ убѣждалъ государя не слушать преувеличенныхъ опасеній, выходившихъ изъ противоположнаго лагеря и приступить къ немедленному освобожденію крестьянъ; дѣло кончилось тѣмъ, что запрещена была личная продажа крѣпостныхъ людей (безъ земли), а мѣщанамъ и казеннымъ крестьянамъ дозволено пріобрѣтать недвижимую собственность. Доводы графа Строганова заслуживаютъ особеннаго вниманія; они были, повидимому, довольно распространены въ лучшей части тогдашняго общества и выражались прямо или косвенно въ печати.

Изъ историческаго факта крестьянскаго движенія во времена Стеньки Разина и Пугачева, гр. Строгановъ выводилъ заключеніе, что если съ чьей стороны опасно неудовольствіе, и затѣмъ вооруженное возстаніе, то, по всѣмъ вѣроятіямъ, со стороны крестьянъ, а не дворянъ. Александръ Павловичъ не согласился, какъ уже сказано, съ этими доводами, но личное чувство всегда внушало ему отвращеніе къ рабству и, въ теченіи своего продолжительнаго царствованія, онъ не закрѣпостилъ, по крайней мѣрѣ, ни одного вольнаго человѣка, опередивъ въ этомъ случаѣ свою знаменитую бабу. На письмо одного государственнаго сановника, желавшаго получить въ награду населенное имѣніе, государь отвѣчалъ: «Русскіе крестьяне, болѣею частію, принадлежать помѣщикамъ; считаю излишнимъ доказывать униженіе и бѣдствіе такого состоянія. И потому я даль обѣтъ не увеличивать числа этихъ несчастныхъ, и принялъ

за правило не давать никому въ собственность крестьянъ. Имѣніе, о которомъ вы просите, будетъ пожаловано въ аренду вамъ и вашимъ наслѣдникамъ; слѣдовательно, вы получите желаемое, но только съ тѣмъ, чтобы крестьяне не могли быть продаваемы, подобно безсловеснымъ животнымъ». Не довольствуясь этимъ, Александръ поощрялъ добровольное освобожденіе крестьянъ помѣщиками, и нѣкоторыя знатныя лица, стоявшія близко ко двору, спѣшили исполнить задушевное желаніе императора. Такимъ образомъ появился у насъ новый разрядъ крестьянъ, названныхъ «свободными хлѣбопашцами».

Между разными вопросами, обсуждавшимися въ первую половину царствованія Александра Павловича, ближайшее отношеніе къ нашему предмету имѣетъ вопросъ о свободномъ книгопечатаніи. Заботясь, — подобно Екаторинѣ, въ эпоху ея дружбы съ французскими энциклопедистами, — объ успѣхахъ умственного развитія, молодой государь пожелалъ освободить литературную дѣятельность въ Россіи отъ тяжелыхъ оковъ, наложенныхъ на нее вслѣдствіе невѣжества и безразсудной боязливости, неоправдываемой никакими политическими соображеніями. Какъ только зашла рѣчь объ этой свободѣ, то на видъ представился выборъ между цензурою предупредительною и личной отвѣтственностью авторовъ за напечатанныя ими сочиненія. Одинъ изъ членовъ интимнаго комитета, а именно Н. Н. Новосильцевъ, плѣнился датскимъ уставомъ свободнаго книгопечатанія и предложилъ ввести его въ Россію съ нѣкоторыми передѣлками, соотвѣтствующими нашему законодательству. Уставъ, на который ссылался Новосильцевъ, возникъ при знаменательныхъ

событіяхъ. Датскій король, Христіанъ VII (1766—1808), вступилъ на престолъ семнадцатилѣтнимъ юношей и въ первое время, подъ вліяніемъ графа Струэнзе, защитника либеральныхъ идей, уничтожилъ цензуру, находя ее «въ высшей степени вредной для безпристрастнаго изслѣдованія истины и открытія закоренѣлыхъ предразсудковъ и заблужденій». Съ паденіемъ Струэнзе, оклеветаннаго врагами, обнаружился поворотъ въ регрессивномъ смыслѣ—и результатомъ его было изгнаніе изъ государства многихъ писателей. Датское правительство пыталось даже возобновить предупредительную цензуру, забывъ прекрасные стихи Вольтера, обращенные нѣкогда къ королю Христіану:

Hélas! dans un état l'art de l'imprimerie

Ne fut en aucun temps fatal à la patrie...

Les romans de Scarron n'ont pas troublé le monde;

Chapelain ne fit point la guerre de la fronde...

Non, lorsqu'aux factions un peuple entier se livre,

*Quand nous nous égorgeons, ce n'est pas pour un livre *).*

Но свобода печатнаго слова настолько вошла уже въ привычки народа, что замѣнить ее прямо прежнимъ порядкомъ сочли неудобнымъ сами противники прессы. По этой причинѣ, не восстанавливая цензуры, датское правительство ограничилось изданіемъ очень строгаго устава книгопечатанія, по которому, за инны важныя преступленія, назначалась даже смертная казнь. Новосильцевъ находилъ полезнымъ сдѣлать въ датскомъ уставѣ нѣкоторыя измѣненія въ смыслѣ благопріятномъ для литературы. Такъ напр. онъ намѣревался предо-

*) Т. е. «книгопечатаніе никогда не было губительно для отечества. Романы Скаррона не взволновали свѣта, и Шапленъ не былъ виновникомъ фронды... Когда народъ поднимаетъ мятежъ, и люди думаютъ другъ друга—не книга бываетъ тому причиною».

ставить въ Россіи право конфискаціи подозрительныхъ книгъ не полиціи, а университетамъ и академіямъ, съ тѣмъ, чтобы они, увѣдомивъ мѣстное начальство, представляли мнѣнія свои, вмѣстѣ съ экземпляромъ книги, въ главное правленіе училищъ. Кромѣ того, обвиняемый въ изданіи предосудительной книги, долженъ былъ судиться не обыкновеннымъ судомъ, но особымъ трибуналомъ, составленнымъ изъ лицъ образованныхъ и пользующихся уваженіемъ въ обществѣ. Требованіе датскаго правительства—печатать непременно на книгѣ имя автора или переводчика—было также отмѣнено Новосильцевымъ изъ уваженія къ «скромности литераторовъ, впервые выступающихъ на поприще словесности». Постановленіе о свободномъ книгопечатаніи не должно было, впрочемъ, касаться цензуры книгъ духовныхъ, которая оставалась вполнѣ въ рукахъ св. синода. Въ то время, какъ въ главномъ правленіи училищъ шло обсужденіе столь близкаго для литературы вопроса, изъ среды общества раздавались голоса въ пользу полного простора для слова и мысли. Въ главное правленіе прислана была анонимнымъ авторомъ любопытная записка, доказывавшая необходимость скорѣйшаго освобожденія печати *).

Но наши первые цензурные законодатели были искренно убѣждены, что полная свобода печати, въ соединеніи съ строгой отвѣтственностью по суду, убьетъ русскую литературу въ самомъ зародышѣ, и многія личности совѣмъ не рискнуть выйти на литературную арену подъ такими тяжелыми, грозящими условіями. Проектъ доклада о цензурѣ,

*) См. «Матер. для исторіи просвѣщенія», стр. 18—19.

написанный рукой самого Фуса, показывает ясно, что этот почтенный академик не отвергалъ въ принципѣ свободной прессы, понималъ вредъ цензурныхъ стѣсненій, и только по особымъ обстоятельствамъ нашего литературнаго развитія рѣшился замѣнить правомѣрную строгость закона измѣнчивой опекой «либеральныхъ» цензоровъ.

Сдѣлавъ, въ своихъ заключеніяхъ, переходъ къ необходимости и пользѣ предварительной цензуры, Фусъ заканчиваетъ свой прозекъ слѣдующими словами: «Утверждая новый порядокъ цензуры, мы (т. е. верховная власть) желаемъ устранить отъ этой мѣры все то, что могло бы препятствовать невинному пользованію правомъ мыслить и писать. Мы объявляемъ, что только злоупотребленія свободной печати, возможныя со стороны писателей злонамѣренныхъ, безнравственныхъ и безобразныхъ, (?) будутъ нами предупреждаемы».

Послѣ всѣхъ толковъ и предположеній, частію одобренныхъ, частію отвергнутыхъ высшимъ правительствомъ, составленъ, наконецъ, цензурный уставъ 1804 г. Либеральный характеръ времени коснулся, въ значительной степени, этого законодательнаго акта: первый цензурный уставъ немногословенъ, и въ немъ незамѣтно желанія уловить и предупредить всякій порывъ свободной мысли; напротивъ того, нѣкоторые пункты его даютъ довольно простора для литературной критики. Послѣдствія показали однако, что самыя широкія и льготныя цензурныя правила легко суживаются и даже совсѣмъ видоизмѣняются подъ вліяніемъ случайныхъ обстоятельствъ: политическаго переворота въ западной Европѣ, личнаго взгляда главы министерства, претензій и жалобъ

частныхъ лицъ. — Въ то время, когда составлялся цензурный уставъ и нѣсколько лѣтъ спустя по введеніи его въ дѣйствіе, правительство молодого государя не только не опасалось свободной мысли, но вызывало ее на обсужденіе разныхъ государственныхъ вопросовъ; задумывая рядъ послѣдовательныхъ политическихъ преобразованій, оно нуждалось въ сочувствіи и поддержкѣ мыслящихъ людей, которые могли бы растолковать обществу, путемъ печатнаго слова, все значеніе мѣръ, предпринимаемыхъ для обновленія внутренней жизни Россіи. Подъ защитой такого настроенія легко было развиваться литературѣ; реформаціонные планы зарождались сами собою въ пытливыхъ головахъ, увлеченныхъ общимъ движеніемъ, и если не могли появиться въ печати, то представляемы были, въ видѣ проектовъ, правительству. Въ одномъ изъ такихъ проектовъ проводится любопытная мысль о необходимости обширнаго періодическаго изданія, которое предполагалось назвать «Правительственнымъ журналомъ».

«Въ семъ «Правительственномъ журналѣ» — писалъ авторъ проекта, Баккаревичъ, — помѣщаются будутъ всѣ государственные акты и бумаги, каковыя только благоразуміе правительства почтетъ за благо обнародовать, какъ-то: высочайшіе манифесты, рескрипты, журналы всѣхъ высочайшихъ путешествій, бывшихъ или имѣющихъ быть; всѣ новыя узаконенія и уставы, если они не слишкомъ обширны; реляціи министровъ и полководцевъ, описанія военныхъ экспедицій, сраженій и побѣдъ, и разные трактаты съ иностранными дворами; примѣчательнѣйшія письма къ Имп. Величеству или къ знаменитымъ государственнымъ особамъ: голоса и

мнѣнія какъ г.г. сенаторовъ, такъ и другихъ верховныхъ чиновниковъ относительно къ важнымъ дѣламъ; примѣчательнѣйшія тяжбы, достопамятнѣйшія уголовныя дѣла, рѣшенныя или въ правительствующемъ сенатѣ, или въ палатахъ, или въ другихъ присутственныхъ мѣстахъ, съ показаніемъ ихъ теченія и производства. Далѣе помѣщаемы будутъ краткія описанія жизни и дѣяній великихъ русскіихъ патріотовъ и героевъ, прославившихъ или спасшихъ отечество. Помѣщаемы будутъ всѣ новыя одобренныя проекты, писанныя яснымъ и чистымъ слогомъ; всѣ новыя полезныя открытія, въ какомъ бы то родѣ ни было, всѣ основательныя разсужденія, относителныя къ общественной пользѣ: о законодательствѣ напр., о земледѣліи, торговлѣ, пчеловодствѣ (?), о воспитаніи юношества; также всякія патріотическія мысли, всякія характеристическія черты русскаго народа, всякіе примѣры добродѣтели; словомъ, это будетъ хранилище всѣхъ домашнихъ, такъ сказать, важнѣйшихъ государственныхъ происшествій».

По мнѣнію Баккаревича, такое изданіе должно было сдѣлаться архивомъ необходимыхъ для отечественной исторіи матеріаловъ. «Родится—патетически восклицалъ онъ — русскій Тацитъ, русскій Робертсонъ и найдетъ въ семъ обширномъ хранилищѣ богатый запасъ драгоцѣнныхъ матеріаловъ, недостатокъ которыхъ и составляетъ существенную причину невозможности написать исторію Россіи». На этомъ основаніи авторъ проекта полагалъ предоставить редактору «Правительственнаго журнала» званіе исторіографа русскаго имперіи. Всѣ матеріалы, предна-

значенные для этого журнала, обязывались сообщать въ редакцію министры и главноуправляющіе отдѣльными вѣдомствами. Баккаревичъ представилъ свой проэктъ министру народнаго просвѣщенія чрезъ Н. Н. Новосельцова, подъ наблюденіемъ котораго должно было выходить въ свѣтъ новое изданіе.

Но графъ Завадовскій (министръ народнаго просвѣщенія) смотрѣлъ иначе, чѣмъ Новосильцевъ, на потребность гласности въ правительственныхъ дѣйствіяхъ и не особенно заботился о томъ, чтобы доставить «россійскимъ Робертсонамъ» должное количество историческихъ матеріаловъ. Онъ представилъ государю, что въ замышляемое изданіе войдутъ такіа статьи, которыя «едва ли можно позволить издавать въ свѣтъ частному человѣку,» каковы манифесты, рескрипты и прочіе документы, которые, будучи напечатаны несправно, могутъ подать поводъ къ недоразумѣніямъ. Кромѣ того, министръ полагалъ, что слишкомъ трудно найти людей, довольно способныхъ и просвѣщенныхъ для составленія редакціи подобнаго изданія и что, наконецъ, еслибъ такіе люди и нашлись, то потребовали бы слишкомъ большаго вознагражденія за свой трудъ, а потому и самое изданіе едва ли могло бы окупиться. Эти причины, открыто приведенныя гр. Завадовскимъ противъ проэкта Баккаревича, очевидно несущественны и позволяютъ догадываться, что имъ же были представлены въ свое время другія, болѣе уважительныя, секретныя соображенія, рѣшившія дѣло не въ пользу проэктируемаго изданія. Повидимому, мысль о допущеніи гласности въ правительственныхъ дѣлахъ встрѣчала сильное противодѣйствіе со стороны многихъ, заинтересованныхъ въ

томъ, правительственныхъ лицъ: новое доказательство, какъ мало было единодушія и твердой, опредѣленной системы взглядовъ въ высшихъ сферахъ тогдашней администраціи. (См. «Историч. свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи,» стр. 12). Предположеніе о правительственномъ журналѣ осуществилось нѣсколько позже, и только отчасти, въ изданіи «Сѣверной почты», которая стала выходить съ 3-го ноября 1809 г. (два раза въ недѣлю) при почтовомъ департаментѣ, принадлежавшемъ тогда къ министерству внутреннихъ дѣлъ. Газета издавалась подъ руководствомъ товарища министра (впослѣдствіи министра) внутреннихъ дѣлъ О. П. Козодавлева; въ ней печатались корреспонденціи изъ самыхъ отдаленныхъ провинціальныхъ городовъ, политическія извѣстія, литературныя и общественныя слухи, и цѣлыя разсужденія, посвященные преимущественно торговымъ и промышленнымъ вопросамъ. Были также статьи историческаго и этнографическаго содержанія, какъ напр. объ устройствѣ почты, объ историческомъ прошломъ г. Феодосіи, о рыбной ловлѣ на Уралѣ и пр. Время отъ времени, здѣсь сообщались, на особыхъ таблицахъ, продажныя цѣны на хлѣбъ во всѣхъ губернскихъ городахъ. Общественныя новости, сообщаемыя въ газетѣ, вызывали иногда въ публикѣ дополненія и опроверженія, которыя печатались въ самой газетѣ. Въ одномъ изъ номеровъ «Сѣв. Почты» за 1810 г. есть интересное извѣстіе, что министерство внутреннихъ дѣлъ послало въ Липецкъ для пользы публики, гостившей на водахъ, бібліотеку, составленную изъ тысячи томовъ разныхъ авторовъ: такъ заботливо относилось это вѣдомство къ интересамъ образованія.

Въ первое время, по введеніи устава, цензурные

комитеты дѣйствовали вообще въ либеральномъ духѣ и принимали часто къ литературѣ снисходительные пункты устава; но тогда уже обнаруживалось, насколько условно бываетъ, между разными лицами, пониманіе «свободы печати, возвышающей успѣхи просвѣщенія». Неопредѣленность правительственной программы въ цензурномъ вопросѣ, постоянное столкновеніе между требованіями правительственной опеки и свободой общественнаго развитія, уже заявлявшего свои права; наконецъ неизбежное свойство предварительной цензуры, легко видоизмѣняющейся, при неблагоприятныхъ обстоятельствахъ, въ стѣснительную преграду для свободы мысли—все это сказалось полно и наглядно въ прискорбномъ случаѣ съ книгой И. П. Пнина.

Мы расскажем, по возможности подробно, этотъ замѣчательный случай.

IV.

И. П. Пнинъ, какъ писатель и журнальный дѣятель. Его книга «Опытъ о просвѣщеніи». Печальная судьба этой книги. Общее настроеніе цензуры. Взглядъ Россійской Академіи на свободу мысли и слова. Мнѣніе Каченовскаго о новомъ цензурномъ уставѣ.

Иванъ Петровичъ Пнинъ (1773—1805 г.) принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ журнальных дѣятелей конца XVIII-го и начала XIX вѣка. Его имя не блещитъ въ ряду славныхъ именъ, знакомыхъ намъ съ дѣтства изъ различныхъ хрестоматій и безцвѣтныхъ курсовъ русской литературы; его благородная дѣятельность на пользу просвѣщенія

и общественного развитія не влечетъ къ себѣ присяжныхъ панегиристовъ всяческаго успѣха... Но все это показываетъ только, что мы до сихъ поръ, въ оцѣнѣ литературной дѣятельности, неидемъ дальше гуртовыхъ увлеченій массы, раздающей свои вѣнцы, всего чаще, за рутинность мысли и за «художественность» формы, т. е. за гладкую прилипанность рифмованныхъ и нерифмованныхъ строчекъ.—Биографическія свѣдѣнія объ этой выдающейся личности весьма неполны, такъ что мы, при всемъ желаніи сообщить объ ней больше нашимъ читателямъ, должны ограничиться лишь простымъ перечнемъ фактовъ.

И. П. Пнинъ обучался первоначально въ благородномъ пансіонѣ московскаго университета, а потомъ въ кадетскомъ корпусѣ. Во время шведской войны онъ былъ офицеромъ артиллеріи и служилъ во флотиліи. Въ 1801 г. вступилъ въ канцелярію вновь учрежденнаго государственнаго совѣта, а въ 1802 г., при основаніи министерствъ, опредѣленъ экспедиторомъ въ департаментъ министерства народнаго просвѣщенія, директоромъ котораго былъ назначенъ, въ то же время, другой извѣстный журналистъ—И. И. Мартыновъ. *) Въ 1805 г., вслѣдствіе сильной простуды, онъ заболѣлъ чахоткой, которая быстро изнурила его силы и заставила выйти въ отставку съ пенсіей и чиномъ коллежскаго совѣтника. 17 сентября того же года онъ уже скончался на рукахъ многихъ

*) Свѣдѣнія эти мы заимствуемъ изъ похвального слова въ честь Пнина, произнесеннаго въ Обществѣ любителей наукъ и словесности другомъ его Брусловымъ, издателемъ Журнала Россійск. Словесности (1805 г. № 10). Въ похвальной рѣчи сказано, что Пнинъ «умеръ, едва достигнувъ тридцатилѣтняго возраста»; но въ Матеріалахъ для исторіи просвѣщенія г. Сухоманнова находится болѣе точное указаніе его лѣтъ.

друзей,—членовъ «вольнаго общества любителей наукъ, словесности и художествъ,» которые собрали подписку на сооруженіе ему надгробнаго памятника. На этомъ памятникѣ, по предложенію Востокова, была вырѣзана краткая надпись: «Друзья—Пнину».

Вотъ все, что знаемъ мы о жизни Пнина.

Литературная дѣятельность его была непродолжительна, но зато отмѣчена характеромъ безупречной честности и послѣдовательности въ проведеніи своихъ мыслей. Онъ былъ сторонникомъ человѣколюбивой философіи XVIII-го вѣка, служилъ ей искренно, преданно, и притомъ не только въ литературѣ, но и въ жизни. «Будучи весьма небогатъ — говорить его біографъ—онъ любилъ помогать несчастнымъ. Съ жаромъ друга человѣчества, всякую скорбь угнетеннаго людьми или судьбою человѣка бралъ онъ близко къ сердцу своему и не щадилъ ни трудовъ, ни покоя, ни изживенія для облегченія судьбы несчастныхъ». Въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ, въ оригинальныхъ статьяхъ, въ переводахъ, даже въ стихахъ — Пнинъ высказывалъ занимавшія его мысли о наилучшемъ политическомъ устройствѣ и, насколько позволяли внѣшнія препятствія, дѣлалъ болѣе или менѣе прозрачныя намеки на современное ему положеніе Россіи. Въ періодическомъ изданіи Пнина, выходившемъ въ 1798 г., подъ названіемъ «Петербургскаго журнала,» печатались, вмѣстѣ со стихами и баснями, статьи политическаго и экономическаго содержанія, какъ напр. отрывки изъ Монтескье съ замѣчаніями на *L'esprit des lois*, извлеченіе изъ книги графа Верри, сотрудника Беккариа: объ умноженіи и уменьшеніи государственнаго богатства, о глав-

ныхъ побужденіяхъ торговли и первоначальныхъ основаніяхъ цѣнъ, о купеческихъ и художническихъ обществахъ; подробное изложеніе «политической экономіи» Жака Стюарта и т. п. На смерть Радищева Пнинъ написалъ очень трогательное и задушевное стихотвореніе, которое не будетъ лишнимъ привести цѣликомъ:

Итакъ Радищева не стало!
Мой другъ, уже во гробѣ онъ...
То сердце, что добромъ дышало,
Постигъ ничтожества законъ.
Уста, что истину вѣдали,
Уста на вѣки замолчали,
И пламенный ума погасъ...
Кто къ счастью велъ путемъ свободы
Навѣкъ, навѣкъ оставилъ насъ.
Оставилъ—и прешелъ къ покою...
Благословимъ его мы прахъ.
Кто столько жертвовалъ собой
Не для своихъ, но общихъ благъ,
Кто былъ отечеству сынъ вѣрный,
Былъ гражданинъ, отецъ примѣрный,
И смѣло правду говорилъ,
Кто ни предъ кѣмъ не нагибался,
До гроба лестію гнумался—
Я чаю, тотъ довольно жилъ!

Немногіе изъ русскихъ литераторовъ того времени относились такъ сочувственно къ несчастному страдальцу; извѣстно, что корифей тогдашней поэзіи, столь прославленный «потомокъ Багрима», не нашелъ для Радищева иныхъ словъ поощренія, кромѣ слѣдующаго четверостишія:

Вѣла твои въ Москву со истинною сходна,
Некстати лишь смѣла, дерзка и сумасбродна;
Я слышу, на коней ямщикъ кричитъ: «вирь, вирь»!
Знать, русскій Мирабо, поѣхалъ ты въ Сибирь *).

*) См. Русск. Вѣстникъ 1858 г., 23. «Александръ Никол. Радищевъ», по воспоминаніямъ сына.

Весьма понятно, что съ восшествіемъ на престолъ Александра I, всѣ личности, подобныя Пнину, неутратившія въ тяжелую годину ни силы мысли, ни достоинства характера, должны были почувствовать себя какъ бы окрыленными и отдаться, со всѣмъ пыломъ неостывшей энергіи, на служеніе либеральнымъ идеямъ, моментально получившимъ у насъ достаточно широкое право гражданства. Дѣйствительно, Пнинъ оживился духомъ въ это счастливое время, и мы видимъ его въ самомъ разгарѣ литературной производительности. Онъ предполагаетъ издавать по очень обширной программѣ новый журналъ: «Народный Вѣстникъ», пишетъ «Опытъ о просвѣщеніи», «Вопль невинности, отвергаемой закономъ», «О возбужденіи патріотизма», оканчиваетъ первое дѣйствіе исторической драмы «Велизарій» и задумываетъ собрать свои стихотворенія подъ названіемъ: «Моя лира». Ранняя смерть его не дала осуществиться всѣмъ этимъ предпріятіямъ: планъ журнала остался невыполненнымъ, драма не кончена, стихотворенія не собраны. Но «склонясь на просьбы журналистовъ» (по выраженію Брусилова), печаталъ онъ свои стихи въ ихъ журналахъ: такъ напр. нѣсколько его стихотвореній помѣщено въ «Журналѣ Россійской Словесности». Избранный президентомъ Общества любителей наукъ и словесности, 15 іюля 1805 г., онъ намѣревался произвести въ немъ какія-то реформы «для чести общества и для пользы словесности»; но и это не удалось ему.

Изъ сочиненій Пнина, перечисленныхъ выше, одно,—а именно: «Опытъ о просвѣщеніи»—надѣлало много шума и послужило поводомъ къ преслѣдованію со стороны вновь

образовавшагося петербургскаго цензурнаго комитета. Книга эта вышла въ свѣтъ въ 1804 г., по дозволенію петербургскаго гражданскаго губернатора (цензурные комитеты не начинали еще тогда своего дѣйствія), съ двумя эпитафиями; одинъ на первой страницѣ — *«l'instruction doit être modifiée selon la nature du gouvernement qui régit le peuple»* ¹⁾, а другой на оборотѣ: «блаженны тѣ государи и тѣ страны, гдѣ гражданинъ, имѣя свободу мыслить, можетъ безбоязненно сообщать истины, заключающія въ себѣ благо общественное». Изъ этихъ эпитафій, которыми авторъ прикрывалъ, какъ щитомъ, свое разсужденіе, видно уже, что онъ не только не думалъ переступить границъ дозволенной закономъ свободы слова, «возвышающей успѣхи просвѣщенія», но еще надѣлся принести пользу обществу, высказывая печатно свои мысли, не противорѣчившія ни основному характеру правленія, ни гласно заявленнымъ желаніямъ верховной власти. Руководствуясь отчасти «предварительными правилами народнаго просвѣщенія», опубликованными во всеобщее свѣдѣніе самимъ правительствомъ, Пнинъ изложилъ свои взгляды на то: въ чемъ должно состоять просвѣщеніе, что можетъ наиболѣе ему способствовать, и въ одинаковой ли степени оно должно быть распространяемо между всѣми слоями русскаго общества. ²⁾ Признавая тѣснѣйшую связь просвѣщенія народа съ его политическимъ состояніемъ (какъ это можно усмотрѣть изъ перваго эпитафа къ

¹⁾ Т. е. «просвѣщеніе должно сообразоваться съ характеромъ власти, господствующей въ народѣ».

²⁾ См. «Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ царствованіе Александра I». Журн. Мин. Нар. Просв. 1866 г.

книгѣ) авторъ полагаетъ, что успѣхи образованности нельзя измѣрять числомъ ученыхъ и литераторовъ: — по его понятію, истинное просвѣщеніе состоитъ въ равновѣсіи общественныхъ силъ, въ непреложномъ исполненіи долга, лежащаго на каждомъ членѣ государственнаго организма. Но какъ ни различны законы, управляющіе государствомъ, они должны стремиться къ одной цѣли—охраненію правъ собственности и личной безопасности гражданъ. Гдѣ нѣтъ собственности, тамъ всѣ законы существуютъ только на бумагѣ. «Собственность—говоритъ авторъ—священное право, душа общежитія, источникъ законовъ! Гдѣ ты уважаена, гдѣ ты неприкосновенна, тамъ только спокоенъ и благополученъ гражданинъ. Но ты бѣжишь отъ звука цѣпей, ты чуждаешься невольничковъ. Права твои не могутъ существовать ни въ рабствѣ, ни въ безначаліи: ты обитаешь только въ царствѣ законовъ». Право собственности даетъ твердую опору законамъ; законы же произошли отъ гражданскихъ обществъ, а общества явились вслѣдствіе неравенства силъ чѣловѣческихъ. Этимъ неравенствомъ опредѣляется различіе сословій и различіе потребностей каждаго изъ сословій. Допуская законность и неизбежность такого раздѣленія общества, авторъ предлагаетъ свой планъ образованія для четырехъ сословій: земледѣльческаго, мѣщанскаго, дворянскаго и духовнаго. Въ этомъ планѣ исчислены подробно всѣ науки, которыя могутъ быть достояніемъ извѣстнаго класса общества: земледѣльцевъ надлежитъ обучать только чтенію, письму, первымъ дѣйствіямъ ариметики, сельской механикѣ (?), скотоводству, обработкѣ полей и проч. Мѣщане могутъ уже взять въ толкъ грамматику, географію, введеніе во всеобщую исторію и главныя

эпохи русской истории, геометрію и даже тригонометрію, естественную исторію, технологію, физику и практическія знанія, полезныя для промышленности. Въ купеческомъ сословіи, къ этимъ предметамъ присоединяются нѣкоторые другіе, какъ напримѣръ, англійскій языкъ, алгебра, простая и двойная бухгалтерія, исторія коммерціи, товаровѣдѣніе и проч., но вся роскошь познанія приберегается для дворянскаго класса, которому, сверхъ многихъ названныхъ предметовъ, дозвоительно изощрять свои умственные способности изученіемъ юридическихъ наукъ. Читатель видитъ, что въ этомъ случаѣ Пнинъ отдалъ полную дань сословнымъ предразсудкамъ своего времени и остался позади правительства, которое и не думало дѣлать такого спеціального различія, въ приобрѣтеніи познаній, между мѣщаниномъ, купцомъ и дворяниномъ, отворяя для всѣхъ одинаково двери общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній. Но въ одномъ пунктѣ авторъ высказался энергичнѣе и послѣдовательнѣе правительства, не дожидаясь, покуда оно, смущенное разнорѣчивыми взглядами либераловъ и зловѣщими запугиваньями консерваторовъ, рѣшится, наконецъ, дѣйствовать въ какомъ нибудь опредѣленномъ смыслѣ. Этотъ пунктъ — фатальный крестьянскій вопросъ, разрѣшеніе котораго представлялось столь сложнымъ и затрагивающимъ основныя вопросы государственнаго устройства, что Александръ I-й, не смотря на свою хорошо извѣстную антипатію къ рабству, недоумѣвалъ и колебался вырвать это зло съ корнемъ.

Назвавъ русскія сословія, Пнинъ замѣчаетъ, что одно изъ нихъ, именно земледѣльческое, находится въ страдательномъ состояніи, будучи отдано во власть рабовладѣльцевъ,

поступающихъ съ подвластными людьми хуже, чѣмъ со скотомъ. Важнѣйшая забота законодателя должна состоять, по его мнѣнію, въ огражденіи правъ собственности земледѣльческаго класса: только этимъ путемъ можно распространить истинное просвѣщеніе въ народѣ. Рисуя печальную картину крестьянскаго быта, авторъ порицаетъ многія явленія въ жизни другихъ сословій, не щадитъ и системы управленія во всѣхъ ея отрасляхъ. О купцахъ говорится, что они не поддерживаютъ другъ друга въ несчастныхъ случаяхъ: богатый купецъ, видя неудачу и гибель своего собрата, не только не подаетъ ему руку помощи, но еще спѣшитъ притѣснить его, чтобы воспользоваться его несчастіемъ. Въ службу гражданскую, по словамъ автора, опредѣляютъ безъ всякаго разбора; чины и мѣста раздаютъ людямъ, едва умѣющимъ читать и подписывать свое имя; люди же достойные избѣгаютъ службы, опасаясь попасть подъ начальство господъ, заслуживающихъ не почета, а презрѣнія и т. д.

Книга Пнина, изданная въ 1804 г., имѣла такой успѣхъ въ публикѣ, что въ томъ же году понадобилось новое ея изданіе, и она была представлена въ цензурный комитетъ съ рукописными дополненіями, сдѣланными,—какъ объясняетъ авторъ,—по волѣ монарха. Но не всѣ читатели прочли «Опытъ о просвѣщеніи» съ одинаковымъ удовольствіемъ: нашелся между ними одинъ благонамѣренный гражданинъ, который, предвидя отъ этой книги ущербъ для славы отечества, донесъ на нее, какъ на крайне вредную и исполненную разрушительныхъ правилъ *). Амастеръ-доносчикъ

*) См Русск. Вѣстн. 1858 г. № 23.

былъ нѣкто Гавріилъ Гераковъ, извѣстный уже въ то время своими патріотическими произведеніями въ родѣ: «Герои русскіе за 400 лѣтъ», «Твердость духа нѣкоторыхъ Россіянъ» и т. п., и еще болѣе прославившійся впослѣдствіи наданіемъ «Россійскихъ историческихъ отрывковъ», не принятыхъ ни Жуковскимъ, ни Каченовскимъ въ «Вѣстникъ Европы» *). На этого же Геракова написана была Мариннымъ слѣдующая эпиграмма:

Будешь, будешь сочинитель
И читателей тиранъ,
Будешь корпусный учитель,
Будешь вѣчный канцелярь.
Будешь—такъ судьбы гласилъ—
Ростомъ двухъ аршинъ съ вершкомъ,
Будешь, греки подтвердили,
Будешь авѣкъ ходить пѣшкомъ.

Въ объясненіе предпоследняго стиха нужно замѣтить, что Гераковъ былъ родомъ грекъ и проникнулся русскимъ патріотизмомъ, подобно Булгарину, въ чаяніи поправить нѣсколько свои запутанныя дѣлишки. Доносъ жалкаго писака былъ услышанъ цензурными властями: новое изданіе книги не было разрѣшено, а экземпляры перваго изданія, еще оставшіеся въ продажѣ, предписано отобрать изъ книжныхъ лавокъ. вмѣстѣ съ книгою были отвергнуты цензурнымъ комитетомъ и рукописныя къ ней дополненія, причемъ комитетъ постарался мотивировать свой отказъ. Приведемъ слова автора: «насильство и невѣжество, составляя характеръ правленія Турціи, не имѣя ничего для себя священнаго, губятъ взаимно гражданъ, не разбирая жертвъ», цензоръ прибавляетъ отъ себя: «хочу вѣрить, что эту мрачную

*) См. по каталогу Смирдина №№ 2709, 2943 и 2924.

картину списалъ авторъ съ Турціи, а не съ Россіи, какъ то иному легко показаться можетъ; но и для турецкаго правленія это язвительная клевета, будто народъ сей не имѣетъ для себя ничего священнаго и губить себя взаимно, не разбирая жертвъ». Главный доводъ, приводимый противъ книги Пнина, заключается въ томъ, что «авторъ съ жаромъ и энтузіазмомъ жалуется на злосчастное состояніе русскихъ крестьянъ, коихъ собственность, свобода и даже самая жизнь, по мнѣнію его, находится въ рукахъ какого нибудь капризнаго паша.» «Хотя бы то и справедливо было, разсуждаетъ офиціаль- ный рецензентъ, что русскіе крестьяне не имѣютъ собственности, ни гражданской свободы, однако зло сіе есть зло, въ каки укоренившееся, и требуетъ осторожнаго и повременнаго исправленія. Мудрые наши монархи усмотрѣли его давно; но зная, что сильный переломъ всегда разрушаетъ машину правленія, не хотѣли вдругъ искоренить сіе зло, дабы не навлечь чрезъ то еще большаго бѣдствія. Правительство дѣйствуетъ въ семъ случаѣ подобно искусному врачу; мѣры его кротки и медленны, но тѣмъ не менѣе безопасны и спасительны. Если бы сочинитель нашелъ или думалъ найти какое нибудь новое средство, дабы достигнуть скорѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ безопаснѣе предполагаемой имъ цѣли, т. е. истребленія рабства въ Россіи, то приличнѣе было бы предложить оное проектомъ правительству. А разгорячать умы, воспалять страсти въ сердцахъ такого класса людей, каковы наши крестьяне, это значить въ самомъ дѣлѣ собирать надъ Россіей черную губительную тучу». Приговоръ цензуры вызвалъ протестъ со стороны автора. Въ объясненіи своемъ, пред-

ставленномъ въ главное правленіе училищъ, Пнинъ говоритъ: «Всякій писатель, пишущій о предметахъ государственныхъ, никогда не долженъ терять изъ виду будущее. Ибо цѣль народа никогда не умираетъ, ибо государство, какимъ бы оно ни было подвержено сильнымъ потрясеніямъ, перемѣняетъ только видъ свой, но вовсе никогда не истребляется. И потому сочинитель обязанъ истинны, имъ предусматриваемыя, представлять такъ, какъ онъ находитъ ихъ. Онъ долженъ въ семъ случаѣ послѣдовать искусному живописцу, коего картина тѣмъ совершеннѣе бываетъ, чѣмъ краски, имъ употребляемыя, соотвѣтственнѣе предметамъ, имъ изображаемымъ. Впрочемъ все сказанное мною о необходимости крестьянской собственности, всѣ истинны, къ сему предмету относящіяся, почерпнулъ я изъ премудраго наказа Великія Екатерины. Она внушила мнѣ оныя. Она возбудила во мнѣ тотъ жаръ и энтузіазмъ, который цензоръ ставитъ мнѣ въ преступленіе. Рукописное дополненіе, сдѣланное мною по волѣ монарха, заключаетъ въ себѣ опредѣленіе крестьянской собственности, примѣненное мною къ настоящему положенію вещей».

Изъ этого столкновенія видно уже, какъ тѣсны оказались цензурныя рамки для начинавшагося развитія свободной мысли. Пнинъ выставляетъ на видъ идеалъ европейскаго писателя; онъ отстаиваетъ право свободного мыслителя касаться всѣхъ «государственныхъ предметовъ», отъ которыхъ зависитъ будущее страны; онъ пробуетъ также приженуть къ либеральному направленію, поскольку проявлялось оно въ дѣйствіяхъ самого правительства, и на все это получаетъ одинъ холодный отвѣтъ, что «хотя крестьянской

собственности нѣтъ, однако зло сіе вѣками укоренено» (какъ будто въ этой фразѣ есть какая нибудь логика, и зло долговременное перестаетъ уже быть зломъ), что свободная мысль можетъ быть полезна государству, 'но не въ печати, не гласно высказанная, а въ формѣ прозекта, поданнаго куда слѣдуетъ. Либеральная цензура сочувствуетъ даже «истребленію рабства въ Россіи»; но выразить это сочувствіе пропускомъ статьи не рѣшается, потому что правительство, сознавая зло въ принципѣ, начало дѣйствовать противъ него «мѣрами кроткими и медленными». Мы не хотимъ сказать, чтобы судъ надъ печатью, организованный въ прежнее время, отнесся снисходительнѣе къ свободной мысли; ничего нѣтъ мудренаго, что этотъ судъ, составленный изъ лицъ, столько же зависимыхъ по своему положенію, какъ были зависимы и чиновники-цензоры, присудилъ бы книгу къ запрещенію, а сочинителя, кромѣ того, къ уголовному заточенію, и вторая бѣда была бы горше первой: — трудно утверждать что нибудь въ пользу тогдашняго суда, т. е. иной системы наблюденія за печатью; — но намъ необходимо указать ту границу, которая, даже въ самый либеральный моментъ, была поставлена неумѣреннымъ порывамъ критической мысли.

Случай, рассказанный нами, объясняетъ, въ какую сторону могло измѣниться направленіе предварительной цензуры. Осуждая книгу Пнина, цензоръ говоритъ, что не желалъ бы узнавать Россію подъ именемъ Турціи; конечно, онъ руководствовался при этомъ снисходительнымъ пунктомъ устава, по которому «мѣсто, подверженное сомнѣнію и имѣющее двоякій смыслъ, лучше истолковать выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели

его преслѣдовать». Но съ теченіемъ времени произволъ цензуры въ толкованіи этихъ сомнительныхъ мѣстъ расширялся все болѣе и болѣе, такъ что въ 1825 году, при министрѣ народнаго просвѣщенія, Шишковѣ, запрещено было выставлять въ печатныхъ книгахъ таинственныя точки, подъ которыми многіе проникательные читатели усматривали прерванную мысль заманчиваго свойства. Съ тѣмъ вмѣстѣ служивалось пониманіе второго, пятнадцатаго и осьмнадцатаго параграфовъ устава, изъ которыхъ—въ первомъ требовалось удалить книги и сочиненія, не ведущія къ истинному просвѣщенію ума и образованію нравовъ, а двумя другими запрещались произведенія «противныя правительству (т. е. политическому устройству страны), нравственности, благопристойности, закону Божию и личной чести гражданъ». При боязливомъ примѣненіи этихъ послѣднихъ пунктовъ оказалось возможнымъ запретить даже такую невинную вещь, какъ «Смальгольмскій баронъ» Вальтеръ-Скотта въ переводѣ Жуковского.

Тѣмъ не менѣе, общее настроеніе правительства, отъ котораго такъ много зависитъ характеръ предварительной цензуры,—было, въ то время, благопріятнѣе, чѣмъ когда либо, для успѣшнаго развитія литературы.

Если въ высшемъ правительствѣ встрѣчались лица (большую частію завѣщанныя новому времени прежнимъ поколѣніемъ государственныхъ дѣятелей), которыя косо смотрѣли на свободу прессы, то въ немъ же находимъ мы и другихъ людей, нежелавшихъ стѣснять успѣхи русскаго просвѣщенія. Самъ государь часто держалъ сторону своихъ молодыхъ и либеральныхъ совѣтниковъ, и его личныя симпатіи отража-

лись выгоднымъ образомъ на дѣйствіяхъ предварительной цензуры. Такъ напр., еще до учрежденія цензурныхъ комитетовъ, московскій военный генералъ-губернаторъ, гр. Салтыковъ, опечатавъ сочиненіе «Кумъ Матвѣй», переведенное съ французскаго и дозволенное для продажи московскимъ гражданскимъ губернаторомъ, а книгопродавцевъ, у которыхъ оно продавалось, арестовалъ. Это распоряженіе слишкомъ ревностнаго начальника не было одобрено въ Петербургѣ; арестованныхъ книгопродавцевъ государь приказалъ освободить, а министръ внутреннихъ дѣлъ, графъ Кочубей, увѣдомилъ о томъ одного изъ нихъ вѣжливымъ письмомъ; въ послѣдствіи и убытки, понесенные частными лицами отъ распоряженія графа Салтыкова, были вознаграждены изъ суммъ кабинета. Въ то же время, по ходатайству Н. Н. Новосильцева, печаталось сочиненіе объ англійской конституціи. Вообще цензурныхъ дѣлъ за періодъ времени отъ 1804 — 1811 г. сохранилось немного, и тѣ, которыя сохранились, почти исключительно касаются конфискаціи политическихъ книгъ, переведенныхъ съ иностраннаго языка. Въ сентябрѣ 1807 г. было отобрано болѣе 5000 экземпляровъ сочиненія: «Тайная исторія новаго французскаго двора», переведеннаго съ нѣмецкаго, съ дозволенія петербургскаго цензурнаго комитета. Все изданіе было «истреблено огнемъ» по предписанію петербургскаго военнаго генералъ-губернатора, князя Лобанова-Ростовскаго, но издатель былъ удовлетворенъ за убытки, и притомъ крупною суммою въ 6500 р., изъ кабинета его величества *). Общій духъ

*) «Историч. свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи», стр. 13—19.

перваго цензурнаго устава почти не стѣснялъ литературной дѣятельности, какъ можно судить по количеству и по содержанію книгъ, вышедшихъ въ это время; исполнителями же устава выбирались люди просвѣщенные и, насколько возможно, либеральныя. Дѣла по книгопечатанію, до своего окончательнаго рѣшенія, переходили три инстанціи, и рѣдко случалось, чтобы сочиненіе или переводъ отвергаемы были всѣми тремя степенями цензурнаго вѣдомства, т. е. цензоромъ, читавшимъ рукопись, цензурнымъ комитетомъ и наконецъ главнымъ правленіемъ училищъ. «Обыкновенно бывало,—говоритъ г. Сухомлиновъ, имѣвшій возможность пересмотрѣть много старыхъ цензурныхъ дѣлъ — что или сами цензоры давали ходъ книгѣ на основаніи благопріятныхъ для литературы постановленій устава, или же цензурные комитеты, и еще чаще главное управленіе училищъ, разрѣшали сомнѣнія цензуры въ смыслѣ наиболѣе выгодномъ для авторовъ и переводчиковъ». Что цензоры далеко не всегда относились придирчиво къ свободной мысли, но напротивъ больше склонялись дѣйствовать въ либеральномъ духѣ — можно доказать двумя, очень разительными примѣрами. Въ 1807 г. была переведена на русскій языкъ книга: «De la souveraineté ou connaissance des vrais principes du gouvernement des peuples» которую многіе осуждали за новыя правила, противныя основаніямъ доброй нравственности, вѣры и политики. Но вотъ резолюція цензурнаго комитета: «Въ книгѣ хотя и содержатся многія смѣльныя и оригинальныя мысли, которыя, будучи взяты въ отдѣльности, могутъ показаться предосудительными; но соображая ихъ съ общимъ духомъ книги, нельзя не признать, что авторъ, разру-

шая, повидимому, общепринятая мнѣнія о добродѣтели, нравственности, религіи и правахъ человѣчества, тѣмъ не менѣе утверждаетъ ихъ на новомъ основаніи. Въ такомъ вѣкѣ, когда потрясены всѣ древнія опоры алтарей и троновъ, бесполезно противопоставить опыту Макіавелева ученія, смятеннаго и приноровленнаго къ духу настоящаго времени. Будучи наполнена отвлеченными и глубокомысленными изысканіями, книга «De la souveraineté» обратитъ на себя вниманіе только людей ученыхъ и просвѣщенныхъ, которые, безъ сомнѣнія, прочтутъ ее съ пользою, и если не согласятся съ мнѣніемъ автора, то, по крайней мѣрѣ, доведены будутъ до размыслианія многихъ полезныхъ истинъ, хотя бы то было и къ опроверженію самого автора. Что же касается до читателей недалековидныхъ, для которыхъ книга эта могла бы послужить соблазномъ, то, кажется, утвердительно можно сказать, что они не захотятъ принять на себя трудъ входить въ лабиринтъ глубокомысленныхъ изслѣдованій автора».

Мотивы, приведенные здѣсь, не мѣшаютъ свободной критикѣ обращаться на самые важные вопросы человѣческаго общежитія: польза, которая проистекаетъ изъ этого, превосходитъ, по мнѣнію цензурнаго комитета, случайный соблазнъ и недоразумѣнія «нелепоковидныхъ» читателей. Такую-же просвѣщенную терпимость къ мнѣніямъ писателей обнаружилъ въ 1819 г. цензоръ Яценковъ (онъ же редакторъ «Духа журналовъ»), допуская къ печати, въ «Журналѣ древней и новой словесности», извѣстное письмо Ломоносова: «О размноженіи

и сохраненіи русскаго народа». Письмо это не понравилось однако двумъ министрамъ (народнаго просвѣщенія и внутреннихъ дѣлъ), которые нашли въ немъ «мысли предосудительныя, несправедливыя, противныя православной церкви и оскорбляющія честь нашего духовенства». Отъ цензора потребовали объясненія, и онъ не замедлилъ его представить. «Не входя въ изслѣдованіе о томъ — пишетъ Яценковъ — справедливы-ли разсужденія Ломоносова, въ письмѣ семъ изобразенныя, осмѣливаюсь объяснить только слѣдующее. Статья сія имѣетъ совсѣмъ другую цѣну и должна быть разсматриваема совсѣмъ съ другой стороны. Она есть ни богословская:—ибо кто станетъ искать въ Ломоносовѣ разрѣшенія богословскихъ вопросовъ?—ни медицинская, ниже политико-экономическая, хотя въ семъ дѣлѣ всѣ лучшіе врачи и многіе государственные мужи отдадутъ Ломоносову справедливость. Она есть ничто иное, какъ новая черта къ портрету Ломоносова, дополненіе къ исторіи жизни и многочисленнымъ ученымъ занятіямъ сего великаго мужа. До сихъ поръ мы знали и почитали Ломоносова, какъ неподражаемаго поэта, какъ великаго математика, физика, астронома, химика; отнынѣ будемъ знать и почитать его еще и какъ глубокомысленнаго государственнаго мужа, какъ ревностнѣйшаго споспѣшника народной силы, богатства и величія нашего отечества. Онъ могъ ошибаться въ мнѣніяхъ своихъ о предметахъ богословскихъ и политико-экономическихъ; но одно усердіе его къ споспѣшествованію общей пользѣ даетъ уже ему право на всеобщую признательность. Будущій историкъ жизни Ломоносова не пропуститъ

и сей черты, вмѣстѣ со многими другими, изображающими величественный образъ сего необыкновеннаго человѣка. И сія есть одна истинная точка, съ которой цензоръ считалъ себя въ обязанности разсматривать статью сію. Запретивши оную, онъ бы выкинулъ одну изъ любопытнѣйшихъ страницъ въ похвальномъ словѣ Ломоносову». Взглядъ многихъ цензоровъ на свободу мнѣній оказывался даже гораздо просвѣщеннѣе и дѣльнѣе, чѣмъ взглядъ на тотъ же предметъ Россійской Академіи. По поводу рецензіи на академическую грамматику, напечатанную въ «Сынѣ Отечества» въ 1819 г., эта почтенная академія пришла въ такой азартъ, что ходатайствовала особою запиской о преслѣдованіи цензора и автора. Въ засѣданіи академіи былъ поднятъ вопросъ: «имѣютъ ли журналисты право объ издаваемыхъ академіею книгахъ извѣщать публику съ своими о нихъ сужденіями и оцѣнкою»,—и академики отвѣчали на него отрицательно. «Цѣлая академія—говорится въ академической жалобѣ—не можетъ быть безграмотною; журналистъ легко можетъ быть безграмотенъ, ибо всякій можетъ быть журналистомъ. Въ цѣлой академіи предполагается болѣе знаній, нежели въ одномъ журналистѣ. Академія можетъ погрѣшать, но журналистъ еще больше. И такъ, по здравому разсудку (!!) нѣтъ никакой пользы ни для нравовъ, ни для просвѣщенія и словесности, чтобы изданныя отъ академіи и слѣдовательно оцѣненные уже ею сочиненія, были вновь переоцѣниваемы журналистами. Въ государственныхъ постановленіяхъ также нигдѣ не сказано, что журналисты могутъ публиковать и оцѣнивать академическія книги, какъ

нимъ угодно. Посему ясно (?), что издатель журнала, подъ названіемъ «Сынъ Отечества», присвоилъ самъ себѣ это право. Поступокъ его не подлежитъ суду академій, но суду правительства». Жалобы академій и претензія ея на авторитетъ папской непогрѣшимости не были уважены главнымъ правленіемъ училищъ, которое нашло, что «дѣлныя замѣчаній на всякую издаваемую книгу, а тѣмъ болѣе на грамматику, не можетъ быть никому возбранено, и, въ случаѣ неосновательности замѣчаній, критикъ подвергается стыду передъ публикою и опроверженію своихъ мыслей тѣмъ же способомъ, каковымъ доведены они до всеобщаго свѣдѣнія»; но самая возможность появленія такой жалобы составляетъ уже грустный и назидательный фактъ: отсюда ясно, какъ мало наклонны были даже ученые собранія, прикрытыя хоть кончикомъ официальнаго плаща, подвергать свои дѣйствія суду публики, и какъ ревниво отстаивали они свои чрезмѣрные притязанія....

Желаніе полной свободы печати, высказанное немногими передовыми личностями александровскаго времени, далеко обгоняло развитіе русскаго общества, непривыкшаго видѣть въ литературномъ мнѣніи самостоятельную, независимую силу; большинство же образованныхъ людей, не исключая литераторовъ и журналистовъ, вполне удовольствовалося тою долей свободы, какую предоставлялъ русской литературѣ новый цензурный уставъ. Это мнѣніе большинства было выражено Каченовскимъ въ «Вѣстникѣ Европы», вскорѣ по выходѣ устава. Мы приведемъ его цѣликомъ, — тѣмъ болѣе, что оно, по своей краткости, не утомитъ нашихъ читателей. «Критика ученая и безпристрастная—и

шетъ Каченовскій въ статьѣ подѣ названіемъ: «О книжной цензурѣ въ Россіи»—выставляя погрѣшности сочиненій,—удерживаетъ неопытныхъ людей отъ смѣлыхъ предпріятій; цензура, налагая узду на дерзость и буйство, искореняетъ зло при самомъ его началѣ. Истинный талантъ не боится критики; писатель благонамѣренный уважаетъ постановленія мудраго правительства и благоговѣтъ въ душѣ своей предъ спасительными узаконеніями, которыми нимаю не стѣсняется свобода мыслить и писать (курсивъ въ подлинникѣ) и которыя суть ничто иное, какъ только необходимыя мѣры, принятыя противъ злоупотребленій сей свободы. Для чего нужны книги? Умъ и дарованія образуются подѣ руководствомъ содержащихся въ нихъ полезныхъ правилъ и наставленій; сынъ церкви и отечества почерпаетъ изъ книгъ понятія о своихъ обязанностяхъ; гражданинъ узнаетъ изъ нихъ права свои; человѣка онѣ научаютъ чувствовать цѣну его достоинства и иногда, въ часы свободныя, доставляютъ ему пріятное занятіе. Но всякая ли книга соотвѣтствуетъ симъ важнымъ назначеніямъ? Вольтеръ хотѣлъ, чтобы дозволено было писать все безъ изъятія, утверждая, что благо и спокойствіе общества не зависятъ отъ напечатанной книги. Постыдный для человѣчества примѣръ неистовыхъ революцій доказалъ неосновательность Вольтерова мнѣнія. Появленіе дерзкихъ сочиненій, сопровождаемое всеобщимъ одобреніемъ, означаетъ послѣднюю степень развращенія и необузданности, до которой государство достигаетъ. Еслибъ всѣ верховныя власти заблаговременно пеклись о доставленіи обществу книгъ, способствующихъ къ истинному

просвѣщенію ума и къ образованію нравовъ, еслибъ онѣ удаляли сочиненія противныя сему намѣренію, то французы не посрамили бы своего имени предъ лицомъ свѣта и потомства, не обагрили бы рукъ своихъ кровію законнаго своего государя, не пресмыкались бы у ногъ хитраго чужестранца. Нынѣшніе законодатели французскаго Парнасса (аббатъ Жоффруа, издателя французскаго Меркурія и пр.), устрешенные плачевными слѣдствіями легкомыслія своихъ соотечественниковъ, принимаютъ крайнія мѣры, совершенно противоположныя первымъ, т. е. выбравшись изъ одной пропасти, низвергаются въ другую; они теперь выхваляютъ блаженное состояніе невѣжества и скорыми шагами обратно отступаютъ къ четырнадцатому вѣку. Южная Германія и всѣ итальянскія государства, по долгу зависимости отъ Франціи и соображаясь съ модою лицемѣрной набожности, господствующей при дворѣ Наполеоновомъ, шествуютъ по слѣдамъ своей путеводительницы. Въ Испаніи пламенники святой инквизиціи истребляютъ творенія великихъ геніевъ, писанныя для безсмертія, для пользы и славы человѣческаго рода. Въ Австріи запрещенъ ввозъ всѣхъ иностранныхъ сочиненій. Въ то время, когда въ южной Европѣ воздвигаютъ алтари невѣжеству, въ любезномъ отечествѣ нашемъ законы вслѣски ободряютъ успѣхи просвѣщенія, охраняя вѣру, святость власти, нравственность и личную честь гражданина. И кто не чувствуетъ, сколь драгоценны сіи залогои благоденствія общественнаго и частнаго? Какой здравомыслящій гражданинъ предпочтетъ имъ произведенія ума буйнаго и строitivaго, прикрашеннаго ложнымъ блескомъ мнимаго

краснорѣчія, мгновенно исчезающимъ при свѣтильникѣ здравой логики?»

«Никогда не были взяты мѣры лучшія и надежнѣйшія для успѣховъ народнаго просвѣщенія; никогда правительство столько не пеклось о томъ, чтобы волю свою сдѣлать извѣстною всѣмъ гражданамъ. «Цензура въ запрещеніи печатанія или пропуска книгъ руководствуется благоразумнымъ снисхожденіемъ, удаляясь всякаго пристрастнаго толкованія сочиненій или мѣстъ въ оныхъ, которыя, по какимъ либо мнимымъ причинамъ, кажутся подлежащими запрещенію. Когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двоякій смыслъ, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать». Какое поощреніе для зрѣющаго таланта! какая твердая подпора для писателя опытнаго, который предпринимаетъ подвигъ отважный и многотрудный! Екатерина Великая начертала вѣрное средство осчастливить людей. Если хотите сдѣлать народъ благополучнымъ, говоритъ безсмертная законодательница къ органамъ народа, распространите просвѣщеніе въ государствѣ. Человѣколюбивый Александръ, довершающій великія предпріятія своей прародительницы, желаетъ и требуетъ, чтобы скромное и благоразумное изслѣдованіе всякой истины, относящейся до вѣры, человѣчества, гражданскаго состоянія, законоположенія, управленія государственнаго или какой бы то ни было отрасли правленія, «не только не подлежало и самой умѣренной строгости цензуры, но пользовалось бы совершенною свободою тисненія, возвышающей успѣхи просвѣщенія». Если всѣ члены общества будутъ исполнять съ та-

кою правотою и ревностью священный долгъ свой, съ какою мудростью августѣйшій обладатель сѣвера предписываетъ спасительныя средства для истиннаго счастья своего народа; то еще нѣсколько лѣтъ—и поле російской словесности обогатится памятниками изящнаго вкуса и учености». (См. Вѣстн. Евр. 1805 г. № 3).

На этой благоразумной серединѣ примирялись всѣ, кто не желалъ «дерзостей» и излишествъ печати, осуждалъ «умъ буйные и строптивые», но вмѣстѣ съ тѣмъ находилъ вредными крайнія репрессивныя мѣры, отодвигающія общество «къ четырнадцатому столѣтію».

V.

Отличительный характеръ русскаго масонства и вліяніе его на Карамзина. — Освобожденіе Карамзина отъ этого вліянія. — Изданіе «Московского Журнала» и литературныхъ сборниковъ. — Политическіе взгляды и симпатіи Карамзина. — Отдѣлъ критики въ «Московскомъ Журналѣ»

Поворотъ въ нашей государственной жизни отразился благопріятно на журналистикѣ. Первымъ представителемъ этого новаго движенія въ нашей литературѣ, по всей справедливости, считается Карамзинъ. Но такъ какъ дѣятельность этого писателя началась еще въ концѣ царствованія Екатерины II-й, то мы должны будемъ обратиться нѣсколько назадъ.

Въ философскомъ движеніи XVIII-го вѣка опредѣлились довольно ясно двѣ струи, два различныя міровоззрѣнія: — раціо-

нально-деистическое и собственно материалистическое, или сенсуализмъ. Первое примыкало къ английской школѣ Локка, другое нашло своихъ представителей во французскихъ энциклопедистахъ. М а с о н с т в о, зашедшее въ XVIII в. и къ намъ, приближалось въ основныхъ началахъ своихъ къ школѣ деистическихъ философовъ, т. е. масоны старались перенести въ практическую жизнь ту «религію разума», или «естественную религію», которая требовала отъ человѣка высокой нравственности, полезной дѣятельности, отвергая всякій догматизмъ и фанатическую нетерпимость. Скоро оно вступило въ борьбу съ распространявшимся атеизмомъ. Въ своемъ дѣйствительнѣйшемъ развитіи въ Европѣ, масонство соприкасалось одной своей стороною—съ политической сектой иллюминатовъ, другою—съ мистической теософіей Бема, Штиллинга и др. Въ русскомъ масонствѣ не было политическаго оппозиціоннаго отбѣнка, который встрѣчался въ западныхъ масонскихъ ложахъ; все лучшее, что было въ немъ, уходило только на филантропическую дѣятельность, чуждую какому бы то ни было политическаго новаторства. Лопухинъ, одинъ изъ лучшихъ людей «Дружескаго общества», говоря о различіи между западнымъ и русскимъ масонствомъ, чистосердечно признается: «нашего общества предметъ былъ—добродѣтель и стараніе, исправляя себя, достигать ея совершенства при сердечномъ убѣжденіи о совершенномъ ея въ насъ недостаткѣ; а система наша, что Христосъ—начало и конецъ всякаго блаженства». Тайныя же политическія общества, по мнѣнію Лопухина, основаны на томъ, «чтобы отвергать Христа, а общество оныхъ предметъ: заговоръ буйства, побуждаемаго глупымъ стремленіемъ къ необузданности и неестественному равенству». Въ сво-

емъ масонскомъ катихизисѣ Лопухинъ прямо говоритъ, что «масонъ долженъ царя чтить и во всякомъ страхѣ повиноваться ему, не только доброму и кроткому, но и строптивому». Впослѣдствіи, подъ вліяніемъ Лабзина, масонство утратило и свой филантропическій характеръ, обратившись въ одно отягеченное, мистико-религіозное созерцаніе. Карамзинъ, какъ извѣстно, вышелъ изъ масонскаго кружка и сохранилъ на себѣ отпечатокъ его вліянія *). Уваженіе къ человѣческой личности, независимо отъ ея общественнаго положенія и вѣса, отсутствіе религіознаго фанатизма — вотъ хорошія черты этого вліянія; но были также и дурныя. Живя въ Москвѣ, Карамзинъ занимался переводами книгъ въ мистическомъ духѣ для новиковскихъ изданій, мечталъ о потерянномъ золотомъ вѣкѣ и, несовсѣмъ отрезвившись отъ этого настроенія, отправился путешествовать по Европѣ. Возвратясь изъ путешествія, Карамзинъ принялся за изданіе ежемѣсячнаго «Московского Журнала» (1791—1792 г.). Появленіе этого журнала было очень важно для своего времени: послѣ сатирическихъ листковъ Новикова, это было первое живое слово въ тогдашнемъ литературномъ затишьѣ. Въ предувѣдомленіи къ журналу Карамзинъ говорилъ: «Вотъ начало. Издатель упортебитъ всѣ силы свои, чтобъ продолженіе было лучше и лучше. Журналъ выдавать не шутка—я это знаю,—однако жъ чего не дѣлаетъ охота и прилежность? Множество иностранныхъ журналовъ лежитъ у меня передъ глазами; ни одного изъ нихъ не возьму я за точный образецъ, но всѣми буду пользоваться». И въ самомъ дѣлѣ издатель искусно выби-

*) Объ этомъ вліяніи см. въ 1-мъ томѣ, въ статьѣ: «Русскіе классики въ характеристикахъ г. Галахова», стр. 205—218.

радь статьи для своей публики: тутъ были «Письма русскаго путешественника», знакомившія, хотя поверхностно, съ умственною жизнью Европы, съ личностями ея знаменитыхъ мыслителей, свѣдѣнія объ иностранныхъ и русскихъ книгахъ, переводныя и оригинальныя повѣсти, и статьи о театрахъ. Строгаго, опредѣленнаго направленія здѣсь не было, да его и не могло быть въ то время; публикѣ нужны были хоть какія нибудь, не то чтобы систематическія познанія, хоть какое нибудь чтеніе, которое бы приучало ее размышлять объ окружающемъ, видѣть въ книгѣ пріятнаго собесѣдника, а не кошмаръ, созданный для устрашенія школьниковъ. Успѣху журнала немало способствовалъ и легкій литературный языкъ, которымъ писалъ Карамзинъ; доступность его изложенія значительно раздвинула кругъ дѣйствія періодической печати. Утомившись изданіемъ журнала, который приходилось вести почти одному (послѣдняя книжка «Московского Журнала» сильно запоздала, а въ 1791 г., вслѣдствіе двукратной отлучки издателя изъ Москвы, даже нѣсколько номеровъ журнала вышли не въ свое время), Карамзинъ предпочелъ дѣйствовать на публику посредствомъ литературныхъ сборниковъ: *Аглая* (1794 г., двѣ книжки) и *Аониды* (1796 — 1799 г., три книжки). По своему составу «Аглая» есть какъ бы продолженіе «Московского Журнала»; «Аониды» же представляютъ сборникъ стихотвореній самого Карамзина и другихъ современныхъ поэтовъ. Мы не будемъ распространяться о значеніи сентиментальности, впервые внесенной къ намъ карамзинскою беллетристикой; скажемъ только, что, по сравненію съ ходульными произведеніями прежнихъ поэтовъ, воспѣвавшихъ битвы, барскія

милости, иллюминаціи и фейерверки, переходъ къ простымъ сюжетамъ, заимствованнымъ изъ близкой и всѣмъ знакомой жизни, былъ самъ по себѣ признакомъ развитія литературы. «Поэзія,—говорилъ Карамзинъ въ предисловіи ко 2-й книжкѣ «Аонидъ» (1797 г.),—состоитъ не въ надutomъ описаніи ужасныхъ сценъ природы, но въ живости мыслей и чувствъ. Если стихотворецъ пишетъ не о томъ, что подлинно занимаетъ его душу, если онъ не рабъ, а тиранъ своего воображенія, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, несвойственными ему идеями... то въ произведеніяхъ его не будетъ никогда живости, истины. Не надобно думать, что одни великіе предметы могутъ воспламенять стихотворца и служить доказательствомъ дарованій его: напротивъ истинный поэтъ находитъ въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ поэтическую сторону». Намъ больше интересуется взглядъ Карамзина на общественный и политическій строй Европы, его отношеніе къ различнымъ философскимъ системамъ, господствующій характеръ его изданій.

Въ «Московскомъ Журналѣ» еще очень замѣтно соединились отголоски прежняго масонскаго вліянія и новыя впечатлѣнія, навѣянные на Карамзина путешествіемъ по Европѣ. Филантропическое благодушіе сказывается во многихъ мѣстахъ знаменитыхъ «Писемъ»; но оно далеко отъ того, чтобы рѣзко осуждать несовмѣстный съ гуманизмомъ порядокъ вещей. «Я вездѣ видѣлъ—пишетъ Карамзинъ изъ Мейссена—благоденствіе, счастье и миръ. Птички, которыя порхали и плавали по чистому воздуху надъ головою моею, казались мнѣ блаженными тварями.... въ каждомъ поселянинѣ, идущемъ по лугу, видѣлъ я благополучнаго смерт-

наго, имѣющаго съ избыткомъ все то, что потребно чело-
вѣку. Онъ здоровъ трудами, думалъ я, веселъ и счастливъ
въ часъ отдохновенія, будучи окруженъ мирнымъ своимъ
семействомъ, сидя подлѣ вѣрной своей жены и смотря на
играющихъ дѣтей своихъ». Но радуясь этому благоденствію,
Карамзинъ не забывалъ сѣтовать, что «въ Лифляндіи или
въ Эстляндіи мужикъ приноситъ господину вчетверо болѣе
нашего казанскаго или симбирскаго». Лопухинъ, какъ из-
вѣстно, тоже отстаивалъ въ принципѣ крѣпостное право,
нужное, по его мнѣнію, «для обузданія народа», хотя и
желалъ видѣть крестьянъ благоденствующими. Мечты о зо-
лотомъ вѣкѣ, оставшемся назади, — соединеніе Руссо съ
Юнгомъ Штиллингомъ, — также замѣтны въ «Письмахъ».
«Ахъ, милые друзья мои! восклицалъ нашъ путешествен-
никъ, выпивая воду, поданную ему пастухомъ,—для чего
не родились мы въ тѣ времена, когда всѣ люди были па-
стухами и братьями? Я съ радостью отказался бы отъ мно-
гихъ удобностей жизни, которыми обязаны мы просвѣщенію
дней нашихъ, чтобъ возвратиться въ первобытное со-
стояніе человѣка». Сюда же относятся идиллическія поже-
ланія автора: «построить себѣ хижину, на голубой Юрѣ» и
удалиться отъ суетнаго человѣческаго общества. На вопросъ
Виланда, къ которому нашъ туристъ ворвался почти насиль-
но и былъ встрѣченъ сначала весьма сухо,—на вопросъ этого
поэта: «скажите, потому что я начинаю вами интересоваться,
что у васъ въ виду?» Карамзинъ отвѣчалъ: «тихая жизнь!»
Но рядомъ съ остатками піетистическаго взгляда на вещи,
мы замѣчаемъ въ Карамзинѣ и новыя стремленія, уже не
укладывавшіяся въ рамки масонскихъ требованій. Любовь

къ европейскому просвѣщенію, вѣра въ мысль и почти страстное ея обожаніе въ лицѣ тогдашнихъ представителей науки и поэтического творчества—это черта новая, которую Карамзинъ не могъ заимствовать изъ общества масоновъ, невѣжественно отвергавшихъ всѣ новѣйшія открытія въ химіи и астрономіи. Съ точки зрѣнія масона было бы предосудительно хвалить переводъ естественной исторіи Бюффона и рекомендовать вообще строгое изученіе законовъ природы, какъ это дѣлалъ Карамзинъ въ своемъ журналѣ. Правда, что въ то же время онъ печаталъ статьи изъ «Психологическаго магазина» Морица въ родѣ «Чуднаго Сна» и т. п., но эта непоследовательность показываетъ только, что человѣку не легко отказаться отъ прежнихъ убѣжденій, привитыхъ въ молодости. Скоро послѣ того Карамзинъ отрекся и отъ своей утопіи о золотомъ вѣкѣ, который обходился, будто бы, безъ науки и развитой общественной жизни. Противъ религіознаго фанатизма Карамзинъ высказываетъ мысль, что главная заслуга Вольтера въ томъ и состоитъ, что «онъ распространилъ взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ, и наиболѣе посрамилъ гнусное лжевѣріе, которому еще въ началѣ XVIII-го вѣка приносились кровавыя жертвы въ Европѣ». Но въ политическихъ вопросахъ Карамзинъ мало отошелъ отъ мнѣній масонскаго кружка, хотя и тутъ прорывались у него новыя взгляды или, лучше сказать, новыя симпатіи, весьма отличныя отъ прежнихъ.

Когда въ «Московскомъ Журналѣ» приходилось высказывать прямыя политическія мнѣнія, то издатель, не задумываясь, предпочиталъ всему абсолютную форму правленія, какъ

это видно изъ разбора повѣсти Хераскова: «Кадмъ и Гармонія» (Ж1). Въ этой повѣсти замѣчательна въ политическомъ отношеніи рѣчь Кадма къ ѳессалійскому народу о лучшемъ образѣ правленія. Кадмъ одинаково осуждаетъ и аристократію, и демократію въ управленіи государствомъ: «Вы предприѣмлете,—говорить онъ,—составить единый ликъ царя изъ разныхъ членовъ нашего общества; уничтожая царя,—царскую силу и мощь изъ разныхъ частицъ слѣпить покусаетесь: трудное и едва ли возможное предпріятіе. Слѣпіе разныхъ веществъ въ единую грудку рѣдко твердымъ и прочнымъ тѣломъ бываетъ... Вы многихъ мучителей, а не единодушныхъ отцовъ и защитниковъ народныхъ устройте»... Если немногое число избранныхъ вельможей вашихъ, о ѳессалійцы, отечеству вредно, то какимъ злосчастьемъ угрожается ваше царство, всѣмъ народомъ управляемое... Кто ваше благоденствіе устраивать будетъ? Вы сами! Какому суду поработиться чаще? Собственному своему! Кто вами будетъ начальствовать и кто начальникамъ вашимъ покоряться? Вы сами и начальниками, и повинующимися быть должныствуете! Станный образъ правительства. Но я изъясню мои мысли простыми ради васъ изреченіями. Вообразите, если бы земля наша, отвергнувъ солнечное сіяніе, сама себя освѣщать восхотѣла: въ какой бы мракъ она погрузилась? Еслибы члены наши, отрекшись отъ назначеннаго природой имъ долга, всѣ купно господствовать восхотѣли: долго ли бы тѣло наше въ цѣлости пребыть могло? Скоро бы оно разрушилось, а съ нимъ и члены его купно бы погибли. Каждое царство есть цѣлое тѣло, главу для управленія и прочіе члены для служенія имѣть должныствующее... Ся-то глава есть царь, са-

модержавствующій подданными. О, Фессалійцы! почто не избираете царя самодержавнаго?» Къ этой тирадѣ рецензентомъ сдѣлано примѣчаніе: «кто не почувствуетъ убѣдительности сихъ разсужденій?» Но въ другихъ случаяхъ Карамзинъ увлекался юношескою впечатлительностью и нѣсколько бравировалъ установившіяся у насъ понятія о политической жизни. Къ Швейцаріи онъ чувствовалъ особенное пристрастіе. «Счастливые швейцары! — восклицалъ онъ торжественно — всякій ли день, всякій ли часъ благодарите вы небо за свое счастье? При всякомъ ли біеніи пульса благословляете вы свою долю, живя въ объятіяхъ прелестной натуры, подъ благодѣтельными законами братскаго союза, въ простотѣ нравовъ, и предъ однимъ Богомъ наклоняя гордую выю свою? Вся жизнь ваша есть пріятное сновидѣніе, и самая роковая стрѣла (т. е. стрѣла смерти) должна кротко влетать въ грудь вашу, не возмущаемую тиранскими стремленіями *). Къ числу либеральныхъ бутады принадлежитъ и слѣдующая эпитафія «Истинѣ», напечатанная въ № 5 «Московск. Журнала» за 1791 г. «Здѣсь лежитъ истина, дочь царя царей, суевѣріемъ, соблазномъ и чувственностью, злоупотребленіемъ власти, лѣнностью жрецовъ и хитростью политиковъ, легкомысліемъ историковъ, педантствомъ ученыхъ и глупостью народа умерщвленная, и здѣсь, въ нечистотѣ лжей, погребенная». Мы называемъ это бутадами, потому что платоническая любовь къ свободѣ, выраженная здѣсь, скоро улечу-

*; Впослѣдствіи, при отдѣльномъ изданіи своихъ сочиненій, Карамзинъ замѣнилъ эту фразу другою, болѣе мягкой: «роковая стрѣла должна кротко влетать въ грудь вашу, не возмущаемую свирѣпыми страстями».

лась въ авторѣ, да и въ самое это время не простиралась даѣе словъ. Нельзя забыть, что на глазахъ Карамзина разыгрывалась во Франціи революціонная драма; онъ видѣлъ даже участниковъ этой драмы, но нисколько не понималъ ея основныхъ мотивовъ. Въ одномъ и томъ же письмѣ (изъ Франкфурта, 29 іюля) онъ выхвалялъ республиканскій героизмъ Фіаски, главнаго дѣйствующаго лица въ трагедіи Шиллера, и отзывался съ пренебреженіемъ о «парижскихъ сценахъ». Сущность переворота: недовольство народа, порывъ къ свободѣ цивилизованныхъ классовъ были непонятны для любознательнаго путешественника, который о бархатной шапочкѣ Лафатера говорилъ съ большею охотой и подробностью, чѣмъ о событіи міровой важности, совершавшемся, такъ сказать, у него на глазахъ. «Вездѣ въ Эльзасѣ, пишетъ Карамзинъ, примѣтно волненіе. Цѣлыя деревни вооружаются, и поселяне пришиваютъ кокарды къ шляпамъ. Почтмейстеры, почтальоны, бабы говорятъ о революціи. А въ Стразбургѣ начинается новый бунтъ. Весь здѣшній гарнизонъ взволновался. Солдаты не слушаются офицеровъ, пьютъ въ трактирахъ даромъ, бѣгаютъ съ шумомъ по улицамъ, ругаютъ своихъ начальниковъ и пр. Въ глазахъ моихъ толпа пьяныхъ солдатъ остановила ѣхавшаго въ каретѣ прелата и принудила его пить пиво изъ одной кружки съ его кучеромъ за здоровье націи. Прелатъ поблѣднѣлъ отъ страха и трепещущимъ голосомъ повторялъ: *mes amis, mes amis!* — *Oui, nous sommes vos amis*, кричали солдаты: пей же съ нами! Крикъ на улицахъ продолжается почти безпрерывно. Но жители затыкаютъ уши и спокойно отправляютъ свои дѣла». Однажды случилось ему натѣнуться на одного

эмигранта, кавалера св. Людовика, выгнаннаго изъ помѣстья «бунтующими поселянами»;—не заботясь составить себѣ понятіе о цѣломъ ходѣ событій и о томъ, что такое были тогда французскіе «поселяне», онъ находитъ здѣсь только случай для сентиментальныхъ изліяній о «кавалерѣ»... Но проѣзжая изъ Берна въ Лозанну, недалеко отъ городка Муртена, Карамзинъ увидѣлъ памятникъ побѣды швейцарцевъ надъ Карломъ Смѣлымъ. Сочувствуя угнетеннымъ, онъ рассказываетъ историческое событіе, какъ «кровожажущій тиранъ вознамѣрился покорить жителей Гельвеціи и гордость независимыхъ смирить желѣзнымъ скипетромъ тиранства», и выражаетъ сожалѣніе лишь о томъ, что трофей побѣды такъ дорого обошелся человечеству *). «Сокройте, сокройте, говорилъ нашъ туристъ, сей памятникъ варварства! Гордась именемъ швейцара, не забывайте благороднѣйшаго своего имени—имени человѣка».

Человѣческое достоинство, независимо отъ случайностей происхожденія, общественнаго положенія, даже національности, само по себѣ имѣло цѣну для Карамзина; создавъ себѣ космополитическій идеалъ человѣка, просвѣщеннаго единомъ, общею всѣмъ наукою, онъ оправдывалъ европеизмъ петровской реформы и написалъ даже слѣдующую замѣчательную филиппику противъ невѣжества древней Руси: «Мы не таковы, какъ брадатые предки наши—тѣмъ лучше. Грубость наружная и внутренняя, праздность, скука были ихъ долею и въ самомъ высшемъ состояніи: для насъ открыты всѣ пути къ утонченію разума и къ благороднымъ душевнымъ удовольствіямъ. Все народное ничто предъ че-

*) Этотъ памятникъ состоялъ изъ костей убитыхъ воиновъ, обнесенныхъ желѣзною рѣшеткою.

ловѣческииъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ, и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ». Извѣстно, какъ далеко Карамзинъ отступилъ отъ этого взгляда въ послѣдствіи, въ своей статьѣ: «О древней и новой Россіи», и какъ строго осудилъ онъ Петра за крутость реформы, будто бы лишившей Россію самообытности національнаго развитія.

Отдѣлъ критики, хотя онъ и былъ въ «Московскомъ Журналѣ», и въ немъ попадались статьи, рѣзко выдѣлявшія своимъ здравымъ взглядомъ на искусство (какъ напр. статья о драмѣ Лессинга: «Эмилія Галотти»), въ сущности не имѣлъ однако того значенія, какое онъ приобрѣлъ позднѣе, при болѣе послѣдовательныхъ и выдержанныхъ на правленіяхъ журналистики. Самое существованіе такого отдѣла было до нѣкоторой степени контрабандою, ибо, по взгляду того времени, критическія статьи «по правиламъ чести (!) должны быть сообщаемы писателямъ прежде изданія въ свѣтъ ихъ сочиненій, а не тогда уже, когда правительство терпитъ ихъ печатаніе» (см. проектъ Богдановича о «заведеніи общества россійскихъ писателей»). Занимательное столкновеніе произошло по поводу разбора книги Ө. Туманскаго: «Палѣфатовы сказанія». Этотъ Туманскій, самъ писатель и журналистъ (въ 1792 г. онъ издавалъ «Россійскій магазинъ», а прежде того «Зеркало свѣта» и «Лѣкарство отъ скуки и заботъ»), перевелъ Палѣфатовы комментаріи къ мифамъ классической древности и присовокупилъ къ нимъ свои собственныя примѣчанія въ такомъ родѣ: «волокита Юпитеръ, онъ же и божекъ, прошелъ сквозь пото-

ложъ золотымъ дождемъ — ай деньги! не божеской ли вы крови?» и т. п. Безтолковыя прибавки, тяжелый слогъ, испещренный славянскими словами, были ему указаны рецензентомъ, скрывшимся подъ буквами В. П. (кажется, Подшиваловъ). Туманскій обидѣлся этою рецензіею и въ своей антикритикѣ говоритъ: «Судей есть два рода: отъ властей опредѣляемые или избираемые (авторъ былъ избранъ депутатомъ отъ петербургскаго дворянства при составленіи родословной книги). Не принадлежащіе къ симъ двумъ суть самозванцы. Не судите, да не судими будете. Въ разсужденіи выдаваемыхъ сочиненій и переводовъ, въ разныхъ государствахъ нѣкоторые ученые общества согласились объявлять публикѣ свои мнѣнія. Собраніе ученыхъ, конечно, здравѣе судить можетъ, нежели одинъ человекъ, обуреваемый страстію гордости, самомнѣнія, зависти и пр. Но и самыя сія общества весьма часто ошибаются въ ихъ сужденіяхъ, какъ то опытъ разныхъ вѣковъ доказалъ. Частныхъ людей сужденія, въ газетахъ, журналахъ и пр. сообщаемыя, никогда отъ людей умныхъ уважаемы не были; извѣстно, что они за подарки истощаютъ хвалы; по пристрастію, самолюбію, личной ссорѣ или зависти выискиваютъ всѣ способы унижить труды чуждые... Умные, не для самолюбія, но для пользы наукъ трудящіеся (люди) чтутъ сотрудниковъ товарищами и стараются ихъ погрѣшности исправлять или сообщеніемъ своихъ примѣчаній въ письмахъ, или въ сочиненіяхъ печатныхъ, о которыхъ они увѣрены, что будутъ въ рукахъ того, чьего они желаютъ исправленія, или съ кѣмъ въ недоумѣніяхъ объясниться хотятъ, и все сіе дѣлаютъ съ наблюденіемъ учтивости». Съ мнѣніемъ Туманскаго, —

которое сильно напоминает мнѣніе Ломоносова «о должности журналистовъ»,—Карамзинъ, конечно, не согласился, и въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ этой антикритикѣ доказываетъ, что не всѣ же рецензенты «за подарки истощеваютъ хвалы», что Лессингъ и Мендельсонъ, бесспорно замѣчательные люди, честно судили о книгахъ, что критика много содѣйствовала развитію нѣмецкой литературы, что, наконецъ, никакой неучтивости нѣтъ въ рецензіи «Московского Журнала». Но всѣ эти доводы врядъ ли убѣдили раздраженнаго переводчика, осуждавшаго съ такимъ апломбомъ самую возможность литературной критики.

VI.

Карамзинъ, какъ издатель «Вѣстника Европы». — Политическіе взгляды этого журнала: осужденіе французской революціи, похвалы Бонапарту и т. п. — Отношеніе Карамзина къ Швейцаріи, Англіи и Америкѣ. — Оцѣнка внутреннихъ событій. — Взглядъ на обязанности критики. — Значеніе «Вѣстника Европы» въ исторіи русской журналистики.

Издавъ послѣднюю книжку «Аонидъ», Карамзинъ оставался нѣкоторое время въ бездѣйствіи, пока измѣнившіяся обстоятельства не расширили опять въ Россіи круга литературной дѣятельности. Мудрено было бы ему, въ самомъ дѣлѣ, издавать журналъ или даже литературный сборникъ въ то время, когда дѣйствовалъ указъ 18 апрѣля 1800 г. о невывозѣ изъ-за границы не только книгъ, но даже и нотъ. Но въ 1802 г. Карамзинъ увлекся потокомъ новыхъ событій, давшихъ сильный толчокъ русской мысли, и снова вступилъ

на журнальное поприще съ «Вѣстникомъ Европы» (выход. въ Москвѣ 2 раза въ мѣсяцъ). Въ этомъ журналѣ появился впервые правильный «политическій отдѣлъ», въ которомъ издатель рассказывалъ связно и подъ извѣстнымъ угломъ зрѣнія вѣщанія политическія событія, а также иногда касался, въ подробныхъ статьяхъ, происходившихъ внутри государства перемѣнъ. Кромѣ политическаго отдѣла, въ журналѣ помѣщались беллетристическія произведенія съ врезнымъ сантиментальнымъ оттѣнкомъ, къ которому примѣшивается частица назидательности (какъ напр. въ повѣсти: «Вольнодумство и набожность»), разные анекдоты, почерпнутые изъ иностранныхъ журналовъ, преимущественно политическаго содержанія, біографическія статьи о Вольтерѣ, Дидро и пр. Чтобы уяснить себѣ политическіе взгляды «Вѣстника Европы», припомнимъ нѣсколько строй европейскихъ событій того времени. Франція, подчинившись игу военного деспотизма, начала понемногу и въ другой формѣ воскрешать то, что было убито въ ней широко разившейся революціонною пропагандой: возстановленіе католической религіи, пожизненное консульство Бонапарта и новая конституція, о которой Неккеръ въ своей брошюрѣ сказалъ, что она скоро замѣнится другою, новѣйшею; стѣсненіе свободной печати, начинавшаяся полицейская карьера Фуше—вотъ новыя факты, внесенныя въ европейскій политическій міръ возникшимъ господствомъ Наполеона. Политическія событія внѣ Франціи, о которыхъ приходилось говорить Карамзину, были очень разнообразны: устройство цизальпинской республики, междоусобія швейцарскихъ кантоновъ, возстаніе Туссенъ-Лувертюра въ Сень-Доминго (по этому случаю рассказана біографія знаме-

нутаго негра), паденіе Венеціанской республики и пр. и пр. На всѣ эти событія Карамзинъ проводитъ взглядъ, который можно резюмировать слѣдующимъ образомъ: издатель «Вѣстника Европы» цѣнилъ выше всего сохраненіе statu quo, покорную преданность закону и власти; онъ допускаетъ общественный прогрессъ, развитіе мысли, только въ этихъ опредѣленныхъ рамкахъ, не одобряя никакихъ радикальныхъ перемѣнъ. «Революція—говоритъ Карамзинъ въ статьѣ «Пріятные виды, надежды и желанія нынѣшняго времени» — объяснила идею: мы увидѣли, что гражданскій порядокъ священъ даже въ самыхъ мѣстныхъ или случайныхъ недостаткахъ своихъ; что власть его есть для народовъ не тиранство, а защита отъ тиранства; что, разбивая сію благодѣтельную эгиду, народъ дѣлается жертвою ужасныхъ бѣдствій, которыя несравненно злѣе всѣхъ обыкновенныхъ злоупотребленій власти... Съ половины XVIII вѣка всѣ необыкновенные умы страстно желали великихъ перемѣнъ и новостей въ учрежденіи обществъ; всѣ они были въ нѣкоторомъ смыслѣ врагами настоящаго, теряясь въ лестныхъ мечтахъ воображенія. Вездѣ обнаруживалось какое-то внутреннее неудовольствіе; люди скучали и жаловались отъ скуки; видѣли одно зло и не чувствовали цѣны блага. Проницательные наблюдатели ожидали бури; Руссо и другіе предсказали ее съ разительною точностью; громъ грянулъ изъ Франціи... мы видѣли издали ужасы пожара, и всякій изъ насъ возвратился домой благодарить небо за цѣлость крова нашего и быть разсудительнымъ. Теперь всѣ лучшіе умы стоятъ подъ знаменами властителей и готовы только способствовать успѣхамъ настоящаго порядка вещей, не думая о новостяхъ. Никогда со-

гласіе ихъ не бывало столь явнымъ, искреннимъ и надежнымъ. Съ другой стороны правительства чувствуютъ важность сего союза и общаго мнѣнія, нужду въ любви народной, необходимость истребить злоупотребленія. Почти на всѣхъ тронахъ Европы видимъ юныхъ государей, дѣятельныхъ и ревностныхъ къ общему благу. Революція была злословіемъ свободы; правительства, не хвалясь именемъ, дозволяютъ гражданамъ пользоваться всѣми ея выгодами, согласными съ основаніемъ и порядкомъ общества. Революція обѣщала равенство состояній; государи, вмѣсто сей химеры, стараются, чтобы гражданинъ во всякомъ состояніи былъ доволенъ, чтобы ни которое не было презрительнымъ или угнетеннымъ. Будемъ справедливы: гдѣ теперь добрый человекъ не можетъ наслаждаться безопасностью? Свирѣпствуетъ ли гдѣ нибудь тиранство въ Европѣ, если исключимъ Турцію? Не вездѣ ли обѣщаютъ наукамъ покровительство? Не вездѣ ли начальства желаютъ способствовать успѣхамъ воспитанія и просвѣщенія, которое есть не только источникъ многихъ удовольствій въ жизни, но и самой благородной нравственности, которое образуетъ мудрыхъ министровъ, достойныхъ орудій правосудія, сыновъ отечества въ семействахъ, рождая чувства патріотизма, чести, народной гордости, и безъ котораго люди служатъ только одному идолу подлой корысти. Государи, вмѣсто того, чтобы осуждать разсудокъ на безмолвіе, склоняютъ его на свою сторону». Въ другой статьѣ читаемъ: «Уже прошли тѣ блаженные и вѣчной памяти достойныя времена, когда чтеніе книгъ было исключительнымъ правомъ нѣкоторыхъ людей; уже дѣятельный разумъ во всѣхъ состояніяхъ, во всѣхъ земляхъ чувствуетъ нужду въ позна-

нійхъ и требуетъ новыхъ, лучшихъ идей; уже всѣ монархи въ Европѣ считаютъ за долгъ и славу быть покровителями ученія. Министры стараются слогомъ своимъ угождать вкусу просвѣщенныхъ людей. Придворный хочетъ слить любителемъ литературы; судья читаетъ и стыдится прежняго непонятнаго языка Оеимды; молодой свѣтскій человѣкъ желаетъ имѣть знанія, чтобы говорить съ пріятностью въ обществѣ и даже при случаѣ философствовать» («Письмо къ издателю», № 1). Тутъ Карамзинъ, съ одной стороны, осуждаетъ революцію, а съ другой—признаетъ косвенную пользу отъ нея въ созданіи того «общаго мнѣнія», которому подчиняются даже государи, въ выработкѣ тѣхъ «новыхъ, лучшихъ идей», которыя пущены ею въ общественный оборотъ. Но эта косвенная польза признается имъ неохотно и болѣе вытекаетъ изъ его словъ по соображенію упомянутыхъ обстоятельствъ, нежели выставляется имъ на видъ; въ прямыхъ же выраженіяхъ Карамзинъ только осуждаетъ, и притомъ очень строго, всѣ рѣзкія общественныя движенія и слишкомъ уже преувеличиваетъ достоинства «порядка», каковъ бы онъ ни былъ. «Бонапарте—говоритъ онъ напр.—заслуживаетъ признательность французовъ и почтеніе всѣхъ людей, умѣющихъ цѣнить чрезвычайныя дѣйствія геройства и разума. Его внѣшняя политика и внутреннее управленіе достойны удивленія не менѣе маренгской побѣды. Франція, осыпанная дарами щедрой природы, земля столь многолюдная и богатая промышленностью своихъ жителей, конечно, скоро загладитъ бѣдственные слѣды революціи, наслаждаясь тишиною подъ эгидою дѣятельнаго и благоразумнаго правленія, которое печется о мудрой системѣ гражданскихъ за-

коновъ, о воспитаніи, объ успѣхѣ наукъ, художествъ, торговли, слѣдовательно о важнѣйшихъ частяхъ государственнаго благополучія. Французы хотѣли прежде мечтательнаго равенства, которое дѣлало ихъ всѣхъ равно несчастливими; теперь, разрушивъ мечты, возстановивъ религію, столь нужную для сердца въ мірѣ превратностей, не менѣе нужную и для благоденствія государствъ, отличивъ достойнѣйшихъ гражданъ важнымъ правомъ избранія въ республиканскія должности (*par les listes de notabilité*) и чрезъ то уничтоживъ вредную для Франціи демократію, монархъ-консулъ оправдываетъ дѣло судьбы, которая возвела его изъ праха на такую степень величія.

Въ первой же книжкѣ «Вѣстника Европы» напечатаны были, съ цѣлью порицанія народныхъ движеній и восхваленія порядка, — двѣ переводныя статьи: «Письмо Алькивиада къ Периклу» и «Исторія французской революціи, избранная изъ латинскихъ писателей». Въ первой статьѣ Алкивиадъ, въ письмѣ къ своему родственнику Периклу, описываетъ свой сонъ: «Дорога раздѣлилась... Тамъ нѣсколько человѣкъ съ великимъ трудомъ всходили на крутую гору; тутъ безчисленное множество людей бѣжало по гладкому и широкому пути. «Куда?» спросилъ я у заднихъ. «Не знаемъ», отвѣчали они: «мы бѣжимъ за передними; другіе побѣгутъ за нами». Какое-то тайное движеніе сердца заставило меня идти вслѣдъ за ними. Вдругъ раздался голосъ: «здѣсь путь истинны и свѣта!» Я бросился въ ту сторону; но неизвѣстный человѣкъ схватилъ меня за руку, сказалъ повелительнымъ голосомъ: «поди за мною!» и мы очутились въ дремучемъ лѣсу. Дорога исчезла. На каждомъ шагу встрѣчались намъ бѣдныя

странники, подобно намъ незнающіе пути. У нихъ также были вожатые, которые, не зная куда вести, съ горя дрались между собою. Изъ ихъ факеловъ сыпались искры; но онѣ болѣе ослѣпляли, нежели освѣщали насъ. Я слѣдовалъ то за однимъ, то за другимъ, и всякимъ былъ обманутъ. Одинъ говорилъ: «нашъ путь ведетъ къ безсмертію!» и мы, черезъ минуту, оба падали въ яму. Другой кричалъ: «со мной пройдешь всюду», и мы ударялись лбомъ въ мѣдную стѣну. Одинъ безпрестанно славилъ мнѣ пріятности златаго вѣка и совершеннаго равенства между людьми въ то самое время, когда я умиралъ отъ усталости, жажды и голода. Другой восклицалъ: «какъ блаженна независимость!» и требовалъ отъ меня слѣпаго повиновенія. Я лишился терпѣнія, отчаяніе овладѣло мною... Но Сократъ явился, и душа моя воскресла. «Ты видѣлъ часть нашихъ софистовъ», сказалъ онъ мнѣ съ улыбкою: «они не любятъ меня, ибо я люблю правду». Затѣмъ слѣдуетъ объясненіе различій между софистами и философами: «Имѣя умъ ограниченный, софисты говорятъ, что безконечное есть одна мечта. Не разумѣя таинствъ природы, дерзостно отвергаютъ бытіе творца ея. Родясь въ недостаткѣ и бѣдности, проповѣдуютъ общественность имѣній... Философъ любитъ человѣчество и добродѣтель. Софистъ только хвалитъ добродѣтель и человѣчество. Философъ полагаетъ счастье въ томъ, чтобы служить отечеству, друзьямъ и родственникамъ; софистъ жертвуетъ родственниками, друзьями и отечествомъ для утвержденія имѣній своихъ. Философъ думаетъ, что религіи благотельны и что въ Индіи должно обожать Брахму, въ Эк-

батаиъ—Оромацеса, въ Финикіи—Адоная, въ Греціи—Зевса; софистъ говоритъ, что религіи вредны, и забывая, въ чемъ онѣ состоятъ, доказываетъ только вредъ грубаго суевѣрія. Философъ думаетъ, что быть хорошимъ гражданиномъ есть быть хорошимъ отцомъ, супругомъ, сыномъ. Софистъ утверждаетъ, что патріотизмъ долженъ истребить всѣ природныя склонности. Часто кричатъ софисты: «погибни міръ, но торжествуй система!» Философъ говоритъ: «еслибы всѣ истинны были у меня въ рукѣ, то я побоялся бы разжать ее.» Надобно угождать народу, безпрестанно твердятъ софисты; надобно сдѣлать его благополучнымъ—говорятъ философы. Послушай софистовъ: Периклъ—тиранъ своего отечества. Послушай философовъ: Периклъ есть герой-благодѣтель народа своего. Послушай софистовъ: нѣтъ вольности безъ демократіи; послушай философовъ: нѣтъ демократіи безъ смятеній». Сократъ предупреждаетъ своего ученика, что слѣдуетъ «отличать людей отъ словъ ихъ, а софистовъ отъ философовъ, дабы возвратить философіи ту честь и славу, которую ложные мудрецы хотѣли у нея навѣкъ похитить». Въ «Исторіи французской революціи», написанной нѣсколькими французскими учеными, событія французской революціи описывались фразами, заимствованными изъ Тита Ливія, Патеркула и другихъ латинскихъ писателей. Въ этой странной мозаикѣ событія представлены въ самомъ мрачномъ и отталкивающемъ видѣ. Приступъ народа къ Тюльери описывается слѣдующимъ образомъ: «Всѣ означенные безчестіемъ и стыдомъ; всѣ расточители отцовскаго наслѣдія; всѣ, выгнанные за гнусные пороки изъ отечества, стекались въ безпокойную столицу. Они произвели

мятежъ и, не имѣя начальника, устремились ко дворцу монарха. Вездѣ слышны были угрозы и стукъ оружія. Мятежники ворвались во дворецъ и умертвили внѣшнюю стражу. Между тѣмъ другіе хотѣтъ защитить царское жилище и съ новою ревностью сражаются; хотѣтъ поддержать слабыхъ числомъ, но сильныхъ мужествомъ. Народъ остается свидѣтелемъ битвы и, какъ будто веселясь театральнымъ позорищемъ, ободряетъ то однихъ, то другихъ своими восклицаніями. Видя побѣжденных, онъ съ великимъ крикомъ требовалъ, чтобы бѣгущіе преданы были смерти, и присвоивалъ себѣ добычу, оставляемую войнами, которые съ яростью занимались убійствомъ. Столица представляла ужасное зрѣлище» и т. д.

Въ своихъ взглядахъ на политическое значеніе французскаго переворота Карамзинъ видѣлъ не дальше другихъ рутинныхъ политиковъ своего времени. Подобные же взгляды высказывались въ то время и въ «Политическомъ журналѣ» Сохацкаго и Гаврилова. Тонъ этого изданія значительно измѣнился противъ первыхъ книжекъ 1790 года: прежде революція разсматривалась, какъ «крестовый походъ за свободу», теперь говорилось (1802 г. № 1): «Защитники французскаго переворота, при самомъ началѣ мнимой республики, обѣщались распространить свои анархическія правила по всѣмъ государствамъ. Ихъ приверженцы наводнили цѣлый свѣтъ, даже до Индіи, новымъ фанатизмомъ и магическими словами: волюность и равенство. Противъ сей пагубы рода человѣческаго вооружились европейскія державы, и не прежде заключенъ первый миръ, какъ по ниспроверженіи чудовища» и т. д. Статьи этого рода заимствовались преи-

мущественно, какъ въ «Вѣстникѣ Европы», такъ и въ «Политическомъ журналѣ»,—изъ Архенгольцовой Минервы.

Восхваляя Наполеона за рѣшительность, съ которой онъ подавилъ зачатки народной свободы, Вѣстникъ Европы не благоволилъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, ни къ свободной Америкѣ, ни къ Швейцаріи и Англіи. «Гордые британцы, въ чувствѣ своего величія, употребляютъ во зло превосходство своихъ силъ»; «сей деспотизмъ оскорблялъ всѣ народы въ теченіи послѣдней войны»—такія фразы часто мелькаютъ въ политическихъ приговорахъ объ Англіи. Въ № 15 Вѣстника Европы 1802 г., къ статьѣ: «Выборъ парламентскихъ членовъ въ Лондонѣ», сдѣлано примѣчаніе, что она «дастъ идею о порядкѣ избранія и забавныхъ сценахъ, которыя бывають при семъ случаѣ». Забавность состояла въ томъ, что у лорда Гарднера и Фокса оказался соперникомъ на выборахъ въ Вестминстерѣ—обойщикъ Граамъ. Этотъ Граамъ произнесъ очень неглупую рѣчь, надъ которой и насмѣялись вдоволь приверженцы Фокса. При описаніи швейцарскихъ смутъ, возникшихъ изъ нежеланія мелкихъ кантоновъ подчиниться конституціи, предписанной Наполеономъ, сказано: «Сія несчастная земля представляетъ теперь всѣ ужасы междоусобной войны, которая есть дѣйствіе личныхъ страстей, злобнаго и безумнаго эгоизма. Такъ исчезаютъ народныя добродѣтели! Онѣ, подобно людямъ, отживаютъ свой вѣкъ въ государствахъ, а безъ высокой народной добродѣтели республика стоять не можетъ. Вотъ почему монархическое правленіе гораздо счастливѣе и надежнѣе; оно не требуетъ отъ гражданъ чрезвычайностей и можетъ возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падаютъ». Упадокъ Швей-

рія объясняется двумя причинами: 1) швейцарцы стали за деньги служить другимъ державамъ; 2) духъ торговли истощилъ въ нихъ гордую, исключительную любовь къ независимости. Въ № 24 (1802 г.) «Вѣстникъ» отчасти вступился за свободу Швейцаріи по поводу ареста Рединга, президента швейцарскаго сейма, но и при этомъ онъ отстаивалъ право Бонапарта вводить войско въ гельветическую республику «для сохраненія порядка и обузданія черни». Что касается американцевъ, то «Вѣстникъ Европы» упрекаетъ ихъ за духъ торговли (уже погубившій, по его мнѣнію, швейцарскую свободу), за страсть къ наживательству, за обманчивыя ласки, эгоистически оказываемыя полезнымъ людямъ, и еще за неумѣніе вести жизнь пріятно и весело. «Главное удовольствіе американцевъ—читаемъ здѣсь (1802 г. № 24)—есть сидѣть долго за столомъ по англійскому обычаю, ѣсть и не говорить ни слова до самой той минуты, какъ принесутъ на столъ бутылки. Женщины удаляются, и важные республиканцы, краснѣя отъ вина, дѣлаются краснорѣчивыми». О Вашингтонѣ говорится, что онъ «не умѣлъ (будучи президентомъ) пріятнымъ образомъ занимать людей, былъ сухъ и холоденъ, и походилъ своею важностью на какого нибудь азіатскаго царя». Въ повѣсти «Марѳа Посадница» (1803 г. № 1) Карамзинъ задумалъ опозитизировать судьбу новгородцевъ, но и тутъ остановился на полъ-дорогѣ, придѣлавъ къ повѣсти,—(кромѣ знаменитой рѣчи князя Холмскаго, въ которой говорится, что «народы дикіе любятъ необузданность, народы образованные—порядокъ»),—еще и такое предисловіе: «Мудрый Іоаннъ долженъ былъ для славы и силы отечества присоединить область новгородскую къ своей дер-

жавъ: хвала ему! Однакожъ сопротивленіе новгородцевъ не есть бунтъ: они сражались за древніе свои уставы и права, данныя имъ отчасти самими великими князьями, напр. Ярославомъ, утвердителемъ ихъ вольности. Они поступили только безразсудно: имъ должно было предвидѣть, что сопротивленіе обратится въ гибель Новгороду, и благоразуміе требовало отъ нихъ охотной жертвы». Такой оговоркой авторъ отнялъ у своей повѣсти всякій оппозиціонный оттѣнокъ и обратилъ ее въ идиллическое мечтаніе о свободѣ,— совершенно пустое и безсодержательное.

Событія изъ внутренней жизни Россіи Карамзинъ разсматривалъ съ точки зрѣнія патріотической, выдвигая на видъ наиболѣе утѣшительныя изъ нихъ и ступившая или совсѣмъ опуская изъ виду тѣ, которыя могли бы дать менѣе розовыя понятія о дѣйствительности. «Наши гражданскія учрежденія — читаемъ въ статьѣ: «о любви къ отечеству и народной гордости» (1802 г. № 4)—мудростью своею равняются учрежденіямъ другихъ государствъ, которыя нѣсколько вѣковъ просвѣщаются. Наша людскость, тонъ общества, вкусъ въ жизни удивляютъ иностранцевъ». «Россія сильна въ политическомъ отношеніи, писалъ Карамзинъ въ другой статьѣ (№ 11); ея внутреннее состояніе тоже удовлетворительно. Свѣтъ ума болѣе и болѣе стѣсняетъ темную область невѣжества въ Россіи; благородныя, истинно-человѣческія идеи болѣе и болѣе дѣйствуютъ въ умахъ; разсудокъ утверждаетъ права свои, и духъ россіянъ возвышается. Не только въ столицахъ, но и въ самыхъ отдаленныхъ губерніяхъ находимъ между благородными (т. е. между дворянами) достойныхъ членовъ государства, знающихъ его

потребности, судящихъ справедливо о людяхъ и дѣйствіяхъ. Наше среднее состояніе успѣваетъ не только въ искусствѣ торговли; но многіе изъ купцовъ спорятъ съ дворянами и въ самыхъ общественныхъ свѣдѣніяхъ. Кто изъ насъ не имѣлъ случая удивляться ихъ любопытству, здравому разсудку и патриотическимъ идеямъ». Переходя къ положенію крестьянскаго класса, Карамзинъ, не запинаясь, говоритъ: «Сельское трудолюбіе награждается нынѣ щедрѣе прежняго въ Россіи, и чужестранные писатели, которые безпрестанно кричатъ, что земледѣльцы у насъ несчастливы, удивились бы, еслибъ они могли видѣть такъ называемыхъ рабовъ, входящихъ въ самыя торговыя предпріятія, имѣющихъ довѣренность купечества и свято исполняющихъ свои коммерческія обязательства! Просвѣщеніе истребляетъ злоупотребленіе господской власти, которая и по самымъ нашимъ законамъ не есть тиранская и неограниченная. Россійскій дворянинъ даетъ нужную землю крестьянамъ своимъ, бываетъ ихъ защитникомъ въ гражданскихъ отношеніяхъ, помощникомъ въ бѣдствіяхъ случая и природы: вотъ его обязанности! За то онъ требуетъ отъ нихъ половины рабочихъ дней въ недѣлю! вотъ его права!» Далѣе Карамзинъ, чтобы не заслужить, по его собственнымъ словамъ, упрека въ преувеличеніи хорошаго, указываетъ и на то, что должно еще сдѣлать мудрое правительство: 1) издать полное, методическое собраніе гражданскихъ законовъ; 2) позаботиться о воспитаніи юношества. То и другое было уже въ виду у правительства, и «Вѣстникъ Европы» съ восторженнымъ чувствомъ встрѣтилъ указъ о заведеніи гимназій и народныхъ училищъ. Восхваляя новый уставъ народнаго об-

разованія, Карамзинъ высказывалъ, между прочимъ, вѣрную мысль, что учрежденіе сельскихъ школъ для низшаго класса народа несравненно полезнѣе всѣхъ лицеевъ и послужить «истиннымъ основаніемъ государственнаго просвѣщенія». При этомъ онъ забывалъ только или не хотѣлъ понять, въ какомъ противорѣчій находится столбъ желаемое имъ просвѣщеніе народа съ принципомъ крѣпостнаго права. По случаю заведенія благородныхъ пансіоновъ въ Россіи, въ «Вѣстникѣ Европы» (1802 г. № 8) напечатано было письмо изъ Т., въ которомъ говорилось: «Душа правленія нигдѣ такъ быстро не дѣйствуетъ, нигдѣ благотворныя его намѣренія такъ скоро не исполняются, какъ въ монархіяхъ. Едва Александръ I объявилъ желаніе, достойное прекрасной души его, желаніе способствовать просвѣщенію въ Россіи и спасительнымъ успѣхамъ воспитанія, — уже во всѣхъ главныхъ городахъ нашихъ видимъ заводимыя благородныя училища съ тою ревностью, которая всегда отличала счастливыхъ подданныхъ добродѣтельнаго государя». Здѣсь же разсказывается характерный случай, какъ бѣдная мать-дворянка, одѣтая въ крестьянское платье, явилась къ губернатору, прося принять въ училище двухъ дѣтей ея. Губернаторъ «плакалъ отъ чувствительности», и мальчики были приняты. Затѣмъ «благородныя дѣти (которые до открытія училища жили у губернатора) окружили своихъ новыхъ товарищей и смотрѣли на нихъ дико; но услышавъ, что они, подобно имъ, дворяне, и несчастливы своею бѣдностію, бросились цаловать ихъ и непремѣнно хотѣли раздѣлить съ ними все, что имѣли». Въ этой же статьѣ изыскиваются мѣры, какъ бы замѣнить иностранныхъ учителей мѣщанскими дѣтьми,

воспитанными (по плану Екатерины II) въ кадетскихъ корпусахъ, ибо порядочныхъ иностранцевъ совсѣмъ нѣтъ, за исключеніемъ тѣхъ легитимистовъ, которые «выброшены въ намъ волнами революціи»; всѣ же остальные—предатели и, уѣхавъ изъ Россіи, бранятъ ее. Авторъ хотѣлъ было даже сдѣлать выписку изъ одного сочиненія, въ которомъ русскіе обруганы заѣзжимъ иностранцемъ; но вспомнивъ вѣроятно, что чтеніе запрещенныхъ книгъ недозволительно само по себѣ, добавляетъ: «мнѣ совѣстно, что я имѣлъ любопытство читать такую книгу, и не хочу въ нее снова заглядывать».

Манифестъ объ образованіи министерствъ и указъ «о правахъ и должностяхъ сената» были встрѣчены въ «Вѣстникѣ» съ неменьшимъ сочувствіемъ. «Кто не увѣренъ—говорилось при этомъ—въ патріотической ревности сихъ достойныхъ мужей, возвеличенныхъ именемъ министровъ Россіи, державы, которая никогда не была столь близка къ исключительному первенству въ цѣломъ свѣтѣ, какъ нынѣ?.. Славный путь дѣятельности открывается для всякаго изъ нихъ! Способствовать утвержденію мудрой политической системы въ Европѣ, торжеству святаго правосудія внутри имперіи, благоустройству во всѣхъ частяхъ ея, мирнымъ искусствамъ гражданственности и народному просвѣщенію, котораго одно имя столь любезно душѣ благородной и безъ котораго нѣтъ ни славы, ни величія, ни морали въ государствахъ—какія обязанности! Не одна Франція должна вѣчно хвалиться Сюллиями и Кольбертами, не одна Данія должна прославлять своихъ Берпсдорфовъ—министровъ, которые считали свои кабинеты за преддверіе храма славы и, подписывая бумаги, думали, что они подписываютъ обществен-

ный приговоръ въ судилищѣ исторіи: ибо мудрые и ревностные министры раздѣляютъ безсмертіе съ великими государями. Здѣсь любовь и почтеніе согражданъ, а тамъ славное имя. Уже прошло то время въ Россіи, когда одна милость государева, одна мирная совѣсть могли быть наградой добродѣтельнаго министра въ теченіе его жизни: умъ созрѣли въ счастливый вѣкъ Екатерины II, и россияне чувствуютъ достоинство знаменитыхъ патріотовъ, цѣну ихъ усердія къ отечеству и монарху, цѣну чистой добродѣтели; теперь лестно и славно заслужить, вмѣстѣ съ милостью государя, и любовь просвѣщенныхъ россиянъ. Читая указъ о правахъ и должностяхъ сената, россиянинъ благоговѣтъ въ душѣ своей предъ симъ верховнымъ мѣстомъ имперіи, которое никакому правительству въ мірѣ не можетъ завидовать въ величіи, будучи храмомъ высшаго правосудія и блюстителемъ законовъ, столь священныхъ нынѣ въ Россіи. Сей указъ напоминаетъ намъ славное начало сената, когда первый императоръ Россіи, побѣдивъ Швецію и приготовляясь къ новой, не менѣе опасной войнѣ, основалъ его, какъ спасительный колоссъ власти въ столицѣ государства, и съ торжественными обрядами самъ повелъ сенаторовъ къ алтарю Всевышняго клясться предъ лицомъ Россіи, что они будутъ вѣрными государю и государству, правдѣ и совѣсти «до послѣдняго издыханія силы, памятуя будущій престолъ и на немъ сидящаго въ день страшнаго испытанія»:—клятва великая и святая, которою сенаторъ навсегда обрекается быть живымъ органомъ государственной добродѣтели и дѣлается въ глазахъ каждаго россиянина истинно-знаменитымъ сыномъ

отечества, ибо великія обязанности дѣлають человѣка знаменитымъ, предполагая въ немъ особенную силу или добродѣтель для ихъ выполненія».

Вѣроятно не безъ задней мысли, черезъ нѣсколько книжекъ по напечатаніи статьи о министерствахъ, появилась въ «Вѣстникѣ Европы» слѣдующая басенка (И. И. Дмитріева). Одинъ царь размышлялъ о трудности правленія, о препятствіяхъ, отовсюду поставляемыхъ его благимъ цѣлямъ:

Нѣтъ хуже нашего, онъ мыслитъ, ремесла!

Желалъ бы дѣлать то, а дѣлаешь другое:

Я всей душой хочу, чтобъ у меня цѣла
Торговля, чтобъ народъ мой ликовалъ въ покоѣ —

А принужденъ вести войну,

Чтобъ защищать мою страну.

Я подданныхъ люблю (свидѣтели въ томъ боги!)

А долженъ прибавлять еще на нихъ налоги;

Хочу знать правду — всѣ мнѣ лгутъ!

Боляре лишь чины берутъ,

Народъ мой стонетъ, я страдаю,

Советуюсь, тружусь (— никакъ не успѣваю!

Посвѣта властелинъ, не веселюсь ничѣмъ!

Въ такихъ размышленіяхъ встрѣчаетъ онъ пастуха, который выбивается изъ силъ, чтобы охранить свое стадо отъ волковъ, тогда какъ сытые псы спокойно лежатъ подъ тѣнью.

Вотъ точный образъ мой! сказалъ самовластитель.

Итакъ, я смиреннѣйшихъ животныхъ охранитель

Такии жъ, какъ и мы, напастями окруженъ,

И онъ, какъ царь, порабоченъ.

Увидавъ другое стадо, охраняемое вѣрными собаками, царь спрашиваетъ у пастуха: какъ могъ онъ уберечь свое стадо, когда лѣса полны волковъ? и получаетъ въ отвѣтъ: «тутъ хитрости не надо:—я выбралъ добрыхъ псовъ» (Вѣстн. Евр. 1802 г., № 23).

Сочувствуя уничтоженію «тайной экспедиціи», прославлен-

ной подвигами Шешковского, Карамзинъ напечаталъ,—тоже не безъ умысла,—въ № 6 «Вѣстника Европы» 1803 г. статью о тайной канцеляріи, въ которой опровергается мнѣніе Татищева и Шлецера, что такая канцелярія (въ смыслѣ инквизиціонномъ) была впервые устроена при Алексѣѣ Михайловичѣ. Секретная канцелярія дѣйствительно существовала но это была частная (privée) канцелярія, управлявшая имѣніями царя. При этомъ авторъ доказываетъ, что Алексѣй Михайловичъ и не нуждался въ инквизиціи: «Какъ! царь Алексѣй Михайловичъ, добрый и челоувѣколюбивый, основалъ страшное судилище? и для чего? какія чрезвычайныя опасности и заговоры могли оправдать сіе учрежденіе? Въ царствованіе славное и кроткое подняло голову чудовище? при государѣ, котораго бояре русскіе окружали съ любовью и почтеніемъ, ибо онъ не казнилъ и не душилъ ихъ, подобно Ивану Васильевичу, не боялся ихъ, подобно Годунову?» По мнѣнію автора, тайная канцелярія, какъ пыточный застѣнокъ, устроена была Петромъ I, котораго «жестокія обстоятельства (именно противодѣйствіе заговорщиковъ) заставили прибѣгнуть къ жестокому средству». «Я видѣлъ, продолжаетъ авторъ, глубокія ямы, гдѣ сидѣли несчастные; видѣлъ желѣзныя рѣшетки въ маленькихъ окнахъ, сквозь которыя проходилъ свѣтъ и воздухъ для сихъ государственныхъ преступниковъ. Воспоминаніе, конечно, горестное; но въ ту же самую минуту вы произносите имя Александра, и сердце ваше отдыхаетъ! Еслибы кто нибудь въ царствованіе Александра могъ быть еще недоволенъ (но мы для одной риторической фигуры предполагаемъ сію возможность),—то я желалъ бы въ лѣтній вечеръ сводить его въ Преображенское».

Критическаго отдѣла совсѣмъ не было въ «Вѣстникѣ Европы»: кажется, что, наученный опытомъ «Московского Журнала», Карамзинъ исключилъ рецензій, какъ слишкомъ хлопотливое и неблагодарное дѣло. Кромѣ того, онъ могъ имѣть въ виду, что отсутствіе подобныхъ статей не будетъ потерей для большинства читателей, смотрѣвшихъ на критику, какъ на пустое пересмѣиванье и зубоскальство. Въ «Письмѣ къ издателю» (№ 1) и въ статьѣ «О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи» (№ 9) проводится даже мысль, что нечего осуждать и плохую книгу при ограниченномъ количествѣ всѣхъ выходящихъ книгъ, что бездарная книга—ничтожное зло, и что нужно поощрять у насъ литературную дѣятельность, а не запугивать писателей жестокими приговорами. «Кто плѣняется Никаноромъ, злосчастнымъ дворяниномъ,—говорится во второй изъ этихъ статей,—тотъ на лѣстницѣ умственнаго и моральнаго образованія стоитъ еще ниже его автора и хорошо дѣлаетъ, что читаетъ сей романъ, ибо, безъ всякаго сомнѣнія, чему нибудь научится или въ мысляхъ, или въ ихъ выраженіи. Какъ скоро между авторомъ и читателемъ великое разстояніе, то первый не можетъ сильно дѣйствовать на послѣдняго, какъ бы онъ уменъ ни былъ. Надобно всякому что нибудь поближе: одному Ж. Ж. Руссо, другому — Никанора. Какъ вкусъ физическій увѣдомляетъ о согласіи пищи съ нашею потребностью, такъ вкусъ моральный открываетъ человѣку аналогію предмета съ его душою».

Журналы Карамзина, преимущественно «Вѣстникъ Европы», играли важную роль въ исторіи русской журналистики.

Объ этой роли нельзя судить съ точки зрѣнія настоящаго: тѣ непослѣдовательности и невѣрные взгляды, которые такъ бросаются намъ теперь въ глаза, не были сознаны и отжиты; многое, чтò теперь кажется уже отсталостью, повѣявшаго тому назадъ было значительнымъ прогрессомъ. До Карамзина у насъ, вмѣсто настоящей журналистики, въ принятомъ смыслѣ этого слова, были: официальные изданія, академическіе сборники, имѣвшіе характеръ скорѣе учебниковъ, чѣмъ общественныхъ органовъ; наконецъ, болѣе или менѣе выдающіеся сатирическіе листки, возстававшіе, — и то случайно и мелко, — на отдѣльные недостатки русской жизни. Карамзинъ же былъ первымъ журналистомъ, подводившимъ какъ русскія, такъ и иностранныя событія подъ мѣрило одного общаго воззрѣнія, первымъ частнымъ человекомъ, который приобрѣлъ этимъ путемъ извѣстное вліяніе на публику, безъ официальной поддержки и какого бы то ни было казеннаго штемпеля. Собираясь писать русскую исторію, Карамзинъ съ твердостью указывалъ на свои журнальныя заслуги тогдашнему товарищу министра народнаго просвѣщенія, и изъ цифры его годового дохода (6 тысячъ рублей) видно, что публика оказывала ему не только нравственную, но и матеріальную поддержку — вопросъ тоже немаловажный въ исторіи развитія журналистики *). Нѣтъ спора, что взгляды Карамзина были довольно дюжинные, а его отзывы гораздо скромнѣе иныхъ рѣзкихъ обличеній литературы екатерининскаго періода; но не надо забывать,

*) Въ первый годъ «Московского Журнала» у него было только 303 подписчиковъ, и врядъ ли даже онъ приносилъ барышъ издателю. У «Вѣстника Европы» подписчиковъ было уже гораздо больше.

что эти взгляды ближе подходили къ умственному уровню публики. Его піэтизмъ былъ несравненно искреннѣе того задержнаго, но пустаго кощунства, образчикъ котораго мы находимъ въ разсказѣ Фонъ-Визина о двухъ унтеръ-офицерахъ гвардіи, спорившихъ въ гостинномъ дворѣ о бытіи Божіемъ (см. «Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ моихъ и помышленіяхъ»). Можно прямо сказать, что въ журналахъ Карамзина тогдашніе образованные люди находили не только тѣ факты, которые ихъ интересовали, но и тѣ воззрѣнія, которыя были имъ всего больше по вкусу. Все это излагалось притомъ легкимъ, простымъ языкомъ, понятнымъ для каждаго безъ особенныхъ усилій. Эта доступность воззрѣній Карамзина, эта золотая умѣренность, при всѣхъ своихъ теоретическихъ недостаткахъ, способствовала тому, что всѣ читатели невольно мирились на его журналѣ, и ни одного изъ нихъ не отталкивалъ онъ отъ себя суровымъ словомъ или крайнимъ, строго выработаннымъ міросозерпаніемъ. «Какъ скоро между авторомъ и читателемъ—справедливо говорится въ статьѣ о книжной торговлѣ—великое разстояніе, то первый не можетъ сильно дѣйствовать на послѣдняго». Между Карамзинымъ и его читателями не было такой разъединяющей пропасти, а потому его изданія пошли хорошо и повлекли за собою цѣлую плеяду журналовъ съ различными направленіями и оттѣнками. Мнѣнія Карамзина, добавимъ это, не были крайнія и рѣзкія, но ихъ далеко нельзя было назвать въ ту пору ретроградными: по своей эластичности они не становились еще въ разрѣзъ съ умственнымъ движеніемъ эпохи, даже, наоборотъ, способствовали этому движенію, поддерживая любовь къ наукѣ и уваженіе

къ челоѣческой личности. Хотя и уклончиво, но издатель «Вѣстника» осмѣливался высказывать «свое сужденіе» о вопросахъ, занимавшихъ публику, о важнѣйшихъ правительственныхъ мѣрахъ, и тѣмъ способствовалъ развитію общественнаго мнѣнія. Уваженіе къ наукѣ и къ правамъ личности, всегда выражаемое Карамзинымъ, сильно не нравилось литературнымъ его врагамъ, во главѣ которыхъ стоялъ извѣстный адмиралъ Шишковъ, написавшій книгу: «О старомъ и новомъ слогѣ російскаго языка». Въ возникшей отсюда полемикѣ, между Шишковымъ и карамзинской школой, филологическій интересъ былъ далеко не главнымъ: къ нему замѣтно примѣшивалась борьба разнородныхъ политическихъ тенденцій, различныхъ нравственныхъ идеаловъ. Шишкову съ союзниками столько же не нравилось примѣшиванье французскихъ словъ къ нашему языку, сколько и примѣшиваніе французскихъ понятій: посредствомъ стараго слога имъ хотѣлось вернуть общество и къ старымъ понятіямъ. Объ этомъ противодѣйствіи новымъ идеямъ со стороны закоренѣлыхъ ретроградовъ мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ. Теперь же поговоримъ о вліяніи карамзинскихъ журналовъ на печать.

VII.

Довѣрчивое отношеніе писателей къ видамъ правительства.—Развитіе журналистики подъ вліяніемъ «Вѣстника Европы». — «Патріотическій журналъ» В. Измайлова.—Взглядъ его на значеніе воспитанія.—Плеяда сантиментальныхъ журналовъ.—Служеніе женщинъ въ «Московскомъ Меркуріи». — Эротическія шалости «Журнала для милыхъ». — Жалоба дворянина на «чуждую переѣву» въ мысляхъ.—Упадокъ сатиры.

Не одинъ Карамзинъ находилъ, что «теперь всѣ лучшіе умы стоятъ подъ знаменами властителей и готовы только способствовать успѣхамъ настоящаго порядка вещей». Вся наша литература, всѣ журналы наперерывъ, одинъ за другимъ, воздавали хвалу правительству за льготы, оказываемыя имъ печатному слову, и не отставали въ этомъ случаѣ отъ изданій официальныхъ. «Мы не имѣемъ нужды — говорится въ «Новостяхъ русской литературы» за 1804 г. — читать похвалу нашего монарха во всѣхъ иностранныхъ журналахъ, чтобы чувствовать цѣну его благотворительности и своего счастья. Александръ даетъ умамъ свободу, необходимо нужную для просвѣщенія и моральнаго достоинства чело-вѣка. Скоро откроется величіе русскихъ въ радости патріотовъ; скоро поле учености не будетъ горестною пустынею, мертвымъ уединеніемъ, но оживится соревнованіемъ блестящихъ талантовъ. Слава и хвала распространителю просвѣщенія!.. Падемъ на колѣна съ сердечнымъ умиленіемъ, возблагодаримъ управляющаго судьбою царей и народовъ» и пр. и пр. Въ томъ же журналѣ (изд. въ Москвѣ съ 1802 г. по іюль 1805 г.) неизвѣстный пинтъ восклицаетъ:

Что взоръ мой восхищенный зрѣть?—
Тамъ зрю изъ праха вознесенный
Градовъ и селъ несчетный рядъ,
Развѣтшій, вновь обогащенный
Наукъ священный вертоградъ...
Вездѣ мнѣ зрится совершенство,
Все веселитъ собою духъ;
Всякъ чувствуетъ свое блаженство —
Вельможа, воинъ и настухъ.
Но передъ кѣмъ все оживаетъ?
Кто общей радости виной?
Чье имя всякъ благословляетъ?
Кто гдѣ даритъ всѣмъ золото?—
Се ты, о Александръ нашъ славный!
Се ты, краса земныхъ царей! и пр.

Почти тѣже похвалы, но съ большимъ тактомъ и умѣренностью, высказывались въ «Періодическомъ изданіи объ успѣхахъ народнаго просвѣщенія»,—журналѣ, издававшемся при главномъ правленіи училищъ, съ 1803 по 1818 г., подъ редакціей Озерецковскаго и Фуса. «Ты сопрягаешь съ самодержавною властью—читаемъ мы здѣсь, въ латинскомъ гимнѣ императору—скромный образъ добраго гражданина, и съ царскимъ вѣнцомъ сближаешь гражданскія обязанности. Ктожь паче возлюбитъ благомыслящихъ гражданъ? Кто болѣе можетъ защищать градскія права, промышленность и искусства? Кто? кромѣ самого тебя, монархъ-патріотъ? Кто жь, неправосудящій о простомъ народѣ, презрѣть земледѣльца, къ которому ты обращаешь кроткій взоръ, котораго ты, монархъ, одобряешь своимъ привѣтствіемъ? Обременяемый жестокостью рока, истаявающій отъ глада въ болѣзни, въ нищетѣ—побуждаютъ тебя неуспынно бдѣть о содѣланіи ихъ благополучными» (1803 г. № 3). Словомъ, надеждамъ и ликованіямъ не было конца...

Любовь къ наукамъ появилась чрезвычайная. «Благоденствіе государствъ — восклицалъ директоръ Захарынь при открытіи пензенской гимназіи — зависитъ отъ просвѣщенія. По мѣрѣ распространенія наукъ возрастаетъ общественное благо; торговля цвѣтетъ, а съ нею и богатства лѣются рѣкою; искусства и рукодѣлія приходятъ въ совершенство; истина открывается и образуетъ законы; добродѣтель, воцаряясь въ сердцахъ, сѣетъ благонравіе и подавляетъ пороки. Сколько заблужденій представляетъ намъ исторія тѣхъ мрачныхъ временъ, въ которыя невѣжество владычествовало надъ умомъ и сердцемъ челоуѣка! Нелѣпыя мнѣнія, производя предразсужденія, были пріемлемы за истину; зло почиталось благомъ, челоуѣкъ обманывалъ самого себя; словомъ, смертные были сами себѣ врагами» (См. Періодич. изд. 1804 г. № 4). Даже гимназисты, въ той же гимназіи, распѣвали такіе, не очень складные, канты:

Кто какъ грубымъ ни родится,
Мракъ исчезнетъ, будетъ свѣтъ:
Въ храмъ наукъ лишь водворится,
Чувства, разумъ разцвѣтеть и пр.

Понятно, что, въ соотвѣтствіе такому довѣрчивому настроенію общества и благимъ намѣреніямъ власти, наиболѣе развитые люди охотно выступали на литературное поприще, надѣясь этимъ путемъ содѣйствовать «преуспѣянію» отечества. Вслѣдъ за появленіемъ «Вѣстника Европы», — впервые указавшаго на новый, заманчивый путь, — русская журналистика стала быстро развиваться, и въ ней обнаруживаются тѣ же литературныя свойства, какими отличались изданія Карамзина: — и его преувеличенная сентиментальность, и ревнивый патріотизмъ, и попытки, или по крайней

мѣръ поползновенія къ европейскому взгляду на вещи. Въѣстѣ съ тѣмъ находятъ себѣ приверженцевъ и заступниковъ старый псевдоклассицизмъ, съ которымъ соединилось въ послѣдствіи и всякое другое старовѣрство. Къ журналамъ, особенно отличавшимся сентиментальнымъ характеромъ, принадлежатъ: «Московский Меркурій» (1803 г.), «Журналъ для милыхъ» (1804 г.), «Московский Зритель» (1806 г.) «Журналъ для сердца и ума» (1810 г.) и др.—«Русскій Вѣстникъ» (1808 г.), «Сынъ Отечества» (1812 г.), «Пантеонъ славныхъ российскихъ мужей» (1816 г.) и др. были извѣстны своими особенно патріотическими наклонностями, о которыхъ свидѣтельствовали самыя заглавія этихъ изданій. Другіе, наиболѣе извѣстные журналы того времени,—между прочимъ, защитники псевдо-классической теоріи,—были: «Сѣверный Вѣстникъ» (1804 г.), «Цвѣтникъ» (1809 г.), «Амфіонъ» (1815 г.) и «Вѣстникъ Европы» подъ редакціею Каченовскаго. Въ сторонѣ отъ этихъ главныхъ изданій стояли: «Патріотъ», В. Измайлова, возникшій изъ педагогическихъ тенденцій «Вѣстника Европы», и «Сатирический театръ» (1808 г.)—бездарное продолженіе литературныхъ приемовъ временъ Екатерины. «Патріотъ» Измайлова (бывшаго сотрудника «Вѣстника Европы») выходилъ въ Москвѣ ежемѣсячно и раздѣлялся на три отдѣла: первый, для воспитателей, заключалъ въ себѣ общія правила воспитанія и практическіе способы преподаванія разныхъ предметовъ; во второмъ печатались дѣтскія повѣсти и рассказы; третій отдѣлъ, предназначавшійся для взрослыхъ молодыхъ людей, состоялъ изъ общепонятнаго изложенія моральныхъ и философскихъ вопросовъ въ примѣненіи къ общественной жизни (см.

«Патріотъ» 1804 г. № 1). Журналъ стремился — основать воспитаніе на началахъ «раціональной философіи», и для этого переводилъ статьи изъ Ж. Ж. Руссо; Песталоцци, Бернардена де-Сенъ-Пьера и неизбѣжной г-жи Жанлисъ. О Карамзинѣ, по выходѣ его сочиненій, «Патріотъ» отзывался, какъ объ «авторѣ съ отличнымъ талантомъ, обогащенномъ геніемъ науки и вкусомъ свѣта». Взглядъ Измайлова на воспитаніе вообще, насколько онъ высказывается въ выборѣ переводныхъ статей для журнала, отличался значительной по тому времени широтою и смѣлостью. «Многіе—говорилось въ одной статьѣ «Патріота»—обвиняютъ новую методу (воспитанія) въ томъ, что она образуетъ младенца, во первыхъ, для состоянія человѣка, а потомъ для состоянія гражданина. Сіе обвиненіе есть лучшая похвала нашего педагогическаго вѣка. Гораздо опаснѣе были покушенія нѣкоторыхъ деспотовъ, завоевателей, понтифовъ, даже философовъ отнять у одной части людей ихъ естественныя права. Черезъ то самое видѣли мы человѣчество, иногда погруженное въ бездну варварства, иногда доведенное притѣсненіемъ до крайности отчаянія, котораго жертвою сдѣлалась тѣма невинныхъ. Итакъ, когда воспитаніе дастъ почувствовать истинное равенство людей, вселивъ въ состоянія вышнія уваженіе къ человѣчеству, а въ нижніе классы чувство ихъ благороднаго существа: тогда не только просвѣщеніе распространится, но всѣ правительства сдѣлаются гораздо кротче, и всѣ состоянія гораздо счастливѣе» (№ 10). Воспитаніе дѣлится на умственное, эстетическое и нравственное, и для каждой стороны въ воспита-

ни сообщаются особыя правила. Въ первомъ возрастѣ воспитаніе принадлежитъ матерямъ. «Нѣтъ и не будетъ надежды къ счастью нравовъ—говорится въ I № «Патріота»—пока женщины не возвратятся къ домашней жизни, пока не позволятъ имъ слѣдовать сердцу въ выборѣ друга. Какъ много ни писали сатиръ на ихъ счетъ, онѣ не такъ виноваты, какъ мы. Ихъ пороки произошли отъ насъ... Женщины! спасите человѣчество, обративъ насъ къ добронравію! Цѣлое общество людей возвратится къ должностямъ своимъ, если вы возвратите одного человѣка къ порядку естественному».

Самымъ замѣтнымъ журналомъ сентиментальнаго стиля былъ «Московскій Меркурій» П. Макарова, выходившій ежемѣсячно, съ модами. Журналъ этотъ возникъ подъ прямымъ вліяніемъ парамзинскихъ изданій, но ближе подходилъ къ «Московскому Журналу», чѣмъ къ «Вѣстнику Европы». Его цѣль—развитіе гуманныхъ идей въ духѣ первоначальной дѣятельности Карамзина, безъ той приторной чувствительности, какой прославился извѣстный князь Шаликовъ. Критическій отдѣлъ въ журналѣ былъ веденъ хорошо; въ особенности бездарныя книжонки «въ Радклифиномъ вкусѣ», съ убійствами, пытками, похищеніями и пр., наводившія нашу литературу, предавались тутъ посмѣянью *).

*) Какъ строгій критикъ, Макаровъ былъ такъ страшенъ авторамъ, что, на эту тему, въ «Московскомъ Зрителѣ» была напечатана (№ 1) слѣдующая эниграмма:

Когда услышалъ нашъ Бездаровъ,

Что умеръ журналистъ Макаровъ,

«Ну, слава Богу, онъ сказалъ:

Могу печатать все, что прежде ни писалъ!»

ронникъ реформы въ языкѣ, произведенной Карамзинымъ, «Московскій Меркурій» защищалъ новый слогъ отъ нападе- ній Шишкова (№ 12) и при разборѣ книгъ, написанныхъ тяжелымъ полу-славянскимъ, полурусскимъ нарѣчіемъ, глу- мился надъ литературнымъ старовѣрствомъ. Но въ противо- положность Карамзину, въ юный періодъ его дѣятельности, Макаровъ не увлекался мечтами Руссо, что «лучше снѣ- таться нагому по лѣсамъ и горамъ во всякую дурную по- году, нежели сидѣть зимою въ теплой, а лѣтомъ — въ про- хладной комнатѣ съ добрыми пріятелями, и что лучше жить одному, въ безпрестанномъ страхѣ быть умерщвлену пер- вымъ, кто посильнѣе, нежели находиться подъ защитою об- щества, котораго единственная цѣль состоитъ въ томъ, чтобы успокоить, обезопасить всякаго члена своего» (№ 8). Въ «Московскомъ Меркуріи» была одна сторона, которая придавала ему отчасти своеобразный характеръ—это именно служеніе женщинамъ, которое потомъ было доведено до крайняго комизма въ «Журналѣ для милыхъ». Въ пере- довой статьѣ своего журнала (№ 1) Макаровъ высказываетъ свой взглядъ на общественное значеніе женщины и требу- етъ отъ нея ума, познаній и благодѣтельнаго вліянія на мужчину. Желая сдѣлать знанія «необходимой потребностью въ обществѣ» авторъ припоминаетъ, что во Франціи сало- ны дамъ привлекали къ себѣ первоклассныхъ ученыхъ и служили лучшими школами просвѣщенія. «Еслибы, продол- жаетъ онъ, наши дамы вздумали подражать сему при- мѣру, то нѣтъ сомнѣнія, онѣ заставили бы всякаго учиться. Сколько предметовъ открылось бы для ихъ честолюбія! Сколько пищи для желанія блистать! Мы знаемъ жен-

щинъ: умѣренность не ихъ порокъ; чего онѣ захотятъ, къ тому онѣ стремятся всѣми силами. Овладевъ однажды полемъ литературы, онѣ пошли бы самыми скорыми шагами, повлекли бы всѣхъ за собою и въ короткое время сдѣлались бы нашими учительницами. Перенеся тронъ философіи въ свои будуары, создавъ себѣ новое удовольствіе, украсясь новыми пріятностями, употребляя науку на пользу забавъ, а забавы на пользу наукъ, онѣ приобрѣли бы для себя очень много; а соотечественникамъ оказали бы истинное благодѣяніе. Тогда-то доподлинно воздвигли бы имъ алтари, тогда-то слово обожать получило бы естественный свой смыслъ и, можетъ быть, къ счастію человѣчества, возвратились бы на землю тѣ золотые вѣка, когда одинъ взглядъ, одинъ поцалуй руки награждалъ десятилѣтніе подвиги героевъ... Кто не желаетъ женщинамъ просвѣщенія, тотъ врагъ ихъ, эгоистъ—любовникъ ли онъ или мужъ,—тотъ хочетъ удержать себѣ право сказать нѣкогда женѣ своей (въ которой онъ искалъ ключницу или няньку): я тебя умнѣе! Имперія красоты не имѣетъ предѣловъ: но красота скоро вянетъ, молодость летитъ, и когда хладная рука времени обезобразитъ ангельскія, милыя черты: что будетъ съ женщиной, привыкшей видѣть все у ногъ своихъ, если она заблаговременно не поселитъ пріятностей въ каждой морщинкѣ лица своего, если не заготовитъ себѣ утѣшеній на старость? И почему бы ей не быть столько же ученою, сколько и мужчиной... Что подумать о людяхъ, которые дѣйствительно увѣрены, что женщина не иначе приобретаетъ знанія, какъ те-

рая всѣ пріятности пола своего, и которые, вслѣдствіе такого мнѣнія, желаютъ, чтобы цѣлая (и лучшая) половина рода человѣческаго ничему не училась? Читали ли они когда нибудь исторію? помнятъ ли имена великихъ женщинъ, которыми древняя Греція почти столько же гордилась, сколько и Сократами, Платонами» и пр. и пр. Дальше говорится о значеніи женщинъ въ эпоху рыцарства и въ новѣйшія времена, когда «блистаютъ имена Ментенонъ, Гортензіи, Манчини и единственной Нинонъ Ланкло (?) съ которою ни одна женщина не сравнивается любезностью, но которую правила ея, нѣсколько свободныя, дѣлаютъ опаснымъ образцомъ для подражанія». Въ Меркуріи помѣщена была и біографія Ланкло. Печатавъ разборъ книги Сегюра о женщинахъ, Макаровъ дѣлаетъ между прочимъ такое примѣчаніе: «прекрасная женщина видитъ міръ у ногъ своихъ! мужчина всегда будетъ рабомъ ея! и тотъ не знаетъ полного блаженства, кто не понимаетъ сладости жить подъ властію столь милою»!

Какъ лицо человѣческое отражается въ кривомъ зеркалѣ, такъ карамзинскій сентиментализмъ и макаровское «служеніе женщинамъ» отразились въ изданіи другого Макарова (М. Н.): «Журналъ для милыхъ». Журналъ этотъ издавался въ Москвѣ въ 1804 г. ежемѣсячно, съ эпиграфомъ: «преlestи нашихъ милыхъ читательницъ защитятъ (насъ) отъ злыхъ насмѣшекъ критики» и съ шарадами въ такомъ родѣ: «jour et nuit je pense à vous», «въ разлукѣ сердце стонетъ» и т. п. Шарады эти сопровождались рисунками. Милыми и назывались собственно дамы, читательницы журнала; ихъ желанія были закономъ для издателя; такъ письмо од-

ной дамы (№ 4) оканчивается словами: «Помѣстите, милостивый государь мой, это письмо мое. Я женщина, ваша читательница,—и вы обязаны мнѣ повиноваться». Иногда стихи, ради галломаніи милыхъ, печатались на французскомъ языкѣ. Сантиментальность, введенная въ моду Карамзиннымъ, развилась въ «Журналѣ для милыхъ» до уродливости: имя Лизы сдѣлалось нарицательнымъ и упоминается на каждомъ шагу; къ этому имени писались и стихи, и прозаическіе диограмы. Стихи писались даже къ цвѣточку, который авторъ видѣлъ въ покоѣ Лизы (№ 3). «Чувствованія» выражались только по поводу мотылька, розы, пѣночки, ключика къ сердцу милой и т. п. Въ № 7 журнала напечатаны стихи къ г-жѣ А. Х., «пославши ей букашку изъ сургуча». Посылка сдѣлана съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы букашка

... тебѣ въ ушко всегда жужжала,
Что я люблю, горю, томлюсь,
Чтобъ ты черезъ нее узнала
То—самъ сказать чего боюсь.

Не всегда впрочемъ сантиментальные авторы были такъ скромны въ своихъ сюжетахъ. Такъ напр. въ одномъ стихотвореніи читаемъ:

Однажды я Лизету,
Зефирами раздѣту,
Забвенну сномъ, зрѣлъ здѣсь.
На ту красу взирая,
Я таялъ, обмирая,
И....—еслибы не честь....

Рядъ точекъ прерывалъ эротическія изліянія стихоплета. Въ томъ же журналѣ напечатана была сельская повѣсть «Аннушка», въ которой дочь довольно богатаго дворянина, «тринадцатилѣтняя, но уже полногрудая милушка», начитавшись Фоблаза и др. книгъ, бывшихъ въ бібліотекѣ ея отца,

прельстилась шестнадцатилѣтнимъ юношей, Англантиномъ, «зараженнымъ моднымъ воздухомъ и испытывшимъ важнѣйшее въ свѣтѣ блаженство». Разъ Аннушка, взявъ въ руки Philosophie de Thérèse, сидѣла на берегу Москвы рѣки (дѣйствіе происходитъ въ подмосковной деревнѣ) и увидѣла купающагося бога-амура. «Онъ купался, плавалъ, ныралъ и не видалъ Аннушки, которая при семъ случаѣ легла въ густую траву и свѣрляла со вниманіемъ его прелести съ написанными въ енижкѣ. Нашла въ натурѣ ихъ лучше, восхитительнѣй, такъ что у бѣдной дѣвушки хотѣло вылетѣть сердце. Молодой человекъ вышелъ на ея берегъ, и дѣвушка познала въ немъ истиннаго Англантина. Онъ въ восхищеніи сказалъ: «Ахъ, кабы мнѣ теперь представилась моя любезная Аннушка!» Невинная дѣвушка не дышала; молодой купидонъ вспрыгнувъ, повернулся, хотѣлъ плыть, броситься въ рѣку; но нечаянно зацѣпился за дѣвушку и упалъ: «Фи! что за диковинка... Это Психея. Это вы, сударыня?» «Я... я... отвѣчала дѣвушка: вы давно были для меня милы, а нынѣ я удостоилась видѣть». «Такъ, мой ангелъ, не угодно ли закрѣпить явную печатью наше сверхъестественное свиданіе?» «Воля ваша!» сказала поблѣднѣвшая дѣвушка, и.... рѣзвый Адонисъ и несравненная Венера скинули съ себя одежду, закрывающую прелести отъ глазъ смертныхъ. Они купались въ струистой рѣчкѣ, ныряли, плескались; можетъ быть, что и еще происходило; но романисты закрываютъ такіа приключенія на пять минутъ тонкою дымкою и молчатъ *)... Аннушка одѣ-

*) У Карамзина, въ повѣсти «Рыцарь нашего времени» («Вѣстн. Евр.» 1803 г. № 14) описывается подобное же приключеніе, а именно: Леонъ подсматриваетъ у него купающуюся графиню Эмилию, но сдержанный

лась, сердце въ ней сильно билось, щеки пламенѣли, и дѣвушка говорила: «милый Англантинъ! какъ несправедливы люди, что находятъ различіе между двумя полами; оба они созданы на то, чтобы совершенствовать взаимно себя». «Такъ, это правда!» отвѣтствовалъ онъ, далъ ей пламенный поцалуй и скрылся. Аннушка поклялась имѣть подобныя свиданія, благословляла свою любезную книжку и не могла ее отънять». Хотя повѣсть кончается законнымъ бракомъ, потому что Англантинъ боялся «худой славы»; но выписанный эпизодъ очень не понравился многимъ, и «Сѣверный Вѣстникъ» отозвался такъ: «Мы не совѣтуемъ брать этотъ журналъ милымъ, ибо онъ оскорбляетъ ихъ стыдливость, первое украшеніе милыхъ... Его не надо брать, потому что въ немъ напечатаны: «Побѣда надъ нимфами *)», «Аннушка» — повѣсти неблагопристойныя». Оправдываясь отъ этихъ обвиненій (особ. прибавл. къ № 12), издатель говоритъ: «Кажется, при такомъ благоустройствѣ, каковое сохраняется въ нынѣшнія времена въ нашей имперіи, неблагопристойность совсѣмъ истреблена, особливо въ литературѣ: на это учреждена въ Москвѣ цензура, которая строго разсматриваетъ все и вѣрно въ публику ничего неблагопристойнаго не выпускаетъ. P. S. Аннушка можетъ быть хорошимъ примѣромъ.

писатель не входилъ въ такіа пикантныя подробности. Читатель — говоритъ онъ — ожидаетъ отъ меня картины во вкусѣ золотого вѣка: ошибается! дѣта научаютъ скромности; пусть одни молодые авторы сказываютъ публикѣ за новостъ, что у женщинъ есть руки и ноги. Мы, старики, все знаемъ, что можно видѣть, но должны молчать».

*) Въ «Побѣдѣ надъ нимфами» рассказываются на чистоту, подъ мнѳологическими образами, всѣ подробности любви. Подобныя произведенія показываютъ, сколько дряблага, старческаго слястолюбія скрывалось иногда за приличными сентиментальностями.

Читая слѣдствія развратности, видя сущность оныхъ злу, — не есть ли это лучшая картина для молодыхъ людей? Вѣрно никто не будетъ Аннушкой, прочитавъ «Аннушку», но постарается избѣгать пороковъ ея.

Не лучше «Журнала для милыхъ» былъ и «Московскій Зритель» (1806 г.) князя Шаликова. Въ «Письмѣ къ издателю журнала», помѣщенномъ въ первой книжкѣ (выход. ежемѣсячно), говорится: «Мнѣ хотѣлось бы видѣть въ вашемъ журналѣ болѣе подлинниковъ, чѣмъ переводовъ, болѣе мѣста наго; хотѣлось бы, чтобъ издатель его, какъ ревностный патріотъ, съ пламеннымъ сердцемъ и смѣлою рукою принялся за перо — единственно для пользы земляковъ своихъ... Вы живете въ столицѣ, гдѣ болѣе разнообразія, болѣе игры страстей, болѣе условныхъ законовъ, болѣе предубѣждений и слѣдственно болѣе случаевъ къ замѣчаніямъ. Здѣсь одно слово старика или молодой женщины подадутъ поводъ къ сочиненію цѣлаго моральнаго трактата. Часто разговоры двухъ простолюдиновъ на улицѣ откроютъ наблюдателю черту народнаго характера или степень нынѣшней нравственности. Пускай журналъ вашъ будетъ хранилищемъ таковыхъ наблюдений. Дайте знать молодымъ умникамъ, что гражданину отнюдь не предосудительно, какъ они думаютъ, носить знакъ отличія, полученный за службу; что пріятнѣе щеголять имъ, нежели шелковымъ черезъ плечо шнуркомъ съ прицѣпленнымъ къ нему лорнетомъ... скажите вашу мысль и о новыхъ русскихъ эмигрантахъ: я говорю о тѣхъ, которые отъѣзжаютъ на житье въ чужіе края подъ предлогомъ, что тамъ жить дешевле... Можете иногда сказать слова два и о состояніи въ отечествѣ

нашемъ художествѣ. Статья эта была бы не бесполезна: сколько мы видимъ здѣсь колоннъ, которыя ничего не подпираютъ, или полукруглыхъ оконъ и въ верхнемъ, и въ нижнемъ жилѣ, или разрисованныхъ деревянныхъ домовъ и заборовъ!.. Что скажетъ просвѣщенный иностранецъ о нашемъ вкусѣ?.. Я желаю, чтобы критика была непременно въ нашемъ журналѣ: старайтесь только быть истиннымъ критикомъ, будьте судьей безпристрастнымъ».

Этой программѣ Шаликовъ былъ вѣренъ: патриотизмъ, весьма мелкій, и чувствительность были отличительными чертами его журнала. Патриотизмъ выражался напр. въ описаніи торжественнаго обѣда въ московскомъ клубѣ, и драки двухъ простолюдиновъ-атлетовъ, которые, поколотивъ другъ друга, поцаловались: доказательство славянскаго добродушія. Чувствительность—преобладающее свойство журнала—господствовала въ беллетристичѣ, гдѣ такъ же, какъ и въ «Журналѣ для милыхъ», печатались стишки къ Лизетамъ, Эльвирамъ, къ резедѣ, голубку и ошейнику эльвириной собачки. Эротическій элементъ свирѣпствовалъ здѣсь меньше, чѣмъ въ «Журналѣ для милыхъ», а стихи къ женщинамъ и къ амуру были уже гораздо сдержаннѣе и скромнѣе. Въ «Зритель», напротивъ, есть даже повѣсть: «Злоупотребленіе свободы въ молодости» (№ 5), въ которой рассказывается, какъ «сластолюбіе сдѣлалось цѣлью юноши, и истощеніе силъ послѣдовало за расточеніемъ жизненныхъ соковъ». Истощеніе было такъ велико, что юношѣ пришлось пользоваться кавказскими водами. Воспитаніе также занимало кн. Шаликова: въ статьѣ объ этомъ предметѣ (№ 11) говорится, что родители должны наставлять смолоду дѣтей своихъ въ

добродѣтели и притомъ въ національномъ духѣ, не допуская «наемщиковъ-чужестранцевъ внушать имъ презрѣніе къ русскому языку и къ русской націи». Слѣдя за успѣхами воспитанія, Шаликовъ восхвалялъ московскій екатерининскій институтъ (№ 7), гдѣ воспитываются «любезнѣйшія существа природы»—и притомъ воспитываются прекрасно. Все плѣняло князя: и рѣчь, сказанная священникомъ, «наставляющая воспитанницъ въ законѣ и добродѣтеляхъ», и здоровая пища въ столовой, и порядокъ и чистота въ дортуарахъ.

Любопытно во многихъ отношеніяхъ «Письмо сельскаго дворянина къ издателю» (№ 4). «Удостойте выслушать—пишетъ этотъ огорченный дворянинъ—отъ отца жалобу, которую нельзя принести ни въ какомъ присутственномъ мѣстѣ, и будьте посредникомъ между мною и обществомъ, единственнымъ судьей въ подобныхъ случаяхъ. Съ нѣкотораго времени у дворянъ нашей губерніи произошла чудная перемѣна въ мысляхъ и правилахъ. Многіе молодые люди и пожилые вдовцы женятся на бывшихъ своихъ челядинкахъ и наемницахъ. Одинъ вводитъ крестьянку въ сообщество благовоспитанныхъ сестеръ своихъ; другой заставляетъ дѣтей цаловать руки у рабыни покойной ихъ матери. Тутъ слезы дочери, тамъ упреки сына—и гремитъ отцовское проклятіе! Раздоры въ семействахъ, ссоры и тяжбы между родственниками, соблазнъ и пересуды въ бесѣдахъ, и грусть, тяжкая грусть нашему брату, привязанному еще къ дворянскимъ предразсудкамъ своего дѣда. Къ чему я теперь буду воспитывать дочь мою, если крестьянская или горничная дѣвка предпоч-

тется ей? Чѣмъ вознаграждаются попеченія мои объ украшеніи ума ея и сердца, ежели она должна остаться навсегда въ одиночествѣ? Не щадя ничего на образованіе моей дочери, я думалъ, что готовлю ее для мужа, который будетъ цѣнить ея достоинства, составитъ счастье жены и ея родителей: отправляя на службу отечества сына, я думалъ, что зять мой заступитъ мѣсто его; будетъ подпорой старости моей и утѣшеніемъ семейства; думалъ, что существо мое возобновится въ малыхъ внучатахъ, которые возрастутъ на моихъ болѣняхъ и примутъ послѣдній вздохъ мой. Такія пріятныя мысли, такія утѣшительныя надежды служатъ истинною наградою за труды и жертвы родительскія. Ахъ, не горестно ли обмануться въ счастливѣйшей предувѣренности? Не имѣетъ ли права сердце отцовское жаловаться на то, что лишаетъ его лучшихъ радостей въ жизни. Не разрываетъ ли душу нѣжной матери взоръ на унылые дни ея дочери? Съ другой стороны, не прискорбно ли отцу, матери, брату и сестрѣ благовоспитаннымъ видѣть въ семействѣ своемъ грубую, необразованную крестьянку или смѣшную обезьяну бывшей госпожи своей,—то есть горничную дѣвку?» и т. д.

Изъ этого письма видно, что чувствительные авторы, плакавшіе о судьбѣ бѣдной Лизы, сильно порицали *mésalliance*, когда эти Лизы выходили замужъ за своихъ соблазнитель. Замѣчательно также сопоставленіе журнала съ присутственнымъ мѣстомъ: оно показывасть, что журналистика расширилась въ такой степени, что разстроенные граждане, въ родѣ сейчасть упомянутаго, считали уже книжку журнала удобнымъ средствомъ выражать свои печали и на-

дѣялись даже этимъ путемъ—оказать сопротивленіе «чуждой пережвѣ въ мысляхъ» у другихъ согражданъ.

Сантиментальное настроеніе господствуетъ и въ «Журналѣ для сердца и уха», издававшемся ежемѣсячно въ Петербургѣ И. Шелеховымъ (1810 г.), и выражалось опять посланіями къ Лилѣ, Нинѣ, Лаурѣ и т. п.

При томъ направленіи, какое распространилось въ журналистикѣ подъ вліяніемъ Карамзина, весьма понятенъ упадокъ сатиры, которая всего менѣе должна была сходиться съ сантиментально-патріотическимъ настроеніемъ умовъ. Конечно, находились еще сатирики, переводившіе Геллерта, Рабенера и т. п., «находя въ оныхъ истину, во всемъ ея величествѣ созерцаемую», но едва ли въ этой истинѣ могло таиться много смысла для русскихъ читателей. Переводы перелагались впрочемъ и на русскіе нравы, и въ переводную сатиру вставлялись обличенія пьянства помѣщиковъ и псовой охоты; но сатира становилась оттого еще нелѣпѣе; она не повторила съ прежней силой даже сатирическихъ мотивовъ екатерининскаго времени.

Въ «Демокритѣ» (1815 г.) характеръ этой сатиры становится даже довольно гнуснымъ, какъ это напр. обнаруживается въ «пѣснѣ Демокрита». Смѣяться надъ всѣмъ: надъ трудомъ ученаго, потому что это «сухая матерія», надъ суетливой дѣятельностью другихъ людей, надъ кровавыми битвами—вотъ девизъ Демокрита. Но что всего лучше:

Пусть несчастные томятся,
Коль судьба для нихъ строга;
Моя участь—лишь смѣяться:
Ха-ха-ха! ха-ха-ха! (№ 2).

Въ другомъ стихотвореніи (№ 4) осмѣивается поэтъ,

мерзнушій въ своей комнатѣ и «бьющій тактъ зубами». Этотъ поэтъ жалуется на своего сосѣда, «валдайскаго боярина», который открываетъ заслонку въ печкѣ и выпускаетъ все тепло, благо у него есть и тулупъ, и шуба. Однажды сатирикъ занекнулся было о неправедныхъ судіяхъ (№ 4); но тутъ же остановился, сказавъ самому себѣ: «не все ври, что знаешь».

VIII.

«Другъ просвѣщенія» и его сбивчивый тонъ. — «Журналъ Россійской словесности». — Либеральныя оды И. П. Пинна. — Бесѣда «сочинителя съ цензоромъ». — «Островъ подлецовъ». — «Сѣверный Вѣстникъ». — Вопросъ о развитіи просвѣщенія и о свободѣ преподаванія. — Политическія и общественныя идеи въ «Сѣв. Вѣстникѣ». — Проектъ преобразованія на англійскій ладъ. — Литературная критика въ «Сѣв. Вѣстникѣ» и «Ладѣ».

Изъ новыхъ журналовъ, возникшихъ вслѣдъ за «Вѣстникомъ Европы» Карамзина, наибольшаго вниманія заслуживаютъ петербургскіе журналы, наименьшаго — московскіе, которые разрабатывали только одну сентиментально-патріотическую сторону своего первообраза. Политическая струйка зашла, впрочемъ, и въ нихъ изъ «Вѣстника Европы». Такъ напр. въ «Другѣ просвѣщенія» (1801 — 1806 г.) мы находимъ «Письмо Людовика XVI-го къ одному аббату и нѣсколько мыслей, писанныхъ имъ собственноручно». Въ этомъ письмѣ французскій король говоритъ о воспитаніи дофина въ духѣ кротости, религіи и любви къ народу; онъ не желаетъ, чтобы воинская слава кружила ему голову, а ласкательство при-

дворныхъ производило въ немъ своеправіе. «Первый долгъ государя, говоритъ король, есть тотъ, чтобы сдѣлать народъ счастливымъ. Законы суть столпы трона: если государь ихъ нарушить, то и народъ сочтетъ себя свободнымъ отъ ихъ обязательствъ». Изъ мыслей Людовика, набросанныхъ имъ собственноручно, замѣчательны слѣдующія: «Королю, царствующему правосудіемъ, вся земля служить храмомъ. Дѣлать добро и терпѣливо слушать злословіе о себѣ — вотъ добродѣтели царскія. Сочиненіе, написанное безъ свободы, должно быть посредственно и худо» и пр. Все это могло имѣть нѣкоторое примѣненіе къ тогдашней русской жизни. Въ стихотвореніи П. Кутузова: «Ода на правосудіе» также высказывается надежда, что на престолахъ русскомъ вмѣстѣ съ Александромъ «возсядутъ милость и правый, нелицепріятный судъ *»). Но рядомъ съ блѣднымъ отраженіемъ новыхъ идей, въ этомъ невыдержанномъ изданіи печатались вирши на старый ладъ, въ родѣ «Колесницы» Державина и стиховъ А. С. Шишкова. Въ «Колесницѣ», написанной по поводу французской революціи, авторъ рекомендуетъ правительству ежовыя рукавицы въ политикѣ, чтобы «раздраженные буцефалы», воспользовавшись дремотою властей, не столкнули ихъ въ ровъ. Обращаясь къ Франціи, Державинъ говоритъ:

Отъ философовъ просвѣщенья,
Отъ лишней царской доброты,
Ты пала въ хаосъ развращенья
И въ бездну вѣчной срамоты.

Къ счастью, эти поклонники ежовыхъ рукавицъ не могли

* Эта надежда не мѣшала, однако, Кутузову писать негласные доносы на Карамзина и въ нихъ совѣтовать — запретить его куда-то безъ суда и слѣдствія (См. I томъ, стр. 194).

остановить развитія новыхъ идей, покуда лица повыше ихъ, не смущаясь прямыми и косвенными намеками «на излишнюю доброту», сами способствовали прогрессу своимъ сочувствіемъ и поддержкою.

Гораздо замѣчательнѣе были петербургскіе журналы, въ которыхъ либеральное направленіе нашло себѣ усердныхъ проводниковъ и защитниковъ. Сюда относится «Журналъ Россійской Словесности», изданный Н. Брусиловымъ (1805 г.) при участіи И. П. Пнина. Въ первой же книжкѣ своего изданія Брусиловъ напечаталъ оду Пнина: «Человѣкъ» — довольно смѣлый гимнъ свободѣ, въ отпоръ унижительнымъ взглядамъ на права мыслящей личности. Авторъ говоритъ, обращаясь къ человѣку:

Какой умъ слабый, униженный
Тебѣ дать имъ червя смѣлъ?
То рабъ несчастный, заключенный,
Который чувства не мѣлъ;
Въ оковахъ тяжкихъ пресмыкался,
И съ червемъ поилинно равнялся,
Давнимъ сильною рукой,
Сначала въ горести признался,
Потомъ въ сихъ мысляхъ вѣкъ остался,
Что человѣкъ есть червь земной.
Прочь мысль презрѣнная! ты сродна
Душамъ преподахъ лишь рабовъ,
У коихъ вѣкъ мысль благородна
Не озарила мракъ умовъ.

.
Въ какомъ пространствѣ зрю ужасномъ
Раба отъ человѣка я:
Одинъ, какъ солнце въ небѣ ясномъ,
Другой такъ мраченъ, какъ земля.
Одинъ есть все, другой — ничтожность.
Когда бъ позналъ свою рабъ должность,
Спросилъ природу, разсмотрѣлъ:

Кто бѣдствій всѣхъ его виною?

Тогда бы тою же рукою

Сорвалъ онъ цѣпи, что надѣлъ.

Желая, повидимому, ограничить эту свободу,—чтобы она не переходила въ анархію и открытое возстаніе, пугавшія умы,—издатель, вслѣдъ затѣмъ (№ 2 и 4), напечаталъ оду: «На безначаліе» и басню: «Зябликъ», въ которыхъ представляются въ дурномъ свѣтѣ своеволие и крайнее вольнодумство. Это вольнодумство ведетъ къ тому, что народъ (французскій), низвергнувъ царя, создаетъ себѣ другого — «изъ праха», а зябликъ попадаетъ въ когти къ воршуну. Вообще беллетристическія произведенія,—если исключить изъ нихъ сантиментальныя, служившія прямой связью журнала съ каразинскими изданіями,—выбирались Брусиловымъ не безъ цѣли, и каждое изъ нихъ служило какъ бы дополченіемъ и разъясненіемъ къ другому. Въ баснѣ: «Истина во дворцѣ» (соч. А. Измайлова) рассказывается, какъ истина вошла во дворецъ и была приговорена къ ссылке въ рудники; но потомъ, перерядившись въ вымыселъ, сказала шуткою все, что было нужно, и ее выслушали съ благоклонностью. Конечъ. басни таковы:

Счастлива та страна, въ которой кроткій царь

Правдиво говорить себѣ не запрещаетъ!

Счастливѣй мы стократъ: нашъ ангелъ-государь

Не только истину въ чертогъ къ себѣ выпускаетъ,

Но даже ищетъ самъ ее.

Въ № 5-омъ помѣщена также басня, въ которой хозяйнѣ, за вѣрную службу дворняшки, даритъ ей ошейникъ, и ничего больше; въ № 7 другая — «Царь и придворный», гдѣ проводится мысль, что «блескъ царскаго величія» ничто безъ поддержки народа. Въ повѣстяхъ изъ восточной жизни

(эти повѣсти часто попадаютъ въ тогдашнихъ журналахъ), какъ напр. «Истина» и «Перстень», доказывается, что правда, хотя она и не нравится придворнымъ щеголямъ, щеголяхамъ, судьямъ и пр., должна быть не только терпима въ государствѣ, но и поставлена выше «угожденія царю». Въ первой изъ этихъ повѣстей багдадскій кади «въ ярости разбиваетъ чубукомъ зеркало истины», и вотъ на всемъ пространствѣ багдадскихъ владѣній царедворцы лъстятъ, кади грабятъ, слезы несчастныхъ льются рѣкою; во второй — мудрый персидскій шахъ рѣшаетъ, что истина всего нужнѣе ему, и Персія при немъ «была счастлива и наслаждалась тишиною». Далѣе Пнинъ воспѣвалъ «правосудіе» (№ 10), которое одинаково караетъ «рабовъ и вельможъ».

Гдѣ ты — тамъ вошь не раздается
Несчастныхъ, брошенныхъ сиротъ:
Всѣмъ нужна помощь подается,
Не работорговлею народъ.
Тамъ земледѣлецъ не страшится,
Чтобы насильствомъ могъ лишиться
Имъ въ потѣ собранныхъ плодовъ;
Любуется, смотря на ниву.
Въ ней видя жизнь свою счастливую,
Благословляетъ твой покровъ...
Гдѣ ты — тамъ гений просвѣщенья,
Лучами мудростей своей,
Открыть злобредны заблужденья,
Седеть на путь прямой людей.
Науки храмы тамъ имѣютъ.
Художества, искусства зрѣютъ,
Торговля богатитъ народъ,
Тамъ духъ зиждательной свободы,
Проникнувъ таинства природы,
Сторичный собираетъ плодъ.

.

Гдѣ нѣтъ тебя - тамъ всѣ несчастны,
Отъ земледѣльца до царя;
Законы дремлютъ и безгласны,
Тамъ всякъ живетъ лишь для себя.
Нѣтъ ни родства, союза, вѣры;
Тамъ видны лишь злодѣйствъ примѣры;
Шипятъ пороки и азвять;
Тамъ выгоды нѣтъ быть добрымъ, честнымъ,
Быть другомъ искреннимъ, нечестнымъ,
Тамъ чашу смерти пьетъ Сократъ и пр.

Между разными общественными явленіями, препятствующими строгому дѣйствию правосудія, Пнинъ указывалъ, по горькому опыту, и предварительную цензуру, въ которой произволъ административнаго лица могъ лишить чело-вѣка его собственности и его нравственныхъ правъ. Эту мысль Пнинъ выразилъ въ видѣ сцены между сочинителемъ и цензоромъ, сцены, будто бы переведенной съ манчжурскаго языка. Мы приведемъ ее цѣликомъ для ознакомленія читателей съ тою формою, въ которую приходилось, уже и тогда, облекать подобныя идеи.

Сочинитель и цензоръ.

(Переводъ съ манчжурскаго).

Сочинитель. Я имѣю, государь мой, сочиненіе, которое желаю напечатать.

Цензоръ. Его должно напередъ рассмотреть. А подъ какимъ оно названіемъ?

Сочинитель. Истина, государь мой.

Цензоръ. Истина? о! ее должно рассмотреть и строго рассмотреть.

Сочинитель. Вы, мнѣ кажется, излишній берете на себя трудъ. Разсматривать истину? что это значить? Я вамъ

скажу, государь мой, что она не моя и что она существует уже нѣсколько тысячъ лѣтъ. Божественный Кунъ (Конфуцій) начерталъ оную въ премудрыхъ своихъ законахъ. Такъ говорить онъ: «смертные! любите другъ друга, не отнимайте ничего другъ у друга, просвѣщайте другъ друга, храните справедливость другъ къ другу, ибо она есть основаніе общежитія, душа порядка и, слѣдовательно, необходима для вашего благополучія». Вотъ содержаніе сего сочиненія.

Цензоръ. «Не отнимайте ничего другъ у друга, просвѣщайте другъ друга, храните справедливость другъ къ другу!»... Государь мой, сочиненіе ваше непременно разсмотрѣть должно. (Съ живостью.) Покажите мнѣ его скорѣе.

Сочинитель. Вотъ оно.

Цензоръ. (Развертывая тетрадь и пробѣгая глазами листы.) Да... ну... это еще можно... и это позволить можно... но этого никакъ пропустить нельзя (указывая на мѣсто въ книгѣ).

Сочинитель. Для чего же, смѣю спросить.

Цензоръ. Для того, что я не позволяю—и, слѣдовательно, это непозволительно.

Сочинитель. Да развѣ вы больше, г. цензоръ, имѣете права не позволить печатать мою «Истину», нежели я предлагать оную?

Цензоръ. Конечно, потому что я отвѣчаю за нее.

Сочинитель. Какъ? Вы должны отвѣчать за мою книгу? А я развѣ самъ не могу отвѣчать за мою «Истину». Вы присвоиваете себѣ, государь мой, совсѣмъ не принадлежащее вамъ право. Вы не можете отвѣчать ни за образъ

мыслей моихъ, ни за дѣла мои. Я уже не дитя и не имѣю нужды въ дядькѣ.

Цензоръ. Но вы можете заблуждаться.

Сочинитель. А вы, г. цензоръ, не можете заблуждаться?

Цензоръ. Нѣтъ, ибо я знаю, что должно и чего не должно позволить.

Сочинитель. А намъ развѣ знать это запрещается? Развѣ это какая нибудь тайна? Я очень хорошо знаю, что я дѣлаю.

Цензоръ. Если вы согласитесь (показывая на книгу) выбросить сіи мѣста, то вы можете книгу вашу издать въ свѣтъ.

Сочинитель. Вы, отнимая душу у моей «Истины», лишая всѣхъ ея красотъ, хотите, чтобы я согласился въ угожденіе вамъ обезобразить ее, сдѣлать ее нелѣпою? Нѣтъ, г. цензоръ, ваше требованіе безчеловѣчно; виновать ли я, что истина моя вамъ не нравится, и вы не понимаете ее?

Цензоръ. Не всякая истина должна быть напечатана.

Сочинитель. Почему же? Познаніе истины ведетъ къ благополучію. Лишать человѣка сего познанія, значитъ, препятствовать ему въ его благополучіи, значитъ, лишать его способовъ сдѣлаться счастливымъ. Если можно не позволить одну истину, то должно уже не позволять никакой, ибо истины между собою составляютъ непрерывную цѣпь. Исключить изъ нихъ одну, значитъ отнять изъ цѣпи звено и ее разрушить. Притомъ же истинно великій мужъ не опасается слушать истину, не требуетъ, чтобы ему слѣпо вѣрили, но желаетъ, чтобы его понимали.

Цензоръ. Я вамъ говорю, государь мой, что книга ваша, безъ моего засвидѣтельствованія, есть и будетъ ничто, потому что безъ онаго не можетъ она быть напечатана.

Сочинитель. Г. цензоръ! позвольте сказать вамъ, что истина моя стояла мнѣ величайшихъ трудовъ; я не щадилъ для нея моего здоровья, просиживалъ для нея дни и ночи: словомъ, книга моя есть моя собственность. А стѣснять собственность, какъ говоритъ премудрый Кунъ, никогда не должно, ибо чрезъ сіе нарушается справедливость и порядокъ. Впрочемъ, вѣрнѣе, засвидѣтельствованіе ваше можно назвать ничего не значущимъ, ибо опытъ показываетъ, что оно нисколько не обезпечиваетъ ни книги, ни сочинителя. Притомъ, г. цензоръ, вы изъясняетесь слишкомъ непозволительно.

Цензоръ (гордо). Я говорю съ вами, какъ цензоръ съ сочинителемъ.

Сочинитель (съ благороднымъ чувствомъ). А я говорю съ вами, какъ гражданинъ съ гражданиномъ.

Цензоръ. Какая дерзость!

Сочинитель. О Кунъ, благодѣтельный Кунъ! Если бы ты слышалъ разговоръ сей, если бы ты видѣлъ, какъ исполняютъ твои законы; если бы ты видѣлъ, какъ наблюдаютъ справедливость, если бы ты видѣлъ, какъ споспѣшествуютъ въ твоихъ божественныхъ намѣреніяхъ, тогда бы... тогда бы справедливый гнѣвъ твой... Но прощайте, г. цензоръ, я такъ съ вами заговорился, что потерялъ уже охоту печатать свою книгу. Знайте однакожъ, что «Истина» моя пребудетъ неизмѣнно въ сердцѣ моемъ, исполненномъ любви

къ чловѣчеству, и которое не имѣетъ нужды ни въ какихъ свидѣтельствахъ, кромѣ собственной моей совѣсти. <(См. Журн. Рос. Сл. № 12).

Отстаивая истину, право и свободу мысли отъ покушеній на нихъ со стороны судей, придворныхъ и цензоровъ, Брусиловъ осмѣивалъ не безъ ѣдкости,—хотя, по старому преданію, въ аллегорической формѣ,—враждебный ему лагерь, бравшій подъ свою защиту всѣ ненормальныя условія общественной жизни. Въ образчикъ подобнаго осмѣянія, мы возьмемъ отрывокъ изъ «Путешествія на островъ подлецовъ», принадлежащаго перу самого издателя журнала. Авторъ рассказываетъ, что будто онъ, возвращаясь изъ Америки, попалъ совсѣмъ въ другую сторону, по причинѣ бури, и очутился недалеко отъ острова подлецовъ. Любопытство видѣть эту неизвѣстную страну побудило его отпроситься у капитана, въ шлюпкѣ, на островъ, съ условіемъ вернуться вечеромъ же на корабль. «Островъ подлецовъ есть наибогатѣйшій въ мірѣ. Онъ лежитъ подъ самымъ почти полюсомъ и окруженъ океаномъ коварства, весьма опаснымъ для мореплавателей. Земля неплодородна и производитъ только плоды хитрости и пронырства, весьма вкусныя для жителей, но впрочемъ горькіе для всякаго честнаго чловѣка. Я спѣшилъ скорѣе въ главный городъ сего острова. Онъ называется Лестъ, весьма пріятенъ по своему мѣстоположенію и стоитъ на рѣкѣ низкихъ поклоновъ, которая течетъ иногда тихо, иногда быстро, смотря по обстоятельствамъ. Жителей на семъ островѣ много, и сказываютъ, что въ годъ родится въ десять разъ болѣе, нежели умираетъ. Жители всѣ блѣдны, худы, но въ богатыхъ кафтанахъ, и живутъ хорошо, ибо мно-

го добываютъ чрезъ подлость. Они столь низки духомъ, что даже и въ дурную погоду ходятъ по улицамъ безъ шляпъ и кланяются всякому богачу, а особливо путешественникамъ, отъ которыхъ надѣются пожиться. Передъ тѣми же, кто мало значить въ свѣтѣ или бѣденъ, честенъ и добръ—передъ тѣми они горды, и вотъ одинъ только случай, когда они надѣваютъ шляпы... Я оставился въ лучшемъ трактирѣ. Трактирщикъ выбѣжалъ ко мнѣ и сказалъ, что онъ уже нѣсколько дней меня ожидаетъ и очистилъ для меня лучшіе покои. «Мой другъ, сказалъ я съ удивленіемъ,—я пріѣхалъ сюда нечаянно и не думаю, чтобъ ты могъ знать прежде о моемъ пріѣздѣ». — «Милостивый государь, отвѣчалъ онъ, мы люди малые и единственнымъ счастіемъ нашимъ поставляемъ предупреждать намѣренія и волю людей вашихъ достоинствъ». Въ самое время нашего разговора подошелъ къ нему бѣднякъ и просилъ дать уголокъ въ его домѣ; но трактирщикъ оттолкнулъ его съ гордостью и, показавъ всю мѣру презрѣнія богатаго гордеца къ бѣдному, велѣлъ ему удалиться. Я удивился такой скорой переменѣ. «Милостивый государь! сказалъ трактирщикъ, принявъ опять униженный видъ; чтожь было бы въ нашей жизни, еслибъ, ползая весь вѣкъ передъ богачами, не имѣли мы удовольствія гордиться предъ бѣдными.» Тутъ узналъ я великую истину, что подлець есть самое горделивое твореніе въ мірѣ. Не успѣлъ я отдохнуть послѣ трудной дороги, какъ вдругъ явилась ко мнѣ толпа жителей сей страны. Всякій кланялся мнѣ въ поясъ; иной называлъ меня своимъ благодѣтелемъ, хотя я отъ роду въ первый разъ его видѣлъ, иной подносилъ

мнѣ стихи на день моего рожденія; иной—эпиграмму на мой приѣздъ. Въ сихъ стихахъ уподобляли меня Сенека въ мудрости, Эмистоклу въ храбрости, Лукуллу въ благотворительности; иной просилъ позволенія списать мой портретъ и поставить его рядомъ съ Адонисомъ; иной говорилъ, что добродѣтель Аристиды ничто передъ моею; иной, узнавъ, что я люблю словесность, увѣрялъ меня, что Платонъ, Виргилій, Демосеенъ не могутъ равняться со мной въ краснорѣчїи; тотъ читалъ мнѣ съ восхищеніемъ наизусть оду, которой я отъ роду не писывалъ; иной, повалясь мнѣ въ ноги, лизалъ пыль съ моихъ сапоговъ; словомъ, всѣ прилагали стараніе выманить у меня по нѣскольکو копѣекъ, — обыкновенное желаніе подлыхъ душъ! Послѣ сихъ учтивостей пошелъ я обѣдать. За столомъ сидѣло человѣкъ пятьдесятъ. Всѣ они сидѣли смиренно, говорили шепотомъ и, браня тѣхъ, предъ которыми за четверть часа предъ тѣмъ ползали и которыхъ, превознося до небесъ, называли своими благодѣтелями, — поминутно оглядывались то на ту, то на другую сторону, боясь, чтобы ихъ не подслушали. Въ сей залѣ нашелъ я одного англичанина, который въ городѣ Лести живетъ уже нѣсколько недѣль. «Я приѣхалъ сюда, сказалъ мнѣ прямодушный британецъ, нарочно за тѣмъ, чтобы увидѣть разницу между человѣкомъ и подлецомъ». Онъ мнѣ много рассказывалъ о семъ чудномъ островѣ. «Здѣсь деньги есть всемогущій металлъ, говорилъ онъ, и человѣкъ безъ денегъ есть жалкая тварь. Здѣсь почти ежедневно бывають тому слишкомъ ясныя доказательства».

Еще замѣчательнѣе были журналы И. И. Мартынова —

одного изъ честнѣйшихъ официальныхъ дѣателей первой половины царствованія Александра Павловича *). Въ 1791 г. Мартыновъ издавалъ литературный журналъ «Муза» и по прекращеніи его (въ томъ же году) занимался переводами и преподаваніемъ исторіи и словесности въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ 1802 г. вышелъ указъ о министерствахъ, и незначительный чиновникъ, уже пріобрѣтшій извѣстность въ литературномъ мірѣ, сдѣлался сразу, благодаря ей, директоромъ департамента народнаго просвѣщенія. Небольшой чинъ его не послужилъ, какъ видно, препятствіемъ къ занятію важнаго административнаго поста. Въ 1804—5 г.г. Мартыновъ, управляя департаментомъ, находилъ время и для изданія журнала «Сѣверный Вѣстникъ» (выход. помѣсячно), при ежегодномъ пособіи отъ казны въ три тысячи рублей. Прекративъ изданіе «Сѣв. Вѣстника», онъ въ 1806 г. началъ издавать «Лицей» почти по той же программѣ и въ томъ же духѣ, какъ предъидущій журналъ. Въ обоихъ этихъ изданіяхъ Мартыновъ высказывалъ тѣ мысли, которыя были въ ходу въ нашихъ вліятельныхъ сферахъ, и разрабатывалъ вопросы, занимавшіе всѣ лучшіе умы, не только не тормозя при этомъ общественнаго сознанія, но во многомъ даже опережая его. Такимъ образомъ, интересъ его журналовъ увеличивается по связи ихъ съ идеями самого правительства, довѣрчиво относившагося къ развитію народнаго смысла. Хотя «Сѣверный Вѣстникъ» не имѣлъ собственно—полити-

*) Служба Мартынова продолжалась и позже, во его успѣхи въ ней относятся именно къ началу царствованія Александра I. Въ 1817 г. онъ уже сошелъ съ видной сцены, оставаясь впрочемъ до самой смерти (въ 1838 г.) членомъ главнаго правленія училищъ. (См. о немъ статью въ Современникѣ 1856 г. №№ 3 и 4).

ческой рубрики, но въ отдѣлѣ науки и критики онъ часто затрогивалъ политическіе вопросы и рѣшалъ ихъ въ смыслѣ достаточно свободномъ для своего времени. Онъ защищалъ не только новый слогъ противъ нападеній Шишкова, но и новыя понятія о наукѣ, воспитаніи и государственномъ устройствѣ.

Двѣ главныя задачи выставлялись на видъ «Сѣвернымъ Вѣстникомъ»: 1) усовершенствованіе воспитанія и 2) начертаніе новаго уложенія законовъ. По первому вопросу Мартыновъ сходилса съ Пнинымъ, т. е. требовалъ, чтобы воспитаніе и обученіе сообразовались съ потребностями различныхъ классовъ народа. Крестьянину, по его мнѣнію, нужно было давать въ общественныхъ училищахъ только такіа познанія, которыя сопряжены съ его отношеніями и нуждами его состоянія: «поправить соху, употребить простое механическое средство къ уменьшенію числа рукъ въ работѣ есть для него неогцѣненное приобрѣтеніе». «Но—продолжаетъ авторъ—поселянинъ долженъ пользоваться только практическимъ приведеніемъ въ дѣйствіе и выгодою изобрѣтенія: изученіе же ведущихъ къ тому математическихъ истинъ, сопряженное съ многочисленными предварительными свѣдѣніями, не должно лишать его времени, столь нужнаго для воздѣлыванія земли. Вообще, всякій человѣкъ, снискивающій себѣ пропитаніе тяжелой работой, выходитъ изъ своего состоянія, если возбуждается въ немъ наклонность къ умственнымъ упражненіямъ». «Сѣверный Вѣстникъ» хвалилъ книгу Гельмана, въ которой границы народнаго образованія опредѣлялись слѣдующимъ образомъ: «Не всѣ состоянія народа должны получать одинаковое просвѣщеніе. Науки, такъ называемыя, свободныя искусства и всѣ тѣ наставленія, кото-

рыя составляютъ воспитаніе человѣка государственнаго, совсѣмъ неприличны для черни и даже вредны въ отношеніи къ общественному благоденствію. Сохрани насъ Богъ, если весь народъ будетъ состоять изъ ученыхъ, діалектиковъ, замысловатыхъ головъ. Но крайне несправедливо было бы отказать народу въ пособіяхъ начальнаго образованія». Читатель спросить, можетъ быть, съ недоумѣніемъ: въ чемъ же заключается заслуга Мартынова, отстаивавшаго подобныя мысли о народномъ просвѣщеніи? Чтобы понять и эту заслугу, и относительный либерализмъ «Сѣвернаго Вѣстника», нужно вспомнить, что говорила въ то время противная сторона; иначе, по сравненію съ современнымъ взглядомъ на тотъ же предметъ, идеи Мартынова покажутся чистѣйшимъ обскурантизмомъ. Самъ Гельманъ говоритъ, что не всѣ писатели согласны съ его мнѣніями, и что многіе изъ нихъ «смотрятъ на просвѣщеніе, какъ на опасное орудіе въ рукахъ народа». Эти злонамѣренные писатели (какъ напр. Жозефъ де Местръ и др.) нападали на первый базисъ науки—на тотъ скептицизмъ и критическое отношеніе къ дѣйствительности, отъ которыхъ рождаются, по ихъ словамъ, гордость и самоиѣніе въ человѣкѣ, и стремятся «вредить обществу», т. е. сословнымъ привилегіямъ, религіознымъ предрасудкамъ, политическому застою. Обскуранты предлагали держать, что называется, въ черномъ тѣлѣ не только рабочій, трудящійся классъ народа, но и все среднее сословіе: не давать имъ ни одной крупинки просвѣщенія, какъ бы ни была эта крупинка мала и ничтожна сама по себѣ. Важно то, что, разъ выступивъ на эту дорогу, дозволивъ народу отвѣдать «древа познанія», пра-

вительство, по ихъ мнѣнію, не будетъ уже въ силахъ остановиться, когда захочетъ, и естественное стремленіе освобожденныхъ умовъ повлечетъ его дальше и дальше. Политическая реакція въ Европѣ составила настоящій заговоръ противъ успѣховъ человѣческаго ума и не отступала ни передъ какими гнусными и іезуитскими средствами къ достиженію своей цѣли. На революцію указывали, какъ на неизбежный результатъ умственного развитія народа; чтобы избѣжать ея, совѣтовали, прежде всего, видѣть въ народѣ естественнаго врага своихъ правительствъ. Для правителя, слѣдовательно, сочинялась такая дилемма: или будь обскурантомъ и наслаждайся мирно всѣми выгодами своего положенія, или заботься о просвѣщеніи, но сиди на вулканѣ. Подобныя взгляды проникали уже къ намъ раньше и, безъ отпора со стороны самого безгласнаго общества, гнули и тѣснили его по произволу, приписывая ему такіе вредные, революціонные замыслы, о которыхъ оно и помыслить не смѣло. Вспомнимъ, какой переполохъ произвели у насъ весьма невинныя по мысли масонскія изданія Новикова; вспомнимъ, что Радищевъ уподоблялся, по своей вредности, Пугачеву... Александра І также запугивали перспективой разврата, разливающегося изъ заведенныхъ имъ университетовъ и гимназій. Въ приведенныхъ нами стихахъ Державинъ говорилъ, что просвѣщеніе и лишняя доброта царя повели во Франціи къ взрыву буйныхъ страстей; Шишковъ, въ свою очередь, напиралъ на упадокъ нравственности и религіознаго благочестія, какъ на слѣдствіе школьнаго обученія и вредныхъ книгъ. Рядомъ съ этими мнѣніями поставимъ другое, нашедшее себѣ пріютъ и защиту въ журналѣ Мартынова: «Привыкли уже

мы слышать нареканіе, что просвѣщеніе въ наши времена произвело на западѣ страшныя неустройства. Не оно, а невниманіе къ нему. Сто лѣтъ уже, какъ оно, развиваясь естественно въ народахъ, просило тамъ правителей пожалѣть о человѣчествѣ и примѣняться постепенно къ духу вѣка своего; оно просило, ему не внимали, его презирали, тѣснили, терзали; симъ самымъ оно укрѣпилось, сорвало личину съ предрасудковъ, злоупотребленій и лести, и умоляло; но неправды и своенравіе въ закоренѣлости своей торжествовали надъ народомъ безпечно и безстыдно. Оно издали предвѣщало громовыя тучи и нимало уже не виновно въ томъ злѣ, которое учинено буйствомъ ожесточеннымъ. Но какъ можно любить науки? всякій захочетъ быть умнѣе и съ достоинствами, и чѣмъ избранные только отличались, то будетъ не въ рѣдкости; онѣ не позволяютъ обманывать и обольщать людей: обманъ легко вскроется; не дадутъ обидѣть сосѣда: сосѣдъ умѣетъ защитить свое право! мѣшаютъ жить на счетъ общаго добра: всѣ за него вступятся! Онѣ смѣлы и страшны, преслѣдуютъ злодѣя въ самую его душу—какъ можно не сердиться на нихъ? Онѣ обличаютъ ту неядда празднаго, который жветъ, гдѣ не сѣетъ,—и смѣются, если величается родомъ отъ знатныхъ предковъ и пустиотою поведенія, и богатствомъ, которое скоро разсыплется. Жестокія, онѣ такъ язвительно смѣются и такъ самонадежны и довольны! Подлинно, въ самолюбіи человѣческомъ столь много есть причинъ, побуждающихъ чуждаться наукъ, не признавать добра, отъ нихъ получаемаго, и нежелать ихъ распространенія. Однако, просвѣщенія ни-

какою силою остановить невозможно, когда оно воспріяло ходъ свой; оно, какъ Протей, въ разныхъ видахъ повсюду возникаетъ. Остается за благо временно усматривать необходимость и важность ученія помѣрѣ надобностей вѣка: дабы правительство не оставалось позади успѣховъ народнаго смысла и всегда имѣло достаточное число людей всякаго званія для своихъ дѣйствій во благо народа». (См. Сѣв. Вѣстн. 1805 г. № XII; рѣчь при открытіи гимназій въ землѣ Войска Донскаго).

Сблизивъ между собою два эти мнѣнія, мы поймемъ безъ труда заслугу Мартынова. Рядомъ съ защитою просвѣщенія, въ первыхъ же нумерахъ «Сѣвернаго Вѣстника» за 1804 г. открылась горячая полемика между двумя противоположными взглядами на систему школьнаго обученія. Враги умственнаго развитія народа, примиряясь съ наукой, какъ съ необходимымъ зломъ, желали обезсилить ее, по крайней мѣрѣ, учебною формалистикой, строгою регламентаціей, которая не допустила бы въ школу ни одной свободной мысли, неподходящей подъ рубрики установленной программы.

Съ этою мыслью иѣто Б. С. прислалъ въ редакцію «Сѣвернаго Вѣстника» свой проектъ школьнаго преподаванія, въ которомъ важны и любопытны слѣдующіе пункты: (1) Для очищенія всякаго рода ученія, тѣмъ болѣе правоучительнаго, отъ злоупотребленій, для достиженія надежнѣйшихъ успѣховъ въ ученіи — предложить награжденія за сочиненіе на разныхъ языкахъ плановъ, заключающихъ въ себѣ удобнѣйшій порядокъ обученія всякой той наукѣ, которою можно обучать единообразно, и всякому языку, сколько то возможно, съ раздѣленіемъ ученія на ежедневные уроки; 2)

полученныя пособія, разсмотрѣнныя ученѣйшими и искусѣйшими (людьми), кому поручено будетъ отъ главнаго правленія училищъ, и представленныя съ мнѣніями о каждомъ, подали бы случай одобрить и удостоить награжденія только одинъ (?) для всякаго ученія лучшій. 3) Какъ удивляютъ всѣхъ зрителей скорые и хорошіе успѣхи въ военныхъ экзерциціяхъ отъ того, что всякому обучающемуся солдату предписана единообразная и непремѣнная метода, такъ равномерно можно ожидать скорыхъ и хорошихъ успѣховъ въ наукахъ и языкахъ, единообразно преподаваемыхъ. 4) Надзираніе за учителями потребнѣе, нежели за учениками, дабы они не теряли времени, на обученіе опредѣленнаго. Для надежнѣйшихъ успѣховъ потребно еженедѣльное испытаніе учениковъ чрезъ опредѣленнаго на то посторонняго воспитателя. 5) Посредствомъ печатныхъ методъ всякій отецъ или воспитатель и всякій посторонній можетъ испытывать всякаго ученика: знаетъ ли то, что долженъ узнать. 6) Сей способъ удобнѣе можетъ избавить Россію нетовмо отъ ненужнаго и безполезнаго ученія разныхъ предметовъ, на которые теряютъ драгоцѣнное время, но и отъ многоразличныхъ въ наукахъ заблужденій, коими зараженные въ разныхъ государствахъ отъ обучающихся по своей волѣ, увлекаемы сами, и другихъ увлекаютъ въ развратнѣйшія мысли и дѣянія, даже въ самоубійство. Во многихъ сочиненіяхъ славнѣйшихъ древнихъ и новыхъ учителей можно найти опасныя заблужденія, которыя весьма нужно предупреждать предписанными методами и ученіями, дабы не было въ Россіи такого постыднаго

въ наукахъ разномыслія, каковое посрамляетъ ученѣйшихъ въ другихъ европейскихъ областяхъ, гдѣ позволено учить отроковъ и юношей какъ кто хочетъ. 7) Споры между учеными происходятъ отъ несогласія съ одинакою для всѣхъ правдою. 8) Отчего въ англійскомъ парламентѣ большая часть узаконеній всегда почти бываетъ оспариваема? Отчего между судьями объ одномъ дѣлѣ и по однимъ законамъ бываютъ разныя мнѣнія? Отчего между учеными объ одной наукѣ разныя утвержденія? Главная сему причина—недостатокъ единообразнаго обученія отъ разномысленныхъ учителей». — Печатавъ этотъ скалозубовскій проэктъ, предлагавшій, задолго до Грибоѣдова, «фельдфебеля въ Вольтеры»,—издатель, въ призываніи къ нему, оставилъ за собой право сдѣлать на него возраженія. Возраженія появились въ слѣдующей книжкѣ. (См. № 2 Сѣв. Вѣст. 1804 г.). Здѣсь отдается честь автору за его «желаніе быть полезнымъ отечеству», но самый проэктъ рѣшительно отвергается. Издатель говоритъ, что, въ силу этого проэкта, «умы людей должны дѣйствовать не иначе, какъ по флигельману», и вооружается противъ него мнѣніемъ Шапталя, высказаннымъ по поводу однороднаго предложенія — завести во Франціи учебники, обязательные для всѣхъ профессоровъ и учителей. «Свобода въ способахъ ученія—говоритъ Шапталъ,—столько же естественна и полезна, какъ и свобода самаго ученія. Ограничить оное общими методами и заключить въ предѣлахъ, предписанныхъ властью, значило бы истребить наилучшее свойство онаго—независимость. Когда хотятъ все предвидѣть, все предписывать уставами, то препятствуютъ тѣмъ счастливымъ развитіямъ, тѣмъ

неисчерпаемымъ пособіямъ, которыя служатъ плодомъ воображенія и отличныхъ талантовъ, свободныхъ отъ всякаго принужденія.... Способъ обученія долженъ переимѣняться не только по разнымъ способностямъ учителей, но и учениковъ. Назначить каждому учителю родъ науки, которой онъ долженъ обучать, опредѣлить ему время для преподаванія оной есть долгъ правительства; но предписать ходъ идеямъ, положить предѣлы мысли и средствамъ къ раскрытію оной есть самый нестерпимый родъ тиранства».

Взглядъ на политику и государственное устройство выражается, въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», въ тенденціозныхъ переводахъ изъ Тацита, Гиббона, Монтескье, Гольбаха и др. писателей. Изъ Тацита брались обыкновенно рѣзкія филиппики противъ тирановъ; изъ Гольбаха переведена почти цѣликомъ «La politique naturelle». Цѣль этой книги — поставить политическія науки на здравыя начала, откинувъ «отвлеченныя и метафизическія понятія». Источникомъ общественной жизни полагается въ ней чувство общечеловѣчія, свойственное каждому человѣку, укрѣпляемое привычкою и совершенствуемое разумомъ. Изъ чувства общечеловѣчія возникаетъ любовь къ обществу. «Для собственныхъ своихъ выгодъ люди вступаютъ въ общество, и общество обязано доставить человѣку благосостояніе или содержать такой порядокъ, чтобъ каждый членъ общества пользовался всѣми выгодами, какія совместны съ намѣреніемъ общечеловѣчія». Человѣкъ даромъ, безъ замѣны, никогда не налагаетъ на себя ига зависимости. Когда же общество, или управляющіе имъ, вмѣсто того, чтобы доставить членамъ его всѣ

возможныя блага, угнетаютъ ихъ волю, принуждаютъ дѣлать «безполезныя и горестныя пожертвованія», стѣсняютъ ихъ трудолюбіе и промышленность, не доставляя даже простой безопасности — тогда человѣкъ не имѣетъ никакой нужды въ обществѣ; онъ бѣжитъ отъ него: привязанность его къ обществу умираетъ. Онъ отдѣляется отъ общества, дѣлается ему врагомъ и ищетъ своего благополучія средствами, вредными его сочленамъ. Въ обществѣ, худо управляемомъ, почти всѣ люди бываютъ другъ другу врагами. Тогда человѣкъ для человѣка дѣлается звѣремъ. Нормальная власть основывается единственно на своей способности творить добро, покровительствовать, руководствовать и доставлять благополучіе. Неравенство же природныхъ способностей не можетъ быть причиною зла; оно, напротивъ, есть истинное основаніе благополучія. Каждый приноситъ обществу свою долю пользы, смотря по силамъ, и то, чего недостаетъ ему, требуетъ и получаетъ отъ другихъ. Изъ этихъ вѣчныхъ понятій Гольбахъ выводилъ всѣ дальнѣйшія политическія функціи. Такъ какъ потребности общества измѣняются, смотря по степени его развитія, то отсюда слѣдуетъ, что «законы гражданственныя», примененные къ обстоятельствамъ и нуждамъ общества, должны измѣняться вмѣстѣ съ ними. «Общества человѣческія, подобно тѣламъ естественнымъ, подвержены переменамъ; слѣдовательно, одни и тѣ же законы не могутъ приличествовать имъ въ разныхъ обстоятельствахъ». Но законы гражданскіе не слѣдуетъ смѣшивать съ «законами естественными», т. е. съ естественнымъ правомъ человѣка на свободу и благополучіе, которое не можетъ быть отмѣнено никакими законами

и, по существу своему, должно оставаться неизмѣннымъ. Тому же естественному регулятиву подчиняются и права человѣческихъ массъ, т. е. народовъ; ихъ взаимными отношеніями также долженъ руководить принципъ пользы, извлекаемой изъ мирнаго общежитія. Тѣмъ не менѣе цѣлому народу дозволяется, по ошибочному взгляду, грубое насиліе, потому что «одна сила рѣшаетъ всѣ ихъ распри: самовольныя ихъ дѣянія смѣшали съ правомъ и изъ того заключили, что существа, которымъ ничто не можетъ противиться, должны имѣть особое произвольное уложеніе».

Объ этихъ военныхъ распряхъ народовъ, рѣшаемыхъ силой, говорится въ разборѣ книги: «Разсужденіе о мирѣ и войнѣ», вышедшей въ Петербургѣ въ 1803 г. и составленной по сочиненію Б. Сень-Пьера: «Projet de paix regrettuelle». Рецензентъ «Сѣвернаго Вѣстника» начинается свой разборъ сожалѣніемъ, что у насъ «очень рѣдко заглядываютъ въ такія книги; предубѣжденіе, или собственно недоразумѣніе, причиною того, что всякій навѣрно полагаетъ: если книга философическая, то она скучна и къ тому же невнятно и тяжелымъ слогомъ писана». Рецензентъ дѣлаетъ изъ этой книги пространныя извлеченія и добавляетъ къ нимъ свои собственныя примѣчанія, по большей части, въ хвалебномъ тонѣ. Но иногда онъ рѣшается и возражать.

Такъ напр. авторъ «Разсужденія» говоритъ: «Привычка дѣлаетъ насъ во всему равнодушными. Ослѣплены оною, мы не чувствуемъ всей лютости войны... Время намъ оставить сіе заблужденіе и истребить зло, подкрѣпленное всего болѣе невѣжествомъ». «Если мы къ чему нибудь привыкли, — замѣчаетъ рецензентъ, — то отъ онаго можетъ современемъ

отвыкнуть. Привыкли мы къ войнѣ отъ невѣжества, отвыкнуть отъ нея должны съ истиннымъ просвѣщеніемъ».

Затѣмъ авторъ книги опровергаетъ разные доводы въ пользу войны и исчисляетъ происходящія отъ нея бѣдствія. Его рѣзкія осужденія всѣ выписаны рецензентомъ. «Войны, говорится въ книгѣ, начались въ тѣ несчастныя времена, когда родъ человѣческой сталъ развращенъ, когда люди оставили природную невинность, когда они пришли въ то несчастнѣйшее природы состояніе, въ коемъ, не довольствуясь малымъ, захотѣли имѣть всего и не знали другого права, кромѣ права гибельнѣйшаго,—права, лишающаго человека всѣхъ правъ — права разбойниковъ и грабителей... Праздныя толпы монаховъ, которыхъ благоденствіе зависѣло отъ невѣжества народовъ, питали оное, и большая часть людей воздавали нелѣпное почтеніе тѣмъ роскошнѣйшимъ и богатѣйшимъ монахамъ (т. е. папамъ), которые сдѣлали бога мира богомъ войны и обратили священный его законъ въ орудіе своихъ страстей». Что касается бѣдствій войны, то авторъ обращаетъ особенное вниманіе на экономическую ихъ сторону: «Правленія думаютъ, что довольно для бѣдныхъ завести милостивныя учрежденія, но онѣ суть слабыя вспомошествованія умножающейся бѣдности. Сіи учрежденія сдѣланы для нищихъ; но не одни тѣ нищіе, которые просятъ; цѣлыя провинціи и знатная часть жителей большихъ городовъ страдаютъ отъ бѣдности... Если люди преданы пьянству, если они грабятъ и убиваютъ, то не поношенія, а сожалѣнія и слезы они достойны; крайность ихъ побуждаетъ къ злодѣйству, бѣдность и нужда приводятъ ихъ въ отчаяніе и искореняютъ въ нихъ человѣколюбіе и стыдъ».

Но отъ такого радикализма отказывается уже, однако, и самъ рецензентъ, которому почудилась, на этотъ разъ, чуть ли не пропаганда разбоя и грабежа. Онъ наставительно замѣчаетъ: «однако же, не взирая на сожалѣніе и слезы страдающихъ о такихъ людяхъ, они должны, для спокойствія общественнаго, быть наказываемы или удержаны въ своихъ распутствахъ попеченіемъ правительства; вотъ что слѣдовало бы г. сочинителю тутъ прибавить». Впрочемъ, вся книга, въ главныхъ своихъ чертахъ, признана въ высшей степени полезною для русской публики, которая, на самомъ дѣлѣ, была очень склонна увлекаться подвигами «екатерининскихъ орловъ» и считать военный успѣхъ—верхомъ государственнаго величія.

Свобода печати была также предметомъ симпатій «Сѣвернаго Вѣстника».

Въ № 8-мъ 1804 г. напечатано, съ одобрительною замѣткою, «Мнѣніе короля шведскаго Густава III-го». Король говорилъ: «Чтобы не попасть опять въ прежнія, ужасныя времена, должно, чтобъ подкрѣпляемая и покровительствуемая свобода книгопечатанія употреблена была для показанія всему обществу истиннаго его блага и для открытія государю мнѣнія народа. Еслибы таковая свобода позволена была въ предъидущихъ вѣкахъ, чтобъ дать познать государю истинныя его пользы, находящіяся въ благосостояніи его подданныхъ, то король Карлъ XI вѣроятно не издалъ бы повелѣній насчетъ всеобщаго благосостоянія. Сіи указы привели въ омерзѣніе королевскую власть и приготовили слѣды къ тому раздору, который похитилъ у королевства

области въ царствованіе Карла XII-го,—къ раздору, коего горькими плодами были всѣ недавно прекращенные безпорядки. Еслибы свобода книгопечатанія могла научить Карла XII, въ чемъ состояла его истинная слава, то сей великодушный государь предпочелъ бы управлять счастливымъ народомъ и не пожелалъ бы царствовать въ пространномъ, но безлюдномъ государствѣ. Въ Англіи свобода книгопечатанія запрещена была, когда Карлъ I былъ обезглавленъ, и когда укрывающійся Яковъ II оставилъ престолъ предковъ своему любочестивому зятю. Сей народъ законно пользовался такимъ правомъ при концѣ царствованія Вильгельма III, или въ началѣ царствованія ганноверскаго дома, который владѣетъ теперь англійскимъ престоломъ съ болѣею славою и безопасностью, нежели всѣ предшествовавшіе ему. Хотя Вильгельмъ и произвелъ нѣкоторые мятежныя движенія, но ихъ должно приписать болѣе неблагоразумному вниманію, оказанному правительствомъ его твореніямъ, нежели происшедшему отъ нихъ минутному чувствованію, которое оставило впечатлѣніе непродолжительнѣе того, которое оставляютъ и другія сего рода сочиненія... Знаніе всего производства дѣлъ въ присутственныхъ мѣстахъ, всѣхъ приговоровъ и того, что относится вообще къ судьямъ, должно быть неотъемлемо позволено публикѣ.

Эту рѣчь шведскаго короля, произнесенную въ засѣданіи сената (18 апрѣля 1774 г.), переводчикъ называетъ «достопримѣчательною» (*). Насчетъ печатанія судебныхъ рѣшеній

*) Большая часть переводовъ и важнѣйшія изъ оригинальныхъ.

переводчикъ говоритъ въ выносѣхъ, что и у насъ положено тому начало указомъ 8 сентября 1802 г., повелѣвшимъ, чтобы въ вѣдомостяхъ кратко объявлялись рѣшенныя въ Сенатѣ дѣла. Но онъ находитъ это недостаточнымъ и предлагаетъ печатать всѣ судебныя приговоры; а такъ какъ для этого не нашлось бы мѣста въ вѣдомостяхъ, то переводчикъ проектируетъ особое изданіе подъ именемъ: «Памятникъ русскаго правосудія».

«Судья—говоритъ онъ,—подписывающій рѣшеніе судьбы равнаго, а часто высшаго его степению согражданина, подвергнувшагося суду, съ трепетомъ и съ чистою совѣстью принимался бы за перо, зная, что дѣло его, вмѣсто того, чтобы быть въ забвеніи въ архивѣ, извѣстно будетъ свѣту и потомству».

Къ Великобританіи и ея государственному устройству «Сѣверный Вѣстникъ» чувствовалъ гораздо больше уваженія, чѣмъ «Вѣстникъ Европы». Онъ даже напечаталъ проектъ преобразованія (присланный въ редакцію постороннимъ лицомъ), по которому на русскую почву могли быть пересажены англійскія общественныя учрежденія. «Никакой народъ—говоритъ авторъ проекта—въ наше время не заслуживаетъ большаго вниманія, какъ народъ великобританскій. Въ составъ правленія его введены всѣ благотворныя слѣдствія замѣчаній тысячи вѣковъ: введено положительное знаніе о человѣкѣ. Великобританія есть монархія, но не видимъ мы въ ней вредныхъ неудобствъ статей въ журналѣ принадлежатъ, вѣроятно, самому Мартынову: въ то время, въ редакціяхъ было мало постоянныхъ сотрудниковъ, и редакторъ (онъ же, обыкновенно, издатель) былъ заваленъ работою, часто не по силамъ. На эту тяжесть журнальнаго труда печатно указывалъ Карамзинъ.

власти цесарей; Великобританія есть аристократія, но не видимъ мы въ ней угнетательной гордости патриціевъ; Великобританія есть въ тоже время и демократія, но не потрясается она буйствомъ наибольшаго отдѣленія народа». Патріотизмъ возвысилъ, по мнѣнію автора, эту страну на высокую степень развитія — патріотизмъ, который проистекаетъ изъ любви къ свободнымъ учреждениямъ, гарантирующимъ человѣку его естественныя права.

«Британецъ привязанъ къ государю своему, потому что онъ участвуетъ съ нимъ въ постановленіи законовъ... Британецъ любитъ своихъ перовъ, или преимущественныхъ главъ дворянскихъ семействъ, потому что они раздѣляютъ съ нимъ трудъ въ народныхъ постановленіяхъ, потому что существуетъ одинъ законъ для всѣхъ состояній, и потому что перъ благороднымъ своимъ имуществомъ отлично роскошествуетъ въ ободреніи ремесла и, слѣдовательно, питаетъ многихъ полезныхъ согражданъ». Но если патріотизмъ такъ силенъ и плодотворенъ въ Англіи, то отчего же не приноситъ ему подобной же пользы и въ Россіи?

Для этого авторъ проекта даетъ совѣтъ: «Чтобъ какое либо государство могло возвести себя на нѣкоторую степень сравненія съ Великобританіей, — правленію надлежитъ принимать не робкія, но дальновидныя и великодушныя мѣры; преимущественно дворянское отдѣленіе народа да содѣлается имущимъ и чрезъ то значащимъ и могущимъ заслуживать уваженіе всѣхъ прочихъ состояній. Для сего правленіе должно положить преграды пагубному размноженію дворянства... Постановивъ дворянское до-

стоинство наградою за самую отличную или весьма долго-временную службу отечеству, положится нѣкоторая преграда размноженію дворянства; я сказалъ бы, что необходимо нужно и далѣе положить преграды размноженію дворянъ даже въ самыхъ семействахъ ихъ (подразумѣвается маіоратъ), ежели бы не видѣлъ чрезвычайныхъ, для приведенія сего вдругъ въ дѣйство, трудностей. Между симъ постановленіемъ и первымъ требуется нѣкоторое пространство времени. Черезъ таковое учрежденіе государство увеличитъ свое среднее состояніе людей, усиленно клонящееся къ принятію какого нибудь постоянного ремесла... Дѣти всякаго чиновника, не имѣя права напыщаться дворянскимъ сословіемъ, не нашли бы другого средства отличить себя отъ простолюдиновъ, какъ чрезъ науки, изящныя искусства и художества... Дворянство само, чрезъ большую исключительность правъ своихъ, начало бы уважать свое состояніе и пещись рачительнѣе о собственности семействъ своихъ. Слѣдовательно невѣжливая (sic) роскошь уменьшилась бы: благородныя имущества остепенились бы» и пр. и пр. И такъ первая мѣра должна коснуться дворянства, постепенно вводя его въ рамки англійской аристократіи. Далѣе, авторъ прозкта требуетъ законовъ, равныхъ для всѣхъ сословій... Объ уничтоженіи крѣпостнаго права говорится намекомъ: «рогатый скотъ, овцы, лошади и прочіе (курсивъ въ подлинникѣ), находясь въ чьемъ либо исключительномъ владѣніи, препятствуютъ свободному употребленію и развитію произведеній». Чтобы уничтожить эти препятствія къ развитію народнаго богатства, но вмѣстѣ съ тѣмъ не нарушить привилегій, «злоупотребленіемъ постановленныхъ,

временемъ утвержденныхъ», авторъ предлагаетъ вознаграждать за потерю ихъ казенными землями, которыя остаются необработанными и не приносятъ никому пользы.

«Пусть правленіе—говоритъ онъ—по справедливости соблюдая сокровища государственныя, щедро раздаетъ тѣ безполезныя ему земли въ промѣнъ за вышеупомянутые предметы (выше упоминаются привилегированные торги, заводы и крѣпостные люди), которые оно, приобрѣвъ, по свойству каждаго изъ нихъ, или присвоить въ особенности себѣ (здѣсь разумѣются крестьяне), или снабдить оными прилежныхъ, но скудныхъ землевладѣльцевъ». (См. Сѣв. Вѣстн. 1805 г. № 2 и 3).

Во всемъ этомъ проектъ ярко выразилось то самое либеральное направленіе съ англomanскимъ оттѣнкомъ, котораго держался Новосильцевъ и другіе приближенные молодого императора; можно думать даже, что проектъ и былъ написанъ кѣмъ нибудь изъ вліятельныхъ лицъ. На это указываетъ, между прочимъ, поползновеніе къ аристократизму, желаніе учредить на Руси нѣчто въ родѣ англійскаго пэрства, которому приписывалась волшебная сила—создавать разомъ политическую свободу въ странѣ. Стоитъ только завести пэровъ—и «дворянскія имущества остепенятся», среднее сословіе устремится къ наукѣ, патриотизмъ разовьется въ Россіи; словомъ, господняя весъ слетитъ на землю. Несмотря на свою явную несостоятельность и противорѣчіе основному духу русской исторіи, подобная попытка пересадить къ намъ типическую форму англійскаго быта гнѣздилась долго въ извѣстныхъ кружкахъ и до сихъ поръ составляетъ предметъ тайныхъ воздыханій нѣкоторыхъ нашихъ крѣпостниковъ.

Но въ оны дни это англоманство вязалось еще со многими хорошими стремленіями и не противорѣчило въ такой степени, какъ нынѣ, общественному развитію.

Впрочемъ, не всѣ литературные дѣятели—какъ мы увидимъ ниже—раздѣляли эту мысль о совершенномъ изолированіи дворянства, о вознесеніи его надъ всѣми остальными классами народа.

По части литературной критики, «Сѣверный Вѣстникъ» ввелъ окончательно въ моду ссылки на Франсуа-Лагарпа, съ которымъ русская публика познакомилась, кажется, впервые изъ «Вѣстника Европы» (См. Вѣстн. Евр. 1803 г. № 3 и 6). Въ то время, къ сожалѣнію, не привилась въ Россіи другая, стройно-созданная критическая система—Лессинга,—и Мартыновъ, какъ въ своемъ журналѣ, такъ и въ профессорскихъ лекціяхъ въ педагогическомъ институтѣ, руководствовался правилами тщедушной эстетики, возросшей во французскомъ псевдо-классицизмѣ. Впрочемъ въ его рукахъ псевдоклассическая теорія не сдѣлалась еще орудіемъ литературнаго застоя: не каждую мысль Лагарпа *) бралъ онъ съ безусловною вѣрою, а въ своемъ «Лицеѣ» даже прямо напалъ на него за безцеремонное обращеніе съ литературой XVIII-го столѣтія. «Смерть—сказано въ этомъ журналѣ—воспрепятствовала Лагарпу обругать Вольтера, Ж. Ж. Руссо и Кондорсе, а любопытно было бы видѣть, какъ бы онъ сталъ управ-

*) Этого Лагарпа (1754—1803), драматическаго писателя и представителя ложно—классической теоріи, не слѣдуетъ смѣшивать съ Фредерикомъ—Сезаромъ Лагарпомъ (1754—1838), воспитателемъ имп. Александръ Памовича.

ляться на поединки съ сими тремя колоссами. Въ томъ, что время дозволило ему докончить, онъ весьма часто говоритъ объ нихъ; это рядъ ошибокъ передъ большимъ сраженіемъ. По легкимъ войскамъ, впередъ имъ высланнымъ, можно заключить, каковъ бы былъ главный корпусъ: одни кривыя толкованія, недоразумѣнія и оскорбленія». Возраженія противъ Гельвеція слѣдовало писать, по мнѣнію «Лицея», другимъ слогомъ, т. е. съ большимъ уваженіемъ къ философской мысли; насчетъ же приемовъ Лагарпа въ восхваленіи Кондильяка рецензентъ выражается такъ: «метода Лагарпа состоитъ въ томъ, чтобы пользоваться Локкомъ для удержанія Кондильяка всякій разъ, когда онъ пойдетъ далѣе его, и Кондильякомъ для удержанія философовъ, его учениковъ и продолжателей его открытій, какъ скоро они, хотя на шагъ, пойдутъ далѣе своего учителя. Сомнительно, чтобы сія система была очень благопріятна для успѣховъ ума человѣческаго». Намъ извѣстно также, что и позднѣе, при болѣе живомъ направленіи русской поэзіи, Мартыновъ не становился ему поперекъ дороги и сочувствовалъ дѣятельности Пушкина. При этомъ онъ говорилъ, что не принадлежитъ къ тѣмъ «сухимъ педантамъ», которые «въ смѣлыхъ порывахъ зрятъ дерзкое стремленье», и которымъ «новый блескъ» омрачаетъ глаза. Это не то, что Каченовскій, нападавшій до изступленія на пушкинскаго «Руслана» за его литературный либерализмъ.—Въ программѣ «Лицея» 1806 г. мы видимъ новый отдѣлъ—политику, которая ограничивалась впрочемъ краткимъ перечнемъ текущихъ событій.

IX.

«Періодическое изданіе Общества любителей словесности».—Теорія общественного воспитанія, изложенная въ немъ.—Политическія статьи въ «Геніи времени».—Переписка въ отзывахъ русской прессы о Наполеонѣ.—«С.-Петербургскій Вѣстникъ».—Толки объ освобожденіи крестьянъ въ правительственныхъ сферахъ и въ печати.—Осужденіе трансцендентальной философіи.—Вовниственнй отголосокъ 1812 года.—

Англоманская попытка обособить дворянство въ средѣ другихъ сословій, снабдивъ его новыми привилегіями, представляла только извѣстную струю, но не господствующее направленіе въ русской журналистикѣ. Одновременно съ нею мы встрѣчаемъ другое, болѣе рациональное стремленіе — объединить, путемъ воспитанія, интересы различныхъ классовъ народа, уничтожить вредный эгоизмъ, семейный или сословный, идущій въ разрѣзъ съ требованіями общенародной пользы. Въ такомъ духѣ написана статья В. Понугаева, занимающая видное мѣсто въ «Періодическомъ изданіи общества любителей словесности» на 1804 годѣ. Статья состоитъ изъ пяти главъ, подъ особыми названіями, въ которыхъ говорится о политическомъ развитіи вообще, о необходимости политическаго воспитанія и объ «ученыхъ предметахъ», могущихъ служить къ развитію общественного духа въ воспитанникахъ. Авторъ, прежде всего, отстаиваетъ общественное воспитаніе въ противоположность семейному. «Правда—говоритъ онъ—общественное воспитаніе, въ дѣтствѣ, сколько вѣдряетъ въ сердце наше изящныхъ добро-

дѣтелей, сколько способствуетъ къ развитію силъ душевныхъ и тѣлесныхъ, столько часто,—если пренебрежень будетъ строгій присмотръ за нравами,—даетъ сильно распространяться порокамъ, кои, подобно пламени, находящему богатую пищу между дѣтами юными и пылкими, вдругъ пожираютъ множество поколѣній и распространяютъ оное еще на многія. Сія точка есть одна изъ важнѣйшихъ, гдѣ око законодателя и его исполнителей должно быть наиболѣе предвидящее. Добрые нравы въ гражданахъ необходимѣе самого просвѣщенія, но безъ просвѣщенія добрые нравы рѣдки; по крайней мѣрѣ, оны не имѣютъ полезнаго направленія. Многіе утверждаютъ, что семейственное воспитаніе сохраняетъ чистоту нравовъ и непорочность юныхъ сердець: — нѣтъ ничего истиннѣе, но токмо тогда, когда дѣти имѣютъ добродѣтельныхъ, просвѣщенныхъ родителей, а сіе столь рѣдко, что когда дѣло идетъ о цѣлости народа (т. е. о цѣломъ народѣ)—въ основное положеніе не прие́млется. Но положимъ, еслибъ сему было и противное, то самны семейственныя предубѣжденія достаточны исказить самую благоразумную нравственность. Даже и тогда, когда бы просвѣщеніе было удѣломъ цѣлости народовъ, семейственное воспитаніе можетъ научить токмо людей быть добрыми отцами, супругами, родственниками, но никогда совершенными гражданами. Эгоизмъ, удѣлъ всѣхъ людей, и, можетъ, не токмо необходимый, но и полезный въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, будетъ ихъ всегда отдалять отъ чувства общности. Ибо люди, воспитанные въ семействахъ, почитаютъ себя обществу ничѣмъ не одолжен-

ными; привычка къ выгодамъ общественнымъ дѣлаетъ имъ непримѣтнымъ благо, неощущенной связью гражданскихъ выгодъ на нихъ изливаемое; они видятъ во всемъ одни условія *) и нимало не думаютъ: сколько вѣковъ и сколь напряженія геніевъ стоило природѣ, дабы образовать связь благотѣльную сообщества и потому, какимъ пожертвованіемъ сіе каждого обязываетъ къ пользѣ онаго. Одно общественное воспитаніе, одно такое воспитаніе, направленное къ моральной цѣли, даетъ гражданину чувствовать, съ самаго его младенчества, что государственное общество нечется о его благѣ, что оно ему не менѣе благотѣлствуетъ, но еще болѣе, какъ самые родители, ибо первые показываютъ ему токмо выгоды семейственныя, кои сами оснуются на выгодахъ общественныхъ,—въ то время, когда такое воспитаніе показываетъ ему все назначеніе, конимъ онъ обязанъ къ согражданамъ за тѣ блага, кои соединеніе ихъ (т. е. гражданъ) на него изливаетъ. Это общественное воспитаніе, кромѣ элемента моральнаго, требуетъ еще направленія политическаго, которое состоитъ въ томъ, чтобы объяснить каждому воспитаннику причину его обязанностей къ обществу, указать благо, соединенное съ исполненіемъ этихъ обязанностей, и научить средствамъ служить обществу съ наибольшою выгодною для гражданъ и себя самого. Такое направленіе можетъ существовать, по понятію автора, только въ томъ случаѣ, когда государство возьметъ на себя обязанность просвѣтити весь народъ, безъ различія, въ духѣ одинаковыхъ правилъ общежитія. Про-

*) Т. е. условія, уже данныя временемъ, въ которое они живутъ.

тивъ односторонности воспитанія, приноровленнаго исключительно къ потребностямъ высшаго класса, авторъ возстаетъ очень сильно и призываетъ себя на помощь наказъ Екатерины II. «Сіе влечетъ за собою—говорится во второй главѣ статьи—предубѣжденіе знатности, гордость породы и презрѣніе къ низшимъ классамъ. Оныя образуютъ духъ дворянства и сѣютъ въ гражданскихъ классахъ взаимную, такъ сказать, антипатію. Во Франціи, въ старомъ правленіи, презрѣніе дворянства къ простолюдинамъ возросло до удивительной степени; дворянинъ почиталъ за самый великій стыдъ не токмо входить въ какія либо связи съ простымъ гражданиномъ, но даже быть въ одномъ мѣстѣ; въ Германіи, во время Іосифа II, дворянство требовало имѣть даже особыя гульбища отъ народа. Въ Англіи одинъ знаменитый писатель находилъ, что безсмертный авторскій талантъ и его творенія были предосудительны его знатности. Великая Екатерина, вмѣстѣ съ Петромъ Великимъ, столько содѣйствовавшая къ утвержденію въ Россіи смѣшаннаго монархическаго правленія, мудро предвидѣла и долженствующее необходимо укорениться въ ономъ раздѣленіе состоянія гражданъ, на основаніи безсмертнаго Монтескье необходимаго; предвидѣла и предубѣжденія, вполнѣдствіи содѣйствовавшія къ разрушенію сильной монархіи Бурбоновъ и предупредила то: безсмертный законъ,—лишающій дворянина всѣхъ правъ на почтеніе и даже голоса въ дворянскомъ обществѣ, если онъ не заслужилъ дворянское состояніе въ государственной гражданской или военной службѣ,—направилъ умы дворянства

не къ чести породы, но къ службѣ отечеству; а какъ сей путь не загражденъ ни которому состоянію, то дворянство, научась уважать службу, научилось уважать вмѣстѣ и достоинства во всѣхъ состояніяхъ. Нынѣ уже не спрашиваютъ, въ обществахъ нашихъ, дворянинъ ли онъ, простираются ли его предки до праотца Ноя и проч., но спрашиваютъ, какимъ достоинствомъ уважило отечество его заслуги. Одни провинціалы наши, въ своихъ степныхъ изгородахъ, гордятся своимъ дворянствомъ передъ крестьянами. Всѣ образованные, достойные дворяне стыдятся это одно поставить себѣ въ достоинство. Слава Екатеринѣ, безсмертіе ея имени... (Тутъ въ подлинникѣ стоятъ въ нѣсколько рядовъ точки, означающія, вѣроятно, руку цензора). Итакъ, когда столь счастливое вліяніе геній Екатерины имѣлъ на наши нравы мудрыми своими уставами, монархи, ея наследники, сохранять ея законы и особенно тотъ, о коемъ говорится, какъ святыню. Но гдѣ средства храненію?—Въ общественномъ воспитаніи. Правда, невозможно всѣхъ воспитать въ такой обширной имперіи въ единомъ обществѣ и особенно содержать; ибо положимъ, что просвѣщеніе дворянства, нынѣ столь распространившееся, попуститъ, чтобъ благородное юношество обучалось вмѣстѣ съ мѣщанскимъ, но богачъ никогда не согласится, чтобъ сынъ его довольствовался тою же умѣренной пищею, которою довольствуется сынъ обыкновеннаго гражданина, а государство для всѣхъ иногда дать не можетъ; но есть преубѣжденія въ народахъ и классахъ оныхъ, которыя законодателямъ уважать должно, особенно тогда, когда они

такого рода, что нарушение оныхъ можетъ имѣть худыя слѣдствія, а оставленіе не влечетъ за собою примѣтнаго вреда. Сіе послѣднее есть одно изъ подобныхъ. Слѣдственно, не коснувшись онаго, верховная власть мудро сдѣлаетъ, если, учинивъ просвѣщеніе необходимымъ, заставитъ всѣхъ гражданъ жить, какъ имъ угодно, но просвѣщаться въ однихъ, правленіемъ признанныхъ и утвержденныхъ, мѣстахъ».

Авторъ считаетъ необходимой строгую постепенность въ учебныхъ курсахъ казенныхъ училищъ—высшихъ и низшихъ—но эта постепенность опредѣляется у него не сословными соображеніями, а степенью развитія и потребностями самихъ воспитанниковъ; онъ очень заботится о томъ, чтобы «умы чрезвычайные», которые могутъ встрѣтиться во всякомъ сословіи, на всякой ступени общественной лѣстницы, имѣли свободный доступъ къ высокимъ гражданскимъ должностямъ. «Несчастіе—воскликаетъ онъ—если государство, отечество сихъ гениевъ, стоитъ на такой ногѣ, что кругъ ихъ дѣйствій (на пользу общества) опредѣленъ состояніями, и гдѣ чрезвычайный умъ, со всѣмъ своимъ напряженіемъ, дѣлаетъ тщетныя усилія, дабы взойти на мѣсто, ему самою природою предназначенное; тогда самый порывъ сей, самый чрезвычайный умъ сей совращается съ пути, ему назначеннаго, и внушаетъ ему желаніе опроверженія того, что препятствуетъ ему въ ходѣ. Если оный таковъ, что силы его достаточны и обстоятельства благоуспѣшны, то онъ побѣждаетъ препоны и преобразуетъ погрѣшности. Но если противное, то тщетныя покушенія возбуждаютъ мятежъ и беспокойства въ государствѣ, и служатъ къ гибели или перваго, или послѣдняго». На этомъ

основаніи, чтобы не закрывать ни для кого дороги къ государственной дѣятельности, авторъ считаетъ нужнымъ ввести во всѣ училища преподаваніе исторіи и законовѣдѣнія. «Надлежитъ—по его мнѣнію—чтобы курсъ законовъ, къ степени училища и нуждѣ обучающихся приноровленный, былъ важнѣйшимъ предметомъ, поелику каждому гражданину необходимо знать свои права въ гражданскомъ кругу. Тамъ, гдѣ сіе покрыто неизвѣстностью, гражданинъ не можетъ наслаждаться гражданскою свободою и спокойствіемъ, не зная: гдѣ, когда и какъ надлежитъ ему дѣйствовать. Онъ живетъ всегда между страхомъ и надеждою, и потому состояніе его есть состояніе мучительное; онъ всегда трепещетъ, когда дѣйствуетъ, не зная, сообразны ли дѣйствія его съ волею законовъ. Самое имя законовъ, которое во всякомъ благоустроенномъ обществѣ должно быть произносимо гражданами съ сердечнымъ умиленіемъ и гордостью, дѣлается ему ужасно и произносится имъ съ внутреннимъ содроганіемъ, будучи для него покрыто таинственною завѣсою неизвѣстности. Самыя мѣста правительства, коимъ поручается храненіе законовъ, дѣлаются для него мѣстомъ, въ которое онъ вступаетъ всегда неохотно и робкимъ шагомъ, ибо ему представляется мысль, что, можетъ быть, въ невѣдѣніи онъ преступилъ законы, за кои въ оныхъ готовится ему наказаніе. Тогда граждане въ правленіи не видятъ болѣе благодѣательства, но строгаго судью, котораго мечъ всегда обнаженъ и разитъ прибѣгнувшихъ къ его справедливости неожиданно и прежде, нежели ему извѣстна причина. Въ такомъ гражданскомъ кругу, между такими гражданами, судья, если къ несчастію сіе мѣсто занято будетъ злодѣемъ, легко

можетъ свирѣпствовать и угнетать согражданъ, легко можетъ содѣлать самое правосудіе продажнымъ, и въ то время— гдѣ искать гражданскаго благосостоянія и безопасности? Въ благоустроенномъ правленіи надлежитъ, чтобъ законы всѣмъ извѣстны были, чтобъ всякій гражданинъ, впадая въ преступленіе, зналъ, противу какого закона онъ преступилъ, прежде нежели то возвѣстится ему судьей; чтобъ дѣло судьи было ему доказать, что онъ преступилъ законъ, уже ему извѣстный, и чтобъ самая сентенція виновному гражданину была извѣстна прежде, нежели онъ услышитъ гласъ исполнителя законовъ, его осуждающаго».

Преподаваніе исторіи должно быть ведено наиболѣе развивающимъ способомъ, и историческіе факты должны быть сгруппированы такъ, чтобы по нимъ можно было прослѣдить постепенное созрѣваніе общественной мысли и измѣненіе къ лучшему политическихъ формъ. «Исторія—такъ развиваетъ авторъ свою мысль—написанная въ философическомъ духѣ и не какъ лѣтописи, кои показываютъ только рядъ происшествій и поколѣній, но предлагающая не токмо чрезвычайные случаи и измѣненія народовъ, но вмѣстѣ причины всѣхъ, примѣчанія заслуживающихъ, происшествій и побужденія, заставляющія стремиться необыкновенныхъ мужей къ цѣли ихъ дѣйствій—есть истинно наука, долженствующая въ общественномъ воспитаніи, во всѣхъ онаго отдѣленіяхъ, быть необходимою: не для того, чтобы она дѣйствительно была необходима всѣмъ гражданамъ. Нѣтъ! если брать вообще, то она полезна для гражданъ единою нравственностью, кою всегда лучше, съ нарочно извлеченными правилами, преподавать особенно (?). Гражданину, который не назна-

наеть себя служить въ правленіи отечеству, оная ненужна: обыкновенный человекъ всегда входитъ въ кругъ, уже предуготовленный, онъ никогда не думаетъ объ измѣненіи онаго, онъ пользуется только его выгодами, дабы посредствомъ оныхъ обезпечить свое состояніе и доставить то дѣтямъ. Но оная нужна людямъ чрезвычайнымъ, дабы умѣрить беспокойный порывъ ихъ, за предѣлъ возможнаго дѣйствія стремящийся, который часто губить или ихъ самихъ, или народъ, между которыми они родились, дабы показать имъ примѣрами самаго дѣла, что одинъ великій умъ всего совершить не можетъ, что весь родъ человеческій шествуетъ по однимъ законамъ къ извѣстной точкѣ, и что все, что природою отъ него требуется, есть давать общему дѣйствію природы извѣстное, нужное напряженіе. Оная научить его терпѣливости съ Фабіемъ, мудрой дѣятельности и вмѣстѣ покоренію необходимости съ Сократомъ и Катонъ, пожертвованію благу общему съ Деціемъ и проч. Вотъ для кого нужна и даже необходима исторія; но поелику ученію посвящаются лѣта дѣтства—то время, когда самые гении весьма мало отъ обыкновенныхъ людей отличаются, — то требуется необходимо, чтобы сіи пренебрежены не были, содѣлать науку сію общею всѣмъ гражданамъ». Переходя къ вопросу о томъ, какъ слѣдуетъ писать подобные учебники, пригодные для политическаго развитія юношей, авторъ говоритъ, что къ исторіи не относятся пышныя генеалогіи, обычай дворовъ и придворныя сплетни, безпрерывные ряды государственныхъ наслѣдованій и пр. и пр., но исторія должна показать: почему и какимъ образомъ процвѣтали государства, какъ дѣйствовали правительства и

законы на благо общественное, какіе именно законы и какое правительство устроивали благоденствіе людей, какъ распространялось въ государствахъ просвѣщеніе, какое направленіе давало оно народу и само получало подѣ влияніемъ мѣстныхъ условій? «Обыкновенный образъ писать исторію—прибавляетъ онъ—весьма недостаточенъ и для преподаванія въ общественныхъ училищахъ совсѣмъ неспособенъ. Всѣ наши исторіи или писаны весьма обширно, или весьма вратко; въ нихъ много выпущено чертъ сильныхъ, много есть такого, что къ воспитанію нимаю не служить, и, наконецъ, много даже такого, что можетъ дать юношеству или худой примѣръ, или совратить съ истиннаго пути. Исторія требуетъ для начертанія пера великаго, а, можетъ быть, и героя. Надобно непремѣнно, чтобъ историкъ чувствовалъ совершенно всю цѣну великаго дѣла, надобно, чтобъ перо его пылало сердечнымъ жаромъ, когда онъ описываетъ то, что служило къ возвышенію благоденствія народовъ, чтобъ онъ проливалъ слезы, описывая бѣдствія человѣческія. Нѣсколько образцовъ для исторіи видимъ мы, въ концѣ древнихъ народовъ, у Тацита и у нѣкоторыхъ изъ греческихъ писателей. Изъ новѣйшихъ писателей можетъ быть упомянуть едва-ли не одинъ Гиббонъ». Курсъ исторіи долженъ сообразоваться съ тѣмъ родомъ занятій, которому намѣрены посвятить себя ученики, но во всякомъ такомъ курсѣ, по словамъ автора, «не должно быть забыто общее очертаніе всей цѣлости исторіи, ибо легко можетъ случиться, что тотъ, кто назначаетъ себя быть купцомъ, впоследствии дѣлается воиномъ, министромъ, что тотъ, кто назначаетъ себя воиномъ, вступаетъ впоследствии въ состояніе ку-

ща, и для сего воспитаніе должно его ко всему пригото-
вить».

Не смотря на свой запутанный слогъ и нѣсколько стран-
ную аргументацію (какъ напр., «изученіе исторіи полезно
для гражданъ единою нравственностью» и притомъ полезно
только для «умовъ чрезвычайныхъ»), не смотря даже на шат-
кость надеждъ, возложенныхъ на изученіе законодательства
въ томъ видѣ, въ какомъ оно дѣйствовало въ нашей странѣ,
статья эта, по своей основной идеѣ—сдѣлать политическое
развитіе общимъ достоинствомъ всѣхъ классовъ народа, — за-
служиваетъ особеннаго вниманія и выгодно отличается не
только отъ англomanскихъ затѣй русскихъ реформаторовъ,
но даже и отъ книги Пинна, въ которой авторъ удѣляетъ
политическое образованіе одному высшему сословію въ го-
сударствѣ.

Нерасположеніе къ рабству выражается въ «Періодиче-
скомъ изданіи» косвеннымъ образомъ—въ переводномъ очер-
кѣ того же В. Попугаева подъ названіемъ: «Негръ». Здѣсь
авторъ обращается къ торгашамъ-неграмъ съ такимъ увѣща-
ніемъ: «Что дѣлаете вы, продавая собратій вашихъ? увы!
сіе путь къ вашему уничтоженію. Скоро загремятъ оковы во
всемъ отечествѣ вашемъ, въ сей славной обители праотцевъ
вашихъ, въ землѣ независимости... Кто позволилъ вамъ дѣ-
лать невольниками собратій вашихъ? Негръ не можетъ при-
надлежать бѣлому ни по какимъ правамъ. Воля не есть
продажная; цѣна золота всего свѣта не въ силахъ оной за-
платить, и никакой тиранъ ея располагать не долженъ».
Замѣчательно также стихотвореніе А. Измайлова: «Сонетъ
одного Ирокойца» (т. е. ирокеза), въ которомъ, подъ ви-

домъ Канады, представлена, очевидно, другая, болѣе знакомая намъ сторона.

Чтобы усилить намекъ, авторъ (назвавшій себя переводчикомъ съ прокезскаго) придѣлалъ къ своимъ стихамъ пояснительное примѣчаніе: «Можетъ быть, карточная игра «бостонъ» получила свое названіе отъ города сего же имени, который находится въ сѣверной Америкѣ, гдѣ и Канада; такъ мудрено-ли, что она тамъ имѣетъ великое уваженіе, когда и здѣсь безъ нея жить не могутъ».

Почтеніе къ наукѣ, двинутой впередъ трудами Галилея, Ньютона, Лавуазье и др., высказано въ стихотвореніи Востокова: «Къ строителямъ храма познаній», въ которомъ благодушный писатель относился весьма патетически къ успѣхамъ просвѣщенія въ Россіи и воодушевлялъ нашихъ научныхъ дѣятелей, рисуя имъ въ заманчивой картинѣ результаты ихъ добросовѣстныхъ трудовъ:

Вы, вѣихъ дивный умъ, художнически руки

Полезнымъ на землѣ посвящены трудамъ,

Чтобъ оный воздвигать великолѣпный храмъ,

Который начали отцы, достроить внуки.

До половины днесь уже воздвигнуть оный,

Обширенъ и богатъ, и свѣтъ со всѣхъ сторонъ.

И вы взираете веселыми очами

На то, что удалось къ концу вамъ привести;

Основа твердая положена подъ вами,

Вершину зданія осталось лишь извести.

О сколь счастливы тѣ, которы довершенный,

И преукрашенный святиль сей будутъ храмъ!

И мы, живущи днесь, и мы стократъ блаженны,

Что столько удалось столповъ поставить намъ;

Въ два вѣка столько въ немъ переработать камней,

Всему удобную, простую форму дать! и пр.

Политическое направленіе господствовало, какъ мы ска-

сказали, въ тогдашней журналистикѣ и пробивалось во всѣхъ наиболѣе замѣчательныхъ журнальныхъ статьяхъ, хотя бы онѣ помѣщены были подъ рубриками науки, критики или беллетристики. Но многіе журналы занимались, кромѣ того, и текущей политикой. Въ 1807 г. основалась въ Петербургѣ исключительно-политическая частная газета: «Геній времени», выходившая два раза въ недѣлю, сначала подъ редакціей Ф. Шредера и Ив. Делаacroa, а въ 1808 и 1809 г.г. подъ редакціей того же Шредера и Н. Греча, впервые выступившаго на журнальное поприще. Въ этой газетѣ печатались связныя политическія обзорѣнія и сообщались разныя историческія свѣдѣнія о тѣхъ странахъ, которыя выдвигались, по ходу дѣлъ, въ политическомъ отношеніи и, слѣдовательно, могли возбуждать интересъ—какъ прошлымъ, такъ и настоящимъ своимъ государственнымъ устройствомъ. Стоитъ замѣтить первое политическое обзорѣніе въ «Геніи времени», въ которомъ доказывается, что французскій королевскій домъ палъ оттого, что не умѣлъ согласовать своихъ законодательныхъ мѣръ съ духомъ времени, съ требованіями общества. «Вся конституція французскаго королевства — разсуждаетъ авторъ — состояла, наконецъ, изъ такихъ узаконеній, которыя почитались священными и ненарушимыми, но которыя, бывъ изданы для предковъ, угнетали потомство. Человѣколюбивый и благотѣльный король Людовигъ XVI старался сіе зло отвратить, ибо онъ въ самомъ дѣлѣ желалъ блаженства своему народу; но, поддерживая одну сторону, онъ оскорблялъ чрезъ то чувствительнѣйшимъ образомъ другую». Возникаетъ затѣмъ революція, произведенная нѣкоторыми злодѣями; изъ нея рождается власть Наполеона,

который, «поработивъ народъ, сдѣлался самовластнымъ его деспотомъ» и устремилъ силы Франціи на завоеваніе разныхъ государствъ. Успѣху его завоеваній способствовала застарѣлость учреждений, которою страдали сосѣднія державы. «Ни одно министерство оныхъ не было одушевлено дѣятельностью или, такъ сказать, новою жизнью; ни одна изъ сихъ державъ не старалась преобразовать свое правленіе сообразно духу столѣтія... Лава революціи, далѣе и далѣе разливаясь, срѣтала на пути своемъ токмо ветхія стѣны, повсюду сокрушала оныя, но вдругъ достигла она подошвы того истого гранитнаго утеса, на которомъ покоится орелъ Россіи; здѣсь она, огустѣвъ, превратилась въ мертвую окалину. Если кто желаетъ на сіе доказательствъ, тотъ пусть обратитъ взоръ свой на поступки, сдѣланные Наполеономъ. Въ Швейцаріи возмущилъ онъ поселянъ Цюриха возстать противъ гражданъ, ихъ угнетавшихъ, онъ напомнилъ имъ давно уже забытыя распри нѣкоторыхъ кантоновъ; въ Германіи старался онъ возбудить мятежъ въ мелкихъ княжествахъ, обольщая ихъ тѣмъ, что собственная ихъ выгода требуетъ противостать своимъ сосѣдямъ; онъ приказалъ объявить себя мессією жидовъ, дабы повсюду имѣть своихъ лазутчиковъ; онъ возмущилъ въ южной Пруссіи поляковъ, а чтобы въ Берлинѣ возжечь пагубный пламенный междуусобія и представить жителямъ сей столицы правосуднаго и человеколюбиваго ихъ монарха въ ненавистномъ видѣ, онъ составилъ изъ мѣщанъ сего города національную гвардію и чрезъ то внушилъ имъ, что они до сего времени лишены были способъ къ приобрѣтенію военныхъ чиновъ. Такимъ обра-

зомъ, онъ обращаетъ въ свою пользу малые и большіе недостатки государственныхъ постановленій, чтобы разсѣять повсюду сѣмена раздора и возмутить мирныхъ подданныхъ противъ законныхъ своихъ монарховъ. Наконецъ, встрѣченъ онъ былъ такимъ изродомъ, который славится духомъ національнаго единомыслія, который, воодушевляясь твердымъ и геройскимъ мужествомъ, начинаетъ шествовать на вышнюю степень совершенства и, слѣдовательно, не томится еще зломъ, происходящимъ отъ застарѣлости». Высказывая мысль, что законы государствъ должны видоизмѣняться съ развитіемъ политической жизни и не доходить до застарѣлости, — авторъ приближался ко взгляду Гольбаха, уже приведенному нами.

Что касается личности Наполеона и отношенія къ ней русской прессы, то мы замѣтимъ кстати, что тонъ нашихъ печатныхъ отзывовъ о знаменитомъ императорѣ часто измѣнялся, смотря потому, находилась ли Россія въ дружбѣ или во враждѣ съ Франціей. Въ «Вѣстникѣ Европы» 1805 г. (№ 3), въ отдѣлѣ политики, высказывалась мысль, что «власть Наполеона не утверждена на прочномъ основаніи, и низверженіе его многія государства сочли бы однимъ изъ счастливѣйшихъ происшествій». Въ томъ же журналѣ, и въ томъ же году (№ 5), рѣчь французскаго министра внутреннихъ дѣлъ, произнесенная въ законодательномъ корпусѣ, удостоилась въ выноскѣ слѣдующаго примѣчанія: «Рѣчь сія, конечно, никого не введетъ въ заблужденіе: опыты доказали, благоденствуетъ ли государство, управляемое одними солдатами. У кого виситъ

надъ головою обнаженный мечъ, къ волоску привязанный, тотъ не можетъ искренно радоваться.» Въ № 7 «Генія времени» 1807 года напечатана даже цѣлая статья: «Тамерланъ и Бонапарте,» въ которой Тамерланъ, по своему человѣколюбію, ставится выше Наполеона. Похвалы Наполеону считались даже, въ то время, предосудительными въ цензурномъ смыслѣ. Такъ, наприимѣръ, въ началѣ 1807 года, во время войны съ Франціей, запрещена была цензурнымъ комитетомъ книга: «Histoire de Bonaparte», и запрещена именно за то, что «сочинитель ея отъ начала до конца превозноситъ Бонапарте, какъ нѣкое божество, расточаетъ ему самія подлѣя ласкательства, представляетъ его властолюбивыя дѣянія въ самомъ благовидномъ видѣ и вообще обнаруживаетъ себя попеременно то почитателемъ революціи и всѣхъ ея ужасовъ, то подлымъ обожателемъ хищниковъ трона». Кажется, мудрено было энергичнѣе заклеить всякую попытку восхваленія Бонапарта. Тѣмъ не менѣе, вскорѣ по заключеніи тильзитскаго мира, отъ нашей печати потребовалось полнѣйшее уваженіе къ особѣ Наполеона, и журналы, не догадавшіеся своевременно измѣнить сердитый тонъ на другой, прямо противоположный, немедленно получали внушеніе отъ цензурнаго комитета. Въ мартовской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» 1808 г. сказано было: «Впродолженіе прошедшаго похода, Наполеонъ всегда былъ близокъ къ гибели, и чѣмъ далѣе заходилъ, тѣмъ опасность его становилась ужаснѣе, неизбѣжнѣе... Еслибы миролюбивый Александръ не пожертвовалъ невѣрною союзницей благоденствію своей имперіи, то по сихъ поръ Богъ знаетъ, гдѣ бы былъ непобѣдимый Наполеонъ и великая ар-

мія великой націи... Теперъ поднялась завѣса, и всѣ узнали, что прусскимъ кабинетомъ управлялъ Талейранъ, что прусскими силами располагалъ Талейранъ, что онъ нарочно поссорилъ сіе королевство со всѣми державами: съ Австріей, Россіей, Швеціей, Англіей; такъ усыпилъ Фридриха Вильгельма надеждою на миръ, что онъ вступилъ въ сраженіе въ твердомъ увѣреніи, что все кончится дружельюбно. Теперъ извѣстно, что измѣна генераловъ и комендантовъ, — чего, благодаря Бога, въ Россіи еще не случалось и долго не случится, — не менѣе геройскаго мужества и быстроты Наполеона способствовала завоеванію Пруссіи». Этотъ отзывъ вызвалъ со стороны министерства просвѣщенія рѣзкое замѣчаніе: «Таковыя выраженія неприличны и предосудительны настоящему положенію, въ какомъ находится Россія съ Франціей. Почему строжайшимъ образомъ предписать цензурному комитету, дабы воздержался позволять въ періодическихъ и другихъ сочиненіяхъ оскорбительныя разсужденія и проходилъ бы изданія съ наибольшою строгостію по матеріямъ политическимъ, которыхъ близковидѣть немогутъ сочинители, и, увлекаясь одною мечтою своихъ воображеній, пишутъ всякую всячину въ терминахъ неприличныхъ». Всѣмъ учебнымъ округамъ предписано было, чтобы цензура не пропускала «никакихъ артикуловъ, содержащихъ извѣстія и разсужденія политическія».

Журналисты не заставили долго ждать своего исправленія: подъ вліяніемъ «обстоятельствъ, отъ редакцій независящихъ», они мгновенно убѣдились въ величій Наполеона и запѣли ему самыя трогательныя днєирамбы. Въ 1809 г., мы

читаемъ уже въ «Геніи временъ» такой отзывъ о Франціи: «Исполнинскими шагами приближается сіе государство къ неожиданной степени величія и силы. Руководимая благо-разуміемъ великаго мужа, имѣющаго во власти своей судьбу многихъ миллионовъ людей, она перерождается и вводитъ совершенно новый порядокъ вещей» и пр. и пр.— Въ числѣ журналовъ либеральнаго направленія не послѣд-нее мѣсто занимаетъ «С.-Петербургскій Вѣстникъ», издан-ный на 1812 г. Обществомъ любителей словесности. Жур-наль этотъ состоялъ изъ трехъ отдѣловъ: 1) словесность, 2) наука и искусство и 3) критика. Литературный отдѣлъ не отличается въ немъ нисколько преднамѣренною группи-ровкой статей, но въ отдѣлахъ науки и критики замѣтенъ однообразный подборъ предметовъ и мнѣній. За текущей политикой «Санктпетербургскій Вѣстникъ» не слѣдилъ во-все, но въ статьяхъ историческихъ, которыхъ было доволь-но много, онъ высказывалъ стремленіе къ свободѣ и къ расширенію народныхъ правъ. Въ № 4 этого журнала по-мѣщенъ отрывокъ изъ «Историческихъ уроковъ Кондильяка герцогу пармскому», въ которыхъ проводится взглядъ на исторію, какъ на хранилищу полезныхъ уроковъ, какъ на политическій кодексъ, откуда мыслящій человѣкъ мо-жетъ почерпнуть для себя мудрыя правила и образцы для подражанія. Замѣчательнъ совѣтъ, данный Кондиль-якомъ своему царственному ученику: «Читайте чаще плутарховы житія великихъ людей. Плутарховы герои бы-ли большею частію простые граждане; но и самыя силь-ные государи тогда только велики предъ судомъ ис-тины и разума, когда они имѣли для себя образцами сихъ

гражданъ. Изберите себѣ и вы кого нибудь изъ нихъ для подражанія». Кондиллакъ совѣтовалъ также правителямъ не стѣснять народной свободы, дабы не вызвать революціи, которая «не должна быть почитаема игрою слѣпца». Въ той же книжкѣ «Спб. Вѣстника» приведена глава изъ книги Лабрюйера (*Les caractères*): «О личномъ достоинствѣ», гдѣ много говорится о правахъ личности, независимо отъ богатства и знатности, которыя часто достаются въ удѣлъ лишь негоднымъ и мелкимъ людямъ. Въ статьѣ о римскомъ краснорѣчїи (№ 6) доказывается, что краснорѣчіе процвѣтаетъ только въ свободныхъ странахъ, и что оно упало въ Римѣ при водворенїи деспотизма. Римляне были сначала—«вмѣстѣ подданные и великіе правители; они повиновались начальникамъ и судили ихъ, или лучше: они были природные судьи правителей и повиновались только законамъ...» Какъ бы въ дополненіе къ этой статьѣ, появилась въ слѣдующей книжкѣ другая — о Юліи Цезарѣ, гдѣ мы находимъ такую мысль: «онъ погибъ и заслужилъ погибель; въ правленїи свободномъ тотъ есть величайшій изъ злодѣевъ, кто покушается даже на остатки свободы». Подобныя мысли объ отношенїяхъ правителей къ народамъ не казались тогдашней цензурѣ особенно рѣзкими или злобными; безъ сомнѣнїя, онѣ не показались бы такими, еслибы стали извѣстны самому императору Александру I. Въ юности своей государь привыкъ слышать отъ Лагарпа весьма строгую оцѣнку своихъ общественныхъ обязанностей. «Весьма было бы желательно для Рима» — писалъ великій князь въ одной учебной тетради, подъ диктовку своего учителя, — «чтобы Помпей отличался столько же гражданскими добле-

стями, сколько въ качествѣ великаго полководца и правителя. Объяснимъ подробнѣе нами сказанное. Хорошій гражданинъ уважаетъ законы и управленіе своей страны... чѣмъ болѣе онъ преисполняется чувствами обязанностей, связывающихъ его съ родною страной, тѣмъ болѣе онъ достоинъ уваженія. Простительно дикому, неимѣющему никакой пищи, кромѣ гнилой рыбы, выброшенной волнами на ужасные берега, имѣ обитаемые, равнодушіе къ своей родинѣ и къ своимъ соплеменникамъ; но тотъ, кто имѣлъ счастье родиться въ средѣ образованнаго народа, чье дѣтство сопровождалось заботами его близкихъ, у кого подъ рукою были всѣ средства образовать умъ, усовершенствовать разсудокъ, тотъ, кого судьба покровительствуетъ законами и гражданскими учрежденіями, тотъ, кто осыпанъ дарами фортуны, не будетъ ли неблагодарнѣйшимъ изъ людей, если не возлюбитъ страны, давшей ему всѣ эти блага? Но недовольно того, чтобы любить свою страну; недовольно того, чтобы предпочитать ее всякой другой: необходимо дать тому доказательства. Хорошій гражданинъ не щадитъ ни своего времени, ни своихъ трудовъ, чтобы сдѣлаться полезнымъ сыномъ отечеству. То самое чувство, повинувшись которому великодушный человѣкъ жертвуетъ всѣмъ для спасенія уважаемой, любимой имъ особы, то самое чувство побуждаетъ патріота жертвовать охотно имуществомъ, жизнью и даже самолюбіемъ, какъ только идетъ дѣло о спасеніи его родины, либо о благѣ человѣчества. Какъ цѣлью всякаго добраго гражданина должно быть благоденствіе общества, къ которому онъ принадлежитъ, то люди себялюбив-

вые, малодушные, либо увлекаемые тщеславіемъ за предѣлы
благоразумія, никогда не могутъ ее достигнуть. Себялюб-
цемъ называютъ того, кто любитъ одного себя, кто счита-
етъ всѣхъ прочихъ людей созданными для него одного, кто
смотреть равнодушно на счастье и несчастье другихъ лю-
дей. Желательно было бы для образумленія себялюбцевъ,
чтобы общество лишило ихъ своего покровительства; тогда
они вполнѣ почувствовали бы необходимость трудиться въ
его пользу; тогда выраженіе: отечество, обществен-
ное благо для нихъ уже не были бы пустыми словами.
Малодушіе, не менѣе себялюбія, противно любви къ отече-
ству. Малодушный не можетъ ни на что рѣшиться, ни что
либо привести въ исполненіе. Такой человѣкъ не посмѣетъ,
предпочитая общую пользу своей собственной, рѣшиться на
поступокъ, указываемый ему долгомъ и честью, какъ толь-
ко это угрожаетъ ему гибелью; не онъ осмѣлится сказать
истину своему государю, либо министрамъ его; не онъ под-
вергнетъ опасности свою жизнь, подобно Горацію Коклесу,
въ защиту отечества; не онъ уклонится отъ участія въ без-
законіи и скажетъ кровожадному тирану то, что сказалъ
Папиніанъ Каракаллѣ: «гораздо легче совершить братоубій-
ство, нежели оправдать его». Малодушный пожертвуетъ своей
безопасности всѣмъ: истиною, долгомъ, справедливостью,
честью, отечествомъ и—прежде всего—своимъ государемъ,
какъ только онъ можетъ это сдѣлать безнаказанно. И по-
тому остерегайтесь себялюбцевъ и малодуш-
ныхъ, которые будутъ окружать васъ. Они
вамъ могутъ сказать, что государи имѣютъ
происхожденіе, отличное отъ другихъ людей,

что вы свободны отъ обязанностей, лежащихъ на каждомъ изъ людей въ отношеніи къ чelовѣчеству и къ родинѣ, и если вы поддадитесь такимъ внушеніямъ, то станете избѣгать труда столько же охотно, сколько теперь находите удовольствія въ часы вашего отдыха». Въ другой тетради, куда вносились, подъ диктовку Лагарпа, и переписывались по нѣскольку разъ самимъ великимъ княземъ замѣтки на счетъ его прилежанія и поведенія, попадается такая выразительная страница: «Я лѣнивѣцъ» — писалъ самъ о себѣ великій князь — «преданный безпечности, неспособный думать, говорить, дѣйствовать. Каждый день на меня жалуются; каждый день общаю исправиться и нарушаю данное мною слово. Какъ во мнѣ нѣтъ соревнованія и усердія, ни доброй воли, — то изъ меня едва-ли можно что либо сдѣлать. Я ничтоженъ (*je suis nul*), и еслибъ можно было спуститься ниже нуля, то я послужилъ бы тому примѣромъ. Впрочемъ зачѣмъ же мнѣ трудиться? Зачѣмъ беспокоиться? Зачѣмъ выходить изъ блаженной лѣни, которая мнѣ такъ нравится? Готтентоты проводятъ цѣлые дни, сидя на мѣстѣ; почему же и мнѣ не дѣлать того же, и въ особенности будучи принцемъ? Зачѣмъ мнѣ отличаться отъ множества подобныхъ мнѣ? Я никогда не буду терпѣть недостатка ни въ чемъ; у меня будутъ великолѣпные экипажи, много денегъ и толпа наушниковъ (*flagorneurs*), которые ежеминутно станутъ повторять мнѣ, какъ я достоинъ любви, какъ я выше всѣхъ прочихъ людей. И кто посмѣетъ сомнѣваться въ томъ? Какая мнѣ нужда въ обществѣ мнѣнн? Я сдѣлаю, какъ страусъ, который, какъ говорятъ, спрятавъ свою голову, считаетъ себя совершенно

безопаснымъ отъ преслѣдующаго его охотника» *). Этою безпощадною строгостью въ сужденіи о нравственныхъ качествахъ великаго князя Лагарпъ хотѣлъ внушить ему, что и онъ, не смотря на свое высокое общественное положеніе, долженъ носить въ своей душѣ сознаніе гражданскаго долга и моральной отвѣтственности передъ судомъ современниковъ и потомства. И Александръ цѣнилъ и понималъ заботливость честнаго воспитателя: прекрасныя мысли, усвоенныя имъ смолоду, долго служили для него теоретическимъ критеріемъ государственной дѣятельности, и хотя заглушались нашею практикою, но никогда не пропадали окончательно подъ наплывомъ противоположныхъ вліяній.

О нашихъ внутреннихъ вопросахъ «С.-Петербургскій Вѣстникъ» не говорилъ прямо, но въ 7 № есть большое извлеченіе изъ книги англичанина Вильсона, рекомендованной редакціи А. Н. Оленинымъ: «Краткія замѣчанія о свойствѣхъ и составѣ русской арміи». Въ этой книгѣ авторъ защищаетъ русское правительство отъ обвиненій въ деспотизмѣ и удостовѣряетъ, что оно «далеко отъ того, чтобы налагать новыя цѣпи рабства; но что, напротивъ того, оно всѣми мѣрами старается распространить благоразумную свободу». О русской арміи сказано, что офицеры «обходятся съ солдатами весьма ласково и не такъ, какъ съ машинами, а какъ съ разумными существами», что солдаты «хотя родились въ рабствѣ, но духъ ихъ не униженъ». Самое рабство (т. е. крѣпостное

*) См. Сборникъ русскаго историческаго общества. Т. I, ст. г. Богдановича: «Учебныя книги и тетради в. к. Александра Павловича».

право), по мнѣнію автора, можно было бы и уничтожить, но только съ соблюденіемъ нѣкоторой осторожной постепенности. «Съ чувствами и съ правилами, совсѣмъ противными продавцу невольниковъ,—пишетъ онъ—я утверждаю, что самое большое несчастье, могущее постигнуть Россію (!) было бы внезапное и общее истребленіе крѣпостнаго права; никакое предпріятіе не могло бы возродить равныхъ бѣдствій и столь великаго негодованія. Что бы сдѣлалось съ хворыми и престарѣлыми, еслибъ они вдругъ лишились прокормленія (примѣч. переводчика: прокормленія, которое имъ нынѣ обязаны давать помѣщики)? Что бы сдѣлалось съ дворовымъ, который, не имѣя никакой собственности, нигдѣ въ скоромъ времени не нашелъ бы мѣста для своего промысла? Защитники революціи не утрущаются всѣхъ сихъ затрудненій; но человекъ государственный, добрый гражданинъ, рассматривая оныя, уважить послѣдствія прежде, нежели приметъ всѣ сіи умствованія. Отъ многихъ знатныхъ особъ въ Россіи можно удостовѣриться, сколько людей, отпущенныхъ на волю и пришедшихъ въ старость, просятъ убѣжища у ихъ прежнихъ помѣщиковъ».

Подобныя возраженія противъ окончательной и быстрой развязки крестьянскаго вопроса часто приводились въ то время—и притомъ не только людьми, завѣдомо враждебными всѣмъ либеральнымъ реформамъ, но даже ближайшими со-
вѣтниками государя, которые раздѣляли, повидимому, его образъ мыслей и выражали готовность работать въ указанномъ имъ направленіи. Въ числѣ препятствій къ скорѣйшему освобожденію крестьянъ особенно выставлялись на видъ: во-первыхъ, опасность революціи, которую могутъ

произвести злонамѣренные люди, пользуясь всеобщимъ возбужденіемъ умовъ; во-вторыхъ, неудобство при выкупѣ дворовыхъ людей, которые, по общему мнѣнію, никакъ не могли даромъ получить свои отпускныя свидѣтельства, а въ казнѣ не находилось достаточныхъ средствъ для такой огромной финансовой операціи. Возраженія эти раздавались въ «интимномъ комитетѣ» 1801 г. и добросовѣстно записаны гр. Строгановымъ въ недавно опубликованныхъ протоколахъ. Но въ томъ же комитетѣ, нашлись люди, не желавшіе откладывать дѣла въ долгій ящикъ, и такимъ образомъ, въ нашемъ образованномъ обществѣ, возникла интересная борьба мнѣній, изъ которой только слабые отголоски попадали въ печать. Мы воспользуемся этимъ случаемъ, чтобы познакомить читателей съ главными аргументами обѣихъ сторонъ.

«Съ нѣкотораго времени»—сообщаетъ гр. Строгановъ въ своихъ запискахъ—«многія лица, и въ особенности гг. Лагарпъ и Мордвиновъ, а особенно послѣдній, говорили императору о необходимости сдѣлать что нибудь въ пользу крестьянъ, которые были доведены до самаго плачевнаго состоянія, не имѣя никакого гражданскаго существованія. Все это не могло быть сдѣлано иначе, какъ постепенно, нечувствительно, и первый шагъ, который предлагалъ Мордвиновъ, состоялъ въ томъ, чтобы позволить тѣмъ, которые не были крѣпостными, покупать земли. Императоръ былъ согласенъ съ ними, но онъ желалъ, чтобы эти люди, которые будутъ имѣть право покупать только однѣ земли, могли бы въ тоже время покупать и крестьянъ; и крестьяне, которыми будутъ владѣть не-дворяне, могутъ подчиняться правиламъ, болѣе умѣреннымъ, и не считаться ихъ рабами

(esclaves), какъ у дворянъ:—все это будетъ первымъ шагомъ къ ихъ благоденствію. Такимъ образомъ, императоръ опережалъ (?) г. Мордвинова, позволяя также мѣщанамъ покупать крестьянъ. Вотъ какія замѣчанія сдѣлали мы ему на все это. Прежде всего намъ казалось, что нововведеніе будетъ слишкомъ велико—позволить вдругъ покупать и земли, и крестьянъ; съ другой стороны, крестьяне, купленные мѣщанами съ меньшею властью надъ ними, для новыхъ покупателей представлятъ естественно меньше выгоды, и потому такія продажи будутъ рѣдки, особенно со стороны продавцовъ: послѣдніе не захотятъ никогда продавать по пониженной цѣнѣ, когда у нихъ будетъ надежда продать крестьянъ полноправнымъ лицамъ (т. е. дворянамъ) за лучшую цѣну, а потому вся эта мѣра останется призрачною. Мало этого, масса людей, сдѣлавшихся поземельными собственниками безъ населенія, увеличитъ цѣну на землю и направитъ дѣятельность свою такимъ образомъ, что будетъ стараться извлекать выгоды изъ земли независимо отъ крѣпостныхъ, что будетъ очень хорошо для промышленности и возвыситъ много цѣну на землю. Повидямому, его величество довольно сочувствовалъ этимъ соображеніямъ; заговорили затѣмъ о личной продажѣ и о предстоящей необходимости уничтожить этотъ варварскій обычай. Императоръ обратился къ проекту Зубова по этому предмету и прочелъ его въ цѣлости. Въ этомъ проектѣ Зубовъ отличаетъ дворовыхъ отъ настоящихъ крестьянъ и запрещаетъ продавать крестьянъ безъ земли (дворовыхъ онъ предлагалъ записать въ гильдіи и сдѣлать имъ расчисленіе); онъ предлагалъ, если собственникамъ угодно, чтобы казна выкупила

ихъ (т. е. дворовыхъ), опредѣлять цѣну выкупа и способъ, которому должно слѣдовать при раздачѣ наслѣдства, чтобы не раздѣлять членовъ одной и той же семьи. Казалось, что для выкупа Зубовъ указалъ не слишкомъ достаточныя средства; такія средства потребовали бы со стороны казны огромнаго расхода, котораго она не могла бы сдѣлать безъ большаго стѣсненія для себя. Мѣра приписки въ гильдію показала намъ столь же неудобною и несогласною съ духомъ народа, который вслѣдствіе того получилъ бы слишкомъ ложныя идеи о повинновеніи, которымъ они обязаны своимъ господамъ; подумаютъ, что они ничѣмъ не обязаны, и это повлечетъ за собою, съ одной стороны, весьма опасныя крайности, а въ собственникахъ — слишкомъ большое неудовольствіе для перваго раза. Тѣмъ не менѣе, его величество принялъ начало запрещенія личной продажи и дозволенія мѣщанамъ и казеннымъ крестьянамъ покупать недвижимую собственность. Вообще онъ приказалъ графу Кочубею, на основаніи принциповъ проекта Зубова, за исключеніемъ неудобствъ, представляемыхъ имъ, составить проектъ указа на тѣ два предмета». Слѣдующее засѣданіе комитета было посвящено вопросу о выкупѣ дворовыхъ. Пренія сосредоточивались на одномъ пунктѣ: что дѣлать съ выкупленными дворовыми людьми, если даже дѣло не остановится за деньгами? не увеличатъ ли они толпы бродягъ? На предложеніе выселить ихъ отвѣчали: «такое переселеніе требуетъ слишкомъ большихъ средствъ, а, какъ извѣстно, въ нашей имперіи переселенія совершаются весьма дурно по причинѣ худыхъ чиновниковъ, которымъ вынуждены повѣрять такого рода предпріятія». Выслушавъ эти

замѣчанія, государь выразилъ желаніе, чтобы Новосильцевъ посоветовался съ Лагарпомъ и Мордвиновымъ: слѣдуетъ ли объявить разомъ двѣ эти мѣры—выкупъ крестьянъ и дозволеніе мѣщанамъ приобрѣтать земли—или раздѣлить ихъ приличнымъ промежуткомъ времени? Лагарпъ и Мордвиновъ—оба нашли необходимымъ отдѣлить эти двѣ мѣры и послѣднюю выполнить сейчасъ же, а выкупъ крестьянъ отложить на неопредѣленное время во избѣжаніе неудовольствій дворянства и слишкомъ большихъ надеждъ со стороны крестьянъ. Императоръ согласился на это, но графъ Кочубей, Чарторижскій и Строгановъ были противоположнаго мнѣнія. Первый изъ нихъ доказывалъ, что было бы несправедливо и неблагоразумно дать новыя права свободнымъ людямъ и казеннымъ крестьянамъ, и ничего не сдѣлать въ пользу крѣпостныхъ, которые живутъ бокъ о бокъ съ государственными крестьянами и, видя новыя преимущества сосѣдей, еще болѣе почувствуютъ тягость своего положенія. «Дворяне, говорилъ Кочубей, будутъ также недовольны; убѣдившись, что всѣ отдѣльныя мѣры клонятся къ освобожденію крестьянъ, они будутъ находиться въ постоянномъ опасеніи новыхъ мѣръ, а потому лучше рѣшить этотъ вопросъ однимъ разомъ». Князь Чарторижскій замѣтилъ только, что право помѣщиковъ на крестьянъ такъ ужасно (*si horrible*), что не должно ничего опасаться при нарушеніи его. Горячѣе всѣхъ отстаивалъ свое мнѣніе графъ Павелъ Александровичъ Строгановъ, ревностный почитатель Мирабо, защитникъ конституціонныхъ началъ, назначенный, по учрежденіи министерствъ, товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ. Доводы графа Строга-

нова противъ медленности и нерѣшительности преобразованія распадались на двѣ части: сначала онъ опровергалъ возможность опасныхъ волненій со стороны дворянства, потомъ перешелъ къ крестьянамъ и охарактеризовалъ ихъ отношеній къ правительству:

«Что можетъ причинить опасное волненіе?» спрашивалъ онъ:—или партіи, или недовольныя лица. Какіе у насъ къ тому элементы? Народъ и дворянство. Что такое это дворянство, изъ какихъ элементовъ оно составлено, каковъ его духъ? Дворянство составилось у насъ изъ множества людей, которые сдѣлались дворянами только по службѣ, которые не получили никакого воспитанія... ни право, ни законъ, ничто не можетъ породить въ нихъ идеи о самонадѣйшемъ сопротивленіи; это классъ самый невѣжественный, самый ничтожный и въ своемъ духѣ болѣе всего неподвижный—вотъ приблизительная картина дворянства, населяющаго деревни. Получившіе воспитаніе, нѣсколько болѣе тщательное—во первыхъ, они въ весьма небольшомъ числѣ и по большей части проникнуты духомъ, который ни малѣйше не склоненъ противодѣйствовать ни одной мѣрѣ правительства. Тѣ же изъ дворянъ, которые имѣютъ настоящую идею о справедливости, должны рукоплескать подобной мѣрѣ; прочіе же, хотя они и въ большинствѣ, не подумаютъ ни о чемъ другомъ, какъ только поболтаютъ. Бѣлая часть дворянства, состоящаго на службѣ, настроена въ одну сторону, и къ несчастью настроена такъ, чтобы видѣть въ исполненіи распоряженій прави-

тельства свои личныя выгоды... Вотъ приблизительно картина нашего дворянства: одна часть живетъ по деревнямъ и пребываетъ въ непроницаемомъ невѣжествѣ; а другая—на службѣ и проникнута духомъ вовсе неопаснымъ. Значительныхъ собственниковъ нечего бояться». Устранивъ первое возраженіе насчетъ опасныхъ элементовъ, таящихся будто бы въ русскомъ дворянствѣ, графъ Строгановъ изслѣдуетъ дальше и другую сторону вопроса.

«Эта другая сторона—по его мнѣнію—можетъ быть предположаема въ числѣ девяти милліоновъ людей, размѣщенныхъ въ разныхъ концахъ имперіи. По необходимости они слѣдуютъ различнымъ обычаямъ и проникнуты въ различныхъ мѣстахъ различнымъ духомъ. А потому нельзя сказать, чтобы преобладающій духъ этого класса людей былъ повсюду одинъ и тотъ же. Тѣмъ не менѣе, они повсюду и одинаково чувствуютъ тяжесть своего рабства; повсюду мысль объ отсутствіи собственности давить ихъ способности и производить то, что промышленная дѣятельность этихъ 9 милліоновъ равняется, для народнаго благоденствія, нулю. Различіе одно: — въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ эти люди болѣе мягки, въ другихъ болѣе грубы, менѣе чувствуютъ потребности къ промышленности; въ иныхъ дѣятельность ихъ духа не позволяетъ имъ остановиться, но имъ приходится на каждомъ шагѣ встрѣчать препятствія, и ихъ способности не получаютъ того развитія, къ какому они рождены; они остаются подавленными и тѣмъ болѣе чувствуютъ свое положеніе. Всѣ они обладаютъ здравымъ смысломъ, который поражаетъ тѣхъ, которые

видѣли ихъ вблизи. Они рано исполняются величайшею ненавистью къ классу помѣщиковъ, своихъ притѣснителей; между этими классами господствуетъ ненависть. Народъ всегда склоненъ къ правительству, ибо онъ вѣритъ, что императоръ постоянно стремится къ его защитѣ, такъ что, если является стѣснительная мѣра, ее никогда не приписываютъ императору, но его министрамъ, которые, по словамъ народа, злоупотребляютъ волею государя, потому что они изъ дворянъ и тянутъ въ пользу ихъ личныхъ интересовъ. Еслибы кто вздумалъ сдѣлать малѣйшее покушеніе на преимущества императорской власти, то они первые станутъ за нее, ибо видятъ въ этомъ увеличеніе власти, противной ихъ естественнымъ врагамъ. Во всѣ времена у насъ именно классъ крестьянъ принималъ участіе во всѣхъ волненіяхъ, и никогда дворянство». Изъ послѣдняго факта графъ Строгановъ дѣлалъ правильный выводъ, что если можно бояться чьего нибудь неудовольствія, а затѣмъ возстанія, то, конечно, со стороны крестьянъ, а не дворянъ; что же касается до опасенія, что могутъ найтись предприимчивые люди, которые злоупотребятъ милостіями правительства и будутъ подталкивать народъ, чтобы произвести смуты, то ораторъ сослался на ближайшее время, которое доказало, что нѣтъ возможности вооружить народъ противъ правительства. Рѣчь гр. Строганова заключилась обстоятельнымъ развитіемъ мысли,—прямо противоположной его оппонентамъ (т. е. Новосильцеву, Лагарпу и Мордвинову),—что если во всемъ этомъ вопросѣ есть опасность, то она заключается никакъ не въ освобожденіи крестьянъ, а въ удержаніи крѣпостнаго состоянія. «Таково было мое мнѣ-

ніе»—кончаетъ гр. Строгановъ. «Но тѣмъ не менѣ всѣ господа остались при своемъ и, послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, перешли къ другому предмету: мнѣ показалось, что императоръ уже рѣшился раздѣлить тѣ двѣ мѣры» *). Доводы гр. Строганова, основательно соображенные и горячо высказанные, разбились о боязливость партій, къ которой примыкали даже личности, передовыя во многихъ другихъ отношеніяхъ. Это осторожное мнѣніе тогдашнихъ умѣренныхъ либераловъ выражено мимоходомъ и въ «С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ».

Въ критическомъ отдѣлѣ «С.-Петербургскій Вѣстникъ» отстаивалъ реальный взглядъ на вещи и преслѣдовалъ «трансцендентальнаго богослова» Эккартсгаузена, котораго сочиненія и, главнымъ образомъ, «Ключъ къ тайнствамъ природы» считались, по словамъ рецензента (№ 8), какимъ то оракуломъ просвѣщенія. За этотъ «ключъ», отпирившій двери развѣ только въ сумасшедшій домъ, охотники платили даже по сту рублей. «Истинно жаль— скорбѣть по этому случаю рецензентъ,—что сей писатель, по какому-то непонятному предубѣжденію, уважается многими соотечественниками нашими, не смотря на нелѣпости и даже на вредъ вздорныхъ сочиненій его, которыя, вмѣсто того, чтобы служить къ просвѣщенію читателей, подъ маскою какаго-то таинственнаго откровенія, водятъ только отъ заблужденія къ заблужденію и совращаютъ съ пути истины умъ, нетвердый въ критикѣ». «С.-Петербургскій Вѣстникъ» не одобрялъ вообще умозрительнаго метода въ философіи, хотя бы этотъ

*) Вѣстн. Европы. 1866 г. Т. I; ст. г. Богдановича.

методъ и не приводилъ къ такимъ очевиднымъ недѣлостямъ, какъ болтовня Эккартсгаузена. Разбирая книгу Велланскаго: «Біологическое изслѣдованіе природы», написанное по умозрительной философской системѣ Шеллинга, рецензентъ замѣчаетъ: «Мы посовѣтуемъ нѣкоторымъ молодымъ людямъ, обыкновенно плѣняющимся умозрѣніями, никогда и ни для кого не отвергать правилъ здоровой логики, всегда помнить способъ пріобрѣтенія познаній, чтобы умѣть отличить правильное умозрѣніе отъ пустыхъ мечтаній. Посовѣтуемъ имъ читать и знать исторію наукъ, особливо исторію философіи. Тамъ увидятъ они, что умозрительная философія не въ первый уже разъ является на земномъ шарѣ, что науки и самыя искусства, сколько получили они отъ наукъ, обязаны нынѣшнимъ состояніемъ ихъ способу опыта. Предположенія, пустныя умозрѣнія, вода умъ человѣческій, чрезъ нѣсколько вѣковъ, отъ однихъ заблужденій къ другимъ, не привели его ни къ одной истинѣ. Они, если принесли какую пользу, то развѣ только ту, что умъ человѣческій, предавшись имъ, узналъ, кажется, всѣ пути заблужденія. Это несчастная дань, какъ говоритъ одинъ философъ, которую предки наши невольно платили за драгоценную истину». Но роль умозрительной философіи, несмотря на эти нападки, уже начиналась въ русской литературѣ, и подъ ея знаменемъ пришлось стоять не одному мыслящему человѣку въ Россіи. Вспомнимъ Веневитинова, Станкевича, Бѣлинскаго, которые сѣмъбли примѣнить эту философію къ потребностямъ нашей умственной жизни и извлечь изъ нея всю ту пользу, какую могла принести она, пріучая людей къ систематическому мышленію и къ кри-

тикѣ фактовъ подѣ однимъ опредѣленнымъ угломъ зрѣнія. Самый матеріализмъ, какъ отрицаніе прежнихъ умозрительныхъ приѣмовъ философствованія, занесенъ къ намъ, такъ называемой, лѣвой фракціей гегелевской школы. Гегелевская діалектика обратилась, наконецъ, на себя самоѣ и разрушила величавое зданіе, построенное на воздухѣ....

Въ томъ же журналѣ мы встрѣчаемъ одинъ изъ первыхъ воинственныхъ отголосковъ 1812 г. По поводу высочайшаго манифѣста о повсемѣстномъ вооруженіи противъ французовъ въ «С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ» напечатано было стихотвореніе Милонова «Къ патріотамъ», въ которомъ авторъ восклицаетъ:

Цари въ плѣну, въ дѣлахъ народы!
Часъ рабства, гибели приспѣлъ!
Гдѣ вы, гдѣ вы, сыны свободы?
Иль нѣтъ мечей и острыхъ стрѣлъ?
Воспрянь, геройскіе русскіе силы!
Кого и гдѣ, въ какихъ бояхъ,
Твоя десница не разила?
Днесъ ратуешь въ родныхъ краяхъ *) и пр.

*) С.-Петерб. Вѣстникъ, 1812 г. №№ 4 и 6.

Х.

Противодѣйствіе либеральнымъ идеямъ. — Шниковъ, какъ представитель реакціи подъ видомъ «старого слога» и любви къ отечеству. — Насмѣшки «Демокрита» надъ «философическими системами» новаго времени. — «Русскій Вѣстникъ» и его борьба за старинные русскіе идеалы. — Характеристика С. Глинки. — «Пантеонъ славныхъ російскихъ мужей». — «Смыслъ Отечества» и его усердіе въ преслѣдованіи французскихъ идей. — Насмѣшки надъ Наполеономъ. — Русско-польскій патріотизмъ. —

Мы представили читателямъ, въ подробномъ очеркѣ, характеристику либеральнаго движенія, овладѣвшаго русской прессой въ первую половину александровскаго царствованія. Нетрудно замѣтить, что этотъ либерализмъ былъ весьма легальный и благонамѣренный: ничего похожаго на серьезную, организованную оппозицію не пробивалось въ немъ, и если надежды тогдашнихъ либераловъ превышали иногда мѣру правительственныхъ обѣщаній, то онѣ, во всякомъ случаѣ, были очень скромны и опирались единственно на благія побужденія самого правительства. Ни къ какой другой поддержкѣ не взывали наши либералы, никакихъ опасныхъ и неосуществимыхъ замысловъ не питали они. Уничтоженіе цензуры, освобожденіе крестьянъ со всѣми гарантіями порядка и общественнаго спокойствія, гласный судъ съ печатаніемъ судебныхъ рѣшеній, наконецъ, желаніе регулировать по-европейски отправленія административной власти: — вотъ все, что высказывали и къ чему стремились наши передовые писатели въ сферѣ политической жизни. Большинство же образованныхъ людей довольствовалось и менѣе существенными реформами. Въ

своихъ философскихъ взглядахъ журналисты наши тоже не доходили до крайнихъ предѣловъ логическаго развитія мысли, и, относясь съ уваженіемъ къ французскимъ писателямъ XVIII-го столѣтія, постоянно съуживали и умѣряли ихъ воззрѣнія. Тотъ же «Сѣверный Вѣстникъ», который печаталъ цѣликомъ «*La politique naturelle*», обличалъ по временамъ «заблужденія» Кондорсе, писателя одной школы съ Гольбахомъ, и находилъ непристойнымъ высокоуміе Дельфины,—героини романа г-жи Сталь,—проникнутой матеріалистическими понятіями французской философіи. Въ одномъ изъ номеровъ этого журнала за 1805 г. (№ 4) помѣщено даже стихотвореніе Н. Арцыбашева противъ матеріализма, гдѣ авторъ энергически вопрошаетъ: «ужель: я тварь слѣпago рока? ужели случая я сынъ?» Другіе журналы (какъ это, безъ сомнѣнія, замѣтили наши читатели) еще чаще ограничивали свои воззрѣнія и робко оговаривались даже при самыхъ невинныхъ размышленіяхъ. Но и этотъ сдержанный либерализмъ не нравился нашимъ близорукимъ консерваторамъ, которые, по своему всегдашнему обычаю, не погнушались ни косвенными намеками, ни прямыми доносами на политическую неблагонадежность своихъ литературныхъ противниковъ. Въ числѣ первыхъ лицъ, возставшихъ противъ новаго духа времени, мы находимъ знаменитаго поэта Державина, который, по словамъ барона Корфа, «очевидно увлекался старыми повѣрьями и идеями, ненавидѣлъ новизну и ея вводителѣй, и нерѣдко, со всею суровостью и строптивостью челоуѣка, избалованнаго почестями и славой, совершенно несправедливо клеймилъ тѣхъ, которые имѣли несчастіе затронуть его самолюбіе». (Жизнь гр. Сперанскаго,

т. I, стр. 103). Видя въ каждой новой мысли отраженіе ненавистнаго ему «польскаго и французскаго конституціоннаго духа» (ibid стр. 93), пѣвецъ Фелицы и словесно, и письменно предостерегалъ начальство отъ ужасныхъ послѣдствій либеральнаго направленія. Но начальство долгое время пребывало глухо къ печатнымъ и устнымъ внушеніямъ саво-наго лирика, растерявшаго, въ хвалебныхъ потугахъ, весь свой замѣчательный литературный талантъ. Въ этой же фалангѣ стоялъ и другой вліятельный литераторъ Шишковъ.

Прежде всего, полемика противъ новыхъ нравственныхъ и политическихъ взглядовъ завязалась въ формѣ спора о языкѣ. Что полемика Шишкова имѣла преимущественно этотъ смыслъ и только пряталась подъ личину филологическихъ разсужденій—это видно изъ рѣзкихъ выходокъ, разбросанныхъ въ его отвѣтѣ на критическія статьи «Сѣвернаго Вѣстника» и «Московскаго Меркурія». (См. Прибавленіе къ сочиненію: «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ», 1804 г.) Шишковъ называетъ своихъ враговъ шайкою писателей, составившихъ заговоръ противъ славянскихъ книгъ въ пользу французскихъ, въ которыхъ можно, какъ «въ преисполненномъ опасностью морѣ, чистоту нравовъ преткнуть о камень». Онъ злобно нападаетъ на «развратные нравы, которыми новѣйшіе философы обучили родъ человѣческій, и которыхъ пагубные плоды, послѣ толикаго проліянія крови, и нынѣ еще во Франціи гнѣздятся». По его мнѣнію, «первая искра стихотворческаго огня загорѣлась въ душѣ Ломоносова отъ чтенія псалтыри», и если онъ не утверждаетъ прямо, что бібліотека нравственнаго человѣка должна состоять только изъ псалтыря и четви — минеи, то весьма

близко подходит къ этой мысли. О повѣсти Карамзина: «Наташа, боярская дочь» Шишковъ говоритъ, что онъ «вырвалъ бы ее изъ рукъ своей дочери, ибо тлѣть обычай благи бесѣды злы». «Московскій Меркурій» замѣтилъ Шишкову: «Неужели сочинитель, для удобнѣйшаго восстановленія стариннаго языка, хочетъ возвратитъ насъ къ обычаямъ и понятіямъ стариннымъ? Мы не смѣемъ остановиться на сей мысли...» Но Шишковъ отвѣчаетъ на это съ полнѣйшей откровенностью: «Государь мой! Если вы не смѣете, такъ я смѣю остановиться здѣсь и разсмотрѣть вашу мысль. Почему обычай и понятія предковъ нашихъ кажутся вамъ достойными такого презрѣнія, что вы не можете подумать объ нихъ безъ крайняго отвращенія? Мы видимъ въ предкахъ нашихъ примѣры многихъ добродѣтелей: они любили отечество свое, тверды были въ вѣрѣ, почитали царей и законы (при этомъ подразумѣвалось, само собою, что защитники новаго слога не тверды въ вѣрѣ и не «почитаютъ» царей и законовъ); свидѣлствуютъ въ томъ Гермогены, Филареты, Пожарскіе, Трубецкіе и пр. и пр. Храбрость, твердость духа, терпѣливое повиновеніе законной власти, любовь къ ближнему, родственная связь, вѣрность, гостепріимство и нныя многія достоинства ихъ украшали». Тѣ же мысли, но еще съ болѣею опредѣлительностью высказываетъ Шишковъ въ своей рѣчи: «О любви къ отечеству». Вѣра, воспитаніе въ реакціонномъ духѣ, славянскій языкъ — вотъ, по его словамъ, самыя сильныя средства для возбужденія любви къ отечеству. Тутъ не говорится ни о научной сторонѣ воспитанія, какъ напр. въ журналѣ В. Измайлова «Патріотъ», ни о томъ преобразованіи оте-

чественныхъ учрежденій въ духѣ времени, которое могло бы, по мнѣнію «Сѣвернаго Вѣстника», вдохнуть въ русскихъ сознательный и честный патріотизмъ. О политическомъ значеніи языка Шишковъ говоритъ: «Языкъ есть душа народа, зеркало нравовъ, вѣрный показатель просвѣщенія, неумолчный проповѣдникъ дѣлъ. Возвышается народъ, возвышается языкъ; благонравенъ народъ, благонравенъ и языкъ. Никогда безбожникъ не можетъ говорить языкомъ Давида: слава небесъ не открывается ползающему въ землѣ червь. Никогда развратный не можетъ говорить языкомъ Соломона; свѣтъ мудрости не озаряетъ утопающаго въ страстяхъ и порокахъ... Гдѣ нѣтъ въ сердцахъ вѣры, тамъ нѣтъ въ языкѣ благочестія; гдѣ нѣтъ любви къ отечеству, тамъ языкъ не изъясняетъ чувствъ отечественныхъ. Гдѣ ученіе основано на мрачѣ лжеумствованія, тамъ въ языкѣ не возілетъ истина; тамъ въ наглыхъ и невѣжественныхъ писаніяхъ господствуетъ одинъ только развратъ и ложь. Однимъ словомъ, языкъ есть мѣрило ума, души и свойствъ народныхъ». Съ трудомъ вѣрится нынѣ, что все это нелѣпое, злобное разглагольствованіе о чувствахъ отечественныхъ, объ упадкѣ вѣры, о развратѣ и лжи новой литературы, — расточалось по поводу «Бѣдной Лизы», «Натальи, болгарской дочери» и другихъ произведеній сантиментальной школы. Что касается нравственнаго и политическаго состоянія Россіи того времени, то Шишковъ считалъ вредными въ немъ какія бы то ни было измѣненія. «Эпоха послѣднихъ двадцати пяти лѣтъ» — говоритъ онъ — «слишкомъ ясно насъ вразумляетъ, что Франція въ тысячу разъ болѣе имѣетъ надобности въ нравственныхъ лекціяхъ, нежели мы, русскіе,

всегда готовы отдать отчетъ въ сердечныхъ чувствованіяхъ Богу, вселюбезнѣйшему нашему государю и великой отчизнѣ. Правда, есть у насъ и свои слабости; но въ послѣдніе два года россияне доказали, что самый модный русскій повѣса, даже никогда не бывшій въ военной службѣ, точно съ тѣмъ же духомъ маршируетъ на бранномъ полѣ, съ какимъ, за три передъ тѣмъ дня, вальсировалъ въ балльной залѣ. Мышца его столь же крѣпка и ужасна для враговъ, сколько объятія его пріятны и обольстительны для женщины! Не стыдно ли вамъ не чувствовать высокихъ вашихъ достоинствъ? Взгляните на торжествующую нынѣ Европу; благородный гласъ ея взываетъ къ вамъ: «Спасители наши, русскіе! Вамъ ли, обезьянствуя, подражать французамъ, которыхъ низложила рука ваша; вамъ ли, которые во всѣхъ вѣкахъ и между всѣми народами славились добродѣтью вашею нравственностью? На французскомъ ли языкѣ должно вспоминать и славить великіе ваши подвиги? Пусть бульварные повѣсы, вѣтренныя головы Лаисамъ своимъ гнущать на французскомъ языкѣ комплименты, но вы, именитые юноши, которыхъ природа почтила высокими именами благородства, а заслуги обязали общество питать къ вамъ уваженіе, не мѣняйте русское слово: здравствуй, братья! на французское: бонъ-журъ, монсье! не унижайте природнаго вашего языка, на которомъ потомство будетъ славить дѣла ваши». Наивный старецъ полагалъ, что стоитъ только внушить именитымъ юношамъ всю зазорность употребленія французскаго языка, какъ русская литература внезапно процвѣтетъ, и всѣ кинутся читать «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ». Увы! не однимъ

обезьянствомъ объяснялось, въ тѣ дни, господство иностранныхъ языковъ и литературъ, — а сравнительной бѣдностью нашей собственной литературы и несовершенствомъ нашего книжнаго языка. Обезьянство, безъ сомнѣнія, существовало, какъ мода, какъ повѣтріе: но самая-то мода возникла потому, что, со временъ Петра I, изъ западной Европы шли къ намъ всѣ новизы, лучшія идеи. Чтобы уничтожить это господство, намъ нужно было обработать нашъ книжный языкъ, приблизивъ его къ разговорному (что и сдѣлалъ Карамзинъ) и выразить на немъ все богатство западныхъ идей, — о чемъ хлопотали умные и честные журналисты. Но противъ той и другой половины этой задачи всего болѣе возставалъ Шишковъ съ компаніей, совершенно не понимая, къ какому противоположному результату направляется ихъ quasi-патріотическая дѣятельность... Чтобы докончить характеристику этой консервативно-филологической партіи, мы прибавимъ, что журналъ, взявшій подъ свою особенную защиту разсужденіе Шишкова: «О любви къ отечеству», отличался самъ всѣми качествами ретрограднаго изданія. Этотъ журналъ—Демокритъ (1815 г.), о которомъ намъ случалось уже упоминать. Патріотизмъ этого журнала выражался единственно въ брани на Европу и въ особенности на французовъ; его беззубая сатира, между разными пустяками, пробовала осмѣивать и всѣ либеральныя идеи, заносимыя къ намъ съ запада. Разсужденіе Шишкова «Демокритъ» считалъ «твореніемъ, увѣковѣчивающимъ имя сочинителя, поселяющимъ въ душѣ нашей тѣ же благороднѣйшія чувства, каковыми вдохновенъ великій геній его творца»; онъ нападалъ на всѣхъ «старыхъ и молодыхъ повѣсь,

въ очкахъ и безъ очковъ, въ парикахъ и безъ париковъ», которые не читаютъ этого творенія, а гнутъ по французски и наслаждаются французскими книгами. Взамѣнъ всѣхъ иностранныхъ бредней, «Демокритъ» рекомендовалъ своимъ читателямъ, — въ статьѣ подъ названіемъ: «Надгробная рѣчь моей собакѣ, Балабай» (Демокр. № 2),—слѣдующій, такъ сказать, домашній кодексъ понятій:

«Итакъ, я лишился тебя, вѣрный другъ мой Балабай! Завистливый рокъ, ревнуя маленькому моему утѣшенію, похитилъ тебя навсегда. Смиѣйтесь, мудрецы пресвѣщеннаго и вмѣстѣ развратнаго вѣка, порицайте привязанность мою къ собакѣ. Тщетно въ философіи вашей, блестящей мишурнымъ слогомъ, искалъ я истины; давно, съ душевною грустью, среди толпы безчувственныхъ людей, скитаюся одинъ. О вѣрный Балабай! сколько разъ ласки твои — знаки сердечной привязанности — давали мнѣ чувствовать превосходство твое передъ разумными, такъ называемыми, существами, стремящимися ежечасно на пагубу ближняго! Ты, въ воспитаніи котораго ни одинъ университетъ не принималъ никакого участія,—понятія твои машинально образовала мать всецѣдная природа. Ты, который никогда не читалъ ни влюбленнаго Петрарка, ни отчаяннаго Вертера, ни сентиментальнаго р—го Стерна (т. е. русскаго Стерна—Карамзина), ни политическаго журнала—ты, безъ всѣхъ сихъ, столь необходимыхъ познаній, умѣлъ чувствовать мое къ тебѣ расположеніе и платить истинною, чистою, непритворною признательностью. Ты, при врожденной тихости и умѣренности въ желаніяхъ твоихъ, никогда не хотѣлъ быть ни эгоистомъ, ни софи-

стоишь, ни якобинцемъ: слѣдствіе модной философіи. Ты любилъ душевно грязное твое отечество — Винницу. Ты ложными софизмами никогда не нарушалъ всеобщаго спокойствія. Ты зналъ, что власть единственная есть неоцѣненное благо, съ небесъ Всевышнимъ намъ ниспосланное. Мечтательное умствованіе твое никогда не дерзало судить законовъ, начертанныхъ мудрою рукою царей. Ты зналъ, что законы сіи суть цѣпь, связующая всеобщій порядокъ, гармонія, согласующая чувства единоплеменныхъ. Ты гнушался знакомства тѣхъ собакъ, которыя, бывъ назначены судьбою пресмыкаться у воротъ, хотѣли, противоборствуя несповѣдимымъ предначертаніямъ, водвориться въ счастливыя спальни и знатные кабинеты. Ты вѣдалъ, что состояніе посредственное есть источникъ, изъ котораго можно почерпнуть душевное спокойствіе. Ты, въ цѣлый твой вѣкъ, не растерзалъ ни одной индѣйки, какъ дѣлаетъ нерѣдко товарищъ твой Орелка; худые примѣры его никогда не имѣли вліянія на безмятежную твою душу. Сіе гнусное революціонное право сильнаго (намекъ на Францію) было противно нѣжной твоей характеристикѣ... Ты не открылъ ни одного созвѣздія; ты не имѣлъ переписки ни съ одной академіей; ты не былъ знакомъ съ де-Лаландомъ; ты не издавалъ журнала; ты не вояжировалъ; грязная Винница была твоимъ отечествомъ; предѣлы оной были предѣлами твоихъ познаній... Ты не придерживался ни одной философической системы: Лейбницъ, Спиноза, Сенека—всѣ для тебя были равны. Ты слѣдовалъ влеченію твоего инстин-

кта; но врожденный инстинкт сей никогда не увлекалъ тебя за предѣлы предопредѣленной тебѣ участи. Ты не обогащалъ умъ твой политическими познаніями, единственно для того, чтобъ судить кабинеты и дѣла министровъ, не понимая истинной ихъ цѣли и дѣйствія... Ты не читалъ Вольтера... Ты отъ роду не зналъ, что такое Сократъ, Платонъ, Діогенъ, Аристиппъ... Ты не имѣлъ понятія о древнемъ ареопагѣ, чтобъ подъ часъ, въ модномъ обществѣ полу-просвѣщенныхъ повѣсь, блеснуть своими познаніями. Ахъ, любезный Балабай! Я съ прискорбіемъ предчувствую, что парящая слава не дотащитъ драгоценной памяти твоей до позднѣйшихъ потомковъ. Утѣшься, дражайшая тѣнь! Стоны друга твоего на зарѣ утренней смѣшаются съ хоромъ пернатыхъ, витающихъ надъ мирною твоею могилою. Сребристая луна, свидѣтель горести моей, застанетъ меня бдящаго надъ прахомъ твоимъ». — Очевидно, что этотъ Балабай жилъ вполне согласно съ совѣтами защитниковъ стараго русскаго слога, и что его «грязная Винница» (несовѣтъ-то лестный эпитетъ!), въ прообразовательномъ смыслѣ, указывала на всю Россію. Можно бы даже принять эту похвалу за самую злую иронию (такъ похвалны качества, приписанныя Балабаю), еслибы тому не препятствовали всѣ другія статьи журнала...

Заговоривъ о патріотическомъ направленіи, на которое претендовали сторонники шишковскаго слога, мы должны указать на журналы, выступившіе прямо подъ этимъ знаменемъ на борьбу съ новымъ направленіемъ умовъ, не маскируясь уже никакой филологіей. Первымъ журналомъ, который, во имя патріотизма, проповѣдовалъ возвращеніе къ

умственной жизни нашихъ предковъ, былъ «Русскій Вѣстникъ», выходившій ежемѣсячно въ Москвѣ съ 1808 г. Правда, патриотическій оттѣнокъ, въ томъ же смыслѣ, замѣтенъ былъ и въ «Московскомъ Зрителѣ» кн. Шаликова, но тамъ онъ былъ еще очень мягокъ и уступчивъ, и не входилъ въ открытую борьбу съ новымъ европейскимъ вліяніемъ. — Вотъ какъ объяснялъ издатель «Русскаго Вѣстника», С. Н. Глинка, цѣль изданія своего журнала: «Издавая Русскій Вѣстникъ, намѣренъ я предлагать читателямъ все то, что непосредственно относится къ русскимъ. Всѣ наши упражненія, дѣянія, чувства и мысли должны имѣть цѣлью отечество; на семъ единодушномъ стремленіи основано общее благо. Подражая иноземнымъ модамъ и обыкновеніямъ, для чего не перенимать у нихъ полезнаго и похвальнаго... Истинная добродѣтель не требуетъ похвалъ; но нужно напоминать о ней въ наставленіе другимъ. Издатель и участвующіе въ «Вѣстникѣ» его весьма будутъ признательны за извѣстія о благодѣяніяхъ, полезныхъ заведеніяхъ, словомъ, о всемъ томъ, что можетъ улаживать сердца русскія; увѣдомленія сіи составятъ новую отечественную исторію: исторію о добродѣтельныхъ дѣяніяхъ и благотворныхъ заведеніяхъ. Отцы и матери, напечатлѣвая въ сердцахъ дѣтей своихъ сохраненныя въ ней преданія, будутъ одушевлять ихъ рвеніемъ къ добродѣтели и къ общему благу. Въ сихъ листахъ найдутъ многія статьи о древнихъ временахъ Россіи. Бесѣда съ праотцами, бесѣда съ героями и друзьями отечества питаетъ душу и, сближая прошедшее съ настоящимъ, умножаетъ бытіе наше; настоящее объясняется прошедшимъ, будущее настоящимъ. Но быстрота мыслей человѣческихъ рѣдко на одной вещи останавливается; и

такъ отъ древности будемъ возвращаться къ нашимъ временамъ... Одинъ иностранный писатель, обозрѣвая европейскія государства, говоритъ: «въ Австріи мнѣнія противорѣчатъ законамъ, въ Пруссіи чувства и мысли народныя не согласны съ чувствами и мыслями правительства, въ Россіи лучшіе умы заняты новизною или нововведеніями». Не объяснивъ, какую онъ примѣтилъ въ Россіи новизну, можно ли укорять (?) лучшіе умы?.. Философы XVIII столѣтія никогда не заботились о доказательствахъ: они писали политическіе, историческіе, нравоучительные, метафизическіе, физическіе (?) романы; порицали все, все опровергали, обѣщали безпредѣльное просвѣщеніе, неограниченную свободу (курсивъ въ подлин.), не говоря, чтò такое-то и другое, не показывая къ нимъ никакого слѣда; словомъ, они желали преобразить все по своему. Мы видѣли, къ чему привели сіи романы, сіи мечты воспаленнаго и тщеславнаго воображенія! Итакъ, замѣчая нынѣшніе нравы, воспитаніе, обычаи, моды и проч., мы будемъ противопоставлять имъ—не вымыслы романическіе, но нравы и добродѣтели праотцевъ нашихъ... Богъ поможетъ русскимъ! Все истинно полезное, пріобрѣтенное ими въ теченіи цѣлаго столѣтія, присовокупятъ они къ полезнымъ и похвальнымъ качествамъ предковъ, и не чужимъ, не заимствованнымъ, но своимъ роднымъ добромъ будутъ богаты... Въ нѣкоторыхъ статьяхъ «Русскаго Вѣстника» добрые и попечительные отцы семействъ найдутъ способы ученія для семейственнаго воспитанія, основанные на опытѣ и утвержденные друзьями блага общаго» (№ 1). Выполняя свою программу, Глинка печаталъ статьи по русской исторіи: о бояринѣ Матвѣевѣ, Александрѣ

Невскомъ, Сусанинъ и друг. (иногда съ приложеніемъ портретовъ), приводилъ мнѣнія русскихъ и иностранныхъ писателей о воспитаніи, и ревностно защищалъ Россію отъ обидныхъ отзывовъ европейской литературы. Воспитаніемъ въ патріотическомъ духѣ Глинка особенно дорожилъ, и въ 1816 г., — удовлетворяя разомъ какъ этой потребности, такъ и желанію своихъ читателей слѣдить за политическими новостями, — открылъ въ своемъ журналѣ два постоянные отдѣла: 1) «Русскій Вѣстникъ», или отечественныя вѣдомости о достопамятныхъ европейскихъ происшествіяхъ и 2) «Русскій Вѣстникъ» въ пользу семейственнаго воспитанія. Случаи изъ современной жизни, долженствовавшіе составить, по мнѣнію Глинки, «исторію о добродѣтельныхъ дѣяніяхъ», были въ такомъ родѣ: «рѣшительность Россіянъ», «наслѣдственное мужество русскихъ», «братская любовь» и пр. За нравственностью издатель наблюдалъ строго и сдѣлалъ замѣчаніе Москвѣ за то, что въ ней умножается число кабаковъ. Охотно помѣщалъ онъ рассказы о военной храбрости, и къ одному изъ нихъ добавилъ примѣчаніе: «мечта о вѣчномъ мирѣ всегда будетъ мечтою, ибо страсти человѣческія всегда одинаково дѣйствуютъ» (1809 г. № 7). Журналъ съ такимъ направленіемъ встрѣтилъ много препятствій во вкусахъ и настроеніи тогдашней образованной публики; но у «Русскаго Вѣстника» нашлись съ перваго же разу и сторонники, которые поддерживали его своимъ сочувствіемъ и давали различныя совѣты. Одинъ изъ этихъ сторонниковъ *) писалъ къ издателю: «Хотя я имѣлъ и самъ, человѣкъ съ десятокъ заморскихъ учителей, звалъ

*) Подъ именемъ этого сторонника скрывался извѣстный гр. О. В. Ростовчинъ.

на чужой землѣ и говорю на нѣсколькихъ иностранныхъ языкахъ, но со всѣмъ тѣмъ Богъ охранялъ меня отъ заразы. И я, узнавъ свою отчизну, помня примѣры предковъ, поученія священника Петра и слова мамы Герасимовны, остался до сихъ поръ совершенно русскимъ... Увидѣлъ я обнародованіе ваше о Россійскомъ Вѣстникѣ: хвалю столько же благое намѣреніе, сколько дивлюся смѣлости духа вашего. Вы имѣете въ виду единственно пользу общую и хотите издавать одну русскую старину, ожидая отъ нея исцѣленія слѣпыхъ, глухихъ и сумасшедшихъ; позабыли, что неизмѣнное дѣйствіе истины есть—колотъ глаза и приводитъ въ изступленіе. Конечно, васъ читать будутъ многіе: всѣ благомыслящіе и любящіе законы, отечество и государя, отдадутъ справедливость подвигу вашему. Но для сихъ прошедшее не нужно; ибо они сами настоящимъ служатъ примѣромъ. А какъ заставить любить по русски отечество тѣхъ, кои его презираютъ, не знаютъ своего языка и по необходимости русскіе? Какъ привлечь вниманіе вольноопредѣляющихся въ иностранные? Какъ сдѣлаться терпимымъ у разодѣтыхъ по модѣ барынь и барышень? Упрашивайте, убѣждайте, стыдите—ничто не подѣйствуетъ. Для сихъ, отпадшихъ отъ своихъ, вы будете проповѣдникомъ, какъ посреди дикаго народа въ Африкѣ. До сего одви лишь иностранные, за наше гостепріимство, терпѣніе и деньги, ругали насъ безъ пощады, а нынѣ уже и русскіе къ нимъ пристають. Я не удивлюсь, если со временемъ найдется какой-нибудь безстыдный враль, который станетъ намъ доказывать, что мы не люди, и что Богъ создалъ одно наше тѣло, а души вкладываются иностранными (т. е. иностран-

цами) по ихъ благоусмотрѣнію... Мы съ перваго раза утверждаемъ имя всякаго иностраннаго и скидка (sic), а они до сихъ поръ не могутъ правильно писать: Суворовъ, а что еще лучше, что симъ великимъ именемъ называютъ въ Лондонѣ бѣлаго медвѣдя; а въ Парижѣ, въ 1785 г., показывали за деньги француза, одѣтаго въ звѣриную кожу, подъ вывѣской: «здѣсь можно видѣть страшное чудовище, которое говоритъ природнымъ своимъ московскимъ языкомъ». Принимая живое участіе въ успѣхѣ вашего сочиненія (т. е. изданія), совѣтую приучать слегка къ забытой русской былинѣ изъ соотчицъ нашихъ, кои тѣломъ на Руси, а духомъ за-границей; совѣтую называть подлинныя сочиненія наши переводами, разжаловать всѣхъ нашихъ именитыхъ людей въ иностранныхъ, украсить каждую книжку французскимъ и англійскимъ эпиграфомъ и картинкой, представляющей невинную въ новомъ вкусѣ насмѣшку. Напримѣръ: представьте парикмахера, стригущаго русскаго съ надписью: подстриженный сѣверный Самсонъ; или обезьяну, которая учитъ медвѣдя танцевать, съ надписью: сержусь, но поклонюсь; или бѣса, раздѣвающаго русскаго съ надписью: облегчится и просвѣтитса (курсивъ въ подлин.). Вотъ совѣты, кои русскій старикъ почитаетъ нужными для васъ». Другой поклонникъ сообщалъ Глинкѣ изъ Казани, что его журналъ читается многими съ большимъ удовольствіемъ. «Старики русскіе»—говоритъ онъ—«благодарятъ васъ, да и раскольники русскіе хвалятъ... только нѣкоторые молодые повѣсы читаютъ его со скукою, не находя картинокъ заграничныхъ модъ, маленькаго пустаго романа, для траты имъ несноснаго времени, и острыхъ эни-

граммъ и эпитафій для насмѣшекъ... Недавно съ чрезвычайнымъ удовольствіемъ видѣлъ я, какъ одинъ старинный русскій маіоръ, читая о бояринѣ Матвѣевѣ (Р. В. № 1), омочилъ слезами страницы «Русскаго Вѣстника»; я самъ плакалъ съ нимъ. Не повѣрите, какъ онъ благодарить васъ! Слава Богу, говорилъ онъ, что еще вспоминаютъ старину, а то дѣти съ французскимъ воспитаніемъ стали умнѣе отцовъ». Дѣти бранятъ отцовъ по французски, а батюшки, зѣвая на нихъ, удивляются; дѣти пренебрегаютъ родителей, кои не смѣютъ сказать имъ слова. Ахъ! смѣлъ ли бы сперва сынъ непослушаться родителя? смѣлъ ли быть его мудрѣе? Тогда во всемъ домѣ былъ порядокъ (по Домострою?) и во всемъ царствѣ. Царь былъ всѣхъ мудрѣе; а нынѣ молокососы не успѣютъ выучиться подписывать свое имя, то, зная уже давно болтать по французски и читать Вольтера, думаютъ быть мудрѣе... Нѣтъ, все пошло вверхъ дномъ съ заморскими учителями».

Но издатель «Русскаго Вѣстника», какъ человѣкъ честный, образованный и даже увлекавшійся сочиненіями Руссо,—по педагогической системѣ котораго онъ самъ былъ воспитанъ въ сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ,—неспособенъ былъ къ назойливому, мелочному гоненію противъ всякой свѣжей мысли; у него замѣчалась нерѣдко наклонность къ оппозиціи, и произволъ, господствовавшій въ нашей жизни, находилъ въ немъ подъ часъ несговорчиваго и горячаго противника. Въ древней русской исторіи онъ видѣлъ скорѣе идиллическую картину, чѣмъ суровый, дисциплинарный бытъ, и стремился, отчасти, примирить требованія старины съ новыми европейскими понятіями. Только эти новыя понятія перепуты-

вались у него самымъ курьезнымъ и оригинальнымъ образомъ съ неподвижными догматами, усвоенными по преданію, принятыми на вѣру. Вслѣдствіе этого, статьи его пестрятъ всевозможными цитатами: изъ Кормчей книги и изъ сочиненій Кондильяка; изъ поученія Владиміра Мономаха и изъ натуральной исторіи Бюффона. Такъ, напримѣръ, защищая допетровскую старину, Глинка приводитъ мнѣніе боярина Матвѣева о душѣ: «душа есть существо живущее, простое и безплотное, тѣлесными очами по свойственному естеству недвижимое, бессмертное, словесное и умное» и прибавляетъ къ этому: «бояринъ Матвѣевъ точно также (!) умствовалъ о душѣ, какъ Локкъ и Кондильякъ, хотя онъ не могъ читать ни того, ни другого». Защищая Кормчую книгу (1808 г. № 8) противъ «умствованій, устремившихся къ осмѣянію сего хранилища божественныхъ и нравственныхъ преданій», Глинка сопоставляетъ правила этой книги съ мнѣніями Солона, Шатобріана, Монтескье и г-жи Жанлисъ. «Простирая вниманіе свое» — говоритъ издатель «Русскаго Вѣстника» — «на бѣдныхъ и неимущихъ, добродѣтельные наставники убѣждаютъ (въ Кормчей книгѣ), чтобы не мѣняли челоуѣколюбія и милосердія на лихоимство и постыдный прибытокъ, и правило сіе относятъ не только къ единоплеменнымъ, но ко всѣмъ людямъ вообще: «ибо, вѣщаютъ они, сребролюбіе есть недугъ душевный». Въ древнемъ Римѣ, во времена язычества, Катоны, Бруты и прочіе прославляемые герои брали неограниченные проценты, заключали должниковъ своихъ въ темницы и пр. Итакъ, сколь отличается милосердіе евангелія отъ правоученія языческаго. Одинъ иноплеменный писатель (Шатобріанъ) очень справедливо сказалъ: «простая

нравственность пресмыкается; добродѣтели христіанскія па-
рять на крыліяхъ любви и надежды». — Въ концѣ концовъ,
Глинка утверждается въ мысли, что «всѣ правила, содержа-
щіяся въ Кормчей книгѣ, согласны съ разсужденіемъ всѣхъ
знаменитыхъ просвѣтителей всѣхъ странъ и всѣхъ вѣковъ». —
Эта способность Глинки—связывать между собою самыя раз-
нообразныя и даже прямо противоположныя понятія и при-
урочивать ихъ къ русской старинѣ—ловко подмѣчена Воей-
ковымъ въ его «Сумасшедшемъ домѣ»:

..... на лежанкѣ
Истый Глинка възсѣдѣтъ.

.....
Книга Кормчая отверста
И уста отворени,
Сложены десной два перста,
Очи вверхъ устремлены!
О Расни! Откуда слава?
Я тебя, дружокъ, поймалъ:
Изъ російскаго Стоглава
Ты Гофолію укралъ.
Чувствъ возвышенныхъ сіянье,
Выраженій красота
Въ Андромахѣ — подражанье
Погребенію кота!

Честный, но смѣшной чудакъ, — Глинка хотѣлъ облаго-
родить и реставрировать древнерусскіе идеалы; въ бояринѣ
Матвѣевѣ ему грезился чуть ли не самъ маркизь Поза; На-
талья Кирилловна напоминала добродѣтельную мать Марка-
Аврелія; какой нибудь малограмотный книжникъ равнялся по
глубинѣ мыслей всѣмъ семи греческимъ мудрецамъ. Всю
жизнь свою онъ мечталъ о безкорыстномъ служеніи родинѣ,
о широкой дѣятельности общественной, изобличалъ лжецовъ,
ссорился съ начальниками (см. въ его запискахъ объясненіе

съ кн. Ливеномъ),—и за все это получилъ только прозваніе и репутацію крайне «безпокойнаго» человѣка... Сподвижники же Глинки, дѣйствовавшіе по одной съ нимъ, узко-патріотической программѣ, не увлекались никакими мечтаніями, хотѣли прежде всего дисциплины; — и достоинство старинны полагали не въ сходствѣ (хотя бы случайномъ и вѣншемъ), но въ противорѣчіи со всѣми новѣйшими умствованіями. Таковъ былъ «Пантеонъ славныхъ россійскихъ мужей», издававшійся въ 1816—18 г.г. Въ этомъ «Пантеонѣ» доказывается съ неменьшею убѣдительною, чѣмъ въ филологической полемикѣ Шишкова, что «высокая мораль французской философіи была первою причиною двадцатипятилѣтняго во всемъ мірѣ кровопролитія». Издателемъ «Пантеона» былъ тотъ же А. Кропотовъ, который издавалъ «Демокрита».

Особеннымъ усердіемъ въ преслѣдованіи французскихъ идей отличался «Сынъ Отечества» — еженедѣльный журналъ, возникшій, по инициативѣ г. Греча, въ эпоху грозной войны 1812 г. *) Воинственно-патріотическій тонъ этого журнала объясняется обстоятельствами. «Въ то время» — говорится въ первомъ номерѣ — «когда злобный разрушитель царствъ и престоловъ занесъ дерзкую ногу въ предѣлы благословенной земли русской и тлетворнымъ дыханіемъ своимъ распространяетъ повсюду ужасъ, боязнь и недоумѣніе, каждый россіянинъ долженъ употреблять всѣ силы и способности свои для выщаго одобренія мужественныхъ, для возстановленія малодушныхъ, для изобличенія безстыднаго хищника во лжахъ и кощунствахъ его». Противъ Наполеона печатались филиппики въ такомъ родѣ: «Предчувствуй безсмертіе, тебя достойное!

*) Съ 1825 г. въ немъ принялъ участіе О. В. Бугаринъ.

предчувствуй, какъ и когда потомки будутъ вѣяться твоимъ именемъ! Ты возсѣдиди на престолѣ своемъ посреди блеска и пламени, какъ сатана въ средоточіи ада, препоясанъ смертью, опустошеніемъ, яростью и пламенемъ... «Трепещи! трепещи и блѣднѣй, да сокрушится желѣзное сердце твое, да изнеможетъ ужасная твоя душа. Трепещи! возстаютъ отъ гробовъ древнія, почившія фуріи, приближаются къ тебѣ стопами медленными; озираются грозными, дальновидными очами своими страшныя богини ада, мстительницы и карательницы всякаго злаго дѣла, всякаго мрачнаго преступленія, возстаютъ, устрашаютъ, преслѣдуютъ, смущаютъ тебя, доколѣ не погибнешь, доколѣ не исчезнешь съ лица земли!» Сподвижники Наполеона называются «подлыми и малодушными», войска его—«разбойниками», самъ предводитель ихъ «гнуснымъ тираномъ и убійцею». Сила этихъ выраженій соотвѣтствовала тогда общему гнѣвному энтузіазму. Извѣстно, что самая наружность Наполеона подвергалась въ народныхъ листовкахъ осмѣянію нашихъ патріотовъ. Въ одномъ изъ этихъ листовъ (1814 г.),—который мы видѣли у П. А. Ефремова,—французскій императоръ живописуется, напр., такими красками:

«Представьте себѣ человѣка при маломъ ростѣ (въ 5 ф. и 2 дюйма), имѣющаго лицо большое, скуловатое, мрачное, цвѣта изжелта-оливковаго, съ навислымъ лбомъ, съ маленькими глазами, изъ подлобыя коварно-злѣбнымъ огнемъ сверкающими, съ сухими, подъ длинно-поклопнымъ носомъ, втиснутыми губами, извѣтельно сжатыми и для улыбки вѣчно мертвыми, съ выдавшимся впередъ и вверху поднявшимся шарообразнымъ подбородкомъ, съ черными, подобно смолѣ, на головѣ и на бровяхъ волосами, безъ бакенбартовъ... Это

будетъ настоящій подлинникъ малорослаго рыцаря, точный отпечатокъ великой головы, славной по великимъ своимъ злодѣяніямъ — это будетъ истинный портретъ Наполеона. И французы этого не примѣчаютъ...

Зла фурія его смиренно сердце гложетъ:

Злодѣйская душа спокойна быть не можетъ.» —

Для возбужденія воинственнаго духа примѣромъ народовъ, «противоборствовавшихъ безпредѣльной власти и несмѣтнымъ силамъ своихъ враговъ», помѣщены были въ журналъ: отрывокъ изъ исторіи освобожденія Нидерландовъ (Шиллера) и «Осада Сарагоссы» (№№ 3 и 7). Помѣщались также анекдоты о храбрости русскихъ солдатъ и вооруженныхъ крестьянъ. Дѣятельность Наполеона разбиралась по всѣмъ составчикамъ: ему отказывали не только въ искусствѣ управленія, но даже въ искусствѣ вести войну («Сужденіе о Бонапартѣ», перев. съ англ.). Его упрекали въ томъ, что, укротивъ революцію, онъ не посадилъ на тронъ законнаго царя; въ томъ (№ 2), что онъ «сдѣлалъ самого себя государемъ, націей, народнымъ собраніемъ, войскомъ и полководцемъ», что онъ «приказываетъ министру своему читать передъ нимъ донесеніе, которое самъ диктовалъ ему и, по окончаніи обряда, объявляетъ, что онъ доволенъ своимъ сочиненіемъ». Въ № 1-мъ рассказывается, какъ главнокомандующій въ Каталоніи, Ласпи, приказалъ палачамъ носить ордена почетнаго легіона и желѣзной короны, но палачи отказались, находя это для себя позорнымъ и прося, чтобы впредь этими знаками «украшали ведомыхъ на казнь преступниковъ». «Намъ безчестно» — говорили они — «носить знаки, которыми Бонапарте награждаетъ людей, наиболѣе отличающихся злодѣяніями... Па-

лать лишаетъ жизни только преступниковъ, изобличенныхъ въ порочныхъ дѣлахъ законнымъ судомъ, а французы воруютъ, бьютъ, умерщвляютъ и съ торжествомъ показываютъ одежду свою, обогренную кровью невинныхъ жертвъ». Замѣчательно, что все это печаталось въ журналѣ г. Греча, который въ 1809 г., въ «Геніи временъ», называлъ Наполеона великимъ мужемъ, водворившимъ порядокъ въ странѣ «ужаснаго безначалія». Къ подкупленнымъ воплямъ Коцебу присоединялся въ «Сынѣ Отечества» и честный голосъ А. Куницына (№ 6), говорившаго о тираниі Наполеона, о его рабовладѣльческихъ замыслахъ на Россію. Словомъ, все было въ ажитаціи. Ненависть къ французскому войску, имѣвшая законное оправданіе, скоро перешла въ ненависть къ французскимъ принципамъ—т. е. къ знакомымъ намъ принципамъ освободительной философіи XVIII-го вѣка, хотя эта философія была виновата не больше самого Н. И. Греча въ походѣ Наполеона на Россію. Но опытный журналистъ не дремалъ и старался подмѣнить одно чувство другимъ. «Сынъ Отечества», рядомъ съ воззваніемъ къ оружію, печаталъ и разные политическіе афоризмы, въ которыхъ ополчался на брань (въ смыслѣ ругательства) съ самой идеей свободы. Изъ этихъ афоризмовъ замѣчательны слѣдующіе: 1) «Платонъ говоритъ: легче построить городъ на воздухѣ, нежели основать гражданство безъ религіи. Французская революція оправдала сію истину: якобинцы, положившіе разрушить правительство, начали тѣмъ, что изгнали религію. 2) Религія и добрая нравственность свойственны человѣку: нетлѣнный корень ихъ насажденъ въ сердцахъ людей отъ самого Творца. Но мудрованіе философіи приличествуетъ

только въ сокомѣрнымъ безумцамъ, основавшимъ оное на зыбкихъ пескахъ людскаго мнѣнія. 3) Правительства принимаютъ самыя строгія мѣры предосторожности въ разсужденіи продажныхъ ядовъ; а развратныя правила, сей ядъ душевный, даютъ намъ свободно глотать изъ книгъ, разговоровъ и школьнаго обученія. 4) Указываютъ на Англію, что тамъ свобода книгопечатанія не развращаетъ нравовъ и умовъ. Быть можетъ; и это верхъ похвалы для характера англичанъ. Но всѣ другіе народы, въ сравненіи съ ними, суть еще дѣти, отъ которыхъ сіе вредоносное орудіе удалять должно. Тотъ вѣкъ, въ который свобода мыслить и писать почиталась своевольствомъ, произвелъ Фенелоновъ, Боссюэтовъ, Корнелей, Расиновъ и другихъ свѣтилъ ума человѣческаго; но послѣдующій за нимъ, столь неправильно названный вѣкомъ просвѣщенія, покрылъ вселенную мракомъ ложной философіи, въ которомъ Вольтеры, Руссо, Монтескье, Дидероты блистали на подобіе всепожирающихъ молній. 6. Французскую революцію можно сравнить съ звѣринцемъ, въ которомъ дикіе звѣри съ дѣлѣй спущены: — человѣческія страсти люте самыхъ кровожадныхъ звѣрей; горе, ежели съ нихъ узду снимешь. 7. Правители народовъ! удаляйте отъ простолюдиновъ зрѣлище трагедій, выводящихъ на сцену смерть тирановъ и великіе перевороты государствъ: вы изощряете кинжалы противъ васъ самихъ». За свой воинственный азартъ «Сынъ Отечества» подвергнулся даже разъ непріятности отъ правительства, нашедшаго, вѣроятно, что нечего подливать масла въ огонь, когда онъ и безъ того горитъ очень сильно. Въ № 1-мъ «Сына Отечества» была напечатана, между прочимъ, «Солдатская пѣсня», за кото-

рую цензоръ Тимковскій поплатился выговоромъ, по представленію князя Адама Чарторижскаго, обидѣвшагося за своихъ соплеменниковъ-поляковъ. Приведемъ эту пѣсню (соч. Ив. Кованько)—для характеристики тогдашняго настроенія умовъ, исполненнаго гнѣва и мстительности:

Хоть Москва въ рукахъ французовъ,
Это, право, не бѣда!—
Нашъ фельдмаршалъ, князь Кутузовъ,
Ихъ на смерть впустилъ туда!
Вспомнимъ братцы, что поляки
Встарь бывали также въ ней;
Но не жирны кулебяки—
Бли кошекъ и мышей.
Напоследокъ мертвечину—
Земляковъ пришлось имъ жрать;
А потомъ предъ русскими спячу
Въ кровъ по-польски выгибать.
Свѣту цѣлому извѣстно,
Какъ платили мы долги:
И теперь получать честно
За Москву платежъ враги.
Побывать въ столицѣ—слава!
Но умѣемъ мы отищать:
Знаетъ крѣпко то Варшава,
И Парижъ то будетъ знать!

Здѣсь встаетъ будетъ замѣтить, что, въ отпоръ этому враждебному чувству, въ 1816—17 г.г., издавался журналъ: «Другъ Россіянъ и ихъ единоплеменниковъ обоюго пола», съ специальною цѣлью примиренія русскихъ съ поляками. (Онъ издавался старшимъ учителемъ Орловской гимназіи Фердинандомъ Орля-Ошменъцемъ, но печатался въ Москвѣ въ университетской типографіи). Рядомъ съ возвеличеніемъ Александра, въ этомъ журналѣ печаталась похвала Яну Собѣсскому, рядомъ съ характеристиками знаменитыхъ русскихъ писателей—характеристика писателей польскихъ. Задачу своего изданія самъ издатель опредѣлялъ такимъ об-

разомъ: «стараться утвердить въ вѣчномъ союзѣ непоколебимаго дружества умы и сердца славяно-россійскихъ и польскихъ народовъ чрезъ посредство ихъ просвѣщенія и добродѣтели». Восхваляя Александра за восстановление политическаго существованія Польши, онъ выражалъ желаніе: «да восчувствуютъ русское и польское племя счастливую нынѣ свою судьбу и Божіе благословеніе!» Въ подвигахъ Александра, Орля-Ошменецъ выдвигалъ на первый планъ: низверженіе тирана—Наполеона и возстановленіе законной власти; а въ его личности признавалъ наиболѣе симпатичными чертами: «быть человѣкомъ на самомъ неограниченномъ тронѣ... отвергать рабство и убѣгать собственной своей славы».

Вслѣдъ за изгнаннымъ Наполеономъ полетѣли насмѣшки и глумленія прессы. Даже солидная «Сѣверная Почта» допустила на своихъ столбцахъ юмористическую замѣтку такого содержанія: «Въ рѣчахъ и представленіяхъ отъ разныхъ департаментовъ императору, съ одной стороны, изысняется вынужденное отступленіе арміи, столь же непобѣдимой, какъ и ея вождь, съ другой—радуются чудесному спасенію сего самаго непобѣдимаго вождя, что онъ столь искусно унесъ свою единую особу отъ ужасныхъ бѣдъ, его окружавшихъ... Французскіе маршалы и генералы, одинъ за другимъ, скачутъ къ Рейну; кажется, у нихъ швейцарская болѣзнь: они, тоскуя по своей землѣ, опрометью туда кинулись». (См. «Сѣв. Почта» 1813 г.)

Вскорѣ послѣ того измѣнилось у насъ настроеніе высшаго правительства, и русская журналистика была поставлена въ новыя, менѣе выгодныя условія.

ХІ.

Характеристика второй половины царствованія Александра Павловича.—
Перемена въ личномъ направленіи государя.—Причины этой перемены.—
Лагарпъ и Н. И. Салтыковъ. Участіе Радищева въ законодательной
комиссіи и столкновение его съ Завадовскимъ.—Тильзитское свиданіе.—
Вліяніе г-жи Кридверъ.—Распространеніе мистицизма.—Инструкція уче-
ному комитету.—Дѣйствія этого учрежденія.—Гоненіе на университеты.—
Протестъ Уварова и Паррота противъ обскурантизма. —

Мы рассказали исторію русской журналистики въ первую
половину царствованія Александра Павловича. Это было
время упоеній и надеждъ, болѣе или менѣе основательныхъ,
болѣе или менѣе осуществлявшихся въ дѣйствительной
жизни,—время едва ли не самое благопріятное для развитія
русской мысли. Либеральные журналы, не только съ дозво-
ленія правительства, но даже при денежномъ пособіи отъ
него (какъ напр. «Сѣверный Вѣстникъ») проводили въ пуб-
лику новыя идеи о политическомъ устройствѣ, о свободѣ
личности, о высокомъ значеніи науки и литературы. Снисхо-
дительная цензура, — созданная не для стѣсненія, но для
покровительства и защиты мысли, по первоначальному смыслу
устава, — не считала нужнымъ накладывать свою руку на
всякое проявленіе того образа мыслей, который позже былъ
охарактеризованъ именемъ «вольнодумства»: не препятствуя
обсужденію въ печати основныхъ государственныхъ вопро-
совъ, она позволяла даже относиться критически къ самому
принципу своего существованія. Мы видѣли, напр., что

Пнинъ нападалъ въ «Журналъ Россійской Словесности» на предварительную цензуру вообще, и предлагалъ, въ замѣнъ ея, личную отвѣтственность авторовъ за напечатанныя ими произведенія. Правда, нерѣшительность и двойственность цензуры, колебавшейся то въ ту, то въ другую сторону, проявлялись уже въ то время довольно рѣзкими примѣрами; видно было уже, что цензурный либерализмъ—очень плохая порука за самостоятельность и свободу печати; но общее настроеніе власти, наблюдавшей за литературою, далеко не имѣло характера прижимокъ, мелкаго давленія и систематической, организованной вражды къ смѣлому печатному слову. Реакція противъ либерализма обнаруживалась покуда въ нѣкоторыхъ слояхъ общества, въ извѣстныхъ органахъ самой журналистики, но еще не восходила въ высшія сферы правительства и не дѣлалась ихъ руководящею мыслью. Обстоятельства, въ скоромъ времени, сложились иначе, и журналистика должна была испытать на себѣ чувствительную разницу въ свойствахъ и пріемахъ цензурнаго надзора.

Чѣмъ объяснить такую рѣзкую перемену въ направленіи Александра I-го? Почему государь, начавшій свою политическую жизнь открытымъ сочувствіемъ прогрессу, литературѣ, всѣмъ свободнымъ идеямъ,—окончилъ ее въ совершенно другомъ, прямо противоположномъ духѣ: военными поселеніями, дружбой Аракчеева и репрессивными мѣрами противъ литературы и науки? Причинъ этому было довольно много, но ближайшая причина кроется, конечно, въ первоначальномъ воспитаніи и въ обстановкѣ великаго князя, когда онъ еще только готовился занять русскій престолъ. Не одинъ Лагарпъ имѣлъ вліяніе на своего питомца; ря-

домъ съ умнымъ и просвѣщеннымъ швейцарцемъ, стоялъ, возлѣ великаго князя, графъ Н. И. Салтыковъ—человѣкъ, искушенный въ придворныхъ интригахъ и богатый тою житейскою оцнтностью особаго рода, которая издревле выражаетъ претензію величать себя истинной, непреложной чело-вѣческой мудростью. Мы не имѣемъ положительныхъ указаній на то, чтобы гр. Салтыковъ старался парализировать вліяніе пылкаго иностранца-педагога; но что онъ не раздѣлялъ всѣхъ мнѣній, высказываемыхъ Лагарпомъ, и чувствовалъ потребность ограничивать ихъ силу и вѣсь въ глазахъ великаго князя—въ этомъ, врядъ ли, возможно сомнѣваться. Дѣло Салтыкова доканчивала вся обстановка, въ которой приходилось развиваться внуку Екатерины II-й. Идеи Лагарпа, проходя черезъ этотъ неизбежный холодильникъ, естественно утрачивали свое живое, практически-реальное значеніе, и получали характеръ какихъ-то отвлеченныхъ, недосыгаемыхъ идеаловъ, которымъ противорѣчила вся дѣйствительная жизнь. Въ этомъ видѣ онѣ сильно раздражали фантазію юноши, представляя ему возможность иной, лучшей жизни; но онѣ не становились прочнымъ, сознательно-выработаннымъ, достояніемъ его ума и — чуждыя практическаго осуществленія—не укрѣпляли слабой воли... Вступивъ на престолъ, Александръ вздумалъ исполнить, хотя отчасти, нѣкоторыя изъ своихъ благородныхъ юношескихъ мечтаній. Но тутъ явилась другая бѣда: молодые сотрудники государя питали такую же, какъ и онъ, платоническую любовь къ свободѣ; они, подобно ему, не знали, какъ приняться за практическое дѣло, смущались всякими возраженіями и безнадежно терялись, опуская руки при первой неудачѣ въ

осуществленіи своихъ идеальныхъ замысловъ. Къ молодымъ государственнымъ дѣятелямъ, нерѣшительнымъ и мало-опытнымъ въ дѣлахъ высшаго управленія, сейчасъ же прикомандировались услужливые и опытные старики, возросшіе въ другихъ понятіяхъ и смотрѣвшіе совершенно иначе на потребности русской жизни. Они еще болѣе вредили всѣмъ новымъ преобразованіямъ, именно потому, что стояли въ самомъ центрѣ дѣйствующей силы, считались ея союзниками, агентами и, такимъ образомъ, имѣли полную возможность, подъ прикрытіемъ своего officialнаго положенія, тормозить и искажать намѣренія власти. Такъ напр. изъ всей законодательной коммисіи, собиравшейся подъ предсѣтельствомъ «опытнаго старца» Завадовскаго, только одинъ Радищевъ зналъ, дѣйствительно, отъ какихъ бѣдъ и золь страдаетъ Россія и могъ представить зрѣлую, практически-годную программу для обновленія нашего государственнаго строя; но проектъ Радищева, заключавшій въ себѣ указаніе на необходимыя реформы, которыми только и можно было гарантировать осуществленіе политическаго идеала, столь любезнаго сердцу тогдашнихъ либеральныхъ идеалистовъ. — Этотъ злосчастный проектъ, уже выполненный нынѣ въ главныхъ своихъ частяхъ, показался Завадовскому такой необузданной, демагогической мечтою, что онъ счелъ своимъ долгомъ отечески напомнить Радищеву объ Илимскомъ острогѣ, откуда послѣдній только что возвратился по милости государя. Самъ государь, безъ сомнѣнія, взглянулъ бы иначе на радищевскій проектъ, еслибы онъ былъ ему представленъ во время и безъ всякихъ псевдо-благонамѣренныхъ прелюдій; узнавъ, что перепуганный Радищевъ принялъ яду, Александръ былъ взволнованъ,

огорченъ; онъ надѣялся еще сохранить для Россіи эту дорогую ей жизнь и послалъ къ больному своего лейбъ-медика. Но было уже поздно: умное и честное слово страдальца-гражданина не раздавалось больше въ законодательной комиссіи; ни у кого не хватило на столько логики и смѣлости, чтобы принять и защитить программу, твердо выставлявшую свои основныя начала, безъ всякой утайки и недобросовѣстныхъ уступокъ *). Между тѣмъ время шло; неудачныя попытки молодыхъ реформаторовъ, не добираясь до корня зла, не привели ни къ чему путному; старые рутинеры съ удовольствіемъ указывали на эти промахи, какъ на доказательство безсилія и неприложимости самыхъ идей; наконецъ, государь утратилъ довѣріе къ своимъ прежнимъ любимцамъ и понемногу сталъ поддаваться другимъ вліяніямъ. Тутъ подошло тильзитское свиданіе. «Ежедневныя бесѣды съ Наполеономъ, съ глазу на глазъ, продолжавшіяся далеко за полночь—говорить г. Ковалевскій—не остались безъ дѣйствія на впечатлительную душу Александра. Правда, онъ расширилъ кругъ его воззрѣнія; представили съ другой точки предметы и людей, но за то окончательно подорвали вѣру въ людей и поколебали то уваженіе къ личности и законности, которое такъ рѣзко отличало его въ началѣ царствованія. Мы думаемъ,

*) Вотъ главныя основанія проекта Радищева: 1) равенство передъ закономъ всѣхъ состояній и отиѣна тѣлеснаго наказанія, 2) уничтоженіе табели о рангахъ, 3) отиѣна въ уголовныхъ дѣлахъ пристрастныхъ допросовъ и введеніе гласнаго судопроизводства и суда присяжныхъ, 4) разрѣшеніе полной вѣротерпимости и устраненіе всего, что стѣсняетъ свободу совѣсти, 5) введеніе свободы книгопечатанія съ извѣстными ограниченіями и ясными постановленіями о степени отвѣтственности, 6) освобожденіе крѣпостныхъ крестьянъ и прекращеніе продажи людей въ рабству, 7) введеніе поземельной подати вмѣсто подушной.

что безъ наполеоновскаго подготовленія Александръ I никогда не рѣшился бы осудить Сперанскаго однимъ своимъ лицомъ, въ стѣнахъ своего кабинета. Незадолго до того писалъ онъ къ княгинѣ Голицыной, просившей его о какомъ-то дѣлѣ, что онъ «въ цѣломъ мірѣ признаетъ только одну власть, — это ту, которая исходитъ изъ закона», — и потому устраняетъ себя отъ участія въ рѣшеніи дѣла». Не забудемъ, что новое ученіе всемірнаго деспота гармонировало вполне съ тѣми преданіями, которыя сохранились въ памяти Александра отъ дней его юности; оно поддерживалось и тѣми недалекими патріотами, которые рукоплескали ссылкѣ Сперанскаго, какъ мнимому освобожденію государя изъ подъ «французскаго вліянія». Война 1812 года, окончившаяся такъ неожиданно-счастливо, и въ особенности знакомство съ баронессой Криднеръ, извѣстной прозелиткой и фанатичкой мистицизма, развили въ характерѣ Александра новую черту: трезвость мысли замѣнилась въ немъ мистическими иллюзіями, посредствомъ которыхъ онъ сталъ объяснять себѣ всѣ явленія какъ своей частной, такъ и обще-европейской политической жизни. Случай способствовалъ успѣху г-жи Криднеръ. Появившись неожиданно въ Гейдельбергѣ, среди глубокой ночи, въ минуту, когда государь съ трепетомъ размышлялъ о новой борьбѣ съ Наполеономъ, только что возвратившимся во Францію изъ своего краткаго изгнанія, — экзальтированная баронесса успѣла убѣдить Александра, что она предвидѣла это роковое событіе и, овладѣвъ вполне направленіемъ его мыслей, успѣла доказать ему, что возвращеніе Наполеона есть тяжкое искупительное наказаніе, постигшее Европу за упадокъ въ ней истинно-христіанскаго религіознаго чувства.

«Криднеръ—разсказывалъ въ послѣдствіи самъ государь—подняла передо мной завѣсу прошедшаго и представила жизнь мою со всѣми заблужденіями тщеславія и суетной гордости; она доказала, что минутное пробужденіе совѣсти, сознаніе своихъ слабостей и временное раскаяніе не есть полное искупленіе грѣховъ; говорила, что сама она была великая грѣшница (баронесса, какъ видно, не пощадила себя и сказала на этотъ разъ совершенную правду: она, дѣйствительно, очень шумно провела свою молодость, а потомъ, какъ всегда бываетъ, вдалась въ противоположную крайность), но что у подножія креста она выстрадала себѣ прощеніе молитвою и горькими слезами». Баронесса Криднеръ навела Александра на мысль—основать въ Европѣ такой политическій союзъ, который согласовался бы вполне съ началами евангелія и служилъ для нихъ убѣжищемъ и защитой. Братъ прусской королевы, знакомый хорошо со всѣми секретами придворной жизни, утверждалъ положительно, что священный союзъ долженъ считаться созданіемъ г-жи Криднеръ; думаютъ даже, что самое названіе «священный союзъ» дано ею и заимствовано изъ какой-то книги пророка Даніила. Въ самомъ дѣлѣ, если сопоставить вышеприведенныя слова Криднеръ, изъ ея гейдельбергской проповѣди, съ тѣми фразами трактата, которыя опредѣляютъ цѣль учрежденія священнаго союза, то нетрудно замѣтить въ нихъ полнѣйшее тождество: кажется, что они вышли изъ одной и той же головы, произнесены одними и тѣми же устами. Криднеръ хлопотала о повсемѣстномъ водвореніи евангельскихъ истинъ, а европейскіе государи, подписавшіе знаменитый трактатъ, обязывались—какъ въ управленіи собственными подданными, такъ

и въ политическихъ отношеніяхъ къ другимъ правительствамъ, руководиться заповѣдями св. евангелія, которыя, не ограничиваясь приложеніемъ своимъ къ одной частной жизни, должны непосредственно управлять волею царей и ихъ дѣяніями». Приобрѣти личное вліяніе на государя, Криднеръ скоро завербовала въ число своихъ послѣдователей князя А. Н. Голицына, сдѣлавшагося въ 1817 г. министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія; ея друзья и родственники заняли видныя мѣста въ центральномъ управленіи училищъ. Настало время библейскихъ обществъ, масонскихъ ложъ и ревностнаго распространенія евангелія на всѣхъ возможныхъ языкахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ начали развиваться мистическія секты самаго безобразнаго свойства и направленія, а наука, которая могла бы поставить границы не въ мѣру экзальтированному чувству, подверглась различнымъ преслѣдованіямъ во всѣхъ своихъ отрасляхъ. Евангельскія начала, лишенные своего внутренняго живительнаго смысла, скоро сдѣлались, въ рукахъ фанатиковъ и интригановъ, удобнымъ орудіемъ для подавленія мысли; выбирая съ предвзятою цѣлью священные тексты, подтасовывая ихъ, какъ шулера подтасовываютъ карты, враги умственнаго развитія желали остановить успѣхи просвѣщенія и съ апломбомъ невѣжества отрицали всѣ лучшія приобрѣтенія современной науки. Уже при самомъ основаніи библейскаго общества замѣтно было, какую узкую дорогу отводить оно для пытливости человѣческаго ума; дальнѣйшія событія показали, что и этотъ тѣсный путь могъ считаться еще очень широкимъ, — и вотъ его, въ видахъ мнимаго благочестія, стали суживать болѣе и болѣе, закидывать камнями, усѣивать терніемъ. Инструкція ученому

комитету, вновь образованному при министерствѣ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, дышетъ уже такимъ откровеннымъ обскурантизмомъ, что отсюда — до дѣятельности Магницкаго и Рунича оставался только одинъ небольшой шагъ. Комитету предписывалось одобрять только тѣ учебныя книги, въ которыхъ факты были избраны и изложены соотвѣтственно съ ретрограднымъ духомъ, господствовавшимъ въ то время. Историческія книги должны были, сколько возможно, «возвѣщать о единствѣ исторіи, столь поучительномъ для ума и сердца учащихся; частое указаніе на дивный и постепенный ходъ богопознанія въ человѣческомъ родѣ и вѣрная синхронистика съ священнымъ бытописаніемъ и эпохами церкви должны напоминать учащимся высокое значеніе и спасительную цѣль науки». Въ преподаваніи естественныхъ наукъ отстраняются «всѣ суетныя догадки о происхожденіи и переворотахъ земнаго шара». Физическія и химическія книги должны распространять полезныя свѣдѣнія «безъ всякой примѣси надменныхъ умствованій, порожденныхъ во вредъ истинамъ, не подлежащимъ опыту и раздробленію». Кромѣ того, комитетъ обязанъ былъ наблюдать, чтобы въ руководства по фізіологіи, патологіи и сравнительной анатоміи «не вкрадывалось ученіе, низвергающее санъ человѣка, внутреннюю его свободу» и пр. и пр. Во всѣхъ этихъ наставленіяхъ наука явно приносится въ жертву постороннимъ для нея цѣлямъ. Что значитъ — «возвѣщать о единствѣ исторіи»; къ чему обязываетъ «частое указаніе на дивный и постепенный ходъ богопознанія»; что это за «надменное умствованіе» и что за «пстыны, не подлежащія опыту» въ естественныхъ наукахъ? Всѣ эти фра-

зы такъ зловѣщи и такъ эластичны, что, при вѣкоторомъ усердіи исполнителей, можно не пропустить въ свѣтъ ни одной печатной книги, сколько нибудь удовлетворяющей научнымъ требованіямъ; благодаря имъ, политическая исторія утрачиваетъ всякое самостоятельное значеніе и обращается въ излишній придатокъ къ исторіи церкви; естественныя же науки подрубаются въ самомъ корнѣ, такъ какъ изъ нихъ тщательно удалены сомнѣніе и опытъ. Можно было предвидѣть, къ какимъ послѣдствіямъ придутъ члены ученаго комитета, взявъ подобную инструкцію за точку своего отправленія. И дѣйствительно, тутъ нечего было думать о томъ, чтобы въ исторіи группировались только тѣ факты, по которымъ можно прослѣдить развитіе общественной мысли и измѣненіе къ лучшему политическихъ формъ (о чемъ заботился В. Попугаевъ въ приведенной нами статьѣ); нечего было стараться вывести естественныя науки на путь строго-логическихъ заключеній, безъ всякой примѣси метафизики (какъ мы видѣли это въ «С.-Петербург. Вѣстникѣ»); опасно было основывать на требованіяхъ природы и указаніяхъ исторіи ту особенную науку—естественное право—которая не пугала умъ и не возмущала ничьей совѣсти только въ тѣ счастливые дни, когда «La politique naturelle» Гольбаха могла появиться въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» почти въ буквальномъ переводѣ. Отъ согласованія исторіи съ «постепеннымъ ходомъ богопознанія», отъ враждебныхъ и рѣзкихъ выходовъ противъ чловѣческаго мышленія вообще—легко уже было дойти до полнаго отверженія всѣхъ наукъ, которыя не могли примкнуть тѣснѣйшимъ образомъ къ церковной исторіи или къ догматическому богословію. И потому нельзя удивляться, что во

времена Магницкаго проф. Никольскій, желая спасти математику отъ грознаго остракизма, навязывалъ ей чисто-богословскія цѣли. «Математику — писалъ этотъ перепуганный и слабоумный профессоръ—обвиняютъ (хорошо это выраженіе: обвиняютъ) въ томъ, что она, требуя на все доказательствъ самыхъ строгихъ, располагаетъ духъ человѣческій къ недовѣрчивости и пытливости... Причиною вольнодумства не математика, а господствующій духъ времени. Въ математикѣ содержатся превосходныя подобія священныхъ истинъ, христіанскою вѣрою возвѣщаемыхъ. Напр., какъ числа безъ единицы быть не можетъ, такъ и вселенная, яко множество, безъ еди наго владыки существовать не можетъ. Начальная аксіома въ математикѣ: всякая величина равна самой себѣ. Главный пунктъ вѣры состоитъ въ томъ, что Единный въ первоначальномъ словѣ своего всемогущества (?) равенъ самому себѣ! Въ геометріи треугольникъ есть первый самый простѣйшій видъ; святая церковь издревле употребляетъ треугольникъ символомъ Господа, яко верховнаго геометра. Двѣ линіи, крестообразно пересѣкающіяся подъ прямыми углами, могутъ быть прекраснѣйшимъ іероглифомъ любви и правосудія. Гипотенуза въ прямоугольномъ треугольникѣ есть символъ срѣтенія правды и мира, правосудія и любви чрезъ Ходатая Бога и человѣковъ, соединившаго горнее съ дольнымъ, небесное съ земнымъ». Въ то время, какъ проф. Никольскій обращалъ чистую математику въ «прекраснѣйшіе іероглифы» или, лучше сказать, въ богословско-мистическое празднословіе, другой профессоръ—анатоміи — съ сокрушеннымъ сердцемъ говорилъ, что «превращеніе труповъ въ скелеты есть необходимость для

науки, весьма жестокая въ отношеніи почтенія нашего къ умершимъ; но сія жестокость должна смягчаться въ благоустроенныхъ заведеніяхъ скрытнымъ производствомъ и благочестивымъ погребеніемъ частей тѣла, отъ костей отпадшихъ». («Матер. для истор. образованія въ Россіи» Сухомлинова, ч. II, стр. 60 и 64).

Если Магницкій водворилъ съ такимъ успѣхомъ новыя начала между профессорами казанскаго университета, — то члены ученаго комитета не меньше преуспѣвали въ сортировкѣ вредныхъ и полезныхъ учебныхъ книгъ. Въ особенности отличались по этой части камеръ-юнкеръ Стурдза и Руничъ (впослѣдствіи попечитель петербургскаго учебнаго округа). Члены комитета осудили даже многія учебныя прописи за помѣщеніе въ нихъ нравственно-философскіе примѣры. Для новаго изданія прописей извлекались примѣры изъ книги: «О подражаніи Христу» и изъ «Чтенія четырехъ евангелистовъ»; изреченій же нравственно-философскихъ комитетъ не допускалъ вовсе, желая и въ прописяхъ ознакомить учащихся съ «единою на потребу, истинною нравственностью христіанскою». Вмѣстѣ съ нравственно-философскими прописями подверглись изгнанію и всѣ философскія книги, неподходящія подъ требованія инструкціи. Въ число этихъ книгъ попали: «Логическія наставленія» профессора петербургскаго университета Лодія, книга подъ названіемъ: «Всеобщая мораль или обязанности человѣка, основанная на его природѣ», «Естественное право» Куницына; даже сочиненіе, приписываемое Еккатеринѣ II-й: «О должностяхъ гражданина и человѣка» найдено неудобнымъ для народныхъ училищъ (для которыхъ оно и было издано въ 1783 г.), такъ какъ въ немъ обя-

занности человѣка основывались на его отношеніяхъ къ обществу. Въ учебникѣ исторіи Кайданова отмѣчены два «сомнительныя мѣста» а именно: «отъ одной пары, Богомъ сотворенной, люди размножились» и вовторыхъ: «гоненіе на христіанъ, бывшее въ Троянско время, должно, кажется, приписать болѣе тому, что послѣдователи ученія христова были смѣшиваемы тогда съ іудеями, производившими вездѣ возмущенія». При осужденіи «Всеобщей морали» и «Естественнаго права» Руничъ высказалъ замѣчательныя мнѣнія. О «Всеобщей морали» онъ говорилъ, что она составлена изъ мнѣній языческихъ и новѣйшихъ философовъ, и цѣль ея состоитъ въ томъ, чтобы научать мнимой добродѣтели, не признавая единственнаго ея источника и, обѣщая блаженство, вести къ заблужденію». О книгѣ Куницына тотъ же неумолимый рецензентъ выразился еще рѣзче: «Она есть ничто иное, какъ сборъ пагубныхъ лжеумствованій, которыя, къ несчастію, довольно извѣстный Руссо ввелъ въ моду и которыя волновали и еще волнуютъ горячія головы поборниковъ правъ человѣка и гражданина, ибо, сличивъ послѣдствія сего философизма во Франціи съ наукою, изложенною Куницынымъ, увидимъ только раскрытіе ея и приложеніе къ гражданскому порядку. Марать былъ ничто иное, какъ искренній и практическій послѣдователь сей науки. Книга Куницына должна быть изъята изъ употребленія по всѣмъ учебнымъ заведеніямъ, ибо публичное преподаваніе наукъ по безбожнымъ системамъ (самъ Куницынъ былъ профессоромъ александровскаго лицея и, при открытіи его, получилъ награду, лично отъ государя, за свою рѣчь) не можетъ имѣть мѣста въ царствованіе государя, даваго тор-

жественный объѣтъ предъ лицомъ всего человѣчества (на-
мекъ на священный союзъ) управлять врученнымъ ему отъ
Бога народомъ по духу слова Божія». Съ особеннымъ удо-
вольствіемъ отвергалъ ученый комитетъ тѣ книги, которыя
были уже одобрены къ употребленію прежнимъ министерствомъ.
Это желаніе отличиться своею бдительностью и благонамѣрен-
ностью, сравнительно съ прежнимъ управленіемъ, было такъ
велико въ ученomъ комитетѣ, что не только отдѣльныя из-
данія бывшаго главнаго правленія училищъ, но и его офи-
ціальный органъ (съ которымъ отчасти знакомы наши чи-
татели), выходившій въ теченіи многихъ лѣтъ подъ назва-
ніемъ: «Періодическое сочиненіе о успѣхахъ народнаго про-
свѣщенія», предложено вывести изъ употребленія, какъ
книгу «опасную по нѣкоторымъ ея мѣстамъ», и замѣнить
ее собраніемъ законовъ и правилъ учебнаго управленія, из-
данныхъ по плану *Almanach de l'université de France*. Но-
вое изданіе однако не состоялось, а въ прежнемъ не сочли
нужнымъ уничтожать опасныя мѣста, находя, что они, по
давности напечатанія и неважности своей, никѣмъ уже не
читаются и, слѣдовательно, не могутъ внушить вольнодум-
ныхъ мыслей юношеству. Стурдза, въ отпоръ зловреднымъ
ученіямъ, въ родѣ тѣхъ, которыя были изложены въ учеб-
номъ курсѣ Куницына, начерталъ свою собственную про-
грамму для преподаванія естественнаго права, такъ сказать,
навыворотъ. По этому начертанію, учебная книга естествен-
наго права раздѣлялась на двѣ части: обличительную
и изложительную. Въ обличительную часть входили
слѣдующія главы: 1) о первобытномъ состояніи человѣка,
будто бы естественномъ; 2) свидѣтельства историческія,

отвергающія эту гипотезу; 3) доводы умственные въ опроверженіе догадки о первобытномъ состояніи и пр. и пр., а въ заключеніе: «доказательства о томъ, что право естественное, по принятому о немъ понятію, недостаточно въ отвертію всѣхъ общественныхъ истинъ и законовъ». Часть изложительную составляли, между прочимъ, слѣдующія главы: 1) о первобытномъ состояніи человѣка по свидѣтельству откровенія и бытописанія древнѣйшихъ народовъ; 2) о несомнѣнности грѣхопаденія; 3) семейство и государство, установленныя самимъ Богомъ чрезъ посредство власти отеческой и т. д. Изъ всѣхъ членовъ ученаго комитета только одинъ Фусъ, извѣстный составитель цензурнаго устава, сохранялъ еще старыя хорошія преданія и пробовалъ возставать, хотя въ робкой, перѣшителной формѣ, противъ новаго ханжества и мракобѣсія, такъ напр., онъ одобрилъ книгу Кунницына и даже призналъ ее достойною поднесенія государю; но голосъ Фуса былъ слабъ, одинокъ и заглушался дружнымъ хоромъ противоположныхъ голосовъ. Вскорѣ началось у насъ и систематическое гоненіе на университеты.

Въ это время баронессы Криднеръ уже не было въ Петербургѣ: какъ ревностная сторонница греческаго возстанія, вспыхнувшаго въ 1821 г., она возбудила противъ себя подозрѣнія Австріи и, въ угоду всецѣльному тогда Меттерниху, была выслана изъ Петербурга. Съ этой минуты Александръ подчинился безраздѣльно совѣтамъ австрійскаго министра, и подчиненіе это было такъ сильно, что, вопреки собственному внутреннему чувству, склонявшему его на сторону грековъ, вопреки представленіямъ своего друга Ка-

подистріи, рускій государь рѣшился оставить безъ всякой помощи «мятежный» народъ, возставшій противъ своего «законнаго» властелина—турецкаго султана. Въ университетскомъ вопросѣ, а по связи съ нимъ, и въ положеніи науки и литературы въ Россіи, сказалось особенно вредно вліяніе Меттерниха.—Было время (въ началѣ царствованія Александра), когда русское правительство признавало свободу ученаго изслѣдованія необходимымъ условіемъ не только для развитія просвѣщенія, но и для поднятія народной нравственности. М. Н. Муравьевъ, первый «попечитель» московскаго округа и товарищъ министра народнаго просвѣщенія, объяснялъ свободой научнаго мнѣнія умственное превосходство протестантской Германіи въ сравненіи съ католическою. «Протестантскія земли,—писалъ онъ—гдѣ царствуетъ разумная свобода въ разбирательствѣ мнѣній, отличаются общимъ распространеніемъ просвѣщенія и благонравія. Въ сихъ послѣднихъ родились великіе писатели, которые возвысили нѣмецкій языкъ до соперничества съ французскимъ и англійскимъ. Австрія и Баварія не могутъ ничего противоположить славнымъ именамъ Лессинга, Виланда и Клопштока». Но съ перемѣной политическихъ условій, австрійскіе порядки, усовершенствованные Меттернихомъ, стали приниматься у насъ, какъ образецъ для подражанія.

Австрійское министерство обрушилось на университеты всею тяжестью различныхъ ограниченій, тайнаго и явнаго соглядатайства, послѣ извѣстнаго вартбургскаго праздника и послѣдовавшаго затѣмъ убійства Коцебу. На карлсбадскихъ конференціяхъ, созванныхъ въ виду всеобщаго потрясенія умовъ въ Германіи, нѣмецкія правительства, подъ ру-

ководствомъ Меттерниха, обратили особенное вниманіе на свободу университетскаго обученія, считая ее чуть ли не главнымъ источникомъ враждебнаго духа, который обнारужился, съ значительной силою, во всѣхъ образованныхъ слояхъ нѣмецкаго общества. На самомъ же дѣлѣ, конечно, не эта свобода была причиною антиправительственныхъ демонстрацій, а неисполненіе обѣщаній, торжественно данныхъ народу нѣмецкими государями въ эпоху, трудную для ихъ правительствъ. «Четыре года протекло со времени лейпцигской битвы — говорили прямо вартбургскіе патріоты, — въ продолженіи которыхъ нѣмецкій народъ жилъ самыми свѣтлыми надеждами, но всѣ онѣ оказались напрасными: многое пошло иначе, нежели мы ожидали; намѣренія великія и прекрасныя остались безъ исполненія; благородныя, святыя чувства попораны, осмѣяны, опозорены; обѣщанія, данныя въ минуту горя, не сдержаны». Тѣмъ не менѣе, университеты признаны во всемъ виновными, и противъ профессоровъ приняты мѣры, какъ противъ государственныхъ преступниковъ. Малѣйшій оппозиціонный оттѣнокъ въ преподаваніи лишалъ профессора его катедры; изгнанный изъ одного университета преподаватель не могъ уже занимать катедры ни въ какомъ изъ союзныхъ государствъ. Карлсбадскія конференціи, подозрительность и осторожность нѣмецкихъ властей подѣйствовали и на Россію. И у насъ, при всемъ затишѣ академической жизни, нашлись охотники утверждать, что университеты суть главные очаги революціи, которая уже готовится и не замедлитъ вспыхнуть, если государственные люди не предупредятъ ее своевременными «мѣропріятіями». Александра старались увѣрить, что ему угро-

жастъ такая же опасность, какъ и нѣмецкимъ государямъ. Стурдза открыто выражалъ мнѣніе, что въ университетахъ «необузданная» молодежь отвергаетъ спасительную власть закона и предается всякаго рода крайностямъ и безнравственнымъ порывамъ; профессоры хлопочутъ только о популярности и враждуютъ съ религіей; медицина «думаетъ своимъ анатомическимъ ножомъ проникнуть въ святилище души», а юридическія науки проповѣдуютъ революцію и право сильного. «Доколѣ по окровавленной Европѣ — вопилъ союзникъ Стурдзы, Магницкій — какъ орды дикихъ, устремлялись народы просвѣщенные одинъ на другого; доколѣ лилась кровь рѣками, и адская политика прикрывала именемъ мира только отдыхъ свой для новыхъ жесточайшихъ разрушеній, — духъ злобы оставался со всѣхъ другихъ сторонъ покойнымъ. Но когда водворился общій миръ, когда миръ сей запечатлѣнъ именемъ Иисуса, когда государи европейскіе сами поставили себя въ невозможность его нарушить, взволновались университеты, являются изступленные безумцы, требующіе смерти, труповъ, ада! Что значить неслыханное сіе въ исторіи явленіе?.. Самъ князь тьмы видимо подступилъ къ намъ; рѣдѣетъ завѣса, его окружающая... Слово человеческое есть проводникъ адской силы, книгопечатаніе — орудіе его; профессоры безбожныхъ университетовъ передаютъ мношеству тонкій ядъ невѣрія и ненависти къ законнымъ властямъ, а тисненіе разливаетъ его по всей Европѣ». Такія подозрительныя замѣчанія, такіе тяжкіе извѣты на науку случалось и прежде слышать русскому государю. При обсужденіи проекта alexандровскаго лица,

Жозефъ де Местръ, бывшій тогда сардинскимъ посланникомъ при русскомъ дворѣ, опасно предупреждалъ русское правительство, что оно напрасно вводитъ въ новоучреждаемомъ заведеніи преподаваніе естественныхъ и политическихъ наукъ. Сильно вооружался онъ противъ ученія о физическомъ образованіи земли. «Библии—писалъ де-Местръ—совершенно достаточно, чтобы знать, какимъ образомъ произошла вселенная: подъ предлогомъ же различныхъ теорій о происхожденіи міра будутъ наполнять молодыя головы космогоническими бреднями новѣйшаго издѣлія». Отрицая пользу изученія правъ, де-Местръ утверждалъ, что въ первой юности надо знать только три вещи касательно общественнаго устройства: первое,—что Богъ сотворилъ человѣка для общества, второе,—что для общества необходимо правительство,—третье, что каждый обязанъ повиноваться властямъ и быть готовымъ запечатлѣть смертью вѣрность и преданность своему государю. Опасенія де-Местра не были, къ счастью, услышаны, и въ программѣ лицейскаго курса мы находимъ какъ различныя теоріи о происхожденіи земли, такъ и естественное право, столь пугавшее сердобольнаго сардинскаго мудреца. Но тѣ же мысли, высказанныя въ другое время кн. Голицынымъ, Магницкимъ, Стурдзою и Руничемъ, произвели совершенно другой эффектъ,—и необходимость научнаго преподаванія, даже польза существованія университетовъ, какъ центровъ высшаго образованія, были подвергнуты тягостному сомнѣнію. Магницкій, открывъ бездну провинностей въ казанскомъ университетѣ, приговорилъ его къ «публичному разрушенію»; также строго осужденъ былъ Руничемъ петербургскій университетъ. Правда, не всѣ честные

люди молчали при видѣ убійственныхъ ампутацій, совершаемыхъ надъ русскимъ просвѣщеніемъ:—Уваровъ, попечитель петербургскаго университета, обвиненный косвенно въ по-творствѣ вреднымъ ученіямъ, Парротъ, профессоръ дерптскаго университета, пользовавшійся личной дружбой императора, старались разъяснить правительству настоящее значеніе всѣхъ принимаемыхъ мѣръ и указать гибельные ихъ результаты. Уваровъ говорилъ, что—«друзья мрака присвоиваютъ себѣ самыя священныя имена, чтобы захватить власть и подкопать порядокъ въ самомъ основаніи; они утверждаютъ, что защищаютъ троны и алтари противъ нападеній несуществующихъ и въ тоже время набрасываютъ подозрѣніе на истинныя опоры алтаря и трона... они—искусные актеры, надѣвающие всевозможныя маски, чтобы смутить всѣ совѣсти, встревожить всѣ умы». Парротъ выражался еще энергичнѣе въ своей запискѣ (*Coup d'oeil moral sur les principes actuels de l'instruction publique*) о неизбежныхъ послѣдствіяхъ тѣхъ реформъ, которыя готовились казанскому университету: «по внѣшности—писалъ онъ государю—университетъ сохранить нѣкоторый порядокъ, но внутри это будетъ клоака всякой безнравственности до тѣхъ поръ, пока наконецъ начальство не обратитъ на нее вниманія». При этомъ онъ припоминалъ Александру его собственныя слова («Я не хочу—говорилъ прежде государь—чтобы общественное воспитаніе лишало молодежь энергіи, точно также, какъ я не хочу имѣть слабодушныхъ въ государственной службѣ») и доказывалъ, что люди, прикрывающіеся религіей, поставили себѣ задачею сдѣлать русскихъ рабами—рабами въ правленіе государя, который всегда желалъ царство-

вать «надъ людьми, а не надъ истуканами». Александръ выслушивалъ все это, пытался сбросить съ себя тяжелое иго, наложенное на него мнимо-преданными слугами, пробовалъ ограничить ихъ самозванное усердіе; но скоро ослабѣвалъ въ этой внутренней борьбѣ, впадалъ снова въ уныніе, настраиваясь на мистическія мысли,—и дѣло шло своимъ прежнимъ чередомъ...

ХІІ.

Постепенное стѣсненіе правъ журналистики.—Роль министерства полиціи.—Обсужденіе вопроса о крѣпостномъ правѣ.—Столкновеніе Карамзина и Жуковскаго съ цензурою.—Литературныя попонзновенія цензоровъ.—Цензоръ Красовскій, исправляющій слогъ кн. Вяземскому.—Критическія замѣчанія его на стихотвореніе Олина.—Недовольненіе журнала Александру Бестужеву.—Преслѣдованіе и запрещеніе «Духа Журналовъ».

Всѣ обстоятельства, изложенныя нами, касались ближайшимъ образомъ судьбы прессы, какъ самаго чуткаго нерва въ общественномъ организмѣ. Настроеніе правительства выражалось всего опредѣленнѣе въ дѣятельности министерства народнаго просвѣщенія; гоненіе на университеты было, вмѣстѣ съ тѣмъ, гоненіемъ на литературу вообще — на книги и на журналы — такъ какъ цензура сосредоточивалась въ университетахъ и подчинялась, въ высшей инстанціи, главному правленію училищъ. Составъ профессоровъ, которые были обыкновенно—хотя и не исключительно—цензорами; духъ, господствовавшій въ главномъ правленіи училищъ, между высшими судьями цензурнаго вѣдомства—всѣ

эти вопросы были весьма существенны для развитія журналистики, которая, не имѣя за собой поддержки сильнаго общественнаго мнѣнія, была совершенно беззащитна предъ лицомъ строгой и придирчивой власти.

Первой попыткой стѣснить права журналистики — слѣдуетъ считать подчиненіе ея высшему надзору министерства полиціи *). Это министерство, учрежденное въ 1811 г., съ генераломъ Балашовымъ во главѣ, имѣло, между прочимъ, своею цѣлью «цензурную ревизію», которая и была отнесена къ обязанностямъ канцеляріи министерства полиціи. Министерство полиціи наблюдало за тѣмъ, чтобы не обращались въ публичнѣ книги и журналы безъ правительственнаго дозволенія; оно разрѣшало къ напечатанію всѣ «афиши и объявленія» (подъ этотъ пунктъ подошли и объявленія объ изданіи журналовъ); кромѣ того, ему предоставлялся, до извѣстной степени, контроль надъ самою цензурою, и главный начальникъ полиціи, «усмотрѣвъ въ книгахъ, уже пропущенныхъ цензурою, поводъ къ превратнымъ толкованіямъ, общему порядку и спокойствію противнымъ», могъ сноситься объ этомъ съ министерствомъ народнаго просвѣщенія или же представлять все дѣло непосредственно на высочайшее усмотрѣніе.

Подчиненіе цензуры министерству полиціи вызвало, съ перваго же разу, недоразумѣнія между нимъ и министерствомъ народнаго просвѣщенія. Приступивъ къ организаціи новаго министерства, генералъ Балашовъ задумалъ основать при своей канцеляріи особый комитетъ для «цензурной ревизіи». Предположеніе это было внесено въ комитетъ минист-

* Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи, стр. 21—23.

стровъ, который отнесся къ нему вполне одобрительно. Но графъ Разумовскій, министръ народнаго просвѣщенія, почему-то не присутствовавшій въ этомъ засѣданіи комитета министровъ, сдѣлалъ письменныя замѣчанія на сообщенный ему проектъ полицейскаго цензурнаго комитета. Разумовскій не усматривалъ въ наказѣ министерству полиціи достаточнаго повода для подобнаго учрежденія. «По предложенію генерала Балашова—писалъ онъ въ своей оффиціальной запискѣ—возлагается на комитетъ обязанность просматривать вновь всѣ выходящія на руссійскомъ языкѣ книги и сочиненія, хотя бы они и были одобрены цензурою. Сею статьею, состоящею въ вѣдѣніи министерства народнаго просвѣщенія, цензурныя комитеты совершенно лишаются сдѣланной имъ уставомъ о цензурѣ довѣренности, и дѣйствіе ихъ становится излишнимъ. Слова 2-й ст. § 84 высочайше утвержденнаго учрежденія министерства полиціи: «если министръ полиціи усмотритъ» и пр., не могли содержать въ себѣ ту мысль, чтобы всѣ сочиненія были вновь разсматриваемы въ министерствѣ полиціи, и означаютъ, по моему мнѣнію, только: «если дойдетъ до свѣдѣнія министра полиціи» и проч. Но всѣ эти «пререванія», всѣ заботы министерства народнаго просвѣщенія спасти свою самостоятельность по части цензирования и пропуска книгъ, не повели ни къ чему; замѣчанія Разумовскаго были даже доложены государю статсъ-секретаремъ Молчановымъ не ранѣе, какъ черезъ три мѣсяца. Генералъ Балашовъ былъ тогда въ большой силѣ, и министерство полиціи начало такъ цензуровать самихъ цензоровъ. Въ судьбѣ «Духа журналовъ», съ которой мы намѣрены познакомиться нашихъ читателей, министерство полиціи играло не-

маловажную роль. Подобное усиленіе цензурной бдительности показывало уже, что правительство начинает колебаться въ своемъ сочувствіи къ литературѣ и перестаетъ раздѣлять нѣкогда высказанную имъ мысль: «строгость цензуры всегда влечетъ за собою пагубныя послѣдствія, истребляетъ искренность, подавляетъ умы и, погашая священный огонь любви къ истинѣ, задерживаетъ развитіе просвѣщенія». Съ теченіемъ времени, правительство все дальше и дальше отходило отъ этой мысли, и количество цензурныхъ дѣлъ увеличивалось въ соотвѣтственной степени. При этомъ возникала нерѣдко полемика между цензурнымъ комитетомъ и авторами, нежелавшими подвергаться безапелляціонно цензурнымъ строгостямъ; цензоры, обвиняемые въ либерализмъ за пропускъ нѣкоторыхъ статей, тоже не отмалчивались, а старались оправдать свои дѣйствія, ссылаясь на либеральныя мѣры самого правительства и растолковывая цензурный уставъ въ выгодномъ для литературы смыслѣ. Приносить эти оправданія было тѣмъ удобнѣе, что правительство не отличалось послѣдовательностью, и, давая одною рукою либеральныя реформы (какъ напримѣръ конституцію въ Польшѣ), другою рукою задерживало послѣдствія, естественно изъ нихъ вытекающія. Въ самомъ государѣ, какъ сказали мы, постоянно жили и боролись два противоположныя начала: преданія юности, мысли, внушенныя Лагарпомъ, и позднѣйшія вліянія, новые опыты государственной жизни. Сталкиваясь въ его душѣ, эти различныя теченія мыслей попеременно брали верхъ, но никогда не подавляли, не изглаживали окончательно одно другое. Шишковъ,—стоявшій близко къ государю со времени назначенія своего государственнымъ

секретаремъ и еще болѣе забравшій силу послѣ паденія министерства Голицына, когда предусмотрительный Аракчеевъ вручилъ ему вакантный министерскій портфель,—этотъ неуклюжій, но сметливый интриганъ замѣчалъ внутреннія боренія государя и старался оклеветать въ его глазахъ либеральныя идеи, называя ихъ прямо, на своемъ странномъ жаргонѣ, «порожденіями ада». Революція въ Испаніи и въ Неаполѣ (въ 20-хъ годахъ), казалось, помогала Шишкову дѣйствовать въ духѣ обскурантизма, и Александръ, по его словамъ, «пересталъ помышлять о дарованіи вольности народу, о соединеніи всѣхъ вѣръ, о новой философіи, подъ именемъ высокихъ таинствъ, разрушавшей всѣ связи обществъ, и другихъ подобныхъ сему мечтаніяхъ; случай, подавшій поводъ къ перемѣнѣ министерства народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, казалось, открылъ ему злонамѣренность тѣхъ правилъ, которыми доселѣ послѣдовалъ онъ съ такою ревностью». Но и тутъ надежды Шишкова оказались преувеличенными. «Привязанность—говоритъ онъ съ грустью обманутыхъ упованій—или какъ бы нѣкая страсть государя къ прежнимъ своимъ дѣяніямъ и образу мыслей, не взирая на силу опытовъ и убѣжденій, не могла въ немъ истребиться, такъ что, казалось, онъ, самъ съ собою борясь, увлекался попеременно то тѣми, то другими мыслями. Очевидность (?) доказательствъ и сильныя мои настоянія принуждали его соглашаться на предпріемлемыя мною мѣры, но онъ разрушалъ ихъ тайнымъ образомъ. Подѣлу пастора Госнера, отдавъ Попова (директора департамента народнаго просвѣщенія) подъ судъ, уговаривалъ Милорадовича, чтобы онъ старался оправдать его». (См. Зап. Шишкова, стр. 110—11). Только

этою непоследовательностью, этими колебаниями правительства, объясняется тот поразительный фактъ, что либеральныя идеи, гонимыя въ одномъ журналѣ, спокойно пересекаются въ другой, высказываются устами высокопоставленныхъ лицъ, переходятъ даже въ официальные акты... Въ то время, какъ двойственная цензура—министерства народнаго просвѣщенія и министерства полиціи—угнетаетъ «Духъ журналовъ» за его конституціонное направленіе, Александръ въ Варшавѣ говоритъ польскимъ депутатамъ: «законно-свободныя постановленія, коихъ священныя начала смѣшиваютъ съ разрушительнымъ ученіемъ, угрожающимъ въ наше время бѣдственнымъ паденіемъ общественному устройству, не суть мечта опасная; напротивъ, таковыя постановленія, когда приводятся въ исполненіе по правотѣ сердца и направляются съ чистымъ намѣреніемъ къ достиженію полезной и спасительной для человѣчества цѣли, то совершенно согласуются съ порядкомъ, и общимъ содѣйствіемъ утверждаютъ истинное благоденствіе народовъ». (См. Сынъ Отеч. 1818 г. № 18). Въ томъ же году графъ Уваровъ, президентъ академіи наукъ и попечитель петербургскаго учебнаго округа, въ торжественномъ собраніи главнаго педагогическаго института, произноситъ рѣчь, въ которой называетъ политическую свободу «последнимъ и прекраснѣйшимъ даромъ Бога»; опасности и бури, сопровождающія эту свободу, не должны, по мнѣнію оратора, устрашать людей: великій даръ природы «сопряженъ съ большими жертвами и съ большими утратами», онъ пріобрѣтается медленно и сохраняется лишь неуспынною твердостью. Но тотъ же графъ Уваровъ, заботившійся о развитіи у насъ политической жизни, предписы-

валъ цензурному комитету' «обратить вниманіе на выписки изъ листовъ (т. е. изъ иностранныхъ газетъ) и на рѣчи членовъ оппозиціи въ англійскомъ парламентѣ», помѣщаемыя въ нашихъ журналахъ,—между тѣмъ какъ эти выписки были для массы читателей единственнымъ средствомъ ознакомиться, хоть сколько нибудь, съ движеніемъ политическихъ идей въ Западной Европѣ. Быть можетъ, графъ Уваровъ повиновался въ этомъ случаѣ какому нибудь постороннему внушенію; но можно также полагать, что онъ и самъ не замѣчалъ противорѣчій между своими словами и дѣйствіями. Такія противорѣчія встрѣчались ежеминутно, и если, въ началѣ царствованія, они помѣшали полному торжеству «либеральнаго направленія», то, съ переменною обстоятельствомъ, они же спасли хоть частицу его отъ окончательнаго изгнанія изъ литературы и общества...

Вопросъ о крѣпостномъ правѣ былъ всегда подводнымъ камнемъ для нашихъ авторовъ и цензоровъ. Слухъ о личномъ нерасположеніи государя къ крѣпостной зависимости крестьянъ не могъ не распространиться въ публикѣ; нѣкоторыя мѣры правительства, очевидно, подтверждали этотъ слухъ—и болѣе рѣшительные писатели, увлекаясь желаніемъ содѣйствовать хорошему намѣренію высшихъ властей, пытались затрогивать, въ той или другой формѣ, отживающій и уже осужденный принципъ. Но въ правительствѣ и въ цензурѣ мнѣнія на этотъ счетъ далеко не сходились, и то, что казалось одному цензору «благоразумнымъ изслѣдованіемъ» истины, то самое представлялось другому «неприличнымъ и неумѣстнымъ разсужденіемъ». Мы видѣли уже, что книга Пнина, осуждавшая въ прямыхъ выраженіяхъ

крѣпостное право, была признана цензурою за опасную попытку «разгорячить умы и воспалить страсти». Подобная же судьба постигла и книгу Валеріана Стройновскаго: «Объ условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами», изданную въ 1780 г. въ Вильнѣ и переведенную Анастасевичемъ съ польскаго на русскій языкъ. Авторъ этой книги нападаетъ на поляковъ, своихъ соотечественниковъ, за то, что они отвергнули въ 1780 г. проектъ уничтоженія крѣпостнаго права и даже теперь, т. е. въ годъ изданія книги, не хотятъ согласиться съ простою мыслью, что человѣкъ не можетъ быть собственностью другого человѣка, какъ быкъ или лошадь; но не смотря на это, Стройновскій, убѣжденный въ томъ, что помѣщики поймутъ рано или поздно необходимость освободить своихъ крестьянъ, рассматриваетъ условія, которыми должны будутъ опредѣляться новыя поземельныя отношенія. Къ переводу этой книги Анастасевичъ присоединилъ свое предисловіе, въ которомъ, вслѣдъ за историческими примѣрами, почерпнутыми изъ «Древней російской Библіотеки», было, между прочимъ, сказано: «знающій отечественную исторію удобно припомнить, что желаніе свободы крестьянамъ, еслибы оно когда либо исполнилось, было бы только возвращеніе имъ того блага, которымъ они наслаждались не въ слишкомъ давнія времена, т. е. менѣе двухсотъ лѣтъ». Книга эта не понравилась многимъ защитникамъ стараго порядка, и толки о ней сдѣлались такъ громки и такъ внушительны, что Сперанскій, который самъ не сочувствовалъ крѣпостному праву, приказалъ однако Анастасевичу, служившему подъ его начальствомъ въ комиссіи составленія законовъ, подать просьбу объ отставкѣ; только внезапная

ссылка Сперанскаго помѣшала увольненію Анастасевича. Между тѣмъ правительство продолжало высказываться въ пользу уничтоженія безчеловѣчнаго права. Въ 1816 году утверждено было новое положеніе для эстляндскихъ крестьянъ, которое вскорѣ было принято и въ Курляндіи. Черезъ два года новая мѣра была введена въ Лифляндіи и, по этому случаю, государь сказалъ лифляндскому дворянству: «Радуюсь, что вы оправдали мои желанія; вашъ примѣръ достоинъ подражанія. Вы дѣйствовали въ духѣ времени и поняли, что либеральныя начала одни могутъ служить основою счастія народовъ». Присоединеніе Псковской губерніи къ Остзейскому краю показало еще разъ, что государь не отказывался отъ своей любимой мысли—упразднить крѣпостное право въ русскихъ губерніяхъ — и хотѣлъ уже, повидимому, начать первый опытъ. Несмотря на все это, ближайшія къ литературѣ власти не одобряли печатнаго обсужденія щекотливаго вопроса и пользовались всякимъ случаемъ стѣснить его или устранить совсѣмъ. Удобный случай представился. Кочубей продалъ крестьянъ помѣщику Кырьякову, который перевелъ ихъ изъ Полтавской губерніи въ Херсонскую. Крестьяне не хотѣли повиноваться и не покорились даже и тогда, когда покушникъ отъ нихъ отказался, и они остались за прежнимъ помѣщикомъ. Предписано было наказать виновныхъ при собраніи сосѣднихъ помѣщичьихъ крестьянъ. Но всѣ увѣщанія чиновниковъ, представлявшихъ крестьянамъ пагубныя послѣдствія своевольства, всѣ угрозы лицъ, совершавшихъ наказаніе, не произвели никакого дѣйствія: крестьяне сохраняли совершенное спокойствіе, но не соглашались признать помѣ-

щичью власть, и не приняли даже хлѣба и другихъ вспомоствованій, присланныхъ имъ отъ имени помѣщика. Изъ этого поступка крестьянъ, въ самомъ дѣлѣ довольно значительнаго, крѣпостники сочинили цѣлое пугало: сейчасъ же были отправлены циркуляры къ попечителямъ округовъ, чтобы цензура не пропускала, ни подъ какимъ видомъ, сочиненій, трактующихъ о состояніи крѣпостныхъ крестьянъ въ Россіи. Самое возмущеніе крестьянъ приписывалось мѣстнымъ губернаторомъ вліянію одной статьи (!) помѣщенной въ «Историческомъ, географическомъ и статистическомъ журналѣ», выходившемъ въ Москвѣ, хотя книжка спеціальнаго, мало читаемаго журнала могла развѣ чудомъ какимъ попасть въ хаты полтавскихъ крестьянъ, да и попавши туда, по такому чрезвычайному случаю, врядъ ли могла бы произвести то впечатлѣніе, на которое, совершенно бездоказательно, указывалъ губернаторъ. Дѣло въ томъ, что статья эта, переведенная съ нѣмецкаго и носящая названіе: «Взглядъ на успѣхи земледѣлія и благосостоянія въ Россійскомъ государствѣ» («Истор. журналъ» на 1820 г. ч. 2, кн. 1, стр. 18—32) представляетъ сама по себѣ очень скромное и сдержанное разсужденіе на тему «постепенной» отмѣны рабства въ Россіи. Статьи такого характера проскальзывали не разъ въ русскихъ журналахъ и никогда не отражались, внезапно и непосредственно, на умственномъ настроеніи поголовно-безграмотныхъ людей; онѣ читались развѣ нѣкоторыми помѣщиками (тоже не отличавшимися особенной страстью къ литературному чтенію), читались съ злобой или неудовольствіемъ, и затѣмъ, какъ водится, прятались подалѣе отъ прислуги. Даже прочтенныя двумя-

трем грамотными крестьянами (а такие крестьяне составляли, конечно, рѣдкое исключеніе), статьи эти, по своему умѣренному характеру, никакъ не могли бы воспламенить слишкомъ пылкихъ и преувеличенныхъ надеждъ. «Прочнымъ залогомъ благосостоянія Россіи—такъ разсуждаетъ авторъ поминутаго «Взгляда»,— слѣдуетъ считать открытіе училищъ. Въ царствованіе императора Александра учреждено пять университетовъ, пятьдесятъ восемь гимназій и сто уѣздныхъ училищъ, кромѣ множества народныхъ школъ». Все это способствуетъ возведенію Россіи на высшую степень благосостоянія; но, вмѣстѣ съ открытіемъ училищъ, правительство также подумало и о томъ, чтобы «доставить крестьянамъ большую гражданскую свободу и даровать въ полной мѣрѣ права и преимущества, приличныя имъ, какъ существамъ разумнымъ». Многіе крѣпостные получили уже свободу, съ согласія своихъ господъ, за денежное вознагражденіе; государь «позволялъ имъ покупать свою свободу»; кромѣ того, «постепенное уничтоженіе крѣпостнаго права начато административными мѣрами на окраинахъ государства, откуда исподоволь можетъ распространиться и во внутреннія области Россіи». За эту скромную статью,—которая только указывала на значеніе правительственной мѣры, уже принятой въ остзейскомъ краю и нигдѣ не взбунтовавшей крестьянъ,—профессоръ Черепановъ былъ удаленъ отъ званія цензора, а такъ какъ, по уставу, оно соединялось съ должностію декана, то запрещено было выбирать Черепанова и въ деканы.

Область литературнаго обсужденія стѣснялась мало-помалу, и изъ нея произвольно исключались то тѣ, то другіе

предметы, такъ что журналистамъ становилось, наконецъ, невообразимо трудно выбирать безобидныя матеріи для своихъ бесѣдъ съ публикою. Въ нѣкоторыхъ журналахъ печатались напр. театральныя рецензіи. Но въ 1815 г. гр. Разумовскій, по поводу этихъ статей, далъ отзывъ, что «сужденія о театрахъ и актерахъ позволительны только тогда, когда бы оны зависѣли отъ частнаго содержателя, но сужденія объ императорскихъ театрахъ и актерахъ, находящихся въ службѣ его величества, онъ почитаетъ неумѣстными». Такимъ образомъ, актеры поставлены были на одну доску со всѣми коронными чиновниками, о дѣйствіяхъ которыхъ не допускалось никакихъ литературныхъ толковъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, т. е. при оцѣнѣ дѣйствій различныхъ должностныхъ лицъ, цензура была особенно бдительна и видѣла непозволительную дерзость даже въ самыхъ невинныхъ замѣчаніяхъ литературы. Въ 1817 г. въ «Казанскихъ извѣстіяхъ», издававшихся при тамошнемъ университетѣ, помѣщены были слѣдующія строки о бывшемъ вице-губернаторѣ Гурьевѣ: «Ревностнымъ исправленіемъ трудныхъ обязанностей онъ снискалъ любовь и почтеніе людей благомыслящихъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ навлекъ на себя недоброжелателей по естественному ходу вещей. Гдѣ достоинство, тамъ и зависть». Этотъ глухой намебъ на недоброжелателей вызвалъ неудовольствіе со стороны министра полиціи, который сообщилъ министру просвѣщенія, что онъ находитъ «неприличнымъ, чтобы въ вѣдомостяхъ помѣщаемы были сужденія о служащихъ или уволенныхъ отъ службы чиновникахъ». Два слова о недоброжелателяхъ, о достоинствѣ и зависти, изъ которыхъ даже и понять-то ничего нельзя было,

признаны сужденіемъ, и притомъ «неприличнымъ». Журналы наши, въ первую половину царствованія Александра, помѣщали иногда извлеченія изъ тяжбныхъ и вообще судебныхъ дѣлъ; но въ началѣ 1817 г. возбуждено сомнѣніе: вправѣ ли печать касаться этихъ вопросовъ, и гр. Разумовскій, положилъ, по поводу его, такую резолюцію: «по уставу о цензурѣ, въ числѣ представляемыхъ къ разсмотрѣнію цензурнаго комитета книгъ и сочиненій, не упоминается нигдѣ о подобныхъ запискахъ по частнымъ дѣламъ», почему министръ просвѣщенія заключилъ, что «писать объ этихъ предметахъ не дозволено» — и заключилъ такъ вопреки основному юридическому правилу, что всё, незапрещенное положительнымъ закономъ, дозволено имъ. Приказаніе, своевольно отданное гр. Разумовскимъ, было неоднократно подтверждаемо кн. Голицынымъ и сдѣлалось, наконецъ, руководящимъ постановленіемъ для цензуры. Исключеніе изъ этого правила, составляли западныя губерніи, въ которыхъ судопроизводство совершалось на основаніи литовскаго статута, допускавшаго адвокатуру и опубликованіе процессовъ. Но по поводу одного дѣла, распубликованнаго въ журналахъ въ 1818 г., два министра—полиціи и просвѣщенія—дѣйствуя сообща, потребовали объясненія отъ попечителя вилenskaго округа, кн. Чарторижскаго. Последній отвѣтилъ Голицыну, что запрещеніе печатать адвокатскія мнѣнія было бы противно дѣйствующему въ краѣ законодательству, а подчиненіе ихъ предварительной цензурѣ невозможно, потому что мнѣнія эти «должны быть предаваемы тисненію немедленно; часто ихъ печатаютъ въ то время, когда на нихъ въ судѣ дѣлается возраженіе со стороны противной

партіи, и зміненіе такого порядка, съ цѣлю подвергать ихъ предварительному просмотру цензуры, произвело бы неблагопріятное впечатлѣніе». «Голоса адвокатовъ—писать Чарторижскій — уважаются, какъ офіціальныя письма, за кои адвокаты отвѣтствуютъ передъ тѣмъ же судомъ, передъ коимъ ихъ читають». Объясненіе виленскаго попечителя было сообщено министру юстиціи, кн. Лобанову, который отозвался, что, по его мнѣнію, «нѣтъ достаточнаго основанія возбранять въ присоединенныхъ губерніяхъ печатаніе записокъ адвокатовъ». Впрочемъ право это, какъ несомнѣнное съ тогдашнимъ ходомъ дѣлъ, продержалось долго: въ 1825 году, по представленію в. к. Константина Павловича, оно было уничтожено. Кромѣ того, во время управленія министерствомъ кн. Голицына, въ цензурной практикѣ возникла мысль о предварительномъ просмотрѣ статей тѣми вѣдомствами, до которыхъ онѣ касались. По поводу одной статьи *) объ откупахъ, помѣщенной въ «Духѣ журналовъ» 1817 г., кн. Голицынъ предписалъ цензурнымъ комитетамъ—«не пропускать ничего, относящагося до правительства, не испросивъ прежде на то согласія отъ министерства, о предметѣ котораго въ книгѣ разсуждается». Это распоряженіе повторялось потомъ неоднократно и породило, независимо отъ общей цензуры, множество спеці-

*) Въ статьѣ этой (№ 3) предлагалось, для сохраненія миллионъ, похищаемыхъ у казны откупщиками, замѣнить откупъ налогомъ на винокуреніе. «Можетъ быть, покажется—говоритъ авторъ—что не поставлено въ семъ начертаніи никакой преграды чрезмѣрному размноженію винокурения. На сіе имѣю честь представить, что тѣмъ невидимѣе стражъ, тѣмъ сильнѣе его дѣйствіе, а этотъ стражъ есть интересъ и наблюденіе своихъ выгодъ, ибо, еслибы винокуреніе умножилось сверхъ нужной пропорціи на расходъ, то вино останется непроданнымъ».

альных цензуръ по разнымъ вѣдомствамъ: каждое государственное управленіе пожелало воспользоваться этимъ важнымъ правомъ, и цензурное дѣло подчинилось еще большому количеству постороннихъ вліяній. Но несмотря на всѣ предосторожности, принятія противъ литературы, правительственные лица постоянно находили, что журнальныя статьи все еще недостаточно выправляются бдительною рукою цензоровъ. Маркизъ Паулуччи, бывшій въ двадцатыхъ годахъ рижскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ, представлялъ самому государю, что «публичныя листы и вѣдомости, присвоивъ себѣ право судить о политическихъ отношеніяхъ и пользуясь большимъ числомъ читателей во всѣхъ сословіяхъ, имѣютъ величайшее вліяніе на мысли и сужденія, и производить заблужденія, которыя весьма трудно истребить изъ общаго мнѣнія». Записка маркиза была читана въ комитетѣ министровъ и заслужила всеобщее одобреніе.

Невыгодное положеніе печатнаго слова вообще—отражалось даже на литературной дѣятельности такихъ лицъ, которыхъ, повидимому, трудно было бы заподозрить въ политической неблагонадежности. Карамзину, какъ извѣстно, было высочайше разрѣшено печатать свою исторію безъ цензуры, и она печаталась такимъ порядкомъ въ военной типографіи. Но въ 1816 г. дежурный генералъ А. А. Закревскій приостановилъ печатаніе, требуя цензурнаго дозволенія. Карамзинъ жаловался на это министру народнаго просвѣщенія. «Академики и профессоры, писалъ онъ, не отдають своихъ сочиненій въ публичную цензуру; государственный исторіографъ имѣетъ, кажется, право на такое же милостивое отлічіе. Онъ долженъ разумѣть, чтѣ и какъ писать; надѣюсь, что въ моей

книгѣ нѣтъ ничего противъ вѣры, государя и нравственно-сти; но быть можетъ, что цензоры не позволятъ мнѣ, напр., говорить свободно о жестокости царя Іоанна Васильевича. Въ такомъ случаѣ, что будетъ исторія?»

Карамзинъ очень вѣрно предвидѣлъ пунктъ сомнѣнія для цензуры... Желаніе его было однако удовлетворено, и «Исторія государства російскаго» вышла въ свѣтъ только съ тѣми небольшими измѣненіями, которыя предложены были автору самимъ государемъ.

Новое, еще болѣе любопытное столкновеніе съ цензурою произошло у Жуковского въ 1822 году. Жуковскій отдалъ для напечатанія въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» къ «Русскому Инвалиду» свой переводъ баллады Вальтеръ-Скотта: «Ивановъ вечеръ». Содержаніе этой баллады извѣстно: смальгольмскій баронъ, увѣривъ свою жену, что онъ ѣдетъ сражаться съ врагами Шотландіи, на самомъ дѣлѣ преслѣдуетъ другую цѣль и, подстергши любовника своей жены, рыцаря Кольдингама, нападаетъ на него измѣннически и убиваетъ. Похоронивъ убитаго, баронъ возвращается домой, но къ удивленію своему узнаетъ отъ молодого пажы, что Кольдингамъ, во время его отсутствія, уже погребенный и отпѣтый, имѣлъ свиданіе съ его женою на отдаленныхъ скалахъ у моря. Въ послѣдній разъ Кольдингамъ является къ своей любовницѣ ночью передъ Ивановымъ днемъ, въ самой ея спальнѣ, при спящемъ подлѣ нея мужѣ, рассказываетъ ей о своей смерти и на прощаніи жметъ руку, при чемъ обжигаетъ ей пальцы своимъ пламеннымъ прикосновеніемъ. Вся эта фантастическая исторія оканчивается стихами, которые наши дѣды заучивали наизусть:

Есть монахиня въ древнихъ драйбургскихъ стѣнахъ—

И грустна, и на свѣтъ не глядитъ:

Есть въ мельрозской обители мрачный монахъ—

И дичится людей, и молчитъ.

Сей монахъ молчаливый и мрачный—кто онъ?

Та монахиня—кто же она?

То—убійца, суровый смальгольмскій баронъ,

То—его молодая жена.

Порокъ, какъ видно изъ этой развязки, наказывается добровольнымъ поступленіемъ въ монастырь обоихъ виновныхъ; но цензурѣ показалось этого мало, и она запретила цѣлкомъ всю балладу. Тогда авторъ, приведенный въ негодованіе, написалъ письмо къ министру народнаго просвѣщенія. «Сія баллада—объяснялъ онъ по этому случаю—давно извѣстна; содержаніе оной заимствовано изъ древняго шотландскаго преданія; она переведена стихами и прозою на многіе языки, и до сихъ поръ ни въ Англіи, — гдѣ всѣ уважаютъ и нравственный характеръ В. Скотта, и цѣль, всегда моральную, его сочиненій,—ни въ остальной Европѣ, никому не приходило на мысль почитать его балладу не нравственною или почему нибудь вредною для читателя. Нынѣ я узнаю съ удивленіемъ, что мой переводъ, въ коемъ соблюдена вся возможная вѣрность, не можетъ быть напечатанъ: слѣдовательно, цензура находитъ сіе стихотвореніе или не нравственнымъ, или противнымъ религіи, или оскорбительнымъ для правительства (?!). Нужно ли увѣрять, что для меня ничего не стоитъ отказаться отъ напечатанія нѣсколькихъ стиховъ; очень равнодушно соглашаюсь признать эту балладу незаслуживающею вниманія бездѣлкою; но слышать, что ее не печатаютъ потому, что она можетъ быть вредна для читателей—это совсѣмъ иное! Съ такимъ грозно-не-

справедливымъ приговоромъ я не могу и не долженъ соглашаться. Я не въ состояніи даже вообразить, на чемъ гг. цензоры основываютъ свое мнѣніе; но слышалъ, что ихъ, между прочимъ, въ слѣдующемъ стихѣ:

И ужасное знаменье въ столѣ возжено!

пугаетъ слово знаменье; должно ли замѣчать, что слова: знаменье и знакъ одно и то же, и что ни въ томъ, ни въ другомъ нѣтъ ничего предосудительнаго? Если же цензоры думаютъ, что слово знаменье исключительно принадлежитъ предметамъ священнымъ и не должно выражать ничего обыкновеннаго, то они ошибаются, и надобно отказаться отъ знанія русскаго языка, чтобы въ этомъ случаѣ съ ними согласиться». Далѣе разобиженный Жуковскій, отвѣчая на упрекъ цензурѣ, что онъ своимъ описаніемъ роняетъ значеніе богослужебныхъ обрядовъ, пишетъ слѣдующее: «Смѣю думать, что я не менѣе цензоровъ знаю, сколь предосудительно представлять обряды церкви въ неприличномъ видѣ или съ намѣреніемъ ихъ унижить, сдѣлать смѣшными. Но есть ли что нибудь подобное въ переведенной мною балладѣ Вальтеръ-Скотта? Я позволяю себѣ утверждать, что цѣль оной нравоучительная, и что въ разсказѣ и описаніяхъ соблюдено строгое уваженіе не только къ вѣрѣ и нравамъ, но и къ малѣйшимъ приличіямъ». — Перчатка была брошена, и цензурному комитету пришлось, волей-неволей, поднять ее. Онъ, дѣйствительно, не отказался отъ полемики — и въ своемъ объясненіи или, лучше сказать, въ своемъ критическомъ разборѣ на балладу Жуковскаго, выставилъ шесть обвинительныхъ пунктовъ, по которымъ баллада эта признана неудобною для печати.

Во-первыхъ. по мнѣнію комитета, — «самое названіе стихотворенія: Ивановъ вечеръ можетъ показаться страннымъ по содержанію шотландской баллады, совершенно противоположному тому почтенію, какое сыны господствующей здѣсь греко-россійской церкви обыкли хранить къ дню сего праздника, между тѣмъ какъ читателямъ предлагается чтеніе о соблазнительныхъ дѣлахъ».

Во вторыхъ — «описаніе соблазнительныхъ дѣйствій убитаго рыцаря Кольдингама принадлежитъ къ числу суевѣрныхъ повѣстей и можетъ болѣе разгорячать и пугать воображеніе, нежели наставлять простыхъ или малопросвѣщенныхъ читателей, особливо молодыхъ людей и женщинъ».

Въ третьихъ — цензурный комитетъ находилъ, что подобныя баллады нельзя переводить безъ историческихъ примѣчаній, которыя дали бы возможность отличать достовѣрную часть стихотворенія отъ вымысловъ и прикрасъ автора.

Въ четвертыхъ — «для многихъ читателей покажется удивительнымъ и даже неприличнымъ то, что въ шотландской простонародной пѣснѣ, въ суевѣрномъ разсказѣ о явленіи мертвеца, въ соблазнительномъ разговорѣ съ нимъ невѣрной жены, дѣлаются весьма некстати обращенія къ Творцу, кресту, великому Иванову дню; представляются священникъ, монахи, панихида, поминки, часовня, съ такою малою разборчивостію, что русскій читатель, находя въ шотландской сказкѣ часовню, панихиду и чернецовъ, невольно подумаетъ, что ему хотятъ представить разсказываемое про ишествіе случившимся или, по крайней мѣрѣ, могущимъ случиться и въ Россіи. У католиковъ, а тѣмъ менѣе у протестантовъ, нѣтъ ни часовень, ни панихидъ: названіе же

инокѣ чернецами, т. е. употребляющими черную одежду, исключаетъ монаховъ, носящихъ бѣлую одежду, которые есть въ нѣкоторыхъ орденахъ римской церкви, но которыхъ вовсе нѣтъ въ греко-россійской».

Въ пятихъ, цензурный комитетъ, сличивъ переводъ съ англійскимъ оригиналомъ, нашелъ, что переводчикъ во многомъ отступилъ отъ подлинника и при этомъ «затемнилъ намѣреніе автора: касаться съ большею разборчивостью предметовъ, равно почитаемыхъ католиками и протестантами, и говорить, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, съ большею осторожностью и скромностью о не позволенной любви».

Но главное возраженіе приберегалось къ концу. «Въ шестыхъ—гласила эта пуританская рецензія — развязка всей пьесы не имѣетъ той силы, какую хотѣлъ бы найти въ ней читатель и какой дѣйствительно требуетъ великость пороковъ и преступленій, описываемыхъ здѣсь съ такою подробностью. Послѣ впечатлѣній, сдѣланныхъ на читателя представленною ему картиною соблазнительной жизни трехъ лицъ, выбранныхъ изъ людей высшаго состоянія (вѣроятно, намекъ на униженіе высшихъ классовъ), читатель не видитъ сокрушенія преступной жены, сдѣлавшей несчастными и своего мужа, и любовника, и себя; не находитъ сильнаго раскаянія въ мужѣ, который отъ ревности и свирѣпства сдѣлался убійцею одного врага и желалъ открыть другихъ подобныхъ враговъ. Изъ одного того, что баронъ и его молодая жена скрылись другъ отъ друга и отъ свѣта въ уединеніи монастырскомъ и, надѣвши монашеское платье, показывались: одинъ — мрачнымъ и дичающимся людей, а другая — грустною и необращающей глазъ

на свѣтъ, читатель еще не увѣрится о сокрушеніи ихъ сердце и примиреніи ихъ съ Богомъ и между собою посредствомъ истиннаго покаянія. Притомъ о состояніи ихъ въ монастырскихъ стѣнахъ упомянуто холодно, съ равнодушіемъ, даже съ нѣкоторымъ видомъ неуваженія къ сей переменѣ, между тѣмъ какъ здѣсь-то особливо надлежало бы показать живое участіе христіанскаго человѣколюбія, чего имѣли право требовать если несчастливцы, можетъ быть, вымышленные, то, по крайней мѣрѣ, читатели, желающіе увидѣть въ заключеніи наставительную развязку всей повѣсти».

Въ разсказанномъ нами случаѣ цензурный комитетъ, очевидно, выходилъ изъ круга своихъ прямыхъ обязанностей и, не ограничиваясь придирчивымъ указаніемъ на безнравственныя и антирелигіозныя мѣста, пускался въ совѣтъ непринадлежащую ему оцѣнку литературной стороны произведенія, слыхалъ переводъ съ подлинникомъ, требовалъ историческихъ примѣчаній, осуждалъ суевѣрный характеръ повѣсти, способный «разгорячать и пугать воображеніе». Все это не относилось нисколько къ чисто репрессивной дѣятельности, предоставленной цензурѣ; кромѣ того, въ самомъ цензурованіи пьесы, усиливаясь найти и перетолковать въ худую сторону всѣ неясныя и двусмысленныя мѣста, сближая для этой цѣли различныя части стихотворенія, комитетъ явно нарушалъ сохранявшійся еще въ цензурномъ уставѣ либеральный пунктъ: «когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двоякій смыслъ, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать.» Либеральный духъ, внушившій эти строки, давно исчезъ — и гибкій

смыслъ цензурныхъ постановленій подался въ сторону, именѣе благопріятную для литературы. Цензурная бдительность распространялась съ неимоვნною быстротою: не довольствуясь вычеркиваніемъ сомнительныхъ мѣстъ, цензора скоро стали выправлять самый слогъ авторовъ, дѣлать свои собственныя вставки и писать критическія замѣчанія на цензируемыя ими сочиненія. Этими литературными стремленіями въ особенности отличался цензоръ Красовскій, прославленный эпиграммами Пушкина. Въ 1823 г. князь Вяземскій приносилъ жалобу на Красовскаго за то, что этотъ послѣдній «принимаетъ обязанность рецензента и съ учительской заботливостію наставляетъ искусству писать по своему, замѣняя одни слова другими и выкидывая выраженія, по мнѣнію его, некрасивыя или неправильныя». Такъ напр., въ одной строкѣ, вмѣсто задѣваетъ, Красовскій поставилъ: упрекаетъ; въ другомъ мѣстѣ не позволилъ сказать, что Карамзинъ слѣдовалъ благоразумію; въ третьемъ, наконецъ, къ словамъ автора: строгимъ приговоромъ, прибавилъ: строгимъ, но справедливымъ и т. п. Нѣсколько позже Красовскій, по поводу одного ничтожнаго стихотворенія Олина, написалъ множество критическихъ примѣчаній въ самомъ курьезномъ родѣ. Олинъ пишетъ, наприимѣръ:

Улыбку устъ твоихъ небесную ловить,

А Красовскій съ ехидствомъ замѣчаетъ: «Слишкомъ сильно сказано; женщина недостойна, чтобы улыбку ея называть небесною». Стихъ Олина: «И на груди моей главу твою поконть» комментировался фразою: «стихъ чрезвычайно сладострастный»! Желаніе Олина, выраженное въ словахъ:

О какъ бы я желалъ пустынныхъ странъ въ тиши,
Безвѣстный. близъ тебя къ блаженству приучаться,—

это невинное желаніе привело Красовскаго окончательно въ гнѣвъ. «Это значить — пишетъ онъ въ примѣчаніи — что авторъ не хочетъ продолжать службы государю для того только, чтобъ быть всегда съ своей любовницей; сверхъ сего, къ блаженству можно только приучаться близъ евангелія, а не близъ женщины», и т. д.

Подобные «проницательные читатели», вооруженные притомъ красными чернилами, безъ сомнѣнія, мало способствовали развитію общественной мысли... Немудрено, что, послѣ продолжительнаго тяготѣнія ихъ надъ русской журналистикой, она попала наконецъ всецѣло въ руки Булгарина и компаніи.

Въ одно время съ развитіемъ литературныхъ поползновеній цензоровъ, появляется желаніе ограничить, подъ разными предлогами, количество вновь разрѣшаемыхъ журналовъ. Однимъ изъ этихъ предлоговъ было, между прочимъ, требованіе, чтобы издатель журнала принадлежалъ къ «словію ученыхъ» и приобрѣлъ себѣ извѣстность въ «ученой публикѣ». Такой взглядъ примѣненъ былъ къ Александру Бестужеву (Марлинскому), который ходатайствовалъ о разрѣшеніи издавать съ 1819 г. журналъ, подъ названіемъ: «Зимцерла», но получилъ отказъ, пространно мотивированный цензурнымъ комитетомъ въ пяти параграфахъ: «1) По содержанію программы, кругъ журнала, предполагаемаго Бестужевымъ, чрезвычайно обширенъ, заключа въ себѣ не только всѣ части отечественной и иностранной словесности, но также критику и всѣ отрасли военныхъ и гражданскихъ наукъ. Къ выполненію такого обширнаго плана потребны и

обширные по всем частям свѣдѣнія, а также практическая опытность для правильнаго сужденія о предметахъ, относящихся до государственнаго управленія, чего въ Бестужевѣ, по его слишкомъ молодымъ лѣтамъ, нельзя ни предполагать, ни отрицать: ему всего двадцать лѣтъ отъ роду. 2) Хотя въ послужномъ спискѣ Бестужева значится, что онъ обучался многимъ языкамъ и наукамъ, однако въ написанной имъ программѣ комитетъ не безъ удивленія замѣтилъ въ десяти, не болѣе, строкахъ, три ошибки противъ правописанія, что доказываетъ, по меньшей мѣрѣ, его невнимательность и небрежность. 3) Помѣщенные въ «Сынъ Отечества» переводы Бестужева, на которые онъ ссылагся, именно «Духъ бури», стихами, изъ Лагарпа, и о состояніи эстонскихъ и ливонскихъ крестьянъ, похвалены только потому, что свидѣлствуютъ объ охотѣ его къ полезнымъ упражненіямъ. Впрочемъ, переводъ въ прозѣ о состояніи эстонскихъ и ливонскихъ крестьянъ не отличается ни чистотою слога, ни правильностію языка. 4) Для исправности въ изданіи періодическихъ сочиненій, издателю необходимо имѣть, кромѣ познаній, величайшее терпѣніе, непрерывную внимательность и навыкъ къ трудамъ. А какъ Бестужевъ въ прошеніи своемъ изъясняетъ, что онъ, будучи занятъ по службѣ, могъ быть извѣстенъ публикѣ только двумя названными статьями, то комитетъ имѣетъ причину думать, что самнй родъ его службы будетъ часто отвлекать его отъ многотрудныхъ занятій журналиста, при чемъ должно опасаться либо совершенной остановки, либо неисправности въ изданіи журнала. 5) Комитетъ неоднократно имѣлъ случай замѣтить,

что многіе, особливо изъ молодыхъ людей, не принадлежащихъ къ сословію ученыхъ, предпринявъ изданіе какого либо журнала, прекращали его, отъ чего не только публика оставалась обманутою, ибо деньги собраны впередъ, но и цензура нѣкоторымъ образомъ терпѣла нареканіе». Мнѣніе цензурнаго комитета было принято и въ главномъ правленіи училищъ, несмотря на то, что попечитель учебнаго округа (онъ же и предсѣдатель комитета) увидѣлъ въ такомъ запрещеніи — «стѣсненіе охоты къ ученымъ и полезнымъ для общества занятіямъ». Еще меньшею основательностью отличался отказъ въ изданіи «Тульскихъ Вѣдомостей», недозволенныхъ, между прочимъ, потому, что «академія наукъ и московскій университетъ, издающіе газеты въ Петербургѣ и Москвѣ, могутъ признать изданіе «Тульскихъ Вѣдомостей» подрывомъ и нарушеніемъ своихъ правъ».

При такихъ-то неблагопріятныхъ условіяхъ пришлось дѣйствовать «Духу Журналовъ», одному изъ лучшихъ періодическихъ изданій того времени, испытавшему на себѣ весь гнетъ двойственной цензуры—министерства полиціи и министерства народнаго просвѣщенія.

Главнымъ издателемъ «Духа Журналовъ»,—по собственному его заявленію, *)—былъ Григорій Максимовичъ Яценковъ; но въ изданіи участвовали, какъ видно, и другія лица, и притомъ участвовали не только матеріальными

*) См. «Духъ журн.» 1815 г., № 42, стат. «Заговоръ противъ «Духа Журналовъ». Въ этой статьѣ говорится, между прочимъ: «Главный издатель хотѣлъ было молчать, какъ онъ и прежде дѣлалъ, на всѣ критики. Но онъ въ семь изданій не одинъ: общій голосъ перекрѣсилъ его»... и пр. и пр.

средствами, но и литературнымъ своимъ содѣйствіемъ. Яценковъ получилъ образованіе въ Московскомъ университетѣ и былъ сначала учителемъ латинскаго и греческаго языковъ, а потомъ адъюнктомъ «философіи и свободныхъ наукъ» въ московскомъ университетѣ. Въ 1804 г. онъ былъ опредѣленъ цензоромъ въ Петербургскій цензурный комитетъ и, продолжая занимать это мѣсто, началъ издавать съ 1815 г. свой журналъ, при чемъ самъ же и пропускалъ въ печать многія статьи. Оставивъ, наконецъ, цензурную службу, Яценковъ, — какъ сообщалъ мнѣ покойный П. П. Пекарскій, — перешелъ на видную должность въ почтовомъ вѣдомствѣ.

Первое столкновеніе Яценкова съ цензурой министерства полиціи произошло еще при самомъ представленіи имъ программы журнала. Найдя въ этой программѣ отдѣлъ «внутреннихъ обозрѣній», въ которомъ издатель предполагалъ изслѣдовать «великіе способы Россіи и выгоды, нѣкоторые недостатки и злоупотребленія», министръ полиціи, генералъ С. Е. Вязмитиновъ, писалъ министру народнаго просвѣщенія: «Нахожу сію статью совершенно неприличною, ибо упоминаемые въ ней предметы относятся до попеченія самаго правительства и отнюдь не могутъ подлежать сужденію частныхъ лицъ публично». По этому случаю Яценковъ получилъ первый выговоръ, но изданіе было ему все таки разрѣшено.

«Духъ Журналовъ» выходилъ еженедѣльно (каждая книжка въ 50 страницъ и болѣе) и въ своей программѣ, «очищенной» министерствомъ полиціи, заключалъ 8 отдѣловъ, между которыми на первомъ мѣстѣ стояли: исторія и политика, государственное хозяйство и литература. Особый отдѣлъ составляли мысли и сужденія императрицы Екате-

рины II-ой о разных частях государственнаго управленія, и матеріалы для этого отдѣла доставляла въ журналъ какая-то «особа, въ кругу тогдашняго времени обращающаяся». Эта же особа, вѣроятно, была центромъ того вліятельнаго общества «знатныхъ господъ», которое удостоивало «Духъ Журналовъ», по словамъ издателя, своимъ вниманіемъ и покровительствомъ. «Никогда не унижится «Духъ журналовъ» — писалъ Яценковъ въ одной полемической замѣткѣ, направленной противъ «Сына Отечества», — «до малѣйшей нескромности. Онъ ни на одну минуту не упуститъ изъ виду, что почтеннѣйшія особы удостоили его своимъ вниманіемъ. Издатели не иначе выпускаютъ въ свѣтъ каждую книжку своего журнала, какъ будто сами представляютъ предъ тѣхъ почтенныхъ особъ» *).

Въ первой же книжкѣ «Духа Журналовъ» опредѣляется и цѣль этого изданія. Разсказавъ анекдотъ о томъ, какъ Фонъ-Визинъ предложилъ князю Потемкину поручить умнымъ и ученымъ людямъ дѣлать, для его развлеченія, интереснѣйшія выписки изъ журналовъ, издатель выражаетъ намѣреніе: соединить въ своемъ журналѣ все, что есть лучшаго и любопытнѣйшаго во всѣхъ журналахъ, и предоставить читателямъ «съ самыми малыми издержками» то же удобство, которое дорого обходилось Потемкину. Но чтобы журналъ, задавшійся такою цѣлью, не былъ обвиненъ въ простой перепечаткѣ и похищеніяхъ, авторъ статьи прибавляетъ: «Духъ журналовъ» не есть сборъ журналовъ; онъ не коснется ничьей собственности, но подобно

*) «Духъ Журн.» 1815 г. № 8, статья: «къ читателямъ».

пчелѣ, извлекающей ароматные соки изъ тысячи цвѣтовъ, которые отъ того не теряютъ ни свѣжести, ни красоты своей,—онъ будетъ извлекать изъ всѣхъ цвѣтовъ литературы силу и, такъ сказать, душу ихъ;—или, подобно живописцу, рисуящему прелестные виды картинныхъ мѣстоположеній, «Духъ журналовъ» представить читателямъ панораму лучшихъ періодическихъ изданій, указывая только на тѣ въ нихъ точки, которыя болѣе другихъ достойны замѣчанія. Это прибавленіе уже обязывало «Духъ журналовъ» нѣсколько систематизировать свои извлеченія изъ другихъ изданій и установить свой масштабъ для оцѣнки болѣе или меньшей значительности разнообразныхъ фактовъ и взглядовъ, излагаемыхъ въ европейской прессѣ.

Издатель исполнилъ свое обѣщаніе—группировать съ толкомъ сообщаемыя свѣдѣнія, — и «ароматные соки», извлеченные имъ изъ «тысячи цвѣтовъ», обладали, дѣйствительно, такимъ сильнымъ букетомъ, что сразу поразили обоняніе цензурныхъ властей.

Прежде всего, цензура вооружилась на «Духъ Журналовъ» за его политическій либерализмъ, который высказывался весьма опредѣленно на первомъ году существованія журнала и въ особенности въ первыхъ номерахъ его за 1815 годъ. Не только официальные наблюдатели, но и сотоварищи Яценкова по журналистикѣ, скоро запримѣтили въ его изданіи эту черту и, можетъ быть, по убѣжденію, а вѣрнѣе изъ видовъ конкуренціи, — которая начинала уже свое дѣло при распространеніи кругѣ читателей, — принялись бить на его «правила, неприличныя русскому», на «какой-то тонъ, вовсе непристойный русско-

му журналу и приносящій мало чести у людей благомыслищих» *). Въ первомъ политическомъ обозрѣніи «Духа Журналовъ» (подъ названіемъ: «Эпоха обновленія европейскихъ государствъ») мы встрѣчаемъ уже восторженные отзывы о конституціонныхъ стремленіяхъ того времени, въ которыхъ авторъ статьи видѣлъ какъ бы новую эру политическаго развитія Европы. «Потрясенія утихли, потухъ вулканъ, закрылось страшное жерло, изрыгавшее смерть и опустошеніе, и грозный Энциладъ (т. е. Наполеонъ); подавляемый горою проклятій, прикованъ къ желѣзнымъ столбамъ острова Эльбы; недвижимъ и только въ безсильной ярости изрыгаетъ искры злобы, погасающія въ воздухѣ... Уже изъ пепла поднимаются города; на опустошенныхъ поляхъ умножаются селенія; со всѣхъ сторонъ стекаются жители; нужда научаетъ отыскивать новые способы; промышленность напрягаетъ силы; заблужденія отцовъ служатъ урокомъ для сыновъ и внуковъ; народы подаютъ другъ другу руку помощи; цари и народы обнимаются, какъ братья, и заря будущаго блаженства занялась на горизонтѣ Европы. Наступаетъ новый порядокъ вещей; видъ государствъ обновляется... Отъ сей точки пойдутъ народы совершать путь бытія своего». Далѣе, переходя къ французскимъ дѣламъ, авторъ говоритъ: «Людовикъ далъ Франціи новый залогъ своего отеческаго о ней попеченія—свободную конституцію. Не присвоивъ себѣ иныхъ правъ, кромѣ тѣхъ, которыя съ достоинствомъ сана царскаго неразлучны, онъ добровольно ограничилъ власть свою и призвалъ избраннѣй-

*) См. «Духъ Журн.» 1815 г. № 42 и «Вѣстн. Евр.» того же года № 22.

шихъ изъ гражданъ себѣ въ совѣтники и въ соправители». Въ слѣдующихъ затѣмъ политическихъ обзорѣніяхъ, «Духъ Журналовъ» оцѣнивалъ весьма внимательно, съ одной определенной точки зрѣнія, всѣ крупнѣйшія событія въ Европѣ, всѣ перемѣны въ политическомъ составѣ государствъ, и, по прежнему, выражалъ сочувствіе къ свободному правленію, осуждая, въ то же время, реакціонныя попытки, — въ родѣ дѣйствій короля испанскаго, — которыя «распространяють ужасъ между всѣми состояніями народа, умножаютъ взаимныя раздоры, изгоняють подданныхъ изъ отечества и угрожаютъ опасностью внутреннихъ смутеній» (№ 8). Конституція Англіи и Америки, какъ обезпечивающія народамъ наиболѣе правъ и «законной свободы», вызывали къ себѣ особенное почтеніе со стороны «Духа Журналовъ». Въ «Письмѣ одного нѣмца изъ Филадельфіи» (№ 31) государственный бытъ Америки описывается подробно и притомъ въ самыхъ привлекательныхъ краскахъ. «Подлинно—пишетъ этотъ нѣмецъ—какое-то особенное чувство проникаетъ тебя, когда подумаешь, что ступилъ на землю свободы, гдѣ, какъ свободный человѣкъ, между свободными людьми жить будешь. Какъ будто здѣсь свободнѣе дышешь, нежели въ иной землѣ; всѣ наслажденія жизни кажутся болѣе пріятны, всѣ общественныя удовольствія болѣе благородны... Здѣсь не увидишь гордаго барона, который измѣряетъ собственными свои заслуги длиннымъ рядомъ предковъ, основывая на томъ права на высшія государственныя должности, не увидишь подлаго раба деспотовъ, который изъ своекорыстія ласкаетъ страстями государя, жертвуя благосостояніемъ отечества. Здѣсь нѣтъ ни тѣтловъ, ни чиновъ, ни орденовъ, и однако все идетъ

своимъ ходомъ, въ величайшемъ порядкѣ и благоустройствѣ... Конституція американской республики Соединенныхъ Штатовъ имѣетъ всѣ преимущества англійской конституціи, не имѣя однако ея недостатковъ. Къ симъ преимуществамъ принадлежитъ, безъ сомнѣнія, неограниченная свобода мыслить, говорить и писать. Нигдѣ въ свѣтѣ такъ свободно не говорятъ, не судятъ и не пишутъ, какъ въ Великобританіи и въ Америкѣ. Всякій, не боясь никого, говоритъ публично свое мнѣніе, даже о важнѣйшихъ государственныхъ дѣлахъ, хвалитъ и осуждаетъ все по своей волѣ, не щадя даже тѣхъ, кои сидятъ у кормила правленія... Журналы и газеты, коихъ здѣсь великое множество и въ которыхъ каждый можетъ свободно изяснять свои мысли, много пособствуютъ тому, чтобы знать общественное мнѣніе и голосъ народа». Сравнивая издержки на государственное управленіе, въ Америкѣ и европейскихъ монархіяхъ, авторъ письма отдавалъ громадное преимущество первой, въ томъ отношеніи, что ей не приходится тратиться ни на придворный штатъ, ни на «стоячее (постоянное) войско — главнѣйшее препятствіе возвышенію народнаго благосостоянія», — ни на толпу чиновниковъ, которые привыкли думать въ Европѣ, что «безъ нихъ не могла бы двигаться государственная машина». Похваливъ далѣе гласный судъ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей и поставивъ высоко право каждого арестованнаго требовать допроса не позже, какъ чрезъ три дня по взятіи подъ стражу, вопреки европейскому порядку, при которомъ «часто заключенный въ тюрьму по одному подозрѣнію, еще недоказанному, пьетъ горькую чашу», — авторъ, въ концѣ

своей характеристики, говорить: «Американцы могут о себѣ похвалиться: «у насъ царствуетъ свобода и просвѣщеніе; деспотизмъ и своевольство не могутъ здѣсь укорениться; налоги маловажны и ни для кого не стѣснительны; намъ не нужно держать многочисленныхъ командъ для охраненія внутренней безопасности и тишины; арміи наши всѣмъ снабжены, всѣмъ довольны; онѣ съ гражданами неразрывны: солдаты суть граждане, а граждане — солдаты, и никогда арміи наши не будутъ орудіями властолюбія какого-нибудь тирана; тюрьмы наши пусты; на улицахъ не увидишь нищихъ, въ лѣсахъ нѣтъ разбойниковъ» и пр. (№ 37). Защищая права народовъ на вольность и участіе въ правленіи, «Духъ Журналовъ» относился скептически къ клерикальнымъ фантазіямъ извѣстнаго Бональда, мечтавшаго о созданіи въ Европѣ христіанской республики подъ сѣнію «святѣйшаго престола», и осуждалъ дѣятельность не менѣе извѣстнаго реакціонера и доносчика Коцебу. «Политика Бональда — говорится въ разборѣ его книги: *Reflections sur l'intérêt général de l'Europe* — основана болѣе на великихъ воспоминаніяхъ прошедшихъ вѣковъ, нежели на приличіяхъ и потребностяхъ настоящаго времени. Онъ гремитъ именами Карла Великаго, Генриха IV, Боссюэта, Лейбница, и хочетъ приписать планамъ ихъ и предположеніямъ то безсмертіе, которое принадлежитъ именамъ ихъ... Пожалѣмъ о христіанской республикѣ, но не оснуемъ на семъ сожалѣніи надеждъ нашихъ. Сіе стремленіе къ равенству, замѣчаемое Бональдомъ въ разныхъ религіяхъ, дѣйствительно ли обѣщаетъ намъ единство и не ведетъ ли оно, — чего не дай Богъ, — къ ничтожеству? (курсивъ въ подлин-

никѣ). Сей свѣтъ, исшедшій отъ святаго престола и сей порядокъ и устройство, долженствующіе прійти отсюда же, не есть ли мечта воображенія? Всѣ сіи понятія такъ ли чисты, опредѣлительны, вѣрны и съ здоровою политикою согласны, а—что всего болѣе—приспособлены ли они къ настоящимъ обстоятельствамъ?» (№ 5).

Когда «новый Энциклъдъ», или Наполеонъ, убѣждалъ съ острова Эльбы и, враждуя съ европейскими государями, началъ воскрешать въ своихъ рѣчахъ и дѣйствіяхъ идеи французской революціи, имъ же прежде подавленные, то «Духъ Журналовъ» предостерегалъ своихъ читателей отъ этого ловкаго превращенія, не впадая впрочемъ—подобно другимъ изданіямъ того времени — въ ругательный тонъ, сопровождаемый множествомъ восклицательныхъ и вопросительныхъ знаковъ. Онъ нападалъ даже на иностранныхъ (преимущественно нѣмецкихъ) писателей, которые своею неистовою бранью раздражали 25-ти-милліонную націю, проповѣдуя противъ нея «самую убійственную и опустошительную войну», имѣвшую своею конечною цѣлью—«разрушеніе Парижа» для блага, будто бы, всего свѣта *). Увлечшись политическими событіями, дѣйствительно представлявшими тогда громадный, всеобщій интересъ, издатель «Духа Журналовъ» призналъ за лучшее: «остановить на нѣкоторое время другія статьи, а статью «политика и исторія», какъ самую важную въ настоящее время, сдѣлать сколько возможно полною», при чемъ онъ «поставилъ себѣ непремѣннымъ долгомъ—всѣ официальные иностранные акты сооб-

*) См. «Духъ Журн.» 1815 г. № № 17, 18, 19 и 41.

щать съ величайшею точностью (т. е. безъ пропусковъ и искаженій) въ переводѣ» ¹⁾).

Политическія тенденціи «Духа Журналовъ» не замедлили навлечь на него нареканіе со стороны министра народнаго просвѣщенія (А. К. Разумовскаго), который сообщилъ попечителю с.-петербургскаго учебнаго округа (Уварову),—недостаточно бдительному въ этомъ отношеніи,—что въ «Духѣ Журналовъ» печатаются «разныя неприличности» и «многія политическія статьи не въ духѣ нашего правительства». Какъ ни старался потомъ Яценковъ загладить дурное впечатлѣніе въ цензурѣ, помѣщая статьи въ родѣ: «Не въ конституціяхъ благо народа» или: «И конституціи бываютъ иногда гибельны народамъ» (№№ 46 и 50), раскаяніе его, повидимому, не признавалось искреннимъ, тѣмъ болѣе, что, забывая свои оговорки и отступленія, онъ, при первомъ же удобномъ случаѣ, снова начиналъ толковать о конституціи, какъ о «драгоцѣннѣйшемъ залогѣ отеческой попечительности правительства» (1817 г. № 1), какъ о «благотворной планетѣ, имѣющей свой путь теченія, указанный самимъ Создателемъ» (1820 г. № 3). Превосходный случай для выраженія своихъ конституціонныхъ симпатій нашелъ «Духъ Журналовъ» въ рѣчи императора Александра, произнесенной въ 1818 г., въ Варшавѣ ²⁾. Но всѣ эти новыя провинности опять ставились на видъ журналу, и довели его, наконецъ, до такой боязливой предусмотрительности,

¹⁾ См. «Духъ Журн.» 1816 г. № 24.

²⁾ О статьяхъ «Духа Журналовъ» по этому поводу, а также о полемикѣ его съ «Сыномъ Отечества» по крестьянскому вопросу, см. въ 1 томѣ, стр. 226—232.

что въ 1820 г., возвращаясь къ описанію Сѣверной Америки, издатель, «для предупрежденія кривыхъ толковъ», счелъ необходимымъ присовокупить отъ себя примѣчаніе, что онъ помѣщаетъ эту статью «безъ всякаго сужденія объ оной и безъ приноровленія къ другимъ государствамъ».

Еще менѣе удачи имѣлъ «Духъ Журналовъ» въ обсужденіи нашихъ внутреннихъ, домашнихъ дѣлъ. Въ этой сферѣ,—на которую всегда устремлялось особенное вниманіе цензуры,—«Духъ Журналовъ» затронулъ въ 1815 г. (№ 16) вопросъ о дешевизнѣ жизненныхъ потребностей, вѣроятно, не безъ связи съ современными ему интересами большинства населенія. Статья начиналась изложеніемъ взглядовъ Екатерины II-й, которая, по словамъ автора, «всегда прилагала величайшее попеченіе о дешевизнѣ жизненныхъ припасовъ, особливо въ столицахъ... тщательно развѣдывала, какими способами удобнѣе водворить дешевизну... и была совершенно увѣрена, что въ такой обширной и хлѣбородной губерніи (sic), какова Россія, при той свободѣ, какую даровала она внутренней торговлѣ и промышленности, чрезвычайное возвышеніе цѣнъ на первыя потребности жизни не могло произойти ни отъ чего иного, какъ только отъ непомѣрной алчности къ прибытку и злоупотребленія власти». «Въ то время—пронически замѣчаетъ авторъ—еще неизвѣстно было правило финансовъ, будто дороговизна жизненныхъ припасовъ служить признакомъ умножающагося благосостоянія народнаго». Далѣе приводятся два письма Екатерины къ графу Я. А. Брюсу, въ которыхъ императрица выражаетъ желаніе, чтобы хлѣбный торгъ, въ отвращеніе дороговизны, былъ извлеченъ изъ рукъ нѣсколькихъ пере-

купщиковъ, «кои суть изъ плутовъ не послѣдніе»; а вслѣдъ за этими письмами авторъ приходитъ къ такому заключенію:

«Изъ сихъ писемъ усмотрѣть можно, какъ хорошо знала государыня духъ низкаго купечества и его возни. Извѣстно было ея величеству, что торгъ нѣкоторыхъ товаровъ бываетъ нерѣдко въ рукахъ малаго числа перекупщиковъ, которые легко могутъ сговориться поднять цѣну на товаръ по своему произволу. Для отвращенія сего злоупотребленія, она старалась открыть свободу торговли наибольшему числу купечествующихъ, дабы тѣмъ болѣе было соискателей, а чрезъ то истребилась бы монополія, которую государыня ни въ чемъ не терпѣла. Сими же правилами свободы руководствовалась монархиня и въ биржевой виѣшной торговлѣ, всегда имѣя въ предметъ облегченіе народнѣе, отъ дешевизны всѣхъ вещей произтекающее. А посему, въ царствованіе ея величества не могло того случиться, чтобъ одинъ или двое богатыхъ купцовъ первой гильдіи, согласясь между собою, скупили въ свои руки весь какой либо товаръ—положимъ, апельсинны—и наложили бы на оный какую захотѣли цѣну. Государыня, давая полную свободу торговлѣ, не терпѣла стѣсненія народнаго ради набогащенія частныхъ корыстолюбцевъ, и такіе перекупщики скоро угодили бы въ Сибирь. Подобно сему, дѣйствительно, случилось въ Москвѣ. Одинъ немаловажный откупщикъ скупилъ весь скотъ, который гнали въ ту столицу, и послѣ продавалъ его такъ дорого, что говядина вдругъ поднялась съ 2-хъ или 3-хъ коп. до 15 коп. за фунтъ. Нынѣ это не удивить, но тогда не

то было. Дошло сіе до свѣдѣнія императрицы, и ея величество повелѣла главнокомандующему въ Москвѣ объявить тому безчестному перекупщику, что если онъ не уйдетъ, то она пошлетъ его въ Сибирь—скупать быковъ».

Статья эта, заключавшая въ себѣ не болѣе, какъ скромные намеки на современныя экономическія условія, вызвала дѣлую бурю со стороны министерства полиціи, и разсужденія ея названы «не только самыми глупыми, бессмысленными, но и непозволительными, дерзкими, могущими имѣть вліяніе вредное на мнѣніе народное». «Какъ дерзнуть—восклицалъ генералъ Вязмитиновъ—человѣку, не имѣющему (что все сплетеніе нелѣпныхъ его разсужденій доказуетъ) ни малѣйшаго понятія о первыхъ началахъ науки, дѣлать примѣненія и сравненія относительно мѣръ, принятыхъ или пріемлемыхъ правительствомъ въ разныя времена по части государственнаго хозяйства?» Графъ Разумовскій, которому жаловался генералъ Вязмитиновъ на статью «Духа Журналовъ», съ своей стороны, нашелъ ее неумѣстной и сдѣлалъ выговоръ петербургскому цензурному комитету, объяснивъ однакожь, что подобныя разсужденія могли бы имѣть мѣсто только въ сочиненіи серьезнаго, ученаго содержанія, а не въ изданіи, доступномъ читателямъ различной степени образованія.

Затѣмъ «Духъ Журналовъ» подвергался осужденію за «статьи, содержащія въ себѣ разсужденіе о вольности и рабствѣ крестьянъ», хотя въ этихъ статьяхъ нѣкто Правдинъ (вѣроятно, изъ числа «знатныхъ господъ», которыхъ покровительства искалъ «Духъ Журналовъ») доказывалъ не-

нужность освобожденія русскихъ крестьянъ, на томъ основаніи, что они, имѣя земельную собственность, «живутъ, какъ у Христа за пазухой», непримѣръ счастливѣе западно-европейскихъ пролетаріевъ или арендаторовъ чужихъ земель. Въ противномъ случаѣ, Правдинъ рисовалъ ужасную картину:

«Но въ угодность любителей преобразованій сдѣлаемъ предположеніе, что наши крестьяне могли бы быть (освобождены) на томъ же основаніи, какъ иностранные, и посмотримъ: какія будутъ изъ того послѣдствія? Во первыхъ, существующая нынѣ, можно сказать, семейная связь между помѣщиками и крестьянами совершенно пресѣчется; эгоизмъ помѣщиковъ возрастетъ до такой же высшей степени, какъ въ чужихъ краяхъ, и истребитъ старинную русскую хлѣбъ-соль. Первое и величайшее притѣсненіе, которое помѣщикъ можетъ сдѣлать мужикамъ, будетъ то, чтобы потребовать съ нихъ несоразмѣрную цѣну за наемъ земель его, и въ этомъ ему воспрепятствовать нельзя: ибо въ своемъ добрѣ всякъ воленъ. Ежели мужакъ не согласится на требуемую цѣну, то стоитъ только погрозить ему, что выгнать его изъ села. Куда же онъ, бѣдненькій, дѣнется съ семействомъ, домомъ и всѣмъ заведеніемъ? Перевозка чего будетъ стоить! Онъ же не привыкъ къ цыганской жизни; а ежели еще въ добавокъ согласится (помѣщики) между собою въ цѣнѣ, то совершенно мужику некуда дѣваться; тогда онъ принужденъ согласиться на все, хотя бы и увѣренъ былъ, что не въ силахъ будетъ, безъ крайняго раззоренія, выполнить свое обязательство. Придетъ время платежа, и онъ долженъ все

продать, хотя за безцѣнокъ, дабы удовлетворить помѣщика за нанимаемую у него землю, чтобы еще хоть годокъ на одномъ мѣстѣ пожить. Во вторыхъ, помѣщикъ захочетъ уже одинъ пользоваться всѣми выгодами, какія ему доставляетъ мѣстное положеніе его вотчины; прежде онъ безмездно раздѣлялъ ихъ съ своими крестьянами, почитая ихъ своими дѣтьми; но теперь онъ съ нихъ, какъ ему чуждыхъ, потребуетъ за всякую бездѣлицу немалую плату, зная, что имъ безъ того обойтись нельзя. Придетъ ли время внести казенныя повинности—кто велитъ помѣщику помогать въ томъ мужикамъ? Кто пособитъ имъ въ нуждахъ ихъ? Кто защититъ ихъ отъ постороннихъ обидъ? И гдѣ правительство ихъ найдетъ, ежели они будутъ въ разбродѣ.—Конечно, можетъ быть, помѣщики въ томъ своихъ выгодъ не потеряютъ, хотя это весьма еще подлежитъ сомнѣнію; но мужики навѣрно будутъ разорены, какой бы оборотъ ни былъ въ этомъ дѣлѣ.

Авторъ статьи, какъ видно, и не предугадывалъ такого «оборота дѣла», по которому крестьянинъ пріобрѣталъ бы въ собственность обрабатываемую имъ землю, съ выкупомъ отъ казны; но объ этомъ исходѣ думали, въ то время, только немногія личности, въ родѣ Н. И. Тургенева.

Въ отвѣтъ на замѣчанія и выговоры, объявляемые Яценкову, энергическій цензоръ-издатель ссылался на цензурный уставъ, позволяющій «скромное и благоразумное изслѣдованіе предметовъ управленія государственнаго», а въ доказательство пользы свободнаго книгопечатанія указывалъ на «многократныя повторенія о томъ» въ официальной «Сѣверной Почтѣ», издаваемой подъ руководствомъ самого ми-

нистра народнаго просвѣщенія (А. Н. Голицына), который дѣйствительно, исправлялъ въ 1817 г., въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, должность министра внутреннихъ дѣлъ, и слѣдовательно долженъ былъ отвѣчать, на ту пору, за направленіе «Сѣверной Почты».

Цензура, однако, продолжала бодрствовать надъ либеральнымъ журналомъ, и въ 1819 г., за статью о сохранныхъ кассахъ,—въ которой усмотрѣно было возбужденіе низшихъ сословій противъ высшихъ,—Яценковъ получилъ приказаніе закрыть свой журналъ*). Но онъ и тутъ сумѣлъ какъ-то дотянуть свое изданіе до 1820 г., когда оно было окончательно запрещено.

Исторія «Духа Журналовъ» показываетъ, какъ нельзя ясно, ту разногласицу понятій, которая существовала въ самомъ цензурномъ управленіи, касательно правъ печати и общественной пользы, приносимой ею. Борьба одного цензора противъ цѣлаго вѣдомства цензуры представляетъ, съ этой точки зрѣнія, много поучительнаго...

*) Статья эта представляетъ, въ сущности, весьма невинныя замечанія о томъ, что «свободный работникъ», не обезпеченный въ своемъ существованіи ни поземельною собственностью, ни капиталомъ,—«истинный рабъ системы наемничества, которая, какъ зараза, распространяется во всей Европѣ», — только въ правильномъ и повсемѣстномъ устройствѣ сохранныхъ банковъ можетъ найти для себя поддержку, выгодно помѣщая тамъ свои маленькія сбереженія. Но отъ этой частной темы авторъ дѣлаетъ отступленіе къ общему характеру нашихъ гражданскихъ уставовъ и говоритъ съ сожалѣніемъ: «Какъ часто мы винимъ людей въ томъ, въ чемъ виновны гражданскія наши учрежденія! Спрашивается, есть ли возможность ремесленнику или работнику быть бережливымъ?... Подлинно, когда подумаешь, что богатый, положивши въ банкъ тысячи или сотни тысячъ, легкимъ трудомъ пріобрѣтенныя, получаетъ на оныя безъ всякой заботы знатные проценты, а бѣднякъ не имѣетъ мѣста положить сохранно свою копѣйку, потомъ и кровью нажитую,—подлинно, говоря, нельзя не пожалѣть о нашихъ гражданскихъ учрежденіяхъ, кото-

ЖУРНАЛЬНЫЙ ТРИУМВИРАТЪ.

(Очеркъ изъ исторіи русской журналистики тридцатыхъ годовъ).

I.

Въ исторіи русской журналистики, до сихъ поръ весьма мало разработанной, есть нѣсколько періодовъ, на которыхъ преимущественно должно остановиться вниманіе изслѣдователей. Мы говоримъ: нѣсколько періодовъ, потому что, при нашемъ порывистомъ общественномъ развитіи, исторія журналистики, какъ вѣрнаго отраженія умственной жизни общества, — не представляетъ цѣльной, во всѣхъ своихъ частяхъ одинаково занимательной картины. Наши журналы, какъ и вся общественная жизнь, ихъ породившая, шли болѣею частію кое-какъ, и, только въ немногіе моменты, или внезапно оживали подъ вліяніемъ сильной и талантливой личности, въ родѣ Новикова, Карамзина и Полеваго (до его переѣзда въ Петербургъ), или же мгновенно упали до самой низкой степени подъ давленіемъ обстоятельствъ. Словомъ, журналистика слишкомъ зависѣла отъ случайной даровитости одного какого нибудь редактора, почти безраздѣльно несшаго на своихъ плечахъ всю тяжесть журнальнаго дѣла, а также отъ разныхъ постороннихъ условій, прихотливо измѣнявшихъ ея теченіе... Но въ обоихъ рѣна наиболѣе благопріятствуютъ тѣмъ, кои и безъ того уже судьбою облагодѣтельствованы! У богатаго тысячи и миліоны растутъ сами собою, а у бѣднаго малая лепта пропадаетъ, какъ зѣрна, падшія на камень или на распутиѣ. («Духъ Журн.», 1819 г. № 2). Эти то строки и возбуждали негодованіе цензуры.

случаях—крайняго упадка и высшаго процвѣтанія—исторія журналистики становится дѣйствительно интересной: по этимъ выдающимся точкамъ можно смѣло судить о цѣлыхъ періодахъ нашего общественнаго развитія. Однимъ изъ такихъ интересныхъ эпизодовъ было время между 1835—40 годами, когда вся русская литература находилась подъ гнетомъ трехъ предприимчивыхъ журналистовъ: Булгарина, Греча и Сенковского. Эти годы были особенно счастливы для «Сѣверной Пчелы», «Сына Отечества» и «Библіотеки для Чтенія» —трехъ дружныхъ органовъ, солидарныхъ между собой въ главныхъ чертахъ своей дѣятельности и вліянія на публику. Возставать противъ такого деспотическаго господства было въ то время весьма неудобно; въ особенности сильна была «Сѣверная Пчела». Говорить о монополіи этой газеты на политическія новости и ежедневный выходъ считалось дѣломъ самымъ предосудительнымъ; ниже мы представимъ образчикъ подобнаго намека, не попавшаго, по этому самому, въ печать. Ни цензоры, ни издатели не рѣшались допустить такой нападки: въ обществѣ говорили даже (справедливо или нѣтъ), что эта привилегія «Сѣверной Пчелы» была закрѣплена за ней канцелярскимъ порядкомъ.*) Самъ авторъ враждебной «Пчелѣ» статьи не могъ считать себя безопаснымъ отъ разныхъ неприятностей, потому что Булгаринъ (какъ это видно изъ одного документа, приведеннаго въ концѣ III-ей главы) имѣлъ обыкновеніе сопровождать свои печатныя статьи кое-

*) Такое мнѣніе высказывалъ мнѣ покойный кн. Вл. Одоевскій, много воевавшій на своемъ вѣку противъ этой журнальной клики. Онъ же передалъ мнѣ и нѣкоторые другія сѣдѣнія объ этой интересной эпохѣ.

какими письменными жалобами и кляузами. Воскурят они и сильнымъ людямъ, «Сѣверная Пчела» въ то же время бросала грязью на людей въ опалѣ—за нихъ вѣдь некому было вступиться!—и творила это дѣло безнаказанно; ея критическія статьи вырѣзаны были почти всѣ по одной мѣркѣ: начинались толкованіями о безкорыстіи, безпристрастіи, слѣпой преданности и другихъ добродѣтеляхъ, и въ эту рамку вставлялись самыя зазорныя обвиненія противъ нелюбимыхъ авторомъ личностей. Обвиненія казались какъ бы естественнымъ выводомъ изъ теоретическаго изложенія о добродѣтели; одно проходило въ печать по милости другого, и читатель волей-неволей попадался въ эту грубо обтесанную, но хитро придуманную ловушку. Разоблачать эти продолжки было трудно при тогдашнихъ условіяхъ, да и мало находилось охотниковъ брать на себя эту неблагодарную обязанность. Три названные журнала, братски соединенные между собою, помогали другъ другу держать въ блокадѣ все, что имъ не потворствовало, и всякое изданіе, осмѣлившееся не принадлежать къ этой фалангѣ, систематически сживали со свѣту. Бѣдность и безсиліе остальной журналистики способствовали усиленію ихъ власти: «Прибавленія къ Инвалиду», въ которыхъ проскальзывали иногда протесты противъ «Сѣверной Пчелы», читались мало; «Московскія Вѣдомости» и не развертывались въ Петербургѣ (онѣ далеко не имѣли того значенія, какое приобрѣли въ послѣднее время); «Телеграфъ» прекратился (въ 1833 г.), вскорѣ послѣ него палъ и «Телескопъ» (въ 1836 г.); «Современникъ» же, возникшій въ 1836 г. по инициативѣ Пушкина, не былъ журналомъ въ строгомъ смыслѣ этого слова. Вообще оппозиція противъ

литературнаго тріумвірата была слаба, и борьба выходила неровная, ибо, — какъ мы сказали уже, — тогда считалось прие-момъ позволительнымъ: наводить на противника подозрѣніе въ неблагонамѣренности, безвѣріи, вольнодумствѣ и тому подобныхъ вещахъ. Публика была въ то время довольно равнодушна ко всему, происходившему въ русской литературѣ; статьи противъ Пушкина, правда, возбуждали иногда негодованіе; но вообще ихъ вульгарное остроуміе приходилось какъ разъ по плечу большинству читателей. Такъ называемый высшій кругъ, имѣвшій прямое и непосредственное вліяніе на судьбы нашего просвѣщенія, и не зналъ, чтò творится въ русской литературѣ: — для него Булгаринъ и Александръ Анфимовичъ Орловъ были такими же литераторами, какъ Пушкинъ и Грибоѣдовъ. «Сѣверная Пчела», какъ единственная ежедневная газета, доходила иногда и до гостинныхъ, и съ ней справлялись на высотѣ салоннаго величія, когда заговаривали о русской литературѣ.

Если «Сѣверная Пчела» проникала порой въ высшее общество, то «Библіотека для Чтенія» жадно читалась въ среднемъ кругу. «Сынъ Отечества», журналъ менѣе значительный, былъ всегда покорнымъ сателлитомъ своихъ сильнѣйшихъ собратьевъ. Вредъ, наносимый и литературѣ, и русскому просвѣщенію стачкою журналистовъ, этотъ параличъ, наложенный ихъ тріумвиратомъ не на ту или другую мысль, но на самую способность мышленія, на всякое независимое понятіе, не принадлежавшее къ извѣстному приходу, — все это представлялось для салоновъ въ видѣ взаимной зависти между литераторами, которые непристойно бранятся и которыхъ слѣдовало бы унять. Руководящая мысль, высказанная тог-

да: «Je veux, que la censure ne soit qu'un garde-fou» (цензура должна быть лишь перилами *) узко понималась низшими исполнителями, и перила частенько обращались въ прямую преграду для всякаго живаго и свѣжаго слова. Люди съ высокими соображеніями толковали, что гораздо проще и удобнѣе имѣть одинъ или два журнала, и притомъ такихъ, съ которыми при случаѣ нечего церемониться, нежели возиться со многими и притомъ непокорными; одинъ изъ такихъ господъ даже громогласно говорилъ: «Vaut mieux le monopole, que des journaux». Таковъ былъ духъ времени.

II.

Начнемъ съ «Сѣверной Пчелы». Изданіе это возникло въ 1825 г. подъ редакціей гг. Греча и Булгарина. Въ то время, имя Булгарина еще не было синонимомъ тѣхъ журнальных качествъ и приемовъ, какіе сопряжены съ нимъ теперь, благодаря преимущественно остроумнымъ памфлетамъ Теофилакта Косичкина и желчнымъ нападкамъ В. Г. Бѣлинскаго. Булгаринъ, въ это время, сильно либеральничалъ, ухаживалъ за Рылѣевымъ и выхвалялъ его «Думы»; Рылѣевъ, въ свою очередь, посвящалъ ему свои произведенія. Журнальная дѣятельность была для Булгарина пробнымъ камнемъ, на которомъ онъ и высказался окончательно. Съ перемѣной вѣтра, измѣнилось мгновенно и литературное

*) Выраженія эти приписывались самому императору Николаю Павловичу.

его направленіе, такъ что въ періодъ времени, разсматриваемый нами, Булгаринъ создалъ себѣ очень опредѣленную литературную фizioномію, въ которой ни одна черта не напоминала его, нѣсколько «скромпрометированное», прошлое. Во всѣхъ отдѣлахъ своей газеты Булгаринъ проводилъ, если не всегда умно и послѣдовательно, то задорно и настойчиво, извѣстную мысль, извѣстную тенденцію. Сохраненіе statu quo во всей его неприкосновенности и противодѣйствіе реформаторскимъ идеямъ, заносимымъ къ намъ съ Запада, составляли его задачу. Этому направленію соотвѣтствовали, прежде всего, политическій и внутренній отдѣлы «Сѣверной Пчелы». Мы полагаемъ, что читателямъ будетъ небезынтересно узнать какъ объемъ политическихъ вопросовъ, доступныхъ въ то время журнальному обсужденію, такъ и самый способъ обсуждать ихъ. Въ 1836 г., въ февралѣ мѣсяцѣ, отрядъ австрійскихъ войскъ, подъ начальствомъ генералъ-маіора Кауфмана, занялъ вольный городъ Краковъ. Незадолго же до этого событія, три державы, подписавшія актъ раздѣленія Польши, представляли сенату краковской области строгій ультиматумъ, въ которомъ требовалось: «удалить всѣхъ польскихъ выходцевъ въ теченіи 8 дней, а равно и подданныхъ иностранныхъ государствъ, на которыхъ три державы укажутъ, какъ на лица подозрительныя». Неисполненіе этого требованія и было официальнымъ предлогомъ къ занятію области. Генералъ Кауфманъ, вступивъ въ область, издалъ прокламацію, въ которой говорилъ, что «высокіе покровители вольнаго города Кракова нашлись вынужденными рѣшиться на исполненіе, собственными средствами, мѣры, признанной ими необходимою (это называлось

на дипломатическомъ языкѣ «очищеніемъ предѣловъ области») для возвращенія мирнымъ жителямъ спокойствія и безопасности, коими они наслаждались до сего времени». При этомъ Кауфманъ общалъ, что «по освобожденіи города отъ опасныхъ людей, войска выйдутъ изъ предѣловъ республики». Фактъ занятія Кракова былъ сообщенъ со всею подробностью въ 46—48 №№ «Сѣверной Пчелы», но своего мнѣнія газета не высказала,—такой роскоши въ то время не полагалось,—ограничившись только перепечаткою передовой статьи изъ австрійскаго «Наблюдателя». Тонъ этой статьи былъ вполне враждебенъ краковской независимости и уже давалъ возможность предвидѣть извѣстный всѣмъ, дальнѣйшій исходъ этого дѣла. Вообще «Сѣверная Пчела» сильно благоволила къ Австріи. Въ «Очеркахъ Австріи» (С. Пч. 1837 г., №№ 29—30), Тироль, Штирія, Иллирія и др. австрійскія земли являются чуть не земнымъ эльдорадо. «Штирія славится радушіемъ и гостепріимствомъ»; «Иллирія—прелестнѣйшая страна Европы, значительная въ торговомъ отношеніи» и т. д. Словомъ, довольство, счастье и невозмутимый покой господствуютъ въ этомъ углу Европы. Менѣе снисходителенъ становится нашъ публицистъ, когда рѣчь заходитъ объ Англіи и конституціонной Франціи. Тутъ онъ является неумолимымъ къ народу, присвоившему себѣ представительныя права, и къ власти, допустившей такое вышпательство въ свои дѣйствія. Разсуждая о заговорѣ Фіэски на жизнь французскаго короля, «Сѣверная Пчела» присовокупляетъ къ этому строгіе упреки своеволю французской націи и слабости власти. Самый процессъ Фіэски описывается весьма курьезно: «Получившій или купившій билетъ

для входа въ залу судилища перовъ былъ принужденъ являться въ 10 часовъ утра у дверей люксембургскаго дворца и ждать впуска, какъ въ театрѣ... Достоинно замѣчанія легкомысліе, съ которымъ происходили сужденія. Перы не обращали вниманія ни на какіе посторонніе пункты. Сколько ни старался королевскій прокуроръ доказывать, что въ заговорѣ участвовали члены «Общества правъ человѣчества», перы не думали допрашивать свидѣтелей, со знавшихся въ участіи въ этомъ тайномъ обществѣ. Какой-то студентъ назвался пріелемъ Буаро (одинъ изъ заговорщиковъ) и поклонился ему подружески; но на него не обратили вниманія, потому что не хотятъ знать никакихъ обстоятельствъ. Вообще перы не показываютъ въ производствѣ процесса большой мудрости. Они могли бы завлечь(!) въ процессъ цѣлую партію, но теперь не могутъ ничего доказать и только раздражаютъ эту партію. Судьи, созданные для произнесенія важнаго приговора, дозволяютъ преступнику Фіэски разыгрывать свою дерзкую роль. (Фіэски, какъ видно изъ описанія, часто смѣлся, поворачивался къ галереямъ, шутилъ съ адвокатами). Зрители смѣются, перы имъ вторятъ. Такимъ образомъ употребляется во зло хваленая гласность, и важное дѣйствіе правосудія превращается легкомысліемъ въ народное игрище».

Свободная печать, — какъ одно изъ важныхъ условій представительнаго правленія, — также подвергалась осужденію «Сѣверной Пчелы». Въ статьѣ Булгарина: «Бульверъ въ Франціи» (Сѣверная Пчела 1836 г. № 189), мы находимъ слѣдующія строки: «Франція до сихъ поръ не дошла еще до того, чтобы большинствомъ благонамѣренныхъ людей

обуздать малое число вступленных сумасбродовъ, наводящихъ безпокойство на всю Европу. Слава Богу, что уже въ самой Франціи ихъ презирають. Имъ осталось одно орудіе—книгопечатаніе.—Своеволіе, недостатокъ воспитанія, гордость, бѣдность, лѣнь образуютъ злодѣевъ, которыхъ можно было бы сдѣлать людьми полезными при сильныхъ мѣрахъ правительства. Воля ваша, но Алжиръ и вѣчная война съ бедуинами необходимы для Франціи. Куда дѣвать этихъ сумасбродовъ? Здѣсь Булгаринъ съ насмѣшкой цитируетъ слова одного политическаго заговорщика, произнесенныя имъ передъ судомъ, въ которыхъ виновный жалуется на то, что, будучи сыномъ пролетарія, онъ не могъ получить порядочнаго образованія, такъ какъ за это образованіе некому было платить. Вопросъ о пролетаріатѣ, возникшій въ то время во Франціи, былъ непонятенъ для нашего публициста. Говоря о республиканцахъ, Булгаринъ называетъ ихъ не иначе, какъ сумасбродами, и формулируетъ ихъ желанія такимъ образомъ: «чтобъ никто не платилъ податей, никто не бралъ жалованья, чтобъ никто не повелѣвалъ и никто не повиновался». Но изобразивъ мрачными красками положеніе дѣлъ во Франціи, Булгаринъ вооружается еще болѣе, когда рѣчь заходитъ объ Англіи и ея политической прессѣ. «Не взирая на нашихъ англомановъ, — злобствуетъ онъ, — мы говоримъ откровенно, что ни въ одной странѣ нѣтъ такого своеволія книгопечатанія, какъ въ Англіи. Въ Англіи противники литературной или политической партіи нападаютъ на своихъ враговъ не однимъ орудіемъ насмѣшки, но и самой гнусной клеветой, самой пошлой бранью. Въ англійскихъ журналахъ напа-

даютъ на жену, дѣтей, друзей, родныхъ врага, открываютъ тайны домашней жизни, разоблачаютъ характеры, чтобы только погубить человѣка въ общемъ мнѣніи. Вспомните, что писали въ англійскихъ газетахъ во время процесса королевы, во время преній о биллѣ парламентской реформы, прочтите, что говорятъ въ журналахъ о Веллингтонѣ. Грубость, ложь и безстыдство въ преслѣдованіи журнальномъ дошли въ Англіи до высочайшей степени. Послѣ этого должно ли удивляться, что журнальные писатели не пользуются уваженіемъ и скрываютъ свои имена, а газета страшна, какъ чума или громовой ударъ. — Самыя гнусныя, самыя безбожныя правила проповѣдуются простому народу и продаются воровски за малую цѣну». Этотъ рѣзкій отзывъ объ англійской журналистикѣ повелъ къ маленькому, такъ сказать, семейному раздору въ редакціи «Сѣверной Пчелы». Въ 1837 г. Н. И. Гречъ, съѣздивъ за границу, прислалъ оттуда свои «Путевыя Записки» (Сѣверная Пчела 1837 г. № 154), въ которыхъ онъ нѣсколько вступаетъ за честь Англіи. Въ одной главѣ этихъ «Записокъ», подъ названіемъ: «Англійскій парламентъ и французскія палаты», г. Гречъ хвалитъ представительныя учрежденія Англіи, а дальше защищаетъ, въ немногихъ словахъ, и ея прессу. «Англичане — говорятъ нашъ туристъ — достойны если не безусловнаго подражанія, то искренняго уваженія благомыслящихъ людей, хотя — прибавляетъ онъ въ ограниченіе своей похвалы — члены англійскаго парламента вообще не наблюдаютъ никакого приличія въ засѣданіи и сидятъ, избоченясь или развалившись». Зато о французской палатѣ и о французской

прессъ Гречъ и Булгаринъ отзываются съ полнымъ единодушіемъ. «Личная выгода—пишетъ г. Гречъ въ той же главѣ—и тщеславіе суть главные двигатели всѣхъ здѣшнихъ дѣйствій. Общая польза, благо отечества влетаютъ въ рѣчи только для округленія періодовъ. Въ палатѣ члены раздѣляются на 20 различныхъ партій, движимыхъ противными выгодами и личными отношеніями. Бѣдствіямъ и терзаніямъ конституціонной Франціи значительно содѣйствуетъ свобода тисненія. Журналы и газеты, издаваемые людьми жадными, безсовѣстными и развратными, сдѣлались орудіемъ и отголоскомъ лжи, клеветы, обмана и всѣхъ гнусныхъ страстей. Всѣ, безъ исключенія, всѣ порядочные люди предають проклятію эту бѣдственную свободу, всѣ предсказываютъ, что она повергнетъ Францію въ новую пучину золь. Говоря объ этомъ съ почтеннымъ Карломъ Нодье, я спросилъ у него: развѣ нѣтъ средствъ основать журналъ, въ которомъ говорили бы истину, излагали бы правила правды, чести, любви къ отечеству и религіознаго благочестія?»—«Нѣсколько разъ пытались, отвѣчалъ онъ. Честные люди составляли на то общества и капиталы, начинали изданіе, но оно скоро упало. Люди благонамѣренные обращаются къ разсудку и къ совѣсти читателей, негодяи потворствуютъ ихъ страстямъ. Толпа отвращается отъ лѣкарства и прибѣгаетъ къ напиткамъ, ошумляющимъ чувства.»—«И въ Англіи—продолжаетъ г. Гречъ—(Сѣверная Пчела 1837 г. № 156) господствуетъ свобода тисненія; но какъ пользуются тамъ этимъ правомъ? Благотворѣя предъ религіей, уважая права престола, окружая царей любовью, почтеніемъ и довѣренностью. Форма правле-

нія не имѣетъ вліянія на величіе царствъ и народовъ. Дайте англичанамъ правленіе турецкое или персидское: оно сдѣлается источникомъ ихъ блага и богатства»(1). Отзивъ Греча объ англійской журналистикѣ прямо противорѣчитъ тому, что высказано было о ней же Булгаринымъ.

Подобныя непослѣдовательности и противорѣчія нерѣдко попадались въ «Сѣверной Пчелѣ». Въ особенности часто встрѣчались они въ ея литературно-критическомъ отдѣлѣ, гдѣ, напримѣръ, вслѣдъ за бранью на Гоголя (Сѣв. Пч. 1836 г. № 12), появлялась хвалебная статья объ немъ (ibid. № 26), а о Пушкинѣ было высказано множество противоположныхъ одно другому мнѣній. Иногда—но очень рѣдко—появлялись въ «Сѣверной Пчелѣ» статьи и замѣтки,—или лучше сказать, отдѣльныя мысли,—нимало не согласовавшіяся съ общимъ тономъ этого журнала. Такъ напр. въ статьѣ: «Настоящій моментъ и духъ нашей литературы» (ibid. № 10), Булгаринъ говорилъ: «Въ человѣкѣ мысль безпрестанно движется. Застой мысли есть нравственная смерть. Люди, которые не мыслятъ, не живутъ для человечества. Это машины». Въ другой статьѣ (ibid. № 97) онъ же толковалъ, что изящная литература должна, по мѣрѣ возможности, «приближаться къ натурѣ, къ жизни, и оттуда черпать содержаніе для своихъ произведеній». Но ни то, ни другое нельзя брать въ расчетъ при общей оцѣнкѣ его газеты: говоря о движеніи мысли въ одномъ номерѣ своей газеты, Булгаринъ тормозилъ эту мысль въ сотнѣ другихъ номеровъ, а выставляя обязанностью для художника приближаться къ природѣ, онъ, въ той же статьѣ, осуждалъ Гоголя за цинизмъ и неприличіе «Ревизора». Также точно,

похваливъ новый таможенный уставъ за сбавку пошлинъ съ нѣкоторыхъ предметовъ заграничной торговли и даже назвавъ снисходительно «поэтической мечтою» принципъ свободной торговли,—«Сѣверная Пчела» настаивала на самой стѣснительной регламентаціи во всѣхъ другихъ отрасляхъ общественной жизни. Эти маневры и уклоненія въ сущности ничего не значили, никого не обманывали и нимало не нарушали основной тенденціи «Сѣверной Пчелы». Въ самомъ противорѣчій этой газеты объ англійской журналистикѣ виденъ все-таки одинъ и тотъ же масштабъ для оцѣнки прессы, хотя, по оплошности редакціи, выводы оказались несогласными между собою.

Призывая громы на всю иностранную политическую прессу за ея неблагонамѣренное направленіе, Булгаринъ не оставлялъ безъ порицанія и беллетристику того времени, преимущественно произведенія Жоржъ-Занда, Виктора Гюго и др. французскихъ авторовъ, которые, естественно, не нравились Булгарину,—такъ, какъ они возставали противъ многихъ соціальныхъ явленій и облекали свои протесты въ живое, энергическое, сильно дѣйствующее слово. Между тѣмъ самая идея подобнаго протеста не допускалась «Сѣверною Пчелою». «Безвкусіе, неистовство и наглость французской школы—говорится въ № 182 «Сѣверной Пчелы» 1836 года—по справедливости обратили на себя негодованіе литераторовъ благонамѣренныхъ, благонравныхъ и добросовѣстныхъ. Особенное вниманіе обратила на себя, въ этомъ отношеніи, женщина, одаренная необыкновенными талантами, Аврора Дюдеванъ, издающая свои творенія подъ именемъ Жоржъ-Занда. Всѣ ея сочиненія написаны очень смѣло, безъ

всякаго закрытія, отнюдь не женскою кистью; особенно отличается цинизмомъ, безстыдствомъ и безнравственностью одинъ изъ ея романовъ—«Лелія».

Нападки Булгарина были, на этотъ разъ, вполне послѣдовательны съ его точки зрѣнія: всякая умственная тревога, всякое недовольство настоящимъ, разумно оправданное, весьма заразителны и, по самой силѣ вещей, легко сообщаются отъ одного человѣка къ другому, отъ писателя къ цѣлому обществу. Русскому же обществу, по понятію «Сѣверной Пчелы», нечего было желать въ данную минуту. Вотъ какими красками описывались постоянно въ «Сѣверной Пчелѣ» наша общественная жизнь и отношенія между сословіями въ Россіи: «Гдѣ на Руси, благоденствующей подъ сѣнью мира, отъ довольства и простора въ быту, не хлопотлива широкая масляница, съ незапамятныхъ временъ обратившаяся въ народный праздникъ! Въ сіи разгульные дни и знать, и простолюдины спѣшатъ допить чашу земныхъ наслажденій; но веселости дѣлаются свѣтлы и берутъ нравственный характеръ, когда тѣ, коимъ судьба предоставила въ удѣлъ обиліе, не забываютъ, что есть и такіе, для которыхъ дорогъ кусокъ насущнаго хлѣба. Костромское общество дворянъ, изстари руководимое симъ возвышеннымъ чувствомъ, 7-го февраля назначило благородный спектакль въ пользу самыхъ бѣднѣйшихъ семействъ. Въ первый день наступленія поста, въ 33 хижинахъ, благодарными слезами убогихъ матерей оросились нежданная подаянія». («Сѣверная Пчела» 1836 г. № 48).

Подобныя же извѣстія, вырѣзанныя какъ бы по одной мѣркѣ, доставлялись корреспондентами изъ Москвы, Клин-

нева, Екатеринославля и другихъ городовъ. Словомъ, всё эти благоухающія, безобидныя корреспонденціи еще не давали никакой возможности предвидѣть появленіе «литераторовъ-обывателей» съ ихъ обличительными замыслами. Если состояніе нашего общества, построеннаго тогда на вѣрноподданномъ правѣ, вполне удовлетворяло требованіямъ Булгарина, то онъ, конечно, оставался доволенъ и дѣятельностью нашихъ учебныхъ заведеній. Воспитаніемъ того времени «Пчела» не могла нахвалиться. «Въ Россіи—гласить письмо изъ Воронежа («Сѣверная Пчела» 1837 г. № 234)—издревле предупреждались нужды народныя. Мало того, что Петербургъ усѣянъ учебными заведеніями, мало того, что въ Москвѣ они годъ отъ году умножаются, несмотря на то, что на краяхъ имперіи, въ Тифлисѣ, Одессѣ, Варшавѣ, заведенія сіи процвѣтають, несмотря на все это, почти въ каждомъ губернскомъ городѣ воздвигаются учебныя заведенія, и въ нашемъ счастливомъ Воронежѣ предназначено быть кадетскому корпусу на четыреста воспитанниковъ».

Защищая со всѣхъ сторонъ нашъ общественный бытъ того времени, «Сѣверная Пчела» весьма интересовалась дурными слухами, распускаемыми про насъ за границею въ печатныхъ книгахъ и брошюрахъ, и подвергала строгому нареканію всѣхъ авторовъ подобныхъ произведеній. Ея бдительность въ этомъ отношеніи заслуживаетъ замѣчанія. «Въ Берлинѣ—пишетъ заграничный корреспондентъ «Сѣверной Пчелы» («Сѣверная Пчела» 1836 г. №№ 1 и 2),—имѣли мы случай читать неукротимыя статьи иностранныхъ газетъ, въ которыхъ, на перехватъ, старались въ неблагопріятномъ видѣ представлять все, что происходило въ Калишѣ, въ

1813 г. Преувеличеніемъ, искаженіемъ не ограничивалось желаніе подкупленныхъ издателей вредить намъ; нѣтъ! они начали позорно лгать, составлять (sic) происшествія, говорить за нашихъ солдатъ и пр., однимъ словомъ, писать все, что доступно лишь чувствамъ тщедушнаго газетчика, продающаго нафабрикованныя рѣчи и мысли, вѣсами порока, за плату той или другой стороны. Не стану терять времени въ вычисленіи всѣхъ бредней газеты аугсбургской и другихъ». Далѣе говорится, что, кромѣ газетныхъ статей, за границей появляются цѣлыя сочиненія, въ которыхъ «разбираются или, лучше сказать, раздираются наша новѣйшая исторія, указы императора и вообще внутреннее положеніе дѣлъ въ Россіи». Въ этихъ сочиненіяхъ, по словамъ той же статьи, «не довольствуются описаніемъ нашего отечества, но впускаютъ зондъ въ предметы описанія, притомъ зондъ, налитанный ядомъ». «И кто могутъ быть ихъ авторы?» спрашивалъ самъ себя корреспондентъ. «Какой нибудь гувернеръ, эмигрантъ, бѣжавшій изъ Россіи отъ долговъ, подкупленный космополитъ, какая нибудь нарумяненная, безнравственная герцогиня или, наконецъ, одинъ изъ тѣхъ недостойныхъ сыновъ Россіи, которые гонимы законами или совѣстью и скитаются по свѣту, какъ преступныя души, неприемлемыя нѣдрами земли». Изъ числа этихъ вредныхъ брошюръ корреспондентъ упоминаетъ объ одной, которая появилась въ Швейцаріи, по поводу указа 17 апрѣля 1835 г. на счетъ заграничныхъ поѣздокъ русскихъ. Авторъ этой брошюры, по словамъ корреспондента, предлагалъ Россіи уступить сосѣднимъ государствамъ свои по-

граничныя владѣнія (какъ-то: Финляндію, Польшу, Крымъ и др.), и «сосредоточиться на меньшемъ пространствѣ, гдѣ благосостояніе ея увеличится». Предлагаютъ же онъ это, приводя въ примѣръ частнаго человѣка, который «охотно уступаетъ часть своего имѣнія, если не почитаетъ себя въ силахъ сносить трудность управленія имъ». Корреспондентъ «Сѣверной Пчелы» энергически возсталъ противъ этихъ, болѣе фантастическихъ, нежели сепаратистскихъ стремленій, и изъявилъ основательную надежду, что «никто изъ русскихъ не увлечется злощальными умствованіями такихъ книгъ, наполненныхъ парадоксами и софизмами». Въ другой разъ, въ статьѣ подъ названіемъ: «Опять вздоры объ Россіи» (1836 г. № 55), «Сѣверная Пчела» напала на какого-то нѣмца, напечатавшаго въ журналѣ Ausland статью, оскорбительную для Россіи. Оскорбленія эти состояли, между прочимъ, въ томъ, что въ «Россіи, по словамъ нѣмецкаго автора, строятъ безобразныя печи», тогда какъ, по увѣренію нашей газеты, «русскіе мастера дѣлаютъ прелестныя печи», и еще въ томъ, что нѣмцу не понравились русскія сани и войлочные сапоги, употребляемые крестьянами.

Принципы и сочувствія «Сѣверной Пчелы» отражались, съ нѣкоторыми уклоненіями, въ ея критическомъ и библиографическомъ отдѣлѣ, и изъ новыхъ книгъ похвалялись обыкновенно только тѣ, которыя, по своему направленію, подходили вполне подъ общій тонъ газеты. Ея отзывы о подобныхъ книгахъ имѣли, болѣею частію, такой стереотипный характеръ: «любовь къ отечеству, коей проникнуть этотъ романъ, даетъ ему право на вниманіе русскихъ» или: «это прелюбопытная памятная книжка для всякаго, преи-

мущественно для воина» и т. п. Объ извѣстномъ учебникѣ русской исторіи г. Устрялова «Сѣверная Пчела» говоритъ: «Читайте введеніе г. Устрялова въ его исторію, статью о норманнахъ, о христіанской вѣрѣ и проч., читайте, однимъ словомъ, всю книгу: она доставитъ вамъ обильную пищу къ размышленію. Слогъ автора, какъ и всегда, отличается правильностью, ясностью и легкостью.» (Литературный слогъ «Сѣверная Пчела» разсматривала съ точки зрѣнія старинныхъ риторикъ и дѣлила его на низкій, средній и высокій). Во всей русской исторіи Булгаринъ видѣлъ только любовь къ спокойствію: этого качества онъ и искалъ въ ея событіяхъ, отзываясь съ пренебреженіемъ или злобою обо всемъ, что не подходило подъ его мѣрку. Объ исторіи среднихъ вѣковъ г. И. Шульгина говорится: «не утѣшительно ли на скудномъ историческомъ поприщѣ встрѣтить отечественнаго историка мыслящаго?» Мнѣнія «Сѣверной Пчелы» объ изящной литературѣ того времени поражали своимъ безвкусіемъ и нелѣпностью, и съ этой стороны ея дѣятельности насъ достаточно познакомилъ Бѣлинскій въ своихъ меткихъ памфлетахъ противъ Булгарина. Вспомнимъ только, что «Сѣверная Пчела» ставила Соколовскаго (автора поэмы «Хеверъ», о которой говоритъ Панаевъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ»), Якубовича, Тимофеева чуть не въ уровень съ Пушкинымъ, и строго осуждала всю дѣятельность Гоголя за то, что онъ сознательно унижаетъ Россію, выводя на свѣтъ одну житейскую грязь и чиновничьи злоупотребленія *). Отношенія «Пчелы» къ Пушкину имѣютъ особен-

*) Замѣчательно, что то же самое, и съ той же точки зрѣнія, говорить о Гоголѣ Вигель въ своихъ пресловутыхъ «Запискахъ». Вотъ ка-

ный интересъ, потому что здѣсь замѣшивалась *jealousie du métier*, журнальная конкуренція съ «Современникомъ». Извѣстіе объ изданіи Пушкинымъ своего журнала (который и затѣвался-то въ отпоръ литературнымъ монополистамъ) было встрѣчено «Пчелою» хладнокровно, и она даже вступилась за «Современникъ» послѣ рьяныхъ нападокъ на него «Библиотеки для Чтенія» (Сѣверная Пчела 1836 г. № 86); но вскорѣ умѣренность была забыта, и «Пчела» стала съ умысломъ пошатывать литературную знаменитость Пушкина. Немного времени спустя, по поводу изданія «Полтавы» на малороссійскомъ языкѣ, «Сѣверная Пчела» (1836 г. № 162) обратилась къ Пушкину съ слѣдующею элегическою рѣчью: «Но отчего же муза поэта умолкла? Ужели поэтическія дарованія старѣютъ такъ рано? и пр. Видно, что такъ, потому что поэтъ сдѣлался журналистомъ. Печальная перемена! Какъ не пожалѣть о ней! Поэтъ промѣнялъ золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста, князь мысли сталъ рабомъ толпы, орелъ спустился съ облаковъ. И для чего же онъ промѣнялъ свою блестящую, завидную судьбу на долю труженника? Для того, чтобы имѣть удовольствіе высказать нѣсколько горькихъ упрековъ своимъ врагамъ, т. е. людямъ, которые были несогласны съ нимъ въ литературныхъ мнѣніяхъ, которые требовали отъ его дремлющаго таланта новыхъ, совершеннѣйшихъ созданій, угрожая въ противномъ случаѣ свести съ престола (*détrôner*) его значительность». Противъ этой-то полемической выходки возсталъ кн. Одоевскими инсинуаціями встрѣчено было у насъ новое направленіе, давшее могучій толчекъ всей русской литературѣ.

скій въ особой статьѣ: «О нападкахъ петербургскихъ журналовъ на Пушкина», и въ ней коснулся, между прочимъ, привилегіи «Сѣверной Пчелы» на ежедневный выходъ,— привилегіи, которая, при отсутствіи равносильной конкуренціи, придавала большой вѣсъ въ обществѣ своекорыстнымъ стремленіямъ этой газеты, такъ какъ, благодаря ей, «Сѣверная Пчела» имѣла (по словамъ Шевырева въ «Московскомъ Наблюдателѣ») до 10,000 подписчиковъ ¹⁾. Еслибы кн. Одоевскій заговорилъ объ одномъ Пушкинѣ, не дѣлая прямыхъ и косвенныхъ нападокъ на монополистовъ-издателей, то его статья навѣрно нашла бы себѣ пріютъ въ какомъ нибудь изъ тогдашнихъ журналовъ. Но въ своемъ настоящемъ видѣ, исполненная насмѣшекъ и справедливаго негодованія противъ литературнаго торгашества, она оказалась вполне неудобною для печати ²⁾... Выходка «Сѣверной Пчелы» такъ и прошла безъ отвѣта. Несравненно болѣе расположенія, чѣмъ къ Пушкину, оказывала «Сѣверная Пчела» къ барону Брамбеусу (Сенковскому) и къ его журналу. Въ произведеніяхъ Брамбеуса «Пчела» усматривала необыкновенный умъ и талантъ, и предсказывала ему такое высокое мѣсто въ литературѣ, что «до него не достигнуть ни московскія, ни петербургскія критическія стрѣлы». Дружескія отношенія «Пчелы» къ «Библіотекѣ для Чтенія» никогда не нарушались, и споры, иногда возникавшіе между ними, не пріобрѣтали характера важной и продолжительной размолвки. «Библіотека для Чтенія», богатая подписчиками

¹⁾ По другимъ свѣдѣніямъ, число это простиралось только до 5,000.

²⁾ Статья эта, вмѣстѣ съ прочими бумагами кн. Одоевскаго, напечатана въ № 7—8 «Русскаго Архива» за 1864 г.

— говорилось въ «Сѣверной Пчелѣ» — никогда не бранила Булгарина. Стало быть, брань журналистовъ, бѣдныхъ подписчиками, падаетъ не на Булгарина, а прямо на число его подписчиковъ».

Говорить ли, наконецъ, о знаменитомъ самовосхваленіи Булгарина? Приведемъ на выдержку нѣсколько строкъ о выходѣ въ свѣтъ первыхъ томовъ сочиненій Булгарина (изданія Лисенкова): «Мы увѣрены, что публика съ обыкновенною своею благосклонностью приметъ новую книгу своего любимого писателя, и говоримъ это не потому только, что *Θ. В. Булгаринъ* — участникъ въ изданіи «Сѣверной Пчелы»; но потому что онъ, Булгаринъ, писатель съ умомъ наблюдательнымъ и острымъ, съ благородными правилами (*sic*), обладающій живымъ, бойкимъ и чистымъ слогомъ, говорящимъ уму и чувству ¹⁾». О самой себѣ «Сѣверная Пчела» выражалась такимъ образомъ: «безъ Пчелы ни одинъ порядочный человѣкъ не можетъ выпить утромъ чашки чаю». Своихъ литературныхъ противниковъ, между которыми главнѣйшую роль играли московскіе журналы, «Пчела» называла напередъ погибшими. Въ самомъ дѣлѣ, она прочнѣе другихъ изданій опиралась на массу тогдашней публики и на поддержку администраціи. Московскіе журналы, составлявшіе оппозицію, вносили, по увѣренію «Сѣверной Пчелы», духъ буйства и разврата въ нашу литературу: въ особенности не нравился этой газетѣ критическій отдѣлъ «Молвы», въ которомъ (съ 1834 г.) уже принималъ участіе Бѣлинскій. «На литературу—говорилось въ «Сѣверной Пчелѣ»²⁾

¹⁾ «Сѣверная Пчела» 1836 г. № 220.

²⁾ «Сѣверная Пчела» 1837 г. № 5.

—находить школьный туманъ. Критика прежняя,—веселая, острая хохотунья,—но справедливая критика заснула! Теперь въ литературѣ, по старой поговоркѣ: кто раньше всталъ да палку взялъ, тотъ и каиралъ и пр. и пр. Множество людей съ дарованіемъ и образованностью, которые могли бы служить украшеніемъ нашей словесности, отказываются отъ дѣятельнаго въ ней участія. Гдѣ великіе наши дѣятели, могучіе производители? Гдѣ литературный кругъ? Гдѣ дружескія бесѣды о любезной литературѣ?» Въ критикѣ «Молвы» Булгаринъ уже чуютъ инстинктивно ту силу, которой суждено было скоро прійти ему на смѣну...

III.

Мы не даромъ сдѣлали столько извлеченій изъ «Сѣверной Пчелы»: какъ органъ журналистики наиболѣе наивный и болтливый, эта газета высказывала прямо свои симпатіи и ничуть не маскировала своихъ стремленій. Она не пробовала даже защищать съ раціональной точки зрѣнія свою политическую и нравственную систему; ея импровизаціи имѣли характеръ непосредственный и не требовали доказательствъ или, пожалуй, эти доказательства существовали въ видѣ факта, а вовсе не въ видѣ отвлеченной теоріи. Выписки изъ «Сѣверной Пчелы» избавляютъ насъ отъ труда дѣлать извлеченія изъ другихъ изданій, менѣе рѣзкія и выразительныя. Опредѣливши въ главныхъ чертахъ образъ мыслей одного изъ журнальных триумфировъ, мы можемъ

теперь указывать менѣе пространно на солидарность съ «Пчелою» другихъ органовъ той же категоріи.

«Сынъ Отечества» (основанный въ 1812 году г. Гречемъ) шелъ, въ описываемое время, совершенно по одной дорогѣ съ «Сѣверною Пчелою» и былъ одинаково друженъ съ «Библиотекой для Чтенія». Въ первыхъ же книжкахъ этого журнала за 1836 г. помѣщены три большія статьи («Русская критика въ 1835 г.»), въ которыхъ имѣлось въ виду защитить «Библиотеку для Чтенія» отъ нападокъ на нее московскихъ журналовъ. Приведемъ самыя интересныя отрывки изъ этихъ руководящихъ статей: «Съ нѣкотораго времени у насъ вошло въ моду жалѣть о нашей литературѣ, говорить объ ея несчастномъ состояніи. Никогда не было жалобъ болѣе несправедливыхъ и неосновательныхъ. Неужели намъ нѣ достаесть поощренія? Неужели намъ мало, что литераторы и художники награждаются пенсіями, чинами, крестами, подарками? Вспомните Карамзина и Гнѣдича; посмотрите на Крылова и Жуковского, на Брюллова, Тона и проч. Если литература и искусство не представляютъ замѣчательныхъ произведеній, то въ этомъ виновенъ не недостатокъ поощренія; виновны, можетъ быть, сами литераторы, сами художники. Теперь работаютъ не для науки, не для искусства, а для кармана. Критика занимается подкапываніемъ чужихъ репутацій. «Московский Наблюдатель» основался съ одной цѣлю—подкопать репутацію барона Брамбеуса; «Телескопъ» и «Молва» подкапываютъ всѣ возможныя репутаціи. Критика «Литературныхъ Прибавленій» къ «Инвалиду» также имѣетъ свое благородное призваніе—хулить барона Брамбеуса». О Сенков-

скомъ въ этой статьѣ высказывалось самое лестное мнѣніе: «Брамбеусъ безспорно литературная знаменитость; онъ убьетъ кого угодно однимъ словомъ; сами его завистники и порицатели изранены его неподдѣльнымъ остроуміемъ, его тонкою, язвительною сатирою, его пронзительнымъ, ядовитымъ сарказмомъ». Правда, критика упрекаетъ Брамбеуса въ излишнемъ эгоизмѣ и злоупотребленіи своимъ остроуміемъ, доходящемъ даже до неприличныхъ выходокъ: «Брамбеусъ бьетъ авторовъ (въ своихъ рецензіяхъ) палками въ лобъ, жгутами по спинамъ, отдаетъ книги на разсмотрѣніе своему Ванькѣ—вѣроятно, кучеру или дворнику. Онъ, улыбаясь, говоритъ вамъ: это изданіе лакейское, особенно приспособленное къ салнымъ свѣчкамъ: ему съ намѣреніемъ дана форма рѣпы, чтобъ можно было просверлить книгу ножомъ и втыкать салную свѣчку. Въ другомъ мѣстѣ онъ женить себя на переводчицѣ очень хорошей книги, крестить дѣтей и ставить имъ памятникъ изъ сихъ и оныхъ. Гдѣ тутъ приличіе, уваженіе къ дамамъ? Г. Ѳедоровъ, за изданіе дѣтской книжки, получаетъ пять орѣховъ».

Но эти упреки, пересыпаемые самою подобострастною похвалою, имѣли совсѣмъ другой смыслъ, чѣмъ нападки на московскихъ литераторовъ, обвиняемыхъ скорѣе въ дерзости мнѣній, чѣмъ въ грубости словъ. Дальше говорится: «Несмотря на нападки, на безсильныя хулы ея враговъ, «Библіотека»—лучшій изъ настоящихъ журналовъ, и подобного у насъ никогда не было. Что «Библіотека» между журналами, то «Сѣверная Пчела» между газетами. Въ «Пчелѣ» никогда не бываетъ критики (это не совсѣмъ вѣрно), она ограничивается краткими извѣстіями

о вновь выходящихъ книгахъ. О
пристрастностью, и ее можно то-
добротѣ: она печатаетъ слишкомъ
нѣ Отечества» были напечатаны
(на исторію Пугачевского бунта
которыя, по своей умѣренности
ставляютъ насъ искренно жалѣть
самъ о себѣ!), что господа крити-
слишкомъ молчаливы. Намъ сказа-
тъ этого рода будутъ писаны,
«Сынъ Отечества» однимъ изъ
тиковъ, который болѣе года не
поприщѣ. Читатели «Сына Оте-
дктора за такой пріятный подар

Въ особенности доставалось «Мо-
критическій отдѣлъ. «Молва» и «Т-
«Сынъ Отечества»,—для пользы со-
особеннымъ усердіемъ и прилежаніемъ
мертвыхъ и бранью живыхъ. Да, бра-
которыхъ литераторовъ чертямъ
выписка). Вотъ какія статьи печата-
тора величаютъ чортомъ, лжецомъ
Послѣ этого мы не можемъ говорить
скопѣ» ²⁾. Наша критика насмѣшли-

¹⁾ Впрочемъ, нападенія на «Телеско-
скромъ времени журналъ этотъ подве-
П. Я. Чаадаева.

²⁾ Напечатаніе такихъ статей въ «Мо-
ва» объясняетъ отсутствіемъ редактора Е.
въ то время, «въ чужихъ краяхъ».

бительна. Посмотрите, сколько теперь у насъ честныхъ, почтенныхъ именъ, замаранныхъ чернильнымъ пятномъ литературнаго безславія. Кто не осмѣялъ, не освистанъ, не оскорбленъ? Нѣкоторые были даже тронуты за нѣжнѣйшія струны, за жизнь семейную. То, чего нельзя вытерпѣть въ обществѣ безъ самыхъ горькихъ послѣдствій, то сносится на бумагѣ и остается безъ наказанія.

Нетрудно понять затаенный смыслъ всей этой журнальной діатрибы: правительство поощряетъ литературу, даетъ литераторамъ кресты и пенсіи, а младшая литературная братія не умѣетъ вести себя и относится съ презрѣніемъ къ заслуженнымъ людямъ, причемъ касается даже «нѣжнѣйшихъ струнъ ихъ сердца». Дозволяя себѣ такія вещи, молодые писатели приближаются къ свободной печати, которая рисовалась публикѣ, именно, какъ поруганіе первыхъ правилъ общежитія (см. выше отзывъ «Пчелы» о франц. и англ. прессѣ); ergo—ихъ надо унять, т. е. лишить возможности нарушать общественный порядокъ. Тогдашніе литераторы очень хорошо знали, куда мѣтять, въ такихъ инсинуаціяхъ, дружные журналисты. Этихъ-то инсинуацій они и боялись, какъ огня. Въ pendant къ этимъ строкамъ пусть читатель припомнить вопли «Сѣверной Пчелы» объ упадкѣ русской литературы, объ удаленіи изъ нея самыхъ благонамѣренныхъ дѣятелей — и тогда станетъ ясно, до какой солидарности доходили на этомъ пунктѣ оба журнала. «Сѣверная Пчела» даже прямо говорила: «Наша литература, безъ званія писателей, есть не домъ, въ которомъ живутъ хозяева, а гостинница, въ которой каждый приказываетъ и кричитъ, кто заѣхалъ на ночлегъ и кто посмѣлѣе. Отъ того

неучи и шарлатаны кричали у насъ
 («Сѣверная Пчела» 1836 г. № 1
 указаніе на то, что надо регламент
 тія, отдать ихъ въ руки ограничен
 командировать къ нимъ ограничен
 хорошо извѣстныхъ этимъ хозяев
 дѣйствовалъ (съ 1825 года), въ
 Булгаринъ, также какъ въ «Сѣве
 тенденціи обоихъ журналовъ бы
 Сюда заносилъ Булгаринъ и се
 Такъ напр., отрыввъ подписку
 въ историческомъ, статистическомъ
 Булгаринъ говорилъ, что «если
 писчиковъ, то онъ издастъ свой
 и что ему «предлагаютъ это съ
 Политическія воззрѣнія «Сына
 взглядъ на нашу внутреннюю ж
 съ таковыми же воззрѣніями «Сѣ
 скія обозрѣнія» въ «Сынѣ Отечес
 тремъ, самымъ благонамѣреннымъ
 То и дѣло попадаютъ фразы: «
 койствіемъ»... «въ Малагѣ спокой
 Изъ событій нашей внутренней
 одни утѣшительныя.

Съ 1838 года въ изданіи «С
 «Сѣверной Пчелы») произошла в
 торы этихъ изданій, оставаясь п
 рядителями литературно-ученой
 нья заботы А. Ф. Смирдину и

словамъ, возможность удѣлить болѣе времени и стараній на литературное и собственно журнальное дѣло». Съ этого времени «Сынъ Отечества» сталъ издаваться опрятнѣе, книжки его сдѣлались толще, и ихъ содержаніе было раздѣлено на правильныя рубрики, числомъ пять. Но характеръ обоихъ изданій ничего не выигралъ отъ внѣшней перемѣны: и «Сынъ Отечества», и «Сѣверная Пчела» остались вѣрны своей прежней дѣятельности. На внутреннее преобразование «Сына Отечества» еще могла быть какая нибудь надежда: въ журналѣ принялъ постоянное участіе писатель весьма извѣстный въ свое время — Н. А. Полевой, переселившійся въ Петербургъ вскорѣ послѣ паденія «Московского Телеграфа». Тѣмъ не менѣе, Полевой — какъ сотрудникъ «Сына Отечества» — нимало не походилъ уже на бившаго редактора «Телеграфа»: напуганный своимъ прежнимъ либерализмомъ, имѣвшимъ такой печальный исходъ, даровитый писатель круто повернулъ на другую дорогу, оправдываясь горькой необходимостью и стыдясь встрѣчаться съ своими прежними знакомыми.

Чтобы читатели могли понять, въ какіе тиски попадали тогда люди, подобные Полевому, живя въ Петербургѣ, мы позаимствуемъ изъ «Воспоминаній» Панаева относящееся сюда мѣсто:

«Въ Петербургѣ Бѣлинскій не видался съ Полевымъ. Полевой избѣгалъ его, потому что, послѣ совершенной перемѣны въ своихъ убѣжденіяхъ, ему, кажется, неловко было взглянуть прямо въ глаза Бѣлинскому... «Бѣлинскій—прекраснѣйшій, благороднѣйшій человекъ, сказалъ мнѣ однажды Полевой, когда я нарочно завелъ съ нимъ рѣчь о Бѣлинскомъ:—го-

рячая голова, энтузіастъ, но теперь намъ сходиться не для чего-сь. Я здѣсь уже совсѣмъ не тотъ-сь. Я вотъ долженъ хвалить романы какого нибудь Штевена, а вѣдь эти романы галиматья-сь».

«— Да кто жъ васъ заставляетъ ихъ хвалить?» спросилъ я съ удивленіемъ.

«— Нельзя-сь, помилуйте, вѣдь онъ частный приставъ.(!!!)»

«— Что жъ такое? Что вамъ за дѣло до этого?»

«— Какъ что за дѣло-сь! Разбери я его, какъ слѣдуетъ, — онъ, пожалуй, подкинетъ ко мнѣ въ сарай какую нибудь вещь, да и обвинить меня въ кражѣ. Меня и поведутъ по улицамъ на веревкѣ-сь, а вѣдь я—отецъ семейства!» (Соврем. 1860 г., № 1, «Воспоминаніе о Бѣлинскомъ»).

Не мѣшаетъ припомнить, что Полевой, какъ купецъ 3-й гильдіи, могъ даже подвергнуться, по приговору суда, тѣлесному наказанію. Что мудренаго, еслибъ это и сдѣлали для «вящаго вразумленія» непокорнаго либерала? Въ словахъ Полеваго заключается горькій, отчаянный, но совершенно правдивый смыслъ...

Въ 1839 г., печатая свои критическіе «Очерки», куда вошли многія статьи изъ «Библіотеки для Чтенія», Полевой жаловался на самоуправство Сенковского, позволявшаго себѣ измѣнять и даже совсѣмъ передѣлывать его статьи; но въ «Сынѣ Отечества» 1838 года Полевой не нарушалъ еще ничѣмъ своихъ добрыхъ отношеній къ этому вліятельному журналисту. «Библіотека для Чтенія» — писалъ Полевой въ I-мъ томѣ обновленнаго «Сына Отечества» — «была толста и разно-

образна въ прошедшемъ 1837 году и не могла не быть такою, заключаая въ себѣ почти всю нашу журналистику. Какъ тяжелая колесница, катилась она по тѣсному полю русской литературы, безжалостно давила встрѣчныхъ и брызгала грязью съ широкихъ колесъ своихъ. Какъ тяжкій млатъ, каждый мѣсяцъ упала она толстою книгою на головы читателей и разсыпалась стихами, прозою, науками и пр. Съ самаго почти начала «Библиотеки» въ русской литературѣ, завелась мода — у читателей покупать ее, у журналистовъ бранить, у издателей не отвѣчать на брань. Такъ шло дѣло и въ прошломъ году. Мы покажемъ первый примѣръ — не станемъ бранить «Библиотеки». Въ самомъ дѣлѣ, за что бранить ее?»

Кротость духа, навѣянная Петербургомъ на Полеваго, отразилась и въ этомъ приговорѣ.

Внутренняя и внѣшняя жизнь Россіи продолжали, — и съ переменной редакціи, — внушать къ себѣ благоговѣніе въ «Сынѣ Отечества». «Исторію новую съ 1812 г. — говорилось въ I-мъ томѣ «Сына Отечества» за 1838 г., въ отдѣлѣ «Современной Исторіи» — не должно ли назвать исторіею воззвѣщенія, возвышенія Россіи, спасительницы Европы, умиротворительницы чуждыхъ народовъ? — И въ минувшемъ (1837 г.) первую ступень важности исторической являла Россія, твердая постоянствомъ политической системы своей. Какъ съ неизмѣлемой скалы, спокойно смотрѣли мы, русскіе, на порывы бури, колеблющей другіе народы, и укрѣплялись познаніями, трудами промышленности, богатствами торговли, устройствомъ различныхъ частей государственнаго управленія».

Въ заключеніе приведемъ, для характеристикъ тогдаш-

нихъ литературныхъ отношеній, жалобу Булгарина, выраженную имъ въ формѣ письма къ извѣстному генералу Дубельту. Жалоба эта возникла по очень забавному поводу. Въ «Вѣдомостяхъ С.-Петербургской городской полиціи», находившихся тогда подъ редакціей г. Межевича, въ отдѣлѣ «Смѣси» появилось извѣстіе: «Говорятъ, что А. А. Орловъ издаетъ полное собраніе своихъ сочиненій въ 2-хъ компактныхъ томахъ, въ большую осьмую долю листа, въ два столбца. Въ первомъ томѣ будутъ помѣщены: «Погребеніе Ивана Выжигина», «Родословная Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина» и прочія напечатанныя нѣсколькими изданіями сочиненія и давно уже раскупленныя многочисленными читателями и почитателями А. А. Орлова. Во 2-мъ томѣ будутъ напечатаны нѣкоторыя новыя произведенія знаменитаго романиста и между прочими: «Безпристрастное сужденіе автора о самомъ себѣ». Къ этому присоединится портретъ автора, гравированный на стали въ Лондонѣ. Изданіе будетъ богатое и дешевое («Вѣдомости городской полиціи» 1839 г. № 22). Нечего прибавлять, что извѣстіе было ироническое и имѣло цѣлью поддѣлаться подъ общій тонъ булгаринскихъ рекламъ. Въ томъ же номерѣ газеты помѣщено было и частное объявленіе книгопродавца Лисенкова, гласившее такъ: «издатель сочиненій Булгарина считаетъ обязанностью объявить, что замедленіе выхода 5-й части произошло вовсе не отъ него, а отъ самого автора, который по сіе время медленно доставляетъ рукописи; нынѣ же начальство обязываетъ автора, давашаго контрактъ, окончить свое сочиненіе, какъ можно скорѣе, и потому нѣтъ сомнѣнія, что остальная часть скоро выйдетъ въ свѣтъ».

Напечатаніе рядомъ этихъ двухъ извѣстій крайне раздражило Булгарина,—и онъ, нимаю не медля, настрочилъ цѣлый доносъ:

«М. Г. Всѣ газеты и журналы русскіе, до напечатанія, разсматриваются цензорами, облеченными правительствомъ въ сіе званіе. «Сѣверная Пчела» имѣетъ пять цензоровъ; напротивъ того, «Полицейская газета» не имѣетъ ни одного, и прибавленія къ сей газетѣ, заключающія въ себѣ литературныя статьи, издаются на отвѣтственности издателя, какъ въ Англіи и Франціи, гдѣ существуетъ неограниченная свобода книгопечатанія. Соотвѣтственно ли это формѣ нашего правительства и справедливо ли въ отношеніи къ другимъ журналамъ—судить не мое дѣло, но будучи жертвою этой свободы книгопечатанія въ русскомъ царствѣ, прибѣгаю подъ покровительство в. п—ва и прошу обратить вниманіе ваше на злоупотребленія, которымъ не предвидится конца. Редакторъ «Полицейской газеты» есть юноша безъ литературнаго имени и безъ всякаго поручительства въ свѣтѣ. Можно ли на его отвѣтственность поручать изданіе официальной газеты и позволять наполнять газету полицейскую литературными сплетнями и оскорбленіями литераторовъ? Въ какомъ государствѣ официальныя газеты занимаются литературою, рецензіями и полемикою? Нигдѣ въ цѣломъ мірѣ! Хуже всего то, что г. Краевскій, другъ и покровитель редактора «Полицейской газеты» Межевича, безстыдно осмѣливается ссылаться на покровительство вашего превосходительства... «Полицейская газета» не имѣла права печатать объявленіе книжника Лисенкова въ томъ видѣ, какъ оно напечатано. Лисенковъ объявилъ ко мнѣ

претензію, а я имѣю еще болѣе. Тяжба наша должна производиться по уставу. До окончательнаго рѣшенія никто не можетъ принудить истца, и въ цѣломъ мірѣ не можетъ наступать. Здѣсь, со стороны законовъ! Что же касается до объ изданіи моихъ сочиненій, то честь и уваженіе къ нравственнымъ цензурнымъ вали бы воспретить печатаніе оцѣйской газетѣ», а во вторыхъ, названіемъ моего сочиненія—естественнаго гражданина. Цензурнымъ уставомъ сочиненіямъ заглавія, уже вышедшаго автора, а всѣмъ извѣстно, что Іереміа. Я сидѣлъ на гауптвахтѣ только, что напечаталъ самую умную Очкина, на романъ Загоскина. Заглавія не надъ лицомъ автора, менѣе истребленіемъ! Неужели вся страна противъ меня все позволено? На границѣ, наполняютъ эти идеями и оскорбленіями и этотъ пасквиль, то есть книга турѣ, допущена въ продажу въ лавкахъ отъ службы за напечатаніе Россіи, тогда какъ Мельгуновъ невиненъ! На меня пишутъ въ «Отечественныхъ Запискахъ»,

нѣхъ» къ «Русскому Инвалиду» и въ «Полицейской газетѣ», а я не могу нигдѣ найти суда и расправы. Что это значитъ, я не понимаю, а знаю только, что акціонеры «Отечественныхъ Записокъ» составили противъ меня заговоръ, и что они сильны, находясь на службѣ въ цензурѣ иностранной и въ министерствахъ. Но зная вашу душу и вашъ благородный характеръ, я твердо убѣжденъ, что в. п—во, для полезнаго примѣра, примете мѣры, чтобы Межевичъ, редакторъ «Полицейской газеты», былъ наказанъ явно, и чтобы у него отняты были средства къ распространенію сплетней и пасквилей посредствомъ официальной газеты. Les mœurs publiques outragées—есть повсюду преступленіе, а публиковать въ «Полицейской газетѣ» о Ванькѣ Капнѣ и къ этому гнусному титулу, и впрочемъ запрещенной книгѣ, пришить заглавіе книги живущаго автора не позволено было бы и въ Англіи, и такой поступокъ былъ бы наказанъ тюремнымъ заключеніемъ.—Police correctionnelle и King's-Bench у насъ нѣтъ. Куда прибѣгнуть съ жалобой? Богъ, во благости Своей, далъ васъ и жандармскій корпусъ! Къ вамъ прибѣгаю и умоляю о защитѣ! Съ истиннымъ высокопочитаніемъ и безпредѣльною преданностью честь имѣю быть в. п—ва, милостиваго государя, покорнѣйшій слуга,—

О. Булгаринъ».

Сколько намъ извѣстно, изъ этой жалобы не возникло никакихъ дурныхъ послѣдствій для Межевича: — но только потому, что враги Булгарина оказались сами сильны, на этотъ разъ, своими связями — «въ цензурѣ и въ министерствахъ»...

IV.

Мы переходимъ къ «Библіотечательной личности ея редактора «воположныхъ мнѣній *)».

Журнальная дѣятельность Сественно въ Петербургѣ) съ 18: раньше того, а именно въ коні увѣренію Савельева) принималъ журналъ «Уличныя Вѣдомости», подъ редакціей профессора Сняд кому году относится разсужденіи хожденіи польской шляхты», гд польское дворянство—лехи—суть владычествовавшихъ надъ славяныи которыхъ сохранилось на легзи, лезгинны. Чтò побудило авшюру—обычная ли парадоксальнаблаговидная цѣль—рѣшить доволіброшюра эта была рѣзко осуждпроизвела окончательный разрыпольскою патріотической партіей.

*) При составленіи этой главы мы вельева: «О жизни и трудахъ О. И. гг. Дудышкина («Отеч. Зап.» 1859 г., Чт.» 1859 г., № 1).

вниманіе на это обстоятельство, потому что въ послѣднее время возникло новое обвиненіе противъ Сенковского—въ іезуитски-скрытномъ служеніи польскому національному дѣлу. Обвиненіе это, на нашъ взглядъ, не имѣетъ достаточной основательности, что подтверждается ниже злою шуткою Сенковского надъ краковскими волненіями 30-хъ годовъ.—Черезъ Булгарина (котораго зналъ еще въ Вильнѣ) Сенковский познакомился съ кружкомъ петербургскихъ литераторовъ и сошелся въ особенности съ Марлинскимъ. Въ 1832 г., въ бытность свою цензоромъ и профессоромъ восточнаго факультета въ здѣшнемъ университетѣ, задумалъ Сенковский планъ журнала «Библіотека для Чтенія», который былъ скопированъ имъ съ «Новоселья», сборника, изданнаго Смирдинымъ. (Въ этомъ сборникѣ напечатана извѣстная повѣсть Сенковского: «Большой выходъ у Сатаны»). Планъ журнала осуществился въ 1834 г.; издателемъ «Библіотеки для Чтенія» сдѣлался А. Ф. Смирдинъ; редакторство же Сенковского было покуда негласное, но съ начала 1836 г. онъ явился уже официальнымъ редакторомъ, а о прежнихъ, подставныхъ редакторахъ (гг. Гречъ и Е. Коршъ) отозвался, что «они слишкомъ невинны въ недостаткахъ «Библіотеки», чтобъ отвѣчать за нихъ передъ публикой, и слишкомъ благородны, чтобы требовать для себя похвалы за достоинства, въ которыхъ они не имѣли никакого участія, ибо весь кругъ ихъ редакторской дѣятельности ограничивался чтеніемъ третьей, послѣдней корректуры уже оттиснутыхъ листовъ, набранныхъ по рукописямъ, которыя никогда не сообщались имъ предварительно» («Библ. для Чт.» 1836 г., т. XVII, Литер. Лѣтоп.). Г. Гречъ говорилъ, правда, что

онъ «наблюдалъ въ «Библіотекѣ» за исправностію слога и чистотой языка статей, присылаемыхъ сотрудниками часто въ видѣ самомъ неблагообразномъ» (Сѣв. Пч., 1836 г. № 44); но такъ какъ, по удостовѣренію самого Сенковского, «рукописи никогда не сообщались прежнимъ редакторамъ», то дѣятельность г. Греча касалась, вѣроятно, только до разстановки знаковъ и соблюденія прочихъ правилъ его грамматики въ корректурныхъ листахъ. Однимъ словомъ, духъ и содержаніе «Библіотеки для Чтенія» того времени зависѣли вполне отъ Сенковского и ни отъ кого другого. Какою же является намъ «Библіотека» въ этотъ блестящій, золотой вѣкъ своего существованія? Справедливость требуетъ сказать, что, не смотря на свой неоспоримый публицистическій талантъ, на свой оригинальный умъ и разностороннія свѣдѣнія, между прочимъ по естественнымъ наукамъ, Сенковский не поднялся выше уровня болгарской клики, и въ своихъ политическихъ и общественныхъ тенденціяхъ танулъ въ одну сторону съ «Сѣверной Пчелою» и «Сынѣмъ Отечества». Было тутъ, конечно, различіе, зависѣвшее именно отъ болѣе даровитости Сенковского: въ дѣятельности этого журналиста была и полезная сторона, на которую мы укажемъ въ своемъ мѣстѣ; но солидарность въ направленіи съ двумя названными изданіями слишкомъ явно бросается въ глаза. «Что «Сѣверная Пчела» между газетами, то «Библіотека» между журналами», говорили въ «Сынѣ Отечества»; «Библіотека для Чтенія», богатая подписчиками, никогда не бранила Булгарина», утверждала сама «Сѣверная Пчела»; кромѣ того, и «Сынъ Отечества» осыпался, при случаѣ, похвалами отъ Сенковского («Библ. для

Чт.» 1836 г., т. XIX, см. отзывъ о первыхъ трехъ книжкахъ «Сына Отечества» за тотъ же годъ). «Записки Чухина» (романъ Ѳ. Булгарина) удостоились отъ «Библіотеки для Чтенія» чуть ли не большихъ похвалъ, чѣмъ отъ самой «Сѣверной Пчелы». «Романы Булгарина—сказано въ рецензіи—всегда чрезвычайно пріятная находка въ нашей словесности. Клеветать на нихъ можно, потому что клевета есть самое легкое и вѣрное средство отмщенія таланту за свою посредственность» («Библ. для Чт.» 1836 г., т. XIV).

Сходство возрѣній всѣхъ трехъ журналовъ немудрено прослѣдить въ частности. Къ русской беллетристикѣ Сенковский относился съ такимъ же забавнымъ непониманіемъ, какъ и критикъ «Сѣверной Пчелы»: онъ хвалилъ Бенедиктова, Подолинскаго, Букольника, Тимофеева, а съ другой стороны порицалъ Гоголя за цинизмъ и осуждалъ Грибоѣдова, котораго щадила даже и «Сѣверная Пчела» *). Проповѣдуя реализмъ и утилитаризмъ въ жизни, онъ бранилъ его наповаля при первой встрѣчѣ съ нимъ въ литературѣ. Реализмъ Сенковского приводилъ его только къ грубому филистерству и сытому довольству самимъ собою; этотъ реализмъ вовсе не былъ прогрессивнымъ началомъ въ жизни и нимаго не способствовалъ демократизаціи мысли. Напротивъ, неумный и грязный народъ, такъ реально выведенный у Гоголя,—«народъ, утирающій носъ полою своего балахона и жестоко пахнущій дегтемъ», возмущалъ благопристойный эпикуреизмъ нашего критика, и онъ не могъ выносить его присутствія даже въ

*) Полевой, въ своихъ критическихъ «Очеркахъ», жаловался на то, что Сенковский, передѣлывая его статьи, вставлялъ въ нихъ брань на Гоголя и Грибоѣдова.

романъ... Съ такой же злобой, и Сенковский къ В. Гюго, Ж. Заносило на себѣ слѣды «безнравствософіи»,—и сильно похвалялъ (и умѣренную и воздержную, литей французскихъ писателей Сенковпромахи и эксцентричность, но пдонныя ихъ неоспоримую заслуг«Библіотека» — поучаетъ богатагокомъ съ бѣднымъ, стращаетъ егогнѣвомъ нищихъ. Лучше бы г. Гидиться, быть дѣятельнымъ и прочвѣніе передъ бѣднымъ, передъ еговъ большой модѣ у извѣстнаго втелей: они всѣ добродѣтели зашебліотека для Чтенія» 37 г., т. Xговорится: «Во всемъ, что напидется ни одной честной, мысли. Грѣхъ—его муза, ужасдовищъ служить ему оригиналами» 1836 г., т. XIV, смѣсь). Въ что противъ знатныхъ и богатыхъ писатели, которыхъ «знать не п («Библіотека для Чтенія» 1837 г

Въ своемъ утилитарно-буржуа
обвѣянномъ запахомъ естественн
видимому, расходился съ Булга
«раціонализмъ и грубую полезно
все ли равно богатому классу: н

женіемъ, преднамѣренно унижая его выгоды въ глазахъ нищей братіи (какъ это дѣлалъ Булгаринъ), или поражать, наоборотъ, эту нищую братію упреками въ бездѣльничествѣ, плутовствѣ и прочихъ качествахъ, которыя дѣлають бѣдняковъ недостойными общества зажиточныхъ людей? Тутъ разнища только въ приѣмахъ, въ развитіи мысли.

Жоржъ-Зандъ была предметомъ постоянныхъ и ожесточенныхъ нападокъ «Библіотеки», и нападки эти, не въ мѣру утрированныя, вызвали даже разъ заступничество «Сѣверной Пчелы» (1836 г.). «Библіотека для Чтенія» просто-на-просто искажала слова Ж. Зандъ и приписывала ей, напримѣръ, такую мысль: «une fille de joie est un être adorable». Противъ той же писательницы направлена слѣдующая, мало-опытная насмѣшка: «У нея есть дѣти, обреченныя тащиться въ грязи убитыхъ дорогъ, окруженныя образами мыслей, противными ея понятіямъ, наущаемыя на каждомъ шагу тѣми, которые на нее нападаютъ, не вѣрить ей грезамъ,—свидѣтели ея страданій средь этой вѣчной борьбы, ея растерзаннаго сердца, ея волѣнь, разбитыхъ о преграды дѣйствительной жизни,—однимъ словомъ, пара несчастныхъ дѣтокъ, которыми она не знаетъ: какое дать воспитаніе. Воспитывать ихъ такъ, какъ воспитываютъ всѣхъ дѣтей? Тогда они будутъ ходить, какъ скоты, въ ярмѣ предразсудковъ и приличій, и дочь ея, какъ дура, возьметъ себѣ мужа, обвиняется съ какимъ нибудь толстымъ предразсудкомъ, наплодить вучу маленькихъ предразсудковъ и, чего добраго, будетъ даже вѣрна своему деспоту» и т. д. и т. д. Одинъ изъ романовъ Жоржъ-Зандъ (Лелія) названъ просто гнуснымъ, и тутъ же сказано съ претензіей на остроуміе: «Одинъ изъ

дѣйскій мудрецъ говорить: женщ
независима; въ дѣтствѣ она дол
молодости отъ мужа, а въ старо
дѣйскій мудрецъ не читалъ ни
зака». Было бы скучно и безпо
ходки Сенковского противъ нелю
цузской «безнравственной школы
ныя приности, во вкусѣ приведе

Что составляло главную журна
Чтенія» и ея привлекательность д
это рецензіи о вновь выходящихъ и
ныя статьи, въ которыхъ безраз
лись всѣ научныя изысканія и
мы показали уже образчикъ т
истощалъ баронъ Брамбеусъ
чательное остроуміе, и бездарн
денегъ или изъ тщеславія, част
женному позору. Разбирая съ э
годы писательства, Сенковский
(которые, по его разсчету, могъ пол
писатель) можно наннимать премиле
бургской сторонѣ, водить жену в
безпереводно бутылку пива и ка
ва, шить себѣ каждый годъ фрак
Какъ не печатать того, что пише
нія» 1836 г. т. XIX, литературе
дѣтской книжонкѣ критикъ отозв
написана въ пользу воспита
основательно предпочитаетъ нрав

вописанію и грамматикѣ русскаго языка, въ пользу которыхъ онъ, кажется, ничего не намѣренъ дѣлать. «Въ прекрасный майскій день маленький Николенька прогуливался въ прекрасномъ зеленѣющемъ лугу, принадлежащемъ къ дачѣ отца его». Такъ начинается статья, которую авторъ называлъ «Эхо», и она была бы недурна, еслибъ можно было знать: кому собственно принадлежала дача — отцу ли прекраснаго зеленѣющаго луга, или отцу прекраснаго майскаго дня? Въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что она не принадлежала отцу Николенькину» и т. д. («Библіотека для Чтенія» 1836 г. т. XIV). Подобные проницательскіе разборы, вмѣстѣ съ повѣстями Брамбеуса, очень нравились въ свое время публикѣ. «Начальники отдѣленій и директоры департаментовъ» писалъ Гоголь по поводу выхода въ свѣтъ I-й книжки «Библіотеки» за 1834 г.—читаютъ (Сенковскаго) и надрываютъ бока отъ смѣха. Офицеры читаютъ и говорятъ: какъ хорошо пишеть! Помѣщики покупаютъ, подписываются и вѣрно читать будутъ». Эти разборы приносили, пожалуй, и свою долю пользы, выметая за порогъ разный соръ русскаго словесности; но къ сожалѣнію, Сенковскій былъ только лежачихъ, которые никого не ввели бы въ заблужденіе; литературный же бурьянъ, въ родѣ произведеній Кукольника и др., не только не вырвался имъ съ корнемъ, но пользовался вниманіемъ и заботливымъ уходомъ. Въ одной статьѣ Сенковскій называлъ даже Кукольника великимъ писателемъ и увѣрялъ, что «самъ Пушкинъ завидовалъ его славѣ». Серьезныхъ мыслей не западало въ голову отъ чтенія шутливыхъ и бойкихъ рецензій Сенковскаго; серьезныхъ мыслей и не могъ дать этотъ писатель — по той простой причинѣ, что

онъ самъ не имѣлъ ихъ. Его малоосновательный, распростра- меты, на всѣ теоріи и убѣж- нимъ въ одинъ пестрый хаосъ манной нѣмецкой философій общественныхъ преобразованій мичевы и Орловы. Попадался лось и Кювье, заходила рѣчи нительной анатоміи — осмѣян- кимъ образомъ почвъ могли у- торые защищались Сенковскимъ тическій отдѣлъ «Библіотеки», валь «Дѣтскаго Карамзина», — пресловутой исторіи, — «Лѣтопи въ родѣ «Скопина-Шуйскаго»

Собственно о политикѣ С- тому что этого отдѣла не с- біліотекъ для Чтенія», но онъ политическихъ явленій подъ р- рѣ англійской или французс- тическіе взгляды Сенковского (чала изданія «Библіотеки», въ шой выходъ у Сатаны». Тутъ

*) Нѣмецкой философій сильно и- стоящее назначеніе г. Зелепецкаго — есть философій, самая мутная, са- тая съ самаго дна умственного колод- въ безконечномъ, о безконечномъ въ- конечномъ, элементахъ человѣческаго въ не я, о циркумференціи круга, в- ность ни гдѣ, о великомъ Nichts» (

отвратительный, съ всклокоченными волосами, съ однимъ выдолбленнымъ глазомъ, съ однимъ сломаннымъ рогомъ, съ когтями, какъ у гіены, съ зубами безъ губъ, какъ у трупа, и съ большимъ пластыремъ, прилѣпленнымъ сзади, пониже хвоста». (Эту послѣднюю рану нанесъ чорту одинъ казакъ близъ Кракова, во время польскихъ движеній). Безобразный чортъ служилъ символомъ всѣхъ политическихъ реформъ; даже парламентскій билль о реформѣ въ Англіи онъ считаетъ «своей выдумкой и предвѣстіемъ чудесной бури». Этотъ чортъ жалуется, что люди перестали ему вѣрить: «я слишкомъ долго, говоритъ онъ, обманывалъ людей обѣщаніями блистательной будущности, богатства, благоденствія, свободы, а изъ мовхъ революцій, конституцій, камеръ и бюджетовъ вышли только гоненія, тюрьмы, нищета и разрушеніе».

Тѣ же самыя политическія воззрѣнія высказываются и въ «Библіотекѣ для Чтенія». Насчетъ восхваленія Австріи, наиболѣе враждовавшей въ то время со всякимъ либерализмомъ, «Библіотека» отнюдь не уступала «Сѣверной Пчелѣ». Разбирая книгу Валери «*Voyages historiques et littéraires en Italie*», рецензентъ говоритъ: «наслушавшись французскихъ либераловъ и ихъ послѣдователей, которые приняли себѣ за правило представлять Австрію въ самомъ черномъ и ненавистномъ видѣ, многіе невольно могли увѣриться, что «прекрасная Италія» дѣйствительно стонетъ подъ игомъ самаго тяжкаго и завистливаго деспотизма». Затѣмъ почерпаются опроверженія изъ книги въ слѣдующемъ родѣ: «Австрія есть одно изъ немногихъ государствъ, гдѣ народное образованіе наиболѣе распространено. Общія наставленія въ школахъ ясны и благотворны.—Нѣкоторые профессора говорили

мнѣ (т. е. Валери), что имѣ прѣ
 бода въ чтеніи науки. Что ка
 не знаю ни одной страны, гдѣ
 Нищенство прекращено, устроен
 работою, прививанье коровьей
 всѣми классами («Библ. для Чт
 пр. и пр. Коснувшись дѣятел
 Мендисавала, подѣ рубрикою «З
 «Библіотека для Чтенія» воскли
 бѣдная Европа! сынъ Израил
 своему произволѣнію, мятежи и
 съ престоловъ, перемѣняетъ дин
 дочь дона Педра на португальс
 кашу въ Испаніи и самъ же те
 Альфонса и Изабеллы». (Ниже
 жидкомъ»). Послѣ разсказа о то
 этотъ израильтянинъ учреждалъ
 волюціонныя юнты» и какъ затѣ
 стры, авторъ заключаетъ свою
 «впрочемъ, это исторія всѣхъ либе
 для Чт.» 1836 г., т. XIV, смѣс
 Европа, волнуемая разными пол
 лась огульному позору, не смо
 снизу шла неправившаяся рефо
 политическія преобразованія, х
 существенной и уже вполнѣ с
 ностью, какъ напр. парламен
 Англіи.

Итакъ проповѣдники засто

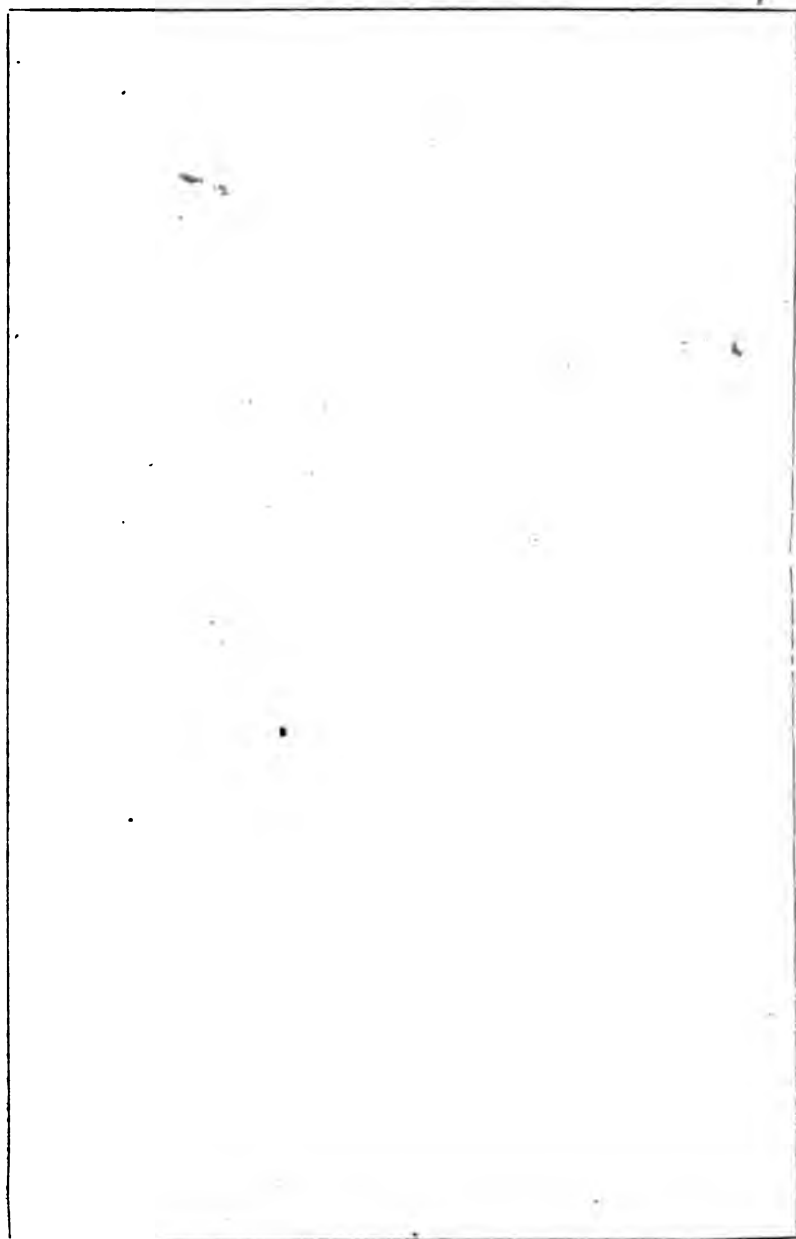
расляхъ общественной жизни, шли дружно по одной и той же дорогѣ, сражаясь на пути и съ цѣлою Европою, и съ домашними зачатками противоположныхъ мыслей. Безспорный талантъ Сенковского не нашель себѣ болѣе полезной и благородной роли, и мы вполне понимаемъ ту сосредоточенную злобу, которую питаль къ нему Бѣлинскій во все время своего журнальнаго подвижничества. Отъ сильнаго ума, конечно, можно было требовать большаго, чѣмъ отъ Фаддея Булгарина, и недюжинный умъ, ложно направленный, былъ вреднѣе самой вредной бездарности...

Тѣмъ не менѣе, отъ дѣятельности Сенковского нельзя отнять одной важной заслуги, которая можетъ быть безпристрастно оцѣнена въ настоящее время. Эта заслуга есть форма изложенія, доставлявшая читателей даже самой спеціальной статьѣ Сенковского; благодаря бойкой манерѣ редактора «Библіотеки», всѣ отдѣлы его журнала стали доступны для публики, а это условіе, конечно, должно было содѣйствовать сближенію журналистики съ обществомъ. Читатели перестали, мало по малу, считать «ученость» какимъ-то пугаломъ и невольно втягивались въ такіе вопросы, которые прежде считались очень мудреными и недоступными.

К О Н Е Ц Ъ.

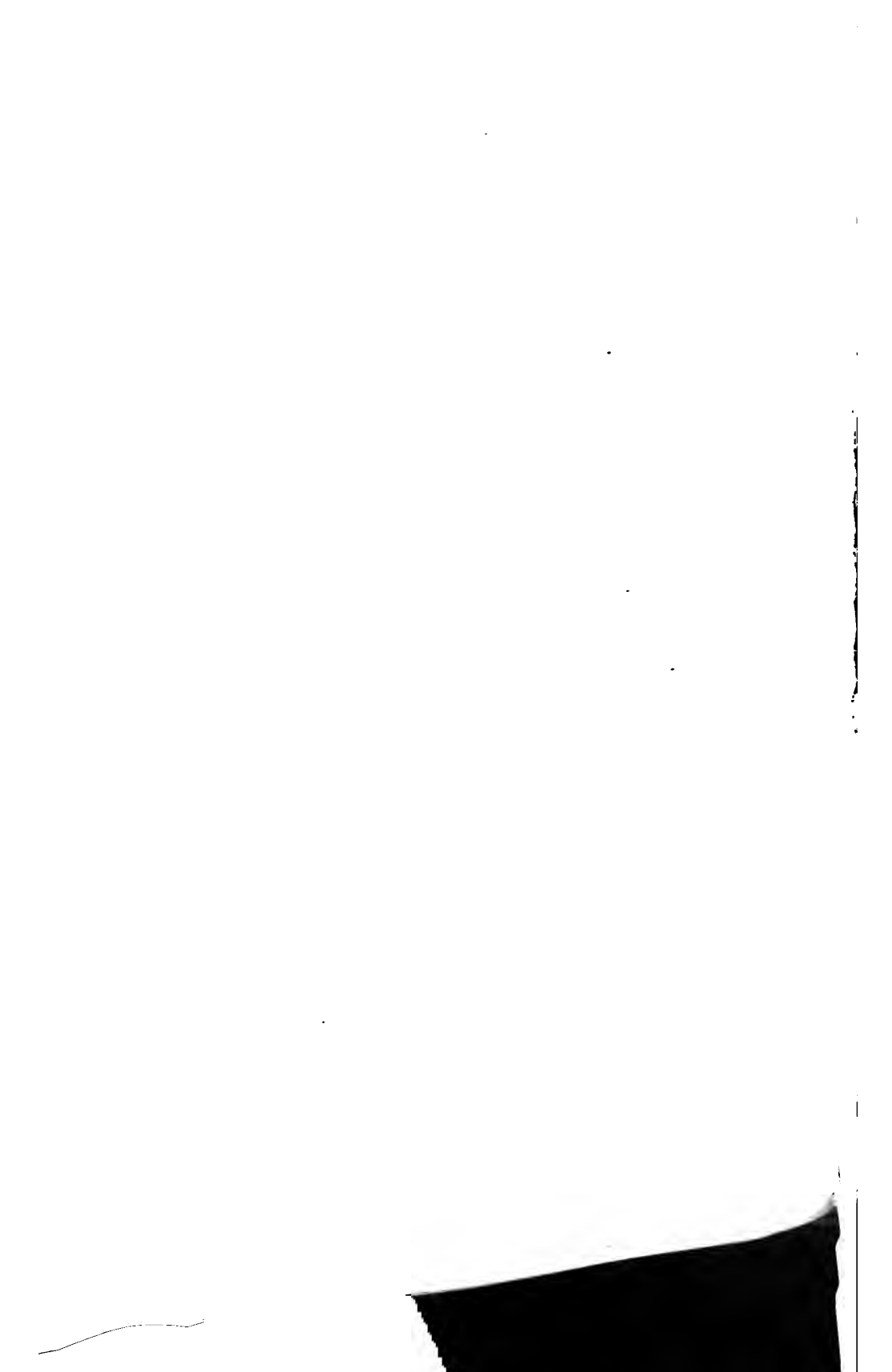
Важтїйшія опечатки, замѣчен

страниц.	строка.	на
32	10 сн.	н:
79	3-4 св.	Северн
116	7 сн.	упо
—	2 сн., въ прим.	«
121	12 св.	уст
122	10 сн.	стрел
265	1 св.	обра
196	4 сн. въ прим.	1
284	4 св.	въ



✓ 2408^e
21





This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine of five cents a day is incurred
by retaining it beyond the specified
time.

Please return promptly.



FEB 1 - 1906

FEB 1 - 1906

